

ТАЙНЫ

Век XX

М. А. Алданов

САМОУБИЙСТВО

АРМАГЕДДОН

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПОРТРЕТЫ И ОЧЕРКИ



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XX

М. А. Алданов

САМОУБИЙСТВО

Роман

АРМАГЕДДОН

Из записной книжки

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ И ОЧЕРКИ



МОСКВА

«ТЕРРА» - «TERRA»

1995

ББК 84Р
А45

Составитель *Т. Прокопов*

- Алданов М. А.**
А45 Самоубийство: Роман. Армагеддон: Из записной книжки. Исторические портреты и очерки / Сост. Т. Прокопов. — М.: ТЕРРА, 1995. — 703 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).
ISBN 5-300-00266-6

Классически строгая, подлинно художественная проза М. Алданова (1886—1957) сочетает в себе историческую достоверность и сюжетную занимательность.

В книгу вошли роман «Самоубийство», эссе «Армагеддон», а также серия исторических портретов и очерков.

А 4702010000-301 Без объявл.
А30(03)-95

ББК 84Р

ISBN 5-300-00266-6

©Издательский центр «ТЕРРА», 1995

САМОУБИЙСТВО

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Чете Рихтеров был указан в Брюсселе сборный пункт: квартира Кольцова. Этот же адрес был дан и другим участникам съезда. Но консьержка, находившаяся со вчерашнего вечера в состоянии полного бешенства, объявила, что больше ни одного «саль рюсс»¹ в дом не пустит: пустила четырех, входят как к себе, шумят, кричат, довольно!

Хозяин квартиры был очень смущен и даже взволнован: боялся, что гость рассердится. Кольцов кричал, что этого так не оставит, что будет жаловаться властям (не сказал: полиции), что обратится к бельгийской социалистической партии. Однако Рихтер не рассердился и высказался против жалоб: он всю жизнь боялся консьержек; говорил, что быть с ними в добрых отношениях обязательно для каждого революционера.

— ...Да ничегошеньки ваша бельгийская партия сделать не может, если б даже и согласилась. Нельзя ли нам приютиться в помещении съезда?

Кольцов развел руками еще более смущенно.

— Никак нельзя, Владимир Ильич. Это помещение просто амбар для муки! Им было очень, очень совестно, они страшно извинялись, но ничего другого не оказалось!

— Не оказалось? — с усмешкой спросил Рихтер. Это был невысокий, коренастый, лысеющий человек с высоким лбом, с рыжеватыми усами и бородкой, в дешевом, чистом, без единого пятнышка синем костюме с темным галстуком, концы которого уходили под углы двойного воротничка. Глаза у него были чуть косые и странные. Он был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили; впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его виде-

¹ «Грязный русский» (*фр. sale russe*).

ший, но обладавший необыкновенно зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, весело рассказывал о нем: «Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся: узкие, красно-золотые, зрачки точно проколотые иголкой, синие искорки. Такие глаза я видел в зоологическом саду у лемура, сходство необычайное. Говорил же он, помоему, ерунду: спросил меня — это меня-то! — какой я «фХакции». Ленин сильно картавил, но не на придворный, не на французский, не на еврейский лад; почему-то его картавость удивляла всех, впервые с ним встречавшихся. — Что ж делать? Не оказалось. Утешимся же тем, что им очень, очень совестно. Ищите для нас, товарищ Кольцов, помещеньице в каком-либо отельчике подешевле, но в чистеньком. А консержку оставьте в покое, не то она и вас выживет.

То, что гость не рассердился, успокоило Кольцова: он боялся Ленина еще больше, чем Ленин боялся консержек. Кого-то отрядили караулить других участников съезда. Объявил, что все-таки позвонит по телефону, — назвал имя видного бельгийского социалиста:

— Он во всяком случае пригодится, очень любезный человек, — сказал Кольцов.

— Валяйте, звоните. Пусть устроил бы скидку. Но с первых слов успокойте его, а то сей субъект подумает, что мы у него просим денег.

Вид Надежды Константиновны показывал, что она недовольна: не для нее, конечно (о себе она редко думала), но для вождя партии могли обо всем позаботиться заранее и не заставляя его ждать с вещами на улице. Она вдобавок видела, что Володя устал и нездоров: еще не так давно в Лондоне его мучила «зона». — «Неужто начнется опять!» — думала она с ужасом. Была и сама утомлена, однако это не имело никакого значения. Желчные шутники в партии, подражавшие Плеханову, говорили, что Ленин женился на ней из принципа «чем хуже, тем лучше», и называли ее «миногой». Впрочем, ее скорее любили: при несколько суровом и гордом виде, она была не зла, не тщеславна, ни к каким званиям и должностям не стремилась, хотя по своим заслугам на некоторые, не очень важные, звания имела бы права. «Коротки ноги у миноги, чтобы на небо лезть». — Надежда Константиновна никуда не лезла и никому не завидовала. Она была женой Ленина, и этого было достаточно. Во всем мире, кроме ближайших родных, одна она его называла «Володей». Даже люди, быв-

шие с ним на «ты» (их всего было два или три человека), называли его «Владимир».

— Этот съезд очень важен... Он, собственно, представляет собой Учредительное собрание партии, Первый съезд не идет в счет, — сказала она второстепенному (только с «совещательным») делегату, занимавшему ее разговором.

Кольцов побежал в соседнюю лавку: «Не звонить же от этой злой бабы!»

— Подумайте, сам товарищ Ленин остался без пристанища! — сказал он по телефону.

Бельгийский социалист не знал, кто такой Ленин, но отнесся вполне сочувственно. В первую минуту в самом деле опасался, что русские эмигранты, почти все бедняки, чего доброго попросят у него денег!

— Вот что, я сейчас же позвоню в «Кок д'Ор», — сказал он. — Хозяин этой гостиницы член партии и мой приятель, он, верно, сделает и скидку для русских товарищей. Вы можете туда прямо проехать с товарищем Лениным, которому, пожалуйста, передайте привет.

Кольцов вернулся и сообщил всем новый адрес. Ленин, как ему показалось, предпочел бы, чтобы другие участники съезда остановились не в той же гостинице, что он.

— Я вас провожу, Владимир Ильич.

Нанял извозчика. Ленин сказал было, что можно было бы поехать на трамвае. Кольцов объявил, что в трамвай такого чемодана не возьмут. Чемодан, выдавший виды на долгом веку, был в самом деле объемистый. Ленин сам его дотащил до дрожек, хотя старался отобрать у него Кольцов.

— Почему же будете нести вы? Я покрепче вас, — сказал Ленин нетерпеливо, и, несмотря на все протесты Кольцова, сел на неудобную переднюю скамейку, предоставив ему место рядом с женой. Она была этим не очень довольна: «Володя уступает место Кольцову!» Кольцов же не мог не оценить: «Вот чего не сделал бы Плеханов!»

По дороге разговор не клеился. Надежда Константиновна еще гневалась, хотя и меньше.

— Судьбы нашей партии зависят от того, кто будет ее главным руководителем. И потому очень важен каждый голос на съезде, — сказала она.

Муж оглянулся на нее с неудовольствием. Предполагалось, что вопрос о руководителе не имеет никакого значения. Она тотчас это поняла и немного смутилась.

— Я еще точно не знаю соотношения сил, — уклончиво ответил Кольцов.

«Будет, конечно, голосовать с Мартовым!» — сердито подумал Ленин.

— Соотношение сил уже известно, — сказал он как бы равнодушно. — «Совещательные» не в счет, будет тридцать три делегата с одним голосом и девять двуруких. Из всей компании пять бундовцев, три рабочедельца, четыре южно-рабоченца, шесть болота, остальные искряки.

— Искряки-то искряки, но вполне ли надежно их искрянство? — вставила Надежда Константиновна. — Ведь Мартов тоже искряк.

Ленин опять оглянулся на нее с досадой и что-то пробормотал.

— А какую позицию вы окончательно решили занять в отношении бундовцев? — поспешил перевести разговор Кольцов.

— Прямо в зубы их бить не буду, но отношение будет архихолоднейшее. Пусть Бунд, наконец, выявит свою личину! Во всяком случае в Феклу ни одного из этой компаниицы не возьмем, пусть идут к черту! Ту се ке вуле, мэ па де са¹, — сказал Ленин. Он часто вставлял в разговор и в письма слова на неправильном французском, немецком или на латинском языке. «Феклой» называлась редакция «Искры».

— Они и не претендуют на это, — сказал Кольцов обиженно. Он смутно — и совершенно неосновательно — подозревал Ленина, как и Плеханова, в некотором скрытом антисемитизме. — Просто они маленькие люди с ограниченным кругозором. Я говорю только о тех, которые будут на съезде.

— Что маленькие, это не беда. («Ты сам гигант», — насмешливо подумал Ленин.) Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Но они хотят федерацийки, чтобы быть единственными представителями еврейского пролетариата. Фигу им под нос вместо федерации!

— А если они уйдут со съезда?

— Скатертью дорога, — сказал Ленин и подумал, что если бундовцы уйдут, то у Мартова будет пятью голосами меньше при выборе редакции «Искры». «Непременно раньше поставить вопрос о Бунде», — решил он.

Извозчик подъехал к гостинице. Кольцов хотел заплатить.

— У вас, Владимир Ильич, верно, еще и нет бельгийских денег?

¹ Все, что хотите, только не это (фр. Tout ce que vous voulez, mais pas de ça).

— Есть деньги, разменяли на вокзале, — сказал Ленин. Он жил скудно, берег каждую копейку, но не любил, чтобы за него платили другие, особенно бедные люди, как Кольцов.

Комнатка в гостинице оказалась недорогая (хозяин в самом деле сделал скидку) и довольно уютная. В ней были и письменный стол, и даже полка для книг, — очень полезные вещи: съезд должен был длиться не меньше месяца. На полке лежали разрозненные номера иллюстрированных журналов.

— Я разберу вещи. Да и работа есть, — сказала Надежда Константиновна, взглянув на Кольцова. Она знала, что мужу отравляют жизнь разговоры: он и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Женеве просил товарищей приходить к нему пореже, если не было дела.

— А мне надо бежать, — поспешно сказал Кольцов, тоже не очень хотевший с ними разговаривать; разговор мог стать неприятным.

— Бегите, — с готовностью согласился Ленин. — Здесь как? Надо хозяину показать паспорта?

— Не надо, никакой прописки не требуется, — объявил Кольцов. Он хотел было добавить, что Бельгия почти такая же свободная страна, как Швейцария, но не добавил: это замечание не понравилось бы вождю партии. Многие находили, что Рихтер — он же Н. Ленин, Тулин, Петров, Ильин, Старик, Ульянов — уже важнейший из вождей. Еще недавно он был главой того, что называлось шутливо «Тройственным союзом»: Ленин — Мартов — Потресов. Такой же Тройственный союз был и в старшем поколении: Плеханов — Аксельрод — Засулич. Но как ни у кого в Европе не было сомнений в том, что в настоящем Тройственном союзе всем руководит Германия, так и у социал-демократов признавалось, что главные среди шести — это Ленин и Плеханов. Остальные четверо, при всех их качествах, были как бы тайными советниками революции при двух действительных тайных. Впрочем, теперь положение изменилось: разделение шло по другой линии, борьба намечалась преимущественно между Лениным и Мартовым.

— Я значусь Рихтером, и письма к вам будут приходить на имя Рихтера. Все передавайте ей или мне, только, пожалуйста, без всякого замедления, — сказал Ленин. Несмотря на отсутствие в нем чванства, в его голосе послышался приказ. — А что, этот амбар откуда далеко?

— Нет, недалеко, Владимир Ильич. Хотите взглянуть? Они мне дали ключ.

— Какие любезные! Если недалеко, пойдем. Ты ведь, Надя, тем временем разберешь вещи?

— У меня работы на час, если не больше. Можешь, Володя, не торопиться. И купи чего-нибудь к чаю, хлеба, ветчины. Сыр и сахар я привезла.

В амбаре было темновато и сыро. Когда они вошли, во все стороны рассыпались крысы. У стен лежали груды кулей с мукой. Впереди, против входа, стояли стол и за ним два стула, а перед ними несколько рядов некрашенных скамеек. Ленин вдруг расхохотался веселым заразительным смехом. Кольцов смотрел на него со сконфуженной улыбкой.

— Да, неказистый зал. Мы завтра все проветрим и постараемся достать хоть стулья. Что ж делать, ничего другого не оказалось.

— Для себя они, небось, нашли бы помещеньице получше, а? — говорил Ленин, продолжая хохотать. — А уж если б, скажем, международный конгресс, то сняли бы какой-нибудь отельчик вроде «Бристоля» или «Империаля» или там «Континенталья». Это для дрекгеноссов-то, а? — так он часто называл тех иностранных, особенно германских, социал-демократов, которых не любил. — За амбар геheimerаты¹ с Каутским им набили бы морду, а, Кольцов? И то сказать, оговорочка: геheimerаты всех стран платят чистыми деньжатами. Только с нами, с «саль русс», можно не считаться, — он, наконец, перестал смеяться и вытер лоб чистым белым платком. — Ничего, товарищ Кольцов, со временем будут считаться и с нами, уж это я вам обещаю!.. А чей же это милый амбарчик? Мука с крысами, а? Мы крыс вывели бы, да заодно и таких хозяйчиков. Но вы не конфузьтесь, вы не виноваты, что нет денег. А вот товарища Плеханова предупредите, насчет крыс-то. А то он очень разгневается... Дайте посидим, передохнем, — сказал он. Достал из кармана прочтенную в поезде аккуратно сложенную газету, накрыл ею скамейку и сел.

— Почему же именно Георгий Валентинович рассердится? Вы ведь не рассердились, Владимир Ильич, — сказал Кольцов, тоже садясь.

— Как же вы сравниваете, а? Во-первых, он председатель. Будет говорить торжественное слово, верно, что-нибудь воскликнет, а тут вдруг пробежит крыса и испортит «восклицание», разве хорошо, а? Притом он смертельно боится крыс. Вообще слишком много боится. А в-третьих, он генерал, из помещичьих сынков. Не весьма, впрочем, из

¹ Тайные советники (нем. Geheimrat).

важных. Вот Потресов тот действительно генеральский сын и давно забыл об этом, а у Георгия Валентиновича родной брат где-то исправником, не велика фря!.. Увидите, он явится на открытие съезда в визитке, или как у них там эта длиннополая штучка называется, — сказал Ленин и на всякий случай повторил ходивший в партии рассказ о том, как в свое время Плеханов, отправляясь в Лондоне на свидание с Энгельсом, купил и надел цилиндр.

Говорил он якобы благодушно. Когда-то был почти влюблен в ум, таланты и ученость Плеханова, затем разочаровался и разошелся с ним. Писали они друг другу то «дорогой», то «многоуважаемый», то без всякого обращения, очень сухо и враждебно. Недавно порвали было личные отношения, потом их возобновили. Теперь же должны были действовать заодно, в полном союзе. Все же при случае не мешало вернуть словечко и о Плеханове. Перед этим съездом лучше было бы вернуть что-либо о Мартове, но он не нашел ничего подходящего, хотя бы вроде визитки или цилиндра.

Кольцов слушал без улыбки. Он был очень корректен, не любил сплетен, да и не раз уже слышал рассказ о цилиндре Плеханова. В партии его уважали как полезного человека и старого революционера, — он был когда-то народовольцем, близко знал брата Ленина, затем в эмиграции стал социал-демократом, но выполнял преимущественно черную работу. Партию любил всей душой, почти как семью: в них, в семье и партии, был смысл его жизни. В вожди он не метил и нигде не назывался даже «видным» (а это было гораздо меньше, чем «известный»). Нежно любил Аксельрода, Веру Засулич, Мартова, Потресова и тщательно скрывал, даже от самого себя, нелюбовь к Плеханову и особенно к Ленину, которого он с ужасом считал человеком аморальным и способным решительно на все. Кольцов знал, что Ленин хочет стать партийным диктатором. Это было недопустимо, и он своего мнения не скрывал; но политических споров с Лениным в меру возможного избегал и при них съеживался: так на него действовали безграничная самоуверенность этого человека, его грубые отзывы о товарищах, его презрительный смешок и больше всего шедший от его глазок волевой поток.

«Ох, дубина!» — подумал Ленин, внимательно на него глядя.

Он вдруг стал необычайно любезен. Одна из его особенностей заключалась в сочетании презрительного равнодушия к людям с умением их очаровывать в тех случаях,

когда они были нужны ему или партии. Очень многие товарищи его обожали, искренно считали добрым, милым, благожелательным человеком. Он был «Ильич»; Плеханов никогда не был «Валентинычем».

Изменив тон, он стал называть Кольцова по имени-отчеству, спросил о семье, о делах, о планах. Затем перешел к съезду. Как ни незначителен был Кольцов, не мешало повлиять и на него. Иногда Ленин часами вдалбливал свои мысли в голову двадцатилетним малограмотным людям, особенно если они были рабочие, и делал это с большим успехом.

— ...Да, будет у нас здесь драчка, Борис Абрамович, — сказал он якобы с грустью. — Вначале дела пойдут менее важные: Бунд, равноправие языков, потом программа. Тут споры, конечно, будут, но сговоримся. Главное же, как вы понимаете, это устав и выборы, в частности выборы редакции «Искры».

— Я стою за прежнюю редакцию в ее полном составе из шести человек, — поспешно сказал Кольцов.

Лицо у Ленина дернулось, но он тотчас сдержался и даже взял Кольцова за пуговицу. («Тоже никогда не сделал бы Плеханов».)

— Послушайте, Борис Абрамович, ведь вы разумный человек, — сказал он. Хотел было сказать: «вы умный человек», но язык не выговорил. — Разве можно работать при такой редакции? Ведь это не редакция, а какая-то семейка! Вдобавок почтеннейший Аксельрод за три года ни на одном ровнехонько заседании не был. Сей муж занят своим кефиром или кумысом, или черт его знает, чем он занят. Из него, а паки из Засулич давно песок сыплется...

— Помилуйте, Владимир Ильич! Вере Ивановне всего пятьдесят два года!

— Неужели? Я думал, им по сто пятьдесят два. В «Искре» все делали Мартов и я, всю работу, и идейную, черную. Вы знаете, что мы теперь с Мартовым на ножах, но я предлагаю ему конкубинат¹: он, Плеханов и я. Прелесть что за журнальчик создадим!

Кольцов печально покачал головой.

— Товарищ Мартов в трехчленную редакцию не войдет. Он считает, что это было бы неэтично в отношении трех остальных редакторов. И я с ним согласен... Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый, — сказал он мягко.

¹ Сожительство (*lat* concubinatus)

Лицо Ленина исказилось бешенством. У него покраснели скулы.

— Ну, еще бы! Это все у вас говорят: «Ленин-де нетерпимый». Ерунду говорите, товарищ Кольцов! И партия не дом терпимости!

— У нас может образоваться нечто вроде бюрократического централизма, а это очень нежелательно. Не скрою от вас, в партии уже говорят о вашем «кулаке», я, конечно, этого не думаю, но я...

«Но я болван», — мысленно закончил за него Ленин. Он действительно находил необходимым «кулак», и именно свой. Понимал, что Мартов в самом деле откажется, а Плеханов в работу вмешиваться не будет: будет только давать теоретические советы.

— Ваши «этические» соображения мне совершенно не нужны и не интересны! Вы можете оставить их при себе! — сказал он с яростью. Встал и быстро направился к выходу. Кольцов грустно поплелся за ним.

Надежда Константиновна сидела за единственным столиком комнаты на ее единственном стуле и что-то писала, морща лоб. Перед ней лежали листки бумаги. Она зашифровывала письмо. Всегда делала это добросовестно, усердно и даже, несмотря на привычку, восторженно-благоговейно. Теперь у нее были угрызения совести: в Женеве не успела зашифровать и отправить письмо, написанное Лениным позавчера одному кружку на Волге. Не было ни одной свободной минуты: надо было и накормить мужа, и купить билеты, и уложить вещи, книги, бумаги, и к кому-то с его порученьями забежать (она не просто ходила к людям, а всегда забегала). В поезде зашифровывать было очень неудобно, да и опасно: могли обратить внимание. Теперь оглянулась на мужа с виноватым видом.

— Я думала, Володя, что ты придешь позже. Я через пятнадцать минут кончу. Но могу и отложить, если тебе очень хочется чаю. Ты что купил?

— Пиши, я подожду, — сказал он, хмуро на нее взглянув. Письма нужно было зашифровать в Женеве, но если уж не успела, то можно было здесь и отложить на день, ничего в мире от этого не произошло бы. Впрочем, почти никогда на жену долго не сердился. Любил ее или, по крайней мере, очень к ней привык: быть может, только ей одной во всем свете верил вполне, во всем, без тени сомнения. Она была предана ему именно «беззаветно». Теперь ее

усталое, рано поблекшее лицо, с бесцветными влажными глазами, с гладко зачесанными жидкими волосами, было особенно некрасиво. Он чуть вздохнул.

— Хороший амбар? Такое невнимание к тебе... К нашей партии! Хорош и Кольцов!

— Очень хорош. Лучше субъектов не бывает, на выставку послать! — сказал он сердито и осмотрелся в комнате. Она была чистая, рукомойник сносный, на подвижном шесте висели два полотенца. «У нас в Симбирске все было бы в таком отельчике загажено и проплевано». Умыться было невозможно: мыло было в чемодане. «Потом... Ох, устал, ничегошеньки не могу». Он и думал на странном языке, частью волжском, частью калужском, очень особом и чуть шутовском, с разными уменьшительными, уничижительными, грубо-насмешливыми словами. Взял с полки иллюстрированные журналы и прилег на кровать, неудобно свесив с нее ноги в залатанных, но чистых башмаках.

На обложке была изображена королева Виктория. Журнал весь был заполнен изображениями скончавшейся королевы, от ее детских лет до смертного одра. Королева на коленях молилась у гроба Наполеона I во Дворце Инвалидов; рядом, с взволнованными исторической сценой лицами, стояли ее муж, императрица Евгения и Наполеон III. В Лондоне герольды в пышных костюмах объявляли на площади о вступлении на престол нового короля. Плакали какие-то индусы в тюрбанах. Плакали английские социалисты. Плакал Сток-Эксчендж. Эдуард VII встречал на вокзале Вильгельма II. В фельдмаршальских мундирах, сплошь покрытых орденами, они ехали верхом за гробом. Были изображены разные покои Осборнского дворца, в котором королева скончалась. Дворец был не из великолепных, но роскошь покоев раздражала его еще больше, чем вид плачущих социалистов. «Ничего, дождутся! Все они дождутся!»

«Долгое царствование этой старейшей из коронованных особ Европы займет великое место в истории», — читал он. — «Старик Дизраэли украсил ее корону новым драгоценным алмазом: британская королева стала императрицей Индии. Она очень дорожила этим своим титулом и даже среди своих служителей дала видное место индусам... Царствованием Викторией заканчивается в истории, по крайней мере в европейской, период бурь. Хотя из-за глубокого траура в Лондоне теперь не было политических бесед, все сошлось на том, что настал, наконец, для человечества

период мира, общего благоденствия и прогресса на началах свободы». («Экое, однако, дурачье! Пора бы им в желтые домики», — думал он, читая с искренним наслаждением.) «Лучше всего свидетельствует об этом общая скорбь Европы. Отметим, в частности, то, что германский император своим неподдельным горем на похоронах завоевал все английские сердца. Газеты сообщали, что при его отъезде к нему на вокзале подошел простой британский рабочий, поклонился и сказал: «Thank you, Kaiser!»¹ (Ленин непристойно выругался). «Ничто не могло красноречивее передать чувства английского народа, чем эти простые слова простого человека. Стоявший рядом с императором король Эдуард VII так пояснил их своему коронованному гостю: «Так же, как он, думают они все, каждый англичанин. Они никогда не забудут твоего приезда на похороны моей матери». Оба монарха были глубоко растроганы. Скажем и от себя, что если в нашей маленькой стране сердца людей и не вибрировали совершенно в унисон с сердцами британскими, то все же Осборнская трагедия нашла и у...»

— Бундовцы уйдут, и черт с ними! — неожиданно сказал Ленин. Надежда Константиновна на него оглянулась, впрочем без особого удивления: знала его манеру думать вслух, вдобавок читая о совершенно другом.

— Разумеется, пусть уходят, хотя в принципе это и нежелательно. Ты не можешь... Партия не может согласиться на федеративное начало, в этом все искряки согласны, даже мартовцы согласны, — ответила она.

«*Sans vibrer à l'unisson*»², — пробормотал он и опять уткнулся в журнал. Больше текста не было, а из иллюстраций только фотография композитора Верди, скончавшегося одновременно с Викторией, да еще две свадьбы: вышла замуж голландская королева Вильгельмина и женился Поль Дешанель. «Какой еще, к черту, Дешанель, будь он трижды проклят?» — подумал он. Впрочем, теперь бундовцев и мартовцев ненавидел, пожалуй, больше, чем Дешанеля и обоих королей.

У него был нехороший день, один из тех дней депрессии, изредка повторявшихся всю его жизнь. Он и в эти дни твердо верил в свои силы, которые считал огромными (в чем, к несчастью для мира, не ошибался), но думал, что до революции не доживет. «Зона» давала себя чувствовать, нервы были расстроены, почти как в прошлом году в Лон-

¹ «Спасибо, император!» (англ., нем.)

² «Не колеблясь, в унисон» (фр.).

доне; сам чувствовал на лице измученное выражение — на людях его снимал, товарищи не должны были считать его усталым человеком, но жена в счет не шла. Его всегда утомляла дорога, неприятная близость каких-то никому не нужных, неизвестно зачем живущих людей. Раздражали его и разные чудеса капиталистической техники, гигантские сооружения, вокзалы, подъемные краны, водокачки. Это была их техника, свидетельствовавшая о могуществе врагов. Все больше думал, что если они сами себе не перережут горла, то справиться с ними будет трудно, почти невозможно. Между тем шансов на войну было немного. «Не доживу! От какой-нибудь зоны могу околеть за год до революции». Из всех его мыслей эта была самой ужасной.

Ему надо было еще поработать перед съездом, выправить приготовленные им проекты резолюций; но бумаги были в чемодане, жена продолжала занимать столик. Он с досадой взял другой номер журнала, с более свежей обложкой. На ней ему опять бросилось в глаза слово «королева». — «Третья!.. Нет, это совсем не то!» — радостно подумал он. Толстая дама в светлом платье, с широкой совершенно плоской шляпой стояла под руку с опиравшимся на саблю коренастым усатым военным. Это были королева Драга и король Александр, совсем недавно убитые в Белграде. Позади них почтительно держалась свита. Фотография была снята за несколько дней до убийства. «Весь мир содрогнулся от ужаса, узнав о трагической кончине короля Александра и королевы Драги. Только сербы обрадовались этому убийству...» В свите были и люди, погибшие 11 июня с королем, и люди, принимавшие участие в убийстве. «Это так, это как водится... Все как на подбор, морды тупые и гордые, все опираются на саблю, как он». В краткой статье сообщалось, что темной ночью десятки офицеров ворвались в конак, вышибли топором двери, зачем-то бросили в первой комнате бомбу. От взрыва во дворце погасло электричество. При свете захваченных предусмотрительно огарков убийцы пробежали через ряд комнат, ворвались в спальню и там никого не нашли. «Полтора часа они по всему дворцу искали короля и королеву, заглядывали под диваны, все рубили топором и саблями. Александра и Драги не было! Наконец, первый адъютант короля, генерал Лазарь Петрович, указал им дверь в гардеробную комнату, где несчастные жертвы провели полтора часа в мучительной моральной агонии...»

Он разыскал на обложке Лазаря Петровича. «Ну, еще бы! На вид самый почтенный из всех, просто воплощение

респектабельности! Такие и нужны». Затем внимательно просмотрел фотографии, дело было интересное. Были комнаты с опрокинутыми изрубленными стульями, длинный тяжелый топор, гардеробный шкаф с отворенными дверцами, с торчавшими платьями, окно, из которого было выброшено на цветник тело Драги. «Тяжело раненная королева вскочила с пола, рванулась к этому окну и закричала. Люди слышали только один крик, страшный, пронзительный крик! Убийцы бросились на нее». — «Так, так, тон гуманно-сочувственный, а дальше, верно, будут гадости об этой самой Драге», — подумал он и радостно засмеялся, убедившись, что угадал.

На другой фотографии был изображен конак (журнал видимо щеголял этим словом). Дворец был небольшой. «На Зимний не похож, да там и охрана не такая». Он не сочувствовал этим заговорщикам, которые убили одного короля, чтобы тотчас посадить на его место другого. Но многое в них ему нравилось, хотя социал-демократия не признавала террора. «Да, эти дали тон начавшемуся веку, а никак не то лондонское дурачье с кретином: рабочим. Не очень, видно, «заканчивается в истории период бурь». Он бросил журнал и вернулся к своему плану действий на съезде. Обдумывал, как шахматист, разные комбинации.

Лучше всего было бы, конечно, если б единоличным редактором «Искры» стал он, а в Центральный Комитет вошли, кроме него, еще три-четыре человека из его подручных. У него всегда были «окольникчи», — люди, называвшиеся так потому, что на церемониях находились около московских царей. Но он знал, что это на съезде пройти не может. «Начнется вой: «Диктатура!» Буду, разумеется, отрицать, с тремоло в голосе а ла Троцкий». Перебирал разных товарищей по съезду. Почти все были люди незначительные. Многие были хорошие люди, но это не имело никакого значения. Моральными качествами людей он интересовался мало; вдобавок так называемый хороший человек не очень отличался от так называемого дурного. В своих письмах (раз сам назвал их «бешеными») осыпал грубой бранью и врагов, и единомышленников, и полуетодиномышленников, и бывших единомышленников, Струве называл «Иудой», Чернова «скотиной», Радека «нахальным наглым дураком», Троцкого «шельмецом», «негодяем», «сим мерзавцем», «подлейшим карьеристом»; говорил о «трусливой измене» Плеханова, о «поганеньком, дрянненьком и самодовольном лицемерии» Каутского, о «подлой трусости» своего друга Богданова, говорил даже о «подло-

стях» Мартова, недавно ближайшего из друзей; его в душе до конца жизни считал благородным человеком и даже посвоему «любил». В совокупности большая часть социал-демократов составляла его партийное хозяйство, и к своему хозяйству он относился заботливо, как владелец к предприятию. Из людей вообще когда-либо живших он боготворил Карла Маркса, которого никогда не видел; писал, что в Маркса влюблен и ни одного худого слова о нем спокойно не выносит. Позднее в Петербурге говорили, будто он «обожает» Максима Горького, — бывший Иегудиил Хламида очень этим гордился. Действительно, в своих письмах Ленин не называл его ни негодяем, ни мерзавцем: называл только «теленком». Как «политического деятеля» ни в грош его не ставил. Книги же его хвалил, хотя и без горячности. Как-то в разговоре с ним, «прищулив глаза» (по-видимому, насмехаясь над творцом литературных босяков), восторгался Львом Толстым: «Вот это, батенька, художник! И знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

Разумеется, главную свою задачу на съезде он видел в том, чтобы стать хозяином партии. Соперников, в сущности, не было. «Плеханов быть главой партии не может. Он примадонна, слишком тщеславен, слишком *rechthaberisch*¹, всего боится и во всем колеблется. Пусть открывает съезд, это с полным нашим удовольствием. Будет стоять на трибуне в длиннополом наряде, конечно, со скрещенными ручками, у него всегда скрещенные ручки, не то Наполеон, не то Чаадаев, — ох, надоело. Будет сыпать цитатами; и тебе Дидро, и тебе Ламеттри, и тебе Герцен. Никак не мог быть соперником и Мартов. «Слишком щепетилен, слишком нервен, вечно волнуется так, точно сейчас упадет в обморок, разве вожди бывают такие!» Об Аксельроде или Засулич и говорить серьезно не приходилось. В последнее время в партии начал выдвигаться молодой эмигрант Лев Бронштейн, обычно подписывавшийся «Н. Троцкий». В обычае было менять не только фамилии, но и имена. Так было и в литературе. Алексей Пешков уже прогремел в России под псевдонимом Максима Горького. Троцкий хлестко писал, прекрасно говорил, бросал чеканные восклицания не хуже, чем Плеханов, и явно старался выйти в вожди; однако у него не было армии, хотя бы полагававшегося минимума из трех-четырех человек. Его все терпеть не могли; от него не просто веяло тщеславием, как от Плеханова: он был весь

¹ Неуступчив (нем.).

воплощенное тщеславие. «Мартов ему покровительствует и хочет провести его в Феклу. Никогда не пройдет. Георгий Валентинович наложит вето, уж он-то его совершенно не выносит. И мне надоел со своим мефистофельским видом. Этот вид очень культивирует, особенно когда при деньжатах. А когда их нет, тотчас впадает в тоску...»

— Кончила! — радостно объявила Надежда Константиновна. — Теперь будем пить чай!

— Вот и хорошо.

Она достала чайник, который всегда возила с собой по разным странам, взглянула на мужа и на цыпочках вышла из комнаты. Он продолжал думать о съезде. Настоящая борьба должна была произойти лишь в конце, при обсуждении устава, при выборах редакции и Центрального Комитета. Знал, что до того депрессия у него совершенно пройдет. Обычно ей на смену приходил период необычайной, кипучей деятельности. В сотый раз подсчитывал соотношение голосов. Ему было известно, что многие социал-демократы в России с неудовольствием и с насмешками относятся к тому, что называли «эмигрантской склокой», «сварой», «грызней». Этих товарищей он считал уже совершенными дураками: они просто ничего не понимали. Действительно, вся его жизнь в эмиграции была сплошной «склокой». Ею заполнены и многочисленные томы его по форме скучнейших произведений (у него не было литературного дарования). Но, быть может, он — и только он — уже тогда понимал, что в этой склоке зародыш больших исторических явлений: были две партии, а для революции ему нужна была одна, — разумеется, под его единоличной и неограниченной властью: партия окольных.

— Разрешили вскипятить воду и дали чашки, — сказала Крупская, вернувшись с подносом. — Тут в Бельгии тоже пьют чай в чашках! Их стаканы от кипятку и полопались бы. Ну, посмотрим твои покупки. Верно, переплатил? И, пожалуйста, не сердись, Володя, что я не успела зашифровать в Женеве. Это моя вина. Ты не сердишься?

— Не сержусь, — рассеянно ответил он.

— Письмо страшно важное! Отлично ты им написал.

II

Аркадий Васильевич Рейхель не слишком охотно принял предложение Ласточкиных приехать к ним из Парижа в Монте-Карло. Ему не хотелось отрываться от работы в

Пастеровском институте и от привычных условий жизни. Люда решительно отказалась ехать с ним.

— Нечего мне у них делать, и вовсе я им не нужна, да и мне они не нужны. И зовут они меня, так сказать, «за компанию» с тобой, — говорила она.

— Мне неприятно вводить их в лишние расходы.

Рейхель жил на средства своего двоюродного брата. Они были дружны. Ласточкин по природе был щедр, а с тех пор, как разбогател, охотно дарил деньги даже чужим людям. Ему казалось совершенно естественным, что его молодой кузен, талантливый биолог, еще нуждается в его помощи. Спор между ними сводился к тому, что Аркадий Васильевич соглашался принимать только двести рублей в месяц, а Дмитрий Анатольевич предлагал ему гораздо больше. «Состязание в благородстве между двумя сверхджентльменами», — иронически, как почти всегда, говорила Людмила Ивановна. Она тоже была бескорыстна. Двухсот рублей было вполне достаточно при их скромной жизни, но Люда находила, что спорить не стоит и даже несколько смешно: уж если брать деньги у Ласточкина (это и ей было не совсем приятно), то совершенно все равно, брать ли двести или, например, четыреста. Как раз две недели тому назад, перед своим отъездом из Москвы за границу, Дмитрий Анатольевич прислал экстренную сумму, с очень милым и деликатным письмом: «...Надеюсь, вы на меня не рассердитесь, — писал он, — но ведь ты, Аркаша, не станешь меня уверять, будто ты мог кое-что отложить в запас. И Тане и мне советую отрывать тебя от лаборатории, да уж очень нам хочется увидеть вас обоих в Монте-Карло, мы больше года не виделись, а в Париж мы на этот раз заехать не можем: и туда, и назад едем прямо через Вену. Умоляем вас, приезжайте, хотя бы на две недели. К тому же ты ведь можешь рассматривать и эти деньги как «долг», уж если ты такой гордый чудак и не желаешь понять, что после жены и сестры ты для меня самый близкий человек на свете. Когда ты через год вернешься в Москву, ты легко найдешь хорошо оплачивающуюся работу. У нас теперь ученые институты растут как грибы. Итак, приезжайте непременно и телеграфируйте, на какой день приготовить для вас комнату».

Люда настояла на том, чтобы Рейхель принял приглашение. Она не прочь была пожить две недели в Париже без него.

— Как же я им объясню, что ты со мной не приехала?

— Объясни, как тебе угодно. Можешь сказать, что у меня очень много работы перед партийным съездом в Брюсселе.

— Это у них восторга не вызовет.

— Я давно примирилась с тяжелой мыслью, что проживу свой век, не вызывая восторга у московских буржуа.

— Если ты не поедешь, то надо вернуть Мите хоть половину его денег.

— Деньги занимают слишком много места в твоей психике. Но, пожалуй, верни. Если же он не примет, то отдай мне для партии.

— Партия занимает слишком много места в твоей психике.

— Хорошо сравнение! Впрочем, делай как хочешь.

Вышел холодок, вероятно, пятидесятый по счету в их жизни за последний год. Ссоры не было, но у обоих сколзнула мысль, что было бы не так страшно и расстаться. У Рейхеля любовь и вообще не занимала большого места в жизни, и он этим немного гордился.

В назначенный для его отъезда день оба встали очень рано. Умывшись, Аркадий Васильевич положил туалетные принадлежности в потертый, с оторванной ручкой, не запиравшийся чемодан. По выработанной Людой конституции, вещи всегда укладывал он. Все уложил с вечера. Так как поездка была «для отдыха», он взял с собой лишь немного книг, — в других случаях книги составляли его главный груз. Тем не менее туалетные принадлежности еле вошли, он с трудом стянул ремни. Люда с досадой смотрела на его высокую, нескладную, чуть сутуловатую фигуру, на мыло, зубную щетку, эликсир, завернутые в газетную бумагу, на чемодан, купленный в Москве на толкучем рынке: все-таки хорошо было бы иметь приличные дорожные вещи, за которые не было бы стыдно перед носильщиками.

— Если ты не желаешь казаться оборванцем, то купи, наконец, хороший мэдлеровский чемодан! — нередко говорила она. Так провинциальные журналисты иногда в передовых статьях писали: «Если Англия не желает опуститься до уровня второстепенной державы, то...» Аркадий Васильевич так же мало желал казаться оборванцем, как Англия опуститься до уровня второстепенной державы. Все же он хорошего мэдлеровского чемодана не покупал, — «устроимся в Москве, станем на ноги, тогда и купим».

Люда провожала его на Лионский вокзал. Перед уходом из дому простилась со своей кошкой Пусси, поцеловала ее и поговорила с ней на кошачьем языке. Рейхель только вздыхал. Эта кошка отравляла ему жизнь, рвала и пачкала мебель, вскакивала за обедом на стол, интересовалась его

тетрадьми. Как всегда, они не рассчитали времени и приехали за полчаса до отхода поезда.

— Я говорила тебе, что слишком рано едем! Что теперь здесь делать!

— Напротив, это я говорил, что слишком рано едем. Но тебе незачем оставаться на вокзале, поезжай домой или куда тебе нужно.

Она осталась, хотя знала, что разговаривать не о чем и незачем. Аркадий Васильевич купил билет третьего класса, обстоятельно расспросил в кассе, подан ли уже поезд и на каком пути он стоит, затем для верности спросил о том же контролера при выходе, еще у кого-то на перроне, прочел надпись «Париж — Вентимилия», осведомился у кондуктора, идет ли этот вагон в Монте-Карло без пересадки, и втащил чемодан в вагон. Люда шла за ним.

— Кулька с провизией в сетку не клади, положи на скамейку, — сказала она. — Посидим на перроне, здесь душно.

— А не стащат чемодана?

— Хоть бы какой-нибудь дурак нашелся, который тоже приехал бы на вокзал за час. Его можно было бы попросить, чтобы он присматривал. Нет, никто на твой драгоценный чемодан не польстится.

На перроне они заняли места на скамейке. Оба поглядывали на вагон, не выскочит ли вор с чемоданом. Рейхель с наслаждением закурил папиросу.

— Первая из пяти, полагающихся по моему правилу в день.

— У тебя на все правила! Разве так нужно жить человеку, да еще в двадцать девять лет?

— По-моему, именно так, и в двадцать девять лет, и в семьдесят девять... Все-таки Митя и Таня огорчатся и обидятся, что ты не приехала.

— А я совершенно уверена, что не огорчатся и не обидятся. Твоя Татьяна Михайловна и не так жаждет меня видеть. Помимо прочего, я не жена — просто, а «гражданская». Это к ее герцогскому стилю и не идет, они ведь в Москве теперь принадлежат к так называемому «лучшему» обществу. А ей надо быть особенно осторожной, потому что она еврейского происхождения, хотя и крещеная...

— Их общество не «так называемое», а в самом деле лучшее: цвет московской интеллигенции. И в нем о происхождении никто не думает, — сказал Рейхель без убеждения в голосе: он недолго любил евреев.

— Нет, к сожалению, думают везде, кроме нашего революционного круга.

— Вспомнила, однако, именно ты, хотя ты принадлежишь к «революционному кругу».

— Я, конечно, пошутила. Но Татьяну Михайловну я действительно не люблю и не понимаю, почему это надо скрывать? Как тебе должно быть давно известно, я вообще привыкла называть вещи своими именами.

— На вокзальном перроне можно и не говорить о твоей глубочайшей философии жизни.

— А в гостях у Ласточкиных я чувствую себя как свергнутый южноамериканский диктатор, укрывшийся в чужом посольстве: может быть, хозяева мне и рады, а вернее, они желают, чтобы я поскорее уехала. Со всем тем я ничего против них не имею. Дмитрий Анатольевич очень хороший человек, он в буржуазии белая ворона.

— То-то и есть, что ты всю буржуазию не любишь.

— Любить и не за что. Конечно, есть исключения. Дмитрий Анатольевич хоть понимает очень многое, он из лучших представителей своего класса и поэтому...

— Какой там класс! — сказал Рейхель, не дослушав.

— Да, да, знаю, никаких классов нет, и социологию вообще кто-то выдумал, а есть только биология, — сказала Люда пренебрежительно. — Но вот что, если тебе там будет приятно, то посиди в Монте-Карло несколько лишних дней. Я все-таки и сама поехала бы, если б не партийная работа. Так и скажи Дмитрию Анатольевичу, непременно скажи. Он, наверное, много мог бы рассказать о настроениях среди московских рабочих. Как это Татьяна Михайловна не заезжает на этот раз в Париж, к своему Ворту? — насмешливо спросила Людмила Ивановна. Она, впрочем, и сама, несмотря на скромные средства, одевалась недурно. Умела заказывать и покупать все недорого, сама, без парикмахера завивала волосы шипцами и «притиралась» (не принято было говорить: «красилась»). На ней и теперь, с утра был элегантный синий жакет с модной длинной расширявшейся книзу юбкой. Люда говорила некоторым знакомым, что «признает и абсолютную красоту, и условную красоту». Впрочем, такими изречениями не злоупотребляла. — Смотри: Джембул! — вдруг сказала она и радостно закивала хорошо одетому человеку, вышедшему из туннеля с двумя молодыми дамами (Люда быстро-внимательно их оглядела). Этот человек тоже радостно ей улыбнулся, снял шляпу и, что-то сказав дамам, подошел к Люде. Лицо у него было красивое — «из тех, что называют

породистыми, а глаза и губы из тех, что называют страстными или чувственными. На лбу следы шрама. Что еще за субъект?» — с неудовольствием подумал Аркадий Васильевич. — Какая неожиданная встреча! Вы не знакомы: Рейхель. Джембул.

— Очень приятно познакомиться. Я о вас слышал. Да, очень приятная неожиданность.

Он говорил с кавказским акцентом. Его дамы окинули Людмилу Ивановну не очень дружелюбным взглядом, прошли дальше и остановились у выхода.

— Вы уезжаете?

— Нет, я его провожаю. Да наденьте же шляпу... Откуда вы?

— Из Фонтенбло. Что Ленин?

«Значит, и этот из их компании», — с еще большим неудовольствием подумал Рейхель.

— Ильич? Ничего, все благополучно.

— Это нехорошо, человек не должен жить благополучно, — сказал, смеясь, Джембул. — Готовится к съезду?

— Готовится. А что вы? Получили мандат?

— Помилуйте, от кого? Но я все-таки приеду.

— Мы вам устроим совещательный голос.

— Не надо мне никакого голоса. Не люблю трюков. Не люблю и голосовать.

— Ось лихо! У меня у самой будет только совещательный.

— Вы другое дело... У вас отличный вид. Еще похорошели. И так элегантно, — сказал он. Был всегда очень вежлив и подчеркнуто любезен с дамами; но любезность точно бралась им в какие-то кавычки. Кое-кто находил ее «нахальной». «Глаза у этой Люды красивые, хоть «ложно-страстные», — определил Джембул.

— Мерси. Меня обычно бранят товарищи за то, что я стараюсь не походить на чучело вроде Крупской. А вот вы одобряете. Долго ли пробудете в Париже?

— Еще не знаю. Разрешите к вам зайти?

— Буду искренно рада. Вы всегда так интересно рассказываете.

Рейхель зевнул демонстративно. Джембул на него взглянул и простился, опять вежливо подняв шляпу над головой.

— Кто такой? — спросил Аркадий Васильевич. — От наружности впечатление: не дай Бог ночью встретиться в безлюдном месте.

— Ну вот, ты так всегда! Говоришь, что я не люблю буржуазию, а сам все больше ненавидишь революционеров.

С годами ты станешь черным реакционером!.. Он очень мне нравится. Красивый, правда? И вдобавок геркулес, хоть только чуть выше среднего роста. Интересный человек. О нем рассказывают легенды! Говорят, он с кем-то побратим! Ты знаешь, что это такое? Один разрезывает у себя руку, другой выпивает кровь, и с тех пор они братья до могилы!

— Я не знал, что этот обычай принят у марксистов, — сказал саркастически Рейхель. — С кем же он побратим? С Лениным или с Плехановым?

— Дурак! С кем-то на Кавказе. И еще у него, кажется, была там американская дуэль, если только люди не врут.

— Наверное врут, и с его же слов. Всех перевешать! — сказал рассеянно Аркадий Васильевич. Он часто ни к селу ни к городу произносил эти бессмысленные слова; впрочем, произносил их довольно мирно.

— Сейчас всех своими руками перевешаю.

— Как ты его назвала? Джамбул?

— Это, конечно, псевдоним. Он не то осетин, не то ингуш, или что-то в этом роде, во всяком случае мусульманин. Обе дамы красивые. Ведь у мусульман разрешается многоженство? — спросила, смеясь, Люда. — И какой учтивый, это у нас редкость... Ну вот, кричат «En voitures!»¹. Садись поскорее. Я тебе в кулек положила сандвичи, пирожки, яблоки. С голоду не умрешь. А то выброси кулек за окно и пойди в вагон-ресторан, я непременно так сделала бы. Ну, счастливого пути, Аркаша!

Они поцеловались.

— До свиданья, милая. Пожалуйста, помни, что, несмотря на страдания пролетариата, надо каждый день и завтракать и обедать. Не экономь на еде, лучше умори голодом проклятую кошку...

— Типун тебе на язык!

— «Нехай вина скажутся». Говорю в подражание тебе. Ты такая же украинка, как я. Или как римский папа. Умоляю тебя, не работай ни на кошку, ни на партию, нехай и вина скажутся.

— Отстань, нет мелких, — сказала Люда. У нее тоже были бессмысленные присказки. — Как это я еще тебя терплю?

— Грозное «еще».

— Сердечный привет Дмитрию Анатольевичу. Так и быть, кланяйся и его герцогине. И не забудь исполнить мою просьбу о Морозове.

¹ «По вагонам!» (фр)

— Исполню, но с проклятьями.

Как только Рейхель вошел в вагон, Людмила Ивановна направилась к выходу. Заключительной части вокзального ритуала, с воздушными поцелуями после отхода поезда, она не соблюдала. Своей быстрой энергичной походкой — всегда казалось, что она бежит, — прошла к киоску, купила газету, подумала, что возвращаться домой не стоит, они жили далеко, в меблированных комнатах около Пастеровского института, а часа через полтора у нее было назначено деловое свидание в центре города. «Разве выпить здесь чашку кофе?»

В кофейне она просмотрела газетные заголовки, большие и малые. О предстоявшем в Брюсселе съезде русских социал-демократов нигде не упоминалось. «Разумеется! Если б еще мы были жоресистами, тогда все же писали бы. Но мы настоящие революционеры, а они о революции думают как о прошлогоднем снеге».

К ней подошел котенок. Люда ахнула от восторга и заговорила по-кошачьи: «Бозе мой, Бозе мой, мы такие симпатичные, мы хотели бы выпить молоцка!» Вылила остаток молока на пол, котенок слизнул и ушел. Она обиделась. «Пора и мне уходить. Взять с собой газету? Не стоит. Пусть лучше гарсон прочтет, ему и это будет полезно для развития классового сознания. К какому классу принадлежат гарсоны?.. Аркаша, верно, уже погрузился в свой ученый хлам...»

Она еще называла его «Аркашей»; в третьем лице, в разговорах со знакомыми, говорила «Рейхель». «Неподходящее было дело», — думала Люда, разумея их связь, длившуюся уже более двух лет. Думала, однако, без сожаления: вообще над своими поступками размышляла недолго и почти никогда ни о чем не сожалела. «Сошлись, ну и сошлись. Он, верно, про себя имеет для этого какое-нибудь физиологическое объяснение: тогда очень долго не имел женщин, что ли? Можно и разойтись. Я отлично сделала, что отказалась пойти с ним в мэрию».

Людмила Ивановна с самого начала сказала Рейхелю, что стоит за полную свободу. — «Это, кажется, проповедует ваша товарищ Коллонтай... Как, кстати, о ней говорить: «ваша товарищ» или «ваш товарищ»? — «Мне все равно, кто что проповедует! Я живу своим умом. И ничего нет остроумного в насмешках над словом товарищ!» — «Да я нисколько и не насмехаюсь. Товарищи есть даже у министров. Я, впрочем, никогда не понимал, как это цари ввели такой фамильный чин. «Виц» был гораздо естествен-

нее». — «Хорошо, но, возвращаясь к делу, я тебя честно предупреждаю: если ты мне надоешь, то...» — «А почему тебе не сказать: «если я тебе надоем, то»?» — «Совершенно верно. То в обоих случаях мы миролюбиво расстанемся». Теперь думала, что Рейхель очень порядочный человек, но слишком сухой и скучный. «Не умный и не глупый. Ну, пусть поживет по-буржуазному и немного отдохнет от моих обедов с герцогиней Ласточкиной, пée Кременецку»¹. Люда уверяла, что умеет готовить только бифштекс и самую простую из тридцати французских яичниц. — «Да еще теоретически знаю, как варят борщ, — говорила она знакомым, — но он требует много времени, а Рейхель не замечает, что ест. Надежда Константиновна стряпает не лучше меня и за обедом вдобавок изрекает глубокие истины. Недаром Ильич любит пообедать в ресторанчике и тогда становится очарователен». Она обожала Ленина и недолюбливала Крупскую.

Аркадий Васильевич в самом деле тотчас углубился в книгу научного журнала. Мысленно подверг критике каждое положение работы известного ученого и признал ее неубедительной. Радостно подумал о своем собственном исследовании. Оно шло прекрасно. «Верно, вызовет шум. Но получить кафедру будет все же не так легко, как говорит Митя. Он просто этого не знает. Конечно, скажут: «Нет, молод, пусть поработает лаборантом». Идти в лаборанты ему очень не хотелось. «Разве Митя действительно достанет деньги и на институт? Вот было бы хорошо! Но и тогда, верно, скажут, что молод!» В последний год единственным его желанием было стать директором лаборатории, совершенно самостоятельным во всех отношениях. Главным препятствием была его молодость. «Дадут тогда, когда силы, творческие способности уменьшатся. Как глупо, как нелепо!»

На соседей по вагону он еле взглянул. У него была особенность: запоминал чужие лица только после довольно продолжительного знакомства, а случайных знакомых никогда при новой встрече не узнавал. Этот физический недостаток его огорчал, и он старался развивать свою зрительную память. Люда часто называла его пренебрежительно «гелертером»², и это его раздражало. «Ну да, если человек занимается наукой и не интересуется социал-де-

¹ «Урожденная Кременецкая» (фр.).

² Ученый (нем. Gelehrte).

мократическими съездами и бабьими финтифлюшками, то значит «гелертер»! На самом деле даже непохоже. Меня действительно не интересуют средние люди, но только средние. Когда я был в университете, мне хотелось написать монографию о Роджере Бэконе. Даже материалы стал изучать», — сказал он как-то Люде. — «А кто такой Роджер Бэкон? Спрошу Ильича, что он думает о Роджере Бэконе». — «Да твой Ильич, может быть, о нем сам не слышал. Ты у меня спросила бы, я рассказал бы тебе в свободное время». — «Ильич не слышал! Нет вещи, которой Ильич не знал бы. И уж извини, его мнение меня интересует больше, чем твое». — «В этом я ни минуты и не сомневался!» — это было их общее выражение, всегда приносившееся обоими с некоторым вызовом.

Соседи мешали ему сосредоточиться на ученой работе. Всего больше раздражал его пассажир, спавший против него со странно заложенными позади головы руками.

«Нормальный человек так спать не может, да и незачем утром спать. И ноги он вытянул довольно бесцеремонно, точно я не существую». Кто-то в отделении достал из мешочка еду, другие оживились и сделали то же самое. Рейхель отложил журнал и развернул свой кулек. «Позаботилась Люда!.. Собственно, я ничего не могу поставить ей в вину, кроме ее проклятой революционности. Но я знал, что она революционерка, следовательно, не могу упрекать ее и в этом. До сих пор не могу понять, зачем я ей тогда понадобился. Мало ли у них таких Джамбулов. Впрочем, нехорошо так думать, это не по-джентльменски». Он выбросил за окно пустой кулек, опять с досадой взглянул на спящего человека и углубился в журнал.

III

На вокзале в Монте-Карло поздно вечером его встретил Ласточкин. Татьяна Михайловна была не совсем здорова.

— ...Нет, решительно ничего серьезного, просто немного простужена. У нас здесь были и холодные дни, погода все менялась, а Таня легко простуживается. Сейчас ее увидишь, она нас ждет. Ну, как ты? Вид у тебя усталый. Переработался? За год ты еще похудел. Брал бы пример с меня.

— Да, ты немного полнеешь. Ты стал еще больше похож на Герцена, — сказал Аркадий Васильевич. — Люда шлет сердечный привет вам обоим.

— Не говори мне о Люде, я не хочу о ней слышать! Какое безобразие, что она не приехала! Что это за довод, будто она очень занята! Мы ее год не видели.

— Скоро мы вернемся в Москву.

— Да, но это не резон. Так хорошо провели бы с ней время в Монте-Карло... Хорош и ты! Приехал в третьем классе! Просто беда с вами... У тебя нет ничего в багажном вагоне?

— Ничего нет, я приехал налегке. В этом чемодане только белье, перемена платья и смокинг. Я ведь знаю, что в вашей гостинице смокинг необходим.

— Совершенно необходим. А из-за этого третьего класса ты опоздал к обеду. Мы и то удивились, узнав, что ты приезжаешь поздно вечером, есть лучшие поезда. ...Porteur!¹ — закричал Дмитрий Анатольевич.

— Собственно, и носильщик не нужен. Мой чемодан не тяжелый, легкий.

— Быть может, ты хочешь пешком тащить чемодан и в гостиницу? Всегда ты был чудачком и останешься им до седых волос... Не спрашиваю тебя о работе, знаю, что она идет прекрасно. Ты будущий наш Пастер!

— Не произноси всуе имя Пастера, — сказал Рейхель, впрочем довольный. Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, он не находил предмета для разговора. — А как твоё здоровье? Что одышка?

— Пока очень легкая. Верно, слишком много ем и пью. Ты не можешь себе представить, что творилось в Москве, особенно в пору праздников! На Новый год мы помимо того, что должны были разослать сотни поздравительных карточек и десятки подарков, еще...

— На редкость нелепый обычай! Я никому карточек не посылаю. Только даром люди тратят время и причиняют знакомым неприятность.

— Совершенно с тобой согласен, но не я этот обычай выдумал... А помимо этого, завтраки, обеды, ужины следовали один за другим — и какие! Мой врач уже грозит, что летом сошлет меня в Мариенбад!.. Вот извозчик, садись...

— А отчего вы не взяли с собой Нину? — спросил в коляске Рейхель.

— Ни за что не хотела поехать. Знаешь, она теперь погрузилась в архитектуру.

— Да, ты писал. Странное занятие для женщины! Если б ты хотел выстроить себе дом, поручил ли бы ты это

¹ Носильщик! (фр)

дело даме? Но чем же ей архитектура мешала поехать с вами?

— Вот поди ж ты, мешала! — ответил весело Ласточкин. — Теперь на Воздвиженке строится великолепное палаццо... Нет, не палаццо, а «палаты». Они у нас все, и купцы, и аристократия, помешались на русском стиле. Архитектор с немецкой фамилией строит... Как по-немецки «палаты»? Скажем, «палатен», «echt Russisch»¹. Я ей хлопотал разрешение следить за постройкой. Нина очень увлечена и проводит там целые дни. (Он знал, что его сестра не поехала с ними за границу не поэтому: просто не хотела им мешать и вводить их в расходы. «Так же щепетильна, как Аркадий. Оба чудаки», — подумал он, хотя и сам на их месте поступал бы точно так же.) А отчего женщине не быть архитектором? Не бойся, я не произнесу тирады в защиту женского равноправия и не сошлюсь на Софью Ковалевскую. Но я очень рад увлечению Нины. Это гораздо лучше, чем ждать, пока какой-нибудь холостяк удостоит ее внимания. Мне всегда было жаль девушек, у которых нет другого дела, как ждать появления жениха и тщательно это скрывать. Или еще, гораздо хуже, смотреть, как для нее *травят* жениха родные.

— Да, ты прав, — сказал Рейхель. — Какое прекрасное место Монте-Карло! И какой воздух!.. Этот сад, кажется, прозван «Садом самоубийц»? Здесь будто бы кончают с собой люди, проигравшиеся в притоне? — спросил он. Ласточкин поморщился.

— Вероятно, такие случаи очень редки. Никогда не мог понять, почему люди кончают с собой. Жизнь так прекрасна! Да еще расставаться с ней только потому, что не стало денег! Их очень легко наживать.

— Ну, не очень легко.

— Ты просто не пробовал. Если я вдруг потеряю состояние, которого у меня десять лет тому назад и не было, то я вздохну, сообщу Тане, она тоже вздохнет, а вечером пойдем в оперу, особенно если будут «Мейстерзингеры», это наша любимая, от нее веет радостью жизни. А на следующее же утро опять примусь за работу, и думаю, что скоро у меня опять появятся деньги. Впрочем, не сочти это за хвастовство или за излишнюю самоуверенность.

— Ты «победитель жизни», как, кажется, пишут романисты. Я уверен, ты со временем станешь одним из богатейших людей России, — сказал Аркадий Васильевич. Он

¹ «Подлинно русский» (нем.).

был лишь немногим более завистлив, чем другие люди; завидовал только прославившимся биологам и не завидовал богачам; но в тоне его скользнуло что-то неприятное. Ласточкин на него взглянул.

— На это пока очень непохоже, — смеясь, сказал он. — Вот мы и приехали.

Татьяна Михайловна ждала их в салоне роскошного номера. Ей было еще далеко до того возраста, когда человек уже не может быть вполне здоровым, когда люди начинают подумывать, от чего умрут, начинают соблюдать режим и следить даже за чужими болезнями. Но вид у нее был очень утомленный. Как всегда, она была хорошо и просто одета. Рейхель постарался запомнить ее пенюар: «Люда будет спрашивать. И ни под какую герцогиню Таня не подделывается. Ей от природы свойственна редкая благожелательность к людям, — думал Аркадий Васильевич с недоумением: он сам был совершенно лишен этого свойства. «Никогда никому ни одного неприятного слова не говорит». Это было верно. Самой основной чертой в Татьяне Михайловне была, как шутил ее муж, ее редкая «лояльность»: «никогда, например, не забывает хотя бы небольшой услуги, оказанной ей людьми, и уж этим людям верна до гроба».

Она расспрашивала Рейхеля об его работе, об их жизни в Париже, мягко попеняла, что он не привез с собой жену. «Моя работа ее совершенно не интересует, Люду она не любит, между тем она очень правдива. Странно».

— Привезли с собой «талисман», Таня, — сказал он, показывая на фотографию Дмитрия Анатольевича, стоявшую на столике в углу. Татьяна Михайловна засмеялась. Она обожала мужа. У них детей не было. Рейхель знал, что это было единственное горе их жизни. Это тоже очень его удивляло.

— Привезла, хотя оригинал находится тут же... Должно быть, вы очень проголодались, Аркадий? Хотите, мы закажем ужин сюда в номер, чтобы вам не переодеваться, — сказала она, скользнув взглядом по его потертому пиджачку с засыпанным перхотью воротничком.

— Какой там ужин! Я в вагоне очень плотно поел, Люда мне отпустила всего точно на полк солдат. Но вы не бойтесь, Таня, у меня есть смокинг, и я завтра же его к обеду надену. Правда, не очень элегантный. Я его купил в «Бон-Марше» готовым за сто франков. Спешно понадобился для парадного обеда.

Ласточкин благодушно улыбался. «Аркаша всегда говорит такие вещи точно с вызовом!» Рейхель помнил, что

еще в ту пору, когда они оба были бедны и он покупал подержанное платье, его старший кузен заказал себе костюм за тридцать пять рублей «из настоящего английского материала», — об этом почтительно говорили в их городке. Теперь Дмитрий Анатольевич одевался превосходно. В Петербурге заказывал костюмы у Сарра, а в последние годы кое-что заказывал в Лондоне у Пуля, к которому получил необходимую рекомендацию. Он умел хорошо носить даже сюртук, самый безобразный из костюмов.

Улыбалась и Татьяна Михайловна.

— Узнаю вас, Аркадий. Когда вы вернетесь в Москву, мы вами займемся. У нас и ученые хорошо одеваются. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей...» Но что же вы будете теперь делать, друзья мои? Не сидеть же вам весь вечер с бедной больной... Нет, нет, я этого не потерплю. Разве пойдете в казино? Не пугайтесь, играть совершенно не обязательно. Но и там нужен смокинг.

— Со мной пустят и без смокинга. Меня уже знают, достаточно оставил тут денег! — сказал Ласточкин. — Так ты решительно не пойдешь с нами, Танечка?

— Нет, поздно, я лягу, немного болит голова. Аркадий извинит меня, завтра обо всем как следует поговорим.

— Ну, что, как тебе нравится этот притон? — спросил Дмитрий Анатольевич, когда они, походив по раззолоченным залам, уселись за столик в кофейне. Рейхель предпочел бы вернуться в гостиницу и тотчас лечь спать: был утомлен дорогой и привык ложиться рано. Но ему казалось, что его двоюродному брату очень хочется поговорить. «Вероятно, об умном. В Москве Митя имеет репутацию «прекрасного передового оратора». Ох, недорого стоят все их легко приобретаемые общественные ярлычки».

— Да я здесь раз был два года тому назад. Разумеется, ни одного сантима тут не оставил. Не понимаю этого удовольствия. Эти груды золота на столах, эти искаженные лица игроков, которые старательно делают вид, будто им, при их богатстве, совершенно все равно. Неужели и ты, Митя, здесь много проиграл?

— Нет, не очень много. А если говорить правду, то в Москве теперь идет гораздо более крупная игра, чем в Монте-Карло. Один из Морозовых, Михаил Абрамович, в одну ночь проиграл миллион рублей табачному фабриканту Бостанжогло.

— Миллион рублей!

— Так точно. Ты не можешь себе представить, что такое нынешняя Россия. Мы все читали о разных Клондайках и Трансваалях, где люди быстро наживали огромные состояния. Так вот, наша милая старая Москва теперь почище всяких Клондайков. Наши богачи и живут так, как американские миллиардеры: по телеграфу, не глядя, покупают имения, виллы, чуть ли не заказывают экстренные поезда или отдельные вагоны. Это глупо, но наряду с этим они делают и очень хорошие, полезные дела.

Он заказал напитки и стал с увлечением рассказывать о Москве, о росте русской промышленности, о создающихся громадных богатствах, о больших частных пожертвованиях. Говорил он так хорошо, что и Аркадий Васильевич заслушался, хотя мало интересовался ростом русской промышленности. «Очень способный человек Митя, даже талантливый, но тоже кое в чем странный. Грюндер?¹ Нет, какой он грюндер? Скорее поэт», — подумал Рейхель, у которого поэт был едва ли лучше грюндера. Он впрочем любил своего двоюродного брата; любил бы еще больше, если б не был вынужден жить на его деньги. «И манера речи у него необычная, уж очень всех и все уважает», — думал Рейхель, почему-то вспомнив одного своего собрата, который никогда не говорил «Гёте» или «Леонардо да Винчи», а всегда «великий Гёте», «гениальный Леонардо да Винчи» и даже современников называл и за глаза по имени-отчеству: не «Мечников», а непременно «Илья Ильич Мечников».

— В известном анекдоте об Англии, — сказал Дмитрий Анатольевич, — британского помещика иностранцы спрашивают, почему в Англии такие превосходные луга, площадки для игр, для цветов. «Это очень просто, — отвечает помещик. — Надо только ухаживать за ними семьсот лет». Кажется, все восторгаются этим ответом. А я удивляюсь: хорошо было бы человечество, если б ему нужно было семьсот лет для устройства хороших лужаек и площадок! У нас теперь все создается со сказочной быстротой и тем не менее с любовью, со знанием дела, с размахом. Через четверть века Россия будет самой процветающей страной мира! — говорил Ласточкин. — Что было бы с ней уже теперь, если б была конституция, хотя бы куца! Но она скоро будет. Самодержавие идет к концу. Конечно, теперь промышленности первенствующее сословие России, а никак не дворян-

¹ Основатель (нем. Grunder).

ство, не понемногу исчезающий помещичий класс, на который самодержавие опиралось. Ты улыбаешься?

— Признаюсь, я не умею думать в категориях сословий. По-моему, «первенствующее сословие» это интеллигенция, какова бы она ни была по паспорту.

— В этом, конечно, большая доля правды, но интеллигенция была бы бессильна без мощи торгово-промышленного капитала. Он ее поддерживает и выдвигает. Да он с ней и сливается. Вот ты мечтаешь о биологическом институте в Москве. Я чрезвычайно этому сочувствую и сделаю все для осуществления этого дела. Но кто даст деньги? Не правительство, оно не очень этим занято. Деньги дадут именно московские богачи, и без всякой для себя выгоды. Просто из любви к культуре и по сознанию общественного долга. Пора перестать судить о них по пьесам Островского или Сумбатова. Поверь мне, я ведь их знаю лучше, чем писатели: я с ними годами работаю. Между ними есть истинно культурные люди. Я ничего не идеализирую. Есть тут, как везде, и снобизм, и тщеславие, и соперничество купеческих династий, все это так. У бояр было местничество, в маленькой степени оно есть и у нынешних тузов, они твердо помнят, кто когда вышел в большие люди, просто Рюриковичи и Гедиминовичи! Но главное их соревнование теперь, к счастью, в культурных делах. Первые из всех, кажется, Морозовы. Ты о Савве Тимофеевиче слышал?

— Не только слышал, но даже хотел о нем с тобой поговорить.

— Ты думаешь, что именно к нему надо обратиться за деньгами для института? Это так. Я именно его имею в виду, по крайней мере для почина. Видишь ли, на него может подействовать большое общеизвестное имя. Уж он такой человек. На славу падок. Был необыкновенно увлечен Максимом Горьким... Ты как к нему относишься?

— К Горькому? Никак. Да я почти ничего из его шедевров не читал и читать не буду. Не удивляйся. Я не прочел и четверти произведений Гёте, не все прочел у Вирхова, у Клода Бернара, так стану ли я тратить время на сокровища Горького?

— О нем и о Савве Морозове теперь больше всего и говорят у нас в Москве.

— Это делает Москве большую честь. Что ж, Люда находит, что Горький много выше Льва Толстого. Как же, ведь Горький — *наш*. Дальше она несет свою обычную ерунду о пролетариате и о классовой борьбе... Впрочем, я и к Толстому, которого ты боготворишь, отношусь довольно

равнодушно. Читал недавно его письма. До того, как он «просветлел», кое-что было интересно, но с тех пор, как он стал ангелом добродетели, адская скука. А что он несет о науке! Уши вянут!

— Тебе, видно, чувство благоговения вообще не свойственно! Толстой — величайшая национальная гордость, а ты его ругаешь! Неужели тебе не совестно?

— Нет, не совестно... А как продается твоя брошюра «Промышленный потенциал Донецкого бассейна»?

— Да это и не брошюра, просто доклад, который я не так давно прочел и даже не собирался печатать. Приятель-экономист без меня предложил издательству, где он сам печатается. Недавно он мне с огорчением сказал, что продается неважно, — ответил Дмитрий Анатольевич. «Едва ли один писатель очень огорчается оттого, что неважно продаются книги другого писателя», — подумал Рейхель. Ласточкин немного помолчал. — Аркадий, можно с тобой поговорить о твоих интимных делах?

— Пожалуйста.

— Скажу тебе правду, ни Таня, ни я не понимаем, почему вы с Людой до сих пор не узаконили отношений. Ведь могут быть осложнения, особенно когда будут дети.

— Люда не хочет детей. И не хочет законного брака. Говорит, что она против вечных отношений и отнюдь не уверена, что наши с ней отношения вечны.

— Не может быть!

— Так она говорит, и я с ней готов согласиться.

— Как странно! Но ведь ты ее любишь?

— Конечно, люблю, — сказал Рейхель холодно.

— Еще раз прости, что я об этом заговорил... Так возвращаюсь к Морозову. На него, по-моему, подействовало бы имя Мечникова. Ведь ты с ним хорош?

— С Мечниковым? Да, я его знаю. Мы не одного направления в науке.

— Ого! Не одного направления? Так направления есть и в биологии? И у тебя уже есть в ней направление? Это отлично. Но как ты думаешь, если б в Москве создан институт, Мечников согласился ли бы вернуться в Россию и стать его главой?

— Не думаю. Он слишком связан с Парижем, с Пастеровским институтом. Впрочем, я не знаю, — сказал Аркадий Васильевич, нахмурившись, старший кузен смотрел на него с благодушным недоумением. «Неужели Аркаша надеется, что он сам в свои годы может стать директором?»

— Ты мог бы быть его помощником или заведующим одним из отделений, — поспешно сказал он.

— Дело не во мне. И я вообще в данном случае имел в виду не институт.

— Что же другое?

— Видишь ли, за границей известно, что Савва Морозов дает большие деньги и на политические дела...

— Действительно дает. Сколько с него перебрал на это Горький, и сказать тебе не могу. Притом на политические дела разного направления. Конечно, в пределах левого лагеря, о правых Морозов и слушать не стал бы. Он дает деньги и либералам, и социалистам всех оттенков. Между нами говоря, я думаю, что он и не очень разбирается в политических вопросах. Однако при чем же тут ты? Ведь ты политикой не интересуешься?

— Я совершенно не интересуюсь, но Люда, как тебе известно, интересуется. Она социал-демократка. У них теперь идет борьба фракций. Скоро состоится какой-то съезд, и Люда надеется, что во главе партии станет ее вождь, некий Ленин.

— Он не некий. Я о нем слышал. Говорят, выдающийся человек.

— Люда просто на него молится и всегда о нем рассказывает разные чудеса, мне и слушать надоело. Ты, впрочем, и сам сочувствуешь социалистам. Так вот, Люда тебя просит: не мог ли бы ты посодействовать тому, чтобы этот Савва дал партии деньги?

— Да он и так дает. Говорят, через какого-то Красина.

— И о нем слышал от Люды. Тоже, кажется, процветающий социалист?

— «Тоже» относится ко мне? Не протестуй, я не обижаюсь. Да, я признаю, что в учении социалистов есть небольшая доля правды. Я и сам, случается, даю им деньги. Знаю, что в этом есть доля смешного. «В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию сделала знать, в сапожники, что ль, захотела». Ты скажешь, какая же мы знать? И ты будешь прав. Твой отец был аптекарем, а мой бухгалтером. Вот и еще довод, чтобы помогать нуждающимся людям. Я, как могу, и помогаю, — сказал Ласточкин и немного смутился, вспомнив, что помогает и своему собеседнику. — Но я дал себе слово, что Таня и я не умрем бедняками. Мне повезло, теперь, пожалуй, я и сам вхожу в «первенствующее сословие». Правда, социалисты именно у нас хотят все отнять, но...

— Не у «нас»: у меня ничего нет.

— Но шансов у них на это немного. В их партию, конечно, я не пойду, хотя бы потому, что во многом с ними расхожусь, и потому, что это не мое призвание. Я здесь читал их газетки без малейшего восторга. Уж если мы с тобой об этом разговорились, то добавлю, что как люди, просто как люди, они в большинстве мне не симпатичны. Это не только мое наблюдение. Ты знаешь, как умна Таня. Она моя жена, я могу быть к ней пристрастен, но я говорю искренно. Она и умом, и своей «добротой по убеждению» — не знаю, как определить эту ее черту иначе, — замечает очень, очень многое.

— Она прекрасная женщина.

— «Прекрасная женщина», — повторил Ласточкин, видимо недовольный таким определением. — Таких женщин мало на свете. Я всем обязан ей. («Чем это?» — подумал Рейхель.) Не говорю о мелочах. Мы когда-то жили на тысячу рублей в год, теперь проживаем около сорока тысяч, и хоть бы что в ней изменилось! Но во всем, во всем она постоянно меня изумляет, особенно своим простым, разумным подходом к жизни, тонкостью и «незаметностью» своих суждений о людях. Если есть женщина, совершенно не желающая ничем «блестеть», то это именно она. Между тем она умнее множества блестящих женщин.

— Не люблю «блестящих» людей вообще, а особенно блестящих женщин, с их утомительными разговорами, мнимым умом и сомнительными талантами.

— Ну, уж это слишком, — сказал с некоторым недоумением Дмитрий Анатольевич. — Мы почему заговорили о Тане?.. Да, так, видишь ли, мы теперь часто бываем в самых разных слоях общества. Зовут нас иногда в аристократические салоны, часто бываем и в обществе левых наших интеллигентов, настроенных почти революционно или даже вполне революционно. И Таня как-то мне сказала: «Разумеется, хорошие и плохие люди есть везде, это общее место, но мне кажется, что всего больше симпатичных, привлекательных людей теперь именно в среде либеральной русской буржуазии: она добра именно от своей удачливости».

— Ты, однако, только что говорил об ее снобизме и местничестве, — сказал Рейхель. «Ну, эта мысль Тани еще не так свидетельствует о тонкости ее ума! Митя в нее влюблен и теперь, как в пору их женитьбы», — подумал он.

— Где этого нет? Есть и у левой интеллигенции. Все познается по сравнению. Буржуазия и жертвует больше,

чем все другие. Разумеется, я хочу сказать, больше пропорционально.

— По-моему, ты себе несколько противоречишь.

— Может быть. Ты, кстати, видел ли людей, которые себе никогда не противоречили бы? Я что-то таких не знаю... «Кающиеся дворяне» у нас были, «кающиеся буржуа» есть сейчас, но кающихся революционеров как будто нет. Ах, как жаль, что Люда не приехала, — сказал он со вздохом, — я с ней поспорил бы. Разумеется, я не отказываюсь исполнить ее желание. Однако нельзя же просить Морозова сразу о двух вещах: и о биологическом институте, и о деньгах на социал-демократическую партию.

— Тогда, разумеется, проси об институте.

— Ясное дело. Но я не могу отказать Люде. Знаешь что, у Саввы Тимофеевича есть молодой племянник, некий Шмидт, уж не знаю, как в их ультрарусскую семью попал человек с немецкой фамилией. Этот Шмидт самый настоящий революционер. Я его знаю. Хороший человек. Он далеко не так богат, как Морозовы, но все-таки деньги у него большие, и он их раздает щедро. Я с ним поговорю о просьбе Люды и думаю, что он мне не откажет... Странная семья эти Морозовы, особенно Савва Тимофеевич. У меня к нему, не знаю почему, очень большая симпатия, мне даже самому совестно: ведь, в конце концов, независимо от его достоинств, главная его сила в огромном богатстве. Если б он был беден, люди им интересовались бы неизмеримо меньше.

— Даже совсем не интересовались бы, — вставил Рейхель.

— Он очень странный человек. Вот ты упомянул о самоубийцах, — опять поморщившись, сказал Ласточкин. — Близкие к нему люди рассказывали мне, что самоубийство у него любимая тема разговора!

— У Морозова-то? Значит, он с жиру бесится.

— В нем есть потемкинское начало. Я где-то читал, будто князь Потемкин однажды за ужином сказал что-то вроде следующего: «Все у меня есть! Хотел иметь миллионы — имею! Хотел иметь великолепные дворцы — имею! Хотел иметь сильных мира у моих ног — имею! Все имею!» Сказал — и вдруг с яростью и с отчаяньем рванул со стола скатерть с драгоценной посудой, разбились фарфор и хрусталь! Так и Морозов имеет решительно все и, в отличие от Потемкина, от рождения. Должность князя Таврического была все же не синекура, — сказал с усмешкой Дмитрий Анатольевич, — а Савва Тимофеевич только дал себе труд

родиться сыном, внуком, правнуком богачей. Ну, хорошо, бросим это... Скажи, а Люда не влопается в историю? Ты говоришь, съезд. На нем могут быть и секретные агенты полиции. Вдруг ее арестуют на границе, когда вы вернетесь в Россию, а? Стоит ли рисковать?

— Я ей все это говорил сто раз. Но Люда упряма как осел, — сказал Рейхель.

Дмитрий Анатольевич поморщился.

— Правда, волка бояться — в лес не ходить. Но с твоей точки зрения, политика вообще ерунда, ведь так? Ты мне когда-то говорил, что единственное важное дело в жизни — это биология и что величайший в мире человек — Пастер.

— И правду говорил. То есть *настоящий* Пастер, а не католик с мистикой и метафизикой. А по-твоему, кто величайший?

— Не знаю. Но не беспокойся, я не отвечу: Савва Морозов, — весело сказал Ласточкин.

— И на том спасибо.

— Разве ответишь на такой вопрос в одной фразе?.. Недалеко отсюда есть площадь, с которой Сантос-Дюмон недавно совершил свой знаменитый полет. Он продержался в воздухе почти две минуты!

— Так он, что ли, великий человек? Это просто акробатия.

— Не говори! Это зародыш чего-то очень большого. Я читал его интервью. Он взял себе девиз из Камюэнса: «*Portaeres pupsa d'antes navigata*». Кажется, так? Я по части литературы швах, хотя стараюсь следить.

— Я и не стараюсь. А что это значит?

— «Плыть по морям, по которым никто еще никогда не плавал». Прекрасный девиз, так надо бы и всем нам, грешным.

Он заговорил о воздухоплаванье с еще большим увлечением, чем прежде о хозяйственном росте России. Рейхель слушал теперь несколько недоверчиво.

— Если б я был очень богат, то попытался бы создать в России воздухоплавательную промышленность!

— Очень уж ты увлекаешься, Митя, — сказал Аркадий Васильевич. — А что, кстати, твоя пишущая машинка?

Ласточкин вздохнул. Он был по образованию инженер-механик и составлял в свободное время проект пишущей машины, с русским и латинским шрифтами, — первой русской пишущей машины, которой в честолюбивые минуты хотел дать свое имя.

— Подвигается, но уж очень медленно, у меня так мало времени, — ответил он и учтиво-холодно поклонился появившемуся на пороге кофейни очень элегантному, красивому человеку. Тот, чуть прищурившись, наклонил голову и, окинув кофейню взглядом, вышел.

— Кто это? — спросил Аркадий Васильевич. — Не сами ли принц монахский? Уж очень королевский вид.

— Не принц, но граф. Это австрийский дипломат, с которым мы познакомились в поезде, когда ехали сюда из Вены. И имя у него шикарное: граф Леопольд Берхтольд фон унд цу Унгарштитц. Очень высокомерный человек. Вся эта каста еще думает, что призвана править Европой. На самом деле прошло или проходит ее время, и слава Богу, — сказал Дмитрий Анатольевич. — А то она непременно довела бы Европу до войны. И не по злой воле, а просто по наследственному злокачественному легкомыслию.

— Ну, и у нас есть люди такого типа. Даже в интеллигенции. Почти все русские, которых я встречаю в Париже, германофобы. Между тем немецкая наука теперь первая в мире.

— Никакой войны больше не будет. Это было бы слишком, чудовищно глупо.

— Да, может, потому и будет, что чудовищно глупо.

— Уж ты хватил! Я начисто отрицаю пессимизм и мизантропию. Они только мешают жить и работать.

— Мне нисколько не мешают, — возразил Рейхель.

IV

Этому человеку не везло в молодости. Он довольно долго жил в нищете. Социалисты в ту пору говорили и даже думали, что таков «принцип буржуазии»: не давать пролетариям возможности выходить в люди. Разумеется, никогда у правящих классов такого принципа не было. Во все времена они старались привлекать к себе отдельных способных людей из низов и позднее ими хвастали. И лишь чистой случайностью надо считать то, что очень небогатая, мало смыслившая в политике буржуазия, мирно управлявшая делами в Довии, в Форли, в Предаппио, не обратила внимания на этого молодого человека. Вдобавок семья его была хоть и крестьянская, но старая, жившая в этих местах столетия, а сам он был, при тяжелом и буйном характере, человек чрезвычайно способный, и ум у него был живой, и руки были золотые; он имел какой-то школьный диплом и

уже тогда немного владел иностранными языками. Некоторые земляки считали его не совсем нормальным. В школе он был груб с товарищами, особенно с теми, у которых были состоятельные родители, вечно дрался, однажды пустил чернильницей в учителя. Учился же недурно: вышел первым по итальянской литературе и по музыке.

Девятнадцатилетним юношей он переселился в Лозанну. Его там считали политическим эмигрантом, но это было неверно. Получив на родине место школьного учителя, он скоро признал, что учить маленьких детей для него дело неподходящее; государство щедро оплачивало его труд 56 лирами в месяц; стоило попытаться счастья в других странах; а ему вдобавок очень хотелось путешествовать, видеть новое, иметь приключения.

Однако в Швейцарии в первое время пришлось ему уж совсем туго. Он развозил по лавкам в тележке вино, работал, как полагалось, одиннадцать часов в сутки, получал по тридцать два сантима в час, порою ночевал в сорном ящике. Случалось, просил милостыню, стучал в окна и грубо требовал хлеба, — иногда и получал. Впоследствии сам рассказывал, что как-то, увидев в пустом саду двух закусывавших на скамейке английских туристов, насильно отобрал у них хлеб и сыр (может быть, и привирал).

Он находил время для чтения. Читал без разбора, но преимущественно серьезные книги: Ницше, Штирнера, Нордау, Кропоткина. Станным при его характере образом подпадал под влияние чуть ли не каждого знаменитого автора. Прочел Коммунистический Манифест и объявил себя марксистом. Где-то раздобыл медаль с изображением Карла Маркса и всегда ее при себе носил. Впрочем, называл себя и анархистом. Скоро он стал встречаться с революционерами и с революционерками. Всегда нравился женщинам, даже до времени своей мировой славы. С одной не повезло.

Жить ему хотелось страстно, необычайно, много более жадно, чем хочет жить громадное большинство людей. И аппетит у него был волчий. Он часто останавливался у окон дорогих ресторанов, смотрел, как едят и пьют туристы, заглядывался на хорошо одетых дам. Говорил товарищам: «Как я ненавижу богачей! О, проклятая нищета! Сколько же времени мне еще придется все это терпеть!» По вечерам делал то, что полагалось делать настоящим эмигрантам, пока с годами им это не надоедало: посещал митинги, слушал заезжих ораторов, Жореса, Бебеля, Вандервельде. Они говорили дело, и говорили хорошо, но ничего особенного в их ораторском таланте он не находил:

сам мог бы сказать не хуже, да вопрос не в том, как говорить, а важно, *кто* говорит: одно дело, если знаменитый член парламента, а другое — если эмигрант в лохмотьях. У Жореса хоть голос был особенный, медный, громоподобный, а у других и этого не было. Расспрашивал о них. Многие социалисты вышли из настоящей богатой буржуазии: им было нетрудно выбраться в люди. Правда, Бебель будто бы был в молодости рабочим, но выдвинулся тогда, когда еще почти никакой конкуренции не было. «Ученые? Едва ли, разве только опять-таки Жорес, а Бебель и знает не больше, чем я. Сыты, хорошо одеты, живут именно как буржуа. И только я один голодаю и не выхожу в люди!» — с все росшей ненавистью думал он.

Больше всего он ненавидел бы Бога, если б не знал с мальчишеских лет, что никакого Бога нет; ему объяснили старшие товарищи: об этом серьезно и говорить нельзя. Решил раз навсегда все объяснить всем. В Лозанну приехал из Рима для религиозной пропаганды, для диспутов с неверующими, пастор Талиателли. Такие диспуты происходили тогда нередко, особенно в Париже. Знаменитый анархист Себастиан Фор ездил по Франции с одной и той же лекцией: «Двенадцать доказательств того, что Бога не существует».

Фор был превосходный оратор, его лекции неизменно собирали огромную толпу, и возражать ему приходили ученые, красноречивые священники. В Лозанне же все было гораздо скромнее, публика состояла из простых людей, они спорить не умели, хотя, быть может, религиозными вопросами интересовались; часть их аплодировала священникам, часть безбожникам. В этот день, 7 сентября 1903 года, никто из оппонентов не пришел, и слушатели после лекции уже вставали с мест, когда кто-то из публики сказал:

— Я прошу слова!

И даже не сказал, а прокричал с такой силой и резкостью, что все насторожились; вышедшие люди остановились у дверей. На трибуну поднялся бледный человек в лохмотьях, с худым, изможденным лицом, с густой щетиной на щеках, с блестящими черными глазами, с выдающимся подбородком. Он был похож немного на Паганини, немного на Бонапарта и очень этим гордился. Его голова была бы интересна и Рембрандту, и Лафатеру.

— Меня здесь никто не знает, — громко, отчетливо сказал он, откинув назад голову. — Зовут меня Бенито Муссолини. Я итальянский эмигрант, чернорабочий. Я долго говорить не буду, скажу только несколько слов. Но для

этого мне необходимы часы, а у меня часов нет, они мне не по карману. Не даст ли мне кто-либо свои?

Публика смотрела на него с недоумением, его действительно никто не знал. Слушатели не спешили исполнить его желание, — вдруг и не отдаст? Пастор с улыбкой протянул ему свои часы. Он поблагодарил.

— Теперь без пяти минут одиннадцать, — еще громче и отчетливее сказал он. — Я утверждаю, что никакого Бога нет! И приведу только одно доказательство. Даю вашему Богу, уважаемый пастор, пять минут времени. Если он существует, то пусть поразит меня за богохульство...

И, подняв глаза к потолку, обращаясь к Богу, прокричал грубую брань.

Публика молча с изумлением смотрела то на него, то на пастора.

— Как видите, нет Бога! — с торжеством сказал он через минуту. Знал, что пять минут ждать нельзя: пропадет эффект. Положил часы на стол и сошел с трибуны.

Эффект оказался большой. Пастор Талиателли взволнованно вызвал его на большой, серьезный диспут. Он принял вызов. Диспут действительно скоро состоялся. О Муссолини заговорили, публики пришло много, его речь против религии была напечатана каким-то издательством.

С той поры он особенно острой нужды не знал. Начал писать в революционных изданиях, они что-то платили, хотя и очень немного. Писал статьи богохульные и статьи политические об итальянских и русских делах. Когда царь должен был приехать с визитом в Италию, Муссолини напечатал статью о «зловещем палаче с берегов Невы». Много позднее, всего лет за десять до своего прихода к власти, написал восторженную статью об убийстве Столыпина и призывал к цареубийству. Выступал на маленьких собраниях, говорил о «социалистическом фагоцитозе», сходном с «фагоцитозом физиологическим», который открыл русский ученый Метцников (то есть Мечников). Получил от рабочих карточку на бесплатные обеды. Кое-какие гроши присылала из Италии мать. Таким образом мог жить, хотя и скудно.

Разумеется, вскоре после его смерти, были, с оглаской на весь мир, напечатаны сенсационные документы, «неопровержимо доказывавшие», что Муссолини был в то время тайным агентом политической полиции. Так было, в силу комического «закона истории», и с другими диктаторами или полудиктаторами после их смерти (о Троцком это еще при его жизни доказывали два очень осведомленных —

каждый по-своему — человека); только о Ленине этого не говорили и не писали: уж слишком было бы глупо. На самом деле никогда Муссолини тайным агентом полиции не был. Напротив, очень рано, еще в Швейцарии, попал под надзор двух полиций.

Швейцарские власти скоро его выслали. Он был и польщен, и раздражен. «Выслали как бешеную собаку, чтобы не заразила», — позднее говорил он. Высылка на родину была для него опасна, хотя и не из-за политики он в свое время не явился к отбыванию воинской повинности, был объявлен дезертиром и заочно приговорен к году тюрьмы. Но, как обычно во всех почти странах, действия полиции не отличались большой осмысленностью. Швейцарские жандармы грозно надели на Муссолини наручники и довели его до границы, там наручники сняли и строго-настрого приказали ему идти дальше. Он вернулся в Лозанну и «перешел на нелегальное положение». Впрочем, по случаю рождения наследника итальянского престола, дезертирство подпало под амнистию, и Муссолини вернулся на родину.

В Италии он отбыл воинскую повинность, опять был учителем, женился, писал революционные и кровожадные статьи. Написал и какой-то роман. Писал очень быстро, в четверть часа статью или главу романа. Имя теперь у него было, хотя еще и небольшое, — на митингах его иногда по ошибке называли «товарищ Муссолино». Он восхищался Маратом, но восхищался и Наполеоном. Часто повторял наполеоновские слова: «Революция — это идея, доставшая для себя штыки». Эти слова он позднее выбрал девизом для своей газеты «Пополо д'Италия». Штыков у него пока не было, идея же была, впрочем, чужая и довольно распространенная. Он был членом социалистической партии.

Партийная аристократия его недолюбливала: «Способный человек, но мегаломан: все о себе!» Муссолини ее совершенно не выносил, как ненавидел и всех демократических правителей: везде, под видом народоправства, правят два десятка людей. Они делят между собой портфели, постоянно сменяют друг друга, ничем друг от друга не отличаются, все друг друга ненавидят, и все между собой на «ты» как каторжники. Хоть были бы очень умны и способны! И этого нет! «Где им до меня!» Действительно у него не так давно состоялся публичный диспут с самим Вандервельде. Оба умели и говорить и орать, оба знали цену аудитории. Спор был о религиозном вопросе. Вандервельде — почему-то с шуточками — защищал полную свободу всех религий. Муссолини — с поддельным, вероятно,

бешенством — в самых ужасных, непечатных выражениях ругал Христа, апостолов и христианское ученье. Голос у него был громче, чем у Вандервельде; еще больше было и напористости.

Он часто переезжал из одного города в другой. Случались с ним разные скандалы; в ту пору он еще пил вино, но пьяницей никогда не был. Питался капустой и редиской. Теперь обычно был бодр и жизнерадостен. Одевался уже лучше, отпустил себе черную бородку. Играл на скрипке, с ней расставался неохотно. Громко и с чувством декламировал на память стихи Кардуччи, особенно «дьявольские». Занимался атлетикой, развивал в себе физическую силу: очень полезна для политического деятеля.

Как-то он задержался в Милане. Возвращаясь под вечер домой, зашел в библиотеку и взял наудачу книгу Макиавелли. О нем много слышал и гордился тем, что этот знаменитый мыслитель был итальянец; правда, говорили о нем не только хорошее: «проповедовал коварство».

Книга потрясла его. В ней все было так ясно, так понятно, — как только ему самому все это не приходило в голову! «Да, да, люди неблагодарны, переменчивы, скрытны, трусливы и жадны. Все ставят себе одну цель: славу и богатство. И не достаточно ли взглянуть на лица Бебеля или Вандервельде, чтобы понять: все они думают только о своей славе, а никак не о счастье человечества. Какой же вывод делал из всего этого гениальный итальянец, живший несколько веков тому назад и так верно понимавший людей?»

«Правитель должен заботиться о том, чтобы никогда у него не вырывалось хоть единое слово, не проникнутое указанными добродетелями. Глядя на него, слушая его, люди должны думать, что он так и дышит добротой, искренностью, гуманностью, честью, особенно же религией — это важнее всего другого. Ибо все видят, кем ты кажешься, и лишь немногие понимают, кто ты такой на самом деле, да и эти немногие не смеют восстать против мнения большинства. К тому же в действиях людей, особенно правителей, — их к суду не привлечешь, — важен только результат. Вульгарную массу всегда обольщает видимость и дело, а вульгарная масса это и есть мир... Не должен умный правитель исполнять свои обещания, если исполнение ему вредно и если больше не существуют условия, при которых он эти обещания дал. Этот мой совет был бы, без сомнения, дурен, если б люди были хороши, но так как они дурны и так как сами они, конечно, не исполнили бы своих обещаний, то почему ты был бы обязан держать твое? К

тому же разве правитель не найдет всегда доводов, чтобы разукрасить неисполнение своих обещаний?.. Александр VI только и делал, что обманывал, ни о чем другом он и не думал и всегда имел для этого случай и возможность. Никогда не существовало другого человека, который с большей уверенностью говорил бы одну вещь, подкреплял бы ее большим числом клятв и был бы меньше им верен, чем он. Обман удавался ему всегда, ибо он в совершенстве знал это дело...»

«*E ad mondo non e se non vulgo*»¹, — повторял он мысленно. Он плохо помнил, что именно делал папа Александр. «Кажется, убивал людей. Это ни к чему. Сам Макиавелли думал, что казней должно быть возможно меньше. Обман совершенно другое дело». Теперь жалел, что в Лозанне произнес богохульную речь. «Разумеется, Бога нет, но лучше говорить, что Бог существует, или молчать об этом. Правда, Карл Маркс поступал иначе, и он тоже был великий человек, хотя и не итальянец. Но он жил в другое время». Ему теперь казалось, что он нашел нечто общее в Марксе и в Макиавелли, не только в их характере, — оба, конечно, не любили людей, но и в их философском отношении к миру. Оба говорили о том, что *есть*, а не о том, чего бы им хотелось. Маркс говорил о борьбе между классами, а Макиавелли о борьбе между людьми. «И может быть, хозяином мира будет тот, кто их сумеет объединить...»

Его волнение все усиливалось. «Да как же люди, за исключением очень немногих, так лживо и лицемерно говорят об этой книге! Коварство? Какое глупое, комическое слово! Это самая настоящая правда жизни! В малом *все* это делают и либо старательно это скрывают, либо сами не замечают, что гораздо хуже! А если это делать в *большом*, то успех обеспечен. Теперь обеспечена моя карьера! И неправда, будто этот великий человек был пессимистом. Пессимисты — трусы, это ругательное слово, а он был гений. Ему не везло в жизни? Но это объясняется только тем, что он о своих идеях заботился больше, чем о себе. Да и разве ему не везло? Он своими идеями добился бессмертной славы, а я добьюсь ее своими делами. И это еще лучше: человек всегда важнее, чем его мысли. Теперь, пока, самый верный путь: социализм, революция. А там дальше будет видно».

Утром он рано вышел на прогулку, не сиделось дома. Хотел еще раз все обдумать, — при быстрой ходьбе многое

¹ «Обратиться к миру не значит к толпе» (*итал.*).

и в мыслях становилось гораздо яснее. Погода была прекрасная, солнце и ветерок, — такая погода, при которой все кажется возможным и даже легким. Было воскресенье, искать работы не приходилось. Решил осмотреть Милан; знал его не слишком хорошо, а в своей стране, ему теперь казалось, надо знать *все*. У него было радостное сознание, что случилось нечто очень важное, меняющее его жизнь.

«Да, это так, как я понял вчера, — думал он. — Я теперь вижу и ошибку Маркса. Он исходил из предположения, будто люди руководятся своими интересами. Отсюда и его классовая борьба. Она, конечно, есть, но очень большого значения не имеет... А еще какой-то француз, — кажется, Декарт? — в основу жизни клал разум. И оба они ошибались: люди руководятся не разумом и не интересами, а страстями и вековыми инстинктами. Надо пойти еще дальше, чем пошел Макиавелли. Да, надо раз навсегда понять, что человек ничего не смыслит, что он не может вести себя согласно требованиям разума, часто не понимает своих собственных интересов, еще чаще им не следует. Он думает сегодня одно, завтра противоположное, и ему тоже можно и нужно говорить сегодня одно, а завтра совершенно другое. Он даже и не заметит. Лишь бы только образованное дурачье ему не напоминало и не разъясняло, и уже по одному этому не следует давать свободу образованному дурачью. Свобода может быть только у больших людей, желающих прожить свою жизнь как следует. А это надо делать умеючи и осторожно, иначе сорвешься в самом начале и отправят в тюрьму или в каторжные работы, как того убийцу в русском романе. Он по глупости убил старушку для каких-то сотен лир. Да и этого он не сумел как следует сделать... Вот этот собор, это тоже сила и даже большая, хотя все-таки не очень большая. Зачем я тогда нес вздор пастору? Людей одинаково можно уверить и в том, что Бог есть, и в том, что Бога нет. А это надо делать в зависимости от многих обстоятельств», — думал он, проходя по Piazza del Duomo.

Церкви, музеи, все старое ему мало нравилось, картин существует слишком много, не запомнить даже имен художников, кроме самых знаменитых, да и те ни к чему. Все же он заглянул в собор, все начинали с него осмотр города. Гид, показывавший его туристам, сообщил, что три окна — самые большие в мире. Это было приятно, но удовольствие уменьшалось от того, что они были работы какого-то французского мастера.

У Брера он увидел конную статую Наполеона I. Лошадь была уж очень пышная, таких не бывает, особенно в похо-

дах. А на лицо императора он смотрел с восхищением: тоже великий человек и, во всяком случае по крови, итальянец. Затем повернул назад, прошел мимо театра Скала, — чуть ли не самый знаменитый оперный театр в мире — итальянский. Ему не очень хотелось побывать на спектакле, но его раздражили цены на афише, — нельзя было бы пойти, хотя бы и хотелось. Вошел в галереи Виктора-Эммануила, и тут его раздражение перешло в бешенство, памятное ему по первым дням Лозанны. Хотелось купить все, — начать бы вот с этого костюма в 169 лир! Тогда с ним и в партийном комитете говорили бы иначе. У богатых людей — «*cupidi di guadagno*»¹ — есть и фраки, и смокинги, и сюртуки!

Из галерей он направился в неисторические кварталы города. Новым, хозяйским взглядом замечал неустройство, грязь, неподстриженные кусты, потускневшую краску домов, беспорядок в движении трамваев. Вышел на Piazzale Loretto и почувствовал голод и усталость. Справа от Корсо Буэнос-Айрес была кофейня, но, очевидно, дорогая. Столики террасы были накрыты чистенькими скатертями, хорошо одетые люди пили и ели что-то необыкновенно вкусное. На висевшей у входа раскрашенной карте было блюдечко с мороженым разных цветов, с фруктами, с ягодами, с вафлями. Узнал, что это называется «*Corra Ambrosiana*»².

Теперь знал, что будет у него и *Corra Ambrosiana*, и все другое. Но раздражение от этого не проходило. В дешевой лавочке он купил хлеба и кусок горгонцолы. Где-то присел на скамейке, позавтракал и осмотрелся как следует. Посредине площади — и даже не посредине, а как-то неровно — сбоку — была жалкая растительность, — а можно было бы тут устроить прекрасный садик. И дома тоже были несимметричные, грязно-желтых цветов, только бездарные люди могли выстроить такие здания. Один дом, на углу Корсо Буэнос-Айрес, выходил на площадь стеной без окон, — дурачье! Около этого дома было странное строение, все из железа, с огромным *крюком*. Он долго на него смотрел, — зачем тут крюк? Солнце розовыми лучами освещало на доске афишу с надписью крупными печатными буквами: «*Evitate rumori inutili*»³.

¹ «Жадных до прибыли» (итал.).

² «Чаша с амброзией» (итал.).

³ «Не шумите» (итал.).

Люда приехала в Брюссель 30 июня, в самый день открытия съезда. Рейхель дал ей на поездку полтора ста рублей. Она всегда очень ценила его щедрость и джентльменство в денежных делах. Знала, что у него у самого осталось мало; сначала говорила, что возьмет только сто, но согласилась: ей писали, что съезд может затянуться.

— Деньги, конечно, даром выброшены, вся твоя поездка совершенная ерунда, но бери полтора ста, — говорил Аркадий Васильевич. — А то можешь остаться без гроша, да еще в чужом городе. У всех товарищей, вместе взятых, впредь до социальной революции не найдется и ста рублей, да они тебе все равно и не дали бы.

— Отстань, нет мелких.

Опять был проделан ритуал проводов, и опять оба вздохнули с некоторым облегчением после отхода поезда. Все же на этот раз Люда на прощанье поцеловала Рейхеля почти с нежностью, чего с ней очень давно не было. Ей вдруг стало его жалко. «Бедный сухарь! Он не виноват, что такой. Но и я не виновата. Ох, тяжело с ним...» Ей все больше казалось, что скоро в ее жизни произойдет перемена.

Поезд пришел в Брюссель в первом часу, а съезд открывался в два. Времени для поисков гостиницы было мало. Люда остановилась в первой у вокзала, приличной и не слишком дорогой. Комната стоила всего три франка в день; внизу была общая гостиная, где можно было бы принимать людей. «Вдруг кто-нибудь зайдет». Она привела себя в порядок, надела другое платье, хорошее, но не самое лучшее. Не было времени и для завтрака, выпила только чашку кофе, съела сандвич. «И так опоздала! Обедать будем, верно, все вместе с Ильичом, с Мартовым, быть может, и с Плехановым. Наконец-то увижу и Плеханова!» — радостно подумала Люда. В Женеве она его не встречала: хотела было зайти познакомиться или, вернее, представиться, но ей сказали, что он, должно быть, ее не примет, к нему попасть не так легко, жена оберегает его покой.

Она не знала города, пришлось нанять извозчика, — «только на первый раз, потом буду пользоваться трамваем». Номер дома дала не тот, что значился в ее бумажке, а к нему близкий: «Неловко приезжать как барыня». Подошла к указанному номеру пешком и остановилась в недоумении: «Какой-то амбар! Не ошибка ли? Не может быть, чтоб съезд был в амбаре!» Слышала, что на социалистических конгрессах обычно вывешиваются у дверей красные флаги.

Никаких флагов не было, но у открытых ворот висел лист бумаги с надписью чернилами по-русски. Наверху было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а в середине крупными неровными буквами: «Съезд Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Прочла это с радостным волнением. Ворота были отворены, прохожие удивленно заглядывали в амбар, Люда тоже заглянула, увидела стол и стулья и нерешительно вошла. Недалеко от входа стоял знакомый: Кольцов. Лицо у него было торжественное. Он ласково с ней поздоровался.

— Добро пожаловать. Садитесь, где хотите. А то можете еще погулять. Съезд откроется с маленьким опозданием, — сказал он и тотчас обратился к кому-то другому. Ее окликнул знакомый голос.

— Людмила Ивановна! Как поживаете?

Она ахнула: Джамбул.

— Как я рада! Где вы сидите? Можно подсесть к вам?

— Разумеется, можно и должно. Но лучше выйдем пока в кулуары. Здесь очень душно.

— А где кулуары?

— Кулуары — это улица, — невозмутимо ответил он.

— Да, странное помещение! Ах, как я рада, что встретила вас! Конечно, выйдем.

На улице они весело поболтали.

— Получили совещательный голос, Джамбул?

— Нет никакого, даже самого тоненького, голоска. Я «гость». То есть Ильич мне сказал, что я могу приехать, я и приехал. Если выгонят, то я зарыдаю и уеду.

Люда расхохоталась.

— Представьте, я в таком же положении! Ильич давно обещал мне устроить совещательный, но, верно, забыл. А разве могут выгнать?

— Чего на свете не бывает. Едва ли. А то мы потребуем с вашего Ильича возмещения убытков... Вот он, Ильич. Я его уже видел.

Из амбара в «кулуары» выбежал Ленин. Люда радостно ему улыбнулась. Он приветливо с ней поздоровался, но по рассеянности назвал ее Людмилой Степановной. Это чуть ее резнуло, особенно потому, что слышал Джамбул. Ленин пробежал дальше, кого-то отвел в сторону и заговорил с ним.

— Кажется, съезд начнется с опозданием?

— Да, уже три четверти третьего, — сказал Джамбул. — Когда начнется, это неважно, а вот когда кончится сегодняшнее заседание? Я тороплюсь.

— Это досадно. Я думала, пообедаем вместе.

— Я взял комнату с пансионом. Там обедают в шесть. Но главное, до того надо осмотреть Sainte Gudule.

— Какую еще Sainte Gudule? Это церковь?

— Знаменитая. Впрочем, лучше пойду в воскресенье утром. На меня всегда сильно действует богослужение.

— Это неожиданно.

— У них орган, говорят, один из лучших в мире. Церковь очень историческая. Кажется, одиннадцатого столетия.

— Нельзя по-русски сказать «очень историческая».

— Я не русский. И, к сожалению, в Турции немного отвык от русского языка.

— Разве вы были в Турции?

— Был довольно долго, у отца.

— Ваш отец живет в Турции?

— Давным-давно. У него там усадьба. Я его очень люблю, и он меня любит. При отъезде дал мне много денег и подарил вот эту штуку, — Дамбул вынул массивные золотые часы, надавил пуговку, крышка отскочила. На его лице выразилась наивная, простодушная, почти детская радость. Он поднес часы к уху, послушал и положил их назад в жилетный карман, опять с удовольствием щелкнув крышкой. — Идут не минута в минуту, а секунда в секунду. Отец когда-то купил в Константинополе. Это брегет... Помните у Пушкина? «Пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед».

— Кажется, сейчас начинаем! Люди входят.

— Да, приехал наш именитый председатель.

С извозчицких дрожек сходил человек в сюртуке. Люда тотчас его узнала: Плеханов! К нему на улицу поспешно вышел Кольцов. Плеханов довольно холодно с ним поздоровался и неторопливо направился к воротам. Люди ему кланялись. Дамбул отвернулся.

— У него интересное лицо! И выправка почти военная. Я сама из военной семьи и замечаю.

— Не люблю его. Теоретиков вообще не люблю. Ленин гораздо лучше, хотя и он тоже теоретик.

Раздался звонок. Они вошли в амбар. Плеханов со скрещенными руками стоял за столом. Рядом с ним сидел стенографист. Около стола Кольцов радостно-торжественно звонил в колокольчик.

Когда все заняли места, Плеханов объявил съезд открытым и сказал краткое приветственное слово, — сказал, как всегда, хорошо. Очень повысив голос, произнес: «Каждый из нас может воскликнуть и, может быть, не раз восклицал

словами рыцаря-гуманиста: «Весело жить в такое время!» Эти слова были покрыты рукоплесканиями, впрочем не очень бурными, не «переходившими в овацию». Часть собравшихся в амбаре делегатов вообще не аплодировала, и вид у нее был довольно угрюмый. Аплодировал Ленин и еще сильнее Люда, иногда на него поглядывавшая.

— А вот я ни разу не восклицал словами рыцаря-гуманиста и даже отроду не слышал о них, — сказал шепотом Люде Джамбул. — А вы слышали?

— Во всяком случае, я всегда думала именно это!

— А отчего, собственно, нам должно быть так весело? Как будто ничего особенно радостного для нас в мире не происходит?

— Будьте спокойны, произойдет.

— Что же именно?

— Вы отлично знаете, что именно: революция. И, пожалуйста, бросьте ваш скептицизм. Если вы скептик, то не надо было сюда приезжать и вообще соваться в революцию. Прекрасно говорил Плеханов, с очень большим подъемом.

— Не люблю, когда говорят с подъемом. По-моему, это актерская игра. Вот Ленин говорит без подъема.

— Не всегда.

— А сейчас с подъемом прочтет доклад о проверке мандатов Гинзбург, он же Кольцов. Этот едва ли устроит революцию, а?

— Зато Ильич устроит!

— Уж если кто, то действительно он. Но вы дружески посоветовали бы ему поторопиться. Я не желаю долго ждать. Как вы думаете, нельзя ли теперь опять уйти в кулуары?.. Что вы смотрите на меня с негодованием, точно я вам сделал постыдное предложение?..

— Я не знала, что вы такой весельчак, Джамбул. Пожалуйста, не мешайте слушать.

— Молчу, молчу. Больше не скажу ни слова до пяти часов. В пять я испарюсь. Кажется, так говорят: «испарюсь»?

Плеханов действительно был избран председателем раг acclamation¹. Но угрюмая часть зала опять восторга не проявила. Люде было обидно, что Ильич избран лишь вице-председателем, притом одним из двух, с каким-то

¹ Без голосования (фр.).

совершенно неизвестным ей делегатом. «Нет, это естественно: Плеханов много старше, он был основателем партии».

После длинного доклада о проверке мандатов Джамбул посмотрел на часы.

— Хотите испариться вместе со мной? — тихо спросил он.

— Нет, не хочу!

— Дальше сегодня будет такая же веселая материя. Шашки джигиты выхватят позднее, и пойдет кровавый бой.

— Почему вы знаете?

— Я уже все знаю, расспрашивал кое-кого еще вчера вечером. И знаете, кто будет общим бête noire¹? Вот этот делегат, видите, сидит впереди с краю. Это бундовец, кажется, его зовут Либер или как-то так. По-моему, очень тихенький человек, совсем его громить не надо. Да еще вон тот, какой-то Акимов, он не бундовец и даже не еврей. Им обоим эти звери, Плеханов и Ленин, хотят сообща устроить погром, при благосклонном участии своих лютых врагов Мартова и Троцкого... А вы будете выступать?

— Я об этом не думала!.. Разве гости имеют право?

— А вы выступите без права. Ну, Гинзбург вас выведет за волосы, что за беда? Осмотрите по крайней мере Брюсель.

— Да перестаньте вы шутить, Джамбул... Я вас так называю, потому что не знаю вашего имени-отчества.

— У меня нет имени-отчества или оно такое мудреное, что вы и не повторите. Но если вы меня смеете называть Джамбул, то я вас буду называть Люда.

— Неужели вы действительно уйдете до конца?

— Я на все способен! Вы меня еще не знаете. Я способен даже на это!

— Сегодня, верно, будет общий товарищеский обед.

— Такая буйная оргия действительно возможна. От такого отчаянного сорванца, как Гинзбург, все станется! А где вы завтра завтракаете? Хотите, позавтракаем вместе?

— Пожалуй... Да ведь вы в пансионе?

— Готов для вас пожертвовать пятью франками.

Хотя они говорили тихо, на них с неудовольствием оглядывались соседи. Джамбул приложил палец к губе и скользнул к выходу. «Очень он милый. И остроумный», — подумала Люда. Она стала внимательно слушать.

¹ Объект нападок (фр.).

Бельгийская полиция чинила всякие затруднения съезду и даже, как писал не очень ясно один из видных социал-демократов, «приняла свои меры». Скоро было решено перенести съезд в Лондон, несмотря на лишние расходы и на потерю времени. Это еще усилило общую нервность и раздражение. Отправились из Бельгии в Англию не все вместе; да и бывшие на одном пароходе избегали разговоров друг с другом или старались не говорить о партийных делах.

В Лондоне, напротив, полиция делегатам не препятствовала, лишь приставила к помещению городского на случай, если бы был нарушен порядок. Впрочем, он на улице не нарушался. Только мальчишки с радостными криками ходили по пятам за особенно живописными «проклятыми иностранцами».

Съезд длился долго и прошел очень бурно. Социал-демократы разделились на две фракции. Одни назвались «большевистами», другие «меньшевистами» (несколько позднее стали говорить о «большевиках» и «меньшевиках»). Но и революционерам в России эти обозначения были вначале не совсем ясны, тем более что участники съезда, которые, с Лениным во главе, получили большинство голосов по важному вопросу о редакции «Искры», остались в меньшинстве по столь же важному делу об уставе. Вдобавок соотношение сил, то есть голосов, скоро после съезда изменилось. Предпочитали говорить о ленинцах и мартовцах. Очень многие всю ответственность за раскол возлагали на Ленина. «На Втором съезде российской социал-демократии этот человек со свойственными ему энергией и талантом сыграл роль партийного дезорганизатора», — писал вскоре после того Троцкий.

Протоколы Второго съезда были опубликованы в Женеве. Вероятно, они были очень смягчены. Одну речь Ленина авторы сочли возможным воспроизвести лишь с некоторым сокращением. Во всяком случае, того, что обычно называется «атмосферой», протоколы не передают, да это и не входило в задачу авторов. Правда, в скобках иногда отмечались: «всеобщее движение», «протесты» и даже «угрожающие крики». На одном из заседаний сам Ленин попросил секретаря занести в протокол, сколько раз его речь прерывали. Другой делегат просил отметить, что «товарищ Мартов улыбался». На 27-м заседании съезд покинули бундовцы, на 28-м — акимовцы. Страсти все раскалялись. «Они» (меньшевики) все еще руководятся

больше всего тем, как оскорбительно то-то и то-то на съезде вышло, до чего бешено держал себя Ленин. «Было дело, слов нет», — говорил в частном письме Ленин тремя месяцами позднее.

Он выступал с речами, заявлениями, оговорками, поправками сто тридцать раз. По некоторым вопросам терпел поражения, и от этого его бешенство еще усиливалось. Но главная цель была достигнута: для устройства революции создалась *его* фракция, которая должна была со временем превратиться в *его* партию.

Никто на Западе на это событие не обратил ни малейшего внимания: оно было газетам совершенно не интересно. Вследствие стечения бесчисленных случайностей событие стало историческим — в гораздо большей степени, чем все то, о чем тогда писали газеты. Могло и не стать. Разумеется, и сам Ленин не предвидел всех неисчислимых последствий своего дела. Как ни странно, был как будто немного смущен партийным расколом. Другие предвидели очень мало; некоторые прямо говорили, что ничего не понимают в причинах раскола, и переживали его как душевную драму: разочаровались в Ленине, скорбели о партии.

Люда не пропустила ни одного заседания. Вначале не все понимала, потом освоилась и волновалась с каждым днем больше. Страстно аплодировала Ленину, восхищалась его ораторским талантом. Действительно, он был *настоящим* оратором: достигал речами своей цели. Троцкий ей не понравился, хотя она «восклицания» вообще любила. При его столкновении с Либером Джамбул, сидевший рядом с ней, шепнул: «Сцепились нервные евреи».

Джамбул, к ее огорчению, бывал в Брюсселе на заседаниях не часто. Говорил о съезде по-прежнему иронически, да и действительно часто недоумевал:

— Главный бой ожидается об уставе. Ради Бога, объясните, если понимаете, в чем я, впрочем, сомневаюсь: не все ли равно, будет ли там «личное участие» или «личное содействие», зачем они только по-пустому ссорятся? — спрашивал он Люду.

— Неужели вы не видите? Это имеет огромное значение, — отвечала она, хотя и сама не совсем понимала, почему этот вопрос так важен. — Но еще важнее то, чтобы Ильич ужился с Плехановым.

— Пусть их обоих называют «великими государями», как царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Впрочем, те отчасти именно из-за этого рассорились... Обожаю историю, особенно русскую и восточную.

— История интересна только в освещении экономического материализма. Да вы, верно, ее не знаете, Джамбул.

— Плохо. Но зато больше ничего не знаю, как, впрочем, и вы.

Разговор с Джамбулом, часто по форме грубоватый, развлекал Люду и нравился ей. Без него на съезде было бы скучно, тем более что ни с кем другим из участников съезда она близко не познакомилась.

Люда условилась с Джамбулом ехать в Англию вместе. На пароходе они сидели рядом на палубе. Немного боялась, что заболит, но море было совершенно спокойно.

— ...Вот видите, и вы решили пробыть на съезде до конца. Я ни минуты в этом и не сомневалась, — сказала Люда.

— Еду больше для того, чтобы увидеть Англию. Давно хотел.

— Неправда, не только для этого. Что вы вообще делали бы в жизни, если бы не занимались революционной деятельностью?

— А правда, что я тогда делал бы? — спросил он просто душно, точно впервые задавая себе этот вопрос. — Но какая же на вашем съезде революционная деятельность?

— То есть как «какая»? Самая настоящая.

— Даже не похоже, — сказал он, засмеявшись. — Один Ленин настоящий человек. А все остальные — Деларю.

— Что за Деларю?

— Разве вы не помните? Это запрещенная баллада Алексея Толстого. Ужасно смешно. Вот вчера напали и слева и справа на того бедного бундиста, а он только приятно улыбался на обе стороны. Совсем Деларю:

Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал,
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Тогда злодей, к нему зашедши справа,
Его пронзил.
А Деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.
Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все тела,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа» .

Он читал забавно, с выразительной комической мимикой. Люда смеялась.

— Баллада остроумная, но при чем тут съезд? Сами же вы говорили, что мы на съезде слишком много ругаем друг друга.

— Да дело не в ваших отношениях друг с другом. Но вы и правительство приглашаете на чашку чаю в три часа. И вот, поверьте мне, это скоро кончится. На Кавказе уж наверное скоро не останется ни одного Деларю, — лицо у него стало вдруг очень серьезным. — Пойдет совсем другая игра. Надеюсь, и у вас в России тоже.

— Какая же?

— Много будете знать, скоро состаритесь. Вот с Лениным я поговорю, если будет случай.

— А мне не скажете? — обиженно спросила она.

— Не скажу. Это не бабьего ума дело.

— Грубиян! Где вас учили? И какой вы социал-демократ, если вы против «баб»!

— Напротив, я в высшей степени за баб. И даже за их равноправие. Но против их участия в революции. У нас на Кавказе революционерок очень мало.

— Кавказ — отсталая страна. А если же вы хотите поговорить с Ильичом наедине, то он, верно, назначит вам свидание только после окончания съезда. Теперь у него более важные дела.

— Сколько же надо будет ждать до окончания этого несчастного съезда? По-моему, они перестанут здороваться уже через неделю, а недели через две-три произойдет раскол.

— Типун вам на язык! Подождем — увидим. Пока можете осматривать Лондон. Найдете и здесь разные Гюджоли, — сказала Люда. Он поморщился.

В Лондоне он стал бывать на заседаниях чаще. Страсти разгорались. Это его веселило. Ему нравилось бешенство Ленина в спорах, то, что у него лицо часто искажалось яростью: он точно готов был своими руками задушить противника. Но окружавшие Ленина, всегда голосовавшие с ним люди показались Джамбулу ничтожными. «Только с ним и можно здесь разговаривать о деле».

Накануне закрытия съезда он пригласил Люду во французский ресторан. Она приняла приглашение с радостью. «Жаль, что он не серьезный человек, а то я, чего доброго, в него влюбилась бы. Куда же он дел тех своих двух дам?»

Они много выпили и еще повеселели.

— Я «склонен к чувственному наслаждению пьянства», — как говорит кто-то у Пушкина. Мне случалось выпивать за вечер три, а то и четыре бутылки вина. У нас на Кавказе есть вековой обычай. Когда у князя рождается сын... Почему вы улыбаетесь, Люда?... Ах, да, эти ваши вечные русские шуточки: «На Кавказе все князья»... «Если у кавказца есть сто баранов, то он князь», да?

— Вы тоже князь, Джамбул?

— Нет, хотя мой отец производит наш род чуть не от Полиоркета.

— Кто такой Полиоркет?

— Древний македонский принц. Один его потомок будто бы переселился на Кавказ и там принял ислам, очень хорошо сделал. Впрочем, в Македонии всегда было самое смешанное население, не только христианское: были осетины, сербы, болгары, цинцары, греки, евреи, цыгане.

— Не называть ли вас «Джамбул Полиоркетович»?

— Полиоркет был действительно герой. По-гречески его прозвище, кажется, значило «покоритель городов».

— Это хорошо: «покоритель городов». Вы тоже покоритель городов. И верно, сердец?.. Я все стараюсь понять, что вы за человек, и пришла к выводу, что вы романтик революции!

— Я очень простой человек, — сказал Джамбул, довольный. — Вы и представить себе не можете, какой я простой! Первобытный... Вы английский язык знаете?

— Нет.

— Я тоже не знаю. Но знаю, как и вы, слово «хобби». У серьезных людей есть главное дело и есть «хобби», то есть дело второстепенное, развлечение. А вот я несерьезный человек. В моей жизни: политика и женщины, но что из них у меня «хобби», а что главное, ей-Богу, сам не знаю.

— Примем к сведению. Кстати, фиолетовый шрам у вас на лбу — это от главного или от хобби?

— Это не ваше дело, — ответил он, улыбаясь. Был вообще учтив, с дамами особенно, и употреблял грубоватые выражения как бы в кавычках: произносил их так ласково, что рассердиться было невозможно.

— Я заметила, что этот шрам у вас бледнеет и обесцвечивается, когда вы волнуетесь.

— Вы необыкновенно наблюдательны. Только я никогда не волнуюсь.

— Вот как?.. Ну, хорошо, вы над всем насмехаетесь. Какие же ваши собственные идеи? Едва ли вы испытали сильное влияние Маркса.

— Действительно, едва ли, хотя бы уж потому, что я почти ничего его не читал.

— Так кто же оказал влияние на ваше мышление?

— На мое «мышление»? — переспросил он с комически-испуганной интонацией. — Я и не знал, что занимаюсь «мышлением». Кто оказал влияние? Дайте подумать... Рус-

тавели, «Тысяча и одна ночь», летописи царя Вахтанга Шестого, Майн-Рид, Купер, Лермонтов, балет, передвижники, гедонисты... Да, я гедонист.

— Какой еще гедонист! И что за каша!.. Но вы не кончили. Какой же на Кавказе вековой обычай?

— Когда у кавказца рождается сын, то отец закапывает в землю бочку лучшего вина. Ее выкапывают к совершеннолетию сына. Ах, какое вино! Какой аромат!.. Вот мы с вами здесь пьем бордо...

— И какое!

— Но где ему до кахетинского!

— На Кавказе ведь все «самое лучшее в мире», правда?

— Не говорю все, но очень многое. Начиная с природы. Мне на прославленные швейцарские виды просто смешно смотреть, так им далеко до наших. И люди у нас по общему правилу хорошие.

— Это правда. Я очень люблю кавказцев. Ильич тоже их любит.

— Будто? По-моему, никого не любит ваш Ильич.

— «Мой» Ильич? Значит, он не ваш?

— Я отдаю ему должное. Конечно, выдающийся человек и со временем станет совершенным типом революционера.

— Со временем?

— Возьмите, Робеспьер, Дантон, Марат были революционерами три-четыре года, а до того были черт знает кто. Ленин же будет им всю жизнь. По-моему, он уже теперь второй революционер в мире.

— Вот как! А кто первый?

— Первый: Драгутин.

— Какой «Драгутин»? Отроду о нем не слышала.

— Обычно он остается в тени, но о нем еще много будут говорить в мире. Больше, чем об Ильиче.

— Да кто он? Что он сделал?

— Между прочим, организовал недавно в Белграде убийство короля Александра. К несчастью, они заодно убили Драгу. Этого я им простить не могу. Женщин не убивают, хотя бы они были королевами. Но мы говорили не о Драгутине, а о Ленине. Все же он на этом нелепом съезде слишком ушел в мелочи.

— Да он шел от победы к победе!

— Разумеется, он может подарить Мартову халат. Когда турецкий султан в прежние времена брал крепость, он дарил побежденному противнику халат, вероятно в насмешку. Только к чему эта победа? Что он теперь будет

делать? Ленин, а не султан. Издавать журнальчики? Да и на это, верно, не хватит денег. Ваше правительство будет очень довольно:

Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осторожно,
Хвать друга в зад!
Тот на пол лег, не в силах, в страшных болях
На кресло сесть!
Меж тем злодей отнял на антресолях
У Дуни честь...

— Очень похож Ленин на Деларю!

— Я отдаю ему должное. Конечно, он выдающийся человек. Но он еще не созрел.

Люда расхохоталась.

— Однако, вы нахал порядочный! Ильич не созрел?

— Или, скорее, не созрело все движение в России. Я еще и не знаю, останусь ли социал-демократом.

— Вот тебе раз! Неужто пойдете к эсерам с их народнической жвачкой!

— Не сваришь каши с русскими вообще. Кажется, так говорят: «не сваришь каши»? Что я вам говорил? Ведь у вас произошел полный формальный раскол.

— Во-первых, это неправда, а во-вторых, не «у вас», а «у нас».

— Я нерусский да и социал-демократ, повторяю, сомнительный.

Полного формального раскола не произошло. Но многие из участников съезда уже в самом деле не раскланивались, и общее настроение было подавленное. Плеханов произнес заключительное слово и поздравил всех с результатами работы.

— Он, должно быть, насмехается? — спросил Люду Джембул.

— И не думает насмехаться! Работа все-таки дала большие результаты. Как-никак, теперь у нас есть и программа, и устав.

— Именно «как-никак». Вы примкнете к большевикам или к меньшевикам?

— Я иду за Ильичом. Но, вопреки вашему карканью, раскола нет и не будет. Сегодня все вместе едем на могилу Карла Маркса. На Хайгетское кладбище.

— Едем, — уныло согласился Джембул. — Вы его читали?

— Многое.

— Знаю, что он был кладезем мудрости. А иногда думаю, что у нас люди были интереснее.

— Может быть, тот Кота Цинтсадзе, о котором вы рассказывали? — насмешливо спросила Люда. — Нельзя человеку серьезно называться «Котой».

— Ладно, ладно, — ответил Джамбул. Теперь несколько обиделся он, к большому удовольствию Люды. — А что мы будем делать на могиле? Петь «Интернационал»? Или служить панихиду? Тогда пусть Троцкий наденет ермолку и плащ, евреи в синагогах всегда носят плащи.

— Вы бывали и в синагогах?

— Бывал. Я вам говорил, что на меня действует всякое богослужение, особенно если оно древнее. Разумеется, наше мусульманское самое лучшее.

— В этом я ни минуты не сомневалась... Будете делать на могиле Маркса то же, что другие.

— Буду смотреть на Троцкого и повторять его благородные жесты. Я уверен, что и он, и Плеханов в Париже ходили в театр смотреть Мунэ-Сюлли. Только у того жесты выходят лучше.

VII

Иоганнес Росмер, владелец Росмерсгольма, был несчастен в своей семейной жизни и не очень счастлив в жизни общественной. По рождению он принадлежал к баловням судьбы, но он потерял веру в общественные устои. Как говорил консервативный ректор Кроль, «Росмерсгольм с незапамятных времен был своего рода священным очагом, поддерживавшим порядок, закон, уважение ко всему, что установлено и признано лучшими членами общества». Росмер порвал с традицией предков, это и было одной из главных причин его несчастной жизни.

«Росмерсгольм», с его символом белых коней, был любимым произведением Морозова, но кое-что он читал не без досады. Многое в жизни Росмера совпадало с его собственной жизнью, однако не все. «Верил ли я в традиции моих предков? Когда же я с ними порвал? Каковы мои «белые кони»? Даже внешняя обстановка не очень похожа». Драма Ибсена разыгрывалась в родовой усадьбе Иоганнеса, в гостиной, обставленной в старом норвежском стиле, с портретами предков на стенах. Пять поколений предков, создателей огромного богатства Морозовых, были и у Саввы

Тимофеевича, но он их портретов у себя на стены не вешал.

Дом на Спиридоновке был построен талантливым архитектором на месте родового дома Аксаковых. Обстановка была не только более роскошной, но и более «стильной», чем могла быть у прежних владельцев усадьбы или у Росмеров: Морозов купил ее у какого-то лорда и перевез из Англии в Москву. Люди, этого не знавшие, насмехались над ее «аляповатостью». «Конечно, не насмехались бы, если б я был князь или граф». Громадное большинство людей, и парвеню, и аристократы, ничего в искусстве не понимают. «Да, дураки верно говорят «купчик». Сам Чехов насмехался над моим «безвкусием», над фразными лакеями. Добрые люди так мне рассказывали. Может, и ввали. Точно дело во фраках! Все мы живем угнетением других людей, и Чехов тоже, и сам это отлично понимает, он умнее и Немовича, и Максима. Да и он о моем безвкуси не говорил бы, если б я был князь. Впрочем, и в самом деле, незачем было покупать мебель английского аристократа», — думал Савва Тимофеевич, с досадой оглядывая свой кабинет. «Это, тот говорил, подлинный Ризнер». А что он сам смыслил в Ризнерах? Верно, и он в этой мебели чувствовал себя почти таким же чужим, как я? А я сюда точно попал по ошибке. «Спальная, сказал, «Victorian»¹. Слово значит немного: за царствование Виктории должно было смениться несколько стилей». Об архитектуре и мебели он немало прочел или просмотрел, когда строил свой дом. «Скоро девять часов, пора на завод. А то поехать раньше к грабителю?» — подумал он, разумея знаменитого врача.

В плохие минуты он находил, что все в мире продается, что, со своим огромным богатством, он может купить что и кого угодно — вопрос только в цене. При нем действительно наживались и перед ним лебезили очень многие. В другое же время Морозов признавал, что даже этих многих нельзя называть продажными в точном смысле слова: «*Настоящей* продажности в России, особенно в интеллигенции, мало: есть общественное мнение, есть моральная граница, через которую переходить почти невозможно и даже невыгодно... Просто не первого сорта людишки». По своей работе он постоянно встречал и людей первого сорта. Эти перед ним не лебезили и на нем не наживались; разве только когда отдавали ему свой труд, то получали несколько больше, чем их труд стоил. Впрочем, при всей своей

¹ «В викторианском стиле» (англ.)

щедрости, он бывал требователен и слишком уж переплачивать не любил. Если у него просили чересчур много, в нем пробуждались наследственные инстинкты дельца; его быстрые, бегающие и при этом многое замечающие глаза останавливались, он становился очень нелюбезен, даже иногда грубоват.

Как Ленин, Морозов вообще очень плохо верил людям, но, в полное отличие от Ленина, всего меньше верил в себя и себе. Всю жизнь будто бы стремился к освобождению России, но иногда думал, что, в сущности, освобождение России ему не так нужно: сам он был почти во всем совершенно свободен. Всю жизнь он говорил, что страстно любит искусство, но про себя сомневался — если не в своей любви к искусству, то в своем его понимании; природный ум заменял ему культуру. Сомневался и в том, что искусство хорошо понимают другие, в их числе и многие присяжные знатоки. «Ибсен хотел сказать...» А почему ты знаешь, что он хотел сказать? Может, и вообще ничего не хотел, а просто писал, как все писатели и писателишки, как Максим, который длинно и скучно мне говорил о глубоком смысле своего «Фомы Гордеева», между тем это чепуха с выдуманными, и плохо выдуманными, неправдоподобными купцами...» Савве Тимофеевичу все больше казалось, что в нем сидит какой-то другой человек, за него говорящий и во многом ему совершенно чужой. «Все не так, все не так!» — неясно думал он в последние годы, знал только, что нервы у него совершенно издергались, что он, как будто без причины, боится воображаемых, даже неправдоподобных, несчастий, что, в сущности, он ничего особенно не хочет, что жить ему все тяжелее с каждым днем. «Жизнь не удалась... Впрочем, кому же она по-настоящему удалась, когда есть умирание, смерть?» Да еще он знал, что душой всегда, хоть не так уж напряженно, искал добра и смысла жизни; но добра нашел немного, а смысла жизни не нашел никакого.

К тому, что он обозначал словами «не так», он относил и Художественный общедоступный театр. Теперь этот театр существовал почти исключительно на его средства, он строил и новое здание в Камергерском переулке. Деньги дал по своей собственной инициативе, сам их первый предложил; давно стал в театре своим человеком, давал советы о пьесах, о подробностях постановки, о распределении ролей; все выслушивалось внимательно и с интересом; режиссеры и артисты успели оценить его чутье. Но про себя он иногда думал, что, например, Станиславский, состоятель-

ный человек, мог бы и не получать жалованья, мог бы даже сам давать на дело свои деньги. Никогда этого не говорил, но думал, что артисты в большинстве гораздо менее образованные люди, чем он сам (он много читал и знал наизусть «Евгения Онегина»). «Пьесам Немировича грош цена, да и пьесы самого Максима немногим лучше».

Савва Тимофеевич в последний год болел, хотя как будто и не опасно. Был еще далеко не в том возрасте, когда чуть ли не главные мысли человека сосредоточиваются на починке разрушающегося понемногу тела. Врачей вообще не любил. Почти машинально называл их грабителями. Отлично знал, что они бедных часто лечат бесплатно и что было бы очень странно, если б они брали мало денег с богачей. Свое нездоровье он приписывал в значительной степени расстройству нервов: неврастения усиливала болезнь, болезнь усиливала неврастению. Теперь ему нужно было повидать трех докторов по разным специальностям, и ни один из них к нему на дом приехать не мог; у всех в кабинетах были сложные приспособления, особенно у терапевта, который умел по новому способу просвечивать людей при помощи не так давно открытых Рентгеном лучей. «Видит тело насквозь. Хорошо, что хоть души не просвечивает».

Раз в неделю он ездил в Орехово-Зуевскую мануфактуру (в Москве ее называли несколько иначе, похоже и совершенно непристойно, но это относилось преимущественно к заводам «Морозовых-«Викулычей»). Проводил там два дня, а то и три. В этот день ему уезжать не хотелось, был в особенно плохом настроении духа. «Хоть бы дождь пошел...» Савва Тимофеевич чувствовал себя бодрее в дурную погоду. В поезде он просмотрел газету, — скука. Подумал, что все редакторы газет, верно, либо циники, либо очень незлобивые, благодушные люди: слишком много ерунды и пошлости каждый из них принимает и печатает, зная, что это ерунда и пошлость.

Постройки на его заводах, в отличие от других в городке, были новые, каменные, очень хорошие. Таковы были и дома, выстроенные им для рабочих с лекционными залами, с театром, — другие фабриканты только пожимали плечами, а иногда в разговорах о нем многозначительно постукивали пальцем по лбу. На улицах все ему кланялись. Это было и приятно и нет: «Все-таки кланяются больше моему богатству, чем мне. Если б у меня не было капиталов, кто бы я был? И люди перестали бы ко мне шлаться, что было бы, впрочем, очень хорошо».

В сортировочной он взглянул на новую партию хлопка, она была не «fine», а только «good»¹. «Что ж, для Азии и это необходимо». Ему очень хотелось, чтобы русская хлопчатобумажная промышленность вышла с четвертого места на первое; азиатский рынок имел огромное значение. Затем он побывал в других колоссальных зданиях. Общее благоустройство заводов, порядок, чистота доставляли ему удовольствие. Рабочие кланялись почтительно-ласково; одни служащие спрашивали: «Как поживаете, Савва Тимофеевич?», другие: «Как изволите поживать?»

В одной из мастерских он остановился у машин, которые главный инженер предлагал заменить новейшими, хотя и эти были выписаны из Англии не очень давно. Он знал свое дело для владельца хорошо. Говорил, что «знает у себя каждый винт». Это было очень преувеличено: инженеры порою чуть улыбались, когда он спорил с ними о технических делах. Но названия машин и их назначение действительно были ему известны. Спросил о машинах и старших рабочих. Их мнение очень ценил. С ними он говорил ласково, почти как с равными, и на их языке. Думал, что владеет им в совершенстве, как либеральные, да и не только либеральные, помещики думали, что в совершенстве владеют крестьянским языком. Рабочие любили и ценили его простоту в обращении, заботу об их интересах, то, что он к свадьбам дарит деньги, принимает на свой счет похороны, помогает вдовам; знали, что он женат на красавице «присусальщице», еще не так давно стоявшей за фабричным станком. Он первый ввел одиннадцатичасовой рабочий день; ввел бы, пожалуй, и десятичасовой, но знал, что тогда Никольская мануфактура едва ли выдержит конкуренцию с такими же огромными предприятиями, в частности с теми, что принадлежали Викульчам и Абрамычам.

В Москве издавна ходили шуточные преувеличенные рассказы о распрях между разными ветвями морозовской династии, впрочем довольно обычных в больших семьях. К другим династиям, даже наиболее старым, тоже имевшим по несколько поколений богатства, к Бахрушиным, Рябушинским, Щукиным, Третьяковым, Найденовым, Морозовы относились чуть свысока, хотя и роднились с ними; к новым же, вроде Второвых, относились и просто иронически.

После недолгого совещания с управляющим расчет инженера был признан правильным, и новые машины заказаны, хотя это означало большой расход: на машины Морозов

¹ «Высшего качества», «хорошего» (англ.).

денег не жалел; русская техника должна была сравняться с западной.

Затем он позавтракал в одной из столовых с главными служащими. Обед был не такой, как у него дома, — вместо его любимого рейнского вина пили калинкинское пиво, — но и не такой, как в других столовых фирмы. Везде все было чисто, свежо, сытно, однако администрация не могла не считаться с рангом обедавших. Так и он сам, при всем желании, не мог держать себя одинаково со всеми. В столовой тон разговора был демократический. Тем не менее все тотчас замолкали, когда владелец раскрывал рот. Он все время чувствовал неловкость, — точно *играет*, почти так же похоже, как Станиславский играл доктора Штокмана или Москвин царя Федора Иоанновича. Этих *своих* артистов он прежде особенно любил, нередко угощал их ужинами, радовался их обществу, восхищался ими и думал, что уж очень, просто до удивления, они непохожи в частной жизни один на царя, другой на норвежца. «Тем больше, конечно, их заслуга».

В столовой поговорили о политике, поругали правительство, коснулись и промышленных дел. Один из видных служащих говорил «смело, всю правду в глаза», — вроде как Яков Долгорукий Петру Великому. Савва Тимофеевич слушал со слабой улыбкой; думал, что и этот служащий играет, только у него свое амплуа.

Погода стала хуже. Морозов почувствовал прилив энергии и решил тотчас вернуться в Москву: на заводах было еще скучнее, чем дома, да, в сущности, и нечего было делать. Он понимал, что от его присутствия большой пользы нет, что мастерские работали бы точно так же, если б он их и не обходил. Сказал главному управляющему, что должен побывать у врача, но про себя решил, что сегодня ни к одному из врачей не пойдет: «Только наводят тоску, и все, конечно, запретят, и никакой пользы не будет».

Со стены очень просто обставленного кабинета на правнука хмуро смотрел основатель династии, Савва Васильевич. Администрация давно заказала его портрет обладавшему воображением художнику. «Верно обо мне думает нехорошо: в кого ты, голубчик, пошел? От нас отстал, к другим не пристал. Черт тебя знает, что ты за человек!..» Морозову захотелось поскорее уехать. Он вспомнил, что по делу надо побывать у очень высокопоставленного лица. «К нему следовало бы надеть сюртук? Ничего, обойдется». Сунул в ящик письменного стола револьвер: к этому лицу являться с револьвером в кармане было неудобно.

Во дворце все было ему неприятно: пышность, мундиры, охрана; но все это производило и на него некоторое впечатление. Хотя он имел репутацию революционера, высшие власти (до 1905 года) были с ним любезны; не хотели связываться в истории с владельцем заводов, на которых были заняты десятки тысяч рабочих. По выражению лица у чиновника, взявшего его карточку, можно было увидеть: сила приехала к силе. Высокопоставленное лицо приняло его тотчас, не в очередь. С ним, как, впрочем, и со многими высокопоставленными людьми, Морозов говорил опять по-другому: старым, деланно-купеческим языком, с обилием «слово-ериков», — ни один богатый купец в Москве давно так не говорил. В Риме старая знать, разные Гаэтани, Колонна, Орсини, да и сам король говорили между собой всегда на народном римском диалекте, но у них это выходило естественно; у Саввы Тимофеевича якобы купеческая речь звучала странно, и он сам не знал, означает ли его «слово-ерик» повышенное или пониженное уважение к собеседнику.

Высокопоставленное лицо тотчас исполнило его желание и лишь про себя подумало, что левому социальному реформатору не полагалось бы иметь дворец и ездить на кровных рысаках. Впрочем, Савва Тимофеевич и сам часто думал о себе то же самое. «Умный все-таки монгол!» — сказало адъютанту высокое лицо. Морозов был и по крови чисто русский, но вид у него в самом деле был скорее монгольский. Сердцеведы недоброжелательно говорили, что он в делах готов раздавить человека, называли его глаза «хищническими» и «безжалостными», приписывали ему разные изречения, подходившие Сесилю Родсу или коммодору Вандербильту. В действительности, он никого не «давил», был в делах честен и никак не безжалостен. Напротив, был скорее добр, хотя и не любил людей, даже тех, кому щедро помогал.

Вернувшись домой, он переоделся: при осмотре машин чуть запачкал концы манжет. «Переоделся не до визита к нему, а после», — с некоторым удовольствием подумал Савва Тимофеевич. На Спиридоновке его в этот день еще не ждали. Жены и детей не было дома. В гардеробной костюм, белье, обувь не были приготовлены. Камердинер все принес с виноватым видом. «Виноват в том, что «барин» передумал и вернулся раньше, чем сказал».

Ему было совестно и перед прислугой, как перед рабочими и служащими на заводах. Но он сам себе отвечал, что с такими упреками совести можно спокойно прожить дол-

гую жизнь. Раздражали его и самые слова «гардеробная», «камердинер». Костюм у него был даже не от Мейстера, недорогой, и белье не голландского полотна, а простое: ему было не совсем ясно, почему одевается он дешево, тогда как дом, мебель, лошади стоят огромных денег. Но он не понимал в своей жизни и более важных вещей. Отпустил камердинера, одевался всегда без чужой помощи. Перекладывая вещи из одних брюк в другие, вспомнил, что револьвер остался на заводе. «Не забыть в следующий приезд». Не имел ни малейших оснований опасаться какого бы то ни было нападения, но револьвер под рукой всегда его успокаивал: что бы в жизни ни случилось, выход есть.

Савва Тимофеевич перешел в кабинет, сел в неудобное стильное кресло перед стильным письменным столом и открыл лежавшую на столе книгу Ибсена. Впрочем, знал, что долго читать нельзя будет. С пятого часа начинали появляться посетители, приезжавшие к нему на дом не по коммерческим делам.

Обычно люди «хотели посоветоваться об одном общественном деле». Он давно к этой формуле привык; отлично знал, что посетителям, чаще всего очень известным людям, нужны никак не его советы, а его деньги. Отказывал редко, хотя и уменьшал суммы по сравнению с теми, которые назывались искавшими его совета людьми: понимал, что если всем будет давать, сколько просят, то от его огромного богатства с годами ничего не останется. Для себя эти люди почти никогда денег не просили и о себе даже не упоминали. Тем не менее это часто выходило и «для себя»; говорили, например, о деньгах на совершенно необходимый обществу журнал, но не говорили, что будут получать в журнале жалованье или гонорар. Этим он обычно давал не слишком крупные суммы и пояснял иронически, что если они у других соберут «много больше-с», то и он от себя добавит сколько надо. Знал, что у других много больше никак не соберут.

Одним из посетителей был в этот день инженер Красин, с которым его познакомил Максим Горький, горячо его рекомендовавший. Этот инженер с первого же знакомства очень понравился Савве Тимофеевичу. Он и говорил прекрасно. Морозов вообще находил, что самые лучшие ораторы в России не адвокаты, — их он называл «краснобаями», а умные и образованные деловые люди, да еще офицеры генерального штаба. Красин просил денег в пользу левой группы социал-демократической партии. Он изложил ее взгляды, немного применяясь к психологии богатого про-

мышленника, который, слава Богу, дает деньги на революцию. При первой встрече Красин в него всматривался с немалым интересом. Был искренний революционер, но так же искренне любил деньги. Хотел бы быть главой революционного правительства, но недурно было бы также стать королем промышленности. Он изучал богачей и для борьбы с ними, — как молодой Веллингтон ездил во Францию учиться у французов военному делу.

Морозов слушал его внимательно, с легкой улыбкой.

— Так-с. Это я все знаю-с, — сказал он. Уже слышал о партийном расколе. — Это взгляды Ленина-с. Вполне с оными согласен. Зоркий человек-с. Извольте, дам, но много не дам-с.

— Сколько можете, хотя на вас мы очень надеемся, — ответил Красин, тоже несколько озадаченный сочетанием «слово-ерика» с осведомленностью в партийных делах, почти никому еще в Москве неизвестных.

— Дело обстоит так-с: дохода у меня в год шестьдесят тысяч целковых. Треть уходит на мелочи-с, на благотворительные дела-с. Треть трачу на себя, а двадцать тысяч готов ежегодно давать вам. Больше не могу-с.

Красин смотрел на него изумленно. Он не ожидал такой большой суммы, но не ожидал и того, что Морозов серьезно, глядя ему в глаза, будет говорить о шестидесяти тысячах своего дохода (причем из них сразу предложит третью часть). Москвичи говорили, быть может преувеличивая, что одна Никольская мануфактура приносит в год несколько миллионов чистой прибыли. Впрочем, Савва Тимофеевич и не надеялся, что Красин ему поверит. Назвал эту цифру, сам не зная почему.

Еще меньше он знал, зачем вообще дает деньги крайним революционерам. Назвал Ленина «зорким человеком», но никак не мог сочувствовать революционеру, которому, по слухам, не сочувствовало громадное большинство социалистов. Его собственное настроение было неопределенно левое и романтическое, как в «Росмерсгольме». Но, в отличие от Иоганнеса Росмера, он не слишком верил в близость счастья на земле.

Гость поблагодарил и с улыбкой немного поторговался. Сошлись на двух тысячах в месяц. Любезно поговорили и о другом. Разговор, не совсем случайно, коснулся электрического освещения. В Москве рассказывали, что это освещение составляет у Морозова пункт легкого умопомешательства. Он ведал им и в Художественном театре, и в доме на Спиридоновке, и в своих имениях: сам лазил по лесенкам, ра-

ботал над проводами, переодевшись в рабочее платье (что ему шло, как Горькому косоворотка). Красин знал толк и в электричестве, говорил об его великом будущем так же увлекательно, как до того об идеях Ленина, вставлял разные «дифференциальные лампы Сименса», «вольты», «уатты» и даже «фарады». О вольтах и уаттах Савва Тимофеевич знал, но что такое фарады, совершенно не понимал. Несмотря на полученное им образование, ученые слова на него производили впечатление, как и на Максима Горького. Гость его очаровал. С тех пор Красин к нему ездил нередко и, перед тем как просить денег для партии, говорил об электрическом освещении и о новейших заграничных усовершенствованиях. Деньги получал неизменно.

Последним просителем был Дмитрий Ласточкин, в последнее время очень выдвинувшийся в деловом мире Москвы.

К нему Савва Тимофеевич относился тоже очень благожелательно и высоко его ставил: был на двух его докладах, прочел его брошюру о хозяйственном росте России. Понравилось ему и то, что Ласточкин не воспользовался принятой формулой и прямо с самого начала сказал: приехал просить денег.

— Это так-с, за иным ко мне, купчине, и не приезжают-с, — сказал, улыбаясь, Савва Тимофеевич. Ответная улыбка Ласточкина показала, что он оценил слово «купчина» и не считает нужным и возражать на такую шутку. Он изложил план создания биологического института в Москве. Морозов слушал внимательно и с интересом.

— Да ведь, кажется, что-то похожее у нас уже существует, — сказал он.

— Не совсем похожее, — ответил Дмитрий Анатольевич и с несколько меньшей ясностью изложил, в чем заключалось новое в его проекте. Рейхель писал ему из Парижа письма, однако подробной объяснительной записки не представил, хотя Ласточкин сам ставил ему сделанный Морозовым вопрос.

— Так-с. В какую сумму обошлось бы дело-с?

— Я знаю, что одному человеку, даже такому, как вы, Савва Тимофеевич, поднять это дело было бы трудно, но мы рассчитываем на ваш почин, зная...

«Зная вашу отзывчивость», — закончил про себя Морозов и перебил его:

— Смету привезли-с?

— Я ее представляю вам очень скоро, — ответил Ласточкин, с досадой подумав, что, вследствие халатности сво-

его двоюродного брата, начал разговор не деловым образом. — Мы хотели сначала выяснить ваше общее, принципиальное отношение к вопросу.

— Кто это: мы-с?

— Этим делом очень интересуется *также* Мечников, — сказал нерешительно Дмитрий Анатольевич. — Знаете, Илья Ильич Мечников, наш знаменитый биолог, создатель теории фагоцитоза. — Морозов, к его облегчению, не попросил пояснений к слову «также», и одобрительно кивнул головой.

— Знаю-с. Что-то и о фагоцитозе читал... Кажется, обещает нам продлить жизнь? Может, и врет-с, да и незачем человеку очень долго жить, — пошутил он. — Что ж, идея института интересная. Но без записки и сметы, вы сами понимаете, и говорить невозможно. Дело не в сумме, поднять я и один мог бы-с. Клинический городок Морозовы подняли. А знать все надо в совершенной точности-с, — Ласточкину он не сказал о шестидесяти тысячах своего дохода: в разговоре с московским деловым человеком это было бы слишком глупо. — Представьте записку, прочту-с. И, разумеется, передам ученым людям на рассмотрение. Скорого ответа не ждите-с: эксперты спешить не любят.

Он подумал, что этот проситель, инженер по образованию, не может быть лично заинтересован в создании биологического института. Бывали все-таки и просители совершенно бескорыстные. Стал еще любезнее и, прекратив деловой разговор, — лишних слов не любил, — спросил о музыкальных вечерах, иногда устраивавшихся в доме Ласточкиных:

— Слышно, интересные вечера-с.

— Мы с женой оба очень любим музыку. Не приедете ли как-нибудь и вы, Савва Тимофеевич? — предложил Дмитрий Анатольевич. Посещение Морозова считалось в Москве большой честью, и поэтому Ласточкин пригласил его сдержанно: «Еще подумал бы, что зазываю».

— При случае охотно-с. Люблю и я, хотя и не большой знаток.

Ласточкин вспомнил о просьбе Люды, но решил ее пока не передавать: «Не сразу же лезть с двумя просьбами». Вдобавок ему теперь показалось особенно глупым просить богача о деньгах на социальную революцию. Он взглянул на часы и простился. Был доволен первыми результатами своего ходатайства, не очень ему приятного. Больше ничего Аркаша для начала и ожидать не мог бы, тем более что

записки не составил, сметы не прислал, а с Мечниковым, верно, еще и не поговорил!»

«Твое понимание мира облагораживает, Росмер. Но... но... Оно убивает счастье», — говорила Ребекка Вест. «Счастья у него было действительно немного. Как у меня», — думал Савва Тимофеевич. Ни его жена, ни его любовницы нисколько на Ребекку не походили, и никакой затравленной Беаты в его жизни не было. «Да и сам я все-таки какой же Росмер! Все-таки пьеса замечательная. По дрянному переводу и судить нельзя. Так и Гёте, и Шекспиром лживо восхищаются люди, не читавшие их в подлиннике. Если б я был немцем и прочел «Евгения Онегина» по-немецки, то сказал бы, «очень средняя поэма». А о Лермонтове тем более сказал бы. Какие это биографы врал, будто Лермонтов «искал смерти». И о других поэтах говорят то же самое. Коли б в самом деле искали, то очень скоро нашли бы, дело нехитрое». В последний год он читал главным образом те литературные произведения, в которых были самоубийства. И ему по-прежнему было не вполне ясно, почему Росмер покончил с собой. «Может, просто по литературным соображениям автора-с, — подумал он, по инерции пользуясь «слово-ериком» и в мыслях. — Вот и Лев Николаевич по литературным соображениям в «Записках маркера» придумал самоубийство для Нехлюдова, а через много лет, когда понадобилось, его воскресил...» Толстого Савва Тимофеевич и мысленно называл по имени-отчеству. Горького в последнее время в разговорах со знакомыми сухо называл «Максимом» или «Алексеем», а то даже и «господином Горьким».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В Западной Европе в 1903—1904 годах почти все еще было тихо и спокойно. Такие времена называются в истории «периодами процветания». Разумеется, процветало не все европейское население. Но и обездоленным людям в ту пору жилось лучше, чем когда бы то ни было прежде. Отношения же между главными государствами были либо превосходные, либо хорошие, либо — в худшем случае — корректные. Монархи обменивались визитами и во дворцах или на яхтах произносили дружеские, радостные, бодрые тосты. Министры очень вежливо отзывались в парламентских речах о политике других стран и даже в тех случаях, когда бывали ею не очень довольны, давали это понять лишь намеками и чрезвычайно осторожно: одно невежливое слово неизбежно вызвало бы очень серьезные неприятности.

Больших войн давно не было. Но скорее всего, именно поэтому некоторые государственные люди уже начинали скучать. Разумных причин для войны не было, как их, впрочем, не было в истории почти никогда. Основной причиной возможного столкновения считалось в ученых книгах и в передовых статьях экономическое соперничество между Англией и Германией; в связи с ним газеты говорили, что Англия не может допустить увеличения германской экономической мощи и военного флота. За океаном быстро рос не такой соперник для обеих стран: скоро Соединенные Штаты своей промышленностью, богатством, могуществом далеко превзошли Англию и Германию вместе взятые. Однако о войне Европы с Америкой и позднее никто не говорил, кроме совершенных дураков. Такая война, просто по непривычке, не возникала в сознании политических деятелей, ученых экономистов и даже самых воинственных газетчиков. Вдобавок американские правители редко встречались и почти не соперничали с европейскими. И главное, они неизмеримо меньше интересовались тем, что, по существу, и определяло политику правителей Европы: зло-

счастной идеей *престижа*, наделавшей столько бед человечеству.

При всем законном желании «заглянуть в корень вещей» трудно найти хоть какую-либо общую идею или сколько-нибудь прочный интерес во внешней политике главных европейских держав того времени. В 1901 году Чемберлен предложил Германии заключить англо-германский военно-политический союз. Это предложение показалось немецкому министерству иностранных дел столь важным и заманчивым, что к Вильгельму, находившемуся тогда в Гамбурге, был специально послан с запросом граф Меттерних. Идея императору понравилась. Он искренне любил свою бабу, королеву Викторию. Ее преемника Эдуарда VII, правда, недолюбливал, но его брата, герцога Коннаутского, любимого сына Виктории и хранителя ее традиций, считал в числе своих ближайших друзей. Император — и не он один среди монархов — признавал европейскую политику отчасти как бы семейным делом. Все же он задал вопрос: «Союз против кого?» Из Лондона пришел немедленно ответ: «Против России, так как она хочет овладеть Индией и Константинополем». Это объяснение, тоже больше по семейным обстоятельствам, понравилось императору меньше. Он велел ответить, что его связывает тесное родство с домом Романовых, личная дружба с царем и вековое братство по оружию с Россией. Таким образом, из английского предложения ничего не вышло. Император в обществе своего друга Эйленбурга посетил в Мюнхене инкогнито известную гадалку и спросил ее, может ли он положиться на одного своего русского друга (разумел Николая II). Гадалка ответила, что вполне может. Это успокоило Вильгельма.

Его и много позднее (до выхода его воспоминаний) очень высоко ставили в мире. Незнакомые с ним люди часто писали об его необыкновенном уме, талантах, образовании. Правда, фельдмаршал Вальдерзее говорил, что император почти ничего не читает и вообще почти не работает, а любит только охоту, церемонии и болтовню. Особенную рекламу ему делали его приближенные, страстно подкапывавшиеся друг под друга в борьбе за его милость. «Все они кусаются, дерутся, ненавидят и обманывают один другого. У меня все больше укрепляется чувство, что я живу в доме умалишенных», — писал один из них.

Какие именно умалишенные изменяли настроение и принципы Вильгельма, мы не знаем. Но ориентация германской внешней политики внезапно изменилась. Теперь канцлер Бюлов при личном свидании запросил короля Эду-

арда, не согласилась ли бы Великобритания заключить с Германией военный союз. При английском дворе раболепства, грызни, гадалок, «дома умалишенных» не было, и политику делали преимущественно министры. Однако обиделось ли британское правительство за первый отказ или по другой, непонятной простому разуму, причине, на этот раз ответило отказом оно.

Английская политика, «строящаяся на долгие десятилетия вперед», тоже изменилась. Король ответил, что отношения между Англией и Германией превосходны, в мире все совершенно спокойно, и что он в военном союзе никакой надобности не видит.

Несчастьем для Европы было и то, что почти все секретные и несекретные соглашения строились главным образом на взаимном обмане, причем каждое правительство обманывало и своих союзников. В 1907 году новый русский министр иностранных дел Извольский посетил Вену. Его осыпали знаками внимания, он был принят Францем-Иосифом, получил большой крест ордена св. Стефана и установил дружеские отношения с Эренталем. Извольский хотел добиться для русского Черноморского флота прохода через проливы. После Крымской войны проливы были закрыты для военных судов всех стран. В течение полувека, особенно после Берлинского конгресса, в Петербурге были в общем довольны этим соглашением, защищавшим все русское черноморское побережье от возможного, в случае войны с Англией, нападения британского флота. Один из русских государственных людей говорил в 1897 году: «Нам нужен швейцар в турецкой ливрее, Дарданеллы ни в каком случае не должны быть открыты: Черное море — русское *tagre clausum*»¹. Затем то, что считалось выгодным преимуществом, было признано непереносимым злом.

Извольский хотел поднять престиж России, уменьшившийся после войны с Японией; о своем еще не создавшемся личном престиже он, разумеется, не говорил. Этот остроумный, раздражительный человек считал себя много выше других министров иностранных дел, — позднее своего французского собрата называл «человеком универсальной некомпетентности», что, конечно, тому вскоре стало известным. В деле о проливах была очень заинтересована Австро-Венгрия, и он готов был дать ей «компенсацию»: соглашался на то, чтобы она присоединила к себе и формально Боснию и Герцеговину, фактически ею захваченные

¹ Внутреннее море (лат.)

еще тридцать лет тому назад. Он желал бы, чтобы право прохода через проливы было предоставлено только русскому военному флоту, но в крайнем случае соглашался и на то, чтобы его получили все державы.

Эта мысль чрезвычайно понравилась барону Эренталю. Было устроено секретнейшее совещание. Граф Берхтольд предоставил для него свой великолепный замок в Моравии Бухлау. Никто другой приглашен не был. Совещание состоялось 15 сентября. Решено было не вести стенограммы: все по памяти запишет Извольский и представит Эренталю свою запись. Станным образом русский министр очень долго записи не представлял и, быть может, кое-что забыл. Так, по крайней мере, утверждал Эренталь. Не было записано и то, когда именно будет объявлено о присоединении Боснии-Герцеговины к Австро-Венгрии. Извольский узнал о нем на станции Мо из газет, подъезжая к Парижу, где его ждало письмо Эренталья. Из права прохода русских судов через проливы ничего не вышло. Он пришел в ярость и возненавидел Эренталья, которого с той поры считал и в письмах называл «неджентльменом». Вся дальнейшая его политика определялась ненавистью к Австрии.

Несколько меньше, чем Извольский, но все же были раздражены германское и итальянское правительства. С ними Эренталь не счел нужным предварительно посоветоваться, хотя они были союзниками. Так и несколько позднее при свидании царя с Виктором-Эммануилом в Ракоиджи, Извольский и Титтони, заключая важное соглашение, тщательно скрыли его от своих союзников. Впрочем, через несколько дней после этого соглашения Титтони заключил другое, с Австро-Венгрией, прямо противоречившее первому и столь же тщательно скрытое от России.

Австрия со времен похода принца Евгения в начале восемнадцатого столетия считалась главным другом сербов, их защитницей от турок. При Обреновичах, несмотря на захват Боснии и Герцеговины, отношения между обеими странами были самые лучшие. Дело было, впрочем, не столько в последовавшей перемене сербской династии, сколько в том, что сербы из малого и слабого народа стали не столь малым и слабым. Как в разное время и другие государства, они теперь мечтали об объединении всех людей их национальности, — предвидеть Сталинское объединение не могли. И в 1908 году превращение неофициального захвата Австрией Боснии-Герцеговины в официальное присоединение, принесшее Эренталю графский титул, вызвало у сербов необычайное негодование.

Все это, как известно, позднее привело к сараевскому убийству, к мировой войне и к крушению монархии Габсбургов. Эренталь давно умер, с графским титулом и с сознанием своих великих исторических заслуг перед родиной. Через несколько лет и от его дела, если не считать прямо его делом катастрофическую войну и гибель Австро-Венгрии, не осталось ровно ничего. Тем не менее серьезные историки, и австрийские и иностранные, в своих трудах расточают похвалы его уму, талантам и даже гениальности. Он в известный исторический период стяжал себе весьма краткое «бессмертие» верной, по духу чисто спортивной, службой австрийскому престижу. В нем видели нового Меттерниха, это очень ему нравилось, и он не сердился на самые враждебные статьи, если только в них его сравнивали с Меттернихом. В общем, его настроение было приблизительно такое же, как у громадного большинства правителей Европы: войны, разумеется, не надо, но не будет большой беды, если война возникнет: ведь войны были всегда. Неизмеримо хуже было бы «Derogierung an Prestige»¹.

Жизнь при дворах везде была хотя и не очень спокойная, но веселая и пышная. Вильгельм II все чаще переходил от одного настроения к другому. Он болел и порою думал, что болен опасно. Ему вырезали полип в горле. Император предполагал, что это не полип, а рак: от рака умерли его отец и мать. Относился к этому предположению мужественно. Иногда (вероятно, думая о смерти) он произносил миролюбивые речи, порою прекрасные, говорил, что войны никому не нужны; в частных беседах утверждал, что больше всего хотел бы сближения и тесной дружбы с Францией. К нему приезжали друзья из второстепенных французских политических деятелей. Один из них, Жюль Рош, обожал Гёте и всегда носил с собой экземпляр «Фауста». Это приводило императора в восторг. Были у него и русские и английские друзья, правда, не носившие «Фауста» в кармане, и их он тоже уверял, что только и желает общего мира. Уверял довольно искренне. Но нередко произносил воинственные, даже почти бешеные речи, вызывавшие панику в Европе, впрочем обычно недолгую. Сенсация, производившаяся каждым его выступлением, была большой радостью его жизни. Ему, однако, было далеко до некоторых позднейших диктаторов: этим было душевно необходимо, чтобы о них — дожил! мог ли прежде и мечтать! — говорил весь мир. Политикование уж совсем прочно стало

¹ «Падение престижа» (нем.).

важным отделом психиатрии, которому следовало дать обозначение: «комплекс Моссаде».

Этого у германского императора быть не могло. Как большинство государственных людей, Вильгельм II просто сам не знал, чего хочет. Он был живым доказательством того, что место красит человека гораздо чаще, чем человек красит место. Несмотря на некоторую его общую даровитость и на немалую способность к эффектам, к позам, к рекламе, никто в мире не обращал бы на него внимания, если б он не был германским императором.

Исключение среди государственных деятелей составлял Франц-Иосиф. Он слышать не хотел ни о какой войне. Однако все знали, что в Вене идет глухая борьба между императором и наследником престола, которого поддерживали важные австрийские сановники и генералы. Исход борьбы не мог быть предугадан; предполагалось, что исходом будет кончина престарелого императора. Многие думали и писали, что с ней вообще кончится империя Габсбургов.

Австро-Венгрия, приблизительно с 1906 года, оказалась главным центром европейской большой политики. В ее военном могуществе люди сомневались, в России ее называли «лоскутной империей», а на Западе — «вторым большим человеком Европы» (первым издавна считалась Турция). Но «Балльплатц», «намерения Вены», «политика Эренталя», «воинственные замыслы эрцгерцога Франца-Фердинанда» заполняли телеграммы министров иностранных дел и послов, ежедневно упоминались в статьях главных газет Европы.

Главой военной партии в Австрии признавался наследник престола, эрцгерцог Франц-Фердинанд. Его почти все считали черным реакционером, ненавистником славян и сторонником войны — разумеется, «превентивной» — с Сербией и Россией. С этим, однако, вышла много позднее странная история. На полях доклада об его убийстве Вильгельм II написал собственноручно: «Эрцгерцог был лучшим другом России. Он хотел возродить Лигу Трех Императоров». Когда в Германии произошла революция, записи императора на докладах были напечатаны. Эти слова вызвали у историков недоумение. Вильгельм не имел основания лгать в таких записях и никак не мог предвидеть, что они со временем будут опубликованы. С эрцгерцогом он был связан тесной дружбой, часто с ним встречался и совещался наедине, должен был лучше, чем кто-либо другой, знать его самые тайные политические замыслы. Возник спор, не разрешенный окончательно и по сей день.

Еще значительно позднее появились в печати разные бумаги Франца-Фердинанда. Они как будто не оставляют сомнения в том, что никакой войны он не хотел, что в этом вопросе был совершенно согласен с Францем-Иосифом, с которым расходился чуть ли не во всем другом. Выяснилось также, что он стоял за дружбу и союз с Россией, видел в них оплот против революции, что он преклонялся перед самодержавными русскими императорами, что славян он очень любил — гораздо больше, чем венгров, — что хотел превратить двуединую монархию в триединую (с третьей, славянской частью) и обеспечить полное равноправие для всех своих будущих подданных. В его бумагах найден был даже проект манифеста, предусмотрительно им составленный на случай внезапной кончины Франца-Иосифа и провозглашавший коренные либеральные реформы в отношении национальных меньшинств. «Он был настоящим другом хорватов и сербов в Боснии», — пишет, как будто с некоторым недоумением, новейший английский историк, самый ученый из всех занимавшихся той эпохой. Ненавидел эрцгерцог только итальянцев, которым не прощал конца светской власти пап. «Один из самых загадочных людей нашего времени», — говорят теперь и некоторые другие историки. Слухи о том, будто у эрцгерцога были секретные соглашения с Вильгельмом о войне, оказались совершенной легендой. Особенно много зловещих рассказов ходило об их последнем свидании в Конопиште, великолепном имении Франца-Фердинанда. Говорилось, что на этом свидании была окончательно решена война. Теперь доказано, что и речи о войне там никакой не было: эрцгерцог пригласил к себе императора преимущественно для того, чтобы показать ему свои розы, считавшиеся лучшими в мире. Да еще хотел сделать удовольствие своей морганатической жене: она очень любила Вильгельма. В Вене на обедах у Франца-Иосифа ее сажали ниже самых молодых эрцгерцогинь. В Потсдаме же все германские принцы сидели за общим столом, а отдельный, особенно почетный, стол ставился для нее, для эрцгерцога, императора и императрицы.

Вероятно, в суждениях о намерениях и настроениях Франца-Фердинанда все были правы: он тоже менял их довольно часто. Как бы то ни было, еще за год до войны ее по-настоящему никто, кроме полоумных, не хотел, — и все к ней бессознательно мир подталкивали, совершенно не подозревая о том, на кого в действительности работают. Видели это ясно лишь очень немногие государственные люди Европы (в их числе двое русских: Витте и Дурново).

Лишь в последние недели прямо повели дело на войну Вильгельм, граф Берхтольд, Конрад фон Гетцендорф и некоторые другие.

Так называемые секретные соглашения заключались в Европе часто, и печать видела в тайной дипломатии очень большое зло: она требовала, чтобы все совершалось под контролем общества. На самом деле одна из главных бед тайной дипломатии уж скорее заключалась в том, что она не была тайной: ее секреты очень быстро разглашались; министры не умели держать язык за зубами и даже не хотели этого: им было необходимо, чтобы их меттерниховские победы становились по возможности скорее известными всему миру. Иначе к ним и стремиться не стоило: уйдешь с должности, нечем будет похвастать, в лучшем случае будет слава у потомства, которое никого из них по-настоящему не интересовало; да и то потомство еще может приписать заслугу преемнику, обычно противнику и сопернику. Старательно и успешно работали также репортеры, — и в Европе того времени не было ни одного секретного соглашения, которое скоро не стало бы «достоянием общественного мнения». «Общественное мнение» смыслило в иностранных делах еще гораздо меньше, чем министры. Почти в каждом соглашении одна сторона как будто выигрывала больше, чем другая, и другую начинали бешено ругать ее собственные газеты, не меньше ругая — хотя и с признанием ума и хитрости — противную сторону. Начиналось столкновение разных общественных мнений, и раскалялись национальные страсти.

К началу 1895 года забота об избежании «*Derogierung an Prestige*» совершенно овладела умом канцлера Бюлова. Ему вдобавок очень хотелось получить княжеский титул. Этот титул давался редко и только за исключительные заслуги. Исключительную заслугу можно было себе устроить. Момент был благоприятный: Россия была занята войной на Дальнем Востоке, европейское равновесие нарушилось в пользу Германии. Французское правительство, в котором были и русофилы, и англофилы, и даже германофилы, все больше старалось прибрать к рукам Марокко. Эта нищая страна, почти ничего не обещавшая метрополии, кроме немалых жертв людьми и деньгами, была еще гораздо менее нужна Германии, чем Франции: Вильгельм сам это говорил и писал. Но в будущее почти все европейские государственные люди заглядывали разве лишь на несколько месяцев, да и то в большинстве случаев неудачно. Между тем престиж для германской империи и княжеский титул для Бюлова можно было приобрести быстро.

Ранней весной император для отдыха решил предпринять путешествие по Средиземному морю. Морские поездки всегда действовали на него успокоительно, а он, при крайней своей нервности, очень в этом нуждался. Руководитель огромного пароходного общества Баллин, «друг императора», с полной готовностью предоставил роскошный пароход «Гамбург» и сам, по своей инициативе, посоветовал взять с собой побольше сановников. Это было для общества превосходной рекламой. Среди приглашенных были антисемиты, недолголюбивавшие еврея Баллина, но и они от приятного, бесплатного путешествия в обществе Вильгельма не отказались. Предполагалось отправиться сначала в Лиссабон, затем в Неаполь. Совершенно неожиданно Бюлов потребовал, чтобы император по дороге высадился в Танжере и произнес там энергичную речь в защиту независимости мароккского султана.

Вильгельм II в ту пору очень любил канцлера (которого несколько позднее стал ненавидеть). Этот очень образованный блестящий человек, прекрасный оратор, считавшийся (вместе с Клемансо) лучшим *causeur*¹ Европы, неизменно при каждой встрече его очаровывал. Вдобавок он считал Бюлова как бы своим учеником и во всяком случае своим созданием. С прежними главами правительства ему было скучновато, а с ним никогда. Император раза два-три в неделю приезжал в гости к канцлеру и долго с ним болтал о новостях, о сплетнях, о государственных делах. Часто оставался у него то завтракать, то обедать. Бюлов как бы случайно приглашал к столу посторонних людей, ученых, писателей, артистов, которых Вильгельм в других дворцах встретить не мог. Эти встречи были императору приятны, он много говорил об искусстве и даже о разных науках. Профессора иногда недоумевали, но слушали с восторженным вниманием. Сводил канцлер Вильгельма с крупными промышленниками, с еврейскими банкирами. Император был очень богат, хотя и не так богат, как русский царь или как Франц-Иосиф (это его раздражало). Кроме большого гражданского листа, у него было больше 90 тысяч гектаров собственной земли, много собственных замков и денег. Он уважал богатство и был очень любезен с Швабами, Фридендерами, Симмонсами.

Предложение Бюлова и озадачило Вильгельма, и было ему вначале очень неприятно. Гимназистам было бы ясно, что речь в Танжере поведет к большим неприятностям, а может быть, и к войне. Немного раньше или немного поз-

¹ Остролов (*фр.*).

днее император, наверное, отнесся бы к плану канцлера с восторгом. За два месяца до того, принимая в Берлине бельгийского короля Леопольда II, он в последний день перед обедом сказал наедине королю, что принадлежит к школе Фридриха Великого и Наполеона I, что он не уважает монархов, считающихся не с одной Божьей волей, а с министрами и парламентами, что он шутить с собой не позволит, что Фридрих начал Семилетнюю войну с вторжения в Саксонию, а он начнет с вторжения в Бельгию, причем обещал королю в награду за доброе поведение несколько французских провинций. Король от ужаса за обедом ничего не ел и почти не разговаривал со своей соседкой императрицей. «Император говорил мне вещи ужасающие!» — только сказал он перед отъездом на вокзал.

Однако в марте 1905 года Вильгельму никакой войны не хотелось, и он отнесся к плану поездки в Танжер очень неодобрительно. Сказал канцлеру, что визит вреден и опасен, так как мароккский вопрос включает в себе слишком много зажигательного материала: «zu viel Zündstoff». Бюлов не отставал, ссылаясь все на то же: на престиж Германии. Он и сам не хотел войны или думал, что ее не хочет, но любил «finassieren»¹ и беспрестанно повторял приписываемые Бисмарку слова: «Надо всегда иметь на огне два утюга». Хорошо зная императора, соблазнял его и эффектом. Речь в Танжере император должен был сказать, сидя верхом на коне. Дело было подробно разработано в тайных переговорах с мароккским султаном. Были приготовлены лучшие лошади султанской конюшни. Вильгельм уступил и, в сопровождении большой свиты, выехал в Танжер.

Море было спокойное, пароход сильно качало, император чувствовал себя не очень хорошо. По дороге он опять начал колебаться: нужно ли ехать? Вдруг, как это ни маловероятно, выйдет война? Помимо прочего, она означала бы конец дружбы с царем, быть может и с другими монархами; гвардия, вероятно, вся погибла бы, армия сильно пострадала бы, все пришлось бы восстанавливать сначала, — каких денег это стоило бы? Правда, почти все его предки вели войны, и странно было бы ни разу за все блестящее царствование не повоевать. Большая дипломатическая, а тем более военная, победа чрезвычайно увеличила бы престиж. С другой стороны, были еще разные причины для колебаний. Танжер был гнездом анархистов, можно было ждать покушений или хоть враждебной демонстрации. Капитан, качая головой, говорил,

¹ Лукавить, хитрить (фр. *finasser*).

что в такую погоду причалить к берегу в Танжере невозможно, его величеству придется отплыть с парохода на лодке, а она, при сильных волнах, может и опрокинуться, или же всех вода обольет с головы до ног.

Эффект мог пропасть. Император колебался все больше. Из Лиссабона он по телеграфу известил канцлера, что решил в Танжер не ехать. Пришла ответная телеграмма с мольбами, убеждениями, почти с угрозами: можно ли не считаться с мнением германского народа? Германский народ ни о каком Танжере и не слышал, но как было не поверить Бюлову? За час до высадки император сказал Кьюльману: «Я не высажусь!» — и высадился.

Лодка его не опрокинулась, арабский жеребец хотя и взвизывался на дыбы, но дал на себя сесть, и фотографии вышли чрезвычайно удачными. Правда, революционеры орали. Вильгельм II, по его словам, произнес речь «не без любезного участия итальянских, испанских и французских анархистов, жуликов и авантюристов». В возбуждении и чтобы проявить независимость, он даже отступил от приготовленного канцлером текста и сделал свое слово еще более «энергичным». Впечатление во всем мире было сильнейшее. В демократических странах все негодовали, газеты вышли с огромными заголовками: в Танжере брошена бомба! Германские генералы (впрочем, не все) наслаждались. Трудно сказать, кого император называл «авантюристами», — себя и Бюлова, разумеется, к ним никак не причислял. Но верно, еще больше наслаждался, читая газеты, Ленин: шансы на войну увеличиваются.

Все обошлось очень хорошо. Войны не произошло. Французский министр иностранных дел Делькассе, после бурного правительственного заседания, подал в отставку. Престиж Франции понизился, престиж Германии вырос. Канцлер получил княжеский титул.

В своих воспоминаниях Бюлов изобразил себя крайним миролюбцем, с негодованием издевался над своим преемником Бетманом-Гольвегом, который по глупости и неосторожности довел в 1914 году Германию и весь мир до катастрофы. В действительности и его собственная ценная идея очень способствовала приближению войны, как и тому, что Англия выбрала второй утюг и — без восторга — перешла на сторону Франции и России. Бюлов понимал значение своих действий не лучше, чем Бетман-Гольвег, Эренталь, Делькассе, Извольский. Все они бессознательно направляли Европу к *самоубийству* и к торжеству коммунизма, — тоже, конечно, не вечному, но оказавшемуся уже очень, очень долгим.

II

Незадолго до возвращения из Парижа в Россию Люда вспомнила, что у нее просрочен паспорт. На границе могли выйти неприятности.

— Как же мне быть? — с досадой спросила она Аркадия Васильевича. Он после защиты диссертации в Сорбонне стал доктором парижского университета и был хорошо настроен. Даже не подчеркнул, что у него все бумаги всегда в порядке, и всего один раз напомнил, что «давно ей это говорил»:

— Паспорт у каждого должен быть исправен.

— Да, да, ты говорил. И, конечно, русский человек состоит из тела, души и паспорта, это давно известно. Все же бывают и отступления. Вот у тебя, например, есть паспорт, есть тело, но нет души.

— О том, есть ли у меня душа, мы как-нибудь поговорим в другой раз.

— Я уверена, что нет.

— В том, что ты в этом уверена, я ни минуты не сомневался, но дело не в моей душе, а в твоём паспорте. Помни, что мы едем в Россию через две недели.

— Что ж, ты можешь отлично поехать и без меня. Я и вообще не знаю, вернусь ли я.

— Пожалуйста, не пугай меня и не уверяй, будто ты хочешь стать эмигранткой. Ты уже давно скучаешь по России. Гораздо больше, чем я.

— Это немного, потому что ты совсем не скучаешь. Была бы у тебя где-нибудь своя лаборатория, а все остальное в мире совершенно неважно.

— Разумеется, твоя деятельность, в отличие от моей, имеет для мира огромное значение. Но возвращаясь к делу: ты завтра же пойдешь в наше консульство...

— Как же! Непременно! — сказала Люда, раздраженная словом «пойдешь». — Как это я пойду в императорское консульство?

— Так просто и пойдешь или поедешь на метро. Если б ты в свое время сделала мне честь и повенчалась со мной, то вместо тебя мог бы пойти я. Но ты мне этой чести не сделала, поэтому ступай в «императорское консульство» сама. Может быть, там тебя не схватят, не закут в кандалы и не бросят в подземелье. Правительство не так уж напугано вашей революционной деятельностью. Я думаю, что и твой Ильич может беспрепятственно вернуться, и оно от этого тоже не погибнет.

— Разумеется! Ты всегда все отлично знаешь!

— Ты мне сама говорила, что он преспокойно получает деньги, которые посылают ему его родные из России, легально по почте или через банк, по его настоящему имени: Николай Степанов.

— Он не Николай и не Степанов, а Владимир Ульянов, и ты отлично это знаешь.

— Да я сам видел у тебя на его брошюрке: Николай Ленин.

— Псевдоним «Николай Ленин», а имя «Владимир Ульянов».

— Довольно глупо. Впрочем, мне недавно какой-то жидоед сказал, будто он и не Ленин, и не Ульянов, а Пинхас Апфельбаум.

— У тебя очаровательные знакомства. Ильич никогда евреем не был. Он великоросс и, кстати, дворянин.

— Очень рад слышать. Но в консульство завтра же пойди.

Люда и сама понимала, что ей пойти в консульство придется. Она действительно несколько не собиралась стать эмигранткой. Уже начинала скучать во Франции. Особенно скучны были две недели, проведенные ими в Фонтенбло. Аркадий Васильевич и сам не любил уезжать из Парижа, но его работа была кончена, и он считал отдых необходимым им обоим: о здоровье Люды заботился почти так же, как о своем. Они сняли комнату в дешевом пансионе. Ни души знакомых не было. По два раза в день гуляли в лесу. Он различал деревья, умел даже определять их возраст или, по крайней мере, знал, как это делается, объяснял Люде (которая никаких деревьев, кроме берез, не знала), наслаждался законным отдыхом и даже предложил остаться на третью неделю. Люда решительно отказалась: в таких поездках был особенно приятен лишь момент возвращения в Париж.

Впрочем, на этот раз была разочарована и возвращением. Члены партии в большинстве разъехались. Центром партийной работы стала Швейцария, где жили Ленин и Плеханов. Там же находился временно Джамбул. О нем Люда вспомнила с некоторой ей самой плохо понятной досадой. Тем не менее при этом у нее неизменно выступала на лице улыбка. Ей очень хотелось побывать в Женеве перед отъездом в Россию; следовало бы получить от Ильича инструкции. Но было совестно брать у Рейхеля деньги на поездку, хотя он их дал бы по первому ее слову. Хорошо было бы заработать франков сто. Однако зарабатывать деньги Люда совершенно не умела.

В Фонтенбло она от скуки читала три получавшиеся там газеты, все консервативные; пансион был *bien pensant*¹. Люда иногда заглядывала в передовые статьи «Temps», что ей казалось пределом и скуки, и человеческого падения. Пробегала светский отдел «Фигаро». Снобизма у нее не было, но звучные имена герцогинь и маркиз ей нравились. Дня за два до их возвращения ей в хронике бросилось в глаза: М. Alexis Tonyshev. Она радостно ахнула: «Конечно, он! Я давно слышала, что он служит в парижском посольстве». Газета называла его имя в списке гостей на приеме, впрочем не очень важном, не у герцогов, а у банкиров, покровительствовавших новейшему искусству, — их имя упоминалось в светской хронике довольно часто. Теперь Люда подумала: «Вот кто может мне помочь в деле с паспортом. Прийти в консульство без протекции, будут бюрократишки ругаться. Но он, верно, о моем существовании давно забыл?»

С Тонышевым она лет шесть тому назад встретилась в Петербурге на балу в пользу недостаточных студентов. Их познакомила курсистка, брат которой отбывал воинскую повинность. Тонышев был дипломат, попал на бал по просьбе этой курсистки, был с ней очень любезен, а с Людой еще больше, танцевал с обскими, и хорошо танцевал. С той поры Люда его не видела, но в душе надеялась, что он никак ее не забыл.

На следующее утро она, одевшись как следует, поцеловав кошку, отправилась в посольство. Револьюционеры говорили, что где-то поблизости от посольства помещается и русская политическая агентура. Люда осмотрелась и вошла с любопытством. Спросила, не здесь ли принимает Алексей Алексеевич Тонышев, и, узнав, что здесь, взволнованно написала на листке бумаги: «Людмила Никонова». Через минуту ее пригласили в его кабинет. Из-за стола поднялся элегантно одетый человек лет тридцати или тридцати пяти. «Ну да, он, я сейчас же узнала бы! Тонышев же не помнил, хотя ее лицо показалось ему знакомым. «Очень хороша собой! Кто такая и где я ее встречал? — спросил он себя и наудачу поздоровался как со знакомой, — не спросил: «Чем могу служить?» Когда Люда о себе напомнила, он радостно улыбнулся и стал очень приветлив.

— Что вы! Разумеется, узнал вас тотчас. Вы несколько не изменились.

— Вы тоже не изменились. Даже монокля не носите, хотя и дипломат, и даже, я слышала, известный дипломат.

¹ Благомыслящий (фр.).

Мне недавно попалоcь ваше имя в хронике «Фигаро» и даже без de, — он удивленно на нее взглянул. — Там, у этих банкиров, чуть не все другие гости были с de.

— Очень скучный был прием. Но картины у них прекрасные.

— А я к вам по делу, Алексей Алексеевич. Видите, я помню ваше имя-отчество. А вы моего, наверное, не помните: Людмила Ивановна.

— Вас тогда и нельзя было называть по имени-отчеству. Вам было лет шестнадцать, это был, верно, ваш первый бал? — сказал он с улыбкой. — Какое же у вас дело? Разумеется, я весь к вашим услугам.

— Оно небольшое и скорее зависит от консульства, чем от посольства, — объяснила, что просрочила паспорт и хочет его продлить.

— Действительно, вы правы, — сказал он. — Продление паспорта зависит от консульства.

— Но я там никого не знаю.

— Личное знакомство тут и не требуется. Надо только объяснить причины. Вы почему просрочили? По нашей русской халатности?

— Отчасти и поэтому, но были еще другие причины. Не скрою от вас, я чуть колебалась, возвращаться ли мне теперь в Россию или нет. Видите ли, я левая. Консульская братия упадет в обморок.

Он немного поднял брови.

— Вы хотели стать эмигранткой?

— Не то что хотела, но одно время думала и об этом. Теперь раздумала.

— И отлично сделали, что раздумали. Надеюсь, за вами ничего худого не значится?

— «Худого» ничего. По крайней мере на мой взгляд.

— Это, конечно, очень дипломатический ответ. Скажу вам правду, я плохо знаю, какие формальности необходимы в таких случаях. Там, наверное, есть списки неблагонадежных лиц, — сказал он, не разясняя слова «там». — Но так как ничего «худого» за вами нет, то вы, наверное, ни в каких списках не значитесь, и я не вижу, почему консульство могло бы не продлить вам паспорта. Быть может, впрочем, они пожелают предварительно запросить Петербург. Если хотите, я могу справиться.

— Я была бы вам чрезвычайно благодарна. Надеюсь, это вас не скомпрометирует!

— Я тоже надеюсь, — улыбаясь, ответил он. — Сообщите мне ваш телефон.

— У меня нет этого инструмента.

— Неужели еще есть счастливицы, живущие без телефона? Тогда я вам напишу.

— Вы очень меня обяжете, — сказала Люда и записала свой адрес. Он смотрел на нее с любопытством. «Разумеется, революционерки такие не бывают», — подумал он. Никогда ни одной революционерки не видел.

Тремя днями позднее под вечер Люда готовила несложный обед. Рейхель, долго учившийся в Германии, предпочитал всем блюдам бифштекс с яйцом. Говорил, что еще любит русские котлеты. Однако котлеты требовали труда и времени, да еще вдобавок «плевали жиром со сковороды», и Аркадий Васильевич получал их редко, лишь в знак особой милости. Люда работу на кухне терпеть не могла; надевала, стряпая, белый халат и завязывала волосы платком. Сама в еде была неприхотлива и вполне удовлетворялась бифштексом. На хозяйство тратила пять франков в день. Прислуги у них не было, но она держала меблированную квартиру в чистоте.

Работа была уже кончена, когда на улице протрубил автомобиль, к некоторому удивлению Люды. Автомобилей тогда еще было не так много и в Париже, а в их тихом квартале они почти не появлялись. Люда подошла к окну: «Тонышев! К нам!..» Она поспешно сняла передник, сорвала с головы платок, осмотрела комнату, бывшую у них кабинетом, столовой и гостиной. Все было в порядке. Кухней не пахло. Послышался звонок. Она быстро осмотрелась в зеркале — «прическа не смялась» — и отворила дверь. Тонышев, в легком пальто, в шелковом шарфе, в цилиндре, радостно улыбаясь, просил извинить его:

— Не очень помешал? Незванный гость хуже татарина.

— Нисколько не помешали. Я очень рада.

— Я только на несколько минут.

— Да почему «на несколько минут»? Я совершенно свободна и страшно вам рада. Снимите пальто, положите цилиндр хоть на этот стул... Пойдем в гостиную.

— Ваше дело с паспортом в полном порядке.

— Неужели? Тогда я рада еще больше. И очень, очень вам благодарна. Усаживайтесь.

— Я собирался вам написать, как было условлено, но сегодня суббота, вы получили бы письмо только послезавтра, или же вас завтра утром разбудил бы пневматик. А я

получил в консульстве ответ только часа два тому назад. Поэтому я позволил себе к вам заехать.

— Да вы точно оправдываетесь! Это так любезно и мило с вашей стороны.

— Разумеется, вам надо будет побывать в консульстве лично. Это займет не более получаса. Они где-то навели справку, и оказалось, что никаких препятствий нет. Видите, не так страшен черт, как его малюют.

— Особенно, когда есть к черту и протекция.

— В самом деле, я за вас у черта поручился, — сказал он, смеясь. — Пожалуйста, не подведите меня.

— Не обещаю, не обещаю. Пеняйте на себя, что поручились. Но вас, наверное, не повесят, разве только сошлют в каторжные работы, — весело говорила Люда. — Вот что, чаю я вам не предлагаю, не время, но хотите портвейна? Я выпила бы с вами.

— Если вы так добры.

Люда вышла на кухню. Там у них был графин с банюильсом, который она выдавала за портвейн, угощая некомпетентных гостей. «С ним это, верно, рискованней, но ничего, сойдет... Какой элегантней!» Подумала, что Рейхель вернется из лаборатории не раньше чем через час. Это было кстати.

Тонышев тем временем осмотрелся, стараясь по обстановке определить, кто такая Люда. «Замужем? Курсистка? Едва ли». Взглянул на лежавшие на столе книги: «Что делать?». Это хуже. — Имя автора «Н. Ленин» было ему неизвестно. «Но ведь «Что делать?» это Чернышевского?» Другая книга была успокоительней: роман Поля Бурже. Рейхель недавно купил ее, кто-то из товарищей по Пастеровскому институту сказал, что в этом романе выведен un prince de la science¹. Это выражение понравилось Аркадию Васильевичу, но, прочтя роман, он подумал, что выведенный prince de la science очень мало похож на настоящих ученых.

Полю Бурже давал тему для начала разговора: от него легко было перейти к более модным писателям, к Марселю Прево, к Анатолю Франсу, к Кипплингу, еще легче к модным курортам, к Трувиллю, Веве или Остенде. По обстановке квартиры Тонышев видел, что о модных курортах говорить не надо. С красивыми женщинами он предпочитал начинать разговор с литературы или с живописи. Говорил достаточно хорошо для светского человека, хотя и не слишком блистательно; было именно приятно, что он не старается блистать, как профессиональный causeur. Он много

¹ Ученый муж (фр.).

читал, преимущественно тех авторов, при чтении которых надо было «делать поправку на их время».

О легком походе с этой новой своей знакомой он и думал, и нет. Старался запрещать себе мысли, казавшиеся ему не очень благородными. Иногда это ему удавалось. Но, еще прощаясь с Людой в посольстве, он сказал себе, что, собственно, в таких похождениях ничего неблагородного нет, да и как же без них жить человеку, не собирающемуся стать монахом?

— Боже, как отстал этот человек! Я встречал Бурже в обществе. Он живет идеями начала прошлого века и вдобавок влюблен в аристократию, хотя сам *Monsieur Bourget tout court*¹. Да и по таланту где ему до Эмиля Золя! Вот кто был герой. Мне так жаль, что он не дожил до реабилитации Дрейфуса.

К удивлению Люды, оказалось, что Тонышев недолго любил антидрейфусаров и правых. Она сочла возможным ругнуть не так давно убитого Плеве. Ильич министров обычно называл непристойными словами. Люда их никогда не произносила, и Плеве назвала просто негодяем. Тонышев тоже отозвался о нем резко.

— Я благодарю Бога, что служу по ведомству иностранных дел. У нас такие люди невозможны!

— И вы довольны службой?

— В общем доволен. Это интересная жизнь. Я побывал в разных столицах. Особенно мне было интересно пожить в Константинополе. Теперь мой несравненный Париж. Однако я скоро его покину. Меня переводят в Вену.

— Вот как? — спросила Люда с огорчением. «Но какое мне до него дело?» — рассердившись на себя, подумала она. — Это повышение?

— По должности повышение. Вена тоже красивый город. Интересно будет взглянуть и на их застывший двор, с этикетом пятнадцатого века. Вдобавок, Австро-Венгрия теперь центральный географический пункт мира, по крайней мере в дипломатическом отношении. Я не люблю швабов, но...

— Каких швабов?

— Я хотел сказать: немцев. Но австрийцы, в частности, наши противники. Что ж делать, «la vérité a des droits imprescriptibles»², как говорил Вольтер. Необходимо приглядываться. Да и независимо от этого, я люблю новые места,

¹ Всего-навсего господин Бурже (фр.).

² «Правда имеет неписанные права» (фр.).

новых людей, люблю наблюдения. Когда уйду на покой, напишу мемуары, как все уважающие себя дипломаты.

— Куда же вы уйдете на покой?

— У меня в Курской губернии есть имение. Не очень большое, но оно дает мне возможность сносно жить, — сказал он, чтобы иметь возможность спросить и ее о том, кто она.

— Родовое имение?

— Нет, не родовое. Я не «столбовой», — весело сказал он. — Имение купил отец и выстроил там дом, не «в стиле русского ампира», а просто удобный дом с проведенной водой, с ванной комнатой. Я очень люблю свое имение, хотя сельского хозяйства не знаю. Каждое лето там бываю и всегда чувствую, что и у меня, кочевника-дипломата, есть свой дом. А какая там охота!

— Вы охотник?

— Горе-охотник. Впрочем, почему же «горе»? Я охотник настоящий и стреляю влет недурно.

— Но что же все-таки делать в деревне, кроме писания мемуаров? Охота — развлечение, нельзя же только развлекаться... Вы женаты?

— Нет, не женат, — ответил он. Теперь был случай спросить ее, замужем ли она. Но Люда предупредила вопрос:

— Будете скучать? Я никогда в деревне не жила. Мой отец и дед были военные, жили в городах. «Вот как. Я думал, она колокольного происхождения: Никонова», — подумал Тонышев в чужих привычных словах; сам был к вопросам происхождения равнодушен. — У нас никакого имения не было.

— Нет, скучать не буду. Я нигде никогда не скучаю. Буду охотиться, ездить верхом. Я недурно езжу, отбывал воинскую повинность в кавалерии.

«Не сказал «в гвардии», — подумала Люда.

— Ведь вы, кажется, служили в кавалергардском полку или в лейб-гусарском?

— О, нет, эти полки были бы мне и не по карману. Я служил вольноопределяющимся в лейб-гвардии драгунском, второй дивизии. И я не очень люблю военную службу, — ответил он. Кошка вспрыгнула ему на колени. Он ее погладил и похвалил. Это тоже понравилось Люде. Рейхель в таких случаях сгонял кошку с ругательствами и проклятьями.

— Вы в Париже давно?

— Третий год. Какой очаровательный город, правда?

Они еще поговорили о Париже, о театрах, особенно о выставках. Люда в театрах бывала не часто, выставками

мало интересовалась, но с честью поддерживала разговор. «Однако, для царского дипломата он очень образован!» — думала она.

— Я особенно люблю Париж ранней весной, когда еще сиверко, — сказал Тонышев.

«Сиверко»! Надо запомнить».

— Представьте, я тоже. Обожаю Булонский лес. Какая красота! Я и Петербург обожаю, но там Булонского леса нет.

— Вы мне даете мысль, — нерешительно сказал Тонышев. — Надеюсь, вы не сочтете ее дерзостью? Что, если бы мы поехали в Булонский лес и там пообедали в одном из этих чудесных ресторанов? Вспомним и Петербург, где мы познакомились. Ведь мы, выходит, старые знакомые!

Люда смотрела на него озадаченно. «Очевидно, думает «завести интрижку»? Никакой «интрижки» ему не будет, но почему же отказываться? Он сам, кажется, смутился. Это у него вышло экспромтом, без «заранее обдуманного намерения». Отчего бы и нет? Обед Аркадию готов, отлично пообедает и без меня. Сказать ему об Аркадии? Нет, успеется».

— Спасибо, это очень милое приглашение. С удовольствием принимаю. Сейчас и поедем? Тогда я пойду переоденусь. Вы подождете меня минут десять?

— Разумеется. Сколько вам угодно! — радостно ответил он.

Люда вышла в спальную и написала записку: «Аркаша, обед готов. Разогрей бифштекс, положи немного масла на сковороду. Пиво в буфете. За мной неожиданно заехал этот Тонышев и еще неожиданнее пригласил на обед!!! Не ревнуй. А если и ревнуешь, то все-таки накорми кошку не позже восьми. Ее печенка за окном в кухне. С паспортом все в порядке. Он очень любезен. Не паспорт, а Тонышев. Доброго аппетита. Л.» Ее платья были в шкафу в спальном. Она выбрала подходящее.

Тонышев тем временем перелистывал «Что делать?». Опять подумал: «Это хуже. Но какое мне дело до ее взглядов? Она очень мила. Хорошо встречать самых разных людей. Уж если решил быть в жизни «наблюдателем»... Бисмарк дружил с Лассалем».

III

Люда подумала, что и этот ресторан, и переполнявшая его публика живут эксплуатацией рабочего класса. Но сильных угрызений совести не почувствовала. Все тут, сто-

лики с белоснежными скатертями, мягко и уютно освещенные лампочками с одинаковыми абажурами, туалеты дам, так не походило на дешевенькие грязноватые ресторанчики, в которых они иногда обедали с Рейхелем, обсуждая цену каждого блюда. По привычке Люда и тут взглянула на правую сторону обеих карт, но никаких цен не нашла.

— Вы любите шампанское, Людмила Ивановна? — спросил Тонышев. — Я не люблю, это у меня какая-то аномалия. Но здесь есть превосходное красное бордо. С вашего разрешения, мы с него начнем: вместо рыбы я вам предложил бы лангусту, а ее отлично можно запивать и красным вином. Вообще все эти правила гастрономов очень условны и часто казались мне неверными.

— А вы гастром? И знаток вин? — спросила Люда, беспокожно вспомнив о банюильсе.

— Нет, просто люблю хорошо поесть. Гастрономам плохо верю, а уж тем знатокам, которые говорят, что различают год вина, не верю совершенно.

По тому, как он заказывал обед и как ел, Люда видела, что еда занимает немалое место в его жизни. «И без рисовки человек», — думала она. Ей понравилось, что после красного вина он заказал только полбутылки шампанского, очевидно не боясь потерять уважение лакея. «Джамбул тоже не рисуется, но он полбутылки не заказал бы».

— Я ведь пить не буду, а вы целой бутылки не выпьете, — пояснил Тонышев.

— Без вас и я не буду пить, — сказала Люда. Ей очень хотелось шампанского.

— Тогда выпью бокал и я.

Разговор он вел очень приятно, слушал внимательно, говорил о себе в меру. Ее спрашивал только о том, о чем можно было спрашивать при первом знакомстве: любит ли она импрессионистов, что думает о Дебюсси, предпочитает ли Малый театр Александринскому?

— О Художественном я вас не спрашиваю. На нем у нас коллективное умопомешательство. Театр хороший, и артисты есть талантливые, но нет гениальных артистов, как Давыдов. Он величайший актер из тех, кого я видел, а я видел, кажется, почти всех. Да и актрис таких, как Ермолова или Садовская, у них нет. Книппер или Андреева, если говорить правду, артистки средние. И ничего не было уж такого умопомрачительного в постановке «Федора Иоанновича». Не говорю о Станиславском, он большой талант. Но Немирович-Данченко мало понимает в искусстве:

достаточно прочесть его собственные пьесы, это просто макулатура, и вдобавок макулатура *à clef*¹: выводил своих знакомых!

— Ось лихо!

— Вы не украинка ли? По вашему говору не похоже.

— Нет, я коренная великоросска. Но я обожаю украинцев! И еще кавказцев, особенно осетин, ингушей. Малорусского языка я и не знаю, но ужасно люблю вставлять украинские слова, обычно ни к селу ни к городу, как только что. И ругаться чудно умею. Вы не верите? «Щоб тебя пекло да морило!..» «Щоб тебя, окаянного, земля не приняла!..» «Щоб ты на страшный суд не встал!..»

— Да это все великорусские слова плюс «щоб». Так и я умею, — сказал Тонышев. Обоим было весело.

— А вы говорите «сиверко». Разве вы вологодский? Или где это у нас так говорят?

— Нет, это моя мать была родом из северо-восточной России, и у нас в семье осталось это слово. А я родился в Петербурге.

— Я тоже.

— Но возвращаюсь к театру. Я когда-то видел в Киеве малороссийскую труппу. Они тоже ставили макулатуру, такую же, как та, что преобладала и в наших столичных театрах. Но как ставили и как играли! Заньковецкая могла дать нашей Комиссаржевской «десять очков», как говорится в чеховской «Сирене».

Люда горячо вступилась за Комиссаржевскую:

— Я ее обожаю! — сказала Люда. Она по-особенному произносила это слово: «Аб-ба-жаю!». — Комиссаржевская *наша*, она понимает чаянья нашего времени. Божественная артистка!

— Едва ли «божественная». Конечно, и она очень талантлива, хотя тоже мало смыслит в литературе.

— Уж очень вы строгий судья, Алексей Алексеевич! Да вы сами не пишете ли?

— Только докладные записки. Правда, веду дневник.

— Вот как! О чем же?

— Не о мировых проблемах. Просто о том, что вижу и слышу. И, разумеется, только для себя.

— Так говорят все авторы дневников, а потом печатают. Но вы любите литературу?

¹ Спisanная с натуры (фр.).

— Чрезвычайно. Имею библиотеку тысячи в две томов. Я немалую часть своего дохода трачу на книги и на переплеты. У меня слабость к переплетам, есть даже работы самого Мишеля.

— Но ведь как дипломат вы часто переезжаете. Неужели все с собой перевозите?

Он вздохнул.

— Вы попали в большое место. Да, перевожу и книги, и обстановку. Я думал, что в Париже пробуду долго, и устроился прочно. Нашел квартиру с собственным садиком в Пасси, где еще мало кто живет. На отделку потратил все свои сбережения, даже влез в долги магазинам. Теперь, конечно, все уже выплатил. Так вот, переезжай в Вену!

— Хорошая у вас квартира?

— Не считите за хвастовство: чудесная! И картины есть. Поверите ли вы, что я купил Сезанна за сто франков? А он по гению равен величайшим художникам Возрождения. Отчего бы вам не взглянуть? Сделайте одолжение, побывайте у меня.

«Однако! — подумала Люда. — Темп берет уж очень быстрый! Даром стараешься!»

— Как-нибудь с удовольствием.

— Отчего же «как-нибудь»? Поедем ко мне хоть сегодня, отсюда, — предложил он и сам опять смутился. «Прямо мопассановский вивер¹ с гарсоньерками!» — подумала она. Другому ответила бы: «Отстань, нет мелких». — Вот и отдадите мне визит, — пошутил Тонышев. — Или вы по вечерам не выходите?

«Это значит: «Или вы замужем?» — перевела она его вопрос. Ей не хотелось говорить ему о Рейхеле, особенно об их гражданском браке; в своем кругу она об этом сообщала новым людям с первых слов, но там на это никто не обращал внимания.

— Отчего не выхожу? В самом деле, можно было бы куда-нибудь еще поехать после обеда. Разве в театр?

— В театр уже поздно.

— Значит, вы меня сегодня «вывозите»? Если так, то знаете что? Мне давно хочется взглянуть на ночной Париж. Вы его видели?

— Разумеется, видел. Но Монмартр с его кабачками уж очень банален. Хотите побывать на «Bal d'Octobre»?

— Какой «Bal d'Octobre»?

¹ Прожигатель жизни (фр.).

— Это одна из самых популярных трущоб Парижа. Я всюду бывал: и у Fradin, и в «Ange Gabriel», и в «Le Chien qui fume»¹. «Bal d'Octobre» самая жуткая. Не пугайтесь, никаких убийств там не бывает, есть много апашей, но сидят и полицейские. Туда ездят наши великие князья. Недаром в Париже все такое теперь называется «la tournée des Grands Ducs»². Только туда в одиннадцатом часу ехать еще рановато. И уж на минуту мне все равно пришлось бы заехать домой. Переодеваться ни вам, ни мне не нужно, а вот мой цилиндр там был бы принят недружелюбно.

— Ваш цилиндр не только в трущобах, но и на мою консьержку, верно, произвел сильное впечатление, — сказала Люда. «Где наша не пропадала! Вернусь к часу. Аркадий беспокоиться не будет, привык».

— Я и сам не люблю этот странный головной убор. Ничего не поделаешь, все носят.

— Не в моем ученом квартале, — сказала она. Говорила бессознательно в единственном числе: «Мой квартал, моя консьержка». «Так она ученая? Надеюсь, хоть не медичка?» — подумал он. — Но вы были, верно, еще элегантней в мундире. Вы имеете придворное звание? — спросила Люда. «Точно я ему все учиняю допрос! Тогда необходимо сказать хоть что-либо и о себе». Ей не хотелось говорить и о том, что она социалистка.

— Никакого придворного звания не имею... Вы, верно, меня считаете человеком из романа какого-нибудь Болеслава Маркевича? — спросил он, засмеявшись. — Это неверно. Уж если говорить на политическом жаргоне, то я просто либерал, разве с легким уклоном в сторону... Как сказать? Не славянофильства, а в сторону нашего покровительства балканским странам с целью объединения славян. Видите, я жаргон знаю. И, само собой, я сторонник введения в России конституции. Мы к этому и идем со времени убийства Плеве.

— Значит, вы сочувствовали его убийству? — насмешливо спросила Люда.

— Я не могу сочувствовать убийствам, как не могу сочувствовать и казням. Но если говорить совершенно искренне, то мое первое чувство, когда я узнал о смерти Плеве, была радость.

— Довольно неожиданно для царского дипломата.

— Мне самому было совестно, да что ж делать, это было именно так. Вы говорите: «царский дипломат». Да, я

¹ «Собака, которая курит» (фр.)

² «Прогулка великих князей» (фр.).

царский дипломат и монархист. Вы еще больше удивитесь, если я скажу, что убийству Плеве рады были многие «царские дипломаты». Он, помимо прочего, был одним из главных виновников этой бессмысленной и несчастной войны с Японией. Дипломат по самой своей природе не должен стоять за войну... Не должен, хотя часто стоит. По-моему, наша единственная задача, даже наше ремесло, в том, чтобы предотвращать войны. Офицеры другое дело, хотя и из них многие сознаются, что в глубине души хотят воевать... А вы очень левая? — весело спросил он.

— Очень. Но я не хочу говорить о политике.

— Признаться, и я не хочу. Понимаю, что мы во взглядах не сходимся. Не все ли равно, каких вы взглядов, если...

— Если что? — спросила Люда. «Вот теперь для него прекрасный случай сказать какую-нибудь галантерейность о моем уме или о моем очаровании», — подумала она.

— Если можно говорить о чем угодно другом, о том, что людей не разъединяет, — закончил он. Люда смотрела на него чуть разочарованно. Ее несколько разочаровали и его либеральные взгляды. Почему-то с самого начала она его представила себе «холодным аристократом»; между тем он на «холодного аристократа» не походил, и ей было досадно расстаться со своим представлением. «Уж не просто ли бесцветная личность? Впрочем, симпатичный. В старости, верно, будет носить великолепную окладистую бороду à la... Не знаю à la кто»... И это его испортит. Он недурен собой.

— Шампанское очень хорошее. Вы обещали выпить бокал, — сказала она. — За что же? Давайте выпьем, как запорожцы: «Щоб нашим врагам було тяжко»!

— За это не могу. Я не запорожец — и не революционер. У меня нет врагов.

— Это скорее печально: значит, у вас мало темперамента.

— Выпьем «щоб нам було хорошо».

— Что ж, можно и так.

Квартира у Тонышева была небольшая, всего в три комнаты, действительно очень хорошая. «Ему никак нельзя сказать, что я люблю все красивое. Мебель, разумеется, стильная, но лучше об этом не говорить: можно и напутать». Свойственное ей чутье подсказывало ей, как приблизительно надо с ним говорить. В кабинете у среднего из трех окон стоял большой письменный стол с покатой крышкой.

— Вы, верно, видели в Лувре похожее бюро, принадлежавшее Людовику Пятнадцатому, — сказал он. — Разумеется, то неизмеримо лучше, но и мое недурное, мне посчастливилось купить на редкость дешево! Я был просто счастлив в тот день!

Люда поддерживала разговор осторожно. Подходя к картинам, старалась незаметно прочесть подписи и очень хвалила, особенно картины новых художников. Это, видимо, доставляло ему удовольствие, хотя он сразу огорченно заметил, что его гостя мало смыслит в искусстве. У длинной стены были шкафы с книгами. На столах лежали разные издания в дорогих переплетах. «Верно, если капнуть чаем, он сойдет с ума от горя...» На шкафах стояли бюсты Пушкина, Тургенева, Чайковского. «А этот кто? Кажется, поэт Алексей Толстой? Он-то почему?»

— Сколько у вас книг! Завидую, — сказала она.

Тонышев улыбнулся.

— Помните у Гоголя обжору Петра Петровича Петуха. Каждый из нас на что-нибудь Петух, если можно так выразиться. Он на еду, я на книги. А вы на что Петух?

— Ни на что, — подумав, ответила Люда с досадой. — У вас на шкафу Пушкин и Чайковский. Я очень люблю их сочетание. «Евгений Онегин» моя любимая опера.

— Хоть тут мы с вами вполне сходимся.

— Не удивляйтесь, в искусстве я люблю не только революционное.

— И слава Богу!

— А вы играете на рояле?

— В молодости учился.

— «В молодости»! Значит, теперь вы «стары»?

— Мне тридцать три года, Людмила Ивановна. Все главное уже позади. На что новое может надеяться тридцатитрехлетний человек? Ведь это уже почти старость, а? Играть же я перестал, когда впервые услышал Падеревского. Сделалось совестно, что я смею играть на рояле. Тогда начал интересоваться живописью.

— Почему, кстати, у вас эта вещь над диваном в двух экземплярах?

— Это мой трюк! — сказал Тонышев. — Та, что слева, это моей работы: подделка под сангину восемнадцатого века. А рядом оригинал. Не удивляйтесь, подделывать нетрудно. Я нашел в лавке старьевщика очень старую бумагу, подверг ее действию дыма, чуть обжег где-то концы, намалевал и ввожу в заблуждение знакомых. Кажется, похоже.

— Очень похоже! Так вы умеете и «малевать»? Вы, я вижу, эстет.

— Знаю, что так называются не одаренные творческими способностями люди и что быть «эстетом» очень гадко.

— Я этого и в мыслях не имела!

— Будто?.. В эту трущобу ехать еще рановато. Посидим немного у меня. Я вас ничем не угощаю?

— Помилуйте, после такого обеда!

«Никаких мопассановских намерений у него, очевидно, и не было. Просто хотел мне показать свои сокровища. Ну, и слава Богу! Да я, конечно, и не допустила бы», — подумала Люда.

Она действительно никогда никаких походов не имела, и порою сама этому удивлялась: «Все-таки несколько «страстных слов» мог бы из себя выдавить. Джамбул был предприимчивее, хотя и с ним не было ничего. Там просто помешал съезд! Очень он добивался, но уехал из Лондона без большого сожаленья. Правда, на прощанье поцеловались. Он сказал, как будто даже с угрозой: «Мы скоро встретимся», но, должно быть, думал: «Не хочешь — не надо, найду другую». Где же мы встретимся? «Писал он из Женевы довольно мило», — вспоминала Люда с улыбкой. Думала о Джамбуле и поддерживала разговор с Тонышевым. «Этот царский дипломат по-своему тоже мил, но он чужого мира, и какое же сравнение с Джамбулом!»

— ...А вы скоро переезжаете в Вену?

— Сначала должен еще съездить в Россию. Побываю на Певческом мосту, увижу начальство, сослуживцев. Надо людей посмотреть...

— И себя показать? — спросила Люда. «На Певческом мосту!» Конечно, чужой мир!

— И себя показать, совершенно верно.

— Вы в Москве не будете?

— Только несколько дней, проездом в имение. Я в Москве почти не имею знакомых. А вы в России будете скоро?

— Очень скоро! В Москве остановлюсь у родных, у Ласточкиных, — ответила Люда, не уточняя «родства». — Может быть, слышали? Дмитрий Анатольевич Ласточкин? Его в Москве все знают. У них музыкальный салон, они очень гостеприимны, тотчас вас, конечно, позовут, послушаете хорошую музыку.

— Я был бы чрезвычайно рад.

— Позвоните с утра, я буду вас ждать. Номер найдете в телефонной книге. Они будут вам очень рады... А все-та-

ки не пора ли нам ехать в этот ваш «Bal d'Octobre»? Почему оно так называется?

— Не знаю, в самом деле, странное название. В нем есть что-то зловещее, — Тонышев посмотрел на часы. — Да, теперь уже можно. Я сейчас надену более подходящую шляпу, — сказал он, вышел и тотчас вернулся в другом пальто, впрочем тоже элегантно, держа в руке мягкую шляпу и другую палку.

— Это палка с лезвием внутри, но вы не беспокойтесь. Апаши там театральные... Едем.

У Люды екнуло сердце, когда она увидела полицейского в тускло освещенной комнатке около входной двери, над которой снаружи красными буквами горело одно слово «Бал». Из залы доносились звуки вальса, смех, гул. Полицейский хмуро оглядел новых посетителей. Они явно принадлежали к знакомой и малопонятной ему породе искателей сильных ощущений. Он буркнул, что палки надо оставлять в раздевальной. Тонышев поспешно отдал палку сидевшей в каморке мрачной старухе.

— Еще не составили бы протокола за незаконное ношение оружия, — сказал он Люде. Видел, что она взволнована, и пожалел, что привез ее в такое место.

В зале со сводчатым низким потолком было накурено и очень душно. Почти все грязные, не покрытые скатертями деревянные столики были заняты плохо одетыми, полупьяными людьми. За одним из столиков с тремя пустыми бутылками два человека спали, опустив головы в каскетках на скрещенные на столике руки. Спавший около них бульдог залаял было на вошедших, но раздумал и снова положил голову на лапы. В середине зала в небольшом круге танцевала одна пара: молоденькая, миловидная, пьяная женщина и мужчина в блузе, с папиросой в зубах. Апаш! «Куда мы попали! Хорошо, что там ажан!.. Все женщины без шляп!» — еле дыша, подумала Люда. Впрочем, у стены сидела компания туристов, в ней дамы были в шляпах. Рядом с ними был свободный столик. Тонышев и Люда направились к нему. Публика их провожала насмешливыми взглядами. Кто-то зафыркал, кто-то зааплодировал, все же большого интереса они не вызвали. Тонышев заказал абсент подошедшему к ним сонному человеку, тоже очень похожему на апаша.

— Вот это и есть «ночной Париж», — сказал негромко Тонышев Люде. Видел, что она очень взволнована. — Вы удовлетворены?

— Удовлетворена.

— Будьте спокойны, с нами ничего случиться не может.

— Я совершенно спокойна!.. Так это и есть апаши?

— Во всяком случае, подонки общества. Тут и ночлежка. Кажется, двадцать сантимов за ночь, а «с женщиной за франк». Я по крайней мере сам видел такую надпись на домах страшной средневековой рю де Вениз.

— Не может быть!

— Забавно, что здесь играют сентиментальный вальс из «Фауста». Знаете ли вы, что в двух шагах от этой трущобы в Сент-Этьен-дю-Мон похоронены Паскаль и Расин? В этом есть некоторый символизм, правда? Вершины и низы рядом. Так, у подножья Синая ведется теперь торговля опиумом и гашишем.

Люда с жадным любопытством смотрела на все в зале. Танцевавшая женщина вдруг вскрикнула, грубо выругалась и ударила по руке своего партнера. Он обжег ее лицо папиросой. Все засмеялись, смех перешел в хохот, бульдог опять залаял. Еще две пары пошли танцевать.

— Вы не жалеете, что пришли?

— Не жалею. Надо увидеть и это.

— Пожалуй, хотя особенно необходимости я в этом не вижу.

Лакей налил им абсента.

— Два франка. Деньги вперед, — сказал он умышленно грубым тоном. Знал, что и это производит впечатление на посетителей трущоб: «Чем грубее с этими болванами говорить, тем больше они оставляют на чай».

— Эти страшные социальные контрасты! После того ресторана и вашей музейной квартиры этот притон «с женщиной за франк»! — сказала Люда. Ей было очень не по себе и не хотелось начинать в притоне умный разговор, но нельзя было и молчать. Она залпом выпила абсент. — Вот с такими явлениями мы и боремся.

— Кто мы?

— Социалисты. Я социал-демократка.

— Я не знал, что вы боретесь с этим. Что же вы можете тут сделать?

— Создать такие общественные условия, при которых никому не надо будет продаваться.

— Я с этим совершенно согласен, — сказал Тонышев. «Уж очень obvious¹ то, что она говорит. Мы с ней и люди

¹ Очевидно (англ.)

разных миров», — подумал он. — То есть согласен с этой общей целью. Но это, по-моему, дело медленного совершенствования нравов. Тут религия гораздо важнее, чем самые лучшие партии.

— Какая уж религия! Я атеистка.

Он вздохнул.

— Боюсь тогда, что вы будете несчастны, как три четверти нашей левой интеллигенции. Последствие атеизма: человек не может быть счастлив.

— Это в политике можно и нужно думать о последствиях, а в философии, в религии они ни при чем.

Он тоже подумал, что глупо и даже неприлично говорить в притоне о Боге. «*Très russe!*»¹ — сказал себе он и хотел свести разговор к шутке:

— Вот вы социал-демократка, но признайтесь, вы рады, что внизу сидит полицейский... Не гневайтесь. Мне так хотелось бы, чтобы вы были счастливы, Людмила Ивановна... Как, кстати, ваше уменьшительное имя?

— Люда.

— Вы так молоды. Можно вас называть Людой?

— Можно.

К ним подошла, держась за щеку, женщина, которую только что обожгли. Она была совершенно пьяна. Тонышев смотрел на нее с тревогой, а Люда с ужасом.

— Милорд, можно к вам подсесть?.. Нельзя? Тогда угости меня, здесь недорого, — сказала она. Тонышев поспешно сунул ей деньги. Женщина отошла, с ненавистью взглянув на Люду.

— Вы расстроены? Если хотите, пойдем?

Люда, отвернувшись от него, вдруг достала носовой платок и поднесла его к глазам. Он смотрел на нее растерянно. «Что с ней? Надо поскорее увести ее. Еще может случиться истерика! Вот не ожидал!» — подумал он. В конце зала около пианино кто-то вынул фотографический аппарат и навел его на публику. Послышались крики и брань. Апаш рванул аппарат из рук фотографа. Говорившая по-английски компания туристов сорвалась с мест и направилась к выходу. Поднялся сильный шум. Упала и разбилась бутылка. Залаял бульдог. У пианино началась драка.

— Они правы, что уходят. Это, верно, полицейский фотограф. Пойдемте и мы, — поспешно сказал Тонышев и поднялся первый. Люда встала, не отвечая и не отнимая от глаз платка. Он все больше жалел, что привел ее

¹ «Очень по-русски» (фр.).

сюда. За дверью полицейский, неторопливо шедший в зал, окинул искателей сильных ощущений еще более угрюмым взглядом и что-то пробормотал. Старуха отдала Тонышеву пальто и шляпу, с любопытством поглядывая на Люду.

На улице им протянул руку с шапкой дряхлый старик, его поддерживала женщина, тоже очень старая. Люда открыла сумку и дала старику свою единственную золотую монету. Тонышев смотрел на нее все более растерянно. Он тоже что-то дал старику.

— Мы найдем извозчика у церкви, это налево, — сказал он.

С минуту они шли молча.

— Извините меня, я глупо разнервничалась, — сказала, наконец, Люда.

— Это вы меня, ради Бога, извините. Совсем не надо было нам сюда ездить.

— Отчего же?

Они нашли извозчика.

— Нет, верно, фотограф был не из полиции, она и без того всех их знает. Должно быть, просто любитель или репортер, — сказал Тонышев. — Да он и не успел нас снять. У него тотчас вышибли аппарат.

— Да, вышибли аппарат... А хотя бы и снял, мне совершенно все равно.

Тонышев решительно не знал, о чем говорить. У крыльца ее дома он сказал:

— Когда я могу быть у вас, Люда?

— Будем вам очень рады. Мы обычно принимаем по воскресеньям, но можно и в любой будний день, только предупредите... И еще раз спасибо за вечер, — сказала она и отворила дверь ключом. Тонышев смотрел на нее с недоумением... «Так она замужем? И сообщила об этом под занавес! И социал-демократка! И так дешево-гуманно расплакалась в притоне!» — думал он разочарованно; сразу потерял к Люде интерес.

IV

Спор был о том, примут ли работу. Автор говорил, что никогда не примут. Его друг отвечал, что могут принять. Они часто спорили. Впрочем, Эйнштейн видел, что Бессо, инженер по образованию, понимает в его теории не очень много.

— По-моему, могут напечатать, — говорил Бессо, впрочем, старавшийся не слишком обнадеживать своего друга: думал, что если работу не примут, то это будет для него очень тяжелым ударом. — Ты когда ее доставил?

— Тридцатого июня. Если бы приняли, то уже появилась бы, — отвечал со вздохом Эйнштейн.

— Разве непринятые рукописи не возвращаются? Ведь это не газета.

— Вероятно, возвращаются.

— Но почему же ты думаешь, что не примут?

— Потому, что я никто; не ученый, не профессор, не приват-доцент, один из двенадцати служащих Патентного бюро. Кроме того, ты ведь знаешь, что это за работа. Ее понять не так легко.

— Не так легко, так пусть и потрудятся. И там в редакции сидят не фельетонисты, а Друде, Рентген, Кольрауш, Планк!

Эйнштейн только вздыхал.

— Они скажут, что это глупая шутка. Как французы говорят, une fumisterie, — с трудом выговорил он французское слово. — Я и сам иногда так думаю: может быть, теория относительности это именно fumisterie?

— Ну, я не Рентген, но я никак этого не думаю! — бодро отвечал Бессо. — Увидишь, напечатают хотя бы как парадокс.

Жили Эйнштейны в Швейцарии очень бедно, берегли каждый франк, принимали мало, ни в какое швейцарское общество не вошли. Только Бессо бывал у них чуть не каждый вечер. Он недолюбливал Милеву. У нее и вид был всегда суровый, говорить с ней ему было трудно. Она была сербка. Училась математике, но муж с ней о науке никогда не разговаривал, да и вообще разговаривали они не часто. Быть может, Эйнштейн и сам не знал, почему на ней женился. А она уж наверное плохо понимала, зачем вышла замуж за этого скучного немецкого еврея, который вечно рассказывал несмешные анекдоты, зарабатывал в Патентном бюро 3500 франков в год, одевался Бог знает как и брился без щетки обыкновенным мылом, растирая его на щеках и подбородке рукой. Милева обычно к ним и не выходила, только подавала им бутылку пива и оставшуюся от обеда баранину, — он почти всегда ел баранину да еще колбасу. По воскресеньям Бессо приходил днем. Они сидели у окна и любовались, поверх веревки с сушившимся бельем, видом на Юнгфрау. Иногда Эйнштейн пиликал на скрипке. Иногда говорили о политических делах. Он выска-

звал очень левые и совершенно неинтересные мысли, — Бессо грустно думал, что Альберт ничего в политике не понимает. Иногда говорили и о литературе. Альберт восхищался Толстым:

— Ах, какой замечательный, полезный писатель! И какой хороший человек! Жаль, что не любит науку и не получил математического образования. Впрочем, я тоже мало понимаю математику.

— Это неожиданная новость. Что же ты тогда понимаешь?

— Может быть, и ничего, — соглашался Эйнштейн. — Какой я математик? Я и таблицу умножения помню плохо. Ни одной гимназической задачи я никогда не мог решить. В школе я считался тупым и отсталым мальчиком.

Бессо умилялся его скромности. Ему казалось, что Альберт гений, хотя и смешной чудак. Другие знакомые не считали Эйнштейна гением. Знали, что экзамена в Политехническую школу он не выдержал: удивил экзаменаторов своими математическими познаниями, но ничего не знал в ботанике, в зоологии, почти не владел иностранными языками. Ему предложено было сначала пройти курс в швейцарской коммунальной школе, где преподавание было предназначено для детей. Ничем особенно не выделялся он позднее и в Политехникуме, и после окончания курса. Более способным к физике иностранцем считался Фридрих Адлер (будущий убийца графа Штюка). Позднее оба были кандидатами на университетскую кафедру по физике, и ее предложили Адлеру, а не Эйнштейну. Несмотря на доброту и благодушие Альберта, некоторые товарищи его не любили, не выносили его шуточек и называли его циником, — как будто менее всего подходило к нему это слово. Искренне его любил, по-видимому, только Бессо. Он, собственно, первый и оценил теорию относительности. Но, при своем латинском уме, все же не очень увлекался «тевтонскими глубинами». По забавному стечению обстоятельств Эйнштейн очень долго, уже будучи мировой знаменитостью, считался воплощением немецкого духа в науке. Его поклонник, тоже знаменитый физик, Вин, по политическим взглядам немецкий националист, говорил лорду Рутерфорду, что понастоящему понять Эйнштейна может только германский ученый. Рутерфорд поднимал брови не столько обиженно, сколько изумленно: «Is that so?» Никак не думал, что в физике есть вещи, которых он понять не может. Очень скоро после этого, при Гитлере и даже раньше, Эйнштейн был объявлен воплощением антинемецкого духа.

И, наконец, пришла эта тетрадь в светло-коричневой обложке, десятая тетрадь «Annalen der Physik», за 1905 год, перешедшая в историю науки, вероятно, навсегда или на очень долгое время. Там на третьем месте в оглавлении значилось: «Zur Electrodynamik bewegter Körper», von A. Einstein¹. Он очень обрадовался и даже позвал Милеву. Та тоже обрадовалась: может быть, из ее болвана и выйдет какой-нибудь толк? Вечером, как всегда, пришел Бессо, узнал новость и обнял своего друга:

— Это я тебе предсказывал? Теперь о твоей работе говорит весь мир!

Работа была им тотчас прочтена вслух, и он делал вид, будто все понял. Растрогался еще и оттого, что в конце Альберт выразил «благодарность» своему другу М. Бессо. Прочитав слова: «Wir wollen diese Vermutung (deren Inhalt im folgenden Prinzip der Relativität genannt werden wird) zur Voraussetzung erheben»², он многозначительно поднял палец. В этот день были выпиты две бутылки пива, а после них Альберт что-то играл на скрипке, — от волнения еще хуже, чем обычно.

На следующий день он принес в Патентное бюро тетрадь в светло-коричневой обложке. Товарищи корректно его поздравили, хотя и не без некоторого недоумения: «Лучше бы этот юный, одетый как нищий, иностранец больше занимался патентами». Он зарабатывал свой хлеб добросовестно, но в самом деле интересовался патентами очень мало. Больше в бюро о работе не говорили. Вопреки предсказанию Бессо, не говорил о ней и «весь мир».

Однако через некоторое время пришло письмо из редакции: секретарь — тоже с некоторым скрытым недоумением — сообщал ему, что его работой чрезвычайно заинтересовались три знаменитости: Анри Пуанкаре, Ван'т Гофф и Гендрик Лорентц. Спрашивали: кто такой этот А. Эйнштейн, где преподает.

Он был очень доволен. Тщеславия у него никогда не было ни малейшего; в этом отношении он был редчайшим исключением среди людей. Но честолюбие было, хотя и честолюбивые мысли тревожили его не часто: просто для них у него никогда не было времени; он всегда думал; когда думал о физике и математике, очень мало людей в

¹ «К проблеме аэродинамики движущихся тел». А. Эйнштейн (нем.).

² «Мы хотим это предложение (содержание которого станет в последующем называться принципом относительности) сделать исходной посылкой» (нем.).

мире могло с ним сравниться по глубине и своеобразию; когда писал о другом, особенно о политике, было совестно слушать; так это было банально. Был он редким примером ограниченной гениальности.

Свою работу он прочел раза два еще в печатном виде, хотя знал ее почти наизусть, и отчасти в связи с ней, отчасти как будто и без связи, ему приходили мысли странные, уж совсем необыкновенные. Иногда в разговорах чуть дразнил ими своего друга. Тот иногда сердился, — был очень нервным человеком. Его звали Микеланджело, и это имя вечно давало повод для шуток, тоже его раздражавших. Порою Эйнштейн изумлял его разными своими, еще смутными, идеями которые могли изумить не одного Бессо.

— Что такое в геометрии «пи»? — спрашивал Эйнштейн как будто не своего друга, а самого себя. — Знает каждый школьник, а это совсем не так просто.

— Не понимаю, зачем считать сложными самые простые вещи, — отвечал Бессо, настораживаясь при новых «тевтонских глубинах». — «Пи» это отношение окружности к диаметру: три, запятая, один, четыре, один, пять, девять... Я в гимназии заучил это число до пятнадцатого знака.

— Напрасно терял время. «Пи» не есть постоянная величина.

— «Пи» не есть постоянная величина? Чего только вы, немцы, не измышляете!

— Это очень просто, но объяснять долго, и я не умею. Или возьми понятие времени. Мы им и в науке, и в жизни пользуемся постоянно. Но ведь время может сжиматься и расширяться.

— Может сжиматься и расширяться? Время?

— Ну да. Вообще надо переменить все, чему учат в гимназиях и университетах. Механика Ньютона неверна и закон сохранения материи Лавуазье тоже неверен. Они оба ошибались.

— Ньютон и Лавуазье ошибались? — спрашивал Бессо уже с раздражением. Как он ни любил своего друга, все же находил несколько странным, что этот молодой человек опровергает Ньютона и Лавуазье. — Они ошибались, а ты не ошибаешься?

— Они были великие, гениальные люди. Разумеется, я ни в какое сравнение с ними не могу идти, но это так. Они упростили мир и многого не приняли во внимание. Их понятие о массе было слишком простое. Скоро можно будет, кстати, превращать массу в энергию.

— Да мы это, слава Богу, давно знали и без тебя. Если сжечь вот этот стол, то тепло можно превратить в работу, например в электрический ток.

— Я имею в виду совершенно другое. Я имею в виду атом, — говорил Эйнштейн со вздохом.

— Вильгельм Оствальд вообще отрицает существование атомов.

— Он чудак. Атом такая же реальность, как этот стол.

— И много энергии ты надеешься из него извлечь?

— Очень много. Страшно много. Так много, что можно будет переделать жизнь на земле. Можно будет облагодетельствовать человечество, мы все станем богачами.

— Это было бы, конечно, очень кстати. У тебя, верно, нет сейчас и ста франков?

— Кажется, Милева говорила, что осталось двадцать пять. Но это так: через сорок или пятьдесят лет не будет предела богатству человечества. Все будут свободно размышлять и радоваться друг другу.

— Это, конечно, возможно. Только вот что, дорогой мой, ты совершенно уверен, что ты в своем уме? Извини меня, я дружески спрашиваю. Неужели Пуанкаре, король ученых, одобряет всю твою... все твои мысли.

— Я ему в подметки не гожусь, но я не думаю, чтобы он мог одобрять *все*. Да я еще почти ничего и не сказал.

— Пожалуйста, смотри за собой: как бы ты с сжимающимся временем не попал в...

V

Дмитрий Анатольевич просыпался, без будильника, всегда ровно в семь. Ему полагалось перед ванной проделывать гимнастические упражнения, но он их проделывал довольно редко и жаловался жене на непреодолимую лень. Татьяна Михайловна знала, что он работает целый день, не видела большой пользы в гимнастике и была недовольна предписаниями врача мужу. Врач требовал, чтобы Ласточкин ел возможно меньше. Она понимала, что требование разумно, но знала, что Митя очень любит есть, и за обедом все его угощала. «Ты ведешь меня прямо к кондрашке!» — говорил весело Дмитрий Анатольевич. — «Помилуй, какая кондрашка в твои годы! И от мяса не полнеют. Право, возьми еще ростбифа: кажется, он сегодня очень хорош, именно такой, какой ты любишь». Ласточкин, хотя и с

угрызеньями совести, соглашался: он и сам не верил, что у него может быть апоплексический удар.

В свое время он составил себе «расписание». На большом листе бумаги выписал сверху горизонтально дни недели, сбоку вертикально часы дня и отметил, что должен делать каждый день в такой-то час. Было указано даже время для чтения новых книг. Расписание было подробное. Он показал его жене, но та отнеслась к затее ласково-иронически:

— Если б я не знала, что ты очень умен, Митя, я подумала бы, что в тебе есть и некоторая ограниченность. Разве можно жить по расписанию? — сказала она. — Да никогда всего и включить нельзя.

Татьяна Михайловна имела на мужа такое влияние, что он скоро бросил бумагу в корзину. Однако старался и без расписания вносить в свою жизнь возможно больше порядка и точности; так, аккуратно записывал все свои доходы и главные расходы; никаких заседаний никогда не пропускал и на них не опаздывал; настаивал, чтобы завтрак и обед подавались в точно определенное время.

В этот июньский солнечный день, ровно в восемь часов утра он уже не в халате, а в прекрасном, тщательно выглаженном сером костюме, с такими же по цвету галстуком и носками, вышел в столовую и с удовлетворением окинул взглядом накрытый белоснежной скатертью стол. Калача и масла на столе не было, но врач разрешил икру, и Татьяна Михайловна ежедневно ее покупала у Елисеева «свежей полочки, прямо из Астрахани». Уже был соединен со штепселем небольшой серебряный электрический самовар, — не принятая в Москве новинка. Дмитрий Анатольевич любил все новое и находил странным, что самовары остались такие же, какие были чуть не при Петре Великом; пора бы, где можно, освобождать прислугу от лишнего труда.

Не любил он только домов новой московской стройки, и лет пять тому назад, когда стал много зарабатывать, снял в старом доме поместительную квартиру с большими высокими комнатами, с толстыми стенами, с голландскими печами; произвел в ней капитальный ремонт, устроил вторую ванную, для жены. Татьяна Михайловна была в восторге. Она проводила в горячей воде часа полтора в день. Об этом уже Дмитрий Анатольевич говорил ей: «Чрезвычайно вредно, ты просто себя губишь!» — и она тоже этому не верила. «Собственная ванна — это единственная роскошь, которая действительно доставила мне радость! — сказала она мужу и тотчас поправилась, заметив огорчение на его лице: —

Ну, не единственная, конечно, но самая главная». На стене был шкафчик красного дерева; поставили туда борную кислоту, бертоллетову соль, новейшие лекарства против головной боли, антипирин, фенацетин. Эта домашняя аптека увеличивала уютность их благоустроенной жизни: есть на случай и борная кислота.

В парадных и в других комнатах тоже все было очень хорошо. Старую мебель, оставшуюся от времени бедности, снесли на чердак: Дмитрий Анатольевич предлагал раздать ее знакомым из богемы, но Татьяна Михайловна не согласилась: с этой мебелью было связано прошлое. Как ни счастлива она была теперь, пожалуй, еще лучше было прежде, когда они молодоженами покупали за дешевку шкафы, столы, стулья. Чуть было не прослезилась, когда на чердак относили маленький письменный стол Дмитрия Анатольевича, купленный когда-то за девять рублей у Сухаревой башни: помнила и лицо, и фамилию старьевщика, помнила, какая была в тот день погода, как Митя был доволен покупкой.

В доме не было ни старинного серебра, ни золоченой через огонь бронзы, ни мореного дуба, — Дмитрий Анатольевич даже не знал, что это, собственно, такое. Он не очень любил бар, очень не любил людей, прикидывавшихся барами, и старательно избегал в устройстве квартиры того, что могло бы казаться «аристократическими претензиями». Но все было хорошее, прочное, удобное. «У нас стиль культурных, сознательных парвеню», — говорила, смеясь, Татьяна Михайловна. С «аристократической претензией» случайно вышла лишь вторая гостиная: необычная, круглая, затянутая атласом: Нина просила, чтобы ей разрешили устроить эту комнату по ее плану: «Будет как в Мальмезоне у Жозефины, но ведь Жозефина не была природной королевой, и Мальмезон это не Версаль и не Трианон, успокойся, Митенька». Просто у нее был хороший вкус. «И не беда, что никто теперь атласом стен не затягивает, ведь уж если на то пошло, то и круглых комнат почти ни у кого нет, и это не посягает на твой модерн, на твои электрические штучки», — весело говорила она брату. Дмитрий Анатольевич выписывал разные новые приборы: любил и умел их устанавливать, разбирать, чинить. В далекой, ненужной комнате он даже устроил себе механическую мастерскую, но уже с год ее гостям не показывал: его пишущая машинка не подвигалась. Все в доме сверкало чистотой, и, несмотря на размеры комнат, вся квартира была уютной. Она была создана на заработки Ласточкина, это особенно уми-

ляло его жену. Говорила, что чувствует себя дома «как за каменной стеной». «Точно тебе в других местах грозит какая-то опасность». — недоумевала Нина.

На электрическом приборе поджаривались тосты. В герметически закрывавшейся коробке был чай. Приказчик сообщил Ласточкину, что той же самой смесью чаев всегда пользовались китайские богдыханы, — Татьяна Михайловна дразнила мужа этим чаем и его самого называла богдыханом. Лежала на столе и утренняя почта. Ласточкины получали московскую и петербургскую газеты, а также те четыре толстых журнала, которые читали все образованные люди в России. Получались и «сверхъестественные издания», как их называла Татьяна Михайловна. Они выписывали «Орловский вестник», потому что Дмитрий Анатольевич был родом из Орла, «Харьковскую речь», так как его жена родилась в Харькове, «Фигаро», чтобы «следить за Парижем», международный финансово-экономический журнал, — полезно просматривать, — и уж совершенно ни для чего не нужные «Известия Московской Городской Думы» и «Земскую неделю». Второй год выписывали также «Правду». Этот ежемесячный журнал «ставил себе задачей быть неизменным выразителем интересов рабочего класса и проводником той его идеологии, которая во всех странах была ему всегда надежным компасом и служила залогом побед». Ласточкин подписался потому, что попросил Максим Горький:

— В нем, понимаете, участвует цвет мирового социализма и цвет русской литературы! — сказал он с силой, увеличивавшейся от говорка на «о». Дмитрий Анатольевич, в отличие от всех недолубливавший этого знаменитого писателя, думал, что он говорит так нарочно, — «мог бы давно отучиться!» Удивляло его и то, что Горький говорил: «Бёрлин», «Жорес» с удареньями на первом слоге.

Покупали Ласточкины и много новых книг, русских и иностранных. Прочсть все это очень занятому человеку было почти невозможно; Дмитрий Анатольевич стыдился, что покупает и не очень читает; так делали и чуть ли не все люди его круга. Впрочем, Татьяна Михайловна читала почти все. В отличие от мужа, и разрезывала книги не без удовольствия. Они лежали в порядке на круглом столе гостиной, пока не убирались в книжные шкафы и не заменялись другими.

Ласточкин пробежал письма; старался всегда отвечать в тот же день или хоть в первый свободный вечер (свободных вечеров у них было не более одного-двух в неделю). На

этот раз письма были либо печатные, разные циркуляры банков и промышленных предприятий, либо не требовавшие ответа. Это было приятно. Он развернул «Русские ведомости». Особенно любил и уважал эту газету, знал ее редакторов, они бывали у него, и он бывал у них. Но в последнее время газета чуть его раздражала, — не направлением, а необыкновенным спокойствием (которое, впрочем, составляло часть направления); это спокойствие в обществе называли «академическим» люди, не знавшие академий. Сам Ласточкин, при страстности своего характера, и прежде, и особенно теперь, никак спокойным быть не мог. Правда, и тон «Русских ведомостей» несколько изменился последнее время, однако меньше, чем тон других газет: никогда они столь смелыми не были. Ясно было, что надвигаются важные, а может быть, грозные события. В разных местах России, особенно на Кавказе, происходили беспорядки, убийства, грабежи. Их приписывали то социалистам-революционерам, то анархистам, то, как писали газеты, «уголовным элементам». Многие говорили и о работе новой партии или фракции большевиков. Это слово было еще непривычно; москвичи думали, что так называется революционная партия, которая требует еще больше, чем другие.

Одни в московской интеллигенции тайно или открыто сочувствовали этим делам, другие считали их неизбежным последствием правительственной политики, третьи просто разводили руками и своего мнения не высказывали. Обо многом газеты еще писать не могли. В обществе сообщались невероятные слухи: надвигается революция, царь должен будет отречься от престола в пользу одного из великих князей (назывались разные имена), или же уйдет вся династия Романовых, и на престол будет посажен князь Долгоруков. Этот либеральный князь был москвич, слух был приятен московскому патриотизму, но вызывал у некоторых и недоумение: «Как же так? Вчера был свой брат, пили чай у него на Колымажной, а завтра называй его «ваше величество»! Да и почему он? Мало ли в России князей?»

Ласточкин, впрочем, не верил слухам и не знал, радоваться ли им или нет. Он был и левее, и правее своих друзей. Умеренные люди теперь возлагали главную надежду на Витте: он один, при своем необыкновенном уме и государственном опыте, может спасти Россию. Другие резко возражали: Витте просто карьерист без убеждений, да и незачем *спасать* от революции: она стала единственным выходом из трясины. К удивлению Дмитрия Анатольевича,

большинство его знакомых были или казались настроенными очень радостно, как прежде давно не были. Он этого радостного оживления не чувствовал. Война; падение Порт-Артура, Цусима понемногу уменьшили то, что он сам шутливо называл своим «неизлечимым оптимизмом». Он больше не говорил о сказочном росте русской промышленности и о необычайном расцветании России. Промышленность продолжала расти, — быть может, из-за войны росла даже еще быстрее, — все улучшались и его личные денежные дела, он стал членом правления еще двух обществ. Татьяна Михайловна убеждала его этого не делать:

— Митенька, зачем нам еще деньги? Ты больше отдыхал бы. Помни, что говорит доктор!

— При мне один человек, гораздо богаче меня, в ответ на вопрос, зачем ему еще деньги, сказал: «В Америке говорят: *A little more to make enough*»¹. А я хочу не только денег, — смеясь, отвечал Дмитрий Анатольевич. Однако новая неожиданно ему открывшаяся противоположность между государственным развалом и его личным благосостоянием была ему неприятна.

Прежде он знал очень многих в Москве, теперь уже знал всю Москву, то есть главных профессоров (университет преобладал в московской общественной жизни), известнейших политических деятелей, а также наиболее шумевших писателей. Знал их сложные личные и общественные отношения, это было важно. Бывал с женой в московских либеральных салонах, преимущественно у людей из делового мира, у «Варвары Алексеевны», у «Маргариты Кирилловны», — этих двух дам из морозовской династии москвичи обычно и за глаза называли по имени-отчеству, без фамилии. Дворцы промышленных династий удивляли его. Иногда Дмитрий Анатольевич шутливо убеждал сестру не строить, когда она станет знаменитым архитектором, ни венецианских, ни готических, ни других замков: «Строй простой дом». Был раз на приеме и в правом по направлению салоне, — туда Татьяна Михайловна пойти решительно отказалась, да и сам он принял это приглашение неохотно; хозяин был с ним необычайно любезен и осыпал его любезностями, — как прежде Плеве говорил комплименты Михайловскому или Милюкову. Бывал Ласточкин — без жены — на разных политических совещаниях, у Новосильцовых, у Долгоруковых. Там ему стало известно и о готовящемся важном событии.

¹ «Еще немножко, чтобы было достаточно» (англ.)

Действительно, в газете на самом видном месте было сообщено: государь принял во дворце делегацию общественных деятелей. Эта делегация была задумана в Москве. Была выработана петиция на высочайшее имя. «Ваше Императорское Величество, — говорилось в ней, — в минуту величайшего народного бедствия и великой опасности для России и самого престола Вашего мы решаемся обратиться к вам, отложив всякую рознь и все различия, нас разделяющие, движимые одной пламенной любовью к отечеству. Государь, преступным небрежением и злоупотреблениями Ваших советников Россия ввергнута в гибельную войну. Наша армия не могла одолеть врага, наш флот уничтожен, и, грознее опасности внешней, разгорается внутренняя усобица. Увидав вместе со всем народом Вашим все пороки ненавистного и пагубного приказного строя, Вы положили изменить его и предначертали ряд мер, направленных к его преобразованию. Но предначертания эти были искажены и ни в одной области не получили надлежащего исполнения. Угнетение личности и общества, угнетение слова и всякий произвол множатся и растут. Вместо пред-указанной Вами отмены усиленной охраны и административного произвола полицейская власть усиливается и получает неограниченные полномочия и подданным Вашим преграждается путь, открытый Вами, дабы голос правды мог восходить до Вас. Вы положили созвать народных представителей для совместного с Вами строительства земли, и слово Ваше осталось без исполнения доньше, несмотря на все грозное величие совершающихся событий; а общество волнуют слухи о проектах, в которых обещанное Вами народное представительство, долженствовавшее уничтожить приказный строй, заменяется сословным совещанием. Государь, пока не поздно, для спасения России, во утверждение порядка и мира внутреннего, повелите без замедления созвать народных представителей, избранных для сего равно и без различия всеми подданными Вашими. Пусть решат они, в согласии с Вами, жизненный вопрос государства, вопрос о войне и мире, пусть определяют они условия мира или, отвергнув его, превратят эту войну в войну народную. Пусть явят они всем народам Россию не разделенную более, не изнемогающую во внутренней борьбе, а исцеленную, могущественную в своем возрождении и сплотившуюся вокруг единого стяга народного, пусть установят они в согласии с Вами обновленный государственный строй. Государь! В руках Ваших честь и могущество России, ее внутренний мир, от которого зависит и внешний мир ее, в

руках Ваших держава Ваша, Ваш престол, унаследованный от предков. Не медлите, Государь. В страшный час испытания народного велика ответственность Ваша пред Богом и Россией».

Дмитрий Анатольевич принимал участие в обсуждении петиции, но не очень большое участие: ее составляли люди гораздо более известные, чем он. Ласточкин входил в московскую и даже во всероссийскую общественность, однако, входил в нее преимущественно как «представитель торгово-промышленного класса», — по написанному рангу это было все-таки чуть ниже, чем профессор, публицист или общественный деятель просто. Он всей душой сочувствовал петиции, но кое-что в ней ему не нравилось. Не нравился слезливо-торжественный стиль: «Тот же казенный слог, только обратный». Не нравилась некоторая неискренность: составители петиции, он знал, не думали, что государь так ненавидит «приказный» строй и что все его предначертания были кем-то искажены. Не нравилось и заверение, будто народные представители могут, если захотят, превратить войну с Японией в «войну народную», установить «мир внутренний» и сплотить Россию вокруг какого-то «единого стяга народного».

Преувеличенной ему казалась и гражданская скорбь авторов петиции. Тут, впрочем, он себя никак от них не отделял. «У нас у всех, — думал Дмитрий Анатольевич, — есть личные, практические, прозаические дела, они для нас важнее политических, пожалуй, и никак с теми не вяжутся. Можно ли много думать о своих имениях, о дивидендах, о гонорарах и одновременно о стяге народном?» В последнее время Ласточкин стал еще правдивее с собой, чем был прежде, и, быть может поэтому, еще противоречивее. Приятели говорили, что он полевел; между тем к возможной революции он относился гораздо мрачнее, чем большинство участников московских совещаний. Не очень одобрял он и состав отправившейся к царю делегации. В нее входили четыре князя, один граф, один барон, несколько нетитулованных родовитых дворян и больше не было почти никого. Он понимал, что это вышло более или менее случайно, но считал отсутствие крестьян, промышленников, купцов очень досадным, непростительным упущением.

В газете была напечатана и речь, сказанная государю фактическим главой делегации, князем Сергеем Трубецким. Дмитрий Анатольевич лично знал этого профессора и, как все, очень его почитал. Речь до некоторой степени пересказывала петицию, но по форме была значительно

мягче. Ласточкин догадывался, что она была сказана хорошо, с искренним волнением и должна была произвести сильное впечатление. Он и сам был взволнован, точно ее слышал; но думал, что лучше было бы сказать то же несколько иначе. «Ну, что ж, сказано, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, не выйдет ничего».

На третьей странице был еще некролог второстепенного публициста. Дмитрий Анатольевич пробежал его рассеянно, очень мало знал умершего. «Писатель, если только он — Волна, а океан — Россия...» «Этот крест он нес на своих плечах, нес стойко и мужественно сквозь терновник, густо заполнивший путь русской публицистики...» «И лишь под конец, сквозь мрак реакции, мелькнул и для него, как для всего русского общества, первый проблеск рассвета...» «Зачем так преувеличивать? Какой он нес крест? И еще каков будет этот «проблеск»? — думал он с легкой досадой.

Вода в самоваре вскипела, он исполнил чайник кипятком и насыпал чаю. «Я тоже делаю что могу, но никакому кресту не несу, и нельзя его нести за серебряным самоваром. Он, как и я, никогда, вероятно, не был ни в тюрьме, ни в ссылке, иначе в некрологе об этом упомянули бы. Едва ли Россия будет счастливой страной, если мы все не освободимся от фраз и преувеличений».

Было в газете небольшое сообщение о каком-то самоубийстве. Покончил с собой совершенно неизвестный ему человек; причиной была неудачная любовь. Дмитрий Анатольевич, почти никогда не читавший заметок о преступлениях, если только они не были уж очень сенсационными, сообщения о самоубийствах читал неизменно и всегда изумлялся. «Даже из-за любви никак не следует кончать с собой», — с недоумением подумал он и теперь.

Он просмотрел и петербургскую газету, и финансовый журнал. На бирже не играл, но имел немало выигрышных билетов, русских и иностранных. Уже года три собирался продать некоторые ценности и на вырученные деньги купить небольшое имение. Татьяна Михайловна очень это поддерживала. Она мало интересовалась делами и ничего в них не понимала. В акции верила плохо, особенно с тех пор как бывавший у них профессор-экономист сказал за обедом, что на бирже «нездоровое оживление», которое рано или поздно должно плохо кончиться. За покупку имения под Москвой она стояла больше потому, что было бы хорошо возможно чаще увозить туда мужа для отдыха. Они осмотрели несколько имений, — не подходили. В одном был прекрасный дом, построенный каким-то графом в на-

чале прошлого столетия. Однако покупать «графскую подмосковную» им обоим было совестно. В это близкое к Москве имение они съездили на своих рысаках, в этом тоже было что-то «нестерпимо графское», очень не понравившееся обоим. И оказалось, что нужно было бы вместе с домом купить триста десятин земли, а о земле Татьяна Михайловна и слышать не хотела: отношения с крестьянами только ухудшили бы здоровье Дмитрия Анатольевича, особенно с тех пор как начались аграрные беспорядки. Должности Ласточкина в торговых и промышленных предприятиях не были синекурами, он немало получал по каждой жалованья, но, в случае его смерти, вдове никакой пенсии не полагалось, и никто из богачей, имевших с ним дела, о ней даже не подумал бы. «Если в самом деле оживление «нездоровое» или если произойдет революция, то и Таня, и Нина, и Аркаша останутся без средств», — говорил себе Дмитрий Анатольевич. Он застраховал жизнь на большую сумму и успокоился: такой революции, при которой страховые общества не исполнили бы обязательства, все-таки не представлял себе, — никогда таких нигде не было.

Накануне был розыгрыш одной из лотерей. Ласточкин всегда аккуратно просматривал выигравшие номера и обычно весело говорил жене и сестре: «Зато в следующий раз выиграем непременно». Так и в это утро, перейдя в кабинет, он достал из ящика список своих билетов и стал сверять. Вдруг сердце у него чуть забилося. «Неужели!.. Не ошибаюсь ли?! Нет, так и есть! Выиграл восемь тысяч!»

Сумма была невелика. Все же Дмитрий Анатольевич обрадовался чрезвычайно, — потом было даже несколько совестно вспоминать. Дело было даже не в деньгах, а в том, что и тут повезло, — во всем везет. Он хотел было разбудить жену и сообщить ей о выигрыше, но раздумал: «Незачем, Таня даже не обрадуется, она совершенно равнодушна к деньгам, — разумеется, пока их достаточно, — с благодушной улыбкой подумал он. — Сообщу, когда вернусь домой, с подарками им обеим. Может, и Люде купить подарок? Нет, Аркаша еще обидится. Ох, тяжело с ним». — Рейхель и Люда недавно приехали из Парижа, остановились у Ласточкиных, но скоро переехали в «Княжий двор».

Дмитрий Анатольевич вернулся домой раньше обычного, с футляром от Фаберже. Купил большую черную жемчужину в платиновой оправе. В магазине кольцо ему очень понравилось оригинальностью, но уже у подъезда дома ему пришла мысль: вдруг черная жемчужина означает дурную примету! С ним уже раз был такой случай: привез жене

букет из хризантем, она мягко ему попеняла, — хризантемы часто кладутся на гроб! Ласточкин чуть было не вернулся к ювелиру. «Нет, Фаберже не стал бы у себя держать драгоценности с мрачными предзнаменованиями». Все же поднялся к себе несколько смущенно.

Татьяна Михайловна сидела в гостиной за роялем. Разучивала новое произведение Метнера, которого только начинали ценить знатоки. Она следила за музыкой и хотела разобраться в новом композиторе. Метнер ей понравился.

Она обрадовалась выигрышу и еще больше вниманию мужа. К драгоценностям была довольно равнодушна, имела их немного и просила Дмитрия Анатольевича их ей не покупать. Кольцо показалось ей необыкновенно красивым. Горячо поцеловала мужа. Он сразу вздохнул свободно: «Нет приметы, что за вздор!»

— Как ты мил, Митя!.. А Нине ты что купил?

— Ей книги, знаю, что будет довольна. Кстати, уже привезли?

— Федор сказал, что принесли пакет для барышни. Он положил в ее комнату. Я и не видела. Люде и Аркаше тоже купил?

— Думал купить, но ведь они, чудак, не примут?

— Аркадий, верно, не примет и еще насупится. Но отчего же не принять Люде? Ей лучше что-либо по туалетной части. Например, горжетку. У нее после Парижа мало вещей для нашей зимы.

— Тогда купи ты, я ничего ни в каких горжетках не понимаю.

— Это святая истина. Как ты говоришь, «поставь ее перед совершившимся фактом». Сколько ты ассигнуешь, богдыхан?

— Сколько будет нужно.

— Я куплю, а передашь, конечно, ты. Она меня не жалуется.

— Дорогая, это неверно.

— Тебе отлично известно, что это верно. Но ты еще не знаешь, что тебя ждет! Милый, дорогой, добренький, подари мне пятьсот рублей для одного бедного пианиста. Он еще неизвестен, но очень талантлив. Теперь заболел чахоткой, денег, конечно, ни гроша. Кит Китыч, дай!

— Кит Китыч в первую же минуту решил, что даст своей жене десятину, то есть восемьсот рублей, на всякие ее темные дела. Кажется, твои древние предки в Палестине давали одну десятую? — сказал весело Ласточкин.

— Помнится, даже одну седьмую. Но десятой вполне достаточно. И, разумеется, ты должен купить подарок и себе. Или я тебе куплю на твои деньги. Знаешь что? Я куплю тебе пейзаж Левитана, который тебе так понравился.

— Вот еще! За него просили две тысячи.

— Это будет подарок нам обоим. И это помещение капитала. И не каждый день выигрываешь в лотерею! Идет?

— Идет. Вот мы уже и разбазарили большую часть выигрыша.

— Так и надо. Видно, «подмосковной» не купим и на этот раз. Ты очень щедрый, Кит Китыч.

— Если так, то надо еще раз поцеловать Кит Китыча.

— Это, пожалуй, можно.

В гостиную вошла сестра Ласточкина Нина, очень мило-видная блондинка, с небольшим, почти треугольным лицом, просто и прекрасно одетая. Нина радостно поздоровалась с братом и поцеловала Татьяну Михайловну, что регулярно делала при каждой встрече и при каждом расставании. Они нежно любили одна другую. Узнав о выигрыше, бросилась брату на шею.

— Как я рада! Тебе во всем везет!

— Не сглазь, Ниночка. Посмотри, что Митя мне купил по этому случаю!

Нина ахала и восторгалась, примеряла кольцо на свой палец, потребовала, чтобы Таня тотчас его надела и носила «не по парадным случаям, а всегда!». Дмитрий Анатольевич ласково на них смотрел. Он тоже очень любил свою сестру. Их называли самой дружной и счастливой семьей в Москве.

— Как ты догадываешься, Митя и тебе купил подарок.

— Не может быть! Что? Что? Покажи!

— Он у тебя в комнате. Довольно грузный, не поднимешь, — сказал Ласточкин. Они пошли в комнату Нины. Эта комната тоже, как круглая гостиная, выделялась в квартире Ласточкиных. Нина одна из первых в Москве решила, что совершенно не нужно «единство стиля». В ее большой красивой комнате все было самых разных стилей и эпох. Были и старинные вещи, и новые, подлинные и хорошие подделки, все было расставлено умышленно несимметрично, и тоже несимметрично, сбоку, рядом с полочками для статуэток, висела на стене недурная огромная копия известной картины Жигу: «Леонардо да Винчи умирает в Фонтенбло в объятиях короля Франциска I», — Татьяна Михайловна говорила, что у этой картины есть один недостаток: Леонардо умер не в Фонтенбло, и король при его смерти не присутствовал.

Дмитрий Анатольевич развязал и вынул из обертки и толстого складчатого картона кучу книг. Это было много-много, иллюстрированное, в великолепных переплетах, английское издание истории архитектуры всех времен и народов. Восторгу Нины не было конца.

— Я именно об этом издании долго мечтала! Но оно стоит так дорого! Ах, как я тебе благодарна, Митенька! И тебе, дорогая моя! — говорила она, опять целуя обоих.

— Мне-то за что? Я и не знала, что это такое. А у тебя найдется в шкафу место для этой махины?

Они втроем занялись обсуждением места. Нина решила, что поставит Гнедича и словарь на нижнюю полку, а на их место «это чудо».

— Сегодня же после обеда начну читать! И не читать, а изучать! Вы не можете себе представить, как мне это нужно!

— После обеда нельзя. У нас винт, и ты должна быть четвертой, Ниночка, без тебя второго стола не будет.

— Винт так винт. Обожаю винт! Люда придет? Или она бойкотирует карты?

— И карты, и нас, — сказала Татьяна Михайловна.

— Что ты говоришь, Таня? — возразил Дмитрий Анатольевич. — Просто они очень заняты.

— Чем бы это? Аркадий, допустим, наукой, а Люда чем? Освобождением России?.. Кстати, сегодня у нас борцов за идеалы не будет? — спросила Нина. Она так называла политических деятелей, собиравшихся в их доме.

— Не будет, — ответил Дмитрий Анатольевич с легким неудовольствием. Он не любил хотя бы и безобидных насмешек над тем, что никакой иронии не заслуживало.

VI

Нина в самом деле любила винт, как любила теннис, крокет, верховую езду, театр. Она была не менее жизнерадостна, чем ее брат. Но ей казалось, что карты все-таки удовольствие стариковское (хотя играли в винт и гимназисты). В последний год она часто себя называла «старой девой». Это пока говорилось и принималось как шутка; однако она понимала, что скоро ее будут так называть и всерьез.

Еще недавно она училась на курсах. И теперь ей жилось не худо, но тогда было еще веселее. Кружок молодежи, к которому она принадлежала, мало интересовался политикой, то есть не участвовал в сходках, демонстраци-

ях, беспорядках. Она и ее друзья неопределенно сочувствовали целям сходок и демонстраций, но в тюрьму никто из них не попадал; никто даже и не желал приобрести «тюремный стаж» и «ореол мученичества», для которого, впрочем, было вполне достаточно очень непродолжительного пребывания под арестом или же высылки из Москвы. Но в подписках в пользу заключенных принимали участие почти все и в ее группе.

Ласточкин был рад, что его сестра не занимается политикой. Он и сам ею не занимался в свое студенческое время, и хотя ни тогда ни теперь этого не говорил, но думал, что громадное большинство учащейся молодежи предпочитало бы обходиться без демонстраций, высылки и арестов; это было неудобно, ввиду «чуткости» и «свободолюбия», давно за учащейся молодежью признанных и утвержденных общественным мнением. Дмитрий Анатольевич не выносил скептических мыслей; однако иногда ему казалось, что самый идеализм студентов и курсисток очень преувеличен газетным клише: чрезвычайно многие из них думают о карьере гораздо больше, чем люди пожилые и — тоже по клише — «очерстевшие». «Да это и естественно, нам уж и поздно что бы то ни было выбирать». Впрочем, крайностей Ласточкин тоже ни в чем и нигде не любил, и ему было бы приятно, если б его сестра больше интересовалась общественными вопросами. Он ей давал книги Струве, Туган-Барановского, Железнова. Она послушно прочла, но, как всегда откровенно, сказала брату, что они не очень ее заинтересовали, — «что ж делать?». Нина часто говорила «что ж делать?» или «ничего не поделаешь». Дмитрий Анатольевич с торжеством приносил домой заграничное нелегальное «Освобождение» и всем в нем восторгался. Татьяна Михайловна читала и сочувствовала. Нина сочувствовала, но не читала.

Ее особенностью было очень простое, уж слишком простое, отношение к жизни. Про себя Татьяна Михайловна думала, что Нина не может быть ни очень счастлива, ни очень несчастна. «Кто-нибудь тяжело болен, — ну, что ж, тяжело болен: надо лечиться; а если умрет, ничего не поделаешь, все умрем, и ничего тут страшного нет». Нина говорила, что нисколько не боится смерти. Ей очень хотелось выйти замуж, но она думала, что не будет катастрофы, если и не выйдет. Требования предъявляла разумные и не очень большие. О богатстве не мечтала, — лишь бы только сносно жить. «Ведь все равно я знаю, что Митя и Таня, если понадобится, будут нам помогать и будут делать

это с радостью, хотя, конечно, было бы лучше обойтись без этого». Еще меньше она мечтала о «знатности» жениха: «Уж это совершенная ерунда, и нисколько мне это не нужно, и неоткуда этому взяться в нашем кругу. Был бы просто умный, порядочный человек и любил бы меня хотя бы и не так, как Митя обожает Таню, но любил бы. Во всяком случае надо иметь свои интересы и свое занятие».

Лет до двадцати двух жизнь Нины была чуть не сплошным праздником. Раз в неделю она с друзьями бывала в Большом, в Малом, в Художественном театрах. Так как среди друзей преобладали небогатые молодые люди и барышни, то билеты обычно брались на галерку, — иногда по очереди приходилось для этого простаивать ночь в ожидании открытия кассы. Это только увеличивало общую радость от спектаклей. Нина была немного влюблена в Собинова, но не очень. В кружке все были влюблены в кого-либо из знаменитых артистов, — это никак не мешало частным романам: все знали, что Лена влюблена в Качалова и в Петю, а Петя в Книппер и в Машу. Нину очень любили, за ней молодые люди ухаживали, но по-настоящему в нее не был влюблен никто.

В те дни, когда в театры не ходили, собирались по вечерам друг у друга. Особенно охотно собирались у Ласточкиных: у Нины большая комната с мягкой удобной мебелью. Хозяин и хозяйка иногда заходили на минуту — «пожать руку» — и тотчас исчезали. Зато присылали превосходное угощение. Ужинов Нина у себя почти никогда не устраивала, так как далеко не все другие могли бы это себе позволить, а надо было по возможности соблюдать бытовое равенство. Но к чаю Федор, которого все в кружке ласково называли по имени-отчеству, приносил в изобилии бутерброды, торты, печенье, даже ром и коньяк, имевшие особенный успех. Из комнаты до поздней ночи доносились веселые голоса, хохот, иногда музыка (у Нины было *свое* пианино, в дополнение к бехштейновскому роялю гостиной). Хозяева прислушивались издали, но входить не смели. Татьяна Михайловна не очень и хотела бы этого: с грустью чувствовала большую разницу в возрасте. А Дмитрий Анатольевич охотно посидел бы с молодежью, если б не знал, что от его присутствия и от разговоров, особенно на общественные темы, она тотчас «скиснет». Слушали издали декламацию и игру на пианино. Нина и ее друзья играли много хуже, чем Татьяна Михайловна. Порою она морщилась.

— Право, лучше бы этот Петя не играл, а читал свои стихи, — говорила она мужу. — Никогда этого не могла

понять: ведь как будто и поэзия, и музыка должны были бы быть основаны на одном и том же: на слухе. Между тем почти все московские кавалергарды поэзии ничего в музыке не смыслят. А о слабых поэтах, об армейских, они сами презрительно говорят: «Ему на ухо слон наступил». Или есть два слуха?.. Нина запела арию Ленского. Что за идея петь теноровую партию!

— Обязана: влюблена в Собинова.

— Ох, Собинов поет это лучше.

— Не спорю, — сказал Дмитрий Анатольевич и громко подтянул баритоном свою любимую фразу: «Благословен и день за-бот, бла-го-сло-вен и тьмы — приход...» День забот это так, а тьмы приход не за что благословлять, — сказал он и поцеловал жену.

— Это за что?

— Так. Ни за что. За то, что ты понимаешь музыку в сто раз лучше, чем они.

— Прошло наше с тобой время... Впрочем, нет, несколько не прошло.

Оба радовались тому, что у Нины такая радостная, приятная жизнь и что они этому способствовали. «Было бы *все-таки* гораздо лучше, если б она в кого-нибудь без памяти влюбилась, как я когда-то в Митю, — огорченно думала Татьяна Михайловна. — И если б в нее кто-нибудь влюбился, хотя бы и не без памяти. Чего-то ей не хватает». Выражение *sex арреал* еще не было выдуманно, но она никогда его и мысленно к Нине не применила бы.

Когда Нина кончила курс, ее жизнь стала менее радостной. Многие из ее друзей разъехались, все куда-либо устраивались, стали встречаться реже. Нина давно все обсудила, свои вкусы, влечения, силы, обсудила и практические вопросы и, больше по методу исключения, остановилась на архитектуре. Решила заняться ею очень серьезно и поступила на постройку. Теперь с увлечением говорила о Палладии и о Жолтовском.

Ласточкины присматривались к молодым людям, которые могли бы быть хорошими женихами, но зазывать их в дом не умели. «Все родители это делают для дочерей, и ничего плохого тут нет, а вот у нас с Таней не хватает на это *уменья*», — огорченно думал Дмитрий Анатольевич. Он относился к сестре скорее как отец, чем как брат. Нина понимала, что ее родные беспокоятся о ней с каждым годом все больше, ценила это и недоумевала. «Во-первых, ничего они тут *искать и устраивать* не могут. Конечно, сама барышня может, Лена, например, *ищет* уже несколько

лет, и я нисколько ее не осуждаю. От *ее* родителей я давно ушла бы, на ее месте я тоже «искала» бы и даже не скрывала б это: все равно скрыть нельзя. Но, во-первых, и Лена пока ничего не устроила, а во-вторых, мое положение другое: и нужды никакой нет, и я нежно люблю Таню и Митю». Часто от этих мыслей Нина прямо переходила к мыслям о своей работе. Она много читала: романы, стихи, книги об искусстве, делала выписки, старалась вдуматься, понять, запомнить. Мысли интересовали ее меньше, чем здания, картины, виды природы, гораздо меньше, чем люди; но любопытство у нее оставалось такое же, как в пятнадцать лет.

Вела она и дневник. «Говорят, люди записывают свои переживания неискренне и всей правды не высказывают?» — думала она с некоторым недоумением: сама записывала правду и не видела, что могла бы скрывать. «Разве только уж очень, очень немного...»

VII

Из проекта биологического института ничего не вышло.

Тотчас после своего первого разговора с Морозовым Дмитрий Анатольевич, не выезжая домой, сгоряча послал своему двоюродному брату телеграмму, написанную по-русски французскими буквами: «Милый Аркаша спешу обрадовать точка имел сейчас беседу саввой тимофеевичем точка отнесся более чем сочувственно сказал может поднять дело один точка просит прислать записку смету письмо мечникова точка куй железо пока горячо пришли все поскорее точка надеюсь дело шляпе мы страшно рады сердечно поздравляем обоих обнимаем митя». Ласточкин любил подробные телеграммы. Но уже по дороге домой он немного пожалел, что написал слишком радостно: «Аркаша подумает, что все решено и что деньги есть!» Ему было также совестно, что написал «мы», тогда как Татьяна Михайловна даже еще и не знала об ответе Морозова. И в самом деле, когда он, вернувшись домой, сообщил о нем жене, она сказала:

— Ну, от этого до института еще очень далеко. Конечно, хорошо, что Савва Тимофеевич не ответил отказом. Он мог и сразу отказаться или обещать каких-нибудь десять — пятнадцать тысяч. Надеюсь, ты все-таки не слишком обнадежил Аркадия?

— Нет, не слишком, да он и сам поймет, что такие дела сразу не решаются, — нерешительно ответил Дмит-

рий Анатольевич. «Таня, как всегда, права», — подумал он. Татьяна Михайловна по смущенному виду мужа догадалась, что он в телеграмме сказал больше, чем следовало, но не хотела его огорчать вопросами.

От Рейхеля на следующий день пришла телеграмма: «благодарю обнимаю». (Люда не согласилась на «обнимаем»). Затем долго ничего не приходило. «Верно, весь ушел в записку и смету. Но мог бы все-таки написать и письмо», — думал Ласточкин. В конце месяца пришло страничек десять, написанных пером рукой Рейхеля. Это были одновременно и записка, и смета. Ласточкин прочел все с раздражением. «Записка малопонятна и неубедительна, а смета совершенно детская! Как же я мог бы исправить или дополнить, когда я ничего в этих делах не смыслю?» Он добавил все же полстраницы о том, сколько должен стоить участок земли (об этом Аркадий Васильевич не написал ни слова), затем попросил секретаршу переписать на машинке в четырех экземплярах и послал Морозову лучший из них.

Ответа долго не было. Это могло считаться неблагоприятным симптомом. Через некоторое время Дмитрий Анатольевич справился по телефону и узнал, что дело передано на рассмотрение экспертов. Савва Тимофеевич высказался критически о смете и был несколько менее любезен, чем при первом разговоре об институте. Позднее, при случайной встрече, он добавил, что эксперты дали сдержанный отзыв: большой надобности нет в институте, который только конкурировал бы с уже существующими научными учреждениями.

— Неужто-с записку писал сам Мечников? Ох, уж эти ученые-с, — сказал он, и в его голосе послышалась как будто легкая насмешка. «Верно, ему доложили, что я стараюсь для двоюродного брата», — подумал Ласточкин с очень неприятным чувством. Морозову в самом деле кто-то это сказал предположительно, и Савва Тимофеевич в сотый раз подумал, что совершенно бескорыстных людей почти не существует.

— Нет, записку писал не Мечников.

— Так-с. Помнится, вы говорили-с, будто он интересуется. Ну, что ж, надо повременить с институтом-с. Да и времена наступают в России трудные-с. Может, скоро все останемся без штанов-с.

— Я этого никак не думаю, но это уж скорее был бы довод, чтобы создать институт теперь, пока штаны есть, — ответил Дмитрий Анатольевич, принужденно улыбаясь. Морозов тоже улыбнулся и заговорил о другом.

«Разумеется, это чистый отказ!» — подумал Ласточкин и еще раз пожалел о своей телеграмме. «Ну, что ж, я сделал все что мог. И отчасти виноват, конечно, Аркаша. Очевидно, он даже не обратился к Мечникову!»

Он написал Рейхелю, немного все же смягчив ответ Морозова: сказал, что Савва Тимофеевич хочет подождать, что надежда не потеряна и что свет на нем клином не сошелся. На это письмо никакого ответа не последовало. В следующем же письме Аркадий Васильевич больше и не упомянул об институте, точно никогда никакого разговора не было. «Конечно, обиделся, но чем же я виноват!» — огорченно сказал себе Дмитрий Анатольевич.

Остановились они в Москве у Ласточкиных, прожили с неделю, затем, несмотря на все протесты хозяев, переехали в «Княжий двор», где нашли дешевенькую комнату. Ни малейшей ссоры не было. Татьяна Михайловна проявляла к ним всяческое внимание. Она по природе не была так гостеприимна, как ее муж, и в душе огорчалась, что гостей у них бывает слишком много; ей было приятнее всего с мужем вдвоем, но она знала, что ему гости доставляют удовольствие, и исполняла все его желания, даже им не высказывавшиеся. У них часто обедало и пять, и десять гостей, обедали нередко и люди, которые их на обеды почти никогда не звали; с этим они оба совершенно не считались. «Мите что, ему работать не надо, — думала она тоже благодушно, — он наивно, как все мужчины, думает, что если есть прислуга, то для хозяйки обед на десять человек никакого труда не составляет».

Люда, со своим нелюбезным характером, с не очень вежливой манерой разговора, была ей не совсем приятна, но Татьяна Михайловна это чувство в себе подавляла без большого усилия и просила ее остаться у них: «Вот Аркадий скоро получит место, тогда снимете квартиру и переедете, зачем «Княжий двор»?», — говорила она. Но они решительно отклонили приглашение.

Рейхели приехали почти без денег, и опять Дмитрий Анатольевич не без труда заставил своего двоюродного брата принять некоторую сумму: «Ведь ты мне отдашь со временем и это, мне просто стыдно говорить о таких пустяках!». Ласточкину и прежде было совестно, что он настолько богаче Аркадия Васильевича. Теперь, из-за неудачи с институтом, его смущение еще усилилось. Он пробовал об этом заговорить.

— Все-таки Савва Тимофеевич еще не сказал своего последнего слова, и я надеюсь, что...

— Если б этот толстосум, твой Савва Тимофеевич, хотел дать деньги, то он давно дал бы, — перебил его Рейхель. — Я завтра же начну искать должности в учебных заведениях.

— Я всячески тебе помогу, поговорю с разными знакомыми профессорами, — сказал Дмитрий Анатольевич. Он действительно побывал у двух профессоров. Сведения тоже оказались не очень утешительными. Рейхелю обещали должность штатного приват-доцента, и то лишь с начала учебного года. Должность была без жалованья, с необязательным курсом, и часовой гонорар, при небольшом числе слушателей, мог приносить лишь гроши. Место в лаборатории предоставили тотчас. Аркадий Васильевич осмотрел ее. Она была довольно убогая, даже по сравнению с парижскими, тоже не слишком роскошными. Он немедленно начал работать.

Рейхель почти сожалел, что приехал в Москву. В Париже они, имея двести рублей в месяц, жили вполне сносно: их знакомые, молодые ученые, работавшие в Пастеровском институте, были в большинстве беднее их. В Москве они, через Ласточкиных, оказались в обществе состоятельных людей. С московским гостеприимством их все стали звать к себе, а они, в свою меблированную комнату, не могли приглашать никого. У Люды нерасположение к богатым людям еще усилилось.

Отношения с Ласточкиными у них оставались корректными. Бывали у них раза два-три в неделю. Если хозяев не было дома, Рейхель уходил в кабинет и читал «Фигаро»; просматривал даже литературный отдел, хотя знал о французских писателях и интересовался ими так мало, как если б они жили на Новой Гвинее. Люда тоже заглядывала в эту газету, внимательно изучала отдел мод, просматривала и светскую хронику, читала о приемах у разных маркиз, — с презрением, но читала. Приходили они к Ласточкиным больше потому, что им вдвоем было уж слишком скучно. Иногда ездили с ними в оперу, в Художественный театр. Общество Ласточкиных им не очень нравилось: деловые люди, поэты, музыканты.

— Они музыкой угощают купчин, а тем лестно, потому антиллигенция, — говорила Люда Аркадию Васильевичу.

— Ты просто завидуешь их богатству, — ответил он.

— Ну, как же, еще бы! Неужели ты думаешь, что я поменялась бы с твоей Таней!

— Думаю, что поменялась бы.

— Я, впрочем, ни минуты не сомневалась, что ты это думаешь!

Стычки между ними еще участились. Единственное утешение Рейхель находил в лабораторной работе. Его диссертация не вызвала того шума, на который он надеялся. Но теперь у него была новая идея, и она должна была заинтересовать мир биологов.

VIII

В сентябре 1905 года статс-секретарь Сергей Юльевич Витте, после заключенного им в Портсмуте мира с Японией, выехал обратно в Европу на пароходе Гамбург — Америка.

Во всех странах заключенный им мир был признан успехом России и приписан его уму и дарованиям. Особенно популярен Витте стал в Соединенных Штатах, где общественное мнение сочувствовало японцам. В Нью-Йорке он охотно принимал всех, кто хотел его видеть, выражал большую радость по случаю приезда в Америку, давал интервью, позволял себя фотографировать не только репортерам, но и простым любителям, вообще вел себя чрезвычайно просто и этим немедленно всех к себе расположил: ждали приезда чопорного царского сановника в мундире и орденах, окруженного множеством явных и тайных полицейских агентов; приехал же простой человек в штатском платье, ездивший и гулявший по городу без спутников, крепко пожимавший руку машинистам и кучерам, обменивавшийся рукопожатием с кем угодно (к вечеру у него от рукопожатий неизменно болела рука и он смазывал ее опподельдоком).

От охраны он вообще отказался. В первый же день его из посольства предупредили, чтобы он не ездил в еврейские кварталы Нью-Йорка, во избежание враждебных демонстраций, а то и покушения. Он немедленно поехал на Ист-Бродвей, там останавливал прохожих, называл свое имя и по-русски или на дурном английском языке расспрашивал их, не из России ли они, давно ли и как устроились, хорошо ли им живется. Заводил разговор и об еврейском вопросе, причем высказывал либеральные мысли. При этом говорил искренне или почти совсем искренне. У него было жадное любопытство и даже некоторое общее расположение к людям, — за исключением государственных людей: их он в громадном большинстве терпеть не мог. В серьезных же дипломатических переговорах держался очень гордо. С пер-

вых же слов объявил, что в случае неуступчивости японцев Россия будет продолжать войну и одержит со временем победу, что ни о какой контрибуции с ее стороны не может быть и речи. Мысль о контрибуции приводила его в бешенство; патриотом был всегда неподдельным. «Никогда Россия никому контрибуций не платила и теперь не заплатит», — говорил он. — «Но ведь другие страны платили». — «Другие страны — не Россия! Не заплачу, и кончено!» Этот вопрос был самым главным. Японцы требовали 1200 миллионов иен. «Хорошо, тогда будем воевать дальше, увидим, чья возьмет». Его уверенный тон и напористость речи действовали на всех. Впрочем, русским приближенным он сам говорил, что война проиграна, что продолжать ее нельзя. «Но разбита не Россия, а наши порядки и мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы». Все думали, что переговоры кончены. Одна парижская газета обратилась к Рокфеллеру с просьбой: не заплатит ли он из своих средств японцам эти 1200 миллионов ради спасения мира? Рокфеллер не заплатил. Не заплатил и Витте.

С инструкциями из Петербурга он мало считался. Говорил, что не привык получать наставления. На одну телеграмму министра иностранных дел графа Ламсдорфа ответил, «может быть, не совсем деликатно». Приближенным объяснял, что в России реакционеры теперь «дрожат за собственное пузо», а либералы «больны умственной чесоткой». Полагался только на себя, не очень считался с советами Теодора Рузвельта, так что президент предпочитал помимо него телеграфировать царю о необходимости уступок. Довел также до сведения президента, что если на общем завтраке с японцами будет предложен тост за микадо раньше, чем за царя, то он, Витте, «не отнесется к этому спокойно». — Рузвельт произнес тост «за обоих монархов».

Газеты везде теперь писали о Витте больше, чем о каком-либо другом человеке на земле. Он становился мировой фигурой и с гордостью думал, что это очень давно не выпадало на долю русских государственных людей. Под конец своего пребывания в Соединенных Штатах Витте стал так популярен, что и политические симпатии от японцев перешли к России. На параде военной школы в его присутствии будущие американские офицеры, позабыв о присутствовавших японцах, прошли церемониальный маршем с пением русского гимна. А на богослужении, при выходе из церкви огромная толпа неожиданно запела «Боже, царя храни», и люди совали в карманы Витте подарки на память, кто безделушки, а кто и драгоценные камни.

Измучен он был необычайно. Сказались его тяжелые болезни, он плохо спал, втирал в грудь кокаин и все это тщательно скрывал: должен был производить впечатление богатыря. Про себя он думал, что жить ему недолго, что лучше было бы уйти на покой. Но большие умственные силы в нем оставались. Ему казалось, что он один может спасти Россию от хаоса. Смутно считал, что к хаосу идет и Западная Европа, несмотря на ее процветание и внешнее спокойствие: европейские правители тоже шутят с огнем и едва ли не ведут мир к гибели по своему легкомыслию, слепоте и внутренней несерьезности, сочетающейся с глубокомысленным видом.

Некоторые поклонники и даже враги считали Витте гением. Витте был воплощением здравого смысла; именно это и делало его среди его собратьев необыкновенным человеком. Он обо всем, даже об аксиомах общепринятой политической мудрости, судил здраво и попросту. Часто, впрочем, себе и противоречил, всегда с необыкновенной самоуверенностью. Кроме *gros bon sens*¹, умерявшегося властолюбием, его отличали нежелание и неумение быть справедливым к другим: в неудачах неизменно бывали виноваты его враги. Как ни осыпали его лестью, он себя гением не считал и даже несколько сомневался в существовании гениев, — разве какой-нибудь Гаус или Толстой? — да и тех он принимал больше на веру: свою университетскую математику давно забыл, а романов читал мало. Во всяком случае уж среди государственных людей он был самый замечательный и часто недоумевал: как другие не видят того, что ему так ясно?

На обратном пути его нервное расстройство еще усилилось. Дела на пароходе было мало, репортеров не было, можно было стесняться гораздо меньше. Витте, как прежде Бисмарк, был несдержан на язык. К нему подходили пассажиры, знакомились, приносили поздравления. Он со всеми разговаривал, теперь просто болтал, — впрочем, больше тогда, когда дело шло о предметах не слишком важных. Он старался (не очень) говорить всем приятное, но это не всегда удавалось. В беседах с американцами искренне хвалил Соединенные Штаты, но добавлял, что, по-видимому, среди американцев много настоящих грабителей: «В Нью-Йорке с меня за номер, правда из шести комнат и в лучшей гостинице, брали по триста восемьдесят рублей в сутки, везде в Европе было бы вдвое дешевле. А за обед с человека, притом за дрянной обед, я платил по тридцать

¹ Изрядный здравый смысл (*фр.*).

рублей с персоны!» — «Но ведь вы, конечно, платили из государственных денег?» — «А это еще как сказать! Мне казна отпустила двадцать тысяч рублей, и я уже доложил вдвое больше своих. Может, вернут, а может, и забудут». Немцам объявлял, что всю жизнь стоял и будет стоять за мир и добрые отношения с Германией, но это не легко: немцы куда менее культурны, чем французы или англичане. Знакомясь с людьми семитического облика, хвалил евреев за деловитость и ругал русских министров-антисемитов: «Просто дурачье! Они же требуют войны и присоединения к нам Галиции и Позена. Очевидно, им нужно, чтобы в России было еще больше евреев, а по-моему, и так совершенно достаточно!» — говорил он. «И немцев, и поляков тоже больше, чем нужно».

Во Франции, завтракая с президентом Лубэ, он сказал, что считает антиклерикальную внутреннюю политику французского правительства вредной и бессмысленной. С русским послом еле разговаривал. Беззастенчиво уверял и соотечественников, и даже иностранцев, что этот старик выжил из ума и защищает не русские, а французские интересы «под влиянием парижских красавиц». Еще беззастенчивее отзывался о русском после в Англии, — этот просто получает деньги от англичан. Витте сплетням верил охотно, а дурным сплетням верил почти всегда, особенно когда речь шла о политических деятелях. Их он ругал просто по долгой привычке, не слишком заботясь о правде, совершенно не стесняясь в выражениях, не боясь наживать себе врагов. Злой язык и природная грубоватость больше всего вредили его карьере.

В Париже он немедленно побеседовал с журналистами. Тотчас повидал и богачей. Чужое богатство почитал еще больше, чем Вильгельм, — вышел из небогатой среды. Но и большинство богатых людей он считал дураками, ничего в политике не понимавшими и тоже совавшимися в государственные дела. От разговоров же с политическими деятелями, особенно о Танжере и о франко-германских отношениях, он пришел в ярость: играют с огнем, ведут свою страну к катастрофе, как вели к ней Россию разные Плеве, Алексеевы, Безобразовы.

Витте и сам был карьеристом; личные цели и интересы в политике были совершенно естественным и неизбежным явлением. Но они становились преступлением, когда сочетались с недомыслием, а то и попросту с глупостью. Все эти Танжеры были не только не нужны, но чрезвычайно вредны и опасны. Он был рад уходу Делькассе: этот министр видимо

подготавливал французский реванш, — а потом начнут готовить немцы, у каждой державы есть за что реваншироваться, то есть отвечать одной бессмысленной и преступной войной на другую. Витте находил, что прежде всего необходимо прочное и полное примирение Франции и Германии. Рувье нравился ему больше. Этот министр, очень недурно устроивший свои личные денежные дела, знал толк и в государственных финансах (что Витте особенно ценил); но и Рувье, очевидно, не решался сказать, что надо навсегда прекратить и разговоры о каких бы то ни было войнах.

Особенно же раздражали Витте разговоры о дипломатическом триумфе германского канцлера. Газеты об этом писали почти как об его собственном триумфе. «Только я заключил *мир*, а Бюлов получил княжеский титул за совершенно бессмысленное дело, грозящее общей катастрофой!» Впрочем, он сам хотел стать графом — и тут, по его расчету, германский канцлер мог пригодиться.

Его ждали в Париже приглашения: побывать на обратном пути в Россию у английского короля и у германского императора. Эти приглашения он принял бы охотно: был настоящим убежденным монархистом и ко всем монархам чувствовал природное расположение, хотя и думал, что ни один из них ничего в политике не понимает. Ответил, что должен запросить разрешения царя. Знал, что во всяком случае царь, очень в ту пору раздраженный против Англии, не разрешит ему повидать Эдуарда VII. «А жаль. Удалось бы повлиять на англичан. Может быть, в Лондоне удалось бы повидать новое, новых людей. Верно, тоже незначительных. Повидать Вильгельма, впрочем, разрешат».

Он читал в Париже русские газеты, которых давно не видел. Почти все писали о нем так лестно, как никогда не писали прежде. Пробегал все, что относилось к внутреннему положению России. Оно было очень тревожно. Значительная часть сановников стояла за решительную суровую борьбу с начавшимся революционным движением. Намечалась отправка в места, где происходили беспорядки, особо уполномоченных генералов, известных твердым характером. «Как бы ни были сильны эксцессы, — читал он в либеральном издании, — мы никак не думаем, что целесообразна борьба с ними всеми средствами, *per fas et nefas*¹. К тому же надо твердо помнить, что эксцессы происходят с обеих сторон. Устроители «патриотических» расправ, однако, взысканиям не подвергаются. Благоклонно кое-кем приветству-

¹ Дозволенными и недозволенными (*лат*)

ются и бессмысленные сказки о японских миллионах, которыми, якобы, подкуплены либералы. Можно ли, после небывалого в нашей истории военного поражения, серьезно думать, что нужна революционная или иноземная пропаганда для возбуждения общего недовольства страны! В Цусимском бою четыре могучих броненосца, «Император Николай», «Орел», «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», сданы неприятелю. Официально сообщается, что контр-адмирал Небогатов и командиры этих судов, по возвращении из плена, будут преданы суду по 279-й статье военно-морского устава о наказаниях, карающей людей не *исполнивших* своих обязанностей по долгу присяги и согласно требованиям воинской чести. Но кто же назначил на важнейшие должности людей, очевидно не обладающих элементарными военными и человеческими качествами? Кто отправил на гибель всю эскадру Рожественского? Теперь сама газета «Чего изволите», так настойчиво требовавшая отправления балтийской эскадры на Дальний Восток и так долго выражавшая полную уверенность в ее победе, с неслыханным цинизмом сообщает, что ей было хорошо известно, что эта эскадра победить не может. Оказывается, доблестно погибший в Цусимском сражении командир броненосца «Александр III» Бухвостов откровенно и определенно говорил редактору этой почтенной газеты, что эскадра обречена на гибель и что ни малейших шансов на победу у нее нет! Столь же продуманна и новая затея правительства. Нет, не очень помогут в борьбе с охватившим всю страну волнением *missi dominici*¹ с карательными отрядами».

Витте не очень верил в искренность пишущих людей, но либеральным публицистам верил несколько больше, чем реакционным, и признавал совершенно правильным многое в их утверждениях. Теперь ему вдобавок было по пути с умеренными либералами. Они явно возлагали на него большие надежды. «Главный деятель Портсмутской конференции статс-секретарь С. Ю. Витте возвращается теперь в Россию триумфатором, — читал он. — Нисколько не умаляя — и не преувеличивая — личных заслуг и дарований нашего знаменитого статс-секретаря, показавшего себя в Портсмуте и выдающимся дипломатом-психологом, мы однако думаем, что его сейчас на Западе чествуют и восхваляют не столько за прошлую и настоящую его деятельность, сколько за его вероятную будущую роль, за его положение единственного серьезного кандидата на пост руководящего министра Рос-

¹ Посланцы господни (лат.)

сийской империи». Слова «и не преувеличивая» его раздражили. «Еще хорошо, что сами пока не лезут в «руководящие министерства»! Скоро, конечно, полезут. Они, правда, немного лучше, чем какие-то *missi dominici*, о каких они пишут на своем профессорском языке».

Он понимал, что в одном во всяком случае газеты правы: на Западе его в самом деле все считают будущим главой русского правительства. Так думал и он сам, но еще немного колебался, соглашаться ли. Не лучше ли отойти в сторону? В душе, однако, знал, что в сторону не отойдет. Занимать должность главы русского правительства в 1905 году было опасно, но он был смелым человеком. Видел, что в России неизбежен конец самодержавного правления, хотел себя связать с большим историческим делом и понимал, что очень скоро восстановит против себя всех, и правых, и левых. С либералами еще можно было поладить, хотя он их вождей во главе с Милюковым называл «свихнувшимися буржуазными революционерами». Но реакционеры с давних пор были с ним связаны злой взаимной ненавистью. «Скоро поднимут вой! Мир заключен, затеянная ими безумная война кончена, теперь можно будет во всем винить меня».

Кроме приглашений к Вильгельму и к Эдуарду, он получил в Париже телеграмму от германского канцлера: Бюлов тоже изъявлял желание повидать его и приглашал в Баден, где временно находился на отдыхе. Эта телеграмма разозлила Витте. Бюлова он все-таки ценил несколько выше, чем других государственных людей: называл его человеком не очень умным, но даровитым и, главное, образованным. Сам он свои познания заимствовал преимущественно из газет и разговоров с учеными людьми; но именно поэтому высоко ценил образование в других. С германским канцлером он часто беседовал, особенно прошлым летом в Нордернее. Бюлов в разговорах беспрестанно цитировал писателей, философов, поэтов (знал на память огромное количество стихов на разных языках). Это было в первые дни знакомства интересно; но скоро он потерял интерес к своему утомительно-блестящему собеседнику. Вдобавок он цитатами отвечать не мог, а разговор надо было вести на более высоком уровне, чем обычно. Образованна была и графиня. В Нордернее расспрашивала его о декабристах и восторгалась Львом Толстым. О Толстом Витте ей сказал, что романист он действительно гениальный (может быть, в самом деле «Войну и мир» или «Анну Каренину» прочел), но философия его просто детская. А о декабристах разговора не поддержал, так как о них не знал

почти ничего. Про себя считал их благородными дураками: «Это в России-то начала прошлого века затеяли либеральную революцию! Хороши были бы, если бы их восстание удалось! И финансы бы оказались замечательные!»

Приглашение Бюлова показалось ему и непринужденным по форме. «Если б не Цусима, не стал бы меня вызывать к себе в Баден». Но канцлер мог выхлопотать для него у Вильгельма цепь Красного Орла, высший германский орден. Это и само по себе было бы приятно, а главное, тогда государю пришлось бы пожаловать ему графское достоинство, — нельзя наградить меньше, чем немцы. Впрочем, таковы были у него не определенные мысли, а нечто среднее между мыслями и инстинктом. Немного поколебавшись, он принял среднее решение: любезно ответил, что был бы очень рад повидать Бюлова в Берлине, а приехать в Баден при всем желании не может: спешит с докладом к царю.

Канцлер действительно приехал в Берлин. Они вдвоем очень приятно пообедали в знаменитом ресторане Борхардта. Говорили друг с другом в шутовском тоне. Оказалось, что Вильгельм примет гостя в своем охотничьем замке Роминтен, недалеко от русской границы. Бюлов и Витте оба любили поговорить. Посплетничали обо всех, — кого только оба не знали? Несколько более сдержанно, но и не слишком почтительно, высказались каждый о своем монархе. Витте вспомнил, что когда-то выхлопотал Вильгельму у царя чин адмирала русского флота. «Не скрою, это было не так легко. Ваш кайзер стороной дал мне понять, что был бы этому отличию очень рад. Он обожает разные мундиры, я просто никогда этого не мог понять. Другое дело ордена: они даются за настоящие заслуги, как, например, ваш Красный Орел». Больше ничего не сказал, но канцлер про себя подумал: «*A bon entendeur salut*¹. Отчего бы и нет?» Занес в память и об адмиральском мундире. Был верноподданнически предан Вильгельму (вдобавок и всем ему обязан), но подобные факты запоминал и впоследствии, без чрезмерной преданности, к слову, сообщил в своих воспоминаниях.

Действительно, приехав в Роминтен, Витте узнал, что император жалует ему цепь Красного Орла. Был очень доволен, этот орден жаловался обычно принцам крови. Собственно, и графский титул был самому Витте не так уж нужен. Ему нужны были власть и — в меньшей мере — деньги. Но он знал, что жене будет очень приятно стать

¹ Имеющий уши да слышит (*фр*)

графиней. И, главное, придут в бешенство другие сановники, его враги и конкуренты.

После великолепия русского двора Витте не могли поразить ни берлинский, ни потсдамский двор. Его удивила скромность Роминтенского охотничьего замка и уклада жизни в нем. Замок был обыкновенный двухэтажный деревенский дом с очень просто убранными чистенькими комнатами. Так же прост был завтрак. Император и немногочисленные гости были в охотничьих костюмах, вели себя как приятели. До перехода в столовую Вильгельм сидел на ручке кресла Эйленбурга, — Витте подумал, что это было бы невозможно при русском дворе; понимал, что на него хотят подействовать фамильярностью, простотой, даже скромностью, вообще Вильгельму никак не свойственной. За завтраком император рассказывал не очень смешные истории и анекдоты, обращался преимущественно к русскому гостю. Это тоже было приятно. Как у большинства людей, у Витте отношение к человеку почти всегда в значительной степени определялось тем, как этот человек относился к нему. Вильгельм был с ним чрезвычайно ласков и любезен. За это можно было забыть обо многих его политических делах, даже о поездке в Танжер.

Все же он не мог упустить случая. Были важные государственные интересы; они шли впереди наград, вернее, тесно с ними переплетались; но ни за какие титулы, ордена, деньги Витте не стал бы вести политику, ставящую себе целью войну. Он решил поговорить с императором серьезно, без шуток и анекдотов, — так, как собирался вскоре поговорить с царем: думал, что от этих двух людей теперь больше всего зависят судьбы мира. В Роминтене он был в ударе, как на особенно важных заседаниях при переговорах с японцами. Там была откровенная борьба, здесь борьба скрытая, но, быть может, в историческом плане еще гораздо более важная. И он за завтраком от общего ничтожного разговора чувствовал все росшее нетерпение.

После завтрака Витте попросил у Вильгельма разрешения поговорить с ним наедине. Они беседовали больше двух часов. По словам Эйленбурга, голоса звучали «bald lebhafter, bald schwächer»¹. Вероятно, слово «lebhafter» относилось преимущественно к русскому гостю. Записи беседы не осталось, но кое-что сохранилось в воспоминаниях разных лиц, очевидно спрашивавших позднее императора.

¹ «То громче, то тише» (нем.)

Для начала Вильгельм осторожно заговорил о внутреннем положении России. Витте крепко ругнул «анархистов». Социалистические теории интересовали его еще меньше, чем другие, он в них не разбирался, да и не хотел разбираться и называл анархистами всех революционеров вообще. Ругнул он и «свихнувшихся либералов», серьезно думающих, что за ними есть какая-то сила в народе, тогда как народ к ним совершенно равнодушен и сметет их в случае революции в первые же дни. Говорил и тут, как почти всегда, искренне: «анархистов» терпеть не мог; их тоже считал в лучшем случае благородными дураками, а в худшем — прохвостами.

Вильгельм слушал с сочувственной улыбкой. Ему говорили о радикализме этого русского государственного деятеля, а он недолюбливал радикалов, даже иностранных. Затем Витте стал еще более злобно ругать русское правительство, и улыбка стерлась с лица императора: правительства, даже иностранные, ругать не следовало; как и его дед, он всегда в душе завидовал самодержавной власти царей.

— Затеяли, ваше величество, безобразную, никому не нужную, преступную войну. Правда, объявила ее Япония. В Токио, верно, тоже есть достаточно дураков и сумасшедших. Но главные виновники это наши жулики-концессионеры, разные аферисты и проходимцы, а также политика Плеве, господина Вячеслава Плеве (он иронически подчеркнул имя убитого министра). Ваше величество, верно, не знаете, что Плеве родом из немцев и в ранние годы назывался Вильгельмом, затем их семья ополячилась, и он стал Вацлавом, потом семья обрусела и он оказался Вячеславом, — говорил Витте, беспорядочно перескакивая с одного предмета на другой; в увлечении не подумал даже, что в беседе с германским императором не следовало бы неодобрительно отзываться о немецком происхождении Плеве. — Вы о нем спросите вашего канцлера, князь Бюлов биографию этого господина знает. Да я это только к слову говорю, — поправился он, — дело, разумеется, никак не в его происхождении. Ну, хорошо, затеяли войну. Командующим армией назначен Куропаткин, это ничего, недурной генерал, хоть воли у него никогда не было. Он не хотел войны с Японией и вяло, как они все, говорил это Плеве, а тот ему в ответ: «Вы не знаете внутреннего положения России. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Хорошо, а? Вот и удержал!

Император привык к тому, что сановники часто терпеть не могут друг друга; но они обычно это скрывали, по край-

ней мере от него. Этот же без стеснения говорил вещи поразительные. Бюлов изумленно рассказывал, что, случайно встретившись с ним в Тиргартене в день убийства Плеве, Витте еще издали ему радостно закричал: «Приятное известие! (*«Une bonne nouvelle!»*): только что убит Плеве!».

— Да, войну вели неудачно, — осторожно сказал император. Он желал победы России, но ее поражение не очень его огорчало. — Ваше командование оказалось не на должной высоте.

— Можно сказать, что не на должной высоте! Ну, хорошо, назначили Куропаткина, а над ним адмирал Алексеев! Этот уж совершенная находка: главнокомандующий и наместник Дальнего Востока. Так-с, значит, два командующих. Вы Алексеева знаете, ваше величество? Полное ничтожество! Он и на лошадь сесть не может! Я два года тому назад был в Порт-Артуре и, как шеф пограничной стражи, устроил ей смотр. Разумеется, сел на коня. Я хоть и штатский человек, а верхом езжу недурно. Как же в мундире на смотре быть не на коне? Явился, естественно, и Алексеев, ведь главнокомандующий, правда? Только он пеший. Спрашиваю, в чем дело. Оказывается, он отроду не ездил верхом, приближенные так, с улыбочками, мне и объяснили: ездить не умеет, боится лошадей. Хорош главнокомандующий миллионной армией, а? Да и это еще бы куда ни шло! Только он и о военном деле не имел никакого понятия. Вот так, с двоевластием, и начали войну! Остальное вы знаете. Россия очень могущественная страна, не дай Господи никому с нами воевать, — на всякий случай добавил он, вспомнив, с кем говорит. — А только эту войну мы позорно проиграли. Слава Богу, слава Богу, что мне удалось выпутать Россию, с потерей только половины Сахалина. Не очень он нам нужен этот каторжный Сахалин, слава Богу, земель у нас достаточно...

— Ваша заслуга велика, — вставил слово Вильгельм, слушавший его с все увеличивавшимся любопытством. Но перебить Витте было нелегко даже императору.

— Я тоже думаю, что велика, это так. Я по ночам не спал, все боялся, что упрутся японцы. Вот и увидите, как меня в Петербурге отблагодарят, я наперед знаю. Так вот, что же теперь? Я, ваше величество, всю жизнь был сторонником самодержавия, не лежит у меня душа к конституциям. Да что же нам делать? Разве можно сохранить самодержавие без подходящего самодержца, при совершенно расшатанном государстве? Все страны перешли к конституционному правлению. По складу моей души, по моим

семейным традициям мне любо неограниченное самодержавие, да что в том, когда его больше в России никто не хочет, кроме горсти разных предводителей дворянства, придворных, полковников от котлет? Пусть это человеческое заблуждение, но надо понять, что таков ход истории. Верно, это исторический закон, что в настоящее время должны править представители народа, хоть они ничего в государственных делах не смыслят. Эту линию я и буду вести, если меня сразу не выгонят: «Заклучил мир, ну и ступай ко всем чертям!..» Потом выкинут все равно. Им еще, правда, нужен большой внешний заем, а кому, кроме меня, в Европе дадут деньги? Поведу, поведу эту линию, Бог мне судья, — говорил Витте, точно убеждая себя самого. — Только где взять людей для этой самой конституции? Придется звать либералов, других нет, не Трепова же брать? Он честный человек, но в душе полицеймейстер. Из старых только один человек есть, Дурново, он умница и знает дело. Знает дело, знает дело, — повторял он, задумавшись.

Вильгельм заговорил о внешней политике, упомянул о свидании в Биоркэ с царем: там положено начало тесному сближению между Германией и Россией. Витте слушал его рассеянно. Давно прошло то время, когда его могло по существу интересовать мнение монархов, да, собственно, и громадного большинства людей вообще.

— Да, тесное сближение это очень хорошо, — сказал он, не дослушав. — Тесное сближение между всеми странами, а для начала между Россией, Германией и Францией. Главное — это, чтобы никому ни с кем больше не воевать! Это самое главное, ваше величество! Иначе все династии погибнут. А следовательно, надо прекратить и дурацкие вооружения, — Вильгельм взглянул на него очень холодно. — Именно они главным образом и мешают населению всех стран возможности безбедно жить, а это только на руку анархистам. От вооруженного мира народы страдают не менее, нежели от войны. Разве европейские страны могут себе позволить такие дикие, непроизводительные, бессмысленные расходы? Европа, это я еще лет восемь тому назад говорил вашему величеству, когда вы изволили беседовать со мной в Петербурге, Европа и вообще дряхлеющая старушка: подурнела, пожелтела, морщины, выпадают зубы, еле дрыгает ногами, бывшая красавица. Да и прежде красавицей она была сомнительной. Об ее величии со временем будут вспоминать, как мы вспоминаем о величии Древнего Рима. С той разницей, что римляне хоть знали, чего хотят. Ерунды хотели, мирового владыче-

ства, но знали, чего хотят, а мы и этого не знаем. А тут еще колониальные авантюры с подрывиванием, тоже решительно никому не нужные, кроме генералов и спекулянтов. Вот мне в Париже уши прожужжали о Марокко, на вас жаловались, ваше величество, уж вы не гневайтесь. Очень жаловались на Германию, и быть может, не без основания, хоть и они сами ничем не лучше, демократические господа французы. Им Марокко так же нужно, как вам, — говорил он, не обращая внимания на то, что лицо у Вильгельма стало ледяным. Несмотря на свою привычку ко двору, Витте совершенно не был придворным человеком и с королями, даже с императором Николаем, даже с Александром III, разговаривал, не стесняясь в выраженьях.

Он долго говорил, что необходимо прочное и вполне искреннее дружеское соглашение между мировыми державами. Но, взглянув на императора, подумал, что весь разговор был ни к чему: этот человек тоже в основном ничего не понимает. «Неврастеник!» Витте знал, что государственные деятели в большинстве неврастеники вследствие самых условий их жизни и работы. Вильгельм был одним из самых могущественных неврастеников в мире: «Может, очень может погубить себя, — это бы еще ничего, — но с собою и весь мир!» У него пропала охота к продолжению разговора. Голоса стали «schwächer».

Еще немного поговорили о предметах незначительных. Концом разговора Вильгельм остался доволен. «Es war grossartig»¹, — говорил своим приближенным император. Перед обедом министр двора принес в комнату гостя цепь Красного Орла, да еще портрет Вильгельма в золотой рамке с собственноручной надписью: «Portsmouth — Biorkö — Rominten. — Wilhelm Rex».

Теперь графский титул был почти обеспечен. Слово «Биоркэ» в надписи немного удивило Витте. Он в Биоркэ не был и текста договора не знал. В Петербурге узнал от графа Ламсдорфа и рассвирепел:

— Вот так штука! Мы до сих пор были обязаны защищать Францию от Германии, а теперь обязались защищать Германию от Франции! Хорошо, очень хорошо! Этот договор надо немедленно уничтожить! Я так прямо и скажу государю императору при следующем же свидании.

Но первым свиданием на яхте «Штандарт» он был расстроган. Государь в самых милостивых выражениях благодарил его за успешное выполнение в Портсмуте данного ему

¹ «Это было великолепно» (нем.)

тяжелого поручения, сказал, что получил от германского императора письмо, в котором тот восторженно о нем отзывается. Сообщил, что возводит его в графское достоинство. Витте растроганно благодарил и поцеловал царю руку.

На следующий же день его в реакционных кругах прозвали «графом Полу-Сахалинским». Он сам любил забавные шутки, но был очень зол. Немного его утешили очевидная ярость врагов и то, что, узнав о пожалованном ему титуле, Муравьев заболел черной меланхолией.

IX

Семь духов

Владыки гор, ветров, земли и бездн морских,
Дух воздуха, дух тьмы и дух твоей судьбы —
Все притекли к тебе, как верные рабы. —
Что повелишь ты им? Чего ты ждешь от них?

Манфред

Забвения.

Первый дух

Чего — кого — зачем?

Манфред

Вы знаете. Того, что в сердце скрыто.
Прочтите в нем — я сам сказать не в силах

Дух

Мы можем дать лишь то, что в нашей власти
Проси короны, подданных, господства
Хотя над целым миром, — пожелай
Повелевать стихиями, в которых
Мы безгранично царствуем, — все будет
Дано тебе.

Манфред

Забвенья — лишь забвенья.
Вы мне сулите многое, — ужели
Не в силах дать лишь одного?

Дух

Не в силах.
Быть может, смерть...

Манфред

Но даст ли смерть забвенья?

На вечерах у Ласточкиных обычно собиралось человек двадцать пять или тридцать. Хозяева одинаково были рады всем, не считались с известностью гостя, всем говорили приятное, всех кормили и поили на славу. Татьяна Михай-

ловна говорила Люде, что меняет состав гостей, так как всех одновременно принимать не может. «Надо было бы звать сто человек, если не больше, стулья еще можно бы взять напрокат, но не оказалось бы места в зале и особенно в столовой». — «А вы купили бы особняк где-нибудь на Поварской», — сказала Люда. «Ни за что! Митя так любит нашу квартиру, и я люблю», — ответила Татьяна Михайловна, редко отвечавшая на колкости и совершенно не понимавшая, зачем люди их говорят. Она всегда в разговорах с Людой делала вид, будто колкостей не замечает.

Мелодекламация не вошла в моду в Москве. Настоящие музыканты ее не признавали. На вечерах Ласточкиных она устраивалась в первый раз: известный драматический артист читал «Манфреда» под шумановскую музыку. Среди гостей преобладали артисты, профессора, политические деятели. Писателей Татьяна Михайловна немного остерегалась: уж очень много пьют. «Ну, напиться может кто угодно, даже профессор», — возражал Дмитрий Анатольевич.

Впрочем, и он писателей, особенно поэтов, звал к себе менее охотно, чем других. На вечере у одной из Морозовых слышал чтение молодого Андрея Белого, ничего не понял, был немного испуган и к себе его не позвал. Не очень понравились Ласточкину и вполне понятные стихи, как революционные в политическом и художественном отношении, так и необычайно удалые, народные, «кондовые». Ему казалось, что эти литераторы выбрали свою поэзию как самый легкий путь к скорому успеху и затем приобрели к ней профессиональный интерес. По его наблюдениям, главное у них заключалось в желании непременно изобрести что-то *новое*, еще никем не использованное. Один из них хвастал, что свое стихотворение написал небывалым размером (дал сложное название), который нигде в литературе до него не встречался. Дмитрий Анатольевич говорил жене, что именно вследствие этой погони за новизной они очень похожи один на другого. «Идет игра в лотерею известности. Многие выигрывают — очень ненадолго. Собственно, они все должны были бы ненавидеть друг друга. Но, кажется, этого нет: отношения скорее благодушные, каждому из них было бы без других очень скучно... Может, я и вообще несправедлив к ним. Что ж делать, я ни одному их чувству не верю, не верю искренности хотя бы одной их строчки... Ты, наверное, моих мыслей не одобряешь?»

Татьяна Михайловна в самом деле не одобряла. «Всякому делу надо учиться, а ты, Митенька, этому не учился. Если ты не знаешь, например, что такое пeon четвертый,

то и судить о поэзии нельзя». — «А по-моему, можно, хотя я не знал даже того, что они, проклятые, нумеруются!» — «Ну, а уж насчет «искренности», то тут уж я просто не понимаю, как можно судить, искренен ли поэт или нет? Всякого человека надо считать искренним, пока не доказано обратное. А эти, что читали на вечере, уж во всяком случае поэты талантливые». — «Способные — да, даровитые, может быть, а очень талантливые, не думаю. И по-моему, настоящую литературу губят именно книги — «так себе», никак не хорошие, но и никак не плохие», — нерешительно возражал Дмитрий Анатольевич.

В Москве литературные салоны были в большей моде, чем музыкальные. Ласточкин у себя устроил музыкальный, понимая, что такой у него выйдет лучше. Музыку он любил *всякую*, но хоть умел отличать хорошую от плохой. Татьяна Михайловна вообще была против устройства «салона»; несмотря на свое общее расположение к людям, больших приемов не любила: почти всегда бывает скучновато, не то что когда соберутся пять или шесть друзей. Однако все их знакомые что-то у себя устраивали, надо было платить приглашениями за приглашения; она подчинилась желанию мужа и старалась, чтобы приглашенные скучали возможно меньше, хорошо ели, хорошо, но в меру пили. На их большие приемы, в дополнение к их собственному повару, приглашался еще клубный: Ласточкин находил, что если один повар готовит больше, чем на десять — двенадцать человек, то ужин не может быть хорошим. На этот раз клубный повар был новый, Татьяна Михайловна не была в нем уверена и немного беспокоилась, особенно за «бэф Строганов». С улыбкой вспоминала очень скромные ужины в Харькове у воспитывавшей ее небогатой, бережливой тетки. Родителей она потеряла в раннем детстве, тетка тоже давно умерла, и из родных у нее оставался только двоюродный брат, теперь петербургский помощник присяжного поверенного. Ее муж очень его не любил, и они, бывая в столице, не всегда даже заезжали к нему с визитом.

Дмитрий Анатольевич волновался много больше, чем жена, но по другой причине. Этот вечер несколько отличался от их обычных: после ужина Ласточкин предполагал экспромтом устроить обмен политическими мнениями и сказать краткое вводное слово (о чем не предупредил жену). Надеялся, что артисты, поужинав, уйдут: у каждого из них, обыкновенно, бывало по несколько приглашений в день, и везде, несмотря на тревожное время, пили шампанское. Артисты, конечно, для политических бесед не годи-

лись, — «могут только нести чушь». Но профессора и политические деятели очень годились, хотя были второстепенные: первостепенные уехали в Петербург «переговорить с графом Витте».

Всеобщая забастовка кончилась, прогремел на весь мир манифест 17 октября, Витте стал главой правительства. Радость была необычайная. Правда, за манифестом последовали в провинции погромы евреев и интеллигенции, вызвавшие общее негодование. Все сходилось на том, что это последние действия черной сотни: на прощанье мстит за свое полное и окончательное крушение.

Поддался общему восторженному настроению и Дмитрий Анатольевич.

— Вот меня нередко попрекали чрезмерным оптимизмом, — говорил он; при всей своей искренности забыл, что его оптимизм ослабел в последние месяцы. — А вот вышло все-таки по-моему. Увидите, какой расцвет скоро настанет! После десяти лет свободного строя Россия станет первой страной в мире. Да, большой, очень большой человек Витте!

Татьяна Михайловна совершенно с ним соглашалась. Люда спорила. Вернее, начала спорить приблизительно через неделю после манифеста: московская партийная организация получила письмо от Ленина. Он говорил, что революция только началась, что он возвращается в Россию для ее углубления, называл Витте черносотенцем. Люда стала говорить то же самое, но из снисходительного отношения к взглядам Дмитрия Анатольевича смягчала отзыв о председателе Совета министров.

— ...Дался вам этот Витте! И он, конечно, скоро уйдет или будет свергнут начавшейся революцией. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти, — говорила она, не зная, что эту популярную в истории русской публицистики шиллеровскую фразу повторял в Петербурге, приписывая ее Шекспиру, сам Витте в переговорах с либералами. Грозил им своей отставкой и предупреждал, что ему на смену очень скоро придут совершенно другие люди.

Рейхель не обрадовался ни манифесту, ни приходу к власти графа Витте и почти одинаково ругал правых и левых. Дмитрий Анатольевич только разводил руками: «Спорить можно с консерваторами, но нельзя спорить с человеком, совершенно равнодушным к политической жизни. В сущности, ты нигилист, Аркаша!» — говорил он. «Уж я не знаю, кто я такой, только ничего хорошего не будет». — «Почему не будет? На предельный пессимизм тоже

отвечать нечего. Разумеется, мы все умрем, а может быть, через миллион лет кончится и наша планета, хотя нет никаких причин это утверждать. Но жить надо так, точно мы будем существовать вечно!» — «Не вижу ни малейших оснований», — говорил Аркадий Васильевич.

Поэма Рейхелю не нравилась. «Говорят, «верх гениальности»! Вздор. Любой из наших доморощенных сочинит не хуже... Там, в первом ряду справа, расселись толстосумы, всех перевешать. И морды какие самодовольные. Они готовы осчастливить Россию, но царь, по своей отсталости, не предлагает им портфелей. А за их пятипудовыми дочерьми увиваются идейные присяжные поверенные; идейность это хорошо, но идейность с миллионным приданым еще лучше. Люда с кем-то «высоко держит знамя». Разумеется, социал-демократическое, хотя она так же охотно и так же случайно могла стать социал-революционеркой... Нина делает вид будто слушает Тонышева. Только вчера его сюда затащила Люда, и вот он уже у них на вечере!»

Тонышев накануне обедал у Ласточкиных и всем, кроме Рейхеля, очень понравился. После его ухода Дмитрий Анатольевич расспрашивал о нем Люду, а вечером говорил о нем наедине с женой:

— Очень милый человек. Кажется, он нравится Нине? Татьяна Михайловна засмеялась.

— Я, как толстовский Алпатыч, на три аршина под тобой вижу. Да, и мне показалось, что он Нине понравился. В самом деле, он был бы для нее отличной партией.

Дмитрий Анатольевич смущенно улыбнулся.

Нина внимательно слушала. Стихи и музыка казались ей прекрасными. Она любила музыкальные вечера в доме брата. Политические же разговоры слушала плохо. Накануне за обедом Люда резко отозвалась о царе. Тонышев тотчас замолчал.

— Я с вами не согласна, — сказала Нина. — У царя прекрасные, истинно человеческие глаза. Таких я у революционеров не видела.

— А где, собственно, вы революционеров видели, Нина?

— Видала. Они иногда к Мите заходят.

— Значит, вы судите о политике в зависимости от «глаз»?

— Да, сужу и в зависимости от глаз. Человек с такими глазами не может быть злым. А это и в политике главное.

— Я с вами согласен, Нина Анатольевна, — с жаром сказал Тонышев. Люда рассмеялась. Татьяна Михайловна тотчас перевела разговор.

Манфред

Но все равно, — душа таить устала
Свою тоску. От самых юных лет
Ни в чем с людьми я сердцем не сходил
И не смотрел на землю их очами;
Их цели жизни я не разделял,
Их жажды честолюбия не ведал,
Мои печали, радости и страсти
Им были непонятны...

«Да, да, и это тоже обо мне сказано, быть может, еще больше, чем монологи Росмера», — думал Морозов. Он не читал «Манфреда» и еще не понимал смысла поэмы. «Или он скрывает какое-либо преступление?.. Что же ему дает эту власть над людьми? Мне — Никольская мануфактура, а ему будто бы духи и наука? Какие духи? А о науке он и сам говорит, что это «обмен одних незнаний на другие». Все равно, власть есть, но, в самом деле, «что пользы в том?».

Манфред

Мы все — игрушки времени и страха.
Жизнь — краткий миг, и все же мы живем,
Клянем судьбу, но умереть боимся.
Жизнь нас гнетет, как иго, как ярмо,
Как бремя ненавистное, и сердце
Под тяжестью его изнемогает;
В прошедшем и грядущем (настоящим
Мы не живем) безмерно мало дней,
Когда оно не жаждет втайне смерти,
И все же смерть ему внушает трепет,
Как ледяной поток...

«Да, все так, все так! Но какие же темные силы так грозно над ним тяготеют? Я не знаю и того, какие тяготеют надо мной. Разве Департамент полиции?» Ему в последнее время казалось, что полиция следит за ним все внимательнее. «Разумеется, я в точности не знаю, что с моими деньгами делают все эти Красины. Говорят, они готовят восстание?.. Связи связями, власть властью, а могут предать суду, засадить в тюрьму. Не все ли равно?»

Нервы у него совершенно расшатались за последний год. Он теперь постоянно ждал больших несчастий. Боялся своих рабочих, боялся революции, разорения, большевиков, Департамента полиции. Никаких радостей больше не оставалось. Вино надоело, театр надоел, любовница ушла, другой искать не хотелось. «Манфред, верно, покончит с собой. Но

никакой теории самоубийства я у него не вижу. Если человек кончает с собой по какой-либо определенной причине, то тут ничего удивительного нет. Другое дело, если он убивает себя без причины... Зачем еще появился в поэме этот аббат? Конечно, у аббатов есть на все ответ. Жаль, очень жаль, что у меня нет веры предков, но если нет, то и нет. Я не понимал никогда и теперь не понимаю, как вера есть у большинства людей, а когда-то была у всего человечества? Жизнь в ту пору была гораздо более страшна, чем наша. Творились в мире неслыханные зверства, людей пытали, четвертовали, сажали на кол. Вспомнить только войны семнадцатого века, хотя бы у нас: что творили казаки, поляки, татары, великороссы, просто читать нельзя. Теперь нет всего этого и, конечно, больше не будет. Но стали ли мы счастливее? Все же в ту пору бывали и периоды мира или хотя бы затишья, и уж в эти периоды люди были неизмеримо счастливее нас. Была вера, твердая, непоколебимая вера, в которой не сомневался, не мог сомневаться никто, кроме разве отдельных смельчаков, отчаянных в природном самоволии людей... У всех других было вечное, твердое утешение. Быть может, оно мелькало даже в потухающем сознании тех, которые доживали последние минуты на колу: «Еще час — и кончится мука, начнется вечная, счастливая жизнь!» И может быть, человечество когда-нибудь проклянет людей, ставших полтора столетия тому назад эту веру расшатывать. Но они свое дело сделали, и для нас это кончено. Откуда я возьму веру предков? И что же меня попрекать ее отсутствием? Уж если попрекать, то каких-нибудь Вольтеров, Дидро или Шопенгауэров, да и тех бессмысленно. Они тоже искали того, что называли правдой, и даже какую-то правдишку предложили. А еще какой-нибудь другой правдишкой живет, например, Красин. Впрочем, у него она *так*, для больших okazji, для разговоров, когда не о чем другом говорить. Всерьез же он занят революционной карьерой и, еще больше, составлением собственного капитала. И Горький занят тем же, его «творчеству» грош цена, как только я этого не видел прежде? Он сам мелодекламатор. Всю жизнь обманывал других, да немного, гораздо меньше, и самого себя... И я тоже достаточно мелодекламировал, больше не вмоготу, всего с меня достаточно, пора уходить... Как могут жить старики восьмидесяти — девяносто лет, зная, что каждый день считан и что впереди только предсмертные мучения? Мне тоже решительно нечего ждать. Надо, чтобы мысль о смерти стала привычной, ежедневной, автоматической. И для этого полезно всегда носить

с собой револьвер, как я и сейчас ношу. Отвыкнуть от любви к жизни трудно, но я отвыкаю, и чем больше ее бояться, тем лучше. Тогда легче умирать. Самое самоубийство может быть автоматическим действием, иначе труднее покончить с собой».

Он оглянулся и встретился взглядом с Людой, оба тотчас отвели глаза. «Эта еще кто? Красива. Быть может, и она готова была бы отдаться мне? То есть не мне, а Никольской мануфактуре. Совершенно бескорыстно мне никто не отдавался, все с оглядкой на Никольскую мануфактуру», — думал он с все росшим отвращением от людей и от жизни.

Аббат

Увы, ты страшен — губы посинели —
Лицо покрыла мертвенная бледность —
В гортани хрип. — Хоть мысленно покайся!
Молись — не умирай без покаянья!

Манфред

Все кончено — глаза застлал туман —
Земля плывет — колышется. Дай руку —
Прости навек.

Аббат

Как холодна рука!
О, вымолви хоть слово покаянья!

Манфред

Старик! Поверь, смерть вовсе не страшна.
(Умирает.)

Аббат

Он отошел куда? — страшусь подумать —
Но от земли он отошел навеки.

«Да, замечательная поэма, — думал Морозов. — Сегодня же дома прочту все. Кажется, Байрон в одном из шкафов должен быть... Можно бы, собственно, уехать и до ужина, да они не отпустят. Скажут: надо обмениваться впечатлениями. На всех таких вечерах обмениваются впечатлениями, если за ужином не выпьют столько, что уж не до впечатлений». Он не видел в зале ни одного человека, с которым ему хотелось бы поговорить о «Манфреде». «Да, если смерть не будет страшна, то, конечно, уж в жизни ничто не может быть страшно».

Он прежде не бывал у Ласточкиных и, собственно, не знал, почему принял приглашение на этот раз. Дмитрий Анатольевич пригласил его накануне, при случайной встрече. Его, как всех, поразил вид Саввы Тимофеевича. «Просто узнать нельзя! Глаза совершенно мертвые! Может, у нас немного развлечется?»

— Не приедете ли, Савва Тимофеевич? У нас будет сеанс мелодекламации...

Морозов вспомнил, что недавно отказал Ласточкину в пожертвовании на институт, и принял приглашение. «Постараюсь уехать возможно раньше». Но как только началось чтение, поэма его захватила.

«Не понимаю, просто не понимаю, — с недоумением думал Ласточкин. — Почему это его тяготит жизнь, «как бремя ненавистное»? Он был еще большим баловнем судьбы, чем Морозов... И именно эти баловни судьбы ее клянут! Я, пожалуй, тоже баловень, но во всяком случае гораздо меньший, и я всегда обожал жизнь, и никогда у меня и мысль о самоубийстве не могла бы возникнуть... Не привирал ли все-таки и этот гениальный поэт? Откуда бы у молодого лорда, не очень давно выпущенного из английской школы, любившего выпить и поухаживать за дамами, могли быть такие демонические чувства?» Впрочем, Дмитрий Анатольевич слушал рассеянno: все больше волновался перед своим вступительным словом к беседе.

Люда тоже не очень слушала. Вначале старалась заметить и запомнить какой-либо отдельный стих, который мог бы пригодиться. Потом ей надоело: она не любила долго слушать, даже когда читались важные политические доклады; прения уж были много интереснее, особенно если выступали язвительные ораторы. Устало от поэмы и большинство слушателей; почти все подумывали, что хорошо было бы перейти в столовую. «Слава Богу, кажется, сейчас умрет Манфред, — думал Аркадий Васильевич. — И совсем не так умирают люди. Никто в агонии не говорит: «Глаза застлал туман, земля плывет, колышется...» «Но от земли он отошел навеки!»! Разумеется, если человек умирает, то отходит навеки, — не очень оригинальную мысль высказал аббат... Кажется Морозов поглядывает на дверь, едва ли Таня его отпустит... Вот теперь явно конец, и Митя поблагодарит за доставленное нам всем высокое наслаждение...»

У Ласточкиных на больших обедах не раскладывали перед приборами карточек: Татьяна Михайловна знала, что гостям приятнее садиться где угодно и что они обычно сами не садятся там, где им не полагалось бы. Все же артиста она пригласила сесть рядом с собой. «Ну что ж, это правильно: ведь могла бы посадить на почетное место толстосума», — подумал Рейхель. Сам он сел с аккомпаниаторшей и еле поддерживал с ней разговор. Поглядывал на других гостей;

познакомился в доме двоюродного брата почти со всеми. «Купчих немного: сестры Шмидт, да еще одна Саввовна и одна Саввишна, в их династиях это отчество различается, чтобы не спутать. А Люда села к обер-Савве. И уже болтает с ним так, точно они с детства знакомы! Кто еще? Тот, кажется, тенор? Брюнетка виолончелистка... Остальные — «цвет интеллигенции», длинные седые бороды, лбы мыслителей, все как полагается. Воображаю, как мыслители весь вечер старались подавлять зевки. Ничего, теперь отдохнут, шампанское будет литься рекою, и «дружеская беседа затянется далеко за полночь». А кто те два молодых субъекта рядом с Шмидтихами? Довольно противные физиономии». От скуки и злости он мысленно подсчитал, сколько мог стоить Мите прием: «Верно, рублей триста, недурной микроскоп можно было бы купить».

— Да, отличная рыба, — сказал он аккомпаниаторше. Она была недовольна угрюмым соседом и делала тщетные попытки заговорить.

— Пожалуйста, подлейте мне немного шабли. Превосходное вино. Но вас, верно, винами не удивишь: вы ведь, кажется, с женой долго жили во Франции?

— Мы там пили «Ординер» в тридцать сантимов бутылка, — мрачно ответил Аркадий Васильевич. Он опять подумал, что в Париже жил приятнее, чем в Москве. «И общество было интереснее». Его общество составляли во Франции молодые биологи: политических эмигрантов Люда к себе не звала, зная, что он был бы с ними нелюбезен и совершенно для их разговоров не подходил.

Люда сидела рядом с Морозовым. Это вышло случайно, но она была довольна: «Никитич говорит, что он умница. Посмотрим». Язык у нее от водки быстро развязался.

— Я знаю, кто вы такой, — говорила она. — Знаю, что вас зовут Саввой. А как ваше отчество?

— Тимофеевич, — ответил Морозов, вероятно, впервые слышавший такой вопрос.

— Меня зовут Людмила Ивановна. Вы, верно, себя спрашиваете, кто я такая? Мой муж, Рейхель, двоюродный брат хозяина дома. Он сидит с той дамой в темно-зеленом платье, которая сегодня аккомпанировала... Впрочем, он не совсем мой муж, у нас гражданский брак. Это вас не слишком шокирует?

— Помилуйте-с,нисколько.

— Вы не удивляйтесь, я всегда всем это говорю при первом знакомстве. Мне о вас рассказывал ваш друг Красин. Ведь он ваш друг?

— Нет-с, но мы хорошо знакомы. Выдающийся человек, что и говорить-с, — сказал он и подумал, что и эта, верно, сейчас попросит денег. Люда выпила еще рюмку.

— Я давно дала себе слово, что не буду в жизни считаться ни с чем условным, ни с какими предрассудками, особенно с буржуазными. Знаю, что и вы такой же... Вы читали Коллонтай?

— Не читал-с. Это, кажется, о свободной любви-с?

— Да, и о свободной любви-с, — весело сказала Люда. — Она замечательная женщина и очень красива. Хотя и не такая красавица, как о ней говорят... Вы, конечно, удивляетесь, что у Дмитрия Анатольевича и особенно у Татьяны Михайловны такая свойственница? Они ведь оба воплощение буржуазности, благовоспитанности и всего такого. Я и сама этому удивляюсь.

— А ваш муж тоже такой?

— Такой, как они, или такой, как я? Ни то, ни другое. Мой муж ни благовоспитанный, ни неблаговоспитанный, он просто вне этого. Рейхель, говорят, замечательный ученый.

— Вот как? Не биолог ли?

— Почему вы знаете? Ах, да, я и забыла, ведь он вам подавал какую-то записку о биологическом институте. Вы денег не дали, но вы, верно, такие записки получаете каждый день. Знаю, что вы много жертвуете. Жертвуете и на революционные дела. Слышала. «Сорока на хвосте принесла...» Это любимая поговорка Ильича.

— Какого Ильича-с?

— Ленина. Не делайте вида, будто о нем не знаете. Вы давали деньги нашей партии.

«Так и есть, теперь попросит, — подумал он. — Странная дама».

— Такого не помню-с.

— Не помню-с, — передразнила его Люда. — Не конспирируйте, я в Охранку не донесу, я сама социал-демократка. Помогать нашей партии обязанность каждого порядочного человека. Но вы не бойтесь, я у вас денег не попрошу. По крайней мере, здесь, а то с Татьяной Михайловной, верно, случился бы удар.

Она расхохоталась так, что на нее с некоторой тревогой оглянулись и Рейхель, и хозяйева дома. «Впрочем, мне совершенно все равно, что она ему говорит», — подумал Аркадий Васильевич.

— Не давал-с, — угрюмо повторил Морозов. Он стал нелюбезен и еле отвечал Люде. В последнее время вообще не только не старался нравиться людям, но старался не

нравиться. «Покончить с собой хорошо уж и для того, чтобы не ходить на обеды и не разговаривать вот с такими вульгарными особами. Да и все тут хороши, начиная с меня».

Он обвел взглядом комнату, и ему показалось, что за столом сидят скелеты, одни скелеты, плохо прикрытые одеждой. «Скоро ими и будем... Все же это начало галлюцинаций. Да, либо дом умалишенных, либо то...»

— Вам понравилась мелодекламация? — спросила Нина своего соседа Тонышева.

— Сказать искренно? Байрон понравился меньше, чем Шуман. Я знал когда-то Байрона чуть не наизусть... Впрочем, это преувеличение: не наизусть, но знал хорошо. И мне всегда казалось, что он... Как сказать? Что он уж очень сгущает краски.

— Кого же из поэтов вы любите?

— Больше всего Шиллера. Это смешно?

— Почему смешно?

— Потому, что отдает пушкинским Ленским, а где уж у меня «кудри черные до плеч»? Моя молодость прошла, Нина Анатольевна. Мне больше тридцати лет. Ведь вам это кажется старостью, правда?

— Нисколько, — ответила Нина чуть смущенно и перевела разговор. — Я тоже люблю Шиллера, но все-таки люди у него не живые.

— Разве это важно? Я отлично знаю, что маркиз Поза не живой человек. Однако, главное — это *задумать* прекрасный образ, который остался бы навсегда в памяти людей, а как он выполнен, менее важно. Поэты по-настоящему живых людей не создают.

— Некоторые создают. Пушкин, например.

— Вы правы! — не сразу, точно вдумавшись, сказал Тонышев. — Я солгал, говоря, будто больше всего люблю Шиллера. По-настоящему, как русский человек, всем предпочитаю Пушкина.

— И я.

— Вы что у него предпочитаете, уж если мы заговорили о поэзии? По-моему, говорить о ней — это лучший способ *понять* человека, а мне так хочется *вас* понять... И мы ведь все пронизаны литературой, хотим ли мы этого или нет.

— Все у Пушкина прекрасно, но лучше всего, по-моему, последняя песня «Евгения Онегина» и «Капитанская дочка».

— Я так рад, что мы с вами и тут сходимся! («А в чем еще?» — подумала Нина). Я ответил бы то же самое! Но «Капитанскую дочку» я особенно люблю до Пугачевского бунта. Конечно, это, если хотите, примитив: «Слышь ты, Василиса Егоровна...» «Ты, дядюшка, вор и самозванец...» Толстой подал бы людей не так. Но какой изумительный, какой новый в русской литературе примитив!

— Да ведь примитивы итальянской живописи — гениальные шедевры, — сказала Нина. «Уж очень он литературно говорит. Но милый, — подумала она. Ей впервые пришло в голову, что этот дипломат мог бы стать ее мужем. — Странно. Совсем не нашего круга. Пошла бы я? Надо было бы подумать. Впрочем, ерунда, он в мыслях меня не имеет».

— Разумеется. И «Капитанская дочка» тоже шедевр. Но, начиная с бунта, в ней появляется авантюрный роман, вдобавок чуть слащавый и приспособленный к цензурным требованиям... А знаете, кого я еще из поэтов люблю? Алексея Толстого. Вы, верно, видите в этом признак плохого вкуса?

— Нисколько, хотя мне не очень нравятся его стихи.

— Он был, если хотите, самый находчивый, самый изобретательный из русских поэтов, перепробовал все жанры, все ритмы, все напевы. А главное, я уж очень люблю его как человека... Мне когда-то хотелось быть на него похожим!

— Да вы и в самом деле, кажется, на него похожи. Я помню его биографию.

— К сожалению, только во взглядах... Кое-чем, впрочем, и в жизни. Вы помните, что он был однолюб, всю жизнь любил только свою жену, — быстро вставил Тонышев и тотчас вернулся к прежнему разговору. — Может быть, мрачный тон Манфреда признак возвышенной души, но мне он вполне чужд. Я обо всем этаким, манфредовском, никогда и не думаю. А вы?

— Я тоже нет.

— И слава Богу! Я уверен, что и сам Байрон в Миссолонги страстно мечтал выздороветь и зажечь обыкновенной человеческой жизнью. В ней ведь так много радостей, и больших, и малых.

— Это всегда говорит мой брат.

— Правда? Какой милый ваш брат. И его жена тоже! Я так благодарен Людмиле Ивановне, что она ввела меня в ваш гостеприимный дом. Вы ведь очень близки с ней?

— С Людой? Да, мы в хороших отношениях.

— Она на вас непохожа. Я потому и позволил себе спросить.

— По-моему, она слишком резка. Люда по существу добра, но у нее злой язык.

— Если вы это говорите, то и я позволю себе сказать то же самое... Конечно, вы и ваш брат совершенно правы: очень много радостей в жизни, и я за них всегда благодарю Бога. Разве не большая радость вот то, что мы здесь сидим с вами... В вашем милом доме, в обществе умных, хороших людей. Я так рад нашему знакомству! — говорил Тонышев, глядя на нее уже почти с восторгом.

Нина ничего особенно умного и интересного не сказала, но с первого знакомства понравилась ему чрезвычайно. Ему давно хотелось жениться; он даже сам над собой иногда посмеивался: «При встрече с любой красивой барышней присматриваюсь как к возможной невесте!» При этом мало интересовался состоянием или родством барышни. Денег и связей у него у самого было достаточно. Были только полусознательные пределы, из которых он не мог бы выйти: на революционерке вроде Люды не мог жениться почти так, как не женился бы на горничной. Но Нина из его пределов не выходила: об этом свидетельствовали и разговоры, и уклад жизни в семье Ласточкиных. Он плохо знал ту среду, которая называлась «буржуазной». «Это во всяком случае приятные и культурные люди».

— Господа, кофе будем пить в гостиной, — сказала, вставая, Татьяна Михайловна.

Некоторые гости сочли возможным проститься тотчас после ужина. Все были очень довольны приемом. Простился и артист, он должен был выступать еще где-то, мог это делать и два, и три раза за ночь.

— Спасибо, от души вас благодарим, вы нам доставили такое большое удовольствие. Не решаюсь вас просить продлить его: в самом деле, что же еще можно читать после «Манфреда», — ласково говорила хозяйка. «Теперь осталась только тяжелая артиллерия, ну, да это ничего», — подумала она.

Дмитрий Анатольевич проводил уезжавших, в передней пошутил сколько было нужно и вернулся в гостиную, еще больше волнуясь. «Главное, это начать. Сейчас ли? Жаль, что я не предупредил Таню. Она еще огорчится... А может, гостям теперь не до серьезных разговоров: удобно устрои-

лись с чашками кофе, а тут «политическая беседа». Ну, да что ж делать?»

В гостиной разговор шел о мелодекламации.

— ...Артист он, конечно, изрядный, но эта ваша мелодекламация есть вещь гибридная, — сказал Никита Федорович Травников, пожилой профессор истории права. Он был добрейший, любезнейший человек, всем оказывал услуги, но вечно кипятился, возмущался и непременно хотел считаться «злым языком». Называл себя «потомственным почетным москвичом», по аналогии с потомственными почетными гражданами, и в самом деле принадлежал к старому, хотя и не знатному, московскому дворянству. Он и говорил так, как говорили в старой дворянской Москве, без купеческого или народного аканья. Любил вставлять в свою речь старинные, даже церковнославянские слова, а то французские или чаще латинские. По политическим взглядам, с той поры как и в его кругу стало обязательно иметь политические взгляды, причислял себя к «либеральным консерваторам». Был душой обедов и банкетов, шуточные тосты произносил отлично, знал толк в винах, но ни разу в жизни не был пьян. Брил бороду в ту пору, когда ее все носили, и говорил, что ее брили его духовные предки, римляне, первый народ в мире, создавший науку права; но отпустил бороду, когда она вышла из моды: русскому человеку бриться не надо. Знал он решительно всех, почти со всеми был дружен; но уверял, что на «ты» был в жизни только с одним человеком, и тот оказался провокатором. Студенты его обожали, он их всех знал в лицо, на экзаменах никого не проваливал и никому не ставил высшей отметки, — «пять поставил бы только Савиньи, и с досадой, потому немец». Ласточкины очень его любили, и он их очень любил, хотя Татьяну Михайловну благодушно корил еврейским происхождением, а Дмитрия Анатольевича называл перебежчиком: переметнулся от буржуазии к интеллигенции.

— Опера тоже гибридный жанр, — возразила Люда.

Ласточкин тревожно на нее взглянул. «Ох, она навеселе! Что ж, если начинать, то сейчас. Но не стучать же ложечкой по стакану!»

— Так оно и есть, барынька, — сказал Травников. — Но я в опере слов никогда и не слушаю.

— А в «Манфреде» слова чудесные. Это вам не Андрей Белый, — сказал профессор-литературовед.

— Почему, кстати, сей юный поэт Боря Бугаев именует себя Андреем, да еще Белым? Отчего не Голубым?

— Да, ведь разумеется, он сын нашего почтеннейшего математика Николая Васильевича? — спросил Скоблин, один из первых хирургов Москвы, известный, в частности, своим необыкновенным хладнокровием. Он после обедов с водкой и винами уезжал в клинику и там очень искусно производил сложнейшие операции.

— Яблоко от яблони недалеко падает.

Никита Федорович рассказал последний анекдот о профессоре Бугаеве, который будто бы изругал извозчика за то, что тот на козлах сидел к нему спиною. Все смеялись.

— Все же превосходство новых революционных поэтов над старыми не подлежит сомнению, — сказала Люда еще громче. — Я уверена, что они все проштудировали Маркса.

— Барынька, да какие же они революционеры! Я слышал, что за винным зельем они поругивают «жидов».

— Это неправда!

Дмитрий Анатольевич воспользовался случаем:

— Не знаю, штудируют ли Маркса поэты, но в рабочих кругах его влияние все растет, и это...

— И это в высшей степени отрадно, — перебила его Люда. Ласточкин бросил на нее умоляющий взгляд — «помолчи хоть немного!» — и заговорил. К некоторому удивлению Татьяны Михайловны и гостей, заговорил не в обычном тоне, а так, как люди начинают речь; это было видно по его интонации и по чуть поднятому голосу. Впрочем, он шутливо попросил гостей не пугаться:

— Я не намерен занимать долго ваше внимание, а лишь хотел бы положить начало некоторому обмену мнениями с людьми, гораздо более компетентными в политических делах, чем я. Положение, как всем известно, достаточно серьезно. Что ж, *du choc des opinions jaillit la vérité*¹, — сказал Дмитрий Анатольевич.

— А, ну, ну, посмотрим, какая такая истина, — заметил Рейхель саркастически.

Все взглянули на него с недоумением; он обычно не принимал участия в разговорах.

Ласточкин повторил, что считает положение очень тревожным, и не только в России, но и во всем мире. Недавняя вызывающая поездка Вильгельма II в Танжер показала, что мы были на волосок от европейской войны. Кайзер, очевидно, хотел использовать момент русской слабости. Об этом поговорили, а теперь забыли или забывают. Везде гораздо меньше интересуются общим мировым положением, чем не-

¹ В споре рождается истина (фр.).

большими текущими делами каждой данной страны. О внешней политике и вообще говорят больше разве только на парадных конгрессах. Японская война, сравнительно небольшая, привела Россию чуть не к революции и, во всяком случае, к 9 января. Что же будет с Европой, если так же случайно, из-за каких-либо европейских Безобразовых, начнется всеобщая война?

Дмитрий Анатольевич, на деловых собраниях говоривший очень гладко и хорошо, теперь, от непривычной темы, от удивленных взглядов гостей, запинался и не мог справиться с мыслями. Пытался было вернуться к шутливому тону, но и это не вышло.

— Один мой знакомый, — сказал он, — сообщил мне, что Витте в разговоре с Вильгельмом назвал Европу престарелой, увядающей красавицей, медленно идущей к гибели. Можно быть разного мнения о Витте, но нельзя ведь отрицать, что он очень умный человек.

— Это отрицать можно-с, — перебил его сердито Морозов. Он недавно разговаривал с главой правительства, и этот разговор оставил у него очень неприятное впечатление: Витте «дружески» посоветовал ему заниматься промышленностью и бросить политику: «Вы в ней, Савва Тимофеевич, ничего не понимаете. Слышал, вы даете миллионы на революцию. Не советую, очень не советую», — многозначительно сказал он.

— Я был с делегацией у Витте, — сообщил старый земец. — И он ничего об опасности европейской войны не говорил.

— Разумеется, — подтвердил Скоблин.

— В самом деле, на Витте ссылаться незачем, Дмитрий Анатольевич, — сказал видный сотрудник «Русских ведомостей». — Дело не в его уме, но он уже наглядно доказал, что у него очень ограниченный кругозор. Ведь он считает Александра III великим монархом и лучшей формой правления признает самодержавие с хорошим царем. В сущности, его политика, сдается мне, в значительной мере определяется его личной ненавистью к «ныне благополучно царствующему монарху» и еще...

— Это было бы не так плохо, — встала, смеясь, Люда.

— И еще личным честолюбием.

«Точно ты личного честолюбия совершенно лишен. Или я», — с недоумением подумал Тонышев, хотя ему хотелось находить прекрасным все в доме Ласточкиных.

— Вы говорите, барынька, о марксизме и поэзии, — отечески, но неодобрительно сказал Травников. — Наш

почтенный коллега князь Трубецкой говорит, однако, о мещанах марксизма. Считает, что нет более мещанской интеллигенции, чем наша: у нас будто бы есть мещане марксизма, мещане позитивизма и даже мещане идеализма.

— Верно, ваш почтенный коллега выжил из ума.

— Разумеется, — подтвердил хирург. Он постоянно пользовался этим словом, иногда совершенно некстати. Слушал не интересовавший его разговор очень рассеянно. Смотрел на бородавку на щеке у земца и думал, что было бы очень просто и легко ее удалить, заняло бы две минуты.

— Он умнейший человек, я его очень люблю и почитаю, — обиженно возразил сотрудник «Русских ведомостей», — но о мещанстве нашей интеллигенции он говорит зря. Достаточно привести в пример его самого, а уж он интеллигент из интеллигентов.

— Это верно, хотя его июньское соло во дворце оставляло желать лучшего, — сказал Травников. — Но об европейской войне, Дмитрий Анатольевич, невозможно говорить. Если б Вильгельм хотел войны, то он объявил бы ее полгода тому назад, когда вся наша армия завязла на Дальнем Востоке. Тогда он взял бы нас голыми руками.

Старый земец с этим не согласился:

— Это бабушка надвое сказала. Не вся наша армия завязла, и у нас есть союзница Франция, и в случае войны с Германией наш народ встал бы как один человек! — с силой сказал он.

— И взял бы власть в свои руки.

— Ну, еще как будет править наша богоспасаемая деревня: Дырявино, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка тож, — сказал земец. Он в юности был народником и даже, как Кравчинский, рыл в далеком глухом имении глубокое подземелье для устройства тайной типографии и печатанья поэмы «Стенька Разин». Но на старости лет немного разочаровался в народе и вспоминал о подземелье с грустным умилением.

— Отлично будет править. И, во всяком случае, мировой пролетариат никогда не допустит европейской войны, — сказала Люда.

— По моему бабьему суждению, Вильгельм поскакал в Танжер больше для того, чтобы лишний раз увидеть свои портреты во всех журналах мира, — сказала, смеясь, Татьяна Михайловна. Она видела, что неожиданное выступление мужа не удалось, была огорчена и хотела замять дело. — Господа, кто хочет чаю? У нас «богдыханский», как уверяют в магазине.

— С удовольствием выпью чайку, барынька, — сказал Травников. — А насчет войны, Дмитрий Анатольевич, вы будьте совершенно спокойны. Симпатии к нам на Западе все растут. Вот, Кнут Гамсун так обожает Россию и все русское, что у нас в Москве клал в щи икру.

Все смеялись.

— Он ненавидит Соединенные Штаты еще больше, чем любит нас.

— Рад, что любит Россию, и жалею, что ненавидит Соединенные Штаты, — сказал, улыбаясь, Ласточкин. Он тоже видел, что из обмена мнениями ничего не вышло, и потерял охоту к разговору: не мог отвечать сразу и о Витте, и о Трубецком, и о мировом пролетариате, и о Неелове-Неурожайке тож, и о шах с икрой Кнута Гамсуна. Сделал вид, что не очень хотел начинать политическую беседу и приятно улыбался, чтобы гости не подумали, будто он оби-делся.

— Уж какая там европейская война, — сказал Травников. — А вот конституция у нас будет, и очень скоро. Мы должны твердо сказать Витте «do ut des»¹!

— Да что же мы-то «do»? Налоги, что ли? Немного.

— Ну, так «facio ut des»². Авторитет в народе у нас, слава Богу, есть. И у государя нет другого выхода. Вот что мне вчера рассказывали...

Разговор пошел обычный, о петербургских и петергофских новостях. «Прекрасные они все люди, цвет нашей интеллигенции, таких, быть может, на Западе мало, но чего-то им не хватает», — грустно думал Ласточкин. Татьяна Михайловна поглядывала на мужа одобрительно: не беда.

¹ «Даю, чтобы дал» (лат.).

² «Делаю так, чтобы дал» (лат.).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Не устроившись как следует в Москве, Рейхель решил попытать счастья в Петербурге. Люда всячески его в этом поддерживала. Революционное движение не только не прекратилось после манифеста 17 октября, но еще усилилось. Шел глухой слух, будто в столице ожидается вооруженное восстание. «Во всяком случае, Москва — провинция. Центром будет Питер», — говорила Люда социал-демократам из московского комитета. Сама она в комитет не входила, была этим обижена и огорчена. Товарищи отвечали ей уклончиво. «Без Ильича я и вообще никуда не попаду!» — думала Люда. Ленин же, по слухам, находился в Петербурге. Ей очень хотелось принять участие в восстании. Об опасности и не думала, как не думают о ней гимназисты, отправляющиеся добровольцами на войну.

Жизнь в Москве ей надоела. Было у нее еще и другое основание желать скорейшего отъезда, хотя о нем она старалась не вспоминать. Тонышев теперь чуть не ежедневно бывал у Ласточкиных и явно ухаживал за Ниной. С ней же при встречах был вежливо-холоден и называл ее по имени-отчеству. «Верно, Нина сообщила ему, что я «гражданская». Стоило вводить его в их дом!» Она нисколько не была влюблена в Тонышева, любила Нину, но постоянно встречать их в доме Дмитрия Анатольевича было ей неприятно. «Пусть женятся, совет да любовь, мне совершенно все равно, а танцевать на их помолвке я не желаю. Очень влюбчив господин эстет».

Рейхелю она, конечно, иначе представляла необходимость переезда:

— Посуди сам, Аркаша, — говорила она миролюбивым, почти ласковым тоном. — Здесь тебе только обещают в лучшем случае штатную доцентуру. Часового гонорара для жизни не хватит, придется и дальше брать деньги у Мити. Ведь надо же этому положить когда-нибудь конец!

— Конечно, надо. Мне это нестерпимо тяжело. Но именно для переезда придется у него взять денег, и какая же гарантия в том, что в Петербурге мне что-нибудь предложат? Разве у нас умеют ценить людей!

«Других умеют», — подумала Люда. Она считала его выдающимся ученым: «Хоть это же у него есть!» Но неудачи Рейхеля еще усилили в ней раздражение против него. Сама этого стыдилась: «При чем тут удачи и неудачи? Что они доказывают? Во всяком случае он настоящий ученый и труженик. Просто ему не везет. И Митя все-таки его несколько подвел. Он не виноват, что институт не создан, но зачем обещал золотые горы?» — думала она. «В Петербурге, если место найдется, Аркадий будет совершенно счастлив. Ведь ему почти ничего не нужно. Ему нужно спокойно работать, и непременно в своей лаборатории, чтобы быть совершенно независимым. По той же причине ему необходимо, чтобы у него не было никаких долгов. То, что он берет деньги у Мити, у него настоящий пункт упомощательства. Роскоши, денег он даже не любит, он один из самых бескорыстных людей, каких я когда-либо знала, — старалась думать о нем *справедливо*. — И еще ему нужна женщина, да и то не очень нужна...»

— Гарантии, конечно, нет, но там возможностей, верно, больше.

— Что ты об этом знаешь?

— Штатную доцентуру можно получить и там. Хуже в этом отношении, чем здесь, в Питере наверное не будет. Там и я найду, наконец, платную работу.

— Не знаю, почему ты ее найдешь именно там. У тебя нет никакой квалификации, — угрюмо ответил Рейхель. Он и не хотел, чтобы Люда вносила свои деньги в хозяйство; сказал это больше потому, что теперь им обоим было трудно разговаривать без колкостей. Тотчас раздражилась и она.

— Пока и тебе не слишком помогла твоя «квалификация»... Хочешь, я сама поговорю с Митей? Татьяна Михайловна будет очень рада нашему отъезду, а он особенно спорить не будет. Предупреждаю, он потребует, чтобы ты взял много денег. Я возьму.

— Ни в каком случае!

— Тогда говори сам. Всем известно, что ты джентльмен и что он джентльмен, ты преимущественно снаружи, а он и внутри. Вообще вся ваша порода состоит из джентльменов. Нина тоже воплощение благородства, хотя страстно

хочет выйти замуж за Тонышева, он ведь богат и делает блестящую карьеру.

— Я, конечно, не такой замечательный психолог, как ты, и не берусь делать характеристику твоей сложной натуры. По-моему, твоя трагедия в том, что ты считаешь себя чрезвычайно умной, тогда как на самом деле ты дура, — сказал Рейхель, совершенно разозлившись из-за «ты преимущественно снаружи». Он сам тотчас почувствовал, что для «колкости» это уж несколько сильно. Таково, впрочем, было в последнее время его искреннее убеждение.

Они поссорились. С Ласточкиным Аркадий Васильевич поговорил на следующий же день.

— ...Что ж делать, я должен искать платной работы. Не могу без конца быть тебе в тягость, — сказал он.

— Ну, что ж, попробуй, — сказал Дмитрий Анатольевич. — Мне так жаль, что...

— Надеюсь, я там найду работу, — перебил его Рейхель. Он имел привычку недослушивать собеседников и даже не подозревал, что это может их раздражать.

В поезде он с Людой почти не разговаривал. Как только они в Петербурге устроились в «Пале-Рояле», Рейхель отдал ей половину денег, полученных от двоюродного брата.

— Митя заставил меня принять тысячу рублей, — сердито сказал он.

— Но зачем ты мне даешь половину?

— Так вернее. Если я потеряю, останутся твои. Если потеряешь ты, останутся мои.

— Да ни ты, ни я никогда денег не теряли. Впрочем, как хочешь. Я спрячу четырехста в свой чемодан.

— И я спрячу четырехста в чемодан.

— Только твой не запирается на замок, — сказала Люда с некоторым недоумением: «Тогда какое же «если потеряешь?»»

Оба целый день бегали по Петербургу. Рейхель посещал профессоров. Оказалось то же, что в Москве: предлагали место в лаборатории и обещали должность штатного приват-доцента. Все же обещания были несколько определеннее, и одна из лабораторий оказалась хорошей. Он встречался с Людой лишь за обедом, да и то не всегда. На беду, у него разболелись зубы. Надо было ходить ежедневно к дантисту, ждать долго очереди в приемной, проделывать мучительное лечение. Настроение у Аркадия Васильевича

становилось все хуже. Люде было его жалко. «Все равно скоро конец», — думала она.

Рейхель думал то же самое. Полусознательно он именно для этого отдал ей половину денег.

Она повеселела, оказавшись в родном городе. Тотчас побывала в партийном комитете, но адреса Ленина не узнала. Ей отвечали, что не знают сами: Ильич скрывается и постоянно меняет комнату, живет отдельно от жены и даже отдельно от нее приехал из-за границы.

— Да, я понимаю, что шпики *теперь* ищут усиленно, — сказала Люда многозначительно: давала понять, что ей известно о предстоящем восстании. — Да ведь у нас теперь есть своя газета. В какие часы Ильич бывает в редакции?

— В самые неопределенные. Туда тоже могут нагрянуть. Он уже замечал, что за ним ходит гороховое пальто.

— Пойду в газету. Я с Лондона Ильича не видела, — сказала Люда обиженно.

— Правда, ведь вы тогда были с ним на съезде, — сказал один из членов комитета, Дмитрий, грубовато-веселый и добродушный человек. — Значит, своими глазами видели, как от мартовцев остались рожки да ножки? Ильич и теперь их по головке не гладит. Вот что, завтра в газете состоится редакционное собрание. Назначено на пять часов, значит, начнется в шесть. Приходите пораньше, может, его и поймаете. Приглашены все литераторы, с декадентами включительно. Ох, народ!

— Неужто Ильич пригласил и декадентов?

— С проклятьями, но пригласил. Как же теперь без них? Надо же, чтобы газету читали. Да и пенензы достала жена Горького, а она сама чуть ли не декадентка... Вы там Морозова не видели?

— Видела-с. Говорила-с, — сказала она.

Член Комитета засмеялся.

— Побольше бы таких, как он, болванов-буржуев. Так вот, повидайте Ильича и захаживайте к нам. Люди очень нужны, работаем с раннего утра до поздней ночи.

— Вся вложусь в дело! — обрадовавшись, сказала Люда.

II

Она отправилась в редакцию в указанное ей время. Подходя к дому, с восторгом увидела, что через улицу, оглядываясь по сторонам, бежит Ленин, в пальто с подня-

тым каракулевым воротником. Они столкнулись у входа. Он еще раз оглянулся и, поспешно войдя в дверь, поздоровался с Людой приветливо, но так, точно видел ее накануне. На этот раз в ее отчестве не ошибся.

— Ильич, сколько лет, сколько зим!.. Я так рада! Мне нужно о многом с вами поговорить. Где и когда можно?

Он, поднимаясь по лестнице, только показал рукой на шею.

— Почтеннейшая, сейчас не могу. Разве после заседания, если у вас что-либо важное?

«Почтеннейшая», — подумала Люда.

— Не знаю, как для вас, Ильич, а для меня очень важное. Разумеется, в партийном отношении. Ведь заседание очень затянется? Где же мне вас ждать?

— А вы пройдите в редакционную, послушаете.

— Вы меня в сотрудницы не звали.

Он взглянул на нее изумленно. «Хороша ты была бы сотрудница!.. Впрочем, и другие не лучше», — подумал он.

— Где же мне было вас искать? Милости просим. Это тут, прямо. Если вас спросят, скажите, что я вас пригласил, — ответил он и, улыбнувшись, исчез за боковой дверью.

Заседание еще не началось. Люда только заглянула в комнату. Там стояло много стульев, ни один не был занят. «Нет, что же сидеть одной?» Но и в передней стоять одной было неловко. «Вернусь минут через десять, когда соберется народ». Она вышла и увидела, что по лестнице, шагая через две ступеньки, поднимается Джембул. Обрадовалась ему еще больше, чем Ильичу. Он тоже улыбнулся очень радостно, совсем не так, как Ленин.

— Люда, какими судьбами!

— Вы-то, Джембул, какими судьбами? Вот и думать не думала, что вы в Петербурге!

— И я не думал, — сказал он, отворяя перед ней дверь. В передней расстегнул шубу и оглянулся. Вешалки не было. Не было и зеркала. «Еще элегантней, чем был прежде!» — подумала Люда. — Как это, дорогая моя, вы здесь очутились?

— Пришла на редакционное совещание. Я ведь сотрудница. Вы тоже?

— Как же, как же. Буду писать баллады и рождественские рассказы. Надеюсь, вы никуда сейчас не убегаете?

— Не убегаяю. Я просто в восторге, что встретила с вами! Всегда мы встречаемся в разных партийных учреж-

дениях. Так было и в Брюсселе. Сколько воды с тех пор утекло!

— Да, немало. Где вы живете?

— В «Пале-Рояле». Я только пять дней тому назад приехала из Москвы.

— С мужем?

— С Рейхелем, но я вам давно говорила, что он не мой муж. А где и с какими гуриями живете вы?

— Так легкомысленно нельзя говорить у социал-демократов. Это «трефное».

— Да я ничего легкомысленного не хотела сказать, это у вас такое воображение. Давайте сядем здесь в углу. Или вы хотите уже идти на заседание?

— Отнюдь не хочу. Верно, там уже собрались вице-Белли, надо будет вести умные разговоры, а я не умею. Где вы сегодня ужинаете? Хотите, поужинаем вместе?

— С великой радостью. Но Ильич обещал поговорить со мной после заседания.

— Неужели вы верите его обещаниям? Мне он тоже обещал и давным-давно забыл.

— Зачем же вы пришли?

— Послушать умных людей.

— Все-таки вы не настоящий большевик.

— Разумеется, не настоящий! Подделка самой грубой работы.

— Кто же вы?

— Я склоняюсь к мистическим анархистам. Они ваши «друзья слева», как кадеты называют вас.

— Вы не изменились, вечные шутки!

Отрываясь от болтовни, Джамбул негромко называл ей проходивших людей. Некоторых она сама узнавала по фотографиям из «Нивы». Это были очень известные писатели.

— Видите, какие вдохновенные лица, — говорил он вполголоса. — У них мировая скорбь!

— «Братья-писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое...»

— Ничего, они и с «роковым» все доживут до восьмидесяти лет и умрут от простаты или от болезни печени. Сколько Савва Морозов платит за «роковое» построчно?

— Какой гадкий вздор! И очень хорошо, что доживут!

— Нет, не очень хорошо. Человек не должен умирать развалиной, и вообще не надо жить долго.

— Да, знаю, вы Полиоркет! Во всяком случае, вы видите, что за Ильичом идет весь цвет русской литературы!

— Сейчас, верно, прискачет из Ясной Поляны и Лев Толстой. Надеюсь, ему послали приглашение срочной телеграммой? — спросил Джембул. — Ну, пойдем все-таки слушать вице-Бибелей.

На улице Джембул расхохотался.

— Ох, ловкий человек Ленин... Дока!.. Кажется, так говорят: дока? — сказал он. Когда редакционное заседание кончилось, они минут десять ждали в передней. Затем справились, им ответили, что товарищ Ленин давно ушел.

— Верно, Ильич забыл, что назначил мне свидание, — смущенно сказала Люда.

— Разумеется, забыл! Просто забыл! — весело говорил Джембул.

К приятному удивлению Люды, он назвал извозчику очень дорогой ресторан. «Значит, отец прислал много денег», — подумала она. По дороге он обнял ее за талию, что удивило ее еще больше. Болтал со смехом о заседании и очень хвалил Ленина.

— Ему министром быть бы! И как хорошо он председательствовал! Вы заметили, как он ловко говорил с этим поэтом, как его? Красавцу очень хотелось написать политическую статью, а Ленин «отсоветовал» так учтиво и почтительно: «Зачем вам разбрасываться? Арабскому коню воду возить! Вы пишете такие изумительные стихи!» Разумеется, он его и человеком не считает, а в его стихи отроду и не заглядывал: должно быть, никогда в жизни никаких стихов не читал.

— Неправда! Ильич обожает Пушкина. Да он и сам пишет стихи, правда шуточные.

— Неужели? Может, и «станцы» пишет? Ужасно люблю слово «станцы», хотя не знаю, что оно, собственно, значит. Как надо говорить: станец или станца? По-моему, станцем называется сарафан, но, вероятно, поэты лучше знают. У Пушкина есть станцы, по форме чудесные, а по содержанию довольно гадкие: «В надежде славы и добра...» Это он от Николая-то ожидал добра!

— У Пушкина «стансы», а не «станцы»!

— Это один черт. Впрочем, мне все равно. Вы сегодня необыкновенно хороши собой! — говорил он. Люда смотрела на него с некоторой тревогой, но ее радость от встречи с ним все увеличивалась.

В передней ресторана он с минуту поправлял перед зеркалом шелковый галстук, который, впрочем, и до того был в полном порядке. Люда смотрела на него с насмешливой улыбкой.

Он потребовал, чтобы им дали отдельный кабинет.

— Помилуйте, Джембул, зачем нам отдельный кабинет? Это совершенно не нужно!

— Совершенно необходимо. В общей зале могут быть шпионы, — ответил он шепотом, наклонившись над ней и глядя на нее блестящими глазами. — Вас тотчас узнают, схватят и повесят, а я не хочу, чтобы вас вешали, у вас такая удивительная шейка. Просто как у Дианы! Кажется, это у Дианы была знаменитая шея?

— Это вас надо бы повесить, — сказала Люда, еще больше озадаченная «шейкой».

— Для начала мы с вами выпьем водочки. Очень холодно, правда?

— Совсем не холодно, еще и не зима, — ответила она, стараясь говорить сухо. — Вы надели шубу, верно, чтобы щегольнуть бровровым воротником.

— Я южанин, мне в Петербурге и в ноябре холодно... Вы любите шашлык?

— Нет. Не люблю лука.

— Тогда не буду есть и я.

Обед он заказал так, точно всю жизнь обедал в дорогих ресторанах. «Еще подучится и станет не хуже, чем Алексей Алексеевич», — подумала Люда, вспоминая о Тонышеве уже без неприятного чувства. «Ну и пусть женится на Нине, мне-то какое дело!»

— Какое шампанское вы больше любите?

— Все равно. Клико... Не слишком ли много вы пьете, — спросила она, когда лакей отошел.

— Это не ваше дело.

— Вы грубиян... Но симпатичный грубиян.

— И, пожалуйста, не говорите хоть за обедом об Эрфуртской программе.

— Да я никогда о ней не говорю, что вы выдумываете! А об Ильиче говорить можно?

— Я видел его в Женеве и раз у него обедал. Надежда Константиновна была со мной очень любезна. Даже пива дала. Она милая женщина и неглупая. Именно такая жена и нужна Ленину, хотя она несколько злоупотребляет несомненным правом каждой женщины быть некрасивой.

— И даже очень злоупотребляет. Но меня Крупская не интересует. Расскажите об Ильиче подробнее. Вы имели с ним тот разговор?

— Нет, еще не имел.

— Ось лыхо! Да что же вы, наконец, хотели ему сказать?

— В двух словах не объяснишь. Впрочем, песню помните? — спросил он и вполголоса пропел с тотчас усилившимся кавказским акцентом:

Нам не так бы, др-рузья,
Пр-равадить н-наши дни!
Вместо д-дела у н-нас
Р-разга-воры адни!

— Это у Ильича-то «р-разговоры адни»!.. Хорошо, что же он там делал?

— Пописывал, пописывал. Я был у него и в «Сосиете де лектюр»¹, где он целый день работает. Есть же такие чудачки, которые целый день работают в библиотеках. Я отроду в них не был! В первый раз и побывал, когда за ним зашел. Он должен был меня познакомить за городом с Гапоном.

— Не может быть!

— Разве вы не слышали, что Владимир Ильич связался с этим господином? Гапон вошел в большую моду на Западе. «Ле поп руж»² загребает деньги от поклонников и от газет. Верно, Ленин у него попользовался для партии. Они затеяли какое-то дело со шхуной «Графтон», которая должна была доставить оружие, кажется, в Кронштадт. Разумеется, села на мель. Дело в принципе глупым не было, во всяком случае получше, чем журнальчики. Но не вышло. Ох, эти теоретики! Я зашел в библиотеку, вижу, он ходит по комнате и что-то про себя бормочет, видно, обдумывал гениальную статью. Библиотекарь смотрел на него, как на сумасшедшего. А Гапон приехал на наше свидание верхом! Он в Женеве учился стрелять из револьвера и ездить верхом! Хорошо ездил!

Джамбул расхохотался.

— Что же за человек Гапон?

— Разумеется, прохвост.

— Почему вы так думаете?

— Как почему? Во-первых, вокруг Владимира Ильича почти все прохвосты, он их обожает. А во-вторых, если священник связался с Лениным, то он прохвост уже наверное.

— Да вы сами, Джамбул, чуть ли не верующий!

— Но не мулла. Когда стану муллой, брошу революцию. Аллах революции не любит. Однако повторяю, я нынче не желаю говорить о политике.

¹ Здесь: читальня (фр. Societe de lecture)

² «Красный поп» (фр. le popa rouge)

— А о чем же вы хотите говорить?
— О любви.
— О-о! С песенками и стишками, Полиоркет?
— Нет, без стишков. Впрочем, отчего же без них или без поэтической прозы? Вы читали «Викторию»?

— Я аб-бажаю Кнута Гамсуна! Вы тоже?
— Да. Я пробовал перевести на наш язык «Лабиринт любви», он ведь, кажется, теперь во всех антологиях мира. Не перевел, но по-русски главное помню чуть не наизусть. А вы помните? Хотите, прочту?

«Это, кажется, длинно», — подумала Люда. Ей после вина хотелось, чтобы он ничего чужого не говорил, чтобы он был лесным дикарем, как Алан, а она, как иомфру Эдварда. Но Джамбул любил декламировать:

— «Да, что такое любовь? — говорил он, глядя на Люду блестящими глазами. — Ветерок, шелестящий в розах. Нет, золотая искра в крови. Любовь это музыка ада, от нее танцуют и сердца стариков. Она может поднять человека и может заклеить его позором. Она непостоянна, она и вечна, может пылать неугасимо до самого смертного часа. Любовь — это летняя ночь с звездным небом, с благоухающей землей. Но отчего же из-за нее юноша идет крадучись и одиноко страдает старик? Она превращает сердце в запущенный сад, где растут ядовитые грибы. Не из-за нее ли монах пробирается ночью, заглядывая в окна спален? Не из-за нее ли сходят с ума монахини, и король, валяясь на земле, шепчет бесстыдные слова? Вот что такое любовь. О нет, она совершенно иное. Была на земле весенняя ночь, и юноша встретил два глаза. Два глаза!» — читал Джамбул, придвигая к ее лицу свое.

— Да, удивительно! — прошептала Люда.

— «Точно два света встретились в его сердце, солнце сверкнуло навстречу звезде. Любовь — первое произнесенное Богом слово, первая осенившая Его мысль. Он произнес «Да будет свет!» — и явилась любовь. И все, что сотворил Он, было так прекрасно, и ничего не пожелал Он переделывать. И стала любовь владычицей мира. Но все пути ее покрыты цветами и кровью. Цветами и кровью».

— Удивительно!

Он выпил еще бокал шампанского и тем же волнующим голосом, почти не изменив декламационной интонации, заговорил о своей любви к ней. Его лицо еще побледнело. Люда слушала его с упоением. «Что ему ответить?.. Да, у человека только одна жизнь... Я ведь и не жила!.. Я слишком много пью».

Еще слабо попыталась обратить все в шутку:

— Уточним, как на партийном съезде. Вы, следовательно, предлагаете мне «вечные нерушимые узы»? Проще говоря, предлагаете мне уйти к вам от Рейхеля?

— Не предлагаю, а молю вас об этом! Вы никогда его не любили!

— Откуда вам сие известно? «О вечных нерушимых узах» промолчал, — подумала она.

— Бросьте шутить! — сказал он с угрозой в голосе.

— Да это вы вечно шутите...

— Бросьте шутить, говорю вам! Вы не можете любить такого человека, как он! И я им не интересуюсь!

— Но я им интересуюсь... Что я ему сказала бы?

— Что хотите. Правду, — ответил он и обнял ее.

Они вышли из ресторана поздно ночью. У входа стоял лихач.

— Эх, хороша лошадь! Орловский великан! Гнедой, моя любимая масть! — сказал с восхищением Джембул. Люда взглянула на него с укором. «Кажется, сейчас опять заплачу...»

К удивлению извозчика, они всю дорогу молчали. У «Пале-Рояля» Джембул поцеловал ей руку. Люда страстно его обняла.

— Я завтра, милая, позвоню тебе по телефону. В котором часу его не будет дома?

Она ничего не ответила.

Рейхель еще не спал. Читал, лежа в кровати. Зубы болели все сильнее. Нерв в дупле умерщвлялся медленно. Злоба у него все росла.

— Здравствуй, Аркаша. Я тебя разбудила? Пожалуйста, извини меня, — сказала она смущенно и подумала: «Теперь глупо называть его «Аркашей» и еще глупее просить извинения в том, что разбудила».

Он что-то буркнул и отвернулся. На кровати Люды проснулась кошка и радостно соскочила.

Люда умылась по возможности бесшумно и легла. Пуси, совершенно удовлетворенный, устроился у ее плеча. Рейхель продолжал молчать. Она хотела начать разговор и решила, что лучше отложить до утра. Хотела еще подумывать, но чувствовала, что и думать не может.

— Потушить? — робко спросила она.

Он быстро приподнялся, приложив руку к щеке.

— Где ты была?

— На редакционном заседании нашей газеты... Там встретила Джамбула...

— Какого Джамбула?

— Это тот революционер, с которым я тебя как-то познакомила на Лионском вокзале.

— Редакционное заседание кончилось в два часа ночи?

— Нет, оно кончилось раньше. Потом я с Джамбулом ужинала в ресторане.

— Вдвоем?

— Да, вдвоем.

— Если он посмеет опять тебя звать, то я вышвырну его вон! — закричал Рейхель. Ей стало смешно, что он «вышвырнет» Джамбула.

— Поговорим спокойно, — сказала она, стараясь осторожно отделаться от Пусси. — Я давно хотела тебе сказать, и то же самое, верно, ты хотел сказать мне. Нам обоим с некоторых пор ясно, что мы больше жить вместе не можем. Я предлагаю тебе сделать вывод. Пожили и будет. Расстанемся друзьями. Для чего тебе жить с душой?.. А может быть, ты и прав, — искренно сказала Люда, — я если и не дура, то сумасшедшая!

Он хотел ответить грубостью, но не ответил. «Ведь, в самом деле, она предлагает то, чего я хотел, о чем только что думал».

Ничего больше не сказал и потушил лампу.

«Вот все и кончилось очень просто. Завтра же куда-нибудь перееду. К нему и перееду», — думала она с восторгом.

Вернувшись домой, Джамбул расстегнул воротник и сел в кресло. На столе стояла бутылка коньяку. Он выпил большой глоток прямо из горлышка.

«Она прелестна, но попал я в переделку! И так скоропалительно. Еще сегодня утром думал о ней как о прошлогоднем снеге...»

«Переделок», и обычно «скоропалительных», у него в жизни бывало много, и он драматически к ним не относился. Верно, она поехала бы со мной и на Кавказ. Никогда я не введу ее в такие опасные дела. И что у нее с Кавказом общего? Об этом и речи быть не может!»

Он бросил на столик рубль, загадав, выйдет ли все хорошо с Людой. Вышло, что все будет отлично. Счел оставшиеся у него деньги. Было всего пятьдесят семь рублей. «Не беда, пошлю отцу телеграмму. Будет старик ворчать, пусть ворчит», — думал он.

III

В начале декабря в Москве началось восстание.

Московская интеллигенция растерялась. Происходили если не бои, то что-то на бои очень похожее. На окраинах города трещали пулеметы, везде стреляли из револьверов. Улицы стали пустеть. По ним ходили, крадучись, странного вида люди, в большинстве в кожаных куртках, надолго ставших революционным мундиром. Лавки открывались на час или на два в день и ничего на дом не доставляли. Выходить из дому было опасно и все-таки выходить приходилось. Затем и в лавках товары почти исчезли: все было расхвачано, подвозили из деревень очень мало. Несмотря на кровавые события, отсутствие еды было главным предметом телефонных разговоров, — телефон действовал. Передавались страшные слухи. Говорили, что из Петербурга на Москву двинута гвардия и что восстание очень скоро будет потоплено в крови.

Большинство москвичей в душе не знало, кому желать победы. Сочувствовать правительству люди за долгие десятилетия отвыкли, да хвалить его было не за что: из окон многие видели, как на улицах убивают людей и избивают их нагайками до полусмерти. Но и сочувствовать революционерам почти никто из интеллигенции не мог: все считали восстание бессмысленным, плохо понимали, кто, собственно, и по чьему решению его устроил, к чему оно должно привести и что делали бы революционеры, если бы и справились с московскими властями.

Ласточкин был совершенно угнетен. От его веры в графа Витте ничего не осталось. Прежде можно было думать, что главе правительства, по принятому выражению, «вставляют палки в колеса». Теперь ясно было, что все делается по его приказу, хотя руководит подавлением восстания адмирал Дубасов. «Но *что же* все-таки должен был делать Витте?» — с тягостным недоумением спрашивал себя Дмитрий Анатольевич.

Не могло быть и речи о том, чтобы на улицу выходила Татьяна Михайловна. Он сказал ей это так решительно, что она не спорила. В самом деле, из знакомых дам ни одна на улицах не показывалась.

— Митя, но тогда и ты не выходи! Умоляю тебя!

— Посылать Федора мы имеем моральное право только в том случае, если буду выходить и я, — ответил Ласточкин.

В их районе, довольно далеко от центра, беспорядки были особенно сильны. Федор не очень желал выходить, но пример барина и очевидная необходимость на него подействовали. Они отправлялись утром вдвоем и покупали все, что можно было достать, преимущественно консервы, сухое печенье, и тотчас возвращались домой уже на весь остаток дня. Однажды издали видели, как неслись по улице казаки с поднятыми нагайками. В них откуда-то стреляли из револьверов. Дмитрий Анатольевич вернулся сам не свой. «Это неслыханно!.. Этому имени нет!» — говорил он растерянно жене, которая тоже повторяла: «Неслыханно!» и думала, как устроить, чтобы Митя больше не выходил.

Скоро загрела и артиллерийская пальба, которой Москва не слышала с 1812 года. Началась паника. Затем пальба затихла, перестали трещать и пулеметы. Стало известно, что Пресню, главный очаг восстания, разгромил пришедший из Петербурга Семеновский полк. А еще немного позднее телефоны разнесли весть, что восстание подавлено, что революционеры частью истреблены, а в большинстве скрылись.

Нормальная жизнь восстановилась с удивительной быстротой и на окраинах. В лавках появилась еда, точно подвозившие мужики отлично разбирались в событиях. На улицы выехали извозчики, даже лихачи. Москвичи не только стали выходить из дому, но проводили на людях чуть ли не весь день, — так всем хотелось обменяться впечатлениями.

К Ласточкиным первым, в необычное время, еще утром, приехал профессор Травников. Татьяна Михайловна обрадовалась ему чрезвычайно. Хотела все узнать и надеялась, что Митя хоть немного развлечется. Гостя усадили в столовой и зажгли электрический кофейник. Федор с радостным видом принес первые, еще горячие, булочки и свежее масло.

— Господи! С неделю этого не видел! Ну, дела! — сказал профессор. Он поправел, хотя и не совсем уверенно.

— И мы до нынешнего утра не видели. Кушайте на здоровье, и, умоляем вас, рассказывайте поскорее все, что знаете!

— Убиты тысячи людей!.. Может быть, цифру и преувеличивают, но жертв великое множество. Вот что сделали эти господа! Я собственными глазами видел, как...

Вопреки своему обычаю, Татьяна Михайловна его перебила:

— Какие господа? Ради Бога, объясните, кто они и чего они хотели?

— По имени, барынька, я их знать не могу. А чего они хотели, это я у вас хочу спросить. Говорят, какие-то большевики и еще эсеры. Один черт их разберет!

— Но на что же они надеялись! На правительство Троцкого или Носаря?

— Господа вожди были, к счастью, вместе со всем Советом рабочих депутатов, арестованы чуть не накануне восстания. Кстати, этот Бронштейн, именующий себя Троцким, и они все дали себя арестовать как бараны, — сказал Травников и спохватился, вспомнив, что Татьяна Михайловна еврейского происхождения. — Догадался, наконец, ваш граф Витте!

— Он не «мой», — мрачно ответил Ласточкин.

— Кто же руководит этими большевиками?

— Я слышал, какой-то Ленин. Он у них самый главный. Троцкий, тот, кажется, меньшевик. Большевики хотят, барынька, сцапать у нас все, а меньшевики, спасибо им, только половину... А как же, Дмитрий Анатольевич, Витте не ваш? Вы его всегда зело одобряли.

— Теперь никак не могу. Действия наших властей были совершенно возмутительны!

— С этим я не спорю, но, во-первых, одно дело власти, а другое Витте. А во-вторых, что же властям было делать, когда в городе начался кровавый бунт?

— Во всяком случае не то, что они делали.

— Тьер и французские республиканцы подавили восстание коммунаров никак не с меньшей жестокостью. В тысяча восемьсот семьдесят первом году было убито и казнено, помнится, около тридцати тысяч человек.

— Очень французские богачи испугались тогда за свои капиталы! — сердито сказал Дмитрий Анатольевич.

— Да, именно, — подтвердила Татьяна Михайловна.

— Я нисколько их не защищаю, но ведь и вы, барынька, не так порадовались бы, если б у вас все это отобрали, — сказал профессор, показывая взглядом на обстановку комнаты.

— Не порадовалась бы, но казней не требовала бы!

— Да я и не требую. Однако и грабежей никак не одобряю. Помните, как сказано в «Дигестах»: «Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest»¹.

— Я не помню, как сказано в «Дигестах», и даже не знаю, что это такое.

Профессор добродушно засмеялся.

¹ «Никто не должен свой поступок превращать в прибыль» (лат.).

— Не сердитесь, барынька. И Дубасова уж я никак не защищаю. Действительно, расправа была жестокая. Представьте, я видел своими глазами, как...

Почта опять стала работать правильно. В первый же день Ласточкины послали двоюродному брату успокоительную телеграмму: «Оба невредимы как и все друзья знакомые домашние точка ждем письма обнимаем тая митя». Ответ пришел: «Рад обнимаю аркадий».

— Странная редакция. Почему в единственном числе? Аркаша мог бы подписать и Люду, — сказала с недоумением Татьяна Михайловна.

— Уж не арестована ли она! Завтра, верно, будет письмо, — ответил так же Дмитрий Анатольевич.

Письмо пришло не сразу и было краткое и тоже странное. Обычно Люда приписывала к письмам Аркадия Васильевича: «Сердечный привет и от меня» или, для разнообразия: «Я тоже шлю сердечный привет». Теперь приписки не было; привета от нее не передавал и Рейхель. Ласточкины не на шутку встревожились. Посоветовавшись, они написали осторожно: спрашивали о здоровье Люды, затем описывали московские события и свои переживания. Еще через несколько дней пришел ответ, совершенно их поразивший:

«Я здоров и благополучен, — писал Рейхель. — Много работаю и, как вы знаете, то место мне обещано твердо. Очень о вас беспокоился и искренно сочувствую, что вам пришлось столько пережить. Здесь все было тихо. С Людой я разошелся. Она от меня ушла к какому-то кавказскому разбойнику и, ни минуты не сомневаюсь, благоденствует. Больше меня, пожалуйста, о ней не спрашивайте, я ничего не знаю и, скажу откровенно, не интересуюсь. Она предпочла мне разбойника, и этим все сказано. Ее адрес, на случай, если б вы пожелали ей написать, мне неизвестен».

Они только ахали, читая. Татьяна Михайловна негодовала.

— *Такого я не ждала даже от нее!* — сказала она. В первый раз у нее прорвалась неприязнь к Люде, всегда ею скрывавшаяся. Дмитрий Анатольевич чрезвычайно расстроился.

— Мы все-таки слышали только одну сторону, и во всяком случае мы им не судьи.

— Говори: мы *ей* не судьи, и это, конечно, будет верно. Но Аркаша ни в чем, я уверена, не виноват, — ответила

Татьяна Михайловна, смягчившись. Она была привязана к Рейхелю, однако всегда думала, что очень тяжело иметь такого мужа.

— Едва ли он может быть тут беспристрастен. И уж наверно, тот кавказец никак не «разбойник». Аркаша всех революционеров называет либо разбойниками, либо бандитами. Надо бы все-таки написать Люде, но куда же?

— Кажется, Аркаша не хочет, чтобы ты ей писал. Бедный, мне его страшно жаль!

— Как ты понимаешь, мне тоже. Мне, впрочем, и прежде казалось, что они не любят друг друга. Никак не то, что мы с тобой.

— Да, не совсем то... Бог с ней, я погорячилась.

— Как же она теперь будет жить? «Разбойник», верно, и беден.

— Конечно, пошли ей денег. Да куда послать?

— Именно.

— Может, она скоро напишет?

— Мне очень ее жаль. Она совершенно шалая женщина. Что ж, надо написать Аркаше. Просто не знаю, что ему сказать. Я и по случаю смерти не умею писать сочувственные письма, всегда выходит так плохо и стереотипно. А тут уж совсем беда!

— Да, это трудное письмо. Нельзя и сочувствие выразить, он ведь пишет, что «не интересуется»! Хочешь, я напишу, а ты только припишешь?

— Пожалуйста, очень прошу. У женщин всегда выходит лучше, у тебя в особенности.

Московская жизнь в первые недели после восстания все же стала менее шумной. Ласточкины на время отменили свои вечера. Дмитрий Анатольевич бывал на политических совещаниях. Все возлагали надежды на Государственную Думу.

В том же году еще другое известие внезапно его поразило, как и других москвичей его круга. В Канне, совершенно для всех неожиданно, покончил с собой Савва Тимофеевич Морозов. Незадолго до того говорили, что его здоровье в последнее время ухудшилось, что нервы у него расстроились совершенно и что врачи послали его в Париж и на Ривьеру, — развлечься и отдохнуть. В гостинице он воспользовался минутой, когда жена вышла, лег на диван и застрелился. По Москве поползли самые странные слухи. Одни говорили, что Морозов убит каким-то врачом, которого к нему подо-

слала революционная партия. Другие, неизменно повторяя «ищите женщину», рассказывали интимные сплетни. Третьи уверяли, что Савву Тимофеевича должны были тотчас по его возвращении в Россию арестовать и передать военному суду за то, что он дал миллионы на московское восстание. Четвертые сообщали, что у Морозова была какая-то «теория самоубийства»: все умные люди должны кончать с собой, так как жизнь слишком ужасна, и это самый лучший, самый безболезненный способ расстаться с ней, — он будто бы высказывал такую мысль в разговорах с друзьями. Трезвые москвичи только пожимали плечами: так эти объяснения были неправдоподобны и даже бессмысленны.

— Все это чистый вздор! — говорил Ласточкин. — Никогда никакие революционеры подобными делами не занимались и не могли заниматься, да и не в их интересах было бы убивать Савву Тимофеевича, который их поддерживал. И полиция давным-давно знала, что он дает деньги на революционное движение, и его не трогала, как не трогает и других богачей, тоже дававших на него деньги, хотя и гораздо меньше. И никто из них не кончает с собой. Специально на восстание он не дал бы ни гроша, и никакая каторга ему не грозила. И не такой он уж был влюбчивый человек, а романов у него и прежде бывало достаточно, как почти у всех...

— Не у вас, Дмитрий Анатольевич, — шутливо перебивали его друзья. Татьяна Михайловна улыбалась.

— Да, не у меня, но согласитесь, что из-за любовных романов половина Москвы должна была бы покончить с собой, — отвечал Ласточкин.

Особенно поразило людей то, что покончил с собой человек, которому миллионы давали решительно все блага жизни.

Татьяна Михайловна пыталась развлечь мужа. «Никогда до этого несчастного года он не бывал мрачен». Нерешительно предлагала съездить в Крым или за границу, говорила с ним по-прежнему весело. По природе она была менее жизнерадостна, чем ее муж, но всегда старалась быть бодрой; знала, что он это в ней любит, как любит и ее благодушные шутки. Теперь шутить было не о чем. Про себя она думала, что никуда ему уезжать не надо: успокоится, когда опять погрузится в свои обычные дела. Дмитрий Анатольевич понемногу в них и втягивался. К его, на этот раз почти неприятному, удивлению, ценности на бирже повышались.

Единственным радостным в их жизни теперь было то, что, как говорила мужу с улыбкой Татьяна Михайловна,

Нина и Тонышев «быстро и верно шли к законному браку». Алексей Алексеевич бывал у них очень часто даже в дни восстания, когда все сидели по домам, — точно щеголял своим мужеством. Приносил огромные коробки конфет, — «единственное, что еще можно достать». Отдавал всегда конфеты Татьяне Михайловне, но сидел обычно с Ниной вдвоем, — Ласточкины почти бессознательно оставляли их. Один раз под вечер тайком вышел с ней «погулять», хотя пальба гремела как будто довольно близко. Правда, вернулись они минут через десять, — Нина была очень взволнована. Татьяна Михайловна не на шутку рассердилась.

— Помилуйте, Алексей Алексеевич, как же можно так рисковать! Это Бог знает что такое!

— Ради Бога, не гневайтесь, Татьяна Михайловна. Это в самом деле было непростительно, вся вина моя, — говорил Тонышев; в действительности он долго убеждал Нину отказаться от «прогулки» и уступил только тогда, когда она сказала ему: «Может быть, вы боитесь? В таком случае не надо!»

— Могли вас обоих принести на носилках! Это было бы, конечно, очень поэтично — умереть на баррикадах, но баррикады вдобавок чужие и весьма сомнительные. Очень прошу вас больше Нину не выводить.

— Танечка, это моя вина! Это я, по глупости, пристала к Алексею Алексеевичу.

— Все твое любопытство!.. Слава Богу, что сошло благополучно. Медали за храбрость и боевые заслуги вы не получите, зато я вас награжу: к обеду достали шпроты, картошку и два фунта колбасы. Будете есть их с альбертиками. Вино, конечно, есть. Дмитрий Анатольевич теперь пьет немного больше, чем обычно. Верно, как вы и как все. Какого прикажете к нашему лукулловскому обеду? Шампанского вы, Алексей Алексеевич, не любите, да и неприлично было бы теперь пить шампанское.

— Разумеется!.. Русские люди убивают русских людей! — сказал Тонышев. Он вначале говорил в доме Ласточкиных о восстании несколько осторожно. Но тотчас оказалось, что хозяева относятся к восстанию так же отрицательно, как он. Алексей Алексеевич успокоился и обрадовался.

— Я распоряжусь, чтобы перед обедом подали водку. Ведь адский холод! Восстания и вообще ужас, но устраивать восстание в двадцатиградусный мороз это вдобавок совершенный идиотизм! Вы любите зубровку, Алексей Алексеевич?

— Очень люблю, Татьяна Михайловна. А нельзя ли выпить рюмочку сейчас, чтобы немного согреться? Ведь до обеда еще далеко.

— Танечка, пожалуй, выпила бы и я. Какая ты умница, что в свое время запаслась! Вы знаете, Алексей Алексеевич, у нас есть «погреб», просто как у старых помещиков! Митя говорил, больше ста бутылок. У вас, наверное, нет «погреба»?

— Вот и ошиблись, в имении небольшой есть. Как жаль, что вы не видели моего имения! В Вене я куплю старого токайского, это мое любимое.

— Не уверена, что у нас есть токайское. Сейчас посмотрю. А имение у вас, верно, отберут, да и в Вену вы не попадете. Министром иностранных дел будет, должно быть, какой-нибудь Носарь, и он едва ли вас назначит советником, — сказала Татьяна Михайловна. «Уже совсем ведет себя как *свой*. Идиллия на фоне восстания!» — радостно подумала она и вышла распорядиться о водке.

Когда восстание кончилось, Тонышев, приехав на обед уже не из колбасы и шпротов, вскользь сообщил, что решил отложить отъезд в деревню. Ласточкины постарались не переглянуться.

— А разве ваш отпуск еще не истекает? — спросил Дмитрий Анатольевич.

— Я послал в Петербург просьбу о продлении. Министр, наверное, продлит, он очень милый человек и хорошо ко мне относится. В крайнем случае, горестно отправлюсь в Вену, не заезжая в имение.

— Очередной бюллетень: завтра они идут в оперу. Предлагают и нам, но без настойчивости. Я ответила: «Как жаль, мы с Митей заняты», — вечером говорила мужу Татьяна Михайловна. — Увидишь, Митенька, он на днях сделает предложение! И по всем правилам: сначала поговорит с тобой. Впрочем, не «сначала». Ты, разумеется, грубо откажешь! Откажи, но все-таки уж не слишком грубо: без непристойных слов. Ах, как я рада!

— Я тоже страшно рад. Он прекрасный человек.

IV

Люда узнала о московском восстании из газет. Знакомые по комитету ей предварительно ничего не сообщили, Ленина она, после редакционного совещания, больше не видела. И то, и другое было обидно.

— Я переехала сюда именно потому, что восстание должно было произойти в Петербурге! И вот какой сюрприз! Нам надо сейчас же вернуться в Москву и принять участие в деле! — взволнованно говорила она Джамбуду. — Сегодня же поедем!

— Разве на ковре-самолете? Движение прекращено, и все подступы к Москве, конечно, охраняются войсками, — ответил Джамбул, пожимая плечами. Он был тоже взволнован, но гораздо меньше, чем Люда.

— Может, ты знал и ничего мне не сказал?

— Нет, я не знал. Сказал ли бы тебе, не знаю. Восстания уже совсем не женское дело.

— Почему не женское дело?

— Из-за твоей горячей головы тебя убили бы в первый же день.

— Все-таки у тебя восточный взгляд на женщин! — сказала Люда сердито, хотя его объяснение немного ее смягчило.

— Тогда у твоего Ленина тоже: он Крупскую в Москву не отправил. И, что много хуже, сам туда не поехал.

— Почему ты знаешь? Ильич, наверное, уже давно в Москве! Кто тебе сказал?

— Я вчера слышал, что он здесь.

— Может быть, ты считаешь Ильича трусом?

— Нет. Он просто находит, что должен заниматься другим делом. Это все-таки несколько странно.

— Это клевета! Я сегодня же все узнаю, и тебе будет стыдно!

Еще недавно Люда ежедневно бывала в редакции *своей* газеты. Со всеми перезнакомилась, хотя ничего не писала. «Не могу найти интересной темы», — говорила она. Но в начале декабря там был произведен обыск, и, наверное, полиция устроила засаду. Люда в тот же день разыскала Дмитрия. Он куда-то торопился и был очень взволнован. Адреса Ленина он не знал или говорил, что не знает.

— *Во всяком случае*, все в Москве делается по точнейшим директивам Ильича, — сказал Дмитрий. — А откуда он их дает, это не ваша печаль. Скоро все будем знать. Пан или пропал!

— Я уверена, что пан! — восторженно сказала Люда.

Она вернулась домой на лихаче. Джамбул только усмехнулся.

— Даром погибнут сотни людей. Восстание, я уверен, обречено на провал.

— Почему? Что ты каркаешь?

— Потому, что у них по безденежью ничего нет, кроме револьверов и, быть может, трех с половиной пулеметов. Вице-Бибели, впрочем, останутся живы и здоровы, да и сам обер-Бибель с директивами тоже. Разве посидит в тюрьме, как Мунэ-Сюлли-Троцкий, которого со всем его Советом беспрепятственно арестовал скромный наряд полиции.

— Ты тоже еще не погиб геройской смертью, — съязвила Люда.

— Ваше русское восстание не совсем мое дело.

— Этого я не знала! Я думала, что это наше общее дело. А Ильич не может драться с казаками.

— Да, это небезопасно.

— Ты все понимаешь не так, как надо! Главнокомандующие сами не дерутся.

— Прежде дрались. У нас на Кавказе дерутся.

— Какие «у вас на Кавказе» главнокомандующие!

— Есть, есть. И они не сидят за шестьсот верст в тылу. Твой Ильич в Женеве говорил, что теперь мы все должны учиться владеть оружием: надо бить врага в самом буквальном смысле слова, если не из револьверов, то хоть дубинами. Очевидно, забыл.

Люда читала газеты и волновалась все больше. Через несколько дней стали приходить известия, что восстание провалилось. Из Москвы кружным путем приезжали растерянные, очень раздраженные люди. Все они рассказывали, что спаслись чудом, о Ленине говорили с кривой усмешкой и последними словами ругали Троцкого, Совет рабочих депутатов, петербургских революционеров вообще: «Вместо помощи прислали нам Семеновский полк! Даже не сделали попытки помешать ему пройти в Москву! Предатели и трусы!»

Дмитрий скрылся, и даже многие из тех, кому особенная опасность не грозила, «сняли шкуру», то есть ушли в подполье. Полиция производила аресты, но массовых облав не было. Несколько позднее Люде стало известно, что Ленин уехал из Петербурга.

От нервности ей показалось, что за ними установлена слежка. Она сообщила об этом Джамбулу как будто равнодушно, но с тайной гордостью. Он внимательно ее выслушал, подумал и сказал, что в таком случае надо принять меры предосторожности и первым делом переехать в другую гостиницу. Гордость у нее еще увеличилась: заметила она, а не он, опытный, бывалый революционер. Тотчас объявила швейцару, что уезжает в Варшаву, приказала извозчику ехать на вокзал, там наняла другого извозчика.

Через час в новую гостиницу приехал Джембул. Она ахнула: он перекрасил волосы и сбрил бороду.

— Милый, как тебе идет!.. Я тоже должна перекраситься, да? — Люде представились разные возможности: «Черные как смоль? Или тициановский цвет? И, разумеется, переменить прическу — Клео де Мерод?»

— Тебе поздно: тебя уже здесь видели такой, как ты теперь.

— Отчего же ты мне раньше не сказал!

— Ты не привыкла к гриму. Ему тоже надо учиться. Но ни тебе, ни мне особенная опасность не грозит. И мы скоро уедем: теперь сидеть в Петербурге бесцельно.

— Куда хочешь уехать? На Кавказ? — с беспокойством спросила Люда. — Но я там никого и ничего не знаю! Меня там и понимать не будут. Нет, на Кавказ я ни за что не перееду.

— Я тебе этого и не предлагаю.

— То есть как? Ты хочешь туда ехать один!

— Я хотел тебе предложить уехать пока в Финляндию. Увидишь своего Ильича. Я только что узнал его адрес. Он в Финляндии, в Куоккала, вилла «Ваза», это, оказывается, общая штаб-квартира русских революционеров. Сказал тот ваш лохматый литератор, как его? Ну, тот, что пишет гражданские рассказы...

— Это стихи бывают гражданские.

— И рассказы тоже. Он офицеров называет «бравыми сынами Марса». Как же не гражданские рассказы?

— Что ж, в Финляндию поехать можно! Ты ведь и сам хочешь поговорить с Ильичом.

— Хочу, но он, верно, еще в столбняке после своего блестящего успеха в Москве. Да я еще кое-кого здесь ожидаю из Тифлиса. Или ты нервничаешь?

— Я? Нисколько!

— Я знаю, что ты не трусиха. Опасности почти нет. Русская полиция еще глупее, чем эти московские революционеры... Если тебе нужно что-нибудь купить или заказать, сделай одолжение. В Куоккала, верно, шьют хуже, чем в Париже.

— Мне ничего не нужно, — ответила Люда, краснея.

Вопрос о деньгах теперь опять ее смущал, как при Рейхеле. Она не вернула Аркадию Васильевичу пятисот рублей: сначала просто не подумала, потом хотела послать деньги в «Пале-Рояль» с письмом, но сказала себе, что он, скорее всего, отошлет их ей обратно и во всяком случае не ответит. Теперь за все платил Джембул. При первой ее

попытке «вносить свою долю в расходы» он вспыхнул и рассердился. Деньги у него были: отец, встревоженный событиями в России, прислал ему сразу две тысячи, — был убежден, что от неприятностей с полицией всегда и везде можно откупиться.

— Не нужно так не нужно. Посидим еще здесь. Да и время интересное, соберется Государственная Дума, от которой, впрочем, как говорят по-русски, что от козла молока... Ну, а пока до свиданья. Мне нужно повидать одного армянина.

— Или одну армянку, — сказала Люда якобы в шутку. Она не была особенно ревнива, но отлучки Джамбула начинали ее тревожить. Он теперь нередко уходил по вечерам, оставлял ее одну, не объяснял, куда уходит, обычно говорил, что нужно встретиться с «одним человечком».

Как-то он вернулся очень поздно. Она была в ужасе, не знала, что делать. «Арестовали?.. А что, если он просто меня бросил! — вдруг пришло ей в голову. — Что тогда?.. Нет, неправда, это невозможно... Но что если?.. Рейхель будет в восторге... Герцогиня в Москве скроет восторг... Митя скажет что-нибудь очень гуманное и корректное...» Когда Джамбул около полуночи вернулся, Люда горячо его поцеловала: «Слава Богу, я уже думала, что ты арестован!» То, что он теперь сам предложил уехать в Куоккала, ее успокоило.

Вечером, у ярко освещенного входа в Европейскую гостиницу, ее радостно остановил выходящий человек средних лет в николаевской шинели. Люда не помнила его фамилии, но встречала его у Ласточкиных. «Кажется, из цивилизованных купеческих сынков. Это о нем герцогиня шутила, что у него две мечты в жизни: попасть в Государственную Думу и дирижировать на балу у генерал-губернатора. Да, он самый, душа общества, умеет двигать ушами и говорить женским голосом».

— ...Только что выбрался из Белокаменной! Вы не можете себе и представить, что там было! Дикари с обеих сторон, но с правительственной еще вдобавок звери!.. Я на днях видел Дмитрия Анатольевича, он страшно угнетен! Еще больше, чем ваш покорный слуга. Но ничего. Государственная Дума не за горами, она покажет всем этим черносотенцам из именитого дворянства... Да, чуть не забыл: поздравляю вас с семейной радостью!

— С какой?

— Разумеется, с помолвкой Нины Анатольевны. Это блестящая партия. Увидите, Тонышев будет со временем послон.

— Да... да... Спасибо, — растерянно сказала Люда. — Да, он наверное будет послom.

— Наша восходящая звезда. И какой культурный и либеральный человек! Такие теперь нам особенно нужны... Ах, какие ужасные были события, мы все потрясены!.. Ну, очень рад, что вас встретил. Я в Милютины лавки, там нынче получены свежие белоны, я их предпочитаю всем другим устрицам. До свиданья, дорогая Людмила Ивановна, скоро, верно, встретимся у ваших.

«Мне совершенно все равно, — опять сказала себе Люда. — Меня не известили, что ж, это естественно... Митя, быть может, хотел, но герцогиня, верно, не позволила».

V

Уехали они в Финляндию, однако, еще не скоро.

У Люды случилось несчастье: сбежал Пусси. Это расстроило ее чуть не больше, чем провал московского восстания. Она плакала несколько дней. Джамбул не удивлялся: сам страстно любил животных. Поместили объявление в газетах. Никто кошки не привел.

— Ты кого больше любила: ее или меня? — попробовал все же шутить Джамбул.

Люда рассердилась.

— Ее гораздо больше!

— Купи другую.

— Мне нужна не другая, а мой Пусси! Ты — бревно! Я завтра дам еще объявление. Назначу сто рублей награды.

— Конечно. Дай непременно.

— И никуда из Петербурга не уеду, пока не потеряна надежда.

— Что ж, подождем, — сказал Джамбул. У него еще были в Петербурге неотложные дела. — Но я уверен, что она не сбежала. Верно, ее раздавил трамвай.

Люда опять заплакала.

— Я сама так думаю... Пусик меня не бросил бы!

— Все-таки подождем. Никакой слежки за нами нет.

Перед отъездом Люда все же выкрасила волосы. Выбрала тициановский цвет. Немного волновалась перед границей, хотя, действительно, трусихой никак не была. Проехали они беспрепятственно. Больше и наблюдения не могло быть никакого. Финляндские власти относились к русским революционерам снисходительно и даже благотворительно.

В Куоккала они сняли комнату у извозчика-активиста. Люда у извозчиков никогда не жила и приятно удивилась: так все здесь было чисто и уютно. Устроившись, они вышли на улицу.

— «Что же, дева молодая, молви, куда нам плыть?» — спел он, и опять у него сильнее обозначился его приятный кавказский акцент.

— Плыть на эту самую «Вазу».

— Да где же она находится, проклятая «Ваза»? Спросим у первого прохожего.

Этот первый прохожий неожиданно оказался знакомым. Джамбул представил его Люде:

— Соколов, он же «Медведь», он же «Каин». Оба прозвища вполне заслужены. Знаменитый революционер, гроза царизма, — сказал он весело. Люда смотрела на улыбавшегося ей Соколова с любопытством. О нем ходили рассказы в революционных кругах, частью восторженные, частью неблагоприятные. Говорили, что он был «аграрным террористом», теперь стал «максималистом»; рассказывали об его необычайной физической силе и красоте. «В самом деле писанный красавец!» — подумала Люда. Поговорили с ним очень недолго: он торопился на вокзал.

— Вы, верно, приезжали к Ленину? — не подумав, спросила она.

— К Ленину? Зачем мне Ленин! Я его тут и не видел. Знаю, что он живет в этой самой «Вазе» и не выходит из осторожности, хотя тут агентов мало, — насмешливо сказал Медведь и простился, указав им, как пройти к вилле.

— Замечательный человек! Герой, — сказал Джамбул. — Почтище твоего Ленина!

— Уж будто?

— Да, почтище. Он не теоретик, и слава Богу. У вас ведь чуть не все теоретики. Подумаешь, какая мудрость. Прочел человек десяток брошюр, сделал несколько выписок из Маркса, вот и вся теория. Сейчас же сам пишет глубокомысленные брошюры, если только он грамотен. О них пишут другие, такие же мудрецы, как он. Вот имя и создано, обеспечена мирная, блестящая карьера, правда, часто полуголодная. Вся Россия знает: теоретик социал-демократов!.. Не говорю о каком-нибудь Плеханове. Я его терпеть не могу, он роковой человек, но он, по крайней мере, учен и талантлив...

— Мы говорили не о Плеханове, а об этом Соколове.

— Совсем другая статья. Не скажу, чтобы он не был идейным человеком. Нет, он тоже идейный. Но он верно понимает, что ему жить недолго. Он не «бережет себя для дела», как твой Ильич.

— Да что же он делает, Соколов?

— Из таких людей, как он, выходят диктаторы, по крайней мере те, которые похрабрее, у которых правило: хоть час, да мой... Что он делает? Не знаю. У его организации есть большие деньги, мне говорили, будто сто пятьдесят тысяч, и она, кажется, затевает какие-то грандиозные дела. А пока что кутят, устраивают оргии. Так можно дойти Бог знает до чего... Быть может, я все-таки пошел бы с ним, но у них кавказцев нет, и Кавказом они не интересуются. Если б у него была большая идея, то уж не было бы столь существенно, как они достают деньги.

— По-моему, это, напротив, очень существенно.

— Это «буржуазные предрассудки», над которыми ты же сама издеваешься... У него теперь новая любовница, Климова, я ее знаю. Дочь члена Государственного Совета. Совсем еще девчонка. Еще недавно была вегетарианкой и толстовкой. Странный путь — от Льва Толстого к Михаилу Соколову. Разумеется, она страстно в него влюблена. Да и мудрено было бы девчонке в него не влюбиться. Он прямо какой-то Байард или Роланд... Который из них был «неистовый»? Роланд?

— Он Роланд, а Ленин кто?

— Ленин смесь Дарвина с Пугачевым.

— А ты сам какая смесь?

— Я какая? — переспросил Джамбул. — Я смесь Шамиля с Казановой.

— Может быть, с Ванькой-Каином?

— Не смей ругаться. Это в Соколове, пожалуй, есть и Ванька-Каин. Какой я Ванька-Каин? Скорее, Стива Облонский. Ах, как он описан у Толстого!

— Вот тебе на! Ни малейшего сходства.

Люда смеялась. «Он всегда весел, это дает ему большой шарм. Да, на Рейхеля не похож. И никуда он от меня не уйдет. Ни на какой Кавказ. Не отпущу! Свет жизни увидела с ним!»

— Ты ни Ванька-Каин, ни Казанова, ни Стива Облонский. Уж скорее Алкивиад! — сказала она. Это был в гимназическое время ее любимый герой. — Ты любишь иногда прикидываться дикарем, а ты образованнее меня.

— Это еще означает не так много.

— Мерси. Все же Запада тебе не хватает. Ты и в столицах живешь как в ауле. Ты нахал, но я люблю тебя.

— Тоже мерси, — сказал он и обнял ее на улице, впрочем совершенно безлюдной.

Вилла «Ваза» была большая запущенная усадьба. По-видимому, в ней жило много людей. Уже на улице слышался шум, голоса, хохот, детский плач, собачий лай. Дверь была не заперта. Они постучали, никто не ответил, — вошли. Тут Джамбул галстука и пробора не поправлял. В комнате не было не только зеркала, но не было и вообще почти ничего: лишь диван, плохо покрытый чем-то вроде грязного порванного пледа. На полу у дивана стояла полуопорожненная бутылка молока и на газете с крошками лежал неровно отломанный кусок хлеба.

В следующей комнате несколько человек играли в карты. Один из них был Дмитрий. Он радостно с ней поздоровался, нисколько, видимо, не удивился приходу новых людей и пожал руку Джамбулу.

— Хотите поиграть в дурачки?

Люда с изумлением на него взглянула, чуть было не обиделась, но неожиданно для себя расхохоталась.

— Так у вас в революционном центре играют в дурачки?

— Так точно. Не всегда же решать судьбы мира. С женами и играем. Муж и жена — одна сатана. Ильич тоже играет. И недурно, хотя хуже, чем Богданов и чем я... Вы хотите повидать Ильича? Его комната далеко, я, пожалуй, вас провожу? — предложил он без особой готовности. Другие игроки нетерпеливо поглядывали на вошедших. Люда попросила только указать им, как пройти. Дмитрий все же вышел в коридор.

— В те комнаты слева не заходите: там эсеры и склад их бомб. Направо детская. А к Ильичу вон туда.

Раздражение Люды против Ленина исчезло при его виде: «Господи, как изменился!» Он их встретил равнодушно-вежливо. Напротив, Крупская была ласковее обычного.

— Матушки!.. Вы теперь бритый брюнет! — сказала она Джамбулу. — И вы, товарищ Никонова, не прежней масти! Володя тоже не раз менял облик, он удивительно это делает, я сама тогда его не узнаю! Ну, рассказывайте, что в богоспасаемой Москве.

— Не очень теперь она богоспасаемая. Я, впрочем, из Москвы уехала давно, до восстания. Мы были в Петербурге.

— А каково настроение питерских рабочих? — спросила уже озабоченно Крупская, оглядываясь на Ленина с беспокойством.

— Очень скверное. Арест Совета рабочих депутатов произвел тяжелое впечатление и...

— Да, Троцкий оказался не на высоте. Как и можно было ожидать. Недаром Володя прозвал его Балалайкиным. Он только ораторствовал и никаких мер не принимал. Настроение было такое, что Совет мог легко арестовать Витте в Зимнем. Рабочие вышли бы на улицу как один человек!

— Вместо этого Витте арестовал Совет. А московское восстание, так плохо подготовленное, потоплено в крови. Да, руководство оказалось не на высоте, — сказал Джамбул ласково. Крупская на него посмотрела.

— Одно восстание провалилось, а другое удастся, — угрюмо заметил Ленин. — Мы кое-чему научились.

— Унывать нет ни малейших причин, — подтвердила Крупская. — Были и очень отрадные явления. Вы, верно, слышали, с каким подъемом прошла Таммерфорсская конференция! Был сорок один делегат. И среди них новые, интересные люди. Особенно один кавказец, Иванович, кажется, его зовут Иосиф Джугашвили? Вы, верно, его встречали на Кавказе?

— Встречал. Серый и гадкий человек, но очень хитрый и смелый, — ответил Джамбул. И Ленин, и Крупская взглянули на него вопросительно.

— У нас не было такого впечатления, — сказала Крупская. — Он оказался фанатическим сторонником Володи. Володе устроили бурную овацию.

— Все? Сорок один человек? — спросил насмешливо Джамбул.

Люда поспешила вмешаться:

— Я это слышала. Теперь вы, Ильич, наш общепризнанный вождь.

— Володя и до конференции был общепризнанным вождем, — поправила Крупская. — Конечно, не говорю о меньшевиках. Хороши, кстати, гуси!

Она сообщила новые сведения о гнусностях Плеханова, о беспредельной гадости Мартова, о черносотенстве Аксельрода, — эти выраженья были из недавних писем ее мужа: она их читала, изучала и запоминала. Люда слушала не без удивленья.

— Но ведь мы с ними объединяемся! А Плеханова, я слышала, Ильич даже звал в редакцию? Я и то удивлялась, — сказала она, вопросительно глядя на Ленина. Он

беззвучно засмеялся, и его, еще увеличившаяся, лысина покраснела.

— Что ж, что объединяемся? Они все-таки черносотенцы. И даже не объединяемся, а скорее спутываемся. Да Володя знает, что делает, — ответила Надежда Константиновна. — Вот что, останьтесь с нами обедать, покалякаем. Володя немного скучает после Питера и всего, что там было. Его газета стала центром всей революционной акции... Я сейчас сбегая и чего-нибудь куплю. Здесь лавки закрываются рано.

Люда отказалась: видела, что Ленин не в духе. Крупская же всегда ее раздражала.

— Мы ведь на первый раз лишь зашли на минуту. Очень устали.

— Не надо уставать, особенно молодым партийцам. Предстоят великие события. Всем надо готовиться и трудиться не покладая рук. Володя еще недавно сказал, что у нас теперь не тысяча восемьсот сорок девятый год, а тысяча восемьсот сорок седьмой. Разве вы не помните?.. А где вы остановились.

— Недалеко отсюда, у извозчика-активиста.

— Хороший народ финские активисты и к Володе отлично относятся, знают и почитают. А то вы могли бы остановиться и здесь. Дом большой. Первая комната пустая, и мы в ней всегда оставляем еду, на случай, если из Питера поздно ночью приедет какой-либо товарищ. Мы здесь временно, на биваках. Ищем пристанища. Работать Володе тут трудно: нет книг и мешают. Он задумал...

— Все равно, что я задумал, — перебил ее муж и обратился к Джамбулу: — А то остались бы? Вот вы все желали со мной поговорить.

— Я остался бы. Но, может быть, Владимир Ильич, вы хотите поиграть в дурачки? Вас там, кажется, ждут, — сказал Джамбул с особенно серьезным видом. Крупская строго на него взглянула. Его замечание показалось ей дерзким.

— Володя иногда по вечерам играет после работы, это его немного развлекает, — сказала она. Но Ленина слова Джамбула, по-видимому, не задели. Он даже усмехнулся.

— Да, я могу остаться. Мне действительно необходимо с вами поговорить. А она тем временем поболтает с Надеждой Константиновной.

— Нет, я пойду, — сказала Люда холодно. Не знала, что Джамбул будет говорить с Ильичом в первый же день, и была задета тем, что ее к разговору не привлекли. — Надо посмотреть, какое-такое Куоккала.

- Тогда через час-полтора встретимся дома.
- Да, не засиживайся.
- Addio, — сказал Ленин, рассеянно пожав Люде руку. Крупская проводила ее до дверей.
- Он не в духе, — озабоченно сказала она вполголоса в пустой комнате.
- Джамбул?
- Нет, разумеется, Володя. Ох, боюсь, опять начнет-ся депрессия, как тогда в Брюсселе. И вдобавок он нездоров.
- Ось, лышенько! Что такое?
- Эти неудачи его расшатали. Я всячески поддерживаю в нем бодрость. И особенно важно, чтобы люди с мест тоже говорили, что есть еще порох в пороховницах. Представьте, он мне вчера сказал, что не надеется дожить до победы нашего дела! Пожалуйста, в разговорах с ним не нойте.
- Я никогда не ною, — сердито сказала Люда. «Это я «человек с мест». И Джамбул тоже!»
- Забегайте почаще. Только не в рабочие часы Володи. Завтра днем не приходите: кажется, будет Камо. Это известный кавказский боевик. Чудак! Недавно ходил по Питеру в костюме кавказского джигита, с каким-то шаром, обернутым в бумагу! Все думали, бомба. Оказалось, арбуз! Он вез нам в подарок арбуз. Вы его знаете?
- Что-то слышала от Джамбула. Он его хвалил, но, помнится, говорил, что это совершенный дурак.
- Больно строг ваш Джамбул, — сказала Крупская с неудовольствием.

У Ленина в Куоккала депрессии не было. Неудача московского восстания, правда, очень его расстроила. Ему несколько не было жаль погибших людей, он о них думал, да и то не очень, лишь тогда, когда в «Вазе» пели после ужинов «Вы жертвою пали». Пел, впрочем, с искренним воодушевлением, на него действовала музыка, хотя бы и плохая.

Его злило то, что он совершил грубую ошибку в расчете сил и что над ним теперь насмеялся Плеханов. «Это невероятный нахал точно рад, что восстание провалилось! — думал Ленин. — Да он и в самом деле рад. Его рехтхабе-риштво¹ переходит все границы. Между тем мы все-таки

¹ Стремление настоять на своем (нем. recht haben).

на восстании кое-чему научились. Оно было только генеральной репетицией, этого наши болваны не понимают! Что ж делать, после московского провала надо идти на уступки. Будем «объединяться» и с меньшевиками. Я им скоро покажу «объединение», пошлю их к чертовой матери! Уж лучше было бы работать с максималистами. Они ничего не понимают и тоже надо мной насмеваются: «начетчик», но они настоящие люди. Жаль, что Соколов все-таки тот же болван-эсер. Он по натуре большевик и очень мне пригодился бы, гораздо больше, чем здешняя теплая компания. Но в голове у него старая жвачка. Разумеется, в Маркса никогда и не заглядывал!»

Для Ленина люди, не читавшие Маркса, были не совсем люди, даже Клаузевиц, у которого было, впрочем, то оправдание, что он до «Капитала» или хоть до Коммунистического Манифеста не дожил. «Соколов, верно, сам не понимает, чего хочет, или же хочет того, что совершенно не нужно и очень вредно. Вот так Бонапарт».

Накануне вечером он читал книгу о возвышении Наполеона. Подготовка Брюмера чрезвычайно ему нравилась, все было так умно, тонко, толково, Бонапарт всех обманывал и обманул. «А для чего? Для разных идиотских Аустерлицев, для столь же идиотской короны! И повезло ему, что были деньги. Кажется, приворовал, командуя армиями в Италии или в Египте».

Он вышел с Джамбулом в садик. Навстречу им шел ребенок с мячом. Ленин ласково с ним поговорил, — любил маленьких детей: «Тебя мама ждет». Залаяла на незнакомого человека собака. Он так же ласково ее погладил, — любил и собак. «Свой, свой», — объяснил он ей, показывая на Джамбула. Собака успокоилась. Ленин отошел в глубь сада и сел на скамейку.

— Вот, давайте здесь побалакаем, отсюда ничего не слышно... Да, вы пошутили отчасти правильно. В самом деле, хоть в картишки играй, — хмуро сказал он. — Радоваться нечему.

— Нечему, — подтвердил Джамбул. — Все же хорошо хоть то, что вас короновали в Таммерфорсе. Теперь есть с кем говорить. Слава Богу, и Балалайкин долго мешать не будет. Он, разумеется, за то, чтобы сесть на ваше место, продал бы дьяволу душу, если у него есть душа. Больше в партии никого нет, все шляпы и теоретики. Для разных объединительных и разъединительных съездов они, конеч-

но, годятся, но ни для чего другого. Им не стоит и посылать деньги на сапоги.

— На какие еще сапоги?

— Когда турецкий султан в далекие времена выступал в поход, он посылал своим ханам по пять тысяч червонцев на сапоги. Да ханы обычно отнекивались.

— Нельзя ли без аллегорий? Какой поход вы имеете в виду? — спросил Ленин. «Ох, попросит денег», — подумал он. — И не из чего посылать: нет червонцев, наша касса сейчас пуста, все ухлопали на восстание. Купчишки перепуганы насмерть, Морозов даже со страху застрелился, не оставив нам ни гроша. Вдовушка не даст ничего, хотя пролетарского происхождения. Кто-то говорил, будто она купила или покупает подмосковную: какие-то Горки. Отвалила бы нам что, в светлую память Саввы... А вы о чем хотели со мной разговаривать?

— Об этом самом. Не о подмосковной, а о вашей казне. Ведь без денег вы ровно ничего не сделаете. Надо создать казну не грошовую.

— Это, почтеннейший, святая истина, но какой способ вы предлагаете?

— Способ я ношу с собой в кармане.

— Да что вы все так выражаетесь? Говорите понятно. Какой способ носите в кармане?

— Револьвер системы Маузер. Видите, я говорю понятно и без аллегорий.

«Вот оно что! — подумал Ленин. Он был доволен. — Кажется, этот джигит серьезный человек. Если только не охранник».

— Экспроприации? — спросил он. — Не вы первый о них говорите.

— Кто же еще? Красин? Он умный человек.

— Разные говорят, и не у нас, — ответил Ленин уклончиво. — Вот, например, максималисты, недавно отколовшиеся от болванов-эсеров. Кстати, по Квакале, говорят, бегают Соколов, тот самый. Верно, у него с кем-либо тут свиданье.

— Больше не бегают. Уехал. Мы его встретили у вокзала.

— Так вы его знаете? — подозрительно спросил Ленин.

— Встречал. Встречал и их собственного «теоретика», некоего Павлова. Он мне доказывал, что нужно вырезать всех капиталистов поголовно, так как они ничем не отличаются от зверей. Совершенный психопат.

— Зачем же вырезать всех поголовно?

— А их идеи о свободе! Это уж просто из Кузьмы Пруткова: «Проект о введении единомыслия в пространном нашем отечестве».

Ленин усмехнулся.

— Это еще не так глупо. Максималисты кое-что смыслят, жаль, что все-таки народники... Ну да дело не в них. Вы догадываетесь, что я обо всем таком думал и без вас.

Он встал, сделал несколько шагов по дорожке и остановился против Джамбула, засунув пальцы за жилет.

— Прежде это называлось просто грабежом, — сказал он. — Не могу в себе до конца вытравить слюнявого интеллигента. Не лежит к этому душа. Наши дурачки-меньшевички начнут ахать: ах, убийства, ах, убивать бедных людей!

— Тут необходимы пределы: бедных людей мы экспроприировать не будем.

— Это даже само собой разумеется: если они бедные, то экспроприировать и нечего, — сказал Ленин. — Но кассиры и артельщики редко бывают миллионерами. А убивать бедных можно?

— Зачем придирается к обмолвкам? Убивать мы по возможности не будем никого.

— Именно «по возможности». Ну, ладно... Значит, вы занялись бы этим дельцем, если б партия вам это поручила? — спросил Ленин, впившись в него глазами.

— Я никогда не предлагаю другим того, чем не согласился бы заняться сам.

— Это лучше. «В самом деле как будто подходящий человек. Не хуже, чем Камо», — подумал Ленин. — Но, видите ли, тут заколдованный круг: для денег нужны экссы, а для экссов нужны деньги.

— Я, кажется, у вас денег не просил.

— Не просили, да и неоткуда было бы их вам дать. Касса, повторяю, пуста. В этом и есть главная беда, что у нас нет выбора... А главное, ведь надо иметь уверенность, что товарищи-эксисты будут отдавать деньги партии. Ну, не все, но большую часть, — добавил он многозначительно. «Нет, трудно иметь дело с этим субъектом!» — подумал Джамбул. Лицо у него стало багроветь. Ленин опять на него взглянул. — Конечно, они и должны оставлять себе часть на покрытие своих расходов. «Откуда же у него денежки? Не из Охранки ли они? Непохоже».

— Мы тоже должны знать кое-что, — сказал Джамбул очень холодно. — Куда пойдут «деньгата»?

— А это уже наша печаль.

— Чья «ваша»? Центрального Комитета, что ли? Если на содержание теоретиков и на фракционные брошюры, то мне это неинтересно.

— Вот как? Именно теоретики и создают историю!

— Да, иногда создают, если они не трусы и не шляпы.

— Бывают, что не трусы и не шляпы. Без них, видите, не обходятся даже господа Соколовы-Каины.

— Соколов дело другое. «И наведу на тя убивающа мужа и секиру его». Это из Иеремии.

— И Иеремию читаете! Ни к чему, почтеннейший! Больше бы читали Маркса, это самое главное. А Соколов безумный человек.

— Возможно. Я тоже считаю бессмысленными убийства отдельных людей, какое положение они ни занимали бы.

— Это, по крайней мере, по-марксистски. Верно, хотя и допускаются исключения. Вернемся к эксам. На что же, по-вашему, должны были бы пойти деньги?

— На массовую доставку оружия, особенно на Кавказ, так как Москва провалилась. Но этим должны заниматься не теоретики. Я хотел бы над этим поработать.

— Мы полезных людей всегда привлекаем. И небольшие жалованья назначаем, когда есть деньги. Кстати, вы имеете возможность работать без жалованья? — вскользь спросил он.

— Я получаю деньги от отца, — ответил Джамбул с усмешкой. — Мой отец имеет средства. Живет в Турции. Могу дать вам его адрес. Для справок.

— Что вы, помилуйте. Да, мы вас охотно привлечем к доставке оружия. Директивы, разумеется, останутся за нами. Мы с вами установим *modus vivendi*... Кстати, надеюсь, вы не думаете, что Центральный Комитет так тут же возьмет и даст свою санкцию на эксы. Такой вопросик надо тщательно провентилировать.

— Партия все провентилирует, как вы ей прикажете провентилировать.

Ленин усмехнулся, снова сел на скамейку и, повернувшись к Джамбулу, взял его за пуговицу.

— К несчастью, это не так. Теперь не так, особенно после московского поражения... Когда вы уезжаете?

— Еще не знаю.

— Прямо в Россию?

— Нет, к нам, на Кавказ.

«Он что же, сепаратист? Или просто каша в головке? Ну, да нам не до «единой и неделимой», как проповедует Иуда Струве», — подумал Ленин.

— Хорошо, что возвращаетесь. Эмиграция — последнее дело. Я буду с вами регулярно сноситься. На Кавказе есть ценнейшие работники. Только там, кажется, прочно засел в массах Боженька. Аллах. Религия одна из самых отвратительных и опасных сил в мире.

— Аллах переживет Маркса.

Ленин вытаращил глаза.

— Ну, хорошо. На Кавказе есть ценные субъекты. Кота Цинцадзе умный человек. Камо глуп, как сивый мерин, но очень храбр. И надежен, как каменная гора... Кстати, вы давеча ругали этого Ивановича-Джугашвили. Вы его хорошо знаете?

— Потому и ругал, что знаю. Я на Кавказе знаю всех. И его у нас не любят. Он, как лесковская ведьма, «имеет не совсем стройную репутацию».

— Уж не подозреваете ли вы его в провокации?

— Нет, в этом не подозреваю.

— Так в чем же дело? Быть может, вы не удовлетворены его «моральными качествами»? — Ленин засмеялся. «Если б был охранником, то, наверное, прикидывался бы твердокаменным марксистом», — подумал он. — Вот что, приходите завтра в пять часов. Один, — подчеркнул он.

VI

«Квакала», как шутливо называли Куоккала революционеры, была очень скучным местом. Люда тотчас ее возненавидела. Ленин скоро покинул виллу «Ваза» и поселился в какой-то избе.

— Там Володя совершенно не мог работать, мешал шум, — объясняла Крупская. — Правда, теперь мы платим дорожке, а денег у нас как кот наплакал. Что ж делать, если не хватит пороха, вернемся в «Вазу». Ведь, может, здесь придется засидеться.

Джамбул и в Куоккала не скучал, как не скучал почти нигде, «только на съездах». Говорил, что было бы и совсем хорошо, если б в этой глуши можно было достать сносную верховую лошадь. «То есть я и лошадь. Или лошадь и я», — думала Люда. Он много гулял. Радовался жаркой весне. Опять отпускал себе бороду; его щетина не нравилась Люде. «Слишком скучно бриться, всегда терпеть не мог. Перед отъездом в Петербург сбрею и снова превращусь в Алкивиада», — объяснял он.

У Ленина он бывал часто и разговаривал с ним наедине. Раздражение у Люды все росло: Ильич почти не обращал на нее внимания. Крупская ей очень надоела.

— Ты знаешь, как я почитаю Ильича, но у нее его культ доходит просто до смешного! — говорила она Джамбулу. — Опять звала обедать, она очень гостеприимна, отдаю ей справедливость. Но я отказалась, не хочу их обедать, да и обеды уж очень плохие. Мне все равно, что есть, но ты таких обедов не любишь.

Они вдвоем ходили в местный ресторан, где, впрочем, кухня тоже была скверная. За обедом разговор обычно не очень клеился. «Англичане говорят: «Два человека составляют компанию, а три нет». По-моему, чаще бывает обратное. Когда только два, то каждый немного напрягается, чтобы не наступало молчание», — думала Люда. Случалось, себя спрашивала, *кто* был бы в разговоре подходящим третьим. — «Вот Митя подходил бы, он человек широких взглядов». Но тотчас вспомнила о недавнем времени, когда у нее «двое составляли компанию». «Неужто проходит любовь? В самом деле, он прежде был интереснее... Нет, это не разочарование, скорее просто скука».

Иногда она говорила Джамбулу и колкости, как прежде Рейхелю.

— Я, конечно, не спрашиваю тебя, о чем ты изволишь беседовать с Ильичом, но...

— Это, к сожалению, его секрет, а не мой. Он меня связал честным словом. Да и ничего интересного.

— Разумеется, разумеется! Но мне здесь в Квакале сидеть надоело. В общем, мы напрасно сюда приехали. В Петербурге была жизнь. Так я в этом году и не видела наших фиалок... Долго ли ты еще хочешь здесь оставаться?

— Скоро уедем. Надо ведь и отдохнуть, набраться сил для работы.

— Не знаю только, для какой. И я очень давно отдыхаю. Ты, кстати, тоже.

Он кое-как отшучивался, но с необычным для него напряжением. «Что-то скрывает! Этого еще не хватало!» — подумала Люда.

От скуки она попросила у Крупской книг. Та дала несколько брошюр и протоколы Второго съезда: «Володя находит, что все мы должны их читать и читать», — объяснила она. Люда дома заглянула в протоколы с любопытством: «Сама все слышала, а теперь напечатано и перешло в историю!» Однако скоро потеряла интерес: «То да не то! Совсем не так это было слушать». Из брошюр наиболее

понятной была чья-то работа о кооперации. Да, это надо знать, необходимо вообще пополнить экономическое образование». Прочла всю брошюру и даже сделала выписки в тетрадку.

Работы по хозяйству у нее было немного. Чтобы поддерживать русское имя в чистеньком домике извозчика, Люда с утра отдавала полчаса уборке комнаты. Джембул на это время уходил на вокзал за газетами, затем читал их, как говорил, «на лоне природы».

Приведя комнату в порядок, Люда собралась выйти на прогулку, когда в дверь постучали. Вошли двое мужчин и одна дама, — по виду кавказцы. Они очень вежливо спросили по-русски о Джембуле.

— Его нет дома, — сухо ответила Люда. — Пошел читать газеты.

— Не знаете ли вы, где мы могли бы его найти? — спросила дама с сильным грузинским акцентом. Люда на нее посмотрела. Дама была молода и хороша собой. «Выскочила первая! Могли бы спросить мужчины», — подумала Люда недоброжелательно. На лоне природы, — хотела было ответить она, — но это недостаточный адрес».

— Не знаю. Он обычно возвращается часов в одиннадцать. Я должна уйти, но, если хотите, вы можете подождать его здесь.

Посетители обменялись вполголоса несколькими словами, сказали, что вернутся, и, учтиво поклонившись, вышли. Люда написала Джембулу записку: «К тебе зашли два компатриота и одна красивая компатриотка. Зайдут опять в одиннадцать. Если вернешься раньше, подожди почтенную компанию. Чтобы вам не мешать, я вернусь только к часу. Буду, высунув язык, бегать по лесу. Пожалуйста, не зови их завтракать в наш ресторан, пусть жрут на вокзале», — написала она и вдруг, почти с ужасом, почувствовала, что больше не ревнует Джембула ни к «красивой компатриотке» и ни к кому другому. «Но ведь тогда и любовь кончена! Нет, вздор... Незачем его злить». Она старательно зачеркнула слово «жрут». Хотела было написать «лопают», — это шутливее, — и написала просто «завтракают». — «Не переписать ли? Нет, лень. Замарано хорошо, да он и не станет всматриваться. Его мои эмоции уже мало интересуют, да, собственно, и прежде не интересовали. Он Алкивиад, но отчасти и бревно. Алкивиад пополам с бревном...»

В лесу ее раздражение почти прошло. Было только скучно гулять одной. «Что ж делать, мне чуть не всегда

скучно. И решительно ничего у него, разумеется, с этой кавказкой нет... Но все-таки нужно этому положить конец! — думала она, точно ей было жаль расставаться с раздражением. — Я должна узнать, в чем у них дело, что он замышляет. Казалось бы, уж мне-то надо бы знать! Если он и не врет, будто с него взял обет молчания Ленин (не назвала его мысленно «Ильичом»), то об этих князьях я имею право узнать во всяком случае!»

Вернулась она ровно в час. Джембул был один.

— Были твои гости? Видел их?

— Видел.

— Не смею спрашивать, кто и что, — Люда помолчала, глядя на него вопросительно. — Они, верно, пошли к Ленину?

— Нет, они ничего общего с Лениным не имеют. Они пошли на вокзал. Сейчас уезжают.

— Счастливого пути. Пойдем завтракать. Я голодна как зверь.

Несмотря на принятое в лесу решение, Люда до жаркого не спрашивала его о посетителях. Надеялась, что он скажет первый. Джембул не сказал. Говорили о газетных новостях, о Государственной Думе.

— Когда же мы уезжаем в Петербург? — наконец, не вытерпев, спросила она.

— Когда хочешь, мне и самому здесь уже очень надоело, — сказал он. — Хоть завтра. Ведь ты отдохнула как следует?

Люда не ответила на этот вопрос, показавшийся ей лицемерным.

— Ловлю тебя на слове. Завтра же и уедем!

— И отлично, — сказал Джембул, точно не замечая раздражения Люды. — Жаль только, что приедем в самое жаркое время. В Петербурге страшная жара.

— Ничего, я люблю Петербург и летом.

— А что, если б мы уехали, например, в Кисловодск?

— Какой вздор ты говоришь! Что мы, буржуи, что ли? Не хочу разъезжать по курортам!

— Деньги есть, я ведь опять получил от отца. Очень зовет старик навестить его.

Она тотчас насторожилась. И, как всегда, упоминание о деньгах ее кольнуло.

— Твой отец, насколько мне известно, живет не в Кисловодске, а в Турции?

— Я к нему в Турцию и съездил бы.

Люда помолчала. «Так и есть, надоела...»

— Кисловодск, Турция, так... Но когда же мы будем заниматься делом?

— То есть революцией?.. Людочка, можно поговорить с тобой по душам?

— Не можно, а необходимо, давно пора, — ответила она, насторожившись еще больше от «Людочки». Он редко так называл ее. — Что ты хочешь сказать?

— Зачем тебе заниматься революцией? Ты сама видишь, она становится все более кровавой и, что еще хуже, все более грязной. Государственная Дума — это ерунда. Террор с обеих сторон будет расти с каждым днем. То, что было до сих пор, это цветочки, а ягодки еще впереди, как говорите вы, русские.

— В сотый раз прошу тебя, не говори «вы, русские»! Ты тоже русский.

— А я в сотый раз тебе отвечаю, что я русский только по культуре, да и то не совсем. Я стою за независимость Кавказа. Но мы сейчас говорим не об этом. По-моему, тебе лучше отойти от революции.

— То есть как «отойти»?

— Так, просто отойти. Это не женское дело вообще и не *твое* дело в частности. Если ты теперь же не отойдешь, это неминуемо кончится для тебя каторгой! Разве ты способна жить на каторжных работах?

— Почему каторжные работы? Зачем каторжные работы?

— Я именно и говорю: зачем каторжные работы? Это ужас, грязь, медленная смерть, беспросветная тоска и скука. А ты создана для радостной, счастливой жизни. Ты вот фиалки любишь. Ты по природе барыня. Видишь, и Ленин не очень тебя вводит в свои дела.

Она вспыхнула.

— Не вводит, и не надо! Свет на нем не клином сошелся. Но от тебя я ждала другого. Что ж, и ты тоже отойдешь?

— Нет, я отойти не могу, а тебя я в кавказские дела вводить не хочу и не имею морального права. Зачем тебе жертвовать собой ради чужого дела? И вообще зачем тебе заниматься такой работой? Вот ты меня спрашивала, откуда деньги у этого Соколова. Я сегодня случайно узнал от моих гостей подробности. Они его терпеть не могут, но, конечно, говорят правду. У него деньги от экспроприации в Московском обществе взаимного кредита. Читала в газетах? Это его дело.

— Он ограбил банк!

— Можно называть и так, — сказал Джамбул, морщась. — Да, он ограбил банк. Не он один, конечно, их было несколько. Технически это было исполнено с необыкновенным совершенством. Этот человек — воплощение хладнокровия и бесстрашия. При дележе ему досталось сто пятьдесят тысяч рублей. На эти деньги они обзавелись автомобилями, рысаками, вели развеселую жизнь.

— Очень тебе благодарна, что ты меня познакомил с таким господином! Я подала ему руку!

— Руку можно подавать кому угодно, — он поморщился еще сильнее и невесело засмеялся. — Вот же мне ты «подаешь руку», а у меня тоже бывали в жизни страшные дела.

— Но не грабежи!

— Добрая половина революционной работы — это грязь. Спроси у любого искреннего революционера. Спроси хоть у твоего Ильича. Впрочем, он правды не скажет. Все дело в *цели*. В целях Ленина я очень сомневаюсь, а в своих нисколько, ни минуты. Россия не Кавказ, она не поработена иностранным завоевателем... Так поедem в Кисловодск? Я тебя научил бы ездить верхом. Вместе ездили бы в «Храм воздуха», а?

— Нет, спасибо, я не поеду... Значит, ты вернешься?

— Разумеется, — ответил он. Не любил лгать, но лгать *женщинам* для него было довольно привычным делом. — Разумеется, вернусь в Кисловодск.

— Если ты хочешь вернуться, то можешь вернуться в Петербург. Но я вообще тебя не держу. В мыслях не имею!

— Ну вот, зачем такие слова?.. Ты будешь пить кофе? Нет? Знаешь что? Сегодня в «Вазе» генеральная оргия «дурачков» — даже во всех смыслах — и, верно, при благосклонном участии Ленина. Там с ним и простимся... А потом другую оргию устроим дома, — опять уже весело добавил он и не в первый раз подумал, что темперамент у нее довольно холодный. «И глаза никогда не блестят, хотя очень красивые».

— Незачем посылать перед оргиями повестку, — ответила Люда. «Поговорим как следует в Питере. Мы просто здесь одичали», — подумала она.

В «Вазу» они отправились только вечером. Знали, что днем Ленин работает. «Может быть, даже работают и некоторые другие, хотя это маловероятно», — говорил Джамбул. Еще издали они услышали очень громкое нестройное пенье.

— Что такое? Перепились за дурачками?

— Ты отлично знаешь, что Ильич не пьет, не то что ты. Много, если выпьет бокал пива.

— Ну, так другие... Ох, как фальшиво поют! — сказал Джамбул.

— Ильич очень музыкален. Я слышала, как он поет «Нас венчали не в церкви». Не Шаляпин, но могу тебя уверить, очень недурно!

Сбоку отворилось окно, высунул голову испуганный старик-финн, прислушался и пробормотал что-то, по-видимому, не очень лестное для русских. Люда и Джамбул ускорили шаги. «Ваза» была ярко освещена. Люди в саду стояли лицом к растворенному окну и восторженно пели. В окне Ленин размахивал сложенной в трубочку брошюрой. Кто-то аккомпанировал на гитаре.

— Да он не только Шаляпин, он еще и Никиш! — сказал Джамбул. — Что это они орут? «Укажи мне такую обитель»?

— Да, разумеется! — взволнованно сказала Люда.

— Ох, не люблю, скверные стишки.

— Это стихи великого поэта, невежда!

— А все-таки скверные. Давай послушаем отсюда, чтобы не мешать божественному хору.

Он остановился. Люда остановилась неохотно. Ей хотелось самой пить и петь. Ленин высоко взмахнул брошюрой, прокричал: «Так, братцы, валяйте!» и опять запел. Хор подхватил:

...Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках на железной цепи.
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой ночуя в степи...

— Знаешь что, пойдем стонать под овином домой, — сказал Джамбул.

— Ни за что! — ответила Люда. — Ни за какие коврижки!

— Я тебе коврижек и не предлагаю. Но гадко слушать. Зачем люди поют, если не умеют?

VII

В поезде после границы был небольшой спор, — где остановиться в Петербурге. Джамбул предлагал «Европейскую». Когда у него были деньги (а они бывали у него почти всегда), он ни о какой экономии не заботился. Хорошие гостиницы и рестораны, еще больше дорогие костюмы,

галстуки, тонкое белье улучшали его настроение, и без того обычно очень хорошее.

— Нет, не хочу. У меня ведь нет богатого отца, — сухо отвечала Люда. — Ох, не похож ты на русского революционера.

— Я и не *русский* революционер, — сказал он. Теперь это подчеркивал все чаще.

— Знаю, слышала. Остановимся в какой-нибудь недорогой гостинице.

— Пожалуйста. Хоть в ночлежке, — согласился он. В последнее время во всем ей уступал. — Я могу жить и как кинто.

— Зачем как кинто?

Прежде Люда часто его себе представляла в наряде *джигита*, при украшенной золотом и серебром *гурде*, в *бешмете* и в *чуваках*; вспоминала такие слова, известные ей по романам. Иногда ему это говорила. «Да это для меня самый естественный костюм. Такой носили все мои предки», — отвечал он.

Они выбрали гостиницу, среднюю между «Европейской» и ночлежкой. Там оказался знакомый: начинающий журналист Альфред Исаевич Певзнер, благодушный, веселый человек. Он в том же коридоре снимал крошечную комнату. Всего с полгода тому назад приехал из провинции в Петербург, но уже имел связи, знал все, что делается и в «сферах», и в левых кругах, и в правых кругах. Печатал репортерские заметки в либеральных газетах, — революционные недолюбливал. Пока зарабатывал мало, но как раз только что получил в большой газете должность репортера. Подписывался буквой П. и придумывал себе псевдоним.

— Как вы думаете, «Дон Педро» это хорошая подпись? — спросил он Джамбула, который, как и Люда, охотно с ним болтал.

— Превосходная! — ответил Джамбул. — Однако, по моему, «Дон Педро ди Кастильо Эстрамадура» было бы еще лучше.

Певзнер благодушно махнул рукой.

— Хотите с Людмилой Ивановной побывать в Государственной Думе? Я всех там знаю и на сегодня легко получу для вас билеты. Теперь наплыв уже меньше, чем был в первые дни.

— Говорят даже, что это богоспасаемое учреждение скоро прихлопнут, — сказал Джамбул.

— Типун вам на язык! На днях кто-то из кадетов называл самую эту мысль кощунственной.

— Отчего же не повидать такую святыню? Ведите нас туда.

Заседание оказалось скучноватое. Знаменитые кадеты не выступали. Ругали правительство серые крестьяне, трудовики. В ложе министров был только министр внутренних дел Столыпин, о котором уже много говорили в России. Но он тоже не выступал и скоро уехал. Люда, опять оживившаяся в Петербурге, была довольна, что попала в Думу: еще никогда ни в каком парламенте не была. Певзнер показал ей Столыпина.

— Восходящая звезда на бюрократическом горизонте! Оратор, что и говорить, прекрасный. По слухам, скоро будет главой правительства.

— В самом деле, осанистый, импозантный человек. И скюртук ему к лицу, это бывает редко, — сказала Люда. — Жаль, что зубр.

— Он только полузубр.

— Ох, и скука в этой «Думе Народного Гнева», — зевая, сказал Джамбул.

— Муромцев сидит на председательском кресле, как Людовик четырнадцатый на троне. Нет, Государственную Думу не разгонишь. Слухи об этом, вы правы, идут. Я могу вам даже сообщить, как революционеры решили на это ответить. Они чудовищным по силе снарядом взорвут Петергофский дворец, — шепотом сказал Певзнер.

Люда признала, что в Финляндии «износилась», и заказала себе два платья, — одно из них вечернее, хотя никаких «вечеров» не было и не предвиделось. К обеду надела дневное, недорогое, но, она знала, очень удачное. Впросительно взглянула на Джамбула. Он даже не сразу заметил, что это новое платье. «Прежде тотчас замечал! — отметила Люда. — И хуже всего то, что мне все равно, нравится ли оно ему или нет. Да, идет дело к концу, и мне тоже все равно. Или почти все равно».

Дня через два Джамбул вернулся в гостиницу взволнованный и сердитый. Люда таким его не видела.

— Что случилось?

— Случилось то, что мне сегодня передали совершенно невероятную историю! О Ленине! Помнишь, ты мне рассказывала, что ты у твоих Ласточкиных — или как их там? — встречала двух молодых революционеров со странными фамилиями: Андриканис и Таратута?

— Не встречала, а один раз встретила. Так что же?

— Представь себе, говорят, что Ленин их женит на двух сестрах Шмидт. Это племянницы Саввы Морозова, богатые купчихи.

— То есть как Ленин «женит»? Зачем?

— Эти господа обещали ему, что если женятся, то отдадут приданое партии!

— Не может быть!

— Мне сообщили из достоверного источника. Я тоже не хотел и не хочу верить. Ленин на многое способен, но все-таки не на такую гнусность. И *таких* революционеров, которые женились бы на приданом, без любви, моему никогда не было. Ведь это граничит уже с сутенерством.

Люда смотрела на него смущенно, точно она отвечала за Ленина и за обоих женихов.

— Все-таки не надо преувеличивать, — нерешительно сказала она. — При чем тут сутенерство? Некоторые революционеры теперь занимаются экспроприациями, как Медведь. Это еще гораздо хуже.

— Это в сто раз лучше! — ответил с бешенством Джамбул. — Неужели ты этого не понимаешь? Тогда мы с тобой разные люди!

— Мы, действительно, разные люди. Я в этом ни минуты не сомневалась, — сказала Люда. Ей, однако, понравилось его негодование. «Все-таки в нем есть рыцарский элемент. Верно, и Алкивиад тоже негодовал бы», — подумала она. — Но скорее всего, это просто гадкая клевета меньшевиков.

Джамбул стал все чаще поговаривать о своем отъезде, — говорил по-разному: то на Кавказ, то в Турцию. Люда старалась изображать равнодушие. Затем он назначил срок более точно: «в начале августа». Был с ней очень мил и нежен, всячески старался ее развлекать. Случалось, она плакала. «Да ведь это обычное дело: сошлись, пожили, разошлись! Собственно, и не разошлись, а он меня бросает. Что же мне делать? Нет, я не поеду на Кавказ заниматься какими-то темными делами. Да он меня и не зовет... Зачем ехать, если он меня не любит? И если я сама больше его не люблю? К тому же он немного позднее бросил бы меня и на Кавказе. Не буду за него цепляться... Он никак не подлец, напротив, он, при своей бесчувственности, *charmeur*. Но, может быть, тот красавец-грабитель Соколов еще больший *charmeur*?»

Государственную Думу в июле разогнали. Узнав об этом, Люда побежала на Невский, чтобы принять участие в постройке баррикад. Улицы были в точно таком состоянии, как накануне. Главой правительства стал Столыпин. Он обещал, что будет созвана Вторая Дума.

— Собственно, «Думу Народного Гнева» даже не «разогнали», а просто распустили, — говорил Джамбул. — Помнишь, я тебе в Лондоне читал поэму о Деларю. Все они и оказались Деларю.

— Возмутительно! Просто возмутительно! Хороши кадеты!

— Позволь, почему же только кадеты? Не слышно что-то и о подвигах твоих большевиков. Да, впрочем, что же они могут сделать, когда у них в кармане два целковых? Напишут гневную брошюру и издадут ее, с уплатой типографии в рассрочку.

Она не знала, что ответить. Пришла весть о Выборгском воззвании. За ним тоже ничего не последовало. В городе по-прежнему все было совершенно спокойно. Баррикад не было, но увеселительные места были полны.

— Когда же, Альфред Исаевич, вы чудовищным по силе снарядом взорвете Петергофский дворец? — спросил Джамбул Певзнера, встретившись с ним в коридоре гостиницы.

— Не понимаю, над чем тут шутить! Случилось большое несчастье, а вы шутите! — сказал сердито Певзнер и подумал, что этот человек довольно бестактен. Джамбул смутился, что с ним бывало очень редко.

— Вы совершенно правы, Альфред Исаевич. Пожалуйста, извините меня, — сказал он и протянул Певзнеру руку.

Перед отъездом он попробовал настаивать, чтобы Люда взяла у него половину его денег. Она вспыхнула и наотрез отказалась. Понимала, что их связь кончена. «Перевернулась страница, что ж делать? Страниц будет, верно, немало, и от каждой останется воспоминание и рубец на сердце». Все же ей было бы легче, если б ушла она, а не он.

— Никаких денег я у тебя не брала никогда, — сказала она и подумала, что это не совсем точно: за все платил он. — А теперь уж наверное не возьму.

— Но почему же, Людочка?

— Потому! — отрезала она. Ей было досадно еще и то, что он предложил именно половину — как Рейхель. С тем тоже было связано воспоминание, хотя без рубца.

Джамбул купил ей кошечку. Выбрал наиболее походящую на Пусси. Но и это вышло не очень хорошо. Люда очень благодарила, ласкала котенка, поила его молоком, а про себя подумала: «Это, значит, вместо Пусси и вместо него самого. Чтобы не было так тоскливо спать одной...»

Вечером 10 августа, накануне его отъезда, они поехали в *тот самый* ресторан, взяли *тот самый* кабинет, пили *то самое* шампанское. Люда надела новое вечернее платье. На этот раз он заметил и очень хвалил, преувеличенно хвалил. Обед сошел неудачно. Говорили о неинтересных предметах, разговор часто прерывался. «Что же теперь делать? Вернуться в наш номер? Настроение будет, как в приемной у хирурга», — подумал Джамбул и предложил провести вечер в «Олимпии».

— Там в саду хоть можно подышать свежим воздухом.

— Отчего же нет? Поедем, — сказала Люда.

Хотя я и славьянка,
И даже варшавьянка, —

пела в переполненном летнем театре хорошенькая полька. Джамбул поглядывал на нее с интересом. Люда смотрела на него с грустной насмешкой. «Гляди, гляди, мне все равно». Изредка они обменивались впечатлениями. В антракте вышли в сад, там гуляли, почти не разговаривая. Когда вернулись в партер, он подтолкнул ее под локоть и показал глазами на ложу. В ней сидели молодая, очень красивая барышня и трое мужчин. Люда изумилась: в сидевшем рядом с барышней элегантном человеке она узнала Соколова.

— Медведь!

Джамбул бросил на нее сердитый взгляд и оглянулся на соседей. Но на эстраде как раз заиграла музыка. Французский гастролер запел «La Tonkinoise»:

Pour que je finis-se
Mon ser-vi-ce
A Ton-kin je suis — allé¹.

Люда смотрела на ложу. «Так это его новая любовница? Да, хороша собой, хотя не красавица. Но как же они решаются показываться на людях, если в самом деле затевают революционные дела? Едва ли затевают... А за ними какие-то печальные юноши».

¹ «Тонкинку»:

Чтобы закончить дела, я приехал в Тонкин (фр.).

— У него лицо гипнотизера, — вполголоса сказала она Джамбулу. Он, впрочем, не расслышал. Наслаждался парижской песенкой:

Je e'appelle ma pe-tite Chi-noise
Ma Ton-ki-ki, ma Ton-ki-ki, ma Tonkinoise...¹

— Не возобновить ли с ним знакомство? — спросила Люда нерешительно, когда певец кончил и раздались рукоплескания. Сама понимала, что это невозможно; да ей и не очень хотелось. Грабители были ей противны.

— Ни в каком случае, — ответил резко Джамбул, — и, пожалуйста, не смотри в их сторону.

Люда не провожала его на вокзал: решила проститься с ним дома, просто по-товарищески. Он был этим и обижен и доволен. Но она не удержалась и заплакала.

— ...Береги свою буйную головушку, Джамбул, — говорила Люда сквозь слезы.

— Я скоро вернусь.

— Не лги хоть на прощанье... Прощай, мой милый... Мой дорогой...

Когда он вышел, она смотрела ему вслед в окно. Затем долго, плача, целовала котенка. Приняла на ночь двойную порцию снотворного.

VIII

На следующее утро, проснувшись с тяжелой головой, она принялась за поиски работы. Вырезала из газеты несколько объявлений. Собственно, она ничего делать не умела. В свое время советовалась с Рейхелем: каким бы делом заняться? Он неизменно с мрачной шутливостью советовал ей поступить на сцену: «Будешь сначала играть инженеру, а потом комических старух».

Из объявлений ничего не вышло. Ее спрашивали, знает ли она счетоводство, умеет ли писать на машинке, где служила. Она отвечала, что счетоводства не знает, на машинке не пишет, не служила нигде, но владеет хорошо французским языком, сносно немецким и желала бы иметь квалифицированную работу. В первых двух местах сказали, что такой работы ей предложить не могут; в третьем посматривавший на нее господин, после сходного ответа,

¹ Я называю ее своей маленькой китаяночкой, мою тон-ки-ки, тон-ки-ки, мою тонкиночку... (фр.)

добавил, что будет иметь ее в виду, и записал адрес. «Да, конечно, без протекции ничего получить нельзя», — подумала она обескуражено.

Протекцию в деловом мире ей мог бы оказать только Ласточкин. Но для этого надо было жить в Москве. Ей переезжать не хотелось. У нее не раз шел с Дмитрием Анатольевичем и с его женой древний спор петербуржцев и москвичей. Ласточкины считали Москву первым городом мира: «Она лучше даже, чем Париж!» Люда то же самое думала о Петербурге. Рейхель участия в споре не принимал: в душе считал лучшим городом Берлин, где все было так чисто, удобно и дешево. «Что же делать, надо переехать: только Митя может найти для меня службу. Если, конечно, герцогиня ему позволит...» Люда отлично знала, что, как бы ни сердилась на нее Татьяна Михайловна, она такое «позволение» даст без всякого колебания. «Но как же я Митю повидею? Может, и он знать меня не хочет?»

Вернулась она домой только в три часа дня. Накормила кошку, та была явно обижена опозданием. «Как в свое время бедный Пусси», — подумала, вздохнув, Люда. Больше она, из-за усталости и дурного настроения, не выходила. Вечером заказала чай в номер. Читала сначала книгу о кооперативном движении, затем роман Жип. Рано легла с кошкой спать. Принять опять снотворное не решилась: «Еще войдет в привычку!»

Утром горничная, как всегда, принесла ей кофе и газету. Люде не хотелось ни есть, ни вставать. Лежать в постели с кошкой было приятно. «Остались два объявления. Надо в понедельник утром пойти, хоть для очистки совести. Если ничего не выйдет и там, то незачем откладывать, уеду в Москву». Еще подумала о Джамбуле: где теперь находится его поезд, скоро ли он приедет в Тифлис и действительно ли едет именно туда? «Кто его там встретит? Женщины? Какую работу он начнет? Верно, в вагоне еще до первой станции забыл о моем существовании? И я хороша! В плохом, очень плохом состоянии нервы».

Она надела халат, дала молока кошке, налила себе кофе. Развернула газету — и ахнула. Весь верх страницы занимали огромные, необычные для русской печати набранные разными шрифтами заголовки в ширину всех столбцов, в несколько этажей: «Страшный взрыв на Аптекарском острове. Покушение на П. А. Столыпина. Премьер невредим. Тяжело ранена его дочь. Множество убитых и раненых».

«Один из самых кровавых террористических актов в русской истории, — быстро читала Люда с все росшим волнением, — залил кровью вчера днем нашу столицу.

В начале четвертого часа пополудни к даче министра внутренних дел на Аптекарском острове, где временно летом проживает новый председатель Совета министров П. А. Столыпин, подъехали в ландо три человека. Из них двое были одеты в форму ротмистров отдельного корпуса жандармов. Третий был в штатском платье. Все трое имели в руках большие портфели. Выйдя из ландо, они быстро вошли в переднюю.

В швейцарской находились агент охранной агентуры Петр Казанцев и состоявший при главе правительства генерал Замятин. Вошедшие люди сразу показались подозрительными зоркому глазу опытного специалиста Казанцева. Причины этого были следующие:

Все трое были смертельно бледны. Лица у них были искажены, глаза горели лихорадочным блеском.

Каски у обоих ротмистров были старого образца. Между тем недели за две до того головной убор жандармских офицеров был изменен.

Они держали в руках большие объемистые портфели, что не допускается при представлении высоким должностным особам.

Чуя недоброе, Казанцев поспешно направился к вошедшим. И вдруг он с ужасом заметил, что у одного из них накладная борода!

— Ваше превосходительство!.. Неладное! — отчаянным голосом закричал Казанцев тоже что-то заподозрившему генералу Замятину. Оба бросились на вошедших.

И в ту же секунду все три злоумышленника подняли вверх свои портфели и с силой бросили их на пол с злоеющим хриплым криком: «Да здравствует свобода! Да здравствует анархия!»

Раздался оглушительный взрыв, за ним продолжительный грохот рушащихся стен, звон разбитых вдребезги окон.

Когда дым немного рассеялся, представилась страшная, невиданная, неопишуемая картина:

От дачи осталось очень немного. Отовсюду слышались душераздирающие крики и стоны умирающих людей.

Всего, как оказалось, убито тридцать три человека, ранено двадцать два.

Разумеется, разорваны в клочья люди, бывшие в передней, в том числе все три злоумышленника. Оправдалось: «Поднявший меч от меча погибнет».

Председатель Совета министров чудом остался жив и невредим. Уцелела и его супруга, находившаяся в своих частных покоях.

Но другие! Члены семьи главы правительства! Просители, дожидавшиеся в приемной! Должностные лица! Слуги!

В первом этаже исторической дачи на Аптекарском острове находятся или, вернее, находились две приемные комнаты, зал заседаний и кабинет П. А. Столыпина, а также гостиная и столовая. Частные покои расположены во втором этаже. Председатель Совета министров сидел в момент взрыва за письменным столом в своем кабинете. Именно эта комната одна чудом уцелела. Только бронзовая чернильница была подброшена в воздух и пролетела над головой П. А. Столыпина, залив его чернилами.

Сила взрыва была такова, что в фабрике, находящейся по другую сторону Невки, не осталось ни единого целого стекла. Очень пострадала улица перед дачей. Фаэтон, в котором приехали злоумышленники, оказался почти разрушенным.

По роковой воле судьбы, на балконе над подъездом в момент взрыва находились четырнадцатилетняя дочь главы правительства Наталья Петровна и его двухлетний сын, называемый в семье Адей. Их как былинку выбросило на мостовую, прямо под ноги взбесившихся лошадей. Несчастная Н. П. Столыпина искалечена... Примчавшиеся на место преступления врачи и санитары перевезли ее в карете скорой помощи в ближайшую лечебницу доктора Калмейера и признали ее состояние очень тяжелым. Есть, к счастью, надежда на спасенье ее жизни, но, по-видимому, ей предстоит ампутация обеих ног, что подтвердил приехавший из больницы лейб-хирург Павлов. Ее двухлетний брат, перевезенный вместе с нею в ту же лечебницу, находится в менее тяжелом состоянии.

Супруга председателя Совета министров сейчас находится в той же лечебнице, а глава правительства с не пострадавшими членами своей семьи отправился на катере в свою зимнюю резиденцию на Фонтанке.

Передают ужасные подробности. Один из просителей, бывших в приемной, принес с собой своего маленького ребенка, вероятно, для того, чтобы разжалобить министра-президента. Оба, отец и сын, разорваны в клочья. Другой проситель, встретив в приемной знакомого, заговорил с ним. Взрыв оставил его невредимым, но у разговаривавшего с ним за минуту до того человека снесло голову как топором.

Глава правительства сохранил полное самообладание, которому отдают должное и его политические противники. К его охране приняты экстренные меры».

Дальше следовало перечисление убитых и раненых, а также приехавших на место преступления должностных лиц. Подпись была: П. Этот репортаж был Тулоном молодого Певзнера. Его статья была в газетных кругах признана самой лучшей. Альфред Исаевич писал с вполне искренним волнением: он был действительно потрясен и возмущен делом. Разгонял строчки на этот раз не умышленно, а по профессиональной привычке.

За его первой статьей была вторая, написанная другим репортером, с подзаголовком: «Первые результаты дознания»:

«Дознание, которое велось с заслуживающей быть отмеченной быстротой и эффективностью, пока установило следующие факты:

Ландо, привезшее убийц, было нанято у извозопромышленника Александрова в Максимилиановском переулке в доме номер 12. Кучер, крестьянин Станислав Беднарский, показаний дать не мог: он еще жив, но тяжело ранен, хотя в момент покушения, естественно, оставался в ландо на улице.

Извозопромышленник Александров показал, что ландо у него нанял известный ему в лицо и по имени Цветков, дворник дома номер 49 по Морской улице. С ним приходила женщина, ему, Александрову, по имени неизвестная, но в лицо также знакомая. Она называла себя горничной квартиры номер 4 в вышеуказанном доме.

Дворник, крестьянин Илья Цветков, не имеющий, как легко было установлено, никакого отношения к страшному делу, показал:

Квартира номер 4 в доме номер 49 принадлежит некоей Иоганне Гарфельд и сдавалась ею с обстановкой по газетным публикациям. Всего лишь несколько дней тому назад, а именно 8 августа, эта квартира была Иоганной Гарфельд сдана лицам, назвавшим себя спасским мещанином Даниилом Морозовым и женой последнего Еленой Морозовой. С ними поселился также коломенский мещанин Петр Миرونнов и горничная, рязанская крестьянка Анна Монакина. Все это были люди очень молодые. «Барыне» Морозовой на вид можно было дать лет 19 или 20. Она была хороша собой. «Hübsch und elegant» («красива и элегантна»), — сказала нам кухарка квартиры, лучше говорящая по-немецки, чем по-русски. — «Так что, сказать, красotka, —

говорит дворник». Паспорта у них были в порядке и своевременно прописаны. Означенный Даниил Морозов уплатил ему, Илье Цветкову, для передачи «Гарфельдихе» месячную плату в 250 рублей.

Разумеется, следственные власти в сопровождении больших сил полиции тотчас нагрянули в квартиру номер 4. Но там оказалась только вышеупомянутая ничего не подозревавшая и сразу насмерть перепугавшаяся кухарка Эмилия Лаврецкая, служившая прежде у Гарфельд и по ее рекомендации нанятая Морозовыми вечером 9 августа. Очевидно, она тоже не имеет ни малейшего отношения к кровавому преступлению. «Барыни» же и «горничной» и след простыл.

Не может быть сомнения в том, что фамилии Морозовых, Миронова, Монакиной ложные, а паспорта либо фальшивые, либо у кого-либо похищенные, что в настоящее время и выясняется дознанием. Остается только удивляться тому, что лица, снявшие столь дорогую квартиру на Морской, могли пользоваться «плебейскими» паспортами и не обратили этим на себя внимания.

Показанием кухарки установлено, что злоумышленники вели все три дня замкнутый образ жизни. Швейцар дома, крестьянин Иван Козлов, новых жильцов не знавший именно из-за их замкнутого образа жизни, показал, что 12 августа, приблизительно в три часа без четверти пополудни, к дому номер 49 подкатил экипаж, и из дому быстро вышли два офицера, один штатский и женщина, как будто горничная, причем один из офицеров уже на улице дал ему, Козлову, рубль на чай, а женщина указала кучеру адрес: «На Аптекарский» и велела ехать медленно. Очевидно, это было сделано для того, чтобы снаряды в портфелях не взорвались по дороге от какого-либо случайного толчка.

Тотчас после отъезда ландо на улицу вышли «барыня», в сопровождении той же «горничной», причем он, швейцар Козлов, для барыни нанял извозчика, а горничная ушла пешком, а куда, он, швейцар, не может знать. Номера извозчика он не заметил.

О приметах Морозова и Миронова означенные свидетели ничего ценного сообщить не могли: совсем молодые, невысокие, больше ничего. Лучше запомнили «барыню: высокая — выше погибших злоумышленников, — сложена «ладно», не полная, лицо белое, нос небольшой, по виду совсем барыня, по-русски говорила чисто. Кухарка Лаврецкая еще показала, что вчера, 12 августа, господа встали в десять часов утра и завтракали в час. На «барыне» в этот

день была чесучовая кофточка, черная шелковая юбка, и черный, очень, по словам Лаврецкой, «модный», пояс.

В квартире номер 4 обнаружены три больших букета цветов. Быть может, Морозова или Монакина поднесли их погибшим злоумышленникам, отправлявшимся на верную смерть.

К тому моменту, когда настоящий отчет сдается в набор, других фактов не установлено.

Можно предполагать, что преступление совершено либо анархистами, о чем как будто свидетельствует возглас: «Да здравствует анархия!», либо партией социалистов-революционеров, либо, скорее, недавно отколовшейся от последней партии пресловутой группой так называемых максималистов».

Волнение у Люды достигло предела. «Что же это?.. Революционеры и такое гнусное преступление!.. Ведь это же иначе назвать нельзя!..» Ее особенно поразили некоторые подробности: человек со снесенной головой, сообщение о букетах, о последнем завтраке перед самым делом.

В газете была еще небольшая передовая статья: «Как бы мы ни относились к политике председателя Совета министров, разогнавшего Первую Государственную Думу, мы не можем не признать чудовищным преступление, совершенное вчера на Аптекарском острове и сопровождавшееся столькими безвинными жертвами...» — «Да, он совершенно прав: чудовищное дело!.. Пишет смело, могут и прикрыть газету... Господи, что за люди?»

Люда принялась снова за отчет и только теперь заметила подпись: «П.» — «Да это Альфред Исаевич!» Минуты через две она, не расчесав даже волос, не застегнув крючков платья, стучала в коридоре в дверь Певзнера. Никто не откликнулся,

— Их нет, барыня. Вчера вернулись поздно ночью, а сегодня ушедши в шесть утра. Они ведь пишут в газетах. Все этот взрыв, — сказала проходившая с подносом горничная.

Люда вернулась в свой номер. Подумала, что надо бы сейчас же отправиться на Аптекарский остров. «Но верно, к даче никого не допускают? Да и что же теперь там увидишь, если и пустят?» Опять представляла себе человека с оторванной головой, просителя с ребенком в руках, букеты.

Даже не вспомнив об оставшихся объявлениях, она принялась беспорядочно укладывать вещи. Руки у нее сильно дрожали. «Никогда, никогда не могла бы участвовать в

таких делах и ни за что не буду!.. Да, грязное, отвратительное дело!»

В этот же вечер она выехала в Москву. Точно за что-то себя наказывая, взяла билет третьего класса. Отдав носильщику вещи, увидела бежавшего газетчика. «Разве есть в воскресенье вечерняя газета? Или экстренный выпуск?» — «Последнюю продаю, барыня, в городе больше и не достанете». Люда хотела было развернуть листок еще на ходу, развернула в вагоне, положив несессер на пол, не посадив на колени кошку.

Сообщались еще новые подробности дознания:

«Из обрывка подкладки на одном из мундиров установлено, что жандармские мундиры приобретены в магазине готового платья «Новый Базар» на Невском. Служащие магазина, мещане Аронсон и Шиндельман, показали, что эти мундиры куплены в начале августа неизвестной им молодой дамой, приезжавшей в сопровождении какого-то человека, тоже им неизвестного. Как были одеты покупатели, Аронсон и Шиндельман ответить затрудняются: «Покупателей в наш магазин приходит много, всех не запомнишь».

Дознание выяснило также, что шарфы и жандармская амуниция были приблизительно в то же время приобретены в магазине офицерских вещей Семенова в Апраксином рынке. Служащие этого магазина, крестьяне Алешин, Кичига и Вознесенский, показали, что вещи были проданы даме и господину. Можно, таким образом, думать, что покупатели в обоих магазинах были одни и те же. Однако приметы сопровождавшего даму господина, насколько можно судить по показаниям вышеупомянутых приказчиков, никак не совпадают с приметами погибших злоумышленников: господин был высокого роста и атлетического сложения, чего нельзя сказать об этих последних. Таким образом, можно с большой вероятностью предположить, что в деле на Аптекарском острове участвовал еще один мужчина, пока не арестованный, так же, как «Миронова» и «Монакина».

Вдруг одна установленная дознанием подробность потрясла Люду:

«Извозопромышленник Александров еще показал, что то же ландо с тем же кучером Станиславом Беднарским за два дня до преступления, а именно 10 августа вечером, было у него нанято теми же Цветковым, дворником дома номер 49 по Морской, и неизвестной ему по имени женщиной (очевидно, «горничной Монакиной») для поездки в сад «Олимпия» по Бассейной улице. Дворник Цветков подтвер-

дил это показание. Он заявил, что ездили в тот вечер «барыня» Морозова, Морозов и Миронов. Подтвердила это показание и кухарка Эмилия Лаврецкая: господу куда-то уезжали, куда именно, не знает, и вернулись поздней ночью».

IX

Остановилась Люда в Москве в каких-то совершенно дешевеньких номерах. Теперь твердо, почти с радостью, решила жить чрезвычайно скромно. В первый день читала газеты, уже спокойнее, — все то же, — бегала по городу, никого не встретила и скучала. Решила завтра позвонить Ласточкину. Помнила, что он обычно возвращается из-за границы в конце июля или начале августа. «Верно, уже вернулись... Если к аппарату подойдет герцогиня, повешу трубку, пусть выйдет так, будто никто не звонил».

Она позвонила, с несвойственной ей робостью, в такое время, когда Дмитрий Анатольевич обычно бывал дома. На беду, к аппарату подошла именно Татьяна Михайловна. Узнав голос Люды, она совершенно растерялась, тоже хотела было повесить трубку, но и у нее это не вышло, заговорила со своими обычными любезными интонациями; по своему характеру, и как не умела Люда, отвечала радостно и смущенно.

— Митя... Мой муж будет очень огорчен, что вы его не застали... Где вы остановились? — говорила растерянно Татьяна Михайловна. — Я скажу Дмитрию Анатольевичу... Надеюсь скоро вас увидеть...

Ласточкин был изумлен и очень доволен.

— Как же нам теперь быть? Ты ее к нам пригласила, — сказал он жене.

— Не пригласила, но сказала «надеюсь». Сама не знаю, как это вышло!

— Да это и есть приглашение, — победоносно уточнил Дмитрий Анатольевич. — Что ж делать, теперь надо ее звать.

— Тартюф! Сознайся, что ты страшно рад. Вот что, поезжай сначала ты к ней. Разбойника я во всяком случае принимать не хочу. Его ни за что не зови! Может быть, тогда она не примет приглашения, и слава Богу!

Ласточкин поехал к Люде на следующий же день. Убогие номера нашел не без труда. «Бедная! Верно, сидит без копейки. Надо тотчас дать ей денег».

Люда чрезвычайно ему обрадовалась.

— Как мило, что вы заехали, Дмитрий Анатольевич!.. Или мне по-прежнему звать вас Митей?

— Да, разумеется! — ответил Ласточкин, и, тоже немного против его воли, эти слова оказались похожими даже не на «теплую ноту», а на горячее восклицание. «Изменилась. И глаза стали гораздо грустнее. Счастья особенного незаметно». На кровати что-то зашевелилось, на пол прыгнула кошка. Дмитрий Анатольевич только теперь заметил, что кровать была узкая, на одного человека. «Где же «разбойник»? Или она приехала из Петербурга одна? Это очень облегчило бы положение. Тогда, пожалуй, и на обед можно пригласить».

— А, знакомая, — сказал он с улыбкой, показывая взглядом на кошку, которая тотчас взобралась на колени к хозяйке.

— Нет, это другая, новая! Неужели вы не заметили, Митя! Представьте, Пусси от меня сбежал!

— Простите, не заметил. Эта очень похожа, хотя теперь вижу, что она темнее.

— Я, впрочем, думаю, что он не сбежал, а верно, его, беденького, раздавил где-нибудь трамвай, он выскочил на улицу, я недоглядела, бий меня бис! Три дня ходила сама не своя, — говорила, оправдываясь, Люда. Ласточкину было странно, что они начали с разговора о кошке.

— Таня тоже очень рада вашему приезду.

— Неужели? Она была со мной очень мила. Как она? Я ведь думала, что вы оба больше и знать меня не хотите. И вы были бы правы. Я действительно виновата перед Рейхелем. Впрочем, виновата не в том, что разошлась с ним, а в том, что сошлась.

Дмитрий Анатольевич закрыл глаза и чуть развел руками.

— Мы вам не судьи, это ваше интимное дело, — сказал он. — Когда же вы к нам придете? Приходите в субботу обедать.

— Даже обедать зовете? Надеюсь, с согласия Татьяны Михайловны? Спасибо вам обоим. Что она? Что Нина? Я знаю, что Нина вышла за Тонышева. Где они?

— Они в Вене. Алексей Алексеевич получил повышение. Верно, пойдет далеко по службе.

— В этом я ни минуты не сомневаюсь, он такой способный человек. И очень привлекательный.

— Они оба очень привлекательны. Нина имеет в венском обществе большой успех. Они даже завели «салон».

— Да, ведь он очень богат.

— Это зависит от того, что называть богатством, — сказал, улыбаясь, Ласточкин. — А каково, Люда, ваше собственное материальное положение? — воспользовавшись случаем, спросил он.

— Очень плохое.

— Ваш... друг не имеет средств? Если вы позволяете об этом говорить?

— Я рассталась с Джамбулом, — ответила Люда. Дмитрий Анатольевич вытаращил глаза.

— Расстались?

— Да, он от меня сбежал. Как Пусси. Я шучу, не сбежал, но мы не сошлись убеждениями. Я не хотела заниматься его нынешними делами. Да и другое было, пятое-десятое. Но мы расстались полюбовно, в очень хороших, даже дружеских отношениях.

С минуту продолжалось молчание. «Пятое-десятое!» — подумал Ласточкин. Он и вообще не очень любил ее развязную манеру речи, но тут развязность показалась ему особенно натянутой и неуместной. «Может, появился еще кто-нибудь? До чего же она, бедная, дойдет?»

— Люда, возьмите у меня денег! Вы меня обидите, если откажетесь, прямо говорю, обидите! — наконец, сказал он. О деньгах все-таки говорить было легче.

Она долго отказывалась. У нее показались на глазах слезы. Была тронута, и ей было стыдно: угадывала его мысли. Ласточкин расстроился. Люда уступила.

— От души вас благодарю, Митя. Но я хочу просить вас о другом: найдите мне место. Я хочу работать, пора! Мне все равно какое. И с меня будет достаточно самого скромного жалованья. Именно место, а не синекуру!

— Я сделаю все возможное и думаю, что это можно легко и быстро устроить. Будьте совершенно спокойны. Это не то, что создать научный институт.

Они говорили довольно долго. Люда опять спросила, что Татьяна Михайловна, и опять, не дожидаясь ответа, перешла на другое. Дмитрий Анатольевич думал о ней все более изумленно. «Что скажет Таня?»

— Какое ужасное событие произошло в Петербурге! — сказал Ласточкин. — Этот взрыв с десятками ни в чем не повинных жертв! Какие времена!

На это Люда ничего не ответила. Дмитрий Анатольевич был совершенно надежный человек, но ей было тяжело говорить о Соколове. Он снился ей вторую ночь. «Он ли взорвался или другие?» — спрашивала она себя.

Татьяна Михайловна также была поражена уходом «разбойника» и не только не обрадовалась (чего Ласточкин все же немного опасался), но огорчилась. «Тебе, впрочем, верно, жаль было бы и Джека-Потрошителя, — весело говорил Дмитрий Анатольевич. — Ее в самом деле очень жаль, очень!»

Через два дня он нашел для Люды место в одном из кооперативных учреждений, начавших распространяться в России. Жалование было достаточное для скромной жизни. Приняли ее хорошо. Люда была в восторге и сразу увлеклась работой.

Благополучно сошла и ее встреча с Татьяной Михайловной. Об интимных делах не говорили. Татьяна Михайловна отлично вела разговор, пока его еще нужно было «вести». Дмитрий Анатольевич поглядывал на нее с благодарностью. Кроме Рейхеля, у них не было близких родственников, поэтому не было и обычных споров между мужем и женой: «это *твои* родные». Люда не была родственницей, все же за нее отвечал Дмитрий Анатольевич.

Разумеется, Ласточкины не предлагали ей жить у них, да она и не согласилась бы. Дмитрий Анатольевич советовал ей переехать в другую гостиницу, получше. Она отказалась и от этого, все как будто себя наказывая. Стала бывать у Татьяны Михайловны, впрочем не часто: ссылалась на работу.

Действительно, она проводила на службе весь день. По вечерам читала ученые книги, притом с увеличивавшимся интересом, и все понимала. В газетах только просматривала заголовки, начиная с кавказских телеграмм. В театры не ходила, от приглашений отказывалась. «Я, кроме вас двух, никого не хочу видеть», — объясняла она Ласточкиным. Говорила совершенно искренно. Как с ней нередко бывало в суждении о людях, с ней внезапно произошла перемена. Она теперь не только не говорила колкостей Татьяне Михайловне, не только не называла ее мысленно «герцогиней», но даже ее полюбила. По ее желанию, они стали называть друг друга просто по имени. Чуть было даже не перешли на «ты», но обе подумали, что это было бы пока неудобно. «При Аркадии говорила ей «вы», а стала бы говорить «ты», когда его бросила!.. Но в самом деле, я была к ней очень несправедлива. В Москве все единодушно говорят, какие прекрасные люди Таня и Митя, это редко бывает, и все совершенно правы. И Нина тоже очень милая женщина. Тонышев хуже, но и он порядочный человек. И все они гораздо лучше революционеров!» — думала Люда.

Ласточкины радостно отмечали происшедшую в ней перемену.

— Я так рад, что у вас теперь такие хорошие отношения! — говорил жене Дмитрий Анатольевич. — И надо же, чтобы это случилось после ее ухода от Аркаши!

— У нее угрызения совести из-за всей этой истории. Да, каюсь, мне прежде она была несимпатична. Я даже думала, что она ограниченный человек. Она и не читала почти ничего, музыки тоже не любила. Но я совершенно ошиблась! Люда не глупа, и не зла, и способна. Видишь, как она увлечена книгами, в которых я ничего и не поняла бы! И я уверена, что у нее больше никаких походов не будет. Да собственно, эту историю с «разбойником» и нельзя назвать «похождением», беру слово назад.

— Да, у кого таких дел не было? Кроме тебя, конечно. Дай Бог, чтобы она в кого-нибудь влюбилась по-настоящему и вышла замуж.

— А ты заметил, она стала патриоткой. В хорошем смысле. Говорит, что Кавказ, Финляндия мечтают об отделении от России и, верно, другие окраины тоже. Я спросила: «Да разве вы, Люда, этого не хотите?» Она ответила: «И слышать не хочу!»

— Я искренно рад. Я тоже не хочу.

— Но мы ведь и раньше не хотели, а она была революционеркой. Верно, уж очень, бедная, разочаровалась в «разбойнике».

— Должно быть, хорош гусь!.. Я, в частности, так рад тому, что она увлеклась кооперацией. Это, действительно, прекрасная работа. Молодежь ею не интересуется, потому что в ней нет романтики. А она в сто раз важнее и лучше того, что делает теперь молодежь. Недаром в кооперацию стали уходить люди, разочаровавшиеся в революции, как Люда.

И Люде, и Татьяне Михайловне очень хотелось поговорить о «похождении» по душам, но обе боялись начать этот разговор. Однажды Люда увидела на столике в гостиной «Викторию» и чуть изменилась в лице.

— Вам нравится Гамсун, Таня? Я его обожаю!

— Я нет.

— Почему?

— Уж очень он ненатурален, я этого не люблю.

— Он теперь во всем мире признан гением.

— Да, я знаю. Люди очень щедро раздают этот титул, особенно иностранцам, и легко поддаются в литературе чужому мнению. Тут в книге есть его краткая биография. Он

прошел через очень тяжелую школу нищеты, даже голода. После нее, по-моему, трудно стать гениальным писателем: слишком человек озлобляется.

— Однако ведь многие великие писатели были злыми. Я даже где-то слышала анекдот. Какой-то остряк-критик советовал начинающим писателям: «Никогда не говорите о людях ничего дурного. Ни в каком случае и не думайте о людях ничего дурного. И вы увидите, какие отвратительные романы вы будете писать!»

Татьяна Михайловна засмеялась.

— Правда? Но зачем же слушать остряков? А главное, у Гамсуна все так неестественно.

— И «Лабиринт любви» в «Виктории»?

— Я как раз сегодня это читала. Да, и этот «Лабиринт». «Цветы и кровь»! Зачем кровь? Цветов неизмеримо больше, — сказала Татьяна Михайловна, подумав о любви между ней и мужем. — А почему вы о нем спрашиваете?

— Он в моей жизни сыграл большую роль, — ответила Люда.

Татьяна Михайловна смотрела на нее вопросительно. «Лабиринт»?.. Теперь расскажет?» — подумала она.

Но Люда ничего не рассказала, хотя ей этого хотелось. Рассказала лишь недели через две. Татьяна Михайловна слушала с недоумением. Хотела сочувствовать, но не могла.

— Не понимаю. Страстная любовь на несколько месяцев, — не удержавшись, сказала она. — Уж если мы заговорили о книгах... Вот вы, Людочка, любите говорить о литературе, а Нина еще больше, она многое даже выписывает. Я не люблю и не умею, но уж если заговорили. Так вот, я недавно читала, что знаменитый революционер Дантон ездил в миссию в Бельгию, а тем временем в Париже умерла его жена, которую он обожал. Он вернулся через неделю после ее похорон и был так потрясен, что велел вырыть ее из могилы и обнял ее в последний раз. Просто думать страшно и даже гадко. Но через несколько месяцев он женился на другой! Я такой любви просто не понимаю!

— А я понимаю. Мне нравятся именно такие люди, как Дантон! — сказала Люда. «Верно, Таня считает настоящей только их скучную любовь с Митей!» — подумала она.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В Вене с ужасом и благоговением говорили, что император Франц-Иосиф «живет по хронометру». Так, верно, ни один другой человек во всей Австрии и не жил. Говорили также неодобрительно, что он газеты читает «в гомеопатических дозах»: главное узнает из докладов, а остальное ему рассказывают Катерина Шратт или же «старый еврей»; под этой кличкой был в венском обществе известен Эммануил Зингер, один из владельцев большого газетного треста, ничего в газетах не писавший, но знавший все и почему-то пользовавшийся милостью императора, который пожаловал ему дворянство.

Зингер, очень любивший Франца-Иосифа и хорошо его знавший, никаких советов ему не давал; только сообщал, «что говорят», и часто ссылался на каких-то галицийских талмудистов. Император не очень и ему верил, но слушал внимательно и не без интереса: может быть, и старики талмудисты что-то понимают, очень мало, но столько же, сколько министры или генералы.

Своих суждений, не относившихся к очередным делам, он министрам не высказывал. Один из них, граф Куэн-Хедервари, встречавшийся с ним в течение тридцати лет, вероятно, не менее тысячи раз говорил, что совершенно императора не знает: между ними в разговорах всегда был точно невидимый занавес, за занавесом же находился не человек, а какой-то живой символ Габсбургской монархии.

Еще меньше верил он генералам. Особенно не любил, чтобы генералы вмешивались в политические дела (а министры — в военные). Раз, позднее, начальнику генерального штаба Гецендорфу устроил сцену, когда генерал стал критиковать министра иностранных дел Эренталя, — если можно было назвать сценой то, что император немного повысил голос и чрезвычайно сухо сказал: «У графа Эренталя нет никакой своей политики, он делает *мою* политику».

Его любовница Катерина Шратт сообщала ему придворные сплетни. Она его обожала, тоже не давала ему советов, тоже ни о ком его не просила и ни о чем его не просила, денег от него не брала и даже подарки принимала смущенно. Это он чрезвычайно ценил.

Газетам же он не верил совершенно и даже не понимал, для чего они издаются и зачем их люди читают. Жил он учением католической церкви и своей старческой мудростью, а также — в значительно меньшей степени — наследственной мудростью тех 137 Габсбургов, которые были похоронены в фамильной усыпальнице Капуцинской церкви. Живыми же Габсбургами и их мнением интересовался мало.

Он проснулся, как всегда, в четыре часа утра и тотчас же встал со своей железной кровати. Ее называли «походной», хотя он на своем веку в походах бывал очень мало. Обстановка его спальни была чрезвычайно проста и даже бедна, особенно по сравнению с общим великолепием Бурга. Редкие люди, которые по долгу службы иногда заходили в эту комнату, изумлялись: неужели *так* живет император! Находили в этом «спартанский стиль» и не без недоумения вспоминали, что в своей интимной жизни, особенно в молодости, он спартанцем не был. Сам он не говорил ни о походной кровати, ни о спартанском стиле. Франц-Иосиф принадлежал к не слишком многочисленным в мире людям, которые ни в чем никогда не притворяются. Он был именно таков, каким его считали. Ему нравилось, что его спальня убрана так бедно, а дворец так богато; за долгую жизнь он привык к этому; вообще ничего не любил менять.

День начался с массажа ледяной водой. Так он начинался всегда. В последние годы доктор Керцль настойчиво требовал, чтобы император от такого массажа отказался: действительно, он в течение двух-трех часов после этого за работой дрожал и не мог согреться; позднее у него образовался хронический катар дыхательных путей. Керцль все же ничего не добился.

Завтрак состоял из стакана молока. Франц-Иосиф сел за стол, тоже очень простой и содержавшийся в чрезвычайном порядке. Чернильница, лодочки с карандашами, с очищенными гусиными перьями находились всегда на одних и тех же местах. Камердинер знал, что, если он что-либо передвинет хотя бы на дюйм, то император тотчас заметит и рассердится; гнев же у него выразится только в глазах и в коротком замечании. Франц-Иосиф почти никогда голоса не повышал и не выносил, чтобы при нем повышали голос

другие. Придворным было известно, что на больших обедах за столом поблизости от него, да и не только поблизости, надо говорить очень тихо, — избави Бог засмеяться или рассказать анекдот. Придворные обеды в Вене весельем не отличались.

На столе лежала тщательно выровненная стопка бумаг, поступавших на рассмотрение императора. Все знали, что Франц-Иосиф чрезвычайно добросовестен в работе, что он один из наиболее трудолюбивых людей страны. Говорили, будто он читает, от первого до последнего слова, все поступавшие к нему документы. Это было бы совершенно невозможно. Бесчисленные бумаги, подававшиеся ему просто для подписи, он только пробежал и подписывал. Но доклады сановников читал очень внимательно: требовал только, чтобы они были не слишком длинны и по возможности просты.

Для хороших решений ему, как и другим правителям мира, нужны были бы такие обширные, глубокие, всеобъемлющие познания, каких не имел ни один человек на свете. Но он в меру думал над каждым докладом и писал свои замечания, всегда осторожные, обычно дельные. Иногда, впрочем, вставлял отдельные слова, непонятные министрам, вроде «Опять Бомбелль», «Бейст 1869 год», «1854 год, № 107». Император обладал необычайной памятью и неизменно всех поражал тем, что не только знал документы, подписанные им в молодости, но помнил даже их номера. Министры часто ломали себе голову над его отрывочными словами и приписывали их старческой рассеянности. Разъяснений обычно не просили, делали вид, будто понимают. Франц-Иосиф не любил устных указаний, предпочитал все писать и думал, что это не только самый надежный, но и самый быстрый способ работы. По телефону никогда не говорил и не имел даже аппарата в своих покоях: это было очень вредное и особенно беспокойное новшество. Так он до конца дней не пользовался и автомобилями; еще удивительно, что ездил по железным дорогам, которые, правда, появились в пору его детства.

Одна из бумаг касалась не государственных, а личных имущественных дел. Император управлял огромным наследственным богатством Габсбургов, и его управление вызывало у эрцгерцогов глухое недовольство. Имущество могло бы приносить гораздо больше дохода, чем приносило. Так, земли были сданы полтора-два года тому Марией-Терезией по 47 крон за акр; эта арендная плата была недурной в восемнадцатом столетии, но теперь цены были совершенно другие, и наследник престола довольно настойчиво по-

говаривал о необходимости изменения контрактов. Он находил также, что в многочисленных владениях короны слишком много служащих и что некоторые из них ведут дела очень плохо или недобросовестно. Сахарное дело во всей Европе считалось чрезвычайно выгодным, все австро-венгерские сахарные заводы приносили большой доход, и только Гединский завод императора приносил большой убыток. Франц-Иосиф, впрочем, сам понимал, что он плохой сахарозаводчик, что действительно служащих больше, чем нужно, и что контракты с арендаторами не соответствуют новым экономическим условиям.

Он далеко не был равнодушен к богатству Габсбургского дома, и желал быть самым богатым из монархов, — тут соперничество могло быть только с русскими царями. При браках эрцгерцогов и эрцгерцогинь самым важным, конечно, была *Ebenbürtigkeit*¹ их невест и женихов; собственно, вполне *ebenbürtig* были только Бурбоны, — правда, они никогда не имели императорского титула; да еще, пожалуй, баварская и саксонская династии: они королями стали не очень давно, но глубокая древность их владетельных родов была смягчающим обстоятельством. Все же Франц-Иосиф, хотя сам женился по любви на бедной баварской принцессе, бывал вполне удовлетворен лишь в тех случаях, когда женихи и невесты были не только *ebenbürtig*, но и очень богаты.

Женитьба наследника престола на какой-то чешской графине была для императора страшным ударом. Франц-Фердинанд смущенно ему говорил, что род Хотеков очень старый. Франц-Иосиф только смотрел на него с недоумевающей и презрительной улыбкой: Габсбурги на графинях не женятся! После долгих увещаний, он, скрепя сердце, дал согласие при условии, что брак будет морганатическим: женится Бог знает на ком, и только еще не хватало бы, чтобы его сын взшел на австрийский престол. Теперь, читая бумагу, он сердито думал о деловых планах наследника. Знал, что Франц-Фердинанд не жаден к деньгам (при устройстве своих великолепных садов в Конопиште он просто снес несколько доходных домов). Но, очевидно, он не понимал некоторых вещей: не понимал, что нельзя отменять условия, подписанные Марией-Терезией, нельзя увольнять хотя бы плохих служащих, предки которых служили Габсбургам. «Верно, и это идеи его дорогой жены», — думал он и с досадой отложил бумагу. Несколько позднее Франц-

¹ Равенство по происхождению (нем.).

Фердинанд прислал ему официальный меморандум о необходимости перемен в управлении наследственными богатствами. Император ответил решительным отказом.

Работа кончалась обычно в восьмом часу утра, иногда несколько позднее, в зависимости от числа бумаг. Он ничего не откладывал на следующий день. Подписав последнюю бумагу, он позвонил в колокольчик. Вошел дежурный адъютант. Император учтиво-холодно наклонил голову. Руки не подал. Подавал руку только генерал-адъютантам, высшим государственным сановникам, иностранным дипломатам и людям, носившим очень древние, исторические имена, — знал генеалогию всех австрийских и многих иностранных фамилий. Никогда не подавал руки духовным лицам, даже кардиналам, и не целовал перстня. Люди удивлялись и приписывали это историческому атавизму, восходившему ко временам соперничества Габсбургов с папами. Это нисколько не мешало ему быть чрезвычайно благочестивым человеком. О смерти он почти не думал: по недостатку воображения не мог себе представить *свою* смерть, а в загробной жизни никогда не сомневался. Твердо знал: все будет хорошо. Только будет в Капуцинской церкви 138-й Габсбург. Потерял очень много близких людей и никогда не испытывал чувства, будто у него похитили самое дорогое. Знал, что всех увидит снова. Но не спешил увидеть.

Адъютант подал список людей, которым на этот день были назначены аудиенции с указанием числа минут каждой. Шестой в списке значилась дама: старая принцесса. Он велел впустить ее первой и перешел в другую, очень роскошно убранную комнату. Дамам, независимо от их происхождения, он всегда целовал руку: не садился за стол на парадных обедах, пока не селись дамы, — выходило так, что они усаживались в ту же секунду, что он; на балах, если недалеко от его кресла стояла у стены дама, он жестом предлагал ей занять его кресло, от чего она отказывалась с ужасом.

Он поцеловал руку принцессе, предложил ей сесть и одновременно сел и сам. Ей было отведено десять минут. Франц-Иосиф спросил об ее здоровье, о погоде в том городе, из которого она приехала, об общих знакомых, глубоких стариках и старухах, — помнил всех. Принцесса рассказывала. Он с юношеских лет выработал привычку слушать как будто с интересом и воздерживаться от зевоты. На девятой минуте принцесса, забывшая его правила, о чем-то пошутила и даже засмеялась. Это было совершенное

безобразие. Глаза у него сразу стали ледяными. Она смутилась. Аудиенция продолжалась только девять минут. Он проводил принцессу до дверей.

Затем представлялись разные генералы. Их он расспрашивал о состоянии вверенных им частей, расспрашивал очень внимательно: военным делом еще интересовался больше, чем всем другим. Подал руку только одному генералу: это был барон с древним именем. До него был принят граф, ему император руки не подал: титул этого графа имел всего столетнюю древность. Барона же спросил даже об его охоте и вспомнил, что в молодости охотился с его дедом. Аудиенция была без свидетелей. Император знал, какой честью считается его рукопожатие, знал, что не все верили рассказам очастливленного лица, и после окончания приема вскользь сказал обер-гофмаршалу, что подал руку барону; таким образом это тотчас стало известно всем при дворе.

Ровно в двенадцать лакеи внесли небольшой столик с прибором. Франц-Иосиф ел очень мало. Завтрак продолжался двадцать минут, а перерыв в аудиенциях был в полчаса. Кофе император никогда не пил; позволял себе две сигары в день. С наслаждением закурил, но бросил сигару в двенадцать двадцать семь. Лакеи унесли столик. Аудиенции возобновились. Оставалось восемь человек, и только последняя аудиенция, назначенная графу Берхтольду для важного разговора, не была ограничена числом минут. Таким образом, рабочий день был на этот раз не очень длинный. Вечером не было ни спектакля, ни бала. Никаких владетельных особ в Вене теперь не было и в ближайшее время не ожидалось. Это было очень приятно. Его утомляли посещения монархов, особенно Вильгельма II, которого он вдобавок не считал *настоящим* императором, как не считал настоящими императорами Романовых или прежде Бонапартов. Франц-Иосиф родился уже после того, как Габсбурги из императоров Священной Римской Империи стали просто австрийскими императорами, и в душе не прощал Францу II этого понижения в ранге династии.

Он догадывался, о чем с ним будет говорить австро-венгерский посол в России. Этот родовитый, богатый и потому независимый человек, очень красивый, всегда превосходно одевавшийся, ему нравился. Император даже подумывал о том, чтобы предложить Берхтольду самую высокую придворную должность, для которой он очень подходил. Считал умным, способным человеком и министра иностранных дел Эренталя; тот был еврейского происхождения, но это

для Франца-Иосифа в государственных делах не имело значения, он не выносил только людей, объявлявших себя свободомыслящими.

Однако и Эренталь, и Берхтольд вели беспокойную политику: оба ставили себе целью присоединение к империи Боснии и Герцеговины. Франц-Иосиф и сам хотел бы закончить свое царствование таким делом. Тут сказывались чувства 137 предков. Но дело казалось ему рискованным: могло привести к войне с Россией. Никаких войн он больше не хотел и всячески им сопротивлялся. Изменить его мнение ни Берхтольд, ни Эренталь не могли. Никто на него влияния не имел. Хорошо знавший его человек сказал о нем: «Если б в Империи был какой-нибудь князь тысячелетнего рода, и если б он был верующий католик, и если б он обладал огромным умом, огромной культурой, огромным состоянием, и если б он никогда, ни разу в жизни, ни о чем для себя не попросил, то, быть может, он имел бы некоторое влияние на нашего императора. Но такого человека в Империи нет».

Франц-Иосиф подал Берхтольду руку и предложил ему сесть. Спросил о здоровье, о погоде в России, о царе и царице. Затем вопросительно на него уставился, приглашая его перейти к делам.

После краткого общего доклада Берхтольд высказал мнение, что приобретение Боснии и Герцеговины совершенно необходимо империи. Оно чрезвычайно ее укрепит и сильно повысит ее престиж. Никакого риска нет: Россия на войну не решится. Вследствие недавнего поражения на Дальнем Востоке она очень слаба. Командование, военное снабжение, подготовка армии оказались плохими, русский военный флот совершенно разгромлен, — он приводил факты и цифры. Кроме того, революционное движение отнюдь не подавлено, в случае новой войны оно вспыхнет с еще гораздо большей силой: недовольство в России стало почти всеобщим. Сербия, разумеется, заявит протест, но какое значение может иметь Сербия? Настал благоприятный момент для действия, упустить его было бы грехом и огромной ошибкой.

Он говорил хорошо, гладко, без горячности: знал, что говорить с императором *горячо* нельзя. Франц-Иосиф бесстрастно и внимательно его слушал. Все это не раз слышал и от Эренталя. «Да, оба хотят одного и того же. Как будто все правильно, но уверенности в этом быть не может, — думал он, — ни на чьи такие слова полагаться невозможно. Они молоды, большого опыта у них нет».

— Присоединение к моей империи Боснии и Герцеговины? Да, я это знаю, — холодно сказал он, когда Берхтольд замолчал. — Но вы говорите, что оно не приведет к войне с Россией и что Россия слаба. Однако так будет не всегда. И готовы ли к войне мы сами?

— В этом не может быть никакого сомнения, ваше величество. Таково единодушное мнение нашего командования.

— Я то же самое слышал от моих фельдмаршалов и генералов и в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, и в тысяча восемьсот шестьдесят шестом. Они жестоко ошиблись. Могут ошибиться и теперь. Я никакой новой войны не хочу. Прошу вас твердо это запомнить. Я давно говорил это и Бюлову (он произносил по-венски: Билов; правильным могло быть, конечно, только австрийское произношение).

— Строго подчиняюсь воле вашего величества. Но я обязан высказать свое убеждение. Если б даже Россия решилась на войну, то ей пришлось бы иметь дело также с Германией. Франция же в войну, наверное, не вмешается.

— Это мне тоже говорили. Я не уверен ни в том, ни в другом, — сказал император еще холоднее. — Император Вильгельм — друг царя. Французская политика очень изменчива. В политических делах нельзя быть уверенным ни в чем. И если б даже война кончилась полной нашей победой, то погибли бы сотни тысяч людей. А я, как верующий человек, не хочу проливать чью бы то ни было кровь и всего менее кровь моих подданных.

— Кровь и не будет проливаться, ваше величество, — уныло сказал Берхтольд. Он знал взгляды, не раз высказывавшиеся императором и Эренталю. Знал также, что эти взгляды не имеют решающего значения: давление правительства, парламента, того, что он называл волей народа, то есть мнения газетных передовых статей, окажутся сильнее. Франц-Иосиф и сам это понимал. Все же Берхтольд был разочарован. «С такими взглядами никакой политики вести нельзя. И он сам не всегда так думал. И я такой же добрый католик, как он... При чем тут вера?»

— Со всем тем я не отрицаю, что было бы очень хорошо мирным путем присоединить Боснию и Герцеговину к моей империи, — сказал император. Смутно почувствовал, что этими словами почти уничтожает значение того, что

говорил раньше. Это тотчас сказалоcь и в выражении глаз Берхтольда. — Я надеюсь, что вы, с вашими способностями и тактом, будете поддерживать добрые и корректные отношения с Россией.

— Я это и делаю как могу, ваше величество, — сказал Берхтольд облегченно и даже искренно. У него в самом деле были очень хорошие отношения с русским придворным миром. Его забрасывали приглашениями, он чуть не каждый день в обществе, в балете, в Михайловском театре встречался с петербургской аристократией.

После окончания приема император вздохнул свободно. Рабочий день был кончен. Оставалось теперь только приятное: прогулка, обед не на переносном столике, а в столовой, вековое токайское — он, впрочем, пил мало, — и госпожа Шратт. Ей разрешалось улыбаться, и даже хохотать, и даже рассказывать венские анекдоты. Он и сам смеялся в разговорах с ней; без нее, быть может, просто не выдержал бы своей жизни.

II

От Рейхеля пришла телеграмма: «Приезжаю среду несколько дней телеграфируйте можно обедать у вас четверг если дома приду шесть часов».

В другое время эта телеграмма обрадовала бы Ласточкиных. Они любили Аркадия Васильевича, мирились с его тяжелым характером и, как говорила Татьяна Михайловна, чувствовали себя перед ним «без вины виноватыми»: не нашли для него в Москве работы. Изредка с ним переписывались. Он писал суховато. Это огорчало Дмитрия Анатольевича. Вскоре после того, как его бросила Люда, Рейхель кратко сообщил им, что, наконец, получил хорошее место с лабораторией в Военно-Медицинской академии и просил больше ему денег не присылать. В ответном поздравительном письме Ласточкин предложил помогать ему еще хоть некоторое время, так как ученые учреждения, верно, авансов не дают. Рейхель повторил, что отказывается: «Я очень тронут твоим и Тани неизменным вниманием. Однако я уже не нуждаюсь и, верно, больше никогда нуждаться не буду».

— Я была бы рада Аркаше, но как бы он теперь не встретился у нас с Людой? Верно, он слышал, что она в Москве: на всякий случай точно указывает день и час,

точно не знает, что может прийти на обед, когда хочет, — сказала Татьяна Михайловна. — Быть может, он и сердится, что мы ее принимаем. Я тебе говорила.

— Ты говорила, но пригласила ее к нам ты, — опять подразнил жену Дмитрий Анатольевич.

— Я тогда растерялась, а теперь не жалею.

— Ты отлично сделала, Танечка, — сказал Ласточкин. — Ничего, она в обеденное время приходит редко. Положимся на судьбу.

— Это приятно слышать. Ты, Митенька, на судьбу полагаешься редко. Слишком много все обдумываешь.

— Разве? Но если ты мной недовольна, то мы можем развестись, — пошутил Дмитрий Анатольевич и поцеловал жену.

Он ответил двоюродному брату телеграммой в шутиливом тоне: «Мы оба страшно рады точка но отчего тебе не остановиться у нас точка старый замок как ты давно знаешь всегда к твоим услугам ждем обнимаем».

Рейхель у них не остановился, но пришел к обеду ровно в указанное им время. Был в гораздо лучшем настроении, чем прежде. Сказал, что «более или менее удовлетворен» полученной им должностью и много работает.

— Лаборатория очень недурна, у меня есть отдельная комната, и я теперь совершенно независим. Могу даже заказывать на казенный счет любые приборы.

— Как я рад! Ты прославишь эту лабораторию! — с жаром сказал Ласточкин. — Мне говорили о важности твоих работ.

Он не любил преувеличивать, но на этот раз покривил душой. Недавно из Петербурга в Москву приезжал знаменитый бактериолог. Встретившись с ним в редакции «Русских ведомостей», Ласточкин спросил его о Рейхеле: «Ведь он, кажется, на пути к славе?» — Профессор, не знавший об их родстве, пожал плечами: «Рейхель прекрасный, добросовестный, трудолюбивейший работник, но не очень талантливый человек». — «Неужели? А я думал, что из него выйдет новый Пастер!» — сказал огорченно Дмитрий Анатольевич. «Нет, Пастер никак не выйдет. Разумеется, мы его ценим. Хотя ему немного вредит то, что он так нервен, раздражителен и, грешным делом, в науке немного завистлив. Большие ученые такими не бывают... Впрочем, бывают и большие», — прибавил профессор, засмеявшись.

Татьяна Михайловна, не выносившая неправды, укоризненно взглянула на мужа и перевела разговор:

— Друзья мои, обед будет минут через десять. Я пришло вам сюда «аперитивы», так, кажется, это называется у французов? Что вы предпочитаете, Аркадий? Богдыхан в последнее время пьет вермут.

— Я и в Париже аперитивов не пил, а к их знаменитому абсенту и прикоснуться не мог. За столом, если позволите, выпью рюмку водки.

— Позволяю. Закуски мы за обедом не едим, начнем прямо с рассольника. Я ведь помню, что вы, Аркаша, любите рассольник с пирожками. Но я все-таки скажу, чтобы под водку подали икры, — сказала Татьяна Михайловна. У нее было правилом при гостях давать к столу то же, что подавалось без гостей; отступала от этого правила лишь при «парадных» обедах.

— Тогда, Танечка, не присылай мне вермута. И я выпью водки, и не одну рюмку, а три в честь Аркаши. Ты прежде тоже пил три, — сказал Ласточкин и смутился: «прежде» могло быть Аркадием, при его подозрительности, понять, как «в пору Люды». Так именно Рейхель и понял.

— *Теперь* у меня нервы в полном порядке и взвинчивать себя водкой незачем, — равнодушно сказал он.

— Это отлично, а то ты человек минорной гаммы.

— А ты бравурно-мажорной.

— И слава Богу. Я рад, что у меня счастливый характер.

— Ну, не слишком уж счастливый, ты еще недавно был в меланхолии, — сказала Татьяна Михайловна и вышла из гостиной. Рейхель вынул из кармана конверт и протянул его двоюродному брату.

— Это половина моего долга тебе, Митя.

— Какого долга?

— Ты знаешь какого. Ты долго поддерживал меня и в Париже, и здесь. Пожалуйста, сочти. Другую половину надеюсь отдать через год.

— Да помилуй...

— Ничего не «помилуй»!

— Но ведь тебе трудно, и потом...

— Мне несколько не трудно. Я теперь очень порядочно зарабатываю, а проживаю вдвое меньше. И еще раз от души тебя благодарю.

— Ох, эта твоя щепетильность! Твое джентльменство иногда переходит в донкихотство, — сказал Дмитрий Анатольевич, зная, что его слова будут приятны Аркадию. «Он всегда гордился своим джентльменством. Но как оно у него сочетается с озлобленностью и с вечным неприятным

сарказмом? — подумал Ласточкин. — Он всегда был в денежном отношении совершенно бескорыстен, как и Люда. Надо все-таки сказать ему хоть что-нибудь о Люде? Иначе выйдет еще более неловко».

— Спрячь конверт, — сказал Рейхель, — и Расскажи мне о своих делах. О политике, пожалуйста, не говори, я, как ты давно знаешь, ненавижу ее и презираю.

— О чем же? О культурной работе? Она опять возобновилась и развивается, несмотря на эту несчастную революцию. Все революции — скверное дело, но нет ничего хуже подавленной революции, — сказал Ласточкин и заговорил на свою любимую тему: о сказочном росте России. Говорил так же хорошо и с таким же увлечением, как когда-то в Монте-Карло. Рейхель слушал, подавляя зевоту.

— Очень интересно, — сказал он. — О своих собственных заслугах ты не говоришь, но я знаю, какое участие ты принимаешь в этой работе. По-моему, ты делаешь настоящее дело.

— Быть может, но не такое все же, как вы, ученые... И еще новое отрадное явление: рост кооперации. Ты знаешь, кстати, что Люда в ней работает? — робко спросил Дмитрий Анатольевич. Лицо у Рейхеля чуть дернулось.

— Она в Москве? Вы ее видите?

— Изредка видим. Надеюсь, ты ничего против этого не имеешь? Ты понимаешь, что нам...

— Понимаю и решительно ничего не имею, — перебил его Аркадий Васильевич.

— Не знаю, известно ли тебе, что она разошлась с этим кавказским революционером?

Рейхель взглянул на него с изумлением. Затем злобно-весело рассмеялся.

— Я не знал! Хорошо, очень хорошо! И давно случилось это примечательное событие? — спросил он.

Ласточкин отвел глаза и пожалел, что сказал о Люде.

— Уже довольно давно... Она отошла от революции. Теперь получила место в одном кооперативном обществе, очень увлечена работой и...

— Она меня совершенно не интересует, — опять перебил его Рейхель.

— С той поры как ты вернул ей свободу, она...

— Мне незачем было возвращать ей свободу, мы не были женаты. И извини меня, поговорим о чем-нибудь другом.

— Друзья мои, пожалуйста, в столовую, — сказала в дверях Татьяна Михайловна.

За обедом Рейхель был весел. Сообщение о Люде доставило ему большое удовольствие. Очень хотел узнать, кто кого бросил, но спрашивать об этом было неудобно. Говорил любезности, что было ему не свойственно. «Все-таки он мил, хотя и сухарь, — думала Татьяна Михайловна, не зная об его разговоре с Дмитрием Анатольевичем. — Надо бы его женить». У нее мелькнули в памяти некоторые московские невесты. «Нет, ни одна за него не пойдет. Он не может иметь успеха у женщин».

— Что же ты скажешь, Аркаша, об этом ужасном деле на Аптекарском острове? — спросил Ласточкин.

— Ничего не скажу. Надеюсь только, что всех этих бандитов перевешают.

— Дело они сделали действительно ужасное, — сказала Татьяна Михайловна. — Перебили множество ни в чем не виноватых людей. Да и виноватых убивать не следует. Но и вешать никого нельзя. И все-таки нельзя называть бандитами людей, идущих добровольно на верную смерть, как-никак, ради какой-то идеи.

— Хороша идея! Есть храбрые бандиты, это ровно ничего не значит. Картуш, Тропман тоже были бесстрашны.

— Я просто не могу понять, к чему они стремились. Ну, убьют Столыпина, будет Горемыкин или кто-нибудь такой же.

— А я и не интересуюсь, кто будет: все хороши, — сказал, пожимая плечами, Рейхель. Разговор ненадолго прервался.

— У нас завтра ложа в опере, «Борис» с Шаляпиным. Пойдете с нами, Аркадий?

— Спасибо. Кого вы еще звали?

Она поспешно назвала одного поэта, писавшего непонятные статьи об аполлонической музыке. Рейхель кивнул головой удовлетворенно. «Не думал же он, что мы его пригласим с Людой!»

— А четвертое место оставлено специально для вас, Аркаша.

— Охотно пойду, вечером я свободен. Но вы знаете, что я ничего в музыке не смыслю, просто жаль давать мне место. Кажется, «Борис» теперь в большой моде?

— В моде или нет, но я во всей музыкальной литературе не знаю ничего лучше сцены коронования.

— Я слышал от кого-то, что у вас теперь первый музыкальный салон в Москве.

— Надеюсь, вы не вкладываете иронического оттенка в слово «салон»? Да, мы оба все больше увлекаемся музы-

кой, — сказала Татьяна Михайловна и вдруг похолодела: из передней послышался быстрый трехкратный звонок, так звонила Люда. «Господи, как не повезло!» Она с ужасом взглянула на мужа, но было уже поздно: входную дверь отворили. Люда вошла своей быстрой энергичной походкой в столовую — и остановилась на пороге.

— Друзья мои... Аркадий, ты здесь? Здравствуй.

Рейхель что-то невнятно пробормотал. «Неужто они это подстроили?» — с бешенством подумал он. Но по виду хозяев ясно было, что они сами в полном замешательстве.

— Я зашла только на минуту, провести вас, — сказала Люда очень смущенно. Татьяна Михайловна сидела ни жива ни мертва.

— Почему же только на минуту? — спросил Дмитрий Анатольевич и заговорил об ее работе со скоростью тысячи слов в минуту. Так же быстро говорила Люда, искоса бросаая взгляд на Рейхеля и тотчас отводя глаза.

— Вы совершенно правы, Митя. Я повторяю, что не революция, а именно кооперация спасет мир! Вы не можете, Таня, и представить себе, как она растет, особенно этот Рочдэйльский тип ее. Она выведет Россию из трясины. Все видят, как выродилось революционное движение. Скоро вся страна покроется сетью потребительных обществ пермского типа, производственных товариществ, земледельческих артелей! Беднейшие слои населения, наконец, получат возможность жить по-человечески. А рижский Консум-фрейн! А Нимская школа!

— Это чрезвычайно важно, кооперация, чрезвычайно важно, — подтверждал Ласточкин, с опаской поглядывая на своего двоюродного брата. Тот про себя отметил «Таню».

— Я тоже думаю, что это важно, — говорила Татьяна Михайловна, на которую веяло скукой от самого слова «кооперация». Столбняк у нее проходил. Она старательно улыбалась. — Все же сознайтесь, Люда, что вы чулки, например, покупаете не в артелях, а на Кузнецком мосту.

— Чулки, конечно. А чай, кофе, сахар покупала бы в потребительном товариществе, если бы ближайшее не было от меня на расстоянии двух верст.

— Очень характерен этот начавшийся отход от революции, — сказал Дмитрий Анатольевич. — Кстати, Танечка, я и забыл тебе сказать. Помнишь тех двух молодых людей, которые были у нас в прошлом году на вечере мелодекламации? У них были странные имена: Таратута и Андриканис. Так вот мне сегодня говорили, будто они женятся на сестрах Шмидт.

— Вот тебе раз!

— Это брак и по любви, и по идейной близости: все четверо принадлежат к большевистской фракции социал-демократов... Впрочем, этого я твердо не знаю.

Рейхель посмотрел на часы.

— Таня, вы мне разрешите позвонить по телефону? Иначе я не застаю дома этого профессора, — сказал он и, не дожидаясь ответа, встал. Дмитрий Анатольевич проводил его к аппарату.

— Извини, нам так досадно. Люда приходит к нам редко. Мы не ожидали, — сказал он сконфуженным шепотом. Рейхель ничего не ответил. Ласточкин затворил за ним дверь и вернулся в столовую. Аркадий Васильевич позвонил к профессору; тот назначил ему свидание как будто без особой радости. «Что же теперь делать? — подумал Рейхель. — Нельзя же уйти до конца обеда. Может, она уйдет?»

— ...Еще хорошо, что он не наговорил мне грубостей, и на том спасибо, — говорила в столовой вполголоса Люда.

— Что вы!

— Мне все равно, и я понимаю, что он имеет право на меня сердиться... Я бегу à l'anglaise¹. Извините меня, что ворвалась так не вовремя.

— Что вы, что вы!

— Я в самом деле спешу. У меня сегодня будет один петербургский журналист. Еще раз, пожалуйста, на меня не сердитесь.

— Что вы, что вы!

Из Москвы Люда разослала знакомым открытки с указанием своего адреса. Никому из товарищей по партии не написала, — теперь мысленно уже называла их «бывшими». От ее революционности ничего не оставалось. Дело на Аптекарском острове, уход Джамбула, отношение к ней Ленина, экспроприации смешались в душе Люды. Сказалось и влияние кооператоров, ставших ее друзьями и товарищами по работе. Они в большинстве были люди левые или, по крайней мере, очень либеральные, но относились к экспроприациям и к взрыву столыпинской дачи с крайним отвращением.

В числе людей, которым Люда послала из Москвы открытки, был и Певзнер. Она иногда читала его репортажи

¹ По-английски, не прощаясь (фр)

в петербургской газете. Он уже подписывался «Дон Педро». Накануне Альфред Исаевич позвонил ей, сообщил, что газета послала его «для обследования положения на Волге» и что он остановился на два дня в Москве.

— Был бы страшно рад повидать вас, Людмила Ивановна.

— Я тоже очень рада, Альфред Исаевич. Приходите завтра вечером чай пить, часов в девять.

— С величайшим удовольствием.

Люда пригласила его не без легкого колебания. Общей гостиной в ее номерах не было, а уж очень неказиста была ее комната. «Тонышева сюда не пригласила бы», — с улыбкой подумала она. По дороге домой купила печенье и полбутылки дешевого вина; за вином ей всегда разговаривать было легче. Заказала чай и велела горничной не стлать на ночь постель, — «я сама постелю попозже». Впрочем, Певзнера к «мужчинам» не причисляла. Знала, что он обожает свою жену, оставшуюся в провинции впредь до того, как он «станет на ноги»; постоянно о ней говорил, писал ей письма каждый день, посылал регулярно большую часть своего заработка. «Проще было бы пообедать с ним в ресторане, но незачем вводить его в расходы. При своей галантности, он на меня потратился бы».

Встретились они радостно. Альфред Исаевич из деликатности только вскользь спросил о Джамбуле. «Верно, слышал, что мы разошлись». Спрашивал Люду о здоровье, об ее занятиях, о кооперации. С гордостью говорил о своих успехах:

— Могу без ложной скромности сказать, что мои репортажи оценены нашей редакцией, как и вообще в газетных кругах. И весной я перевожу жену в Петербург! Недавно у нее был.

— Я очень за вас рада, Альфред Исаевич. Что же вы будете «обследовать» на Волге?

— Очень печальные события. Там орудует какая-то шайка разбойников. И говорят, она в сношениях с большевиками! Теперь ведь и не разберешь, кто грабитель и кто идейный человек. Чего стоил один этот Соколов!

Сердце у Люды забилося.

— Какой Соколов?

— Разве вы не знаете? Соколов-Медведь! Тот самый, который организовал взрыв на Аптекарском острове. Ведь вы, конечно, читали мои репортажи об этом деле?

— Я не знала, кто это сделал.

— Он, он! Страшный человек!

— Так он только других посылает на смерть, а сам жив?

— Да нет же! Он был арестован на днях на улице и на следующий же день повешен, в порядке этих новых военно-полевых судов!.. Что с вами, Людмила Ивановна?

— Нет, ничего решительно, — не сразу выговорила Люда. Вино пролилось на скатерть. — Повешен?

— Повешен. Вы знаете, у него была любовница или жена, Климова. Красавица! И, представьте, дочь члена Государственного Совета! Отец умер с горя! Подумайте, из такой семьи! Она тоже арестована.

— И казнена?

— Еще нет, предстоит ее процесс. Я знаю все подробности. После ареста она попросила, чтобы ей оставили какой-то шарф, который был на ней в тот день, когда она вышла за него замуж. Это было удовлетворено. Она страстно его любила. Он был не только писанный красавец, но еще магнетизер.

— Откуда вы знаете?

— Мы, репортерская элита, все знаем. Я могу вам даже сообщить одну поразительную вещь, о которой писать невозможно. Представьте, через несколько дней после взрыва на Аптекарском острове он стал писать страстные письма дочери Столыпина, той, что чудом спаслась!..

— Письма дочери Столыпина! Зачем?

— Он предлагал встретиться с ним! Этот человек был так уверен в своей магнетизерской силе, что надеялся убедить барышню убить ее отца!

— Не может быть!

— Это неслыханно, но это так. Я знаю из самого верного источника. Пожалуйста, не оглашайте этого.

— Но как же?.. Если он предлагал ей встретиться, то, значит, давал свой адрес?

— Давал адрес конспиративной квартиры! Был, значит, уверен, что она властям не скажет. И самое поразительное, он в этом не ошибся! Она сообщила отцу об этих письмах, но адреса не указала. По взглядам она, разумеется, правая и обожает своего отца, но не хотела выдавать на смерть доверившегося ей человека. И Столыпин признал ее поведение правильным! Странная душа у русских людей! Эх, пролили вы вино. Ничего, это замоют. Белое вино пятен не оставляет.

— Пятен не оставляет, — сказала Люда.

III

Тифлисские террористы обычно собирались в одном и том же ресторане «Тилипучури». Это было не конспиративно, но они знали, что местная полиция очень плоха, да и не слишком усердно их арестовывает. Ремесло полицейского было в ту пору, особенно на Кавказе, столь же опасно, как ремесло террориста.

Кавказский наместник, граф Воронцов-Дашков, был человек либеральных взглядов. Он любил кавказцев, как их всегда любили русские люди, с легким оттенком благодушной насмешки, относившейся к кавказскому говору. В молодости он сам три года воевал с горцами, помнил, что тогда в армии ни малейшей враждебности к ним не было и что в русской литературе, от Пушкина и Лермонтова до Толстого, вряд ли есть хоть один антипатичный кавказец. Война давным-давно кончилась, все же наместник смутно, почти бессознательно, рассматривал террористов двадцатого века как несколько худшее повторение горцев Шамиля.

Он с террористами, разумеется, не встречался, но с главарями умеренных социалистов старался кое-как «поддерживать человеческие отношения»! Иногда заключал с ними негласные соглашения, тотчас, впрочем, становившиеся гласными. Так в пору столкновений между армянами и татарами передал социал-демократической партии пятьсот винтовок для вооружения поддерживавших порядок рабочих дружин, под честное слово меньшевика Рамишвили, что винтовки будут возвращены властям по миновании надобности. Так, перед ожидавшимся приездом царя на Кавказ, взял с революционеров честное слово в том, что покушений не будет. Не думал, что такое соглашение вполне обеспечивает безопасность императора; но, по его мнению, оно на Кавказе обеспечивало ее лучше, чем полицейские меры. Воронцов-Дашков был противником казней и находил, что все равно виселицей не запугаешь чеченца или ингуша. Вдобавок он стал почти фаталистом после убийства Александра II: от судьбы не уйдешь.

Его любили три царя. Правительство же очень его недолюбливало. Однако древнее имя графа, его огромное богатство, независимость человека, ни в ком для себя не нуждавшегося, даже его барская внешность и манера одинакового обращения с людьми, а всего больше личная близость к царю внушали осторожность правительству; оно по возможности не вмешивалось в его методы управления Кавказом. Взгляды наместника, быть может, немного ска-

зывались и на действиях полиции. Но и по простой осторожности сыщики старались не заглядывать без крайней необходимости в такие места, как ресторан «Тилипучури». Холодное оружие было на Кавказе у всех, очень много было револьверов, немало изготовлялось и примитивных бомб. «Положительно каждый ребенок может из коробки из-под сардинок и купленных в аптеке припасов смастерить снаряд, годный для взрыва его няньки», — писал современник.

Вероятно, Департамент полиции уже тогда знал, что руководит издана экспроприациями сам Ленин. Может быть, знал и то, что для этого из партийного Центрального комитета выделен небольшой, еще более центральный, комитет, настолько секретный, что о самом его существовании долго не знали виднейшие социал-демократы.

В этот комитет, кроме Ленина, входили только два человека: Красин, он же «Никитич», он же «Винтер», он же — почему-то «Лошадь», и Богданов, имевший полдюжины псевдонимов: «Максимов», «Вернер», «Рахметов», «Сысойка», «Рейнерт», «Рядовой». Служащие Департамента полиции не очень интересовались моральными свойствами революционеров: «все каналы!» (некоторые, быть может, добавляли: «...да и мы тоже»). Но именно этих двух большевиков заподозрить в терроре было трудно: один занимался не то философией, не то наукой, не то еще черт знает чем; другой был видный инженер, загребавший деньги в торгово-промышленных предприятиях, и никак не «Лошадь», а очень умный и ловкий делец. Люди же, по их поручению руководившие непосредственно террористическими делами на Кавказе, известны: Джугашвили и Камо.

О Камо на Кавказе рассказывали и легенды, и анекдоты. О Джугашвили же и революционеры знали не очень много, а говорили еще меньше. Непонятным образом этот человек, так страстно влюбленный в саморекламу, позднее ею занимавшийся тридцать пять лет с небывалым в истории успехом, в молодости почти ничего о себе не сообщал даже близким товарищам: вероятно, всех подозревал в провокации. По еще гораздо более непонятным причинам, о своих кавказских делах почти никогда не рассказывал и впоследствии, когда мог это делать совершенно безопасно.

Уже стемнело, когда Джамбул неторопливо подошел к ресторану. Бросил взгляд в открытое окно. Дружинников не было. «Где же они сегодня? — спросил себя он. Пони-

мал, что никто не останется в этот вечер дома в одиночестве, — разве Коба? У него вообще нет нервов». Джамбул прошел дальше и, убедившись, что подозрительных людей нет, вернулся. «Пора поесть, с утра ничего не ел», — подумал он.

В этот день он рано поутру, взяв в манеже лучшую лошадь, выехал верхом далеко за город и где-то в глухом месте леса упражнялся в стрельбе из револьвера. Еще лет пять тому назад с пятнадцати шагов попадал в туза. Теперь прикрепил к дереву листок бумаги, раза в три больший, чем игральная карта, и два раза подряд промахнулся. Это очень его раздосадовало, хоть для завтрашнего дела большая меткость была не очень нужна. «Конечно, от бессонницы! — сердито подумал он. — Да бессонница-то от чего! Кажется, не в первый раз иду на опасное дело, и прежде спал хорошо...» Взял себя в руки, стал стрелять лучше. Перед последним выстрелом загадал: «Если промахнусь, то, значит, дело провалится». Не раз загадывал и дома, пользовался и картами и монетой. Выходило разное, но одно было и без карт ясно: все равно отказать уже нельзя, это значило бы себя опозорить.

Да еще ему иногда казалось, что загадывать, собственно, следовало бы о другом: *нужно* ли это дело? Сомнения у него были давно, а с некоторых пор все усиливались. Иногда он даже себя спрашивал, не объясняются ли они страхом смерти? Друзья говорили, что он совершенно бестрашен: просто не понимает, что такое страх. Эти слова до него доходили и доставляли ему радость. Все же он думал, что тут есть преувеличение: людей, никогда не знавших страха, не существует. «Соколов и Камо самые храбрые из всех, кого я видел, но, вероятно, и они страх испытывали».

На этот раз он попал в листок, даже в самую его средину, и свои упражнения закончил: взял с собой только одну запасную обойму; да и не годится перед делом стрелять *тринадцать* раз. «Семь попаданий из двенадцати. Недурно, но прежде было бы лучше».

Прежде, приезжая на Кавказ хотя бы из Парижа, он всегда очень оживлялся и веселел. Теперь этого не было. Обычная шутливость его почти покинула. Он был настроен серьезно и даже несколько торжественно. «Да, вполне возможно, что завтра убьют. Ну, убьют, одним Джамбулом будет меньше, только и всего... Думал, что прошло для меня то время, когда перед опасными делами я подводил какие-то жизненные итоги. Оказывается, не совсем про-

шло», — говорил он себе. Думал о престарелом отце: как он об этом узнает!

Думал иногда и о Люде. Сохранил о ней приятное воспоминание. Ничего о ней толком не знал. В Петербурге при прощанье она не попросила его писать (просто забыла), и это его задело. Тем не менее он послал ей из Тифлиса письмо. Чтобы как-нибудь ее не подвести, написал без подписи, измененным почерком, и своего адреса не указал. Ответа, таким образом, быть не могло. «Впрочем, она все равно, верно, не ответила бы из гордости». Больше не писал. Едва ли не первый раз с четырнадцатилетнего возраста вообще о женщинах думал очень мало.

В ресторане было пусто и душно, пахло жареным луком и свежеразмолотым кофе, — он очень любил оба эти запаха. В глубине комнаты сидел Камо, очевидно только что пришедший. Перед ним на столике не было ни еды, ни напитков. «Ох, и нарядился же, дурак этакий!» — подумал Джамбул. На головорезе были темно-красная черкеска, белый шелковый бешмет, сафьянные чуваки; ножны шашки и кинжала были густо украшены бирюзой, серебром, слоновой костью. На стуле лежала белая папаха. «Хорошо еще, что не надел в июне бурки и башлыка! Нет ли при нем и бомбы? Впрочем, бомбы пока что у них отобрал Коба. Этот что угодно, но никак не дурак!»

Еще раз быстро и почти незаметно оглянувшись по сторонам, он поздоровался с Камо и сел против него за столик.

— Не сиди, слуши, спина к двери. Как будешь драться, если вбегают фараоны? — спросил Камо. Он говорил по-русски почти так, как в глупых анекдотах изображают кавказцев. Другого общего языка у них не было. Татарским оба владели плохо.

— Не сидеть же мне за маленьким столиком рядом с тобой? Если вбегут фараоны, пожалуйста, сообщи мне.

— Когда сообщи? Фараон быстро бегаёт. Потеряешь полминуту, пропал. Нельзя потерять полминуту, — сказал Камо, плохо понимавший шутки.

— Хорошо, буду знать. Сзади есть черный ход. Фараон любит бегать и через черный ход. Не догадался?

— Не догадался, — удивленно признал Камо. Это прозвище ему дал Джугашвили: получая поручения, тот спрашивал: «Камо отвезти?..» «Камо сказать?»

Джамбул, как всегда, смотрел на него с ласковым любопытством. Только с ним теперь и говорил шутливо. Знал его дела, обычно ему удававшиеся, и не понимал, как и почему они удавались. «Он и конспиративного дела не по-

нимает! Очевидно, инстинкт заменяет ему ум, как у львов или тигров». Он знал много террористов. Самым замечательным считал Соколова и немного жалел, что этот казненный человек не был кавказцем. В тифлисском деле участвовали только кавказцы. «Все смельчаки и удалцы и все много умнее его, а главная роль все-таки будет его, и это, пожалуй, правильно».

— Водку пил?

— Не пил.

— Выпьешь со мной? Может, в последний раз пьем.

— Может, последний раз, — равнодушно подтвердил Камо. — Одну рюмку буду пить. Больше перед завтра нельзя. Молоко буду пить. Вино не буду пить.

— Отчего? Коба не велел? Сам Ленин немного пьет. Любит, говорят, итальянское.

— Не любит. Я в Куоккала привез вино. Целый бурдюк с Кавказа привез. Я тогда был флигель-адъютант. Ехал в первом классе. Жаль деньги, а надо. Один стерва генерал удивился. Спрашивает о при дворе. А я знаю о при дворе? Очень заругал кадетов. Генерал доволен, но удивлялся. Хорошо, стерва скоро сошел на станции. Привез Ленину бурдюк. Благодарил. Ленин вино не любит, но Богданов любит. Так был доволен, так был доволен! А Ленин мне бомбы давал. Красин готовил. Я тоже готовил. Он знает химию! Я помогал. Хорошие бомбы.

— Столыпинские?

— Столыпинские, — подтвердил Камо. Так назывались бомбы новой конструкции, впервые пущенные в ход на Аптекарском острове.

— Так... Есть что будешь? Шашлык любишь?

— Шашлык люблю. Миндальный пирог люблю. Ты платишь свои деньги? Деньги партии не смей. Тогда сыр.

— Свои, свои. У меня партийных никогда не было и не будет. И завтра, если выйдет дело, ничего себе не возьму.

— А я себе возьму? Ты дурак!

— Другие, может, и возьмут, а?

— Слуши, хочешь — убью!

— Не хочу. Да, наши, знаю, не возьмут, они почти все хорошие люди, а другие еще как брали. К водке что будешь есть? Я угощаю, от отца получил, сегодня денег жалеть нечего. Какую закуску любишь?

— Всю люблю. Мало. Сыр с тархуном.

Джамбул подозвал хозяина и, все обдумав, заказал обильный ужин («может, последний в жизни»): балык, икру, шамаю, кобийский сыр с тархун-травой, чахохбили,

шашлык, миндальный пирог, графин водки, бутылку лучшего кахетинского вина.

— Теперь рассказывай, только не ори, — сказал он негромко, когда хозяин отошел. — Видел Пацию?

— Видел Пацию, — ответил Камо, предпочитающий отвечать, когда было можно, словами вопроса. — Анету тоже видел.

— Обе следят за кассиром?

— Обе следят за кассиром.

— Кто повезет деньги?

— Повезет деньги два. Кассир и счетчик.

— Молодые? Семейные?

— Не знаю.

— Как их зовут?

— Кассир Курдюмов. Счетчик Головня.

— Много денег?

— Анета Сулахелидзе говорит: миллион. Пация Галдава говорит: триста тысяч.

— Хороши бабы сведенья! Едут в фаэтоне?

— Едут в фаэтоне.

— Какая охрана?

— Другой фаэтон.

— Да ведь не сам фаэтон будет охранять. В фаэтоне-то кто?

— Пять стрелки. Галдава говорит: всегда пять стрелки.

— Неужто не будет казачьего конвоя?

— Будет казачьего конвоя. Позади будет. Впереди будет.

— Много казаков?

— Много казаков. Не знаю, сколько много.

— Ох, немало людей перебьем, если нас не укокошат раньше. У них жены, дети... Значит, больше ничего узнать бабы не могли?

— Бабы не могли, и ты и я не могли.

— В плане перемен нет?

— Зачем перемен? Хороший план.

— Что думает твой Коба?

— Коба приказ дает, а что думает, кто знает?

— Это так. Он всегда врет.

— Не смей говорить: Коба врет!

— Да он в жизни не сказал ни слова правды: просто не умеет.

— Слуши. Хочешь, убью! — сказал Камо, и лицо у него стало наливаться кровью. — Ленин вот! — он поднял руку высоко над головой. — Потом Никитич, — он пони-

зил руку. — Потом Коба, — его рука еще немного понизилась. — А потом ты, я, все, — положил руку на стол.

— Спасибо. А ведь твой Коба раньше был меньшевиком, хотя тщательно это скрывает.

— Нет большевики, меньшевики. В Стокгольме Ленин объединился.

— Скоро разъединился.

— Не разъединился. А Коба никогда не был меньшевик. Всегда большевик.

— Был, был меньшевиком. У нас на Кавказе все были, — возразил Джамбул, любивший его дразнить.

— Ты врешь! Убью!

— Нет, пожалуйста, не убивай меня. Убей лучше кого-нибудь другого. Кстати, маузер всегда при себе носишь?

— Всегда. Без нельзя.

— Ну и дурак, — сказал Джамбул, впрочем тоже не расстававшийся с револьвером. — О чем еще с Лениным говорил?

— Провокаторы говорил. Ленин думает провокаторы. Красин тоже думает. Я предлагал план. Пойду ко всем товарищам. Три человека возьму, хорошие. Возьму с собой кол. Крепкий. Спрошу: ты провокатор? Если провокатор, сейчас посадим на кол. Если испугается, значит, тоже провокатор. Хороший большевик ничего не испугается. Ленин не хотел. Красин тоже не хотел. Ругался. Очень ругался. «Ты, говорит, дикарь и болван!» Ленин смеется. Значит, правда. Я знаю, что я некультурный... Я по-русски хорошо говорю?

— Превосходно.

— Грамматику не знаю. Ничего не знаю. Писать не умею. По-грузински, по-армянски умею. Плохо. Арифметику совсем не умею, — сказал Камо со вздохом. — Некультурный. Дикарь. Дед был ученый. Священник.

— Неужели священник?

— Хороший, ученый. Я сам был верующий, ах, какой верующий! Много молился. Потом перестал, научили товарищи. Меня Коба учил. Всему учил. Спасибо. А учился плохо. Отец был пьяница. Он жив, но давно меня выгнал. От него я и некультурный... Ну, говорим дело.

— Рассказывай.

Они заговорили о завтрашних действиях. В плане перемен действительно не было.

— ...Начнем на доме Сумбатова.

— Кто же, наконец, сбросит с крыши первую бомбу? — это единственное, что еще не было решено.

— Не твое дело, кто бросит. Коба знает, кто бросит. Не ты.

— Он мне сегодня же скажет. Это «мое дело», такое же, как его, — раздраженно сказал Джамбул. — Я рискую больше, чем он.

— Не больше, чем он. И ты не нужен, Коба нужен.

— Я другого мнения... А что, это правда, будто тебя уже раз вешали?

— Вешали. Стервы поймали, сразу вешали. Я всунул, — он прикоснулся к подбородку. — Что это называется?

— Подбородок?

— Подбородок веревку всунул. Не заметили. Пьяные. Противно было. Ушли стервы. Я развязался. Удрал. Не вешали. Подбородок месяц болел.

— Приготовил на завтра чистокровного рысака?

— Не скажи чистокровного. Скажи чистопородного. Штатский говорит чистокровного, кавалерист говорит чистопородного. Мне русский офицер сказал. Здешний. Драгун. Скажешь чистокровного, сейчас увидят: не русский офицер, — с удовлетворением пояснил Камо.

— Неужели увидят? А то ты как две капли воды москвич... Ну, что ж, постарайся на твоём рысаке не попасться под бомбу. Лошадь жалко. Значит, ты и завтра будешь в мундире?

— В мундире.

— Ну, и опять дурак. Ох, боюсь, напутаешь. Лучше уступил бы твою роль мне.

— Не уступил. Это ты дурак.

— А какой ты это орден нацепил? Купил на Армянском базаре?

— Купил на Армянском базаре.

— Купил бы Андрея Первозванного, — посоветовал Джамбул и спохватился: «Еще купит!»

— Не Андрея Первозванного. Коба сказал: Станислав третьей степени с мечами и бантом. Если кто был на японской войне два сражения, тот Станислав третьей степени с мечами и бантом. Ты не знаешь. Коба знает.

— Коба все знает. А что он сам будет завтра делать? Тоже будет палить с площади?

— Не будет палить с площади. Его убьют, кто останется?

— Конечно, конечно. Он волнуется?

— Не волнуется.

— Злой, как черт?

— Злой, — согласился Камо, подумав. — Но не как черт. Жена помер.

— Я знаю. Правда, что она была верующая и терпеть не могла социалистов? Он любил ее?

— Так любил, так любил!

— А я, правда, не думал, что он может кого-нибудь любить. Иремашвили говорил мне, что был на кладбище. Он сам — Сосо, и Кобу, по старой памяти, называет Сосо. Были друзьями. Так вот, Джугашвили ему сказал, приложив руку к груди: «Только она смягчала мое каменное сердце. Теперь ненавижу всех! Так пусто, так несказанно пусто!» Я переспрашивал. Клянется, что так, дословно... Значит, Кобе нельзя палить с площади? Его жалко?

— Тебя не жалко. Меня не жалко. Коба жалко.

— Правильно, — сказал Джамбул. «На него и сердиться нельзя», — подумал он, смотря на собеседника в упор. Глаза у Камо были непонятным образом добрые, мягкие, печальные. — Ну, хорошо, а когда схватишь на площади мешок, кому отдашь.

— Кобе отдам, Ленину отдам. Красину отдам.

— Этим можно. Джугашвили денег не любит, это правда. Но где их будут хранить пока что? Ведь за границу переправить не так просто.

— Не твое дело.

— У Кобы была хорошая мысль. Он говорил мне. Хочет спрятать в Тифлисской обсерватории. Он там служил, кажется, лакеем, что ли? Знает там каждый угол. Хочет положить в диван директора. Умно!

— Спроси Коба.

— Это умно, — повторил Джамбул. Мысль ему нравилась преимущественно своей оригинальностью: обсерватория! С усмешкой подумал, что Коба не доверит денег одному человеку: «Либо сам отвезет, либо пошлет несколько человек, так украсть труднее». — Я еще хотел бы его повидать перед делом. Поедешь со мной?

— Не поеду. И адрес не дам.

— Адрес я знаю и без тебя, — сказал Джамбул.

Простившись с Камо, Джамбул вышел из ресторана и опять осмотрелся. Возвращаться домой ему не хотелось. Идти к Кобе было в самом деле поздно, да, собственно, и незачем. «Не надо было бы нынче ночевать дома. Да от судьбы не уйдешь. Во всяком случае живым не дамся... На что Ленин потратит деньги? Неужто хоть часть пойдет на журнальчики? Тогда очень нужно было идти на такое дело!.. Очень может быть, что завтра погибну. Стоило ли?»

Он вдруг вспомнил о взрыве на Аптекарском острове. Читал газетные отчеты с еще более жадным любопытством, чем Люда, чем все; с первой же минуты понял, чьих рук это было дело, и знал всех его участников. Теперь, не в первый раз, представил себе, как эти безвестные, бессловесные молодые люди, почти столь же преданные Каину, как Климова, — как они едут в ландо на Аптекарский с Морской, как мысленно отмечают повороты — осталось еще два? нет, три! — как всматриваются в названия улиц, в номера домов, как считают минуты остающейся жизни, как перед дачей в последний раз смотрят на землю, на небо, на людей, на извозчика, ими тоже обреченного на смерть.

«Нет, на это я пойти не мог бы! — вздрогнув, подумал Джембул. — Велика разница между *возможной* смертью и смертью *верной*, без малейшей, без самой ничтожной надежды на спасение!» Подумал об аресте и о казни Каина. «Как мог он в последнюю минуту не покончить с собой? Не успел, этот Геркулес! Что, если не успею и я!.. Все же есть надежда, есть и смысл. Добудем миллион, будет восстание, и Кавказ освободится. Только это одно отделяет наше дело от обыкновенного уголовного грабежа, но этого одного достаточно... Да, если погибну, жизнь пойдет дальше точно так же, так, как шла всегда, только я о ней ровно ничего не буду знать, ни о чем. И люди даже не вспомнят, ни в какую историю не попадешь. Разве кто-нибудь когда-нибудь еще вспомнит о Соколове, а он, при всем своем бездушии, при всем своем бездушии, был сверхгерой, не чета Лениным и Плехановым?»

Эриванская площадь была безлюдна в этот поздний час. Он смотрел на дом, с крыши которого неизвестный ему человек должен был завтра бросить первую бомбу. В верхнем этаже жили три княжны, известные в тифлисском обществе; о них ходили благодушные анекдоты. «Может быть, он уже на крыше? Это было бы благоразумнее, чем подниматься при утреннем свете». Догадывался, что этот человек поднимется со двора по лестнице или по трубам.

Подошел к воротам и попробовал. Они не были затворены. Джембул осмотрелся и заглянул в слабо освещенный двор. К нему спиной, глядя на крышу, стояли два человека. Один был в косоворотке и в сапогах. Джембулу показалось, что это Коба. «Как все-таки я могу работать с этим человеком!» — подумал он. Точно вид Кобы мгновенно химически проявил те сомнения, которые у него назревали не первый день и не первый месяц.

Тифлис был на военном положении. Казаки разъезжали беспрестанно по улицам города, городовые были вооружены винтовками, на перекрестках стояли караулы. В подготовке и выполнении экспроприации принимали участие десятки людей, и, как нередко бывает в подобных случаях, смутные слухи о предстоящем деле дошли до властей. Позднее тифлисский прокурор обвинял в легкомыслии полицеймейстера, а полицеймейстер, оправдываясь, нелестно отзывался о соображениях прокурора.

«Теоретики» экспроприаций предпочитали называть их «боями гражданской войны», любили военную словесность. Быть может, некоторые из них помнили, по «Войне и миру» или по бесчисленным газетным цитатам с «Die erste Kolonne marschiert», о диспозиции Вейротера перед Аустерлицем. Но, возможно, думали, что, вопреки Толстому, бои происходят именно по диспозициям. Во всяком случае, они тщательно выработали подробный план дела на Эриванской площади: Чиабришвили, Элбакидзе, Шишманов, Каландадзе, Чичиашвили и Эбралидзе нападут на окруженные конвоем фаэтоны с деньгами, Далакишвили и Какриашвили на полицейский отряд у здания городской управы, Ломинадзе и Ломидзе на караул у Вельяминовской улицы и т. д.

Однако экспроприации не так уж похожи на бои, они длятся не целый день и не несколько часов, а разве три-четыре минуты, и науки о них уже во всяком случае не существует. «Соотношение сил» экспроприаторам не могло быть известно, так как в любую минуту на площади мог появиться патруль из пяти, или десяти, или даже двадцати казаков. Собственно, самым неподходящим для экспроприации местом в Тифлисе была именно Эриванская площадь, людная, центральная, расположенная поблизости от дворца наместника. По ней усиленные против обычного казачьи патрули проезжали в те дни почти непрерывно, военные и полицейские посты всегда находились у штаба округа, у банков, на углах каждой из выходивших на площадь улиц.

Руководители дела, не слишком дорожившие чужой и даже собственной жизнью, на этот раз решили принять меры для уменьшения числа жертв: с раннего утра Камо в военном мундире, со свирепым видом, ходил по площади и вполголоса, вставляя в свою русскую речь «ловкие таинственные замечания», советовал людям уходить поскорее.

Мера была довольно бессмысленна: на смену одним прохожим беспрестанно появлялись другие, и этот странный офицер, по логике вещей, если б такая логика была, должен был сразу вызвать сильнейшие подозрения даже у самого глупого городского. На самом деле он никаких подозрений не вызвал, благополучно ушел до начала дела и где-то сел в запряженную рысаком пролетку, которой сам стоя правил (что тоже едва ли часто делали офицеры).

Один почтовый чиновник сообщил террористам, что 13 июня, в 10 часов утра, кассир тифлисского отделения Государственного банка Курдюмов и счетчик Головня получают в почтово-телеграфной конторе большую сумму денег и отвезут их в банк, на Баронскую, мимо Пушкинского сквера, через Эриванскую площадь и дальше по Сололакской. Чиновник едва ли был подкуплен или запуган террористами, — они этим не занимались, никому денег не обещали, да и в свой карман, в отличие от многих других экспроприаторов, не брали: все отдали партии. Вероятно, чиновник тоже ей сочувствовал или же ненавидел правительство, как большинство населения России.

Курдюмов и Головня отправились на почту пешком. Для них это было привычное дело: деньги из столицы приходили в Тифлис часто. Распорядителей банка упрекнуть в легкомыслии было бы невозможно: к кассиру и счетчику приставлены караульный Жилиев и довольно большой наряд из солдат и казаков.

Вероятно, из экономии фаятоны были наняты только у почты. Курдюмов и Головня получили деньги и не пересчитывали их; это было небезопасно, да и ненужно: они были запечатаны в двух огромных пакетах, 170 тысяч и 80 тысяч. Сверх того, кассиру было дано еще 465 рублей незапечатанных. Эти Курдюмов счел и положил в боковой карман пиджака. Пакеты же спрятал в мешок, затянул кольцо на ремне и бережно понес к фаятонам, в сопровождении счетчика, караульного и солдат. Казаки ждали на улице. В первый фаятон сели Курдюмов и Головня, поместив мешок на ковер в ногах. Во втором были Жилиев и два солдата. В третьем¹ еще пять солдат. Казаки разделились: часть скакала впереди фаятонов, часть позади, а один казак сбоку от первого фаятона, со стороны дверец.

¹ В свидетельских показаниях есть, впрочем, разногласия. Раненый чудом уцелевший Курдюмов показал, что нанял только два фаятона. «Лошади были серые, сиденье было покрыто синим сукном, без чехла, внизу красный ковер, физиономии фаятонщиков не помню». — *Автор*.

Вероятно, и на почте наблюдал за кассиром кто-либо из экспроприаторов. Во всяком случае, на пути наблюдатели ждали их в разных местах. У Пушкинского сквера Пация Галдава дала знать о приближении казаков Степко Инцирквели. Этот сигнализировал Анете Сулаквелидзе, гулявшей перед зданием штаба, а она подала знак Бачуа Купрашвили, который пробежал по площади с развернутой газетой (что было последним общим сигналом) и через полминуты присоединился к ринувшимся на фаэтоны экспроприаторам.

С крыши дома на углу площади и Сололакской улицы была брошена первая бомба, за ней последовали другие, бросавшиеся с разных сторон, тотчас началась отчаянная пальба из револьверов — и наступил хаос, в котором уже было никак не до диспозиций. Из-за дыма почти ничего и не было видно. Люди рассыпались по сторонам кто куда мог.

С Гановской улицы на площадь примчалась пролетка Камо. Держа вожжи левой рукой, он стоял на подножке, стрелял во все стороны из револьвера и выкрикивал страшные ругательства. По «диспозиции» ему полагалось схватить в первом фаэтоне мешок с деньгами. Но и найти фаэтон было нелегко. Странным образом он остался цел. Кассира и счетчика выбросило силой взрыва на мостовую, казак был убит.

Камо почти никогда в жизни не терялся и уж никак не мог бы растеряться в тех случаях, когда действовал по определенному приказу. Ни малейших сомнений он не испытывал ни до экспроприации, ни после нее: Ленин поставил, Никитич помогал, Коба организовал, — значит, о чем же тут судить? Думать вообще было не его делом. Теперь на площади он действовал почти исключительно по инстинкту. Быть может, он единственный был совершенно спокоен, несмотря на грохот бомб, на пальбу, на дикие крики. Отчаянно кричал и ругался он не от злобы или волнения, а просто потому, что это входило в технику таких дел: так в старину конница неслась в атаку с воем и с ревом.

Справа из облака дыма выскочил Бачуа Купрашвили и побежал к Сололакской. В облаке как будто на мгновение обрисовался фаэтон, но тотчас грохнула новая бомба, и его опять заволокло дымом. «Упал! Убит Бачуа! — подумал Камо. — Но мешок! Где мешок!..» И в ту же секунду он увидел, что к Вельяминовской, там где дыма было меньше, с мешком в руке бежит, с необычайной, неестественной,

нечеловеческой быстротой, Чиабришвили. Это было уж полным нарушением приказа. Камо быстро повернул пролетку и помчался за ним. Успел, однако, подумать, что Бачуа, быть может, только ранен. Вернуться в пролетке было невозможно. «Другие подберут!»

Через несколько минут он, отобрав у Чиабришвили мешок, входил в конспиративную квартиру. Там уже было несколько других экспроприаторов. Он окинул их взглядом, бросил мешок на пол и яростно закричал:

— Где Бачуа?

— Убит!.. Сейчас придет!.. Ранен!.. Не знаю!.. — отвечали задыхающиеся голоса. Диспозиция не предусматривала вопроса, что важнее: мешок или товарищ? Но достаточно было ясно, что мешок гораздо важнее. Однако лицо у Камо налилось кровью. Он осыпал товарищей иступленной бранью. Вдруг дверь отворилась, и на пороге, держась окровавленной рукой за голову, появился Бачуа. Камо, против всякой конспирации, что-то закричал диким голосом — и вдруг пустился в пляс.

Купрашвили, еле справляясь с дыханьем, объяснял, что на мостовой потерял сознание лишь на полминуты, затем вскочил и прибежал сюда. Его слушали очень плохо. Все говорили одновременно о том, что делали, что пережили. Все кричали, что надо говорить потише: люди на улице могут услышать. Камо что-то орал, продолжая плясать. Кто-то поднял мешок, положил на стол и начал растягивать кольцо. Мгновенно сорвавшись с пола, Камо, как кошка, прыгнул к столу. Он верил товарищам, знал, что ни одного вора между ними нет, но Коба велел принести пакеты не распечатанными: Джугашвили верил товарищам меньше.

Впрочем, на конвертах были написаны цифры: «180 000», «70 000». Не выпуская пакетов из рук, Камо прочел надписи. Попытался сложить в уме, другие помогли: «250 000». Восторг был общий, хотя некоторые ждали, что будет миллион. Камо опять пошел плясать, держа над головой по пакету в каждой руке.

— Сделано!.. Революция!.. Теперь освободимся!.. — говорили люди. Один из экспроприаторов сказал, что все разыграно как по нотам. Так в этот день говорили все в Тифлисе, кто с восхищением, кто с яростью. А на следующий день то же самое писали газеты во всей России.

Джамбул не все помнил из подробностей дела на Эриванской площади, самого страшного в его жизни. Такие пробелы в памяти у него изредка бывали, когда он выпивал

за ужином две или три бутылки вина. В *делах* же этого с ним до сих пор не было ни разу.

По плану он должен был застрелить городского, стоящего у дверей Коммерческого банка; сам это выбрал, — не хотел стрелять в кассира или счетовода, чего, впрочем, товарищам не сказал. И действительно, как только он увидел бегущего с развернутой газетой Купрашвили, он, не торопясь вынув из кармана револьвер, направился к банку. Городовой, еще молодой, безбородый блондин, по-видимому великоросс-северянин, стоял к нему вполоборота, с любопытством глядя на приближавшийся конвой. Джембул помнил, что выстрелил тотчас после взрыва первой бомбы, еще до того, как фаэтон заволокло дымом, — и не понимал, что случилось. Не попасть в человека с шести или семи шагов он не мог, просто *не мог*. Помнил, что целился в голову: пуля маузера должна была тогда убить наповал. Вместо этого городской, совершенно невредимый, что-то отчаянно закричал, повернулся и выхватил свой револьвер. В ту же секунду на площади начался хаос. И сам не помня как, он оказался шагах в тридцати от дверей банка, за газетным киоском.

Помнил, что еще два раза выстрелил в облако около фаэтона и тоже, наверное, никого не убил. Помнил позднее, что и не хотел попасть. Помнил, что несколько секунд бессмысленно смотрел на висевшие на стенке газеты: «Голос Кавказа»... «Тифлисский листок»... Вдруг он увидел, что на него несется с поднятой нагайкой казак на гнедой лошади. Самообладание мгновенно вернулось к Джембулу. Он сделал несколько шагов вперед и выстрелил. Лошадь поднялась на дыбы, пуля попала ей в шею. Он остановился. Как раз грохнула и оглушила его другая бомба. Кто-то, держась за бок, что-то крича, с искаженным лицом, пробежал мимо него. Казак не вставал. «Фаэтон должен повернуть на Сололакскую, — вспомнил Джембул и побежал в ту сторону. — Нет, разбит, конечно, фаэтон!.. Что сейчас делать?» С минуту он стоял неподвижно, все еще полуоглушенный. Затем сорвался с места, побежал к киоску. Казака больше не было. «Его счастье!» Издыхавшая гнедая лошадь судорожно билась на боку в луже крови. Ему на всю жизнь запомнились ее карие глаза с расширившимися белками. И дальше следовал в памяти провал: он старался и не мог вспомнить, сколько времени еще оставался на площади и что именно там делал.

Пришел он в себя на боковой широкой улице. По мостовой бежали люди, что-то страшно крича и толкая друг дру-

га. Он подумал, что бежать не следует, и пошел по тротуару обычным, разве только чуть ускоренным шагом. Подумал, что дальше надо свернуть направо и что до конспиративной квартиры очень близко. «Я не хотел ее убивать... Зачем поднялась на дыбы?.. Убил для ленинских журнальчиков... Кажется, убиты десятки людей... Но не мною... Как я мог промахнуться в городского!..» Вдруг все рванулись с мостовой на тротуары и в подворотни: навстречу по направлению к площади несся эскадрон драгунского полка. «Эх, хороши кони!.. Зачем она поднялась на дыбы?..»

Выстрелов больше не было слышно, но со стороны площади еще доносился неясный гул. Улица была почти пуста. Джамбул свернул вправо и дошел до конспиративной квартиры. Хотя окна были затворены, слышались крики, шум, смех. Что это с ними? Возбесились?..» В другое время ему, быть может, понравилось бы кавказское молодечество и презрение к опасности. Теперь он с минуту послушал и пошел дальше.

Неподалеку был бедного вида духан. Хозяин на пороге, очень бледный и возбужденный, уже, видимо, собирался затворить дверь. Подозрительно оглянул Джамбула, хотел было не впустить его и впустил. Быстро и сбивчиво что-то говорил. «Пятьдесят? Не может быть, чтоб было пятьдесят жертв!..»

Не вступая в разговор, он потребовал водки и выпил у стойки одну за другой несколько рюмок. Еще подумал вяло, что это может вызвать подозрение: «Утром никто так водку не хлещет...»

— Коньяк есть? — спросил Джамбул и узнав, что есть только русский, но хороший, шутовский, велел налить — не в рюмку, а в чайный стакан. Выпил залпом. Хозяин смотрел на него с тревогой. Он заплатил и, пошатываясь еще больше прежнего, вышел. «Да, да... Ничего красивого... Не кавалерийская атака в раззолоченных мундирах... Пойдет на ленинские журнальчики... Не чистая кровь, а смешанная с грязью... Гораздо больше, чем война... Может быть, вся жизнь была ошибкой... Может быть, очень может быть», — бормотал он на улице.

V

От отца из Турции, по условленному адресу, пришли деньги и новое письмо. Старик настойчивей, чем обычно, просил сына приехать, жаловался на здоровье тоже больше,

чем обычно, говорил, что непременно хочет еще раз его увидеть, ссылаясь на необходимость привести наследство в порядок. Джембул и прежде получал такие приглашения и все откладывал. «Любит жаловаться, как все старики. Может, что-то слышал и беспокоится». Они переписывались не часто. Едва ли старик толком знал, чем, собственно, занимается сын. Джембул неопределенно говорил, что участвует в борьбе за независимость Кавказа. Это отец мог понять и даже должен был этому сочувствовать.

В первые дни после экспроприации Джембул никого не видел из террористов. Читал газеты и очень много пил, хотя был уже спокоен. Никакой слежки он за собой не замечал и еще убежденнее, чем прежде, думал, что русская полиция плоха и вдобавок насмерть запугана, особенно на Кавказе.

Обедал он в ресторанах в центре города и каждый раз выходил на Эриванскую площадь. Окровавленная гнедая лошадь, ее глаза с расширившимися белками не выходили у него из головы. Возвращаясь домой, он читал до поздней ночи; проходя по Головинскому проспекту, купил наудачу книги: петербургский толстый журнал, Шекспира в русском переводе, «Воскресение» Толстого. Думал, что надо, непременно надо съездить к отцу. Уехать можно было легально, паспорт был вполне надежный. Он любил отца, но всегда говорил себе, что «покоить старость» совершенно не умеет. «Все-таки он прежде так тревожно о себе не писал. Неужто померет! Останусь на свете один как перст...»

В этот вечер он рано лег и положил на широкую кровать все три купленные книги. Сначала не читал. Думал об отце. Думал о деле на Эриванской площади. Думал о Ленине: «То-то обрадуется, с неба свалились большие «деньжата»!» — сказал он себе и поморщился еще сильнее: уж очень не подходили тут слова «с неба». Спать не мог, несмотря на большое количество выпитого вина; снотворных он никогда не принимал и почему-то боялся. Наудачу открыл книгу Шекспира. Выпала скучная пьеса «Цимбелин». Он взял журнал. С досадой заметил, что приказчик ему подsunул старый, залежавшийся номер.

Из хроники он узнал, что в России за год убито 733 человека, повешено 215, расстреляно по приговору военного суда 341, казнено по новому военно-полевому суду, только за полтора месяца, 221. «Может, скоро будет не 215, а 216 повешенных», — подумал он и опять мысленно повторил: «Одним Джембулом меньше или больше, не все ли равно?» Часто так говорил себе, но сам понимал,

что говорит неискренно: этот «один» имел для него некоторое значение. В хронике еще сообщались цифры убитых людей, названных «представителями власти»; они были никак не меньше. «Да, три дня тому назад ни одного «представителя власти» к этой статистике не прибавил, и слава Богу!»

Он прочел в журнале также что-то длинное и скучное о «Партии демократических реформ», о профессоре Максиме Ковалевском, о недавно скончавшемся адвокате Спасовиче. «Нравы общественные страшно дичают, — недавно писал нам из Варшавы Владимир Данилович, — взрывы бомб, выстрелы, грабежи и убийства совершаются каждый Божий день и на улице...» Прежде такие слова вызвали бы у Джембула просто насмешку: он не любил либералов, причислял их всех к «Деларю». «Благоденствовали всю жизнь, никогда, ни разу не рискнули своим драгоценным существованием». Теперь ничего такого не подумал. Отложил журнал и раскрыл «Воскресение».

Эту книгу читал до глубокой ночи. Любил Толстого как художника, к его мыслям относился еще более насмешливо, чем к мыслям либералов: «Просто старческое слабоумие». Сцена церковной службы в тюрьме его очень задела. «Нет, это все-таки чистое богохульство. Он не имел права насмехаться над чужой верой, и сам никакой веры не имел: верующий не мог бы так писать и о церковных обрядах. Но какие тяжелые, страшные слова!» — думал он, засыпая.

И тотчас разные фигуры, проходившие в его уме в последние дни и часы, смешались, завертелись, зажили самой нелепой, бессмысленной жизнью. Ленин писал статейки на окровавленных ассигнациях. Отец, с больным, осунувшимся лицом, лежал на кровати и ждал не приходившего врача. Окровавленная гнедая лошадь въезжала в сад его дяди, весь залитый солнцем, и, хрипя, объясняла, что служить не может, так как ее убил Джембул пулей в шею. Дмитрий Нехлюдов ей объяснял, что тут судебная ошибка: Джембул никогда лошади не убивал и не убьет. Спасович в «Тифлисском листке» предлагал, что будет защищать Катеньку Маслову за тысячу рублей: «Это всего десять катенок, а у Курдюмова взято гораздо больше». Ленин отрывался от статей и насмешливо говорил, что ни одной катеньки не даст, и на восстание не даст ни гроша, все нужно на журнальчики, фига вам, товарищи, под нос...

Он проснулся от стука в дверь. Не сразу пришел в себя. В его комнату вошла молодая горничная, всегда на него с

улыбкой поглядывавшая, и почтительно доложила, что его к телефону требует светлейший князь Дадияни. Джамбул, оторвавшись от жаркой подушки, с минуту смотрел на нее выпученными глазами. Затем вспомнил, что под этим именем в Тифлисе жил Камо.

— Скажите, пожалуйста, что сейчас спущусь, — сказал он. Горничная приятно улыбнулась и вышла. Он надел великолепный шелковый халат, купленный еще в Париже, на Вандомской площади, вспомнил о Люде, которой этот халат очень нравился. «Удобно ли спускаться в халате вниз? Ничего, сойдет. Еще рано, внизу никого нет». В самом деле, не было восьми часов. «Мог бы, дурак, позвонить позднее».

— Здравствуй, светлейший, — сказал он. — Что случилось? Рановато звонишь.

Камо ответил, что его хочет в десять часов видеть один человек. «Конечно, Коба», — догадался Джамбул.

— К «камо» приехать? К «немо»?

— К немо, — подтвердил Камо и повесил трубку, не дожидаясь ответа, точно в согласии Джамбула не могло быть ни малейшего сомнения. Джамбул пожал плечами. «Назлю приеду с опозданием!»

Однако опаздывать в их работе не полагалось, и он приехал ровно в десять, оставив извозчика далеко от дома, в котором жил Джугашвили. Хозяин, совершенно спокойный, встретил его со своей обычной усмешкой. «Ох, не могу его видеть!» — подумал Джамбул.

Он давно знал этого человека, совершенно не выносил его и всегда при встречах с ним испытывал смутное чувство, будто находится в обществе настоящего злодея. Никогда *этого* о Кобе никому не говорил и даже сам себя упрекал за необоснованное и потому несправедливое суждение; многое знал о Джугашвили, все же не такое, что давало бы основание считать его злодеем: «Самое большее, негодяем». Ему иногда казалось, что такое же чувство испытывают и другие хорошо знающие Кобу люди и тоже этого не говорят: что-то в самой его внешности внушало людям осторожность. «Ну, уж я-то его не боюсь!» — подумал Джамбул, и тотчас в нем еще усилилась злоба и раздражение.

В комнате были Камо, в том же наряде, при том же темно-красном с золотом ордене, и женщина в белом, грязноватом, дешевеньком платье. Джамбул помнил, что ее зовут Маро Бочаридзе и что она в дружине работает на ролях тифлисской мещанки. Он учтиво с ней поздоровался.

Коба посмотрел на него с усмешкой и небрежно подал ему руку.

— Здравствуй, бичо, — сказал он. Это слово, означавшее «парень» или что-то в этом роде, и особенно усмешечка Кобы раздражили Джамбула еще больше: «Вы, мол, маленькие людишки, а вот я великан». Между тем, при всей своей хитрости и смелости, он очень серый человек довольно плюгавой наружности, вдобавок грубый и природной, и наигранной грубостью: «Думает, что это действует на всех. Нет, на меня не действует. Впрочем, со мной он груб не будет: знает, что это небезопасно».

— Очень рад тебя видеть, бичо, — ответил он. Коба тотчас от него отвернулся и заговорил с Камо, который восторженно на него смотрел. Смотрела ему в глаза и Маро, она скорее со страхом, чем с восторгом. Коба говорил по-русски гораздо лучше, чем Камо, гораздо хуже, чем Джамбул.

— Так, разумеется, и сделаешь, — *приказал* он. Предположение Джамбула подтвердилось: Джугашвили поручал им *вместе* отвезти в обсерваторию деньги: они были зашиты в новый большой диванный тюфяк, лежавший на полу в комнате Кобы.

— Поедешь ты и Маро на одном извозчике, а он за вами на другом. Зачем ты сдуру нарядился офицером! Это тюфяк перевозить! Сейчас же переоденешься.

Камо робко-почтительно, частью по-русски, частью по-грузински, объяснил, что он о предстоявшей перевозке тюфяка не знал. Выразил также мнение, что лучше было бы перевезти тюфяк вечером, когда стемнеет.

— Я твоего мнения не спрашиваю. Сделаешь, как я говорю! — прикрикнул Коба. Камо тотчас закивал головой. Испуганно кивала головой и Маро. Джамбул вмешался в разговор:

— Тюфяк мог бы перевезти любой кинто, — ласково сказал он, как будто ни к кому не обращаясь. — Постороннему человеку не грозила бы опасность: в случае ареста он объяснил бы, что его наняли, и доказал бы свое алиби. Тогда как Камо, если схватят, то повесят. Правда, кинто мог бы указать адрес квартиры, где получил тюфяк, — как бы наивно добавил он. В глазах Кобы скользнула злоба. Он занес в память слова Джамбула, но сдержался и, очень непохоже изобразив на лице добродушную улыбку, сказал:

— Тебя я прошу поехать за ними на другом извозчике. У тебя револьвер с собой?

— С собой, бичо. Хорошо, я поеду за ними. Разумеется, на небольшом расстоянии, а то они могут стащить деньги и удрать, — невозмутимо сказал Джамбул. Лицо Камо вдруг стало зверским.

— Слюши! — сказал он.

Коба тотчас прервал его и столь же добродушно засмеялся.

— Он, конечно, шутит. Вот что, понять мое распоряжение нетрудно. Ты и она отнесете заведующему тюфяк. Затем спуститесь в залу. Там в одиннадцать часов астроном показывает дурачью всякую ерунду. Послушайте в толпе, вместе с толпой и выйдете. Вас не заметят. Если по дороге в обсерваторию на вас набросится полиция, стреляйте, разумеется, до последнего патрона и бегите в квартиру на Михайловскую. Разумеется, с тюфяком! — внушительно сказал он. — А на обратном пути ты, дурочка, пойдешь пешком одна. У тебя револьвера нет, отделаешься тюрьмой. А вы оба как хотите, стреляйте или не стреляйте. Тебе, Камо, все равно виселицы не миновать. За старые грешки. А против тебя улик нет, — обратился он к Джамбулу. — За ношение револьвера много если сошлют на каторгу. Ничего, папенька в Турции подождет, — сказал Коба, и на его лице снова выступила усмешка. Джамбул вспыхнул. «И об отце знает! Следит за товарищами!»

— А тебе откуда известно, против кого есть улики и против кого нет?

— «Сорока на хвосте принесла», — говорил в Таммерфорсе Ленин, — сказал Джугашвили. Он очень гордился тем, что говорил с Лениным и, как ему казалось, произвел на него сильное впечатление. — По делу на Эриванской ни против кого улик быть не может, значит, и против тебя нет.

— В обсерваторию я поеду, а в Финляндию отвозить деньги не поеду.

— Я тебе и не велю, — сказал Коба. Он давно решил, что деньги отвезет Камо: ему верил.

— Ты ничего мне *велеть* и не можешь!

Коба, не отвечая, опять обратился к Камо. Кратко и ясно повторил свою инструкцию; знал, что Камо с одного раза не понимает. «Да, свое дело он знает, это правда. Но отроду не видел человека, который был бы мне так противен», — думал Джамбул, внимательно слушая. Закончив объяснение, Коба встал. «Аудиенция кончена!» Тотчас встали Камо и Маро.

Седобородый астроном в чесучовом пиджаке показывал обсерваторию небольшой группе посетителей и устало давал привычные объяснения:

— Человек, портрет которого вы видите на этой стене, великий астроном Николай Коперник. Он родился в тысяча четыреста семьдесят третьем году, умер в тысяча пятьсот сорок третьем. Его долго считали немцем, но это неверно: Коперник был поляк. Он открыл, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. Работал он при помощи параллактического инструмента, состоявшего из трех деревяшек с делениями. Эти деревяшки впоследствии перешли в собственность другого знаменитого астронома, Тихо де Браге, который хранил их как священнойшую реликвию в истории науки и написал о них стихи. Говорил в стихах, что Земля производит такого человека раз в тысячелетие: он остановил Солнце и бросил в движение Землю. Сам же Коперник долго не решался опубликовать свое открытие: боялся преследований католической церкви и еще больше того, что все над ним будут насмехаться. Опубликовал он свою бессмертную работу только незадолго до смерти. Он посвятил ее папе Павлу III, но, как еретическая, она была включена Конгрегацией в пресловутый «Индекс». Хотя этот великий человек был верующим, все же, быть может, только чудо спасло его от костра, — говорил астроном, по-видимому недолгоблизивший католическую церковь. — Его гениальное произведение называется: «*De revolutionibus orbium coelestium*»¹. Копернику поставлен в Варшаве памятник работы Торвальдсена...

Слово «*revolutionibus*» остановило внимание Джамбула. «И тут какая-то революция, — да не та». Он взгляделся в худое измученное лицо с падающей по обе стороны головы густой копной волос. «Да, лицо не как у Кобы... Кто его знает, какой он был человек и что он о жизни думал?.. Так он был верующий? Неужели во все верил? И в загробную жизнь верил? А надо думать, был человек поумнее меня, с Камо и Сосо и даже с Лениным в придачу! Если б у меня была настоящая вера, выбрал бы себе не такую жизнь. Что же я тогда делал бы? Деревяшки с делениями не для меня, никаких талантов у меня нет. Но когда же, почему, зачем я выбрал такое нечеловеческое существование? Независимость Кавказа? Да ведь

¹ «Об обращениях небесных сфер» (лат.).

править им, скорее всего, будут разные Кобы, и что же я буду от себя скрывать, они в сто раз хуже, чем Воронцовы-Дашковы. А такие люди, как Цинцадзе или Рамишвили, они в сущности те же либералы, не столь уж отличающиеся от Спасовичей и Ковалевских. Едва ли они придут к власти, если и будет революция, как не придут к власти в России Ковалевские. И потому именно не придут, что они культурные, а не звери!» — подумал он, сам удивляясь тому, что так быстро изменилось его отношение к революции. «Все-таки не из-за гневной же лошади!»

Астроном сказал, что осмотр кончен. Посетители направились к выходу. Джамбул опять при выходе осмотрелся и пошел на Эриванскую площадь, все тем же старательно-неторопливым шагом, которым теперь ходил по городу. Тело его было собрано и напряжено на случай внезапного нападения. С револьвером он после экспроприации не расставался, хотя это было нецелесообразно: улики против него действительно не было, и в случае ареста он, вероятно, повешен не был бы.

На мостовой, на том месте, где упала первая бомба, стояло несколько человек. Один что-то объяснял, показывая на вывороченные камни. Джамбул послушал. «Да, это, вероятно, пятно от крови. Здесь упал тот казак, что скакал около фаэтона... Но не я убил его. Кроме нее, я никого не убил...» Он прошел к газетному киоску, остановился там, где стоял тогда, опять увидел «Тифлисский листок». Сделал несколько шагов, взглянул на то место — и вдруг почувствовал себя нехорошо.

В ресторане «Аннона», где всегда бывало множество людей и где не было ни одного случая ареста, он отдыхал. Есть почти не мог, но пил вино, слушал струнный оркестр. За соседними столиками люди говорили о своих делах. «Об этом надо очень и очень подумать», — сказал один из них. Да, и мне надо очень, очень подумать. Быть может, вообще мало думал о жизни, о самом главном. Теперь поздно. Хотя почему же поздно? Поговорить не с кем. Коба животное. Камо герой. Все уверяют, будто он добр, а он собирался сажать людей на кол. Как странно, что он был религиозен! Теперь, конечно, издевается над верой: Коба научил... Да, я состарился и не заметил этого... Надо возможно скорее поехать к отцу», — мелькали у него бессвязные мысли.

По дороге домой он зашел к тому человеку, по адресу которого приходили письма. Была только телеграмма из

Турции. Он поспешно ее распечатал, разорвав края на складке. Старый друг извещал, что отец скончался ночью во сне без страданий.

Очевидно, заведующий обсерваторией сочувствовал экспроприаторам. Впрочем, мог, хотя это маловероятно, и не знать, что находится в новом тюфяке его дивана. Через некоторое время Джугашвили все из тюфяка извлек, а Камо отвез Ленину в Куоккала. Теперь он путешествовал уже не в первом, а во втором классе и был не флигель-адъютантом, а только прапорщиком.

Крупская и Богданова зашили деньги в стеганый жилет своего товарища Лядова. «Он очень ловко сидел на мне, — писал Лядов, — без всяких осложнений деньги были перевезены нелегально через границу».

У Государственного банка, однако, оказались номера похищенных пятисотрублевков, и они тотчас были сообщены по телеграфу всем полициям Европы. Менялись пятисотрублевки по частям в разных западных банках. При попытках размена были арестованы Литвинов, Семашко, Равич и некоторые другие большевики. Таким образом, маленький центральный комитет, то есть Ленин, Красин и Богданов, лишился немалой части денег.

Кроме того, вышли неприятности с меньшевиками, которые подняли «агитацию, что не следует иметь ничего общего с мошенниками». Они ругали Ленина и Камо самыми ужасными словами. Но Ленин был не слишком огорчен неприятностями. Под его диктовку Крупская приписала к его частному письму об этом деле: «Меньшевики уже подняли тут гнусную склоку. Устраивают тут такие гнусности, что трудно даже верится... Сволочь?»

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В восемнадцати километрах от Парижа, в красивой долине у реки Иветт, лежит местечко Лонжюмо. В нем, как в любом городке Франции, есть очень старая готическая церковь; местечко уходит в глубокую древность. Когда-то тут шли какие-то битвы и был заключен какой-то мир между католиками и гугенотами. Больше, чем они, прославила городок оперетка Адана. Но о мире и войнах давно забыли жители городка. Теперь занимались в малых размерах промышленностью, торговали хлебом, медом, овощами, разводили скот, по вечерам собирались в кабачках, пили, играли в карты и в домино, а в десятом часу ложились спать.

Весной 1911 года Центральный Комитет Российской социал-демократической партии снял в Лонжюмо старенький ветхий домик с сараем и основал там партийный университет, с учащимися и вольнослушателями. Всего училось в нем восемнадцать человек; преимущественно это были рабочие, приехавшие из России и обязавшиеся тотчас после окончания курса вернуться на родину для подпольной пропаганды. Партия их содержала, правда, очень скромно, и оплачивала переезд. Секретных агентов Департамента полиции, как оказалось после революции, было среди слушателей всего трое.

Меньшевики — Мартов и Дан, — к большому удовлетворению Ленина, отказались преподавать в университете и даже его бойкотировали. Он стал чисто большевистским учреждением. Для чтения лекций в Лонжюмо переселились Ленин с женой и тещей и Зиновьев; приезжали из Парижа и другие партийные светочи. Ленин читал три курса: «Карл Маркс и буржуазные теории политической экономии», «К аграрному вопросу в России», «Теория и практика социализма»; Зиновьев читал историю партии, Луначарский — историю искусства, Каменев — историю буржуазных партий в России и что-то еще читали Стеклов, Шарль Рапо-

порт, Станислав Вольский. Среди преподавателей были очень ученые люди, вроде Рязанова; все старались читать общедоступно, но вряд ли слушатели много понимали. По требованию Ленина, они записывали лекции, он задавал вопросы, правил ответы. Увлекался делом и был вообще так весел, как никогда прежде.

Переселилась в Лонжюмо и новая партийная работница Инесса Арманд. О ней в партии много сплетничали. Она была человеком другого мира. Отец ее был англичанин, мать француженка. Выросла она в семье богатых фабрикантов. В нее влюбился и женился на ней молодой Арманд, сын главы фирмы. В его имении она устроила школу для детей. Интересовалась общественными вопросами, работала в Московском обществе улучшения участи женщин, примкнула к большевикам и в 1909 году, расставшись с мужем, взяв с собой ребенка, эмигрировала. Одни в Париже и в Лонжюмо считали ее красивой, другие только «еле хорошенькой», указывая, что лицо у нее асимметричное и слишком длинное, а рот слишком широкий. В общем ее любили, но говорили, что в партии она выдвигается только по протекции: неожиданно в нее влюбился Ильич! Главный спор в сплетнях шел преимущественно о том, «живет» ли он с ней или же роман платонический?

Она старалась сблизиться с товарищами, понять и усвоить их политический жаргон, но боялась их и чувствовала, что они ей чужие. Только Каменев, когда не говорил о меньшевиках и Троцком, и Луначарский, когда не говорил о Ницше или Ибсене, немного походили на людей ее прежнего общества. Еще больше боялась она учеников школы в Лонжюмо: рабочих прежде видела только на фабриках своего мужа, — там бывала очень редко: так ей было их жалко. С рабочими она в школе разговаривала особенно ласково и пыталась от них не отличаться по языку и по манерам. Это не очень ей удавалось.

Школа находилась на главной улице городка. В ветхом домике было тесно. Инесса, с сыном Андрюшей, поселилась в комнатухе под крышей; рядом с ней жили три вольнослушателя. Другие учащиеся разместились в местечке где могли. Ленин с Крупской и тещей жили у сдававшего комнаты французского рабочего. Обедали же все вместе в столовке, устроенной Катей Бароновой в кухне дома и в коридоре. Лекции читались в сарае, в котором прежде была столярная мастерская. Своими силами сколотили длинный стол, достали табуреты и несколько стульев. По требованию Ленина, мусор вынесли, сарай кое-как привели в порядок.

Инесса Арманд в самом деле очень быстро повысилась в чине: стала «членом президиума парижской группы содействия партии». Она была очень полезна, преимущественно трудолюбием и прекрасным знанием иностранных языков. В Лонжюмо читала «историю социалистического движения в Бельгии»; но оттого ли, что эта история уж совершенно не интересовала рабочих или по другой причине, прочла всего три лекции. Правда, Крупская не прочла ни одной.

Ленин был на всех лекциях Инессы; это была редкая честь, тотчас оцененная в доме: на лекции других преподавателей он ходил редко, а когда читали Луначарский или Рапопорт, обходил сарай за версту. Объясняли это тем, что историей искусства Ильич не очень интересуется, к Луначарскому относится благодушно-иронически, а «Хаима» недолюбливает. Слушатели, даже шпионы, напротив, очень любили веселого, жизнерадостного, вечно острившего Рапопорта, — он забавлял малограмотных людей не меньше, чем забавлял Анатоля Франса. Но его русскую речь они понимали плохо и часто называли его «Хаимом», — им кто-то сообщил, что его так звали в России. Луначарский, многозначительно поднимая палец, объяснял им, что Рапопорт — голова, что он в самых дружественных отношениях с Франсом, — это такой знаменитый писатель, и с Жоресом, тем самым, — «ах, какой оратор, мне за ним не угнаться». Ленин не говорил ни о Рапопорте, ни об его друзьях, — друзья были скверные: Жорес — «дрекгеноссе» — не лучше Эдуарда Бернштейна; книги же Франса, во-первых, какие-то романы, а главное, буржуазная скептическая ерунда, просто человеку нечего сказать.

Когда Инесса Арманд кончила свои лекции, Ленин поручил ей семинарий по политической экономии. В доме шутили, предполагая — быть может, не без основания, — что Инесса о политической экономии не имеет никакого понятия. Однако она и с этой задачей справилась добросовестно, как добросовестно делала все: по вечерам, когда Андрюша засыпал, до поздней ночи при свече читала учебники и даже что-то выписывала из «Капитала». Ильич бывал и на семинарских занятиях. Хотя кое-чем оставался как будто не очень доволен и «дополнял», но хвалил Инессу, сомневавшуюся в своих силах. Крупская на ее лекциях и практических занятиях не бывала.

Сплетники на этот раз не ошибались: Ленин по настоящему влюбился, — вероятно, в первый и в последний раз в жизни.

Тремя годами позднее он — не очень ясно — писал Инессе Арманд:

«Даже мимолетная страсть и связь» «поэтичнее и чище», чем «поцелуи без любви» (пошлых и пошленьких) супругов. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре. Прекрасно. Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов *грязны*. Согласен. Им надо противопоставить... что? Казалось бы: поцелуи с *любовью*? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?) — выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским... Странно. Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мешански-интеллигентски-крестьянский (кажись, п. 6 или п. 5 у меня) пошлый и грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью (с добавлением, *если уж непременно хотите*, что и мимолетная связь-страсть может быть грязная, может быть и чистая). У Вас вышло противопоставление не классовых *типов*, а что-то вроде «казуса», который возможен, конечно. Но разве в казусах дело? Если брать тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи, — эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь *гвоздь в индивидуальной* обстановке, в анализе *характеров* и психики *данных* типов). А в брошюре?»

В этом странном письме о любви, с какой-то брошюрой и с пунктами пятым и шестым, говорится также о пролетариате, о смущении рабочих, об объективной и классовой точке зрения. Он писал ей то на «вы», то на «ты». Во всяком случае это единственное письмо Ленина, где тему составляют любовь и поцелуи.

Крупская столь неожиданную для нее историю приняла с достоинством. Относилась к Инессе Арманд корректно; позднее предложила, что уйдет от мужа и предоставит ему свободу. После некоторого колебания он этого предложения не принял.

Почти «тургеневская» любовь к Инессе едва ли не самое странное в жизни этого человека. Любовь эта никак не была «мимолетной». Он любил Инессу весь остаток своей жизни. Она умерла в России от сыпного тифа в 1920 году. За ее гробом он шел, «шатаясь». Больших должностей она не заняла и после революции. Если бы не Ленин, окольничьи, вероятно, не явились бы и на похороны. Из-за него они провожали ее к могиле и испуганно на него смотрели: сейчас упадет в обморок.

II

Любовь не мешала делам или мешала им очень мало. Дела были в большинстве прежние. Были и некоторые новые. Сотрудников, помощников, окольных стало больше; больше стало и врагов. Но состав и тех и других, как всегда, был текучий, беспрестанно меняющийся. Теперь он особенно поносил именно тех, к кому прежде относился мягче или даже совсем хорошо. Так, Потресова называл подлецом, болваном и жуликом. Врагом стал и Богданов, еще недавно очень близкий. Его он возненавидел не столько по политическим, сколько по философским причинам.

Прежде Ленин охотно признавал свое философское невежество. В два года, проведенные им в России и в Финляндии, ему было не до философии. Но когда, осенью 1907 года, он вернулся с женой за границу, он принялся за изучение философских трудов и стал писать книгу против «распроклятых махистов» и против «философской сволочи» вообще. Поклонники недоумевали: вздумал старик писать об ерунде, да еще в такое время, когда меньшевики делают всякие гнусности! Ленин говорил о своем «философском запое», но это слово не следует понимать в обычном русском смысле: работал он очень регулярно, читал, делал выписки. Все философы, кроме материалистов, внушали ему отвращение. Философией стали заниматься и некоторые его соратники во главе с Богдановым. И тотчас он их возненавидел, рассорился с ними и всех их признал «богоискателями» и «богостроителями». У него образовалось нечто вроде личной вражды к Богу. Он писал о Боге всем, особенно же Максиму Горькому, которого подозревал в «поповщине». Выражал надежду, что Горький исправится под влиянием своей жены: «Она, чай, не за бога, а?»

«Философский запой» никак не мешал ему заниматься и практической политикой. «Говорят, что с.-р. Чернов написал даже водевиль по поводу объединения у с.-д. под названием «Буря в стакане воды» и что сей водевиль дают здесь на днях в одной из (падких на сенсацию) групп эмигрантской колонии. Сидеть в гуще этого «анекдотического», этой склоки и скандала, маеты и «накипи» тошно; наблюдать все это — тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению. Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелее, чем было до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны. Но склока отпадет; склока остается на 9/10 за границей; склока — это аксессуар. А развитие партии, развитие с.-д. движения идет и идет вперед через все

дьявольские трудности теперешнего положения», — писал он из Парижа за год до школы в Лонжюмо.

Едва ли писал вполне искренно. Вопреки распространенному мнению, склока в эмиграции не настолько уж сильнее, чем бывает склока на родине. И вряд ли Ленину было тошно от нее, от масты и накипи: он все это любил, это было издавна частью его жизни. И не так уж быстро шло тогда вперед развитие партии и социал-демократического движения. Скорее, было верно обратное, и он не мог этого не видеть. «Интеллигенция бежит из партии. Туда и дорога этой сволочи», — писал он.

Работе опять мешало безденежье. Он писал, что денег нет ни у него лично, ни (что было для него всегда гораздо важнее) у Центрального Комитета. Савва Морозов умер, другие богачи больше ничего не давали. Красин не только не находил денег, но и не искал их. «Это мастер посулы давать и очки втирать», — говорил Ленин о своем бывшем и будущем любимце.

В этом безденежье есть все же нечто не совсем понятное. Несмотря на частичные провалы при размене денег в европейских банках, от большой суммы, похищенной при тифлисской экспроприации, немало осталось в кассе Центрального Комитета. По-видимому, тысяч 80 или 85 попало к богдановской группе «Вперед». Ленин называл людей этой группы «жуликами» и бесстыдно-язвительно добавлял, что их 85 тысяч — «от эксов».

Были и еще другие поступления в кассу. Какой-то англичанин сдуру, под обещание Горького, положившись на его славу, дал партии в 1907 году немалую сумму займа с обязательством вернуть ему долг через полгода. Англичанин давно жалобно просил о выполнении обязательств. Ленин назвал эти требования «ростовщичеством». Долг был возвращен после октябрьской революции, да и то не сразу после нее, а в 1922 году.

Появились и «матримониальные деньги». Таратута и Андриканис с полной готовностью женились на сестрах Шмидт. Ленин женихов никак не идеализировал. Называл лучшего из двух «сутенером». Но, по-видимому, надеялся, что они хоть часть приданого отдадут партии. Действительно, «сутенер» отдал больше двухсот тысяч франков, за что после революции был вознагражден, хотя и не очень щедро: получил какую-то незначительную должность, работал при французских коммунистах в России — официально переводчиком, а по уверению одного из них, наблюдателем из ЧК. С другим женихом вышло гораздо хуже. Он уехал

с молодой женой в Париж, там «буржуазно переродился» и убедил жену, что передавать партии наследство ее брата незначет. Ему грозили убийством, говорили, что выпишут кавказских боевиков. В конце концов он согласился на «суд чести», с тем чтобы судьями были люди из других партий или же беспартийные. Этот «суд чести» состоялся; львиная доля приданого осталась за молодоженом, но все же и от него кое-что перепало в партийную кассу.

Таким образом, деньги должны были в кассе быть. На восстания они не отпускались, новое восстание было признано безнадежным. Партийные журнальчики стали платить гонорары. Однако требования с разных сторон шли немалые. Они иногда раздражали Ленина. Троцкий «хочет устроить на наш счет, негодяй, *всю* теплую компанийку «Правды»!» — сердито писал в редакцию газеты «Социал-демократ».

Были, впрочем, и хорошие признаки будущего. Где-то произошли студенческие волнения. «Что студентов начали бить, это, по-моему, утешительно», — говорил Ленин. Скончался Лев Толстой. Плеханов, тактику которого он теперь считал «верхом пошлости и низости», был тоже раздражен чрезмерным восхвалением Толстого (хотя оба были поклонниками). Появилась и надежда на новый союз с Плехановым. «Будем мы *сильны* — все придут к нам».

Он думал об Инессе — и неприятности как рукой снимало. Все заливалось светом. Теперь ему иногда (очень редко) казалось, будто он прежде чего-то не понимал в жизни. Тотчас гнал от себя эту вздорную мысль: какое отношение к делу могла иметь любовь! Был очень оживлен и весел.

Сообщение с Парижем поддерживалось трамваем к Одону, ходившим редко и медленно. Ленин предпочитал ездить туда, в Национальную библиотеку или по другим делам, на велосипеде. В Лонжюмо был и дамский велосипед, но Инессе Арманд было совестно им пользоваться: он принадлежал Крупской. Два раза в неделю приезжал из Парижа Каменев, теперь один из ближайших соратников. Летом, вдвоем, сидя на траве, они обсуждали готовящуюся Каменевым грозную брошюру против меньшевиков: «Две партии». Ленин хохотал при удачных полемических выпадах, многое переделывал, многое прибавлял. Крупская участия в этой работе не принимала. Не приходила и Инесса: это было бы тоже неловко, да она все-таки еще недо-

статочно разбиралась в такой работе; привыкла с ранней юности к другим книгам. Ленин все ей рассказывал, когда, после скудного обеда в столовке Кати Бароновой, Крупская с матерью возвращались к себе. За столом строго-печальное выражение на лице тещи, взгляды, бросавшиеся ею на Инессу, приводили его в дурное настроение. В комнатах у французского рабочего обе женщины, верно, плакали: кто мог бы такое предвидеть?

Иногда по вечерам устраивались импровизированные концерты. Один из рабочих имел балалайку. Под его аккомпанемент Малиновский, шпион Департамента полиции, пел «Дубинушку». Ленин и все другие подтягивали. За забором не без удовольствия слушали соседи-французы. Немногочисленные музыканты местечка имели, конечно, партитуру «Le Postillon de Longjumeau»¹. Рабочий разучил знаменитые куплеты. Инесса Арманд смущенно пела: «Depuis ce temps dans le village on n'entend plus parler de lui...»². Слова понимали только она и слушавший с упоением Ленин. Теща из своего угла бросала печальные взгляды.

На окраине местечка, на возвышении с довольно крутым подъемом, был ресторан, посещавшийся преимущественно проезжими. Из-за террасы и вида он был несколько дороже кофейен на главной улице, и русские эмигранты заглядывали туда редко. Именно поэтому в кофейню при ресторане иногда поднимался Ленин. Там думал о своих работах, что-то про себя бормотал, что-то писал на бумажке или на полях какой-либо брошюры. Столик занимал долго, заказывал только пиво, но на чай оставлял приемлемо, и таким образом был средний клиент, не очень хороший и не плохой.

Случалось, с ним приходила Инесса Арманд, пугливо оглядывавшаяся по сторонам. Ему очень хотелось как-нибудь с ней здесь пообедать вдвоем. Раз заглянул в карту и вздохнул: меньше семи, а то и восьми франков истратить нельзя, — баловство.

Он ей заказывал лимонад, а себе «бок», а то и целый «деми». Становился весел, шутил, писал ей стишки, с рифмами: «ножка», «немножко», «розы», «морозы». Она изумлялась: Ильич и чуть ли не по-старинному — мадригалы! Часто улавливался с ней наперед: сегодня о партийных

¹ «Кучер из Лонжюмо» (фр.).

² «И с тех пор о нем в деревне не слыхали ничего...» (фр.)

делах не разговаривать. Тем не менее говорил, — без них долго обойтись не мог. Говорил и о Карле Марксе, книги которого читал чуть ли не каждый день, находя в них все новые глубины. Инесса тотчас скисала, но старалась поддерживать разговор:

— ...Одно только... Мне всегда было странно, что в нем так мало морального элемента, — она теперь уже довольно бойко вставляла в свою речь такие ученые слова.

Ленин взглянул на нее изумленно: «Ох, все-таки многому еще надо ее подучить».

— Даже ни одного золотничка нет. Этим не торгуем, почтеннейшая.

— Но как же без этого? Ведь мы, Ильич, служим известному нравственному идеалу. Разве вы этого не думаете? — все еще не решалась называть его на «ты».

— «Известному нравственному идеалу», — сердито повторил он. — Очень у тебя буржуазная манерочка выражаться.

— Я за свои выражения не стою. Но у лучших элементов буржуазии можно кое-чему научиться. Ее мыслители разработали системы этики, которые...

— Об этом ты лучше поговори с балдой Луначарским! Он тебе и системы изложит, стишок приведет, и цитатку запустит, хоть не поручусь, что не им самим изобретенную.

— Но почему нельзя об этом поговорить с вами, Ильич? Мне давно хочется знать, какое именно глубинное этическое начало вами руководит, и я...

— «Глубинное этическое начало»... «лучшие элементы буржуазии»!.. Провались они в тартарары, лучшие элементы буржуазии вкупе с худшими! — перебил он ее еще сердитее. Вынул пальцы из жилетного кармана, протянул вперед руку и, наклонившись над столиком, страстно заговорил. Лицо у него изменилось и побледнело. Инесса испуганно замолчала. Ленин редко говорил долгими монологами. Не раз она слышала его на митингах или на небольших партийных собраниях и все не могла понять, какой он оратор. Троцкий, например, был признанным «оратором Божьей милостью», — в Петербурге его все так называли; это было как бы даже официальное его наименование. Луначарский был тоже оратор Божьей милостью. Но Ленина никто так не обозначал. Ей казалось, что он обычно десять раз говорит одно и то же, как молотком вбивает свои мысли в головы слушателей, и понятливых, и непонятливых. Но иногда, если его прерывали «возгласами с мест», он

вдруг обрушивался на своих противников и тогда говорил так, как Троцкий и Луначарский говорить и не умели. Голос его становился страшным, — страшным особенно силой ненависти. В этих случаях у него появлялся и «жест», несколько не актерский, как у большинства ораторов, а самый естественный, почти, как ей казалось, величественный. Однако наедине с ней он никогда так не говорил.

Теперь Ленин говорил о буржуазии, об ее тупости и гнусности, об ее преступлениях, об ее обреченности, о расплате. Как бы мимоходом, впервые при Инессе, он упомянул о казни своего брата: «Где тогда были твои лучшие элементы?» Она еще в семье Армандов слышала, что его брат был повешен. «Но что же можно было сделать для помощи человеку, покушавшемуся на жизнь царя?» — невольно мыслью прежней, давней Инессы подумала она. Ленин говорил, как узнал о казни брата, что тогда пережил. Ей кто-то сказал, будто он был по взглядам чужой брату человек и даже не очень его любил. Она слушала с все росшим волнением, именно как зачарованная. И ей впервые показалось, что она понимает его, чувствует его душу, что он большой человек и во всяком случае большая сила.

Вдруг он на полуслове оборвал свой монолог и злобно на нее уставился, точно по инерции перенося на нее свою ненависть к старому миру.

— Как вы говорите, Ильич!.. Как ты говоришь! — прошептала она.

Он опомнился, вытер лоб чистым платком, откинулся на спинку стула и выпил остаток лимонада из ее стакана (пива у него больше не оставалось).

— Уж будто? — спросил он и положил палец в жилетный карман.

III

До войны жизнь Ласточкина была сплошной цепью успехов.

Его состояние все росло и уже определялось в полтора миллиона рублей осведомленными людьми, у которых были время и охота считать деньги в чужих карманах. Обогащение почти не доставляло ему удовольствия. Он почти ничего для этого не делал. Просто очень росли в цене принадлежавшие ему акции, — теперь уж все говорили в Москве, что Россия стала «второй Калифорнией». Увеличилось и число его должностей в разных торгово-промышленных

предприятиях. Дмитрий Анатольевич этих должностей и не искал, ему их навязывали. От синекур он отказывался, и всякий раз, как соглашался принять звание члена совета в каком-либо учреждении, начинал в нем работать и несомненно бывал полезен. Другие видные люди просто коллекционировали такие места, только приезжали на заседания и высказывали свои суждения. Все ценили бескорыстие, компетентность, энергию Ласточкина. Он давно стал одним из самых уважаемых и популярных людей в деловой Москве.

Развивалась и его общественная деятельность. Собственно, оба эти вида работы не были по существу между собой связаны, но они развивались как бы параллельно. Для общественной деятельности Дмитрия Анатольевича теоретически не имело никакого значения, богат ли он или нет. И тем не менее он ясно, с неприятным чувством, видел, что его общественный вес был бы меньше, если б он не состоял в многочисленных предприятиях, не принимал у себя всю Москву и не жертвовал немалых денег на благотворительность. Никто из людей, приезжавших с подписными листами или с какими-либо билетами, не встречал у него отказа. Так же поступала и Татьяна Михайловна. И всегда просители, выходя от них, говорили друг другу: «Помимо того что они дали много больше других, которые их побогаче, — как *мило*, по-джентльменски дали!»

Имя Дмитрия Анатольевича теперь часто упоминалось в либеральных газетах. Сам он был к этому довольно равнодушен, но Татьяна Михайловна все больше радовалась его успехам и популярности, помещала в альбом заметки о нем. Иногда не без смущения вырезывала простые упоминания имени мужа в числе участников важного заседания и наклеивала, надписывая название газеты и число:

— Что ж, если вырезать, то все, — говорила она Люде, иногда рассматривавшей альбом, который от наклеек разбух и стал менее красив: как ни аккуратно Татьяна Михайловна их наклеивала, сложенные газетные страницы торчали кое-где из-под кожного переплета и позолоченного обреза толстых листов. — Может быть, Мите как-нибудь и пригодится: например, понадобится дата заседания?

— А все-таки ты мужняя жена, — ответила Люда, впрочем без малейшей злобы или зависти. Искренно говорила Мите, что «аб-бажает» Таню. Они недавно перешли на «ты».

— Кем же мне быть, как не мужней женой? И что это, собственно, означает? — с недоумением спрашивала Татьяна Михайловна.

И о ней самой изредка попадались упоминания в газетах. В Москве было немало дам, имена которых упоминались еще чаще, чем имена знаменитых адвокатов и профессоров, хотя их заслуги были не очень ясны, да и жертвовали они не так много денег; зато, правда, часто принимали в своих роскошных домах кто писателей и артистов, кто политических и общественных деятелей. Татьяна Михайловна заметок с упоминанием своего имени никогда не вырезывала. Люда не могла этого не ценить, по контрасту.

— Если б эта перезрелая дура не была так богата, то никто и не знал бы об ее существовании, — говорила она о той или другой из общественных дам. — Ненавижу этот культ богатства!

Ее фамилия в газетах не появлялась, но она тоже была общественной деятельницей, получала уже недурное жалованье, обзавелась собственной квартирой. Жила не так замкнуто, как прежде, приглашала людей к себе. Никаких увлечений у нее не было. Ласточкины про себя этому удивлялись, и теперь уже скорее грустно.

Порою Дмитрий Анатольевич писал статьи в «Русских ведомостях». Это само по себе было немалым общественным чином. Из одного его «подвала» по экономическим вопросам были даже перепечатки в петербургских и провинциальных газетах с очень лестными комментариями. Травников сказал Татьяне Михайловне, что ее муж теперь имел бы немалые шансы пройти в Государственную Думу или, по выборам, в Государственный Совет:

— А то, право, барынька, подчас досадно, что ваш богдыхан делает дельные предложения, а tulit alter honores¹, — сказал профессор.

Татьяна Михайловна потребовала перевода цитаты и вечером сообщила мужу мнение «одного нашего приятеля». Имени не сообщила, но по латинской цитате Дмитрий Анатольевич догадался.

— Ты хотела бы?

— Только если б ты сам этого хотел. Жаль, правда, что тогда пришлось бы переехать в Петербург. Нет, уже поэтому я не очень хотела бы. А как *ты* думаешь?

— О Государственном Совете и речи быть не может. Что я там делал бы с сановными старичками! А в Думу, — право, не знаю. Уж скорее пусть наш Алеша баллотируется. Ниночка очень этого хочет. Два члена Государственной

¹ Почести получает другой (лат.).

Думы от одной семьи — этого уж слишком много, — смеясь, сказал Ласточкин. — Да и оба мы, верно, не прошли бы: если достаточно более заслуженных кандидатов. И от какой партии?

— Кадеты очень тебя зовут, но, я знаю, ты левее кадет.

При очередном письме к Нине она переслала подвал Дмитрия Анатольевича, упомянула о перепечатках, привела мнение профессора и даже его цитату. Статьи мужа она всегда пересылала его сестре, обычно добавляя шутливо что-либо вроде: «Препровождаю при сем новый шедевр богдыхана». Нина в ответном письме неизменно говорила: «Статья Мити превосходна», или: «И Алеше, и мне чрезвычайно понравилось», или: «Алеша читал с еще большим интересом, чем я, и думает, к статье Мити очень прислушаются...» Татьяна Михайловна старалась не замечать невинной и полезной неправды. На этот же раз ответ был восторженный и уж вполне искренний:

«Мысль о Государственной Думе кажется мне прекрасной! — писала Нина Анатольевна. — И, знаешь, потом мы проведем туда и Алешу! Он, правда, слышать не хочет, но я его уговорю, мне уже осточертела жизнь за границей. В его губернии у него есть друзья, сторонники и даже «почитатели». Как было бы хорошо! И прав этот ваш милый чудак. Наши два Аякса пусть, по разу в месяц каждый, показывают с трибуны фигу правительству, а мы с тобой опять будем неразлучны. Жаль, что выборы не скоро и что Государственная Дума в Петербурге, а не в нашей Москве!..»

Ласточкины благодушно читали это письмо, и некоторое время в семье держалась кличка «два Аякса». Рейхелю Татьяна Михайловна статей мужа не посылала. Знала, что он будет только ругаться. Он ненавидел все и всех: социалистов, либералов, консерваторов. Аркадий Васильевич уже был экстраординарным профессором. До Ласточкиных доходили слухи, что товарищи очень его не любят: над всеми издевается и всех критикует, не имея по своим скромным заслугам никаких на это прав.

Все было бы хорошо, если б только было лучше здоровье. Сам Дмитрий Анатольевич ни на что, кроме одышки, особенно не жаловался, но Татьяна Михайловна чувствовала себя нехорошо и старалась скрывать это от мужа. Он что-то замечал и поглядывал на нее с тревогой.

Очень его беспокоили слухи о возможности европейской войны, все более упорно ходившие по России. Думал, что хоть в этом отношении было бы хорошо, если б вернулся к

власти граф Витте; разочаровался в нем в пору декабрьского восстания, но имел к нему, как сам с улыбкой говорил, «влеченье, род недуга»: любил очень умных людей, вышедших на верхи собственным трудом и дарованиями.

IV

Тонышев занимал большую должность в венском посольстве. Посол очень хорошо к нему относился, оценил его способности, познания, добросовестность и выдвигал его в докладах министру. В пору отлучек посла доклады «Певческому мосту» составлял он сам, и министр читал их с особым интересом. В молодом дипломатическом поколении Алексей Алексеевич выделялся и превосходным знанием иностранных языков. Внутренняя переписка в министерстве иностранных дел теперь велась почти исключительно по-русски; это всем было удобнее, хотя некоторые старые дипломаты еще говорили, что по-французски им писать легче. Но в сношениях с иностранными дипломатами Тонышеву нередко случалось писать бумаги по-французски, по-английски, даже по-немецки, и он это делал прекрасно, часто с цитатами, со ссылками на забытые прецеденты. Он нередко посещал «Балльплатц», разговаривал, в историческом кабинете Меттерниха, с самим Эренталем, который тоже его хвалил.

Поселились Тонышевы в лучшей части города. Сняли большую квартиру и прекрасно ее обставили. Алексей Алексеевич выписал свою обстановку из Парижа. Много мебели они докупили. Покупали с толком и с радостью. Имение Тонышева очень повысилось в цене: около него прошла новая железная дорога. Он выгодно продал лес. Прогнал и почти всю землю: часть — дорого — соседнему сахарному заводу, часть — дешево — крестьянам. Остался только дом с огромным парком. Вырученные деньги он вложил, по совету Ласточкина, в разные акции, которые приносили большой доход и быстро повышались в цене. Средства у Тонышевых теперь были очень хорошие. На деньги, полученные от брата в подарок к свадьбе, Нина Анатольевна, посоветовавшись с мужем, купила несколько рисунков Сезанна.

Оба они хорошо одевались, имели отличного повара, устраивали обеды — и понемногу вошли в высшее общество Вены. Не бывали у них лишь лица из высшей знати, князя Виндишгрецы, Ауерсперги, Шварценберги, — эти ездили в гости только друг к другу, к членам император-

ской семьи и далеко не ко всем послам. Но однажды Тонышевых посетил один из эрцгерцогов, выразивший желание посмотреть на их Сезаннов. Несмотря на либерализм этого гостя, принимать его надо было по особому порядку. Никакой из разновидностей заметного снобизма ни у Нины Анатольевны, ни у Алексея Алексеевича не было, все же этот визит был приятен, тем более что посол их с ним поздравил, как поздравил бы с орденом или с повышением по службе. Разумеется, бывали у них не только аристократы и сановники, но также писатели, музыканты, банкиры, журналисты. Осведомленные люди сообщили Тонышевым, что еще совсем недавно венское общество строго делилось на три разряда: «Erste Gesellschaft», «Zweite Gesellschaft», «Dritte Gesellschaft»¹, которые почти никогда друг с другом не встречались; но теперь это уже меняется, хотя медленнее, чем в других странах. Алексей Алексеевич тотчас стал звать к себе людей из «третьего общества»; не очень знал, к какому обществу принадлежат они сами:

— Ты к первому, а я ко второму, и то в самом лучшем случае, — скромно говорила Нина.

— По-моему, и я ко второму: у меня нет не только шестнадцати, но и восьми поколений дворянства, — весело отвечал он.

— А у меня и ни одного нет, такой уж ты сделал мезальянс. Так не лучше ли послать все это к черту? Будем общаться, с кем нам угодно.

Почти все в австрийской столице больше интересовались театром, обедами, игрой, балами, скачками, маскарадами, чем политикой. От тех же, кто занимался политическими делами и даже ими ведал, Тонышев слышал удивительные суждения. Еще в первое время своего пребывания в Вене он узнал, что у Эренталья есть свой замечательный проект: замена Тройственного Союза Союзом четырех великих держав: Австро-Венгрии, России, Германии и Франции, с фактическим преобладанием двух первых. Этот союз оказался бы столь могущественным, что мог бы распоряжаться полновластно судьбами мира; вдобавок он положил бы конец англо-французскому соглашению, сближению между Англией и Россией и какой бы то ни было международной роли Италии. На вопросы Тонышева, что будет делать такой всемогущий союз, зачем он нужен, отчего не привлечь к нему Англию и Италию, почему Франция и Германия согласятся на русско-австрийское преобла-

¹ «Первое общество», «Второе общество», «Третье общество» (нем.)

дание, как и в чем это преобладание будет выражаться, осведомленные люди отвечали соображениями, казавшимися ему уж совершенной чушью: необходимо положить конец интригам Англии на Балканах; надо построить железную дорогу через Ново-Базарский санджак; можно считать обеспеченной поддержку Ватикана, он ненавидит Квиринал, а папа преклоняется перед Вильгельмом II и называет его «*quel Santo Imperatore!*»; без Союза Четырех нельзя разрешить македонский вопрос; в Союзе же Четырех, разумеется, номинально все будут равны, Франция и Германия согласятся, да, может быть, при искусстве Эренталя, и не заметят, — объясняли ему осведомленные люди.

Он недоумевал. Было совершенно ясно, что все эти доводы — чистый вздор, но говорили люди неглупые, образованные и, главное, профессиональные дипломаты! И еще более удивительно было то, что бессмысленный план предлагал сам Эренталь, новый Меттерних. Алексею Алексеевичу только изредка и то лишь ненадолго приходила мысль: вдруг все эти господа думают преимущественно или даже исключительно о себе, о своей славе, о причинении неприятностей соперникам и — в лучшем случае бессознательно — из кожи лезут, чтобы придумать что-либо *свое*, связанное с их именем и якобы очень полезное их странам? Почти невольно Тонышев иногда сам старался придумать *свой* план: этот, разумеется, полезный России без малейшего сомнения.

Впрочем, о плане Союза Четырех очень скоро совершенно перестали говорить, точно такого плана никогда и не было. Заговорили о других столь же странных проектах. Тонышев видел только, что в Европе с каждым днем становится все беспокойнее: еще года четыре тому назад ни о каких больших войнах и речи не было.

Однако тон влиятельного венского общества нравился Алексею Алексеевичу. Еще больше нравился ему древний ритуал габсбургского двора. Он был представлен императору, который ему, как иностранному дипломату, подал руку. Франц-Иосиф его очаровал. Тонышев любил старину, — Бург, как все говорили, был последним в Европе, совершенно не изменившимся ее очагом. И главное, австрийский император был настоящей опорой европейского мира.

О возможности войны Алексей Алексеевич думал с резким осуждением, хотя, конечно, и он не представлял себе, *какой* может оказаться новая война. Его нелюбовь к «швабам» с годами ослабела. Он находил, что территориальные приобретения никому особенно не нужны, а менее всего России. Его чрезвычайно удовлетворяло, что так же, по

общему мнению, думал престарелый Франц-Иосиф. «Да, он никак не гений и даже не выдающийся человек, но очень многим более ученым и блестящим людям, чем он, не мешало бы у него кое-чему поучиться. И далеко не все так было плохо в старину», — думал Алексей Алексеевич. Как всегда, он много читал, тратил немало денег на книги и переплеты.

В Москве он очень сошелся с Ласточкиными, они теперь стали для него самыми близкими людьми. У них Тонышевы всегда останавливались при наездах в Россию. В Дмитриии Анатольевиче ему были приятны оптимизм, широкое экономическое образование, деловитость. Сам он ничего в экономике не понимал, не любил романов, где описывались дела, даже не мог дочитать «Деньги» Золя. «А Митя по-настоящему делами увлекается и так рад, что они идут прекрасно и в мире, и у него самого. Тут ничего худого нет. Все мы принимаем как должное те блага, которые нам посылает либо рождение, либо удача, никому не приходит в голову их стыдиться, а он вдобавок все создал своим трудом...» Не меньше ему нравилась и Татьяна Михайловна. С ней он тоже вел долгие разговоры, преимущественно о музыке, о литературе. Свои взгляды она высказывала мало и даже неохотно, никак не старалась «блистать», но слушала внимательно и с интересом; ее собственные суждения обычно казались ему меткими и бесхитростно-остроумными. При его последнем приезде, в разговоре о политических событиях, она с улыбкой ему сказала:

— Вы, Алеша, всегда говорите еще либеральнее, чем мой богдыхан, но не сердитесь, мне кажется, что в душе вы в отличие от него самый настоящий консерватор и любите только прошлое.

— Дорогая Таня, вы, значит, упрекаете меня в неискренности! Вот не ожидал! Много знаю за собой худого, но не это.

— Совсем не так. Искренность тут ни при чем, это как-то проходит вне искренности или неискренности... Вы помните о министре Уварове?

— О том, что при Николае Первом провозгласил формулу: «Православие, самодержавие, народность»?

— Да, о нем. Я как раз недавно читала в журнале воспоминания знаменитого историка Соловьева. Он описывает то, что называл «оттепелью», то есть время, последовавшее за смертью Николая. И вот он об этой самой уваровской формуле говорит: «Православие? Но Уваров был самый настоящий атеист. Самодержавие? Но в душе он

без всякого сомнения был либералом. Народность? Но он за всю жизнь ни одной русской книги не прочел, а писал только по-французски или по-немецки...»

— Вот уж удружили, дорогая, сравнением!

— Не гневайтесь, Алеша. Прежде всего, у вас ведь совершенно обратное. Да и не так, по-моему, плохо, если у вас и нет «законченного политического мировоззрения»: оно, слава Богу, у всех теперь есть, даже у людей, которым до вас очень далеко.

— А вот я, назло вам, напишу книгу именно с «законченным политическим мировоззрением».

— О чем?

— О князе Каунице.

— Жаль, я о нем ровно ничего не знаю. Я ведь невежественна.

Тонышев в самом деле давно думал об историческом труде «Князь Кауниц и его русская политика». Сначала добавил было подзаголовок: «Апогей «Кучера Европы», но потом зачеркнул: ему не очень нравилось прозвище Кауница, да и неудобно было помещать кавычки на обложке. Алексей Алексеевич собрал немало материалов, увлекался этой работой, делился мыслями с женой. Она слушала с большим вниманием, одобряла и старалась все запомнить.

Алексей Алексеевич вел и дневник для будущих воспоминаний и сам говорил об этом с улыбкой, — все дипломаты имеют дневники и готовят воспоминания. Он не был расположен к сплетням и записывал только те, которые имели хоть какое-либо отношение к политике. В международном дипломатическом мире прочно господствовало правило: «*Vienne est un poste d'observation de tout premier ordre*»¹. Но в сведениях этого наблюдательного пункта сплетни играли немалую роль.

Больше всего в Вене сплетничали о наследнике Франце-Фердинанде и особенно об его морганатической жене. Тонышевы не менее десяти раз слышали, что «эрцгерцогиня Фридрих» очень хотела выдать за наследника свою дочь и даже считала это решенным делом, так как Франц-Фердинанд стал часто бывать у нее в доме; но внезапно и совершенно случайно выяснилось, что приезжал он вовсе не ради ее дочери, а ради ее фрейлины, чешской графини Хотек; после бурной сцены фрейлина была уволена, — и на ней-то морганатическим браком женился эрцгерцог, к крайнему негодованию императора. Это Тонышев записал

¹ «Вена — лучший наблюдательный пункт» (фр)

не без сочувствия обеим сторонам: эрцгерцог женился по любви на небогатой и не очень знатной женщине, это было хорошо. Но и в гневе Франца-Иосифа был его древний стиль. Был такой стиль, пожалуй, даже в том, что некоторые австрийские князья ездили в гости только друг к другу. «Глупо, забавно, что же, это старая Австрия».

Вывод из дневника был следующий. Императора все венцы обожают. Наследника, напротив, не любят, — отчасти из-за его брака. Недолгобливают и иезуитов, приписывая им почти суеверно огромную закулисную силу. Старый австрийский дипломат за обедом с ним в клубе, вскользь осведомившись об его религии, весело рассказал ему анекдот: когда-то германский канцлер, принц Гогенлое, в благодушную минуту дал ему совет: «Друг мой, если вы думаете о своем будущем, всячески старайтесь поддерживать добрые отношения с иезуитами и с евреями». — «Я этому мудрому совету всю жизнь и следовал, — смеясь, добавил от себя дипломат, — однако, не скрываю, это было трудно, так как обе силы ненавидят одна другую». Тонышев и это записал и даже при случае вставил в доклад. Впрочем, считал мнение канцлера преувеличенным: иезуитов он встречал мало, но еврейские богачи или артисты у него бывали и, по его впечатлению, так же мало понимали в политике, как их христианские собратья.

Разговорившись с этим остроумным и откровенным дипломатом, Алексей Алексеевич осторожно коснулся общего положения в Европе.

— Войны до тысяча девятьсот тринадцатого года не будет ни в каком случае, — решительно сказал дипломат, — но потом она, по всей вероятности, произойдет.

— Почему вы так думаете? Вы говорите с такой уверенностью! На чем же она у вас основана?

— На предсказании майнцской колдуньи.

— Ах, колдуньи, — разочарованно сказал Тонышев. — Я думал, вы говорите серьезно.

— Я говорю очень серьезно... Вы согласны с тем, что войны не будет, если ее не захочет Вильгельм Второй?

— Совершенно согласен.

— Так видите ли, его боготворимый им дед, тогда еще только прусский принц, в тысяча восемьсот сорок девятом году, бежав после революции из Пруссии, зашел в Майнце к знаменитой колдунье. Она, сразу, назвала его «ваше императорское величество» и предсказала ему, что он в тысяча восемьсот семьдесят первом году станет германским императором. «Почему вы так думаете?» — изумленно

спросил принц. Колдунья взяла листок бумаги и сложила число тысяча восемьсот сорок девять с составляющими его цифрами: один, восемь, четыре, девять. Вышло тысяча восемьсот семьдесят один.

— Доказательство совершенно бесспорное. Умная была колдунья, — сказал, смеясь, Тонышев. — Но при чем же тут будущая война?

— Сейчас увидите. Принц, естественно, тогда ее спросил, долго ли он останется германским императором. Она опять сложила тысяча восемьсот семьдесят один, один, восемь, семь, один. Вышло тысяча восемьсот восемьдесят восемь. Как вы помните, Вильгельм Первый умер в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. Он задал колдунье третий вопрос: «Долго ли будет существовать германская империя?» Она произвела такой же подсчет с числом тысяча восемьсот восемьдесят восемь — и вышло тысяча девятьсот тринадцать. Вильгельм Второй знает об этом предсказании и, разумеется, очень боится...

— Даже «разумеется»! Значит, и вы этому верите?

— Не полностью, но верю, — подтвердил серьезно дипломат. — И Вильгельм Второй тоже верит, но не полностью. Он подождет конца тысяча девятьсот тринадцатого года: если германская империя к тому времени не падет, то, значит, колдунья ошиблась, и можно начинать войну с Европой, не рискуя гибелью империи.

Хоть ему было и немного совестно, Алексей Алексеевич и этот рассказ о колдунье вставил в доклад, — правда, в полушутливой форме. Думал, что в Петербурге могут и всерьез заинтересоваться предсказанием.

Особая глава в его дневнике касалась отношения австрийского общества к разным державам. Он находил, что к России, да и к Германии отношение в Вене очень настороженное; союзную Италию и ее союзное правительство почти ненавидят; Англию любят и уважают. Еще больше любят Францию, хотя сожалеют, что ею правят атеисты вроде Комба или Клемансо. О возможности войны говорят легкомысленно, о войне с Россией в его доме, естественно, не говорили, но, случалось, влиятельные и осведомленные венцы болтали о войне с Сербией, которую терпеть не могли; Пашича, не стесняясь, называли «старым разбойником». О черногорском князе позднее говорили, будто он перед началом войны очень удачно сыграл на понижение на бирже, для этого и затеял войну.

Служба, книга, дневник заполняли умственную жизнь Алексея Алексеевича. Жену он любил и был счастлив. То-

нышеву казалось, что он живет именно так, как всегда хотел, как полагается жить порядочному и культурному человеку. «Служа России, служу делу мира, и если уж говорить высоким стилем, то в меру сил служу добру», — думал он.

Нина Анатольевна очень хотела быть в жизни верной помощницей своему мужу. Она отлично вела дом, иногда переписывала рукописи Алексея Алексеевича или переводила для него цитаты. Честолюбива она не была, не мечтала о том, что муж стал послом, и даже предпочла бы, чтобы у него была другая, не бродячая, карьера, которая дала бы им возможность жить в России. «Но Алеша честолюбив, он не согласится выйти в отставку и стать просто обывателем или помещиком. И поместья больше нет, да я и сама не хочу жить в деревне. Хорошо было бы, если б его выбрали в Государственную Думу, это в самом деле все устроило бы», — думала она.

Русских знакомых у них было в Вене немного, только дипломаты. Она часто их приглашала, поддерживала с ними хорошие отношения, говорила то, что нужно было говорить, но ей с ними было скучновато. «Не нашего московского круга люди, и даже, собственно, не интеллигенция, Алеша среди них белый ворон», — думала она. Мужа Нина Анатольевна любила не меньше, чем прежде. «Конечно, нельзя сравнивать с Таней и Митей, но ведь они в этом отношении для кунсткамеры». Ее отношение к жизни осталось прежнее, *простое*. Но иногда ей казалось, что этого *простого* отношения как будто стало недостаточно. Детей у них не было, но для них это было далеко не таким горем, как для Ласточкиных. «Да и будут, конечно. Спешить некуда». Все же она теперь испытывала легкую радость, когда узнавала о других бездетных семьях.

По-прежнему она очень интересовалась искусством, в частности архитектурой, знала все дворцы Вены и собиралась со временем написать статью о строениях Хансена. Не без грусти думала, что теперь уж никогда архитектором не будет: только даром училась. Все же в общем и она была довольна своей жизнью.

V

Одноэтажный с плоской крышей дом был расположен не очень далеко от кавказской границы. Снаружи он был неказист, но все его шесть комнат были убраны по-восточному хорошо. Везде были дорогие ковры, низкие диваны,

мягкие кресла. На стенах главной комнаты висели фитильные ружья с раскрашенными прикладами, пистолеты, кинжалы, кривые сабли в бархатных ножнах, турьи рога в серебре, куски зеленого шелка с вышитыми на них золотом стихами из Корана. Большого комфорта, впрочем, не было. Освещался дом свечами, правда не сальными, а восковыми, отапливался месяцев десять в году преимущественно солнцем, в холодное же время жаровнями с раскаленным углем. Кухня была в отдельном строении, в большом дворе, в середине которого находился фонтан. Были еще во дворе конюшня, сараи, амбары. Под навесом всегда что-нибудь жарилось или варилось: лепешки, плов, варенье. Впереди дома начинался сад, тянувшийся довольно далеко.

В 1859 году, после падения Ведена и Гуниба, отец Джамбула, подобно многим последним защитникам Кавказа от русских, бежал с женой в Турцию. Сын был тогда ребенком, и взять его с собой было невозможно: это означало бы для него верную смерть. Он был оставлен у дяди в Дагестане.

Отец завел в Константинополе торговлю. При его трудолюбии, честности и практической сметке она пошла успешно; он нажил немалое состояние. Хотя препятствий не было, на Кавказ больше не возвращался: и делать ему там больше было нечего, и нельзя было бросить торговлю, и не хотелось возвращаться в страну с немусульманским правительством. Прожил он до семидесяти пяти лет, потерял жену и окончил свои дни в собственном имении. На старости лет стал очень богомолен и, когда не работал в саду, читал священные книги. Он получил образование, читал по-арабски, знал и французский язык: был некоторое время переводчиком при Шамиле и оставил эту должность лишь для того, чтобы принять участие в последних боях за независимость.

Вскоре после тифлисской экспроприации Джамбул благополучно перебрался через границу и приехал в отцовскую усадьбу.

Наследство оказалось значительно большим, чем он ожидал. Сначала он предполагал продать имение, взять из Константинопольского банка деньги и уехать. Но увидел, что лучше не спешить: при спешке продажа, наверное, окажется невыгодной. И, главное, ехать ему было, собственно, некуда. Товарищи по тифлисской работе затевали какие-то новые страшные дела и, разумеется, звали и его. Но он почувствовал, что больше в таких делах участвовать *не может*, не из-за того, что они страшны, — «хотя отча-

сти и из-за этого, зачем себя обманывать? — но оттого, что они отвратительны!»

Все же, уезжая из России, он еще думал, что, быть может, вернется. И только перейдя границу, с совершенной ясностью почувствовал, *как* он устал, как переменился, как измучен и физически, и морально.

Уехать немедленно было невозможно, хотя бы из-за оставшихся формальностей по утверждению в правах наследства. Их взял на себя старый друг отца, хорошо знавший законы и обычаи; от платы решительно отказался. «Очень хорошие и честные люди наши мусульмане», — думал Джамбул. Сам он приходил в уныние, когда дело доходило до законов, формальностей, составления бумаг.

Он решил временно остаться в усадьбе. Знакомился со своим имением. В земледелии смыслил тоже очень немного, но все в имении ему понравилось: усадьба, сад, лес, скот. Только лошади — две косматые туркестанской породы — были плохие: отец давно верхом не ездил, катался в коляске на этих лошадях. Джамбул первым делом купил себе кровного арабского жеребца; на арабских лошадях никогда до того не ездил. Купил английское охотничье седло и два английских ружья, хотя охота в этих краях была не очень интересная. В свой сад влюбился наследственной любовью. При имении был небольшой виноградник, но весь виноград шел на изюм для продажи. Производить вино было бы невозможно: от него тотчас отшатнулось бы духовенство, во главе с старым муллой, носившим зеленую чалму, то есть побывавшим в Мекке. Выписал много вина из Константинополя: и обыкновенного столового, и дорогого, знаменитых французских марок. Сам удивлялся, что устраивается как будто надолго. «Что ж, приезжать сюда буду наверное».

Он перезнакомился с соседями. Они много о нем слышали от отца и были ему рады, особенно более молодые (стариков он всегда в меру возможного избегал). Все были мусульмане, но разных национальностей: преобладали татары и другие выходцы с Кавказа, были и коренные турки, и сербы мусульманской веры. Национальные различия чувствовались, однако общая религия всех сближала. Менее ветхозаветные ездили к нему в гости, обедали, не без смущения пили вино. Смеялись, когда он, угощая их свиной, невозмутимо называл ее телятиной. Один сосед вина не пил, но пил коньяк и, тоже невозмутимо, ссылаясь на то, что о коньяке в Коране ничего не говорится. К его приятному удивлению, он был кое-где представлен дамам, выходившим к нему без чадры. «Да, идет вперед Восток!»

Соседи, в большинстве малообразованные и приятные люди, политикой не очень интересовались и взгляды высказывали странные. Им, например, нравилось или, во всяком случае, внушало почтение то, что у султана во дворцах есть шесть тысяч слуг, в том числе восемьсот поваров, и что он берет себе одну десятую часть государственного дохода. «Во всем мире пропорционально еще больше берет в свой карман только князь черногорский, но у того какая уж казна! Гроши!» — «Да что же тут хорошего? — с недоумением спрашивал Джамбул. — Ведь вам же приходится платить?» Оказалось, однако, что все помещики устроили у себя вакуфы, — никаких налогов не платили; говорили, что и он никаких налогов платить не будет, разве только придется еще кому-нибудь дать взятку. Джамбул перестал интересоваться турецкой политикой.

Скучные формальности были, наконец, закончены. Теперь денег было сколько угодно. Он решил, что надо съездить в Париж и там «все решить», — не углублял вопроса, что именно. Кроме того, надо было как следует одеться. Из России он уехал с одним тощим чемоданом. В соседнем со своим именем городке еле нашел сносное белье; одежду же приобрел восточную, очень живописную; обладал от природы вкусом. Все же необходимо было и европейское платье; да и восточное в Париже, наверное, можно было достать лучше, чем в турецкой глуши.

Джамбул с первых дней выписал себе газеты: тифлискую, петербургскую и парижскую. Нельзя было целый день ездить верхом, охотиться, посещать и принимать соседей, наблюдать над работой в саду и в полях. У него был оставшийся от отца управляющий, а сам он пока только присматривался. По вечерам и в дождливые дни он читал. Тифлисская и петербургская газеты ему удовольствия не доставляли.

В списках арестованных и казненных ему попадались знакомые имена. Он ясно видел, что правительство победило, что революция кончается и вдобавок выродилась. «Конечно, многие революционеры стали просто уголовными преступниками! Не все, конечно, но многие не отдают в партийные кассы денег от экспроприаций! Не все отдавал и этот Соколов. Дело и не только в этом: их дела изменились, но еще больше изменился я сам». Напротив, читать парижскую газету всегда было приятно. «Цивилизованная, радостная жизнь... Куплю много книг, там найду и русские. Заочно книги выписывать нельзя».

В Париже он сначала был очень оживлен и весел: всегда любил этот город. В первый же день заказал у хорошего английского портного несколько костюмов. Заказал даже фрак, второй в его жизни; первый, которого он, впрочем, почти никогда не надевал, остался в России. Портной работал медленно, и на первое время пришлось купить готовый костюм, — старый был совершенно изношен. К его фигуре все шло, но к людям, носящим готовое платье, он относился благодушно-пренебрежительно. Когда фрак был готов, Джамбул купил цилиндр и в первую пятницу побывал в Опере. Из театра отправился в монмартрский ночной ресторан, там свел знакомство с дамами. Стало еще приятнее и легче. Думал, что ни одна из этих дам, несмотря на его богатство, с ним в Турцию не поехала бы: «И приехать туда с этакой француженкой было бы невозможно! Да и не поселюсь же я там совсем!»

Тем не менее он скоро стал в Париже скучать и решил, что *так* жить без всякого дела нельзя. Знакомых у него почти не оказалось. Кавказских революционеров не было, к русским он не очень хотел ходить; ему и вспоминать о них было теперь тяжело. Встретился с теми французскими социалистами, которых прежде немного знал. Увидел, что с ними у него уж совсем нет ничего общего: даже разговаривать не о чем. О кавказских делах они ровно ничего не знали. Когда он говорил о грузинах, осетинах, татарах, спрашивали, где живут эти народы: не в Сибири ли? Западные дела, кроме французских, знали лишь не намного лучше и международной политикой интересовались мало. Как-то зашел разговор о возможности европейской войны. Все единодушно высказали уверенность, что ее не может быть и не будет: пролетариат никогда не допустит. Так привыкли это говорить, что действительно в это поверили.

Французские социалисты представили его Жоресу. Тот был с ним очень ласков, расспрашивал и о событиях на Кавказе, знал о них много больше, чем его товарищи. Но, услышав, что Джамбул принимал участие в тифлисской экспроприации, он видимо смутился, пробормотал что-то малопонятное и перевел разговор на французские дела. Жорес ему понравился. «А на революционера, даже кабинетного, он совершенно не похож! И, конечно, главное для него это его идейная борьба с Клемансо, осложняющаяся ораторским соперничеством: Восточная Европа, Россия, революция идут где-то на сто верст позади. Его окружение боготворит его».

Все же кто-то из этого окружения сокрушенно ему сказал, что жена Жореса — верующая католичка и что дети воспитываются в католической вере. Это и удивило Джембула, и было ему приятно. «Никогда я антиклерикалом не был, — думал он, — и просто этого не понимаю». Ему неясно казалось, что и происшедшая в нем перемена отдаленно связана и с религией. «Меня всегда раздражало, что все эти Ленины и Плехановы точно родились атеистами. Или, вернее, то, что, по их мнению, все не атеисты просто дураки и невежды. Да, во мне разом шло несколько умственных и душевных процессов. Они никому не интересны, но неправда, что перемена во мне была внезапная», — точно кому-то возражал он. Ему было досадно, что он так быстро переменял взгляды, деятельность, род жизни.

Приближалась весна. В Париже было отлично, но в его усадьбе, верно, было еще лучше. Ему пришла мысль, что хорошо было бы устроить у себя конский завод. Эта мысль тотчас его увлекла. Он купил несколько книг о лошадях. Купил и много романов. Впервые в жизни подумал, что следует обзавестись и серьезными книгами, приобрел сочинения входившего в большую моду Бергсона, что-то еще. В русском магазине недалеко от Сорбонны купил собрания произведений классиков. Не любил разрезать книги и все отдал в переплет: дешевые в коленкоровый, философские и о лошадях в полукожаный. «И библиофилом становлюсь! Совсем буржуа! Что, если в самом деле «бытие определяет сознание»!» — спросил он себя. Но знал, что это неправда. «Я не был беден и тогда, когда занимался революцией».

Все же он сам не думал, какую подлинную радость доставит ему возвращение в усадьбу.

Его радостно встретили и управляющий, и работники, и приятели. Он устроил большой прием: пригласил неветхозаветных соседей; они, не без колебания, согласились приехать с женами; пригласил даже ветхозаветных, предупредив их, что будут дамы и будет вино: эти отказались, но отнеслись снисходительно и благодарили. Понимали, что к их новому соседу нельзя предъявлять таких требований, как к другим.

Обед вышел на славу. Целым бараном тут никого удивить было нельзя, но было и множество всяких других блюд, подавалось шампанское, которого некоторые из приглашенных отроду не видели. За обедом Джембул сам, с бокалами на подносе, вышел к работникам и выпил с ними, — обед для них был приготовлен такой же, как для гостей; они не могли этого не оценить.

Соседи дивились и хвалили. Считали Джамбула образцом парижской культуры; слово «Париж», с его вековым престижем, производило и на них магическое действие. Все искренно радовались его намеренью остаться в имении надолго, давали ему хозяйственные советы, многозначительно спрашивали, не собирается ли он расширить дом. Он отвечал, что не собирается: пусть все остается таким, как было при отце. (Теперь он об отце вспоминал с большей любовью, чем прежде.) Его ответ тоже понравился. Гости, особенно те, у которых были дочери, говорили, что всегда и во всем будут рады ему помочь. Много говорили о конском заводе, о том, где и когда надо покупать лошадей.

VI

В ожидании книг, отправленных из Парижа «малой скоростью», подготавливая для них полки. Джамбул заглянул в книги отца. Они хранились в той комнате, в которой отец умер; Джамбул в эту комнату заходил редко. Там стоял шкафчик на точеных ножках, очень хорошей работы, с дорогой инкрустацией, «восток Перы и Пьера Лоти», — думал Джамбул. В шкафчике стояли толстые, в старых переплетах, книги на арабском языке. Он и заглавий не разобрал, но увидел, что это Коран и комментарии к нему. Бережно поставил их на прежние места и решил, что шкафчиком пользоваться не будет: «Нельзя же рядом с ними поместить романы Вилли!» Нашлась, однако, одна непереплетенная книга на французском языке: перевод Корана и примечания. Джамбул вынул эту книгу из шкафчика и положил на письменный стол в главной комнате, бывшей кабинетом отца.

В тот же вечер, после обеда, он засветил восковые свечи в серебряных канделябрах. Работник принес приготовленное по-турецки кофе. Оно всегда было превосходное, такого не было ни в Петербурге, ни в Париже. Джамбул пил его очень много, даже на ночь: оно несколько не мешало ему спать. «Кажется, знаменитый французский писатель Вольтер выпивал пятьдесят чашек в день и дожил до восьмидесяти с чем-то лет. Я пью не пятьдесят, но не менее десяти и надеюсь дожить до ста», — шутливо говорил он друзьям, почтительно его слушавшим и удивлявшимся его учености. «В первый раз в жизни мною восхищаются за *это!*» — весело думал он.

Когда-то дядя пытался его научить арабскому языку и Корану, но он ничему не научился: был слишком занят

лошадьми, собаками, ружьями, саблями. Позднее в религиозные книги и не заглядывал. В его окружении на смену людям, благоговейно относившимся к Корану, пришли революционеры, которые о религии никогда не разговаривали или говорили о ней гораздо меньше, чем о погоде, о дороговизне жизни, о качестве пива в разных кофейнях.

С первых же суратов Джамбула удивила красота и сила языка, ясно чувствовавшиеся и в переводе. Он с детства слышал, что Магомет говорил так, как никто не говорил и не писал до него. Это подтверждал и переводчик. По его словам, Магомет был «умми», то есть не умел ни читать, ни писать. Он только проповедовал в состоянии вдохновения, а его секретари благоговейно записывали его слова. Этому Джамбул не мог поверить: знал, что самая лучшая речь самого лучшего оратора обычно плоха в стилистическом отношении и во всяком случае не идет в сравнение с писанным словом. «Как же мог человек *так* говорить, всегда, каждый день, каждый час?»

Но гораздо больше поразило Джамбула содержание. Если русские революционеры произносили иногда слово «Коран», то лишь относя его с насмешкой к взглядам, не терпящим противоречия противников: так, например, меньшевики иронически говорили о «ленинском Коране». Между тем теперь Джамбул, читая книгу, не находил в ней ничего фанатического. Его изумило, что, по словам Пророка, между людьми всегда были и будут разногласия и расхождения, такова воля Божья, и, несмотря на все усилия верующих, большая часть людей останется чужда вере. «Что бы сказал об этом Ленин да и многие из его противников?» — спросил себя Джамбул. Не было в Коране и нетерпимости. Переводчик-биограф говорил, что ислам с величайшим уважением относился к Христу, к Моисею, называет Ветхий и Новый заветы Божественным откровением, книгами, ниспосланными с неба. «И мусульмане, и евреи, и христиане, верящие в Господа и в суд Божий, делающие добро, получают награду из Его рук...» «Из евреев и христиан верующие в Бога и в Писание, которое было послано им, как и нам, творящие волю небес не продадут своего учения ради низменного интереса. Они найдут награду у Всевышнего, Он не ошибается в суде над человеческими делами...» «Спорьте же с ними только словами честными и умеренными. Опровергайте среди них лишь нечестивых. Говорите: «Мы верим в наше учение, но также и в ваше Писание...» «Приглашай же еврея и христианина обратиться в ислам и соблюдай справедливость, тебе пред-

писанную. Не уступай их желаниям, но говори: «Я верю в Священную книгу. Небо же мне указало судить вас справедливо. Мы молимся одному Богу. У нас свое дело, а у вас ваше. Пусть мир царит между нами».

«Но как же все эти жестокие войны с неверными, которые велись мусульманами прежде, а кое-где ведутся сейчас», — думал Джамбул. Французский переводчик объяснял: учение Пророка вначале подверглось жестоким гонениям, и на это он счел нужным ответить силой же. «Да, в этом он был, конечно, прав: живой человек не может поступать иначе, а если были крайности и зверства, то первые мусульмане были людьми своего времени, и все познается по сравнению. Он сам говорит, что не требует от человека ничего невозможного или превышающего его силы, и в этом именно его мудрость: ислам единственная вера, которую человек может принять целиком, то есть во всем ей следовать не только в теории, но и в жизни...» Забегая вперед, Джамбул нетерпеливо перелистывал сура-ты: читать все подряд было все же утомительно. «Природа, везде природа, с нею связано чуть ли не все, и самый его рай это великолепный сад, с пальмами, с фонтанами, с необыкновенными плодами!»

«Сады и фонтаны будут уделом людей, боящихся Аллаха. Они войдут туда с миром и со спокойствием. Не будет в их сердцах зависти. Они будут покоиться на ложах и будут чувствовать друг к другу братское благоволение... И будут у них, верных слугителей Господа, лучшие яства, плоды изумительного качества, и предложат им чаши, полные прозрачной, редкого вкуса воды, которая не затемняет разума и не пьянит. И будут рядом с ними девы скромного вида, с большими черными глазами, с кожей цвета страусового яйца... И скажут верующим: войдите в сады наслаждений, вы и жены ваши, откройте ваши сердца радости. И дадут вам пить из золотых чаш, и найдет ваше сердце все, чего может желать, а глаз ваш все, что может чаровать его, и будет вечным это наслаждение. Праведники увидят сады с фонтанами, и будут они одеты в шелковые одежды, и будут благожелать друг другу. И будут с ними жены с большими черными глазами!»

«Какой еще религиозный законодатель решился бы говорить о девах с большими черными глазами? — думал он. — Какой так хорошо понимал бы людей, так снисходил бы к их природе, даже к их слабостям! И как нелепо издеваться с улыбочкой над «гуриями»! Мусульманский закон допускает четырех жен, и средний человек *может* это

принять, может этому следовать, тогда как безбрачие или моногамия и несвойственны ему, и не нужны». «И позволено вам тратить ваше богатство для приобретения целомудренных добродетельных жен. Люди же небогатые, вместо свободных правоверных женщин, могут брать правоверных рабынь с согласия их родителей. Женитесь на тех, кто вам понравится, на двух, на трех или на четырех. Живите хорошо с вашими женами, а если почувствуете от одной отдаление, то, быть может, это отдаление будет от того, во что Бог вложил огромное благо».

«Как все просто, как разумно, как *полезно* для каждого из нас следовать этому столь человеческому учению! Чему в нем я не мог бы следовать? Некоторым обрядам? Но ведь все-таки эти обряды были установлены почти полторы тысячи лет тому назад. Запрещение вина?» Он заглянул в предметный указатель, приложенный французом к книге, и узнал, что о вине в Коране говорится четыре раза, на таких-то страницах. Прочел все четыре страницы. На первых трех вино, собственно, не запрещалось, только было сказано, что, как от игры в кости, от сока фиников и фруктов больше вреда, чем пользы. «Может быть, из фиников тогда изготовлялся какой-нибудь дурманивший напиток, разрушающий тело и душу?» Только на четвертой сок фиников и фруктов запрещался безусловно. «Верно, по той же причине», — подумал Джамбул, с улыбкой вспомнив того своего гостя, который пил коньяк, так как о нем в Коране не сказано ничего.

«Но почему же я молился всю жизнь лжебогам? Или, вернее, даже не молился им, а просто, считая их богами, приносил им кровавые жертвы?» — он вдруг вспомнил экспроприацию на Эриванской площади, глаза гневной лошади, трупы убитых людей. Лицо у него искривилось, как от физической боли. «Странно то, что я впервые подумал о Боге именно тогда, в обсерватории, в день смерти отца! Впрочем, что же странного в том, что человек, прожив большую часть жизни, возвращается к мудрости отцов, дабы войти *туда* «с миром и со спокойствием»?

На следующий день он в разговоре с управляющим сказал ему, что хочет очень расширить сад, посадить лимонные и апельсиновые деревья и устроить несколько фонтанов. Велел также давать милостыню не только всем проходящим в усадьбу, но и тем, что собирались у мечети. Он точно всасывал мусульманскую веру из воздуха этой древней мусульманской страны.

Джамбул стал чаще ездить к тем соседям, у которых были дочери. Они принимали его еще благосклоннее, чем прежде, и устраивались так, что он мог видеть дочерей. Поговорил он и с муллой, носившим зеленую чалму. Друзья советовали ему жениться и даже обсуждали разных невест и размер калыма (это было ему неприятно). Он сам понимал, что за него выдадут любую девушку: он мог считаться лучшим женихом в округе.

Через несколько месяцев он, почти одновременно, обзавелся двумя женами. Родители обеих охотно согласились. Согласились даже на то, чтобы он, вопреки ветхозаветному обычаю, поговорил с невестами. Он не был влюблен ни в одну, но обе ему нравились.

VII

По настоянию Татьяны Михайловны Ласточкины уехали из Москвы на отдых зимой, — обычно уезжали только летом. Ей самой гораздо удобнее и приятнее было в Москве. Но здоровье и у него стало несколько сдавать, почти как у жены. «Это лишний признак того, как сплетены наши с тобой жизни», — говорил Дмитрий Анатольевич шутливо (думал же он это и не в шутку). У него не было ничего серьезного, но он замечал, что вставать утром с кровати, надевать туфли ему стало труднее, чем прежде, и что в ногах ниже колен какое-то неприятное ощущение: «Точно хочется их отцепить». Врачи думали, что он переутомился, что одышка у него от усталости, от сидячего образа жизни и от некоторой слабости сердца. Слово «сердце» встревожило Татьяну Михайловну. Было решено, что они, после обычного летнего лечения в Мариенбаде, где Ласточкин каждый год, по его словам, «спускал благоприобретенные двадцать, а то и двадцать пять фунтиков», поедут еще в Наугейм.

Но в декабре одышка и усталость у Дмитрия Анатольевича усилились. Татьяна Михайловна предложила ему съездить куда-нибудь за границу на праздники, не для лечения, а просто для отдыха. «А отчего бы тебе не поехать одному?» — нерешительно сказала она. Об этом Дмитрий Анатольевич и слышать не хотел. «Ни за что один не поеду! Это было бы против всех наших правил и традиций. И ты тоже не так уж хорошо себя чувствуешь...» — «Я совершенно здорова. Меня ни в какие Наугеймы не посылают, сердце у меня, как у молодой девушки». — «Слава Богу,

но отдохнуть не мешает и тебе». — «Да я не ты! Я весь год ничего не делаю!» Кончился разговор тем, что они решили съездить на французскую Ривьеру. «Только не в Монте-Карло, он мне надоед, что ж все в одно место, поедем лучше в Канн», — предложил Ласточкин. «В Канн так в Канн, мне совершенно все равно».

Они остановились по дороге на несколько дней в Вене. Тонышевы давно их к себе звали. «И пожалуйста, Таня, Митя, выбейте у себя из головы, что вы будете жить в гостинице! Мы с Алешей об этом и слышать не хотим! — писала Нина, действительно очень обрадованная сообщением об их приезде. — За столько времени не удосужились у нас погостить, позор! Не видели даже наших Сезаннов, двойной позор! У нас есть «комнаты для друзей», и это чистая фикция: кроме вас, никаких друзей мы не ожидаем. Отдадим вам обе комнаты. И никакого номера в «Империа-ле» я вам не найму, дудки. И нашей ноги у вас больше никогда не будет, если вы остановитесь не у нас. *Nous vous ferons les honneurs de Vienne*¹».

Квартира Тонышевых очень понравилась Ласточкиным, они мысленно сравнивали ее со своей московской.

— У вас преимущественно старинная мебель, а у нас преимущественно модерн, и то, и другое имеет свою прелесть, — говорил Дмитрий Анатольевич.

За семейным обедом обо всем успели поговорить, и уже приходилось придумывать темы. Заговорили даже о литературе. Тонышевы за ней очень следили, выписывали из России много новых книг.

— Странно, как у нас все переменялось, — сказал Алексей Алексеевич. — Всего лет десять тому назад в наших повестях и романах писали больше о врачах-тружениках, которые обычно погибали во время холерных бунтов, а теперь...

— Да это иногда и в самом деле случалось.

— Случалось, конечно, Таня, но, согласитесь, не часто. А теперь все отдельные сильные и страстные личности, и у них единственное чувство — необыкновенная способность к необыкновенной любви. — Татьяна Михайловна невольно подумала, что в жизни Тонышевых любовь в самом деле не занимает очень большого места. — Я и тут стою за золотую середину. Есть и другие большие сюжеты.

— Например, политические, — сказала Нина. — Я вижу, что Мите и Алеше хочется поговорить о большой поли-

¹ Мы радушно примем вас в Вене (*фр*)

тике, мне она здесь осточертела. Пойдем, Танечка, я тебе все покажу в ваших комнатах.

Татьяна Михайловна все очень хвалила.

— Как хороша эта ванна. Вделана в пол, таких у нас в Москве еще нет.

— Горячая вода круглые сутки, купайся, Танечка, хоть всю ночь. Впрочем, нет, никак не всю ночь, должно быть, тебе вредно сидеть долго в воде. Одна беда: на кране с кипятком они написали «kalt», а на другом «heiss»!¹ Я так рассердилась!

— Это действительно очень большая беда!

— Не шути, по ошибке можно обжечься. Мастер был очень сконфужен, но уже переделывать было трудно.

— Лишь бы у вас, Ниночка, не было огорчений похуже... Да, хорошо живется нам, обеспеченным людям.

— Ах, мне самой часто бывает совестно перед бедняками... Вещи, как видишь, горничная уже разложила и развешала в полном порядке.

— Она такая элегантная, ваша венка.

— И очень честная. Можете спокойно оставлять все в комнатах, не запирая.

— Будем знать. Да, у вас очень благоустроенный дом, — сказала, устало садясь в кресло, Татьяна Михайловна. — Вообще мы с Митей так за вас рады... Ниночка, а можно тебя спросить? Когда же дети?

Нина Анатольевна вздохнула.

— Надеюсь, будут. Алеша говорит, что дети были бы счастьем, если б всегда оставались маленькими.

— Не следуйте нашему примеру. Это у нас с Митей единственное горе. Ну, хорошо, не будем об этом говорить.

— Завтра с утра я вам буду показывать Вену. Алеша уйдет в посольство, хотя там в праздничные дни нечего делать.

— Мы Вену отлично знаем. Чудный город, но Москва все-таки лучше.

— С Москвой и я ничего не сравниваю!.. Вечером завтра у нас ложа в «Бурге».

— Что идет?

— Шиллеровская «Смерть Валленштейна». Ты читала?

— Кажется, когда мне было лет шестнадцать.

— А я не читала. Алеша обожает Шиллера. Я предпочла бы пойти в оперу, и ты, верно, тоже? А послезавтра у

¹ «Холодный», «горячий» (нем.)

нас будут интересные люди, — она назвала знаменитого пианиста.

— О-о!

— Да, он играет божественно. Говорит, что после шампанского играть не умеет, но, конечно, врет. Мы его заставим играть. Будут и другие, один известный профессор-экономист, пусть побеседует с Митей о расцвете промышленности. Мы с тобой не обязаны слушать.

Тем временем мужчины в кабинете говорили о политических новостях. Главной новостью была опасная болезнь графа Эренталя.

— Говорят, он переносит страдания с необыкновенным мужеством, — сказал Тонышев. — Что ни говори, он замечательный человек.

— Может быть, и замечательный, но, говорят, он хочет войны.

— А здесь, разумеется, говорят, будто войны хочет Россия. И то и другое неверно. Эренталь большую часть своей дипломатической карьеры проделал в Петербурге. На Балльплатц так и уверяли меня что он «kam direkt aus der ausgezeichneten Petersburger diplomatischen Schule»¹ и восхищается всем русским.

— Вот как? У нас о наших дипломатах думают иначе. Нет пророка в отечестве своем. Кто же займет место Эренталя?

— Первым кандидатом считается Буриан, но его ненавидит наследник престола. По-моему, больше шансов имеет граф Берхтольд.

— Мы с Таней с ним знакомы. Познакомились когда-то в поезде по дороге в Монте-Карло. Помню, красивый человек.

— Признается самым элегантным человеком в Австро-Венгрии и, кажется, очень этим гордится. Какой-то американский журналист устраивает анкету: десять мужчин в мире, которые лучше всех одеваются. По-моему, он должен был бы получить первый приз, — сказал Алексей Алексеевич, смеясь, но не без легкой зависти.

— Это единственный его «titre»² для должности министра иностранных дел? И тоже подумывает о войнишке?

— Не знаю. В петербургском свете его очень любят, как, впрочем, прежде любили Эренталя. Нет, какая же войнишка?

¹ «Только что вышел из отличнейшей петербургской дипломатической школы» (нем.)

² Здесь «право» (фр.)

— Меня тревожат дела на Балканах. Газеты пишут, будто братья славяне очень подумывают о войне с Турцией.

— Без нашего согласия они не посмеют на это пойти.

— А вдруг посмеют? И так ли ты уверен, что им в Петербурге согласия не дадут? У нас тоже достаточно полоумных. Очень ухудшилось вообще в последние годы политическое положение в мире. Еще лет десять тому назад никто об европейской войне не говорил.

— Да, особенно осложнилось дело после этого несчастного спора о Марокко. Впрочем, покойный Эдуард Седьмой считал французскую позицию в нем шедевром дипломатического искусства. Эдуард сам был замечательный дипломат. Правда, у него политика осложнялась его личной антипатией к Вильгельму. У хорошего дипломата не должно быть личных симпатий и антипатий.

— Да этого, верно, не бывает.

— Отчего же не бывает? Но я уверен, что европейской войны не будет. Франц-Иосиф войны не хочет. Неужто ты, при твоей жизнерадостности, становишься пессимистом! Не будет войны. Люди — разумные существа.

— Дай Бог, чтобы ты оказался правым.

На следующий день они в автомобиле Тонышевых отправились в театр. Приехали за несколько минут до начала. Тонышевы до поднятия занавеса успели показать своим гостям разных известных людей в зале. В антракте все восхищались спектаклем.

— По самому своему замыслу и построению трилогия настоящий шедевр, — сказал Алексей Алексеевич, знавший на память много стихов на разных языках. — Я другой такой трагедии не знаю. Как постепенно нарастает напряжение! Правда, первая часть, «Лагерь», не сценична, но как и она хороша, как подготавливает зрителя к ожидающейся трагедии. Конечно, в изображении Валленштейна Шиллер немного погрешил против исторической истины, да кто же этого не делал? Шекспир, Гёте, Гюго. Я предпочитаю нашего Пушкина всем поэтам, но ведь его «Полтава» сплошная историческая ошибка. Даже в деталях, в божественном описании украинской ночи: «Чуть трепещут — серебристых тополей листы». При Петре никаких тополей на Украине не было, их развел много позднее Щенсный Потоцкий, это вызвало сенсацию. А Мария чего стоит! А Мазепа! Даже в дрянном романе

Фаддея Булгарина он изображен ближе к исторической правде, чем у Пушкина. А скачущий с доносом влюбленный в Марию казак!

— Этот почему же? — спросила Татьяна Михайловна. — «Кто при звездах и при луне так поздно едет на коне...» Вы говорите об этом?

— Об этом самом. Стихи очень звонкие, но... «Червонцы нужны для гонца, булат потеха молодца, ретивый конь потеха тоже, но шапка для него дороже, — продекламировал Алексей Алексеевич. — За шапку он оставить рад — Коня, червонцы и булат. Но выдаст шапку только с бою. И то лишь с буйной головою. Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит, Донос на гетмана злодея — Царю Петру от Кочубея...» Вполне возможно, что донос был зашит в шапку, но эта шапка скорее была ермолкой: Кочубей послал донесение Петру через какого-то еврея. Едва ли он носил с собой «булат» и едва ли был уж так влюблен в Кочубееву Матрену, которая, кстати, перетаскала у Мазепы немало «злата».

— Так ли это? Может, гонцов было несколько? Я историю знаю плохо, — сказала Татьяна Михайловна. — Об исторических драмах судить не могу, но, по-моему, во всей немецкой литературе нет ничего равного песенке Теклы: «Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer — Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du heilige, rufe dein Kind zurück! Ich habe genossen das irdische Glück. Ich habe gelebt und geliebt»¹.

«А говорила, что, *кажется*, читала «Смерть Валленштейна», — подумала Нина.

В другом антракте литературный разговор продолжился.

— ...И мысли о власти Шиллер высказывает мудрые. Вот, оказывается и в семнадцатом веке людей занимали те же мысли: «Верхи общества уходят, им на смену поднимаются низы...» Как хорошо он играет! — говорил Дмитрий Анатольевич.

— Изумительно, — сказал Тонышев. — Заметьте, этот актер — еврей, а как изображает кондотьера! Хоть с каждой его позы картину пиши!

— Пожалуйста, без антисемитизма, Алеша. Почему актеру-еврею не изображать хорошо кондотьера?

¹ «Все в мире мертво, померкнул свет, и больше надежд и желаний нет. К себе, благая, меня призови, я счастье земное познала в любви, а ныне простилась с мечтами» (Ф. Шиллер. Пикколомини. *Перевод Н. Славятинского*).

— Я ведь, Таня, говорю только к тому, что еврейское племя, которое я очень почитаю, давным-давно стало самым мирным из всех.

— Это так, — подтвердил Ласточкин. — Ты тоже, Танечка, ведь войны не хочешь?

— Думать без ужаса не могу! А вы, Алеша, разве хотите?

— Никак нет. Хотя думать могу и без ужаса. Артист же он действительно великий. Я, кстати, всегда сожалел, что Шиллер не изобразил самой сцены убийства: гениальный актер себя в ней показал бы! Правда, сцену убийства до некоторой степени заменяет страшный крик убийцы Деву: «Freund! Jetzt ist's Zeit zu lärgen!»¹ Сейчас его услышим.

— Алешенька, перестань щеголять эрудицией, — сказала Нина.

После обеда они отправились ужинать к Захеру. При входе в общую залу им бросилось в глаза знакомое лицо. «Легок на помине: граф Берхтольд», — сказал Тонышев. Он сидел в углу один, у его столика почтительно суетились лакеи. Тонышев занял стол на другом конце зала, подал одну карту дамам и начал озабоченно изучать другую.

— Таня, можно мне заказать для всех? Я знаю, что у них особенно хорошо. Этот ресторан не хуже Донона или вашего «Эрмитажа».

— Ну, положим, — сказал Ласточкин. — Старый Донон первый ресторан в мире.

— На десерт не забудь, Алешенька, заказать «Захер-торте». Ты увидишь, Танечка, какое это чудо! — сказала Нина. Начался гастрономический разговор.

VIII

В Канне погода была плохая. Ласточкины никогда зимой на Ривьере не бывали и были удивлены.

— Холодно, солнца нет, «старожилы не запомнят», — говорил жене Дмитрий Анатольевич на второй день.

— Особенно этот неприятный холодный ветер.

— Если б это хоть был мистраль, по крайней мере название звучное, но одни говорят «биз», другие говорят «бриз», третьи говорят «полан» или как-то так. Сами своих

¹ «Пришла пора, дружище, пошуметь!» (Ф Шиллер Смерть Валленштейна Перевод Н Славятинского)

ветров не знают. Если не пройдет, переедем куда-нибудь в Сицилию или даже в Египет. Как ты думаешь?

— Ни за что. Опять переезжать, да еще морем, какой же это отдых! Наверное, скоро будет солнце. Ривьера обязана поставлять солнце.

— А вдруг не выполнит обязательств?

— Тогда, благо нет знакомых, будем сидеть в гостинице и заниматься ничегонеделаньем.

Так оно и вышло. Они большую часть дня сидели дома и читали. Дмитрий Анатольевич нашел предмет для «работы». В Европе уже много говорили о теории относительности молодого физика Эйнштейна. Ни одна отвлеченная научная теория не вызывала у большой публики такого интереса, как эта. Ласточкин в Москве побывал на лекции в ученом кружке и почти ничего не понял, кроме примера о двух поездах. Ему казалось, что немного поняли и другие слушатели. Между тем он получил серьезное научно-техническое образование. Правда, математику давно успел позабыть: она не имела никакого отношения к делам, которыми он занимался уже двадцать лет. Как-то с досадой он заметил, что не очень помнит и гимназическую математику: не знал почти ничего о биноме Ньютона и не сразу вспомнил, что именно называется тройным правилом. Решил, что в первое же свободное время непременно пополнит познания. На лекции он спросил у профессора название и номер журнала, в котором была напечатана знаменитая работа. Побывал в библиотеке и разыскал ее, но далеко не ушел и только вздыхал. Накануне отъезда из Москвы заехал в магазин Ланга и купил несколько «Grundriss'ов» и «Vor lesungen über...»¹. Немного поколебавшись, купил также памятные ему по гимназии «Элементарную геометрию» и «Начальную алгебру» Давидова. Сам был сконфужен: «Вот так инженер-технолог!» Все это повез с собой, к изумлению Татьяны Михайловны. В Вене нашел какую-то популярную книжку, где, с некоторым недоверием, говорилось о теории Эйнштейна.

В их роскошном номере был свой балкон, но проводить на нем время было в январе невозможно. Они придвинули к окнам кресла и читали, Дмитрий Анатольевич с карандашом в руке. В четвертом часу приходилось зажигать лампы. Татьяна Михайловна для себя ничего лучшего не желала, как быть наедине с мужем. Читать рядом было уютно, — но для этого не стоило приезжать на Ривьеру.

¹ «Очерк», «Лекции о » (нем)

Учебники Дмитрий Анатольевич восстановил в памяти легко, с Grundriss'ами уже было хуже, а когда в популярной книге он прочел, что теорию Эйнштейна можно по-настоящему понять лишь при знакомстве с новыми методами математического мышления, то приуныл, тем более что назывались имена, неизвестные ему и понаслышке. «Наш милый профессор говорил: «Выдумал немец обезьяну! Будь все относительно, то тем паче *«deboliare superbos»*¹.

«Принижать гордыню — это никогда не мешает, — думал Ласточкин. — Может быть, эта теория характерна именно для нашего времени. В самом деле, если поколеблена механика Ньютона, то какие же могут быть истины в политике, в философии, в политической экономии? И не могут ли оказаться последствия самые необыкновенные?.. Впрочем, в книжке сказано, что теория относительности еще висит в воздухе. Вдруг обезьяна не настоящая?» — думал Дмитрий Анатольевич и с некоторым облегчением переходил от книги к «Le Temps». Тут по крайней мере все было понятно, хотя далеко не все приятно: «Сгущаются, сгущаются тучи...»

Татьяна Михайловна читала новые французские романы. Иногда опускала книгу на колени и задумывалась. У нее настроение было не очень хорошее. В Вене она, тайком от мужа и Тонышевых, побывала у известного всему миру врача. Тот ничего опасного как будто не нашел или, по крайней мере, сказал, что не находит. Она настойчиво просила не скрывать от нее правды, если даже что-либо очень тревожно. «Я сказал вам, сударыня, как обстоит дело, — уклончиво ответил профессор, — но не скрываю, что организм у вас довольно утомленный. Это может в будущем способствовать развитию разных болезней. Непременно показывайтесь почаще врачам и в России».

С этим она и ушла: ничего тревожного, но... Не сказала ни слова Дмитрию Анатольевичу, «нельзя отравлять ему поездку, да, верно, и в самом деле ничего худого...» Как-то, прочитав в романе о чьей-то смерти, она взглянула на мужа. «Ну, а если?.. Что он будет без меня делать?.. Нет, конечно, ничего ему не говорить!» Об *его* смерти она не думала: об этом *невозможно* было думать. Татьяна Михайловна знала женщин, которые любили мужей, но *оживали* после их смерти, — так те подавляли их волю и личность. Однако эти женщины были ей всегда чужды, непонятны и даже немного противны.

¹ «Надо ставить на место гордецов» (лат.).

Как-то Дмитрий Анатольевич принес газету с объявлениями людей, желающих жениться. «Образованный, красивой наружности господин средних лет, очень любящий природу, имеющий хорошее место, желал бы разделить жизненный путь с барышней, имеющей средства, серьезной и некурящей. Необходима фотография. Секрет переписки обеспечен честным словом», — невозмутимо читал он жене. И вдруг ею овладела радость жизни, — оттого ли, что они с Митей женились без газетных объявлений, оттого ли, что как раз с моря подул свежий ветерок, оттого ли, что в этот день на ней было платье, которое он особенно любил (и потому любила она сама).

— Как хорошо, что нам незачем искать!.. А то написать господину красивой наружности о Люде?

— Отчего бы и нет? Но любит ли она природу?

Оба хохотали.

— А каннская природа все-таки нас подвела. То есть климат.

— Кажется, солнце сейчас застенчиво покажется. Что-бы не погубить репутации Ривьеры.

Когда солнце показывалось, Ласточкины уходили на прогулку. Сначала принималось решение пойти далеко, например в Ле-Канне, но, пройдя по Круазетт, они садились где-нибудь на скамейку. «Ах, проклятая одышка!» — думал, а иногда и говорил Дмитрий Анатольевич. Любовались видом на Эстерель. Не умели говорить о природе. Ласточкин обычно пропускал ее описания в романах, «все равно словами не опишешь». Отдохнув, шли дальше, но недалеко. Если же доходили до Ле-Канне, то он очень гордился и за завтраком выпивал две рюмки водки: «Заслужил!» Перед обедом выходили опять и снова садились на скамейку. Дмитрий Анатольевич немного скучал. Разговаривали мало. Смотрели на низкое небо, на редкие звезды.

— «На небе было черно и скучно, на земле было весело». Это из «Войны и мира». Правда, странные слова? — сказала Татьяна Михайловна. Он посмотрел на нее удивленно.

— Да, пожалуй, для Толстого странные, но это совершенно верно. На небе черно, на земле весело. Или, по крайней мере, должно быть весело. По этому случаю сейчас закажем целую бутылку шамбертена? Согласна?

— Митенька, я в винах ничего не понимаю и даже не люблю их. Удивляюсь, как люди находят их вкусными... А ты лучше бы хоть за обедом пил минеральную воду.

— Минеральную воду будем пить, когда будем стары.

— Мы уже и так немолоды.

— Это совершенно разные вещи: немолоды и стары, — отвечал с неудовольствием Дмитрий Анатольевич. — Но хоть аппетит у тебя есть?

— Нет... Есть, но маленький, — отвечала Татьяна Михайловна. Он смотрел на нее беспокойно.

Погода стала еще хуже. Пошел мелкий сухой снег.

— Это уже настоящее предательство со стороны Ривьеры! — говорила Татьяна Михайловна. — Снег на пальмах и на кактусах! Правительство должно было бы это запретить, это против всяких правил и против стиля. Снег мы имели в Москве бесплатно, а платить для этого за пансион по семьдесят франков в день незачем. Не повезло!

— Можем вернуться в Москву раньше, — ответил Дмитрий Анатольевич, чуть задетый словами «не повезло». Они, разумеется, были сказаны в шутку, но он давно привык к тому, что ему во всем везет.

Несмотря на снег и ветер, они перед обедом снова вышли на Круазетт и вернулись минут через десять. «Уж слишком мрачно. Луна и звезды подражают солнцу, тоже скрылись», — сказал Ласточкин довольно угрюмо. Татьяна Михайловна поднялась в их номер. Он ждал ее внизу. Разговорился со стариком швейцаром. Тот очень хвалил русских.

— Теперь у вас русских что-то мало.

— Еще приедут. Это зависит от сезона и от года. В тысяча девятьсот пятом году, когда в России были беспорядки, у нас чуть ли не все номера были заняты русскими, — ответил швейцар.

Вдруг Ласточкин вспомнил, что Савва Морозов покончил с собой в Канне. Почему-то это его взволновало. «Где? Господи, да в этой самой гостинице! Конечно, здесь! Я помню твердо!»

Он перебил швейцара, уверявшего, что очень скоро установится прекрасная погода: спросил о самоубийстве Морозова. Швейцар помнил это дело, но ответил очень неохотно и старался перевести разговор.

— Я хорошо его знал. В каком номере это было?

Старик ответил не сразу и с неудовольствием. Татьяна Михайловна спустилась вниз. Они пошли завтракать. Ласточкину уже без заказа приносили к закуске русскую водку. Он выпил две рюмки, затем, почему-то поколебавшись, сказал жене, что Савва Морозов покончил с собой в этом отеле. Она тоже чуть изменилась в лице.

— Где? Не в нашем номере?

— Нет, не в нашем. Он жил в другом этаже.

— Я мало его знала. Помнишь, он незадолго до своего конца был у нас на музыкальном вечере? Хороший был человек, очень благородный. Ведь до сих пор так и неизвестно, почему он покончил с собой?

— Неизвестно. Без всякой причины. Это самое странное.

Татьяна Михайловна, разумеется, тотчас заметила резкую перемену в настроении мужа. Между ними давно было нечто вроде телепатии, иногда устанавливающейся между мужем и женой, которые нежно любят друг друга. Эта телепатия, распространявшаяся даже на здоровье, с некоторых пор приносила им нерадостные впечатления. Обоим казалось, что они уже перевалили через гребень и что начинается *спуск*; точно у них стало меньше жизненной силы, создававшей их счастье. «Но ведь так должно быть у каждой четы, особенно если нет детей», — думала Татьяна Михайловна. Теперь она тревожно себя спросила, что случилось. Телепатия показывала: что-то случилось, но не говорила, что именно.

«У него была, помню, какая-то теория самоубийства, — опять думал за обедом Дмитрий Анатольевич. — Верно, что-то дикое? Странно, очень странно».

Обеды в гостинице были такие, какие полагались богатым людям в то время, не слышавшее о давлении крови, не считавшее калорий, не знавшее, что соль грозит человеку смертельной опасностью: шесть или семь изысканных блюд; многим обедавшим даже было неловко ограничиваться одним вином ко всем семи. В Москве, возвращаясь поздно вечером, Ласточкины еще дома ужинали; почему-то у них это шутливо называлось «седьмым ужином». В Канне обходились без еды на ночь, тем более что ложились рано, но для уюта оставляли себе что-либо в номере. Дмитрий Анатольевич приносил жене конфеты, и она съедала в постели одну или две. Татьяна Михайловна покупала для мужа чаще всего грушу, — одну из тех французских груш, которые развозятся чуть ли не в шкатулках, как драгоценности, и которые надо есть тупыми ложечками, — да и то при прикосновении льется сок. За окном и в этот день лежала такая груша. Татьяна Михайловна перенесла ее на столик в гостиной. Они читали часов до одиннадцати. Затем Татьяна Михайловна ушла в ванную, а Дмитрий Анатольевич лег. При жене старался делать вид, будто внимательно читает.

Без всякой причины им вдруг овладела нестерпимая тоска с мрачными предчувствиями: болезни, особенно *ее* болезни, смерть, и даже не смерть, а умирание. Он прежде почти никогда обо всем этом не думал. «И некому будет закрыть глаза, либо ей, либо мне! Детей нет, друзей сколько угодно, но ведь это все-таки чужие люди. Придут на похороны и забудут в тот же вечер, — да хотя бы и не забыли. Савве Тимофеевичу было легче, у него были *только* друзья, жену он, кажется, не любил. Там внизу в этом самом ресторане он в тот день ел такие же блюда, пил такое же вино, чувствовал ту же смертельную тоску...»

Татьяна Михайловна вернулась в спальню, взглянула на нетронутую грушу, и хоть было смешно обращать внимание на то, съел ли он грушу или нет, перевела глаза на мужа и вздохнула. Оба спали плохо. Каждый чувствовал, что и другой не спит, хотя притворяется спящим.

На другое утро Дмитрий Анатольевич вышел в коридор и, сам не зная для чего, разыскал номер Морозова. Двери были отворены, в первой комнате работали горничные. Ласточкин заглянул и увидел диван, отодвинутый от стены, — «верно, тот самый».

— Monsieur désire?¹ — подозрительно спросила горничная, державшая в руке половую щетку. Он что-то пробормотал в ответ и вернулся в свой номер. У него дрожали руки и стучало сердце.

Накануне отъезда в Москву он прочел в газете, что в Чили упал огромный, очень редкий по составу метеорит и что его перевезли в музей. Газета попутно объясняла, что метеоритами называются металлические массы, падающие, обычно при раскатах грома, с огненным следом, с других планет на землю, гаснущие и распадающиеся. Он подумал, что тут есть некоторое сходство с человеческой жизнью: «Вдруг и мы так, после недолгого большего или меньшего свечения, переносимся из одного мира в другой?» Эта аналогия, впрочем, показалась ему несостоятельной и даже дешевой.

Вечером он вскользь сказал жене, что в Чили упал редкостный метеорит.

— Ну и что же? — спросила Татьяна Михайловна, чуть подняв брови. Она почувствовала, что Митя говорит не совсем вскользь и немного преувеличивает небрежность тона.

¹ Что угодно господину? (фр.)

— Ничего, разумеется. Я упомянул так.
— Верно, это как-нибудь связано с теорией Эйнштейна?
— Ни малейшего отношения. Твои научные познания, Танечка, оставляют желать лучшего, — пошутил Дмитрий Анатольевич.

— И научные, и всякие другие. Но уж слишком ученые книги ты стал читать, Митенька, это тебя, верно, утомило, — полувопросительно сказала Татьяна Михайловна и, не получив ответа, добавила: — Читал бы лучше романы. Прекрасный этот роман Буалева, я его сегодня кончила.

— Прочту в дороге, не прячь его в сундук.

— Хорошо, положу в несессер. Сегодня вечером буду укладывать вещи.

— Я тебе помогу.

— Не надо, поможет горничная, ты и не умеешь. Читай себе в холле «Le Temps».

IX

Летом 1912 года Ленин неожиданно переехал из Франции в Краков. Это вызвало в партии удивление и досаду: его стычки на парижских собраниях с меньшевиками и эсерами были главным развлечением и даже главным делом левой русской колонии. «Остался без библиотек, переехал, чтобы быть поближе к России», — объясняли большевики. Собственно, эти слова означали лишь то, что русские газеты приходили в Краков днем или двумя раньше, чем в Париж. Более осведомленные люди приводили другую причину: польские и австро-венгерские власти из ненависти к царскому правительству никак не препятствуют перевозке в Россию агитационной литературы. Впрочем, ее перевозилось не так много.

Ленин не любил засиживаться на одном месте и малые города предпочитал большим. В Париже его утомляли беспрерывные посещения товарищей, их вечная болтовня, необходимость придумывать для них видимость работы, которой вообще было мало и которую они в большинстве исполняли плохо. В Польшу он взял с собой очередных «ближайших» друзей, Каменева и Зиновьева. Скоро там оказалась и Инесса Арманд.

Это был, вероятно, самый счастливый период во всей его жизни. Он жил то в Кракове, то в местечке Поронине. Говорил, что польская деревня напоминает ему русскую. Товарищей было гораздо меньше, чем в Женеве или в

Париже, «склока» теперь проявлялась главным образом в письмах или в печати, — это тоже было гораздо приятнее. Такой тихой жизни он никогда не вел. В сущности, вся его жизнь за границей была с внешней стороны вполне мирной и даже «мелкобуржуазной». У него всегда были две чистенькие комнаты. Он ежедневно вставал в восемь часов утра, совершал натошак небольшую прогулку, затем завтракал и садился за работу, причем в его комнату никто не имел права в эти часы входить. В два обедал, потом снова работал, в пять уезжал из дому на велосипеде, обычно в окрестности. В Кракове близкие к нему эмигранты делились на «прогулистов» и «синематистов». Он считался крайним прогулистом. Позднейшие восторженные рассказы о том, будто «Ильич работал по 18 часов в сутки», были выдумкой. Он никак не был ленив, но работал не больше любого чиновника или служащего, скорее даже меньше. Прогулки, зимой еще катанье на коньках или, где было можно, на лыжах, отнимали много времени. Он очень заботился о здоровье: шутливо говорил, что здоровье члена партии это «казенное имущество», которое растрачивать запрещается. По вечерам принимал очередных приятелей и болтал с ними, затем еще выходил опускать в ящик письма: нужно, чтобы уходили тотчас.

Инесса Арманд сделала большие успехи в партийной метафизике, разобралась кое-как в практических делах, уже знала, кого надо особенно ненавидеть. Ленин по-прежнему называл прохвостами громадное большинство русских и иностранных социалистов. Из иностранцев предметом его особенной ненависти был теперь Карл Каутский, который, в дополнение к другим своим позорным поступкам, отказался быть «держателем» русских партийных денег и третейским судьей в связанных с ними делах.

По-прежнему Ленин несколько мягче относился только к Максиму Горькому. Но и пролетарский писатель раздражал его. Главной причиной, по-видимому, была относительная скупость Горького. Он все жаловался на свои дела. «А вот что Вам жить не на что и печататься негде, это скверно», — писал ему как-то Ленин, верно уже тогда не без недоверия: не мог не знать, что Горький, хотя и выходявший из моды в России, много зарабатывает и, в отличие от него самого, живет очень хорошо. Позднее писал и гораздо откровеннее: «Вы пишете: «Нам пора иметь свой журнал, но мы не имеем для этого достаточного количества хорошо спевшихся людей». Второй части этой фразы я не принимаю... Будь деньги, я уверен, мы бы осилили и те-

перь толстый журнал, ибо к ядру сотрудников за плату привлечь можно *много*, раздав темы и распределив места». А в другой раз, в большом раздражении, написал Шляпникову, что у Горького «надо вытащить силком деньги: пусть платит тотчас и побольше», причем слова «побольше» и «силком» в письме подчеркнул.

Дело было, однако, не только в деньгах. Философские рассуждения «теленка» все больше приводили Ленина в ярость. Горький где-то объявил, что богоискательство надо «на время» отложить.

«Дорогой Алексей Максимович! — написал ему Ленин. — Что же это Вы такое делаете? — просто ужас, право!.. Выходит, что Вы против «богоискательства» только «на время»!! Выходит, что Вы против богоискательства *только* ради замены его богостроительством!! Ну, разве это не ужасно, что у Вас *выходит* такая штука? Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против *всяких* чертей и богов, против всякого идейного труположества (всякий боженька есть труположество — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а строяемый боженька, все равно), — а для предпочтения синего черта желтому, это во сто раз хуже, чем не говорить совсем... Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая *демократической* буржуазией, именно потому это — самая опасная мерзость, самая гнусная «зараза»...» Развивал эту мысль очень подробно, со ссылкой на «католического попа, растлевающего девушек», на «попов без рясы», на «попов идейных и демократических», и заканчивал предположением, что Горький просто «захотел посюсюкать». Вероятно, в этом последнем предположении не очень ошибался.

Горький испугался, пошел на попятный и о богоискательстве ответил, что сам не может понять, как у него «проскользнуло» слово «на время»; но насчет богостроительства еще что-то «сюсюкал», — надо было и ограждать свою независимость: сам тоже мыслитель.

Судя по тому немногому, что известно об Инессе Арманд, можно предположить, что она без удовольствия слушала и о «труположестве», и о многом другом. Вероятно, лишь вздыхала, по своему обыкновению. «Жалеете, грусти-

те, вздыхаете — и только», — писал ей как-то Ленин. Он часто ей объяснял ее ошибки, — одной Инессе объяснял мягко, то есть без грубейшей брани. Она была неглупа, не боялась с ним спорить и порою удачно ему возражала, отмечала его логические противоречия. Старалась думать своим умом. Это его изумляло. «Люди, большей частью (99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, 60-70% из большевиков) не умеют думать, а только заучивают слова», — писал он. Иногда давал ей и ответственные поручения: «Я уверен, что ты из числа тех людей, кои развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту, — и посему упорно не верю пессимистам, т. е. говорящим, что ты... едва ли... Вздор и вздор! Не верю! Превосходно ты сладишь!» Люди, говорившие, «что ты... едва ли...», были, наверное, глупее Инессы Арманд. В спорах с ним она порою даже осмеливалась нападать на Энгельса. Хуже этого могли бы быть только нападки на самого Маркса. Но ей сходило и это.

На близкую революцию он не очень надеялся. Балканская война, особенно вопрос об Албании, вызвавший обострение в отношениях между Россией и Австро-Венгрией, подали было ему надежду, однако лишь слабую. «Война Австрии с Россией, — писал он тому же Горькому, — была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц-Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие».

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

В министерстве иностранных дел на Балльплатц «был страшнейший хаос» («herrschte das schrecklichste Chaos»), говорит в своих воспоминаниях высокопоставленный австрийский дипломат. Все там, не исключая третьестепенных должностных лиц, вмешивались решительно во все. Один известный посол, не названный этим дипломатом, говорил ему, что, быть может, мировую войну затеял швейцар министерства.

В австрийском министерстве иностранных дел и не могло не быть полного беспорядка и разброда, так как он был в Вене везде (кроме ритуала Бурга и Шенбрунна): во всех областях государственного управления, в армии, в жизни, в литературе, в философии, даже в многоплеменной австрийской церкви. И лишь немногим дело было лучше в России с ее недавней революцией, во Франции с недавним делом Дрейфуса, да и в очень многих других странах.

Хаосом объясняется и то, что историкам не удалось толком установить, кто именно толкнул Австро-Венгрию на войну. Обычно в этом — с большой долей справедливости — обвиняют министра иностранных дел графа Берхтольда. С той же относительной верностью в Германии в этом обвиняли самого императора Вильгельма. По случайности, в 1914 году судьбы мира были в руках двух неврастеников.

О Берхтольде люди, его знавшие, оставили разные и противоречивые сведенья. Одни находили, что он ленивый, равнодушный, мало знающий, почти ничего не читающий человек, во всем некомпетентный, не имеющий никаких идей и планов, «простая машина для подписывания бумаг». Другие видели в нем крайнего честолюбца, сознательно затеявшего мировую войну и руководившего австро-венгерской военной партией.

И то, и другое не может быть вполне верно... Летом 1914 года граф Берхтольд во всяком случае не ленился и

никак не был равнодушен. Бумаги он тогда не «подписывал», а составлял их лично от первого до последнего слова, часто не показывая их даже тем, кому он был совершенно *обязан* их показывать. Знаменитый ультиматум Сербии, вызвавший мировую войну, он сочинил сам и, прибегая к обману, не показал его императору Францу-Иосифу *до* отправки в Белград: опасался, что император не даст на него согласия или, во всяком случае, очень его смягчит. Берхтольд дал честное слово германскому правительству, что покажет ему предварительно этот ультиматум, но очень хитро устроился так, чтобы и оно ознакомилось с документом слишком поздно для каких бы то ни было поправок. Своей бумаге он нарочно придал такую форму, чтобы Сербия никак не могла ее принять: сам это говорил с почти идиотическими самодовольством и гордостью.

Но, с другой стороны, он не мог быть руководителем военной партии, так как, по самому своему неврастеническому изменчивому характеру, просто не мог быть руководителем чего бы то ни было. Не был он и честолюбцем. Берхтольд и министром иностранных дел стал очень неохотно: предпочел бы должность главы придворного ведомства, — не связанную ни с какой ответственностью и не обещавшую никакой славы. В смысле честолюбия с него, по-видимому, было совершенно достаточно того, что он граф Берхтольд фон унд цу Унгаршитц и вдобавок самый элегантный человек Европы. После мировой войны он в иностранных отелях танцевал на балах, вызывая изумление туристов: «Тот самый!»

В 1913—1914 годах «большим» вопросом Европы стали балканские дела. Такие большие вопросы неизменно бывали во все времена. Они улаживались или нет, но в обоих случаях скоро забывались и заменялись другими. Самыми мучительными из всех тогда считались «проблема Албании» и «проблема великой Сербии». Об албанских делах никто из государственных деятелей того времени решительно ничего не знал. Однажды, не выдержав, британский министр иностранных дел Грей, которому они по их непонятности смертельно надоели, предписал своим подчиненным докладывать ему о них «возможно реже». Сербские дела были известны лучше. Сербия, после двух победоносных войн — первой, в союзе с Болгарией, против Турции, второй, при полускрытой поддержке Турции, против Болгарии, — стала могущественной державой: в ней теперь было четыре с половиной миллиона жителей. В Европе глубокомысленно обсуждался вопрос: может ли Австро-Венгрия допустить су-

ществование на своей границе столь мощного государства и не грозит ли это ей гибелью?

Император Франц-Иосиф, не желавший по-прежнему слышать о войне, болел и все дряхлел. Таким образом, очень усиливалось значение главных австро-венгерских сановников. Они, естественно, расходились в мнениях. Конрад фон Гетцендорф требовал, чтобы вся Сербия была включена в империю Габсбургов, которая из двуединой стала бы триединой. По его мнению, можно было бы либо добиться от Сербии добровольного на это согласия (вероятно, с его точки зрения, это был менее приятный исход), либо следовало просто ее завоевать и присоединить насильно (более приятный исход). Против этого был венгерский министр-президент граф Тисса: он думал, что в империи уже и без того слишком много славян и что «двуединой» совершенно достаточно, а то, при пестром племенном составе государства, можно докатиться и до «десятиединой» с десятью правительствами и с десятью парламентами. В 1913 году Тисса решительно высказывался против войны (что ему не помешало через год столь же решительно высказаться за нее). Он видел спасение Австро-Венгрии в «ориентации» на Болгарию: очевидно, присоединение к центральным державам этого только что разбитого и обессиленного небольшого государства могло спасти Австро-Венгрию и Германию. И, наконец, граф Берхтольд занял промежуточную позицию: он войны не хотел, но желал для обуздания сербского страшилища ввести в австро-венгерскую «орбиту» какую-то задуманную им «лигу» из небольших стран. Все эти «ориентации», «лиги» и «орбиты» заполняют дипломатическую переписку и газетные передовые того времени.

Берхтольд считался и был убежденным сербофобом, но с большой вероятностью можно предположить, что он совершенно презирал балканские государства вообще. Все они были монархиями, но еще не очень давно были в рабстве у турок. В Румынии, Греции, Болгарии, по крайней мере, были монархи из «хорошего дома»: выписанные из-за границы Гогенцоллерны, Виттельсбахи, Кобурги. В Сербии же царствовал Бог знает кто: правнук гайдука, какого-то Черного Георгия. Быть может, «сербофобом» Берхтольд стал больше по методу исключения: Вильгельм II был в родстве с румынским и греческим королями и лично благоволил к ним.

Еще меньше Берхтольд мог считать государственным человеком главу сербского правительства: как говорили,

Пашич в молодости был близок к Бакунину и будто бы был в Швейцарии его «любимым учеником», — иными словами, это был просто разбойник. За несколько месяцев до войны Пашич отправился в Петербург и там просил для королевича Александра руки одной из великих княжон. «Царь с улыбкой мне ответил, — докладывал Пашич, — что возражений не имеет, но что у него правило: предоставлять детям самим выбор. Когда же я выходил, царь проводил меня до двери и подчеркнуто, повторно просил кланяться королю».

Вероятно, об этом было доложено Берхтольду как о полном согласии на брак, и он мог только изумленно негодовать: если дочь русского царя выходит за Карагеоргиевича, то это конец мира. Тогда же, по горячей просьбе «ученика Бакунина», царь почти согласился подарить Сербии 120 000 русских винтовок. По тем временам это могло считаться действием недоброжелательным в отношении Австро-Венгрии. Но граф Берхтольд тогда еще никак не собирался воевать.

По всем глубоким социологическим теориям, убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда было лишь *поводом* для мировой войны. Настоящие *причины* были совершенно другие: «англо-германское экономическое соперничество», «борьба за рынки», «внутренние противоречия капиталистического строя» и т. п. Однако при чтении почти простодушной переписки государственных людей того времени просто напрашивается другой вывод: сараевское убийство было не поводом, а именно причиной катастрофы. О «борьбе за рынки» они не писали и не говорили, а о «внутренних противоречиях капиталистического строя» и не слышали: быть может, даже таких слов не знали.

В тот момент, когда об убийстве наследника австро-венгерского престола узнал второй по значению неврастеник Европы, с ним мгновенно произошла совершенная перемена. Сразу исчезли его прежние мысли о лиге, сложные и глубокие дипломатические проекты. Он принял твердое решение: надо начать войну, начать ее возможно раньше, лучше всего немедленно. При этом он точно забыл о соблазнительных проектах Гетцендорфа. Начальник генерального штаба хотел присоединить к империи всю Сербию; Берхтольд тотчас после сараевского преступления совершенно перестал об этом думать. Он объявил сначала

сослуживцам, затем германским политическим деятелям, несколько позднее, в пору ультиматума, правительствам всех стран, что Австро-Венгрия ни о каких аннексиях не думает. Она готова гарантировать неприкосновенность сербской территории (за исключением разве очень незначительных пограничных пунктов, — да и на этом он не настаивал). Таким образом отпадала и та цель войны, которую ставил себе Гетцендорф и которая, с *его* точки зрения, была разумной (он сам слушал с изумлением эти заявления министра иностранных дел). Теперь единственная цель Берхтольда заключалась в том, чтобы поддержать и поднять австро-венгерский *престиж*, проучить Белград, положить конец террористическим действиям и страшному призраку Великой Сербии. Все его действия от дня убийства эрцгерцога до ультиматума имели целью войну и только ее. По-своему они были порою хитры, как бывают хитры поступки сумасшедших. Он довольно искусно влиял и на Тиссу (все еще носившегося с Болгарией) и особенно на Вильгельма, без согласия которого, разумеется, и думать о войне не приходилось.

Первый европейский неврастеник был в последнее время в самом благодушном и миролюбивом настроении. Германия процветала, — этого никто не мог отрицать, даже социал-демократы. Трон Гогенцоллернов был так прочен, что мысль об его возможном и близком падении просто не могла возникнуть у здорового человека. Вильгельм чувствовал себя и физически хорошо. За год до войны он выдал замуж дочь, на свадьбу приехали русский царь и английский король, свадебные торжества были не только пышные, но и очень веселые, отношения между тремя монархами были самые дружеские, немногочисленные политические разговоры сошли без малейших разногласий. Император полувопросительно сообщил своим гостям, что турки просят его прислать германскую военную миссию для обучения турецких войск; оба гостя признали это совершенно естественным, а царь сверх того посоветовал туркам как можно лучше укрепить линию Чаталджи на случай, если болгары пожелают захватить Константинополь (они все трое сходились в нерасположении к Фердинанду Болгарскому; в частности, Вильгельм II совершенно не переносил своего будущего союзника).

Германский император, очевидно, забыл то, что говорил бельгийскому королю, и не собирался подражать Фридриху и Наполеону. Его посол в Вене Чиршки доложил о каких-то опасных планах Австро-Венгрии. Император справедли-

во написал на полях доклада: «Совершенное сумасшествие! Ведь была бы война!»

В конце июня 1914 года Вильгельм выехал на регаты в Киль. 28-го в море к его яхте неожиданно подошла шлюпка. У руля стоял адмирал Мюллер, высоко держа в руке какую-то бумагу. Причалить было трудно. Мюллер положил бумагу в портсигар и бросил на борт. В ней было сообщение об убийстве эрцгерцога.

Совершенно потрясенный, император велел яхте тотчас направиться к берегу. Разумеется, его волнение и негодование понятны. Весь мир был потрясен и почти весь мир возмущен сараевским делом. Вильгельм вдобавок сердечно любил эрцгерцога и его жену. Совсем недавно он их посетил в Конопииште, и их давняя дружба еще окрепла. Но и политическое настроение у Вильгельма совершенно изменилось с такой же быстротой, как у Берхтольда: пора обуздать Сербию, надо поддержать *престиж* центральных империй, пусть будет война. Разница заключалась в том, что австрийский министр иностранных дел был неврастеник с внешней стороны довольно холодный и сдержанный; кроме того, Берхтольд был очень связан; он должен был считаться с Францем-Иосифом, с Тиссой, со многими другими. Вильгельм же у себя был почти всемогущ, никаких сдерживающих начал у него никогда не было.

Во дворце его ждали многочисленные доклады. Граф Берхтольд сообщал, что, по его сведениям, двенадцать сербских террористов отправились в Вену: хотят на похоронах эрцгерцога убить и германского императора. Возможно, эти сведения были верны, но, может быть, он их просто сочинил, чтобы усилить ярость Вильгельма. Этой своей цели достиг. По-видимому, не хотел также, чтобы император встретился с Францем-Иосифом. Германские министры советовали императору не ездить на похороны. Он и не поехал. Писал на докладах резолюции, которые два по крайней мере историка называли психопатическими. Называл всех сербов убийцами и бандитами. Говорил, что благодаря им в большой опасности самый принцип монархии и что прежде всего русский царь обязан теперь поддерживать Австро-Венгрию, а никак не «сербских цареубийц». Когда тот же его посол Чиршки стал предостерегать Берхтольда от слишком поспешных мер, Вильгельм написал на полях доклада: «Кто ему это поручил? Это очень глупо! И это совершенно его не касается!.. Пусть Чиршки сделает мне удовольствие и бросит все эти глупости. С сербами

надо покончить, и возможно скорее. Это само собой разумеется, это банальные истины».

Никто из его приближенных не решался прямо ему сказать, что это не совсем «само собой разумеется». Разгром Сербии никак не мог бы прекратить действия сербских террористов; напротив, он, наверное, им способствовал бы «Престиж», «дипломатическая победа» были все равно обеспечены, так как в Белграде шли на всевозможные, даже «унизительные», уступки. Момент для европейской войны был весьма для Германии невыгодный, во всяком случае в сто раз менее выгодный, чем в 1905 году, когда Россия была занята войной на Дальнем Востоке, а нейтралитет Англии был совершенно обеспечен. Но возможно, что никто и не хотел ему это говорить. Не только в Берлине, но и в Европе вообще было у людей, особенно у образованных, странное чувство: мир, конечно, прекрасная вещь, но не будет большой беды, если и возникнет война, — ново, интересно, наша возьмет, нет худа без добра. Это никак не означало, что люди *хотели* войны. Но без этого смутного, полусознательного чувства война была бы невозможна, несмотря на Берхтольдов и Гетцендорфов разных стран, центральных и нецентральных.

Другого мнения, естественно, держались некоторые из самых влиятельных генералов. Они думали, что будет большая беда, если война не возникнет. Адмирал Гаус, командовавший австрийским флотом, спрашивал на Балльплатц: «Не можете ли вы устроить нам войну? («Können Sie uns den Krieg nicht arrangieren?») Начальник германского генерального штаба Мольтке говорил своему австро-венгерскому собрату: «Отклоните новые авансы Англии, ставящие себе целью поддержание мира. Оставаться твердой перед лицом европейской войны — это последний шанс спасения Австро-Венгрии. Германия ее поддержит без условий». Мольтке не имел ни малейшего права давать Гетцендорфу политические советы. Гетцендорф не имел ни малейшего права отклонять или принимать английские авансы. Но они, по крайней мере, знали, чего хотят. Штатские люди и этого не знали и были в громадном большинстве совершенно растеряны.

Германский канцлер Бетман-Гольвег посылал во все стороны советы, из которых каждый противоречил другим. Быть может выпивши, в разговоре с британским послом Гошеном, назвал договор о нейтралитете Бельгии «ключом бумаги». В трезвом виде *сказать* это было невозмож-

но, хотя это было чистойшей правдой: очень легко было понять, *как* это слово будет использовано против Германии (разговор был вечером, канцлер, по донесению в Лондон Гошена, был в «большой ажитации» и говорил безостановочно двадцать минут). Можно предположить, что некоторую, не очень, конечно, большую, роль вино или замученность невыспавшихся людей сыграла в те дни и в других странах. Французский посол в Лондоне Камбон 30 июля потребовал от британского правительства заявления, что Англия вмешается в войну, если Германия нападет на Францию. Высокопоставленный британский государственный деятель ему ответил, что английское общественное мнение равнодушно к австро-русскому соперничеству и хотя он лично стоит за интервенцию, но говорить о ней преждевременно, — и в качестве одной из причин указал, что некоторые члены британского кабинета имеют денежные интересы в Германии.

«Кончилось» все это сценой в русском министерстве иностранных дел у Певческого моста. В шесть часов вечера 1 августа германский посол граф Пурталес посетил Сазонова и «с признаками все росшего волнения» *три* раза спросил, согласится ли Россия отменить свою мобилизацию. Сазонов тоже три раза ответил, что Россия отменить мобилизации не может. Тогда Пурталес вынул из кармана бумагу с заранее подготовленным объявлением войны. Затем бросился Сазонову на шею и заплакал; добавил только, что говорить о чем бы то ни было «не в состоянии». От волнения и по рассеянности он даже передал русскому министру *две* бумаги с двумя разными редакциями.

В восторге от войны были Гетцендорф и Ленин. Оба в известном смысле были правы, каждый на определенный и довольно длинный отрезок времени. Ленин преуспел уже через три года. Гетцендорф лично потерпел крушение, но открылся в истории столь приятный гетцендорфам долгий период войн. Плакать же были основания никак не у одного Пурталеса. Покончила с собой старая Европа, все же гораздо лучшая, чем та, что пришла ей на смену.

Через несколько часов о войне стало известно и в самых отдаленных странах. Одно нейтральное издание поместило картинку: ключарь потустороннего мира встречает эрцгерцога Франца-Фердинанда:

«Ваше высочество, за вами сюда ожидается большая свита».

II

Традиции старой Европы сказались и в том, что после объявления войны в 1914 году дипломаты покидали столицы, в которых представляли свои страны, совсем не так, как это было в 1939-м. Особенно это проявилось в Австро-Венгрии.

Тонышевых провожали на вокзал не только дипломаты нейтральных стран, но и многие австрийские друзья. Все выражали надежду скоро встретиться в более счастливых условиях. Войны между европейскими государствами велись в последнее полу столетие столь редко, что выработанного порядка таких отъездов не было, и прецедентов в министерствах и посольствах никто не помнил. Просто все вели себя как цивилизованные люди. Из австрийского министерства иностранных дел корректно запросили русское посольство, в каком направлении члены посольства желают ехать, и, несмотря на тотчас начавшийся железнодорожный хаос, специально назначенное должностное лицо позаботилось о поездах и спальных вагонах. Никаких враждебных манифестаций со стороны сумрачной толпы на вокзале не было. Некоторые нейтральные дипломаты, крепко пожимая руку Тонышеву, шепотом желали союзникам победы. Почти все привезли Нине Анатольевне цветы или конфеты. Дамы, прощаясь, прослезились или даже плакали. Нервы у всех были очень взвинчены: не было войн — и вдруг война! Что теперь будет! Но, несмотря на общую любезность, в разговорах все-таки чувствовалось стеснение, — Тонышевы вздохнули свободнее, когда поезд тронулся и с перрона слышались последние «Bon voyage!», «Good-bye» и даже «Auf Wiedersehen!»¹.

Вернуться в Россию из Вены было бы проще и скорее через Константинополь. Но Турция могла со дня на день объявить России войну. Тонышевы, как большинство русских, предпочли долгий и трудный путь через Швейцарию, Францию, Англию, Норвегию и Швецию. Оба они были в последние дни очень взволнованы, — и радостно, и тоскливо, — радость преобладала над тоскою. С той минуты, как Англия объявила войну Германии, они в победе союзников не сомневались. Алексей Алексеевич был почти уверен, что Австро-Венгрия обречена на скорую гибель. Это ему радости не доставляло. Напротив, было тяжело,

¹ «Счастливого пути!» (фр.), «До свиданья!» (англ., нем.)

что катастрофу переживет престарелый Франц-Иосиф, которого он так почитал.

Естественно, он думал и о том, что ему делать после возвращения на родину. В первый же день в большом возбуждении сказал жене, что, если даже его не призовут, то он добровольцем пойдет на войну. Нина Анатольевна, только об этом думавшая, ответила, еле удерживая слезы:

— Как ты найдешь нужным... Я тебя удерживать не буду. Но едва ли тебя призовут. Ты уже не так молод. Верно, и верхом ездить разучился.

— Нет, не разучился, и мне всего сорок три года.

— Как ты найдешь нужным. По-моему, от тебя в твоём драгунском полку пользы будет немного. Можешь ли ты скакать в кавалерийских атаках? Не будешь ли ты полезнее как дипломат? Тебе скоро дадут другое назначение.

— Едва ли. Из-за войны постов стало значительно меньше, а дипломатов теперь освободилось очень много.

— Делай как хочешь... Но ведь мы и вернемся в Россию в лучшем случае через три-четыре недели? Между Англией и Норвегией пароходы ходят теперь редко, и надо будет ждать долго. А война очень скоро кончится. Наверное, она уже кончится к тому времени, когда ты будешь готов к строю?

— Это возможно. Тогда это будет не моя вина.

Больше они об этом не говорили. В поезде Алексей Алексеевич неожиданно вспомнил о предсказании майнцской колдуньи.

— Я, кажется, тебе это уже когда-то рассказывал. Это тогда меня изумило: ведь он совсем неглупый человек. Очень характерно это сочетание ума и легковерия. Может, в самом деле Вильгельм начал войну из-за майнцской колдуньи!.. Ах, хороши оказались мы все, дипломаты, со всеми этими санджаками и Мюрцштегами!

Нина Анатольевна говорила, что уж во всяком случае он ни в чем себя винить не может. Про себя произвела подсчет: 1914 плюс 1 плюс 9 плюс 1 плюс 4. Выходило: 1929. Она не знала, к чему отнести этот год: «Умрет Вильгельм? Алеша станет министром? В России создается ответственное правительство?.. А вот Вены мы больше, верно, никогда не увидим!.. Нашу обстановку потом перевезем, да куда?»

В дороге Алексей Алексеевич готовил записку для министерства. Он до отъезда записывал в дневник все, что видел и слышал в последние дни. Слышал он очень много. Видел двух дипломатов, только что побывавших в Берлине. Они в

один голос утверждали, что Вильгельм II находится в состоянии полной невменяемости. Об его гениальности никто открыто не говорил, но все признавали, что он очень опасный и страшный враг. Тонышев записал и разные восклицания, приписывавшиеся германскому императору, и то, что говорили Бетман-Гольвег, Берхтольд, другие высокопоставленные лица, и мнения, высказывавшиеся осведомленными людьми о германских и австрийских генералах. Гетцендорфа почти все считали замечательным полководцем, о Мольтке говорили, что он унаследовал военный гений своего дяди. Из русских генералов иностранцы очень высоко ставили Сухомлинова и Ренненкампа.

Втихомолку говорили о Франце-Иосифе. По слухам, он уже не все понимал, резолюции на докладах писал карандашом, дрожащей рукой, так что и разобрать было трудно. Не переносил Гетцендорфа, которого считал — как будто он один тогда — глупым человеком и вдобавок довольно плохим генералом (много позднее Людендорф писал, что подготовленная Гетцендорфом австро-венгерская армия оказалась «неполноценным орудием борьбы» — «kein vollwertiges Kampfinstrument»). Все же, под сильнейшим давлением со всех сторон, престарелый император дал согласие на войну.

Путешествовали Тонышевы медленно, но вполне благополучно. В Париже и в Лондоне были тоже интересные встречи и разговоры. Алексей Алексеевич был принят самим Греем, который рассказывал ему о положении в России. Положение было прекрасное, весь народ, все партии объединились для борьбы с врагом. Не только о революции, но ни о каких беспорядках и речи не было. Второстепенное должностное лицо из «Форен-оффис» пригласило Алексея Алексеевича на обед в свой клуб и высказывало мнения о русской душе. Полное спокойствие в Англии еще подняло настроение Тонышевых, хотя отсутствие всеобщей мобилизации, толпы молодых здоровых людей на улицах (в Париже они не видели ни одного) и формула «*Busines as usual*»¹ не очень им понравились. Поразило их предсказание нового военного министра, лорда Китченера: война продлится три года. «Уж не сошел ли он с ума?» — изумленно спрашивала мужа Нина Анатольевна. «Нет, конечно, не сошел с ума, но он, верно, находит, что так говорить полезно: пусть люди записываются в армию». — «По-моему, они именно тогда подумают, что спешить незачем».

¹ Дела идут как обычно (англ.).

Английские газеты печатали военные сообщения обеих сторон. На западном фронте немцам выпали большие успехи, бельгийские крепости пали, германские армии шли на Париж. Но это Тонышевых не пугало. Русские войска имели не меньшие успехи в Австрии и вторглись в восточную Пруссию. Алексей Алексеевич и Нина Анатольевна с гордостью говорили друг другу, что именно русская армия возьмет штурмом Берлин. Победа под Гумбинненом привела их в совершенный восторг; они за обедом выпили шампанского.

Единственная опасная часть дороги, из Ньюкастла в Берген, прошла тоже благополучно. В Северном море действовали германские подводные лодки; все говорили о минах Уайтхэда, о минных полях, о тральщиках, — теперь штатские люди постоянно употребляли военные слова. Ночью пассажиры не раздевались и держали рядом с собой спасательные пояса. Погода была очень плохая. Пароход шел без огней, и его сильно качало. Нина Анатольевна лежала больная в гостиной. Алексей Алексеевич, сидя рядом с ней, говорил, что нет худа без добра: в такую погоду и подводным лодкам работать трудно. Около полуночи вдруг раздался страшный грохот. Все вскочили с мест, произошел переполох. Но оказалось, что это от качки свалился в столовой шкаф с посудой.

В великолепном Стокгольме, жившем почти нормальной жизнью, они в «Гранд-отеле» набросились на немецкие газеты. Их уверенный тон очень раздражил Тонышевых. В Германии тоже не сомневались в полной победе: падение Парижа обеспечено, скоро будет заключен победный мир. Оказался, кроме Мольтке, еще военный гений: фон Клук. «Становится наслаждением быть немцем!» — писал Гарден, и даже ненавидевшие его антисемитские газеты сочувственно цитировали его статьи. Алексей Алексеевич только пожимал плечами: «Совсем посходили с ума, проклятые швабы!» Перед отъездом в Россию он прочел о сражении под Танненбергом, о самоубийстве генерала Самсонова и был совершенно потрясен.

Нина Анатольевна прослезилась на русской границе. Тонышев задержался в Петербурге. Ему надо было побывать в министерстве, сделать устный доклад, представить записку, выяснить свое положение.

В первый же час после приезда Нина позвонила из «Астории» в Москву. Телефонистка предупредила ее, что по-немецки говорить запрещается. «Помилуйте, барышня,

почему я, русская, стала бы говорить с моим братом по-немецки!» — почти с негодованием ответила она.

Разговор был трогательный. Дамы, давно не видевшие друг друга, плакали. Дмитрий Анатольевич отбирал у жены трубку и тоже что-то взволнованно кричал. Впрочем, говорили о пустяках. Нина Анатольевна от волнения даже за чем-то спросила, который час.

— Я завтра же к вам выеду! Можно ли остановиться у вас?.. Ради Бога, не сердись, я спросила по глупости... Спасибо, да, пока я одна: у Алеши еще здесь дела, будто бы страшно важные. Я столько вам расскажу!

— А мы-то тебе! Вы оба не можете себе представить, что у нас происходило. Ну, слава Богу, что вы благополучно приехали, мы так за вас волновались! Эти немецкие зверства!

III

В Москве взрыв патриотического воодушевления был необычайный. Никогда еще в России, по крайней мере с 1812 года, не было такого согласия и единодушия между людьми. По этой ли причине, вследствие непривычного отсутствия «внутреннего врага», по свойствам ли русского характера или из-за необъятных размеров страны, в Москве и настроение было более веселое, чем в Лондоне, неизмеримо более веселое, чем в Париже.

Чуть ли не каждый день происходили совещания в разных группах интеллигенции. Все были совершенно уверены в близкой победе, все, теперь благодушно, рассказывали анекдоты о министрах, все ожидали перехода к *настоящему* конституционному правлению и создания ответственного перед Думой правительства. Кое-кто предлагал практические мероприятия. Ласточкин один из первых подал мысль о мобилизации всей русской промышленности. Как инженер и экономист, он представил записку, имевшую очень большой успех. Ему было поручено разработать подробный план.

Дмитрий Анатольевич пожертвовал Красному Кресту столь большую сумму, что денег на его текущем счету не хватило, и он в первый раз в жизни заключил в банке заем. Татьяна Михайловна от него не отставала, — он еще несколько лет тому назад открыл для нее особый банковый счет, к некоторому ее недоумению: «Помилуй, Митенька, зачем мне отдельные деньги? Я даже не знаю, как пишутся

чеки!» — говорила она. «Это нехитрое искусство, я тебя научу», — смеясь, отвечал Ласточкин. Теперь она давала дамскому комитету деньги на подарки воинам и тайно помогала нуждавшимся знакомым, преимущественно семьям призванных, сразу оказавшимся без средств. Как и можно было думать, у большинства русских интеллигентов никаких сбережений не оказалось, несмотря на то что почти все зарабатывали недурно.

Работы в совещаниях было немало, но эта работа все же не удовлетворяла Дмитрия Анатольевича, и ему было советно перед людьми, отправившимися на фронт. Несмотря на свой возраст, он в первую же неделю отправился за справками в комендантское управление, где у него были знакомые, как почти везде в Москве. Там ему сказали, что о призыве второго ополчения не может быть речи: людей больше, чем нужно, и война кончится гораздо раньше, чем могут потребоваться ратники.

— Вот будут военные школы ускоренного выпуска, — сказал ему знакомый полковник. — Может быть, офицеры и понадобятся, хотя мало будет, правду сказать, толка от таких офицеров. Если вас примут, что ж, милости просим. Не скрою от вас, что в нынешнюю войну среднюю продолжительность жизни прапорщика в пехоте мы определяем предположительно в три месяца. Вы ведь инженер, для вас несомненно найдется другая работа, где вы будете гораздо полезнее. Да вы и теперь в Москве полезны.

Это ему говорили и штатские люди. Специалисты знали, что русская тяжелая промышленность недостаточно развита и что придется в самом спешном порядке строить новые военные заводы:

— Вот тогда такие люди, как вы, будут цениться на вес золота.

— Не думаю. Я не очень компетентен в устройстве военных заводов.

— Во всяком случае более компетентны, чем для службы прапорщиком запаса.

Это соображение было основательно, Дмитрий Анатольевич себя проверил: «Нет, шкурничества тут нет никакого». Все же он, независимо от одушевления, чувствовал и немалую тревогу. Гибель самсоновской армии его потрясла. Несмотря на смягчения в официальных сообщениях и в газетных статьях, правда скоро стала известна. В полной победе никто еще не сомневался, но теперь уже говорили, что война продлится дольше, чем первоначально предполагалось. «Восемь месяцев, никак не больше, но, вероятно, и

не меньше», — признал известный экономист на основании произведенного им точного расчета финансового и хозяйственного потенциала центральных держав.

— Да как же турки тоже объявляют нам войну? — спросил его Ласточкин. — Значит, они идут на верную гибель?

— Хороши, должно быть, турецкие экономисты, — ответил, пожимая плечами, профессор.

Дмитрий Анатольевич говорил с женой и сестрой. Обе горячо поддерживали мнение полковника.

— Все это правильно, но как-то выходит, что у нас воюют только кадровые офицеры, серая крестьянская масса и только небольшая часть интеллигенции, преимущественно молодежь, — с недоумением сказал Ласточкин.

— Если и так, то это лучше, чем во Франции, — отвечала Нина. — Нам в Париже говорили, что какой-то знаменитый химик, кажется по фамилии Гриньяр, призван в пехоту рядовым и охраняет в тылу мосты! Это уж совершенно бессмысленно!

Алексей Алексеевич смущенно молчал. Ему в министерстве сказали, что отпустить его не могут, что работа для него скоро будет. А в комендантском управлении в Петербурге он узнал, что если его отпустят, то он будет назначен на этапный пункт. «Это значит в глубоком тылу?» — спросил Тонышев. «В тылу, конечно, но не обязательно в глубоком. Для фронта вы не годитесь, теперь и методы не те, что были двадцать лет тому назад, когда вы отбывали воинскую повинность».

Люда тоже куда-то ездила, справлялась о возможной работе для женщин. Ей сказали, что работа может быть только санитарная и что прежде всего необходимо пройти курс для сестер милосердия; такие курсы скоро откроются. Кровь и грязь больниц, санитарных поездов были Люде противны. Она и вообще чувствовала себя растерянной. Кооператоры никогда ни о каких войнах не думали. С большевиками она уже несколько лет не поддерживала отношений, но стороной слышала, что растеряны и московские большевики; от Ленина не получили никаких инструкций и даже не знали, что с ним и где он находится: вероятно, в Австрии интернирован.

Из Петербурга скоро приехал в Москву и Рейхель, тоже по связанным с войной делам. Он был в мундире военного врача, но его оставили в Петербурге для производства лекарств. К своему мундиру он относился с насмешкой и почти так же относился к войне. Вдобавок был убежден в

непобедимости Германии. Разговор с ним был очень неприятен и Ласточкиным, и Тонышевым. Он с ними пообедал, узнав предварительно, что Люды не будет. Тонышевы тотчас после обеда ушли; ушла и Татьяна Михайловна.

— А я, напротив, убежден, что Германия будет совершенно разгромлена, — сказал Дмитрий Анатольевич.

— С чем тебя и поздравляю. Но блестящая баталия при Танненберге как будто об этом не очень свидетельствует.

— Ты точно этому рад, Аркаша! «Блестящая баталия»!.. Наши войска проявили истинный героизм. Мы все-таки спасли Францию, дав ей возможность одержать огромную победу на Марне.

— Хороша огромная победа! Твой Жоффр узнал о ней из газет.

— Да ведь это неправда, и нехорошая неправда! Во Франции справедливо пишут о русском *gouleau compresseur*¹. Мы опять перейдем в наступление, и скоро Германия будет, повторяю, разгромлена.

— День в день «через восемь месяцев», как пишет тот болван?

— Он никак не болван, его расчет очень обоснован... Я вообще перестал тебя понимать, Аркадий!

— Я ни минуты в этом не сомневался. Да если и победят Германию, то не велика радость в том, что миллион людей съедят черви раньше, чем полагается.

— Люди погибнут, но идея восторжествует... Ты стал уж очень материалистически относиться к жизни.

— Я и всегда так к ней относился. Знаю, что теперь не в моде быть материалистом, даже естествоиспытатели открещиваются и конфузятся или делают такой вид. Но я не конфужусь. Да, я материалист. Ты нет?

— Нет... А в бессмертие души ты совершенно не веришь? — быстро, неожиданно для себя, спросил Ласточкин.

— Совершенно не верю. Неужели ты веришь в эту ерунду?

— Я не могу ни утверждать, ни отрицать то, что знанию недоступно.

— Уж будто? Пониманию, во всяком случае, доступно. Если верить в бессмертие души человека, то логически надо признать, что бессмертны также блоха или удав.

— И ты вполне удовлетворен своим миропониманием?.. И своей жизнью? — спросил Дмитрий Анатольевич, ничего в последние годы не знавший об интимной жизни Рейхеля.

¹ Паровой каток (фр.).

Знал только, что он по-прежнему не был женат. «Верно, какая-нибудь связь у него есть?» — предполагал он в те, все более редкие, минуты, когда думал о своем двоюродном брате.

— Это совершенно другой вопрос, не имеющий с миропониманием ничего общего. А мое миропонимание ты давно знаешь. Как это Шопенгауэр говорил? «Врач видит человека во всей его слабости, адвокат во всей его низости, а священник во всей его глупости». Работой же своей я доволен.

— Рад за тебя. Вот бы ты открыл средство борьбы с раком! — сказал с улыбкой Ласточкин, прекращая неприятный разговор. — Ну, хорошо, а что в Петербурге говорят о будущем мире?... Не знаешь ли ты, кстати, где теперь находится граф Витте? Он все-таки неизмеримо умнее наших нынешних государственных людей и был бы, верно, очень полезен при заключении мира.

— По случайности я от кого-то слышал. Война застала его во Франции, в Люшоне. Мне говорили, что он пришел в дикое бешенство и осыпал за глаза грубейшей бранью всех министров всех стран.

— Это на него похоже, — сказал со вздохом Ласточкин.

IV

Появились Военно-промышленный комитет, Земский союз, Союз городов. Ласточкин работал все больше. Ему полагался для поездок на фронт мундир с погонами военного чиновника. Заваленный теперь заказами, лучший военный портной Комаров, в виде исключения, сшил мундир в несколько дней. Ласточкин смущенно показался в нем своим дамам. Они веселились, но хвалили. Люда говорила, что он носит мундир прекрасно, — «просто гвардеец!». Татьяна Михайловна шутиливо советовала купить заодно и какой-нибудь орден, — «так будет еще красивее». По требованию дам Дмитрий Анатольевич даже снялся в мундире у фотографа, и карточки вышли превосходные. Одна немедленно оказалась на полке в будуаре у жены, рядом с его карточкой на верблюде у пирамид: когда-то ездили вдвоем в Египет. Было на полке еще и немало других его фотографий, тоже обычно остававшихся от их путешествий.

Он ездил на фронт то для деловых переговоров с разными командующими, то для раздачи подарков солдатам. На

фронте его мундир такого успеха не имел. Ему казалось, что генералы смотрят на него с усмешкой, и он, верно ли или нет, толковал про себя их чувства: штафирка, не умеющий носить мундир, вероятно очень богатый, живущий в тылу с большим комфортом! Все же принимали его очень любезно и, что в первый раз его изумило, говорили с ним откровенно, не стесняясь в выражениях: очень ругали ведомство снабжения, еще больше военного министра Сухомятнова, а некоторые и самых высокопоставленных людей. Как будто искали опоры у «общественности», — это слово теперь беспрестанно повторялось в разговорах и в газетах.

Возвращаясь с фронта, он делал секретные доклады в тесном кругу. Оговаривался, что круг его наблюдений ограниченный, сообщал, что дух на фронте гораздо лучше, чем в тылу, где рестораны были переполнены и лилось шампанское, подававшееся в кофейниках. Но, передавая слова генералов, он делился своей тревогой. Его слушали озабоченно. В докладе после третьей поездки Дмитрий Анатольевич прямо сказал, что на фронте ругательски ругают *высшее правительство*, а о Распутине выражаются не иначе, как самыми непристойными словами, и грозят его без суда повесить, если он посмеет появиться в Ставке. Этот его доклад произвел сильное впечатление.

Все говорили, что общественность должна взять дело войны в свои руки. Говорил это и Ласточкин. Но не мог не думать, что, как ни плохо работает правительство, не так уж хороша и общественность. «Да это и вполне естественно, к такой работе у нее уж подготовки нет ни малейшей. Что ж, у нас какие-либо особые таланты? Или чудом влияет какая-то общественная благодать? Увы, это вздор. И заводы мы строим не медленнее, не хуже, но и не быстрее, не лучше, чем их строит правительство. И деньги не мы достаем посредством добровольных пожертвований, а это те же казенные средства, поступления от налогов и займов, то, что правильно называется народными деньгами. Наш труд? Да, мы его отдаем. Во многих случаях бескорыстно», — думал он, с неудовольствием вспоминая, как загребают деньги многие фабриканты, да еще определяют на безопасную службу членов своих семейств и своих более молодых приятелей. Об одном крупном московском заводчике говорили, что он наживает около миллиона рублей в *месяц*.

Было неприятно и то, что теперь еще больше прежнего богател он сам, и все по той же причине: теперь уже бешено поднимались в цене принадлежавшие ему давно пай

разных промышленных предприятий. «Что же я тут могу сделать? — говорил жене Дмитрий Анатольевич. — Заводы завалены военными заказами. Ты ведь знаешь, что я жертвую немало, но не выбрасывать же деньги за окно!» Татьяна Михайловна с ним соглашалась; ей тоже было совестно; автоматически стали расти и их расходы; они теперь проживали гораздо больше, чем еще недавно, и не только из-за увеличения стоимости жизни: для богатых людей она чрезвычайно отставала от роста доходов. «Жертвуй еще больше, нам и не нужно, когда нет детей», — говорила Татьяна Михайловна со вздохом.

Военно-промышленный комитет поручил Ласточкину ведать постройкой большого военного завода за Рогожской заставой. На этом он, разумеется, не наживал ни гроша и отдавал свой немалый труд совершенно безвозмездно. Но богатели подрядчики. Заключенный с ними договор казался ему бессмысленным: подрядчики, тоже освобождавшиеся от воинской повинности, получали десять процентов от стоимости постройки; им, таким образом, было выгодно, чтобы постройка обошлась дороже. Выработать другой договор было невозможно: такие заключали *все*, иначе подрядчики отказывались работать; между тем все делали они и, разумеется, инженеры, служащие, рабочие; он же только торопил, следил за сметами, все проверял, сокращал по мере возможности расходы, — мера, впрочем, была небольшая; напротив, из-за безостановочного роста цен сметы приходилось часто увеличивать.

Недалеко от его завода строился другой, казенный военный завод, и там происходило то же самое. Оба завода начали строиться почти одновременно, и почти одновременно постройка кончилась, и началось производство. Несмотря на глухое соперничество наверху между общественностью и правительством, Ласточкин наладил корректные отношения с военными, строившими второй завод, обменивался с ними мнениями, сведениями, советами; видел, что там были такие же подрядчики с такими же договорами, и такие же порядки, и такие же результаты. Оба завода находились поблизости от исторических мест Московского царства, с названиями, известными всем по школьным учебникам. Проезжая по ним на автомобиле, Дмитрий Анатольевич видел, рядом с заводами, древние строения или развалины, и это ему напоминало будки с бензином на Аппиевой дороге под Римом.

Немцы на фронте пустили в ход удушливые газы. Русские заводчики тотчас занялись и этим делом. О фосгене,

цианистых и мышьяковых соединениях Ласточкин уж совершенно ничего не знал. Он стал спешно изучать технические книги, попутно возобновлял свои небольшие познания в химии. Нанял еще людей и кое-как наладил производство газовых снарядов. Видел, что *все-таки* его труд и энергия полезны. Тем не менее настроение у него ухудшалось и подъема становилось меньше. Он ежедневно заходил в новую лабораторию с плохими вытяжными шкафами, с кое-как налаженной вентиляцией. Раз даже наглотался газов и лишился сознания. Его пришлось приводить в себя принесенным откуда-то шампанским для поддержания деятельности сердца (о шампанском ему потом было особенно совестно вспоминать). Его немедленно отвезли на автомобиле домой. Татьяна Михайловна пришла в ужас. Он пролежал в кровати несколько дней и заметил, что его здоровье ухудшилось. Этого он жене не сказал и снова стал ездить на завод каждый день.

Скоро газовые снаряды стали отправляться на фронт. «Очень недурные, не хуже немецких», — с гордостью говорили химики. Он слушал это радостно. Знал, что от газовых снарядов люди умирают в тяжелых мученьях. Это противоречило всему его прежнему взгляду на жизнь. Но он знал, что и думать об этом недопустимо. «О пацифизме надо надолго забыть, не мы начали войну».

Позднее один из рабочих, уже не в лаборатории, а на самом заводе, где вентиляция была еще хуже, наглотался газа гораздо сильнее и умер; ему шампанского не принесли. Это произвело тягостное впечатление на всех, особенно на Дмитрия Анатольевича. Он выхлопотал пенсию и единовременное пособие вдове с детьми и сам немало добавил из своих денег. Винить себя он не мог: устроить лучшую вентиляцию было в условиях военного времени невозможно. Утешался тем, что и сам пострадал, что есть в дальнейшем риск и для него.

V

Тонышев получил назначение на промежуточный этапный пункт. Министерство иностранных дел отпустило его неохотно и обьявило, что позднее вытребует его назад. Это прозвучало как бы *обещанием*, и он был немного задет: «Точно я хочу уклониться от военной службы!» Этапный пункт был в глухом местечке. Женам не полагалось сопровождать офицеров хотя бы и в тыл. Но и независимо от

этого, условия жизни в местечке были таковы, что Нина Анатольевна никак туда переехать не могла бы. Она осталась в Москве у Ласточкиных.

Его работа была, конечно, полезна, но с ней мог бы справиться любой писарь. Служебные обязанности были утомительны, однако свободного времени оставалось немало; сослуживцы были не очень интересные люди, он с ними поддерживал корректные отношения и скучал. Еда была довольно обильная, — он даже удивлялся тому, что армию кормили так сытно, хотя все ругали интендантство. Можно было тайком покупать и водку, — ее тоже подавали в кофейниках или в чайниках. Это неизменно подавало повод и к шуткам, и к раздражению: запрещение продажи вина было очень непопулярно, хотя все признавали, что, быть может, от него есть и польза. Но он боялся *спиться*, — существовало давнее литературное клише: образованный человек спивается в глуши, — точно люди реже спивались в столицах.

Алексей Алексеевич выписывал петербургские и московские газеты (французские и английские приходили плохо). Продолжать исследования о Каунице было невозможно. Разумеется, он вывез из Вены то, что уже было им написано, вывез и записные тетрадки, но даже в Москве работы не продолжал. Его большая библиотека осталась в Вене. Правда, можно было читать книги в Румянцевском музее, но они оттуда на дом не выдавались; между тем он любил работать в одиночестве, в своем кабинете, с собственными книгами, на которых мог бы делать пометки, ставить вопросительные или восклицательные знаки (на самом деле он пометок никогда не делал, — так любил книги, — а отмечал нужные страницы отдельно).

Писал он свою работу по-французски и предназначал ее, разумеется, для издательства «Плон», специализировавшегося на таких трудах и вдобавок самого старого в мире. В свое время из Вены снесся с этим издательством, и оно «в принципе» согласилось выпустить его книгу. Он упомянул, что гонорар его мало интересует, но спросил и об условиях, чтобы его не считали дилетантом. Писать по-русски не имело смысла: слишком мало читателей оказалось бы для такого труда в России, едва ли даже нашелся бы русский издатель.

Главное же было в том, что у него прошла охота писать об австрийском государственном деятеле. По-прежнему он почитал Кауница и собирался противопоставить его нынешним бетманам и берхтольдам, но, написав чуть не полови-

ну книги, с неудовольствием увидел, что, собственно, определенной русской политики у знаменитого канцлера не было — или она так же часто менялась, как у Вильгельма II. Кроме того, он чувствовал, что теперь эта книга, если б ее и можно было кончить, оказалась бы малоинтересной даже тем пяти или шести тысячам людей, которые вообще читали такие труды: настоящее бросало тень на прошлое. Перед отъездом на этапный пункт Алексей Алексеевич положил свою рукопись в «сейф»: в местечке она могла и погибнуть.

Все же скоро у него появилось интересное занятие. В Москве Ласточкин, у которого от времени его увлечения мастерской оставались пишущие машинки всех существующих в мире систем, подарил ему «Гаммонд»:

— Нет, нет, пожалуйста, не отказывайся и не думай меня отдаривать. Мне она совершенно не нужна, видишь, сколько их здесь, — сказал со вздохом Дмитрий Анатольевич. — Я не понимаю, как культурный человек может жить без машинки! Ты знаешь, Льву Толстому в последние годы его жизни переписывали на машинке все, что он писал. По своим взглядам он должен был бы «отрицать» машинку, говорить, что она не нужна мужику, и так далее. Но, как писатель, он не мог ведь не понимать, что это для него огромное облегчение, что все становится ему самому яснее, когда он читает свою работу в переписанном чистеньком виде, с полями для новых изменений.

— Ему, верно, переписывали секретари, а кто будет переписывать мои шедевры? — смеясь, сказал Алексей Алексеевич.

— Научишься, это очень просто.

— Во всяком случае, сердечно тебя благодарю за подарок.

Действительно, он легко научился писать и теперь думал, что надо было обзавестись машинкой еще в Париже или в Вене: тогда можно было бы при составлении секретных бумаг обходиться без посольских переписчиц. Теперь он попробовал было писать на «Гаммонде» письма к жене: писал ей каждый день, а раза два в неделю вкладывал страницу и для Ласточкиных. Однако от Нины тотчас пришел протест: она желала, чтобы он по-прежнему писал ей пером. Зато все другое Алексей Алексеевич писал на машинке с копией; было приятно через несколько месяцев перечитывать свои письма, особенно когда они касались политических дел.

Неожиданно пишущая машинка дала ему мысль: составить новую записку для министерства иностранных дел. В

местечке переписчиков не было, во всяком случае не было вполне надежных. Записку, написанную пером, министру было бы не очень легко прочесть. Тонышев написал страниц двадцать об одном происходившем в Лондоне совещании, где между других дел обсуждалась будущая участь славянских народов Австро-Венгрии. Газеты сообщили об этом совещании кратко, докладов в министерство и его инструкций послам Алексей Алексеевич не видел, кое-что знал из писем сослуживцев. Но состав участников был ему известен, и он приблизительно догадывался, что могли думать Грей, Никольсон, Делькассе и пока еще бессильные, но много обещавшие эмигранты, как Масарик, Бенеш и другие.

Он сделал оговорку, касавшуюся своей недостаточной осведомленности. Несмотря на свою любовь к Вене и уважение к Францу-Иосифу, Алексей Алексеевич в записке высказывался за расчленение «Лоскутной империи». На Западе этот взгляд особенно горячо защищали Масарик и Бенеш. Некоторые другие склонялись к тому, что сохранение Габсбургской империи желательно, так как иначе ее немецкие земли рано или поздно воссоединятся с Германией. Бенеш в разговорах высмеивал это мнение и объяснял его полным невежеством иностранцев. Тонышев был близок к этому взгляду, но вносил некоторое компромиссное предложение: из этих немецких земель должно быть образовано австрийское королевство во главе с наследником, эрцгерцогом Карлом. Кончины Франца-Иосифа давно ждали со дня на день, а молодой эрцгерцог, наверное, удовлетворился бы сравнительно небольшим королевством. Можно было бы даже оставить ему и Венгрию. Эти католические страны с католическим королем составили бы оплот против Берлина. Все славянские земли, разумеется, должны были отделиться. Австрийская Польша, как и германская и русская, должны войти в единое королевство под скипетром Романовых, хорватские земли отойдут к Сербии, а Чехия станет самостоятельной республикой.

Алексей Алексеевич сочувствовал славянам, но к республикам у него не лежала душа, и ему не хотелось, чтобы совершенно сошла со сцены тысячелетняя габсбургская династия. Кроме того, ему действовал на нервы Бенеш, которого он в свое время встречал. Этот бывший школьный учитель, невзрачный, плохо говоривший по-французски человек, раздражал его своей необычайной самоуверенностью, честолюбием, ясно чувствующимся в нем желанием стать президентом Чешской республики, ли-

бо первым (старик Масарик мог ведь и умереть), либо, в крайнем случае, вторым.

Константинополь с проливами, по записке Тонышева, отходил к России. Об этом у него в Москве выходили часто споры с Ласточкиным, который с раздражением доказывал, что турецкие земли, где никаких русских нет, России совершенно не нужны, что из-за Айи-Софии турки все лягут костями, как русские люди сражались бы до последней капли крови за Кремль, и что вообще не нужны никакие аннексии, — достаточно глупо было и завоевывать в восемнадцатом веке Польшу.

В заключение записки Алексей Алексеевич доказывал, что изложенный им план найдет поддержку во Франции: там тоже очень боятся возможного в будущем присоединения Австрии к Германии. В Англии будет и оппозиция, но часть министров на план согласится, как и «Таймс» с могущественными лордом Нортклиффом и Уикхэмом Стидом; и между тем поддержка «Таймс» имеет больше значения, чем мнение нескольких министров.

На «Певческом мосту» существовали разные направления. Преобладало теперь то, которому идеи Тонышева, особенно Австрийское королевство и ограничение числа республик, были приятны. Записка Алексея Алексеевича показалась чрезвычайно интересной самому министру. Она имела неожиданное последствие. Министерство «вытребовало» Тонышева, и он был назначен посланником в одну из небольших нейтральных стран. Это государство само по себе не имело значения и даже не стремилось к этому, считаясь со старым положением: «счастливые народы не имеют истории». Но оно признавалось очень важным наблюдательным пунктом и к тому же (или именно поэтому), как и еще две-три страны в Европе, кишело секретными агентами воюющих держав.

Алексей Алексеевич обрадовался чрезвычайно. Помимо того что ему надоела жизнь и служба на этапном пункте, ему предложили первый в его жизни пост посланника, редко выпадавший дипломатам его возраста. И, главное, он знал, что будет на этом посту очень полезен России. Правда, новый отъезд за границу должен был огорчить его жену. «Зато теперь опять будем вместе», — написал он ей.

От Нины Анатольевны пришли сначала телеграмма, затем письмо: она горячо его поздравляла, — угадывала его настроение. Сердечно поздравляли и Ласточкины. Татьяна Михайловна только высказывала опасение: опять этот переезд морем, подводных лодок у немцев все больше.

Перед отъездом встал практический вопрос. Рубль понемногу падал, предусмотрительные люди уже платили, вместо десяти, пятнадцать рублей и больше за фунт стерлингов. Дипломатам, уезжающим за границу, предоставлялись некоторые привилегии по вывозу денег или, во всяком случае, делались поблажки. Тонышеву было неловко ими пользоваться. Ни о какой революции в России он и не думал, хотя его сослуживцы уже почти открыто ругали императрицу. Но жалование дипломатам вообще полагалось не очень большое; обычно они имели собственные средства. А теперь, при росте цен во всех воюющих странах, на одно жалование жить было бы совсем трудно.

Он посоветовался с Ласточкиным. Дмитрий Анатольевич говорил неуверенно. Сам он фунтов не покупал и не верил, что они могут еще подняться в цене. Все же склонялся к тому, что не мешает Тонышеву при этом случае легально перевести часть состояния за границу, и лучше всего в Англию: уж фунты-то никак понизиться в цене не могут! Алексей Алексеевич откровенно поговорил в министерстве и перевел — во франки, а не в фунты — довольно значительную часть своего состояния.

VI

Ленин, действительно, был арестован австрийскими властями тотчас после объявления войны. Но за него хлопотали влиятельные социалисты, которых он прежде ругал крепкими словами. Вдобавок власти, услышав об его взглядах, естественно, признали, что такого человека совершенно не нужно держать в тюрьме во время войны с Россией. Он был недели через две освобожден, и ему с готовностью предоставили возможность переехать в Швейцарию.

Близкий к нему человек говорил, что он был в те дни «настоящим тигром». Разумеется, его ярость была, главным образом, направлена против социалистов всех стран. Он называл громадное большинство из них подлецами, лицемерами, лакеями, мерзавцами, архипошляками, изменниками, полуидиотами, сволочью. Свою программу выработал в первые же дни. «Неверен лозунг «мира», — лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую;... *Наименьшим* злом было бы теперь и тотчас *поражение* царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма», — писал он. Проклиная Второй Интернационал, призывал к созданию Третьего. Требовал отказа

от самого слова «социал-демократия». Надеялся, что солдаты повернут штыки против офицеров. В Швейцарии выступал на эмигрантских собраниях и всходил на эстраду «бледный как смерть».

Тем не менее он (как, по другим, хотя и сходным, причинам, Муссолини в Италии) был в восторге оттого, что началась европейская война: наконец-то монархи и их министры «доставили нам сие удовольствие». Никогда еще надежда на социальную революцию не была такой *настоящей*, как теперь. Революция стала даже *почти* неизбежной, а она делала *почти* неизбежным его приход к власти. Правда, было это вечное, несчастное «почти» исторических процессов. Но социологические законы Карла Маркса, при том именно в его толковании, были, разумеется, верными без «почти». Если он в них когда-либо хоть немного усомнился, то разве лишь в самом конце своей жизни. До того они были совершенно незыблемой, вечной истиной; иначе и жить ему не стоило бы.

Однако он лишь очень немного мог сделать для приближения революции. Европейская война внесла в жизнь такую *необычайность*, какой в истории никогда до того не было. Этой ее особенности — просто по исторической симметрии, — должна была бы соответствовать и необычайность революционного действия. Но ее взять было неоткуда. Он мог делать теперь в Берне, в Лозанне, в Цюрихе (все переезжал) лишь то, что делал прежде в Мюнхене, в Лондоне, в Женеве, в Париже, в Кракове. Что-то писал, что-то печатал, где-то выступал перед аудиториями в несколько десятков человек. Теперь и это было труднее, чем прежде: полицейская слежка везде была сильнее, письма вскрывались, писать в Россию надо было гораздо осторожнее. И, главное, все то же: не было денег. То есть, как прежде, и не было их, и они были.

Он сухо («многоуважаемый») написал Максиму Горькому: предложил ему для легального издания какую-то брошюру: «В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке и потому просил бы, если это возможно и не затруднит Вас чересчур, ускорить издание брошюры». Вскоре затем известил Инессу Арманд: «Рукопись моя об империализме дошла до Питера, и вот пишут сегодня, что издатель (и это Горький! о, теленок!) недоволен резкостью против... кого бы Вы думали?... Каутского! Хочет списаться со мной!!! И смешно, и обидно. Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и т. д. Это с 1893

года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками».

О своем безденежье писал людям, которых тогда «любил» и от которых никаких денег ждать не мог: «О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем». Вероятно, говорил правду. Но вместе с тем он и теперь что-то печатал, что-то пересылал, что-то брал из партийной кассы для себя и окольных на жизнь: рублей по 30 или 50 в месяц.

Еще в ту пору, когда он находился в Кракове под арестом, лорд Китченер сделал свое нашумевшее предсказание: война продлится три года. В Швейцарии оно, разумеется, стало Ленину известным и произвело на него впечатление. Он ненавидел генералов почти так же, как ненавидел членов Второго Интернационала, но хороших специалистов ценил и к их мнениям прислушивался. Чувства у него были двойственные. Чем дольше продлится война, тем больше шансы революции. Но неужто три года ждать? Он мог умереть до этого, так революции и не дождавшись!

Ненависть, всегда занимавшая огромное место в его жизни, теперь просто переполняла его душу. Люди, даже самые преданные сторонники, становились ему все противнее, — почти все, кроме Инессы и жены. Этот резервуар ненависти он целиком перевез в Россию в 1917 году.

Нередко говорили и писали о нем позднее, будто он «в душе» был добр, будто хотел ограничить террор и прикрикивал на людей, злоупотреблявших казнями. То же самое когда-то говорили, и продолжают писать по сей день, о Робеспьере. В обоих случаях это было неверно. Оба они, в отличие от Сталина или Гитлера, иногда проявляли что-то отдаленно похожее на «гуманизм», на котором в молодости «воспитались» (то есть часто о нем читали и болтали). Но это были исключительные случаи (не более частые, чем такие же, например, у Стеньки Разина). Чаше они прикрикивали на сподручных за «снисходительность». Так, в июне 1918 года Ленин продиктовал следующее письмо Зиновьеву («Также Лашевичу и другим членам ЦК»):

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а ког-

да до дела, *тормозим* революционную инициативу масс, *вполне* правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего *решает*.

Привет! *Ленин*».

Вероятно, испугался и за себя (хотя вообще не был боязлив). Разумеется, было бы не-воз-мож-но, чтобы кто-либо совершил покушение на его жизнь!

Окольничьи с полной готовностью исполнили его приказ о «массовидной» кровавой расправе. Редактор собрания его сочинений, в примечании к этому его письму, кратко и деловито добавляет: «За белый террор против большевиков по инициативе рабочих масс эсеры были подвергнуты красному террору и разгромлены во всех сколько-нибудь значительных пунктах Центральной России».

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Февральскую революцию почти вся московская интеллигенция приняла с восторгом: отцы и деды мечтали, наконец сбылось! Простой же народ обрадовался гораздо искреннее, чем за три года до того войне.

В первое время в кругу Ласточкиных говорили, что и война теперь пойдет совершенно иначе: «Вложимся всем народом, доведем до победного конца, пришел конец немецким влияниям и придворным интригам! Скоро, однако, о войне вообще стали говорить меньше и начинали чтение газет не с сообщений Ставки, а с петербургских новостей. А еще немного позднее уже говорили: «Хоть бы поскорее кончилась эта проклятая, никому не нужная война!» Временным правительством в первые дни все очень восхищались. И только профессор Травников благодушно рассказывал анекдоты о новых министрах, как прежде рассказывал о царских.

— Конечно, все они замечательны, благородны, гениальны! — весело говорил он. — Даже читать приятно, хотя и скучновато. Ни одного «небезызвестного»! Прежде, если в газетах кого-нибудь называли «небезызвестным», то все понимали: значит, прохвост.

— Стыдно шутить, Никита Федорович. Они все действительно честнейшие люди и работают двадцать часов в сутки!

— Ох, столько не работают. Да и лучше работали бы поменьше, надо человеку и поспать, и пообедать, даже если он герой и гений. Кстати, по поводу обедов: вчера в «Праге» подали такую еду, что я ушел голодный. А ведь еще недавно «море ядения и озеро питья разливавшееся».

— Ничего, едва ли ушли голодным. А если и ушли, то Временное правительство в этом не виновато.

— Да вы не гневайтесь, Дмитрий Анатольевич. Но все-таки ведь я тоже не виноват. И еще кстати: позавчера у нас дворник потребовал расчета. Говорит: теперь свобода.

— Вы в душе крепостник, Никита Федорович, и у вас, верно, платили ему рублей восемь в месяц, — пошутила Татьяна Михайловна. — У нас никто расчета не потребовал. А если потребует, то опять-таки князь Львов в этом виновинен.

— Да я ничего не говорю. Конечно, они хорошие люди. Только уж очень все полевели. С радостью узнал, Дмитрий Анатольевич, что вам предлагают кандидатуру в Учредительное собрание.

Это было отчасти верно. Ласточкину говорили, что он пройдет в Учредительное собрание без затруднений, если примкнет к партии социалистов-революционеров. К ней тотчас примкнуло множество его друзей и знакомых. Но именно поэтому он записываться в партию не хотел; подумал, что сказали бы в «Русских ведомостях», и остался «левее кадет». Зато совершенно искренне принял формулу «без аннексий и контрибуций».

Жизнь стала труднее. От поездок за границу Ласточкины за три года отвыкли. Теперь трудно было уехать и в Крым или на Кавказ, да и не очень хотелось. В начале лета они отправились, без особенных дел, в Петербург (который никогда не называли Петроградом; очень не одобряли эту перемену). Туда ездили все их друзья, и тоже без особенных дел. Надо было «потолковать с Временным правительством». Друзья говорили, что Дмитрий Анатольевич мог бы стать товарищем министра; для участия в правительстве позиция «левее кадет» была тогда еще очень удобна. Татьяна Михайловна была решительно против этого: здоровье мужа не позволяло ему наваливать на себя правительственную деятельность. «Пусть они работают двадцать часов в сутки, и, конечно, спасибо им, но ты, Митя, не можешь. Помни, что сказал Плетнев».

«Потолковав», Дмитрий Анатольевич увидел, что больше ему делать в Петербурге нечего. Ему действительно предложили немалую должность. Он ответил, что не чувствует призвания к государственной работе. Это всех удивило: по-видимому, другие чувствовали. Ласточкин ответил искренно, но руководился преимущественно тем, что государственная работа, по его наблюдениям, велась плохо. «Что же они могут сделать в этом хаосе, даже если б они были гениями? А я во всяком случае не гений. И лебезить перед Советом я не мог бы. Не мог бы и сидеть между двух стульев», — думал он. Без восторга согласился баллотироваться в Учредительное собрание, если его включают в список как беспартийного левого.

Рейхель, которого они по телефону известили о своем приезде, радостно пригласил их пообедать, еще радостнее предупредив, что обед будет отвратительный.

— ...Это ничего. Ведь Россия, слава Богу, освободилась от невыносимого царского гнета и благоденствует благодаря дорогим нам всем князю Львову, Керенскому, Нахамкесу и совету рабочих и собачьих депутатов! — кричал он в аппарат. «Видно, стал уже совсем реакционером, если не черно-сотенцем!» — с досадой подумал Ласточкин.

Аркадий Васильевич жил на Васильевском острове, на одной из самых некрасивых улиц, в одном из самых безобразных домов. Его небольшая гостиная напоминала приемную зубного врача. Посредине на тощем коврике с цветочками, под огромной медной люстрой, стоял шатающийся столик, на нем были старые номера «Нивы» и две пепельницы: фаянсовые ослы с отверстиями в спине. Вокруг столика стояли неудобные стулья и кресло, обитые грязно-серым репсом; на одной стене висел непостижимо безобразный «гобелен» с нимфой, на другой, симметрично против нимфы, в золоченой раме плохая копия «Урока анатомии» Рембрандта. Были еще стенные часы с циферблатом в цветочках, тоже непостижимо безобразные.

Рейхель стал еще самоувереннее и еще гораздо озлобленнее, чем был. Татьяна Михайловна обратила внимание на то, что он внешне опустился. «Почти все люди с годами становятся небрежные в туалете. Только Митя и Алеша так же элегантны, как были. Но Аркадий совсем перестал собой заниматься». В самом деле, воротник у Рейхеля был теперь грязен, вместо двух пуговиц на жилете торчали ниточки, одна пуговица на брюках была не застегнута, — он заметил это не сразу, незаметно застегнул и покраснел.

— Вы оба, конечно, в восторге от положения! — сказал он им с первых же слов за обедом. — Вы ведь годами в Москве на всех банкетах говорили: «На святой Руси петухи поют, будет скоро день на святой Руси». Вот и настал день, предвещенный всеми петухами, будь они трижды прокляты. Дожили до счастливого социалистического строя, а? Ведь ты, Митя, ждал всего самого лучшего от войны, правда? Теперь ты, наверное, ждешь всего самого лучшего от революции.

— Это неверно, — сказал Ласточкин, стараясь не раздражаться. — И давно известно: «Was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe die der Mensch, der Vergängliche, baut?»¹

¹ «Что замыслы, надежды, коль человек не вечен?» (нем.)

Кроме того, социалистического строя пока нет. И я далеко не в восторге от всего, что происходит.

— Неужели ты не в восторге? Быть не может! Но ведь вы хотели революции? Разве она не оправдала надежд лучшей части человечества?

— Иронизировать очень легко. А какая твоя положительная позиция?

— Моя положительная позиция: всех перевешать.

— Вот как? Это, конечно, программа. Кстати и не совсем осуществимая: где вы, почтенные господа контрреволюционеры, найдете для вашей программы силы?

— Это очень просто: надо открыть фронт. Пусть немцы наведут у нас порядок. Я давно вам говорил, что они непобедимы.

— Ты говорил, но твое предсказание, слава Богу, не осуществилось и не осуществится... Так ты вдобавок стал пораженцем? Как Ленин? — спросил Ласточкин уже не шутливо, а очень холодно.

— Ленин с его Нахамкесами умные люди. И что в том, что они пораженцы? Разве ты, Митя, не был пораженцем в пору войны с Японией?

— Не был.

— Будто? Я не знал. Значит, ты был исключением. Девяносто девять процентов нашей интеллигенции состояло из пораженцев. Да что война с Японией? Всегда так у нас было. Я теперь в лаборатории работаю очень мало: благодаря светлым умам товарищей, у нас больше ничего нет, простого эфира нет или не могу достать, потому что орудуют и спекулянты. Так вот я от безделья стал читать разные исторические книги. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, была, оказывается, настоящей пораженкой в царствование Анны Иоанновны. А Смутное время! Вы читали, Таня, «Юрия Милославского»? Вы ведь все такое читаете.

— Читала. Милый, но смешной роман. Подумать только, что это было написано одновременно с «Капитанской дочкой»! А еще говорят, будто время создает что-то общее между писателями.

— Меня очень позабавило, что там люди семнадцатого века тоже называют друг друга «товарищами» и «гражданами». Но я говорю не об этом. Помните, сколько там, да и у всех наших школьных Иловайских, написано о священном патриотическом восторге в армии князя Пожарского. А вот, по словам настоящего, знаменитого историка, келарь Авраам Палицын, когда приехал к князю, нашел у него

«мятежников, ласкателей и трапезолюбцев». Да, да, славны бубны за горами! — говорил Рейхель.

Его радостное настроение все увеличивалось в последнее время оттого, что дела шли плохо: «Все вышло именно так, как я предсказывал!» Собственно, он не предсказывал ничего, но был уверен, что все заранее предвидел. Опасаясь, что дело идет к ссоре, Татьяна Михайловна перевела разговор. Сказала, что вино, кажется, очень хорошее.

— Да, оно из царских погребов, взгляните на этикетку, — радостно ответил Аркадий Васильевич. — Как вы помните, наш народ-богоносец в дни великой бескровной разграбил Зимний дворец. Ваши друзья, разумеется, уверяли, будто он только уничтожал эмблемы ненавистного самодержавия. Я ни минуты и не сомневался, что они будут врать именно так. На самом деле богоносец просто разворовал все, что только мог. И вот три доблестных солдатака напились как свиньи, принесли и в наш дом бутылки из царского погреба и дешево продавали, всего по пять рублей штука.

— Они продавали краденое, а ты купил, — сказал, не сдержавшись, Ласточкин.

Рейхель сделал вид, будто не расслышал.

— Надо было видеть морды этих солдатиков! — говорил он. — Ах, как я ненавижу народ! Теперь что? Пока только цветочки, а ягодки впереди. Сейчас еще, как видите, едим котлеты, и вино есть, а скоро будет голод, как в Смутное время в Кремле у поляков: там родственники убитых воинов вели между собой процессы: кто по степени родства имеет право съесть тело? Мы и до этого доживем. Буду с вами судиться, Таня, кому съесть Митю.

— Типун вам на язык, Аркадий! Гадко слышать все, что вы говорите! — сказала Татьяна Михайловна, очень рассердившись. Ей захотелось поскорее уйти от этого злобного человека, ставшего и вызывающе самодовольным. Такое же чувство испытывал и Дмитрий Анатольевич. Обед, действительно очень скудный, уже кончался. Рейхель объявил, что больше ничего нет.

— Кофе есть. Будем пить там, — сказал он, очень довольный раздражением своих гостей. В кабинете на письменном столе лежали книги. Не зная, о чем говорить, Ласточкин перелистал одну из них, номер русского ученого журнала. На полях были заметки, сделанные рукой Рейхеля: «Бездарная дубина!», «Совершенный вздор!...»

— У тебя теперь много книг, — сказал Дмитрий Анатольевич.

— Купил гуртом за бесценок библиотеку одного прогoreвшего либералишки, но оказалась в ней больше ерунда. Вот, видишь, читаю Толстого, — ответил Аркадий Васильевич, показывая на книгу в роскошном переплете. — Всегда я терпеть не мог этого старичка! Не от Маркса, а от него пошло у нас все, что теперь творится. Маркс это хоть понятнее, он был еврей. («Еще хорошо, что не сказал «жид», — подумала Татьяна Михайловна.) А ваш Лев Николаевич называл себя христианином! В душе он был меньше христианин, чем я с Митей, меньше даже, чем вы, Таня, хотя вы еврейка по рождению. Он был в душе тот же Нахамкес. Впрочем, и весь наш народ не христианский, а языческий...

— Русский народ не христианский!

— Так точно, Митя. Да ваш Лев Николаевич сам это сказал. Вы не верите? — спросил Рейхель и, взяв книгу, открыл на заложенной странице. Там на полях тоже было отчеркнуто несколько строк: «Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он, по обычаю, и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон», — прочел Рейхель с торжествующим видом, подняв указательный палец. — Разумеется, на этот раз яснополянский Нахамкес был прав. Умный был человек, это надо признать. Я теперь у него такие находки сделал! Вы читали его «Федора Кузьмича»? У него там император Александр испытывает половую похоть, читая письмо Аракчеева о том, как крепостные убили красавицу Настасью Минкину! Хорошо, а? Правда, у просветленного автора об этом добавлено: «Странно сказать» и пояснено, что Настасья была «удивительно чувственно красива». Хорошо? Вы опять не верите? Хотите, я разыщу? И заметьте, ничего такого об Александре наверное никто из историков и мемуаристов не говорил, даже враги не говорили, и никаким садистом он никогда не был, все, значит, от себя выдумал просветленный старичок... Да что вы оба сердитесь? Хорошо, поговорим о другом.

— Поговорим о другом в другой раз, — сказал Ласточкин. — Пожалуйста, извини нас, нам пора.

— Постой, постой, посидите еще... Ты, может быть, не хочешь говорить со мной о Толстом?

— Действительно, не хочу.

— Ты всегда ему верил и веришь, а вот он тебе не поверил бы и вообще никому и ничему не верил. Я теперь все его шедевры прочитал. В «Войне и мире» секут солдата, и тот кричит «отчаянным, но *притворным* криком». Казалось бы, отчего человеку кричать притворным криком, если его секут? Правда, это был плохой солдат, вор. Оказывается, наши чудо-богатыри иногда и воровали, а? А вот в «Севастопольских рассказах» показан уже очень хороший солдат. Ему неприятельская бомба вырвала часть груди. Казалось бы, герой, смертельно ранен, у него, видишь ли, на лице «какое-то притворное страдание»! Хорошо, а? Никому боголюбивый старец не верил. Может быть, даже твоим князю Львову с Керенским не поверил бы, а? Воображаю, как он их возненавидел бы, если б дожил... Постойте, а Гоголь? Тоже хорош был лицемер! «Соотечественники! Я вас любил...» Никаких соотечественников он отроду не любил, все вранье!

— Я могла бы вас понять, Аркадий, если б вы ненавидели только революцию, вы всегда были человеком правых взглядов. Но теперь вы, оказывается, ненавидите в России все и всех!

— Вы, Таня, тут, быть может, не судья: вы все-таки не совсем русская, но...

— Фамилия «Рейхель» тоже не очень русская! — сказала Татьяна Михайловна. Лицо у нее покрылось пятнами. *Так* они до сих пор никогда не разговаривали. Аркадий Васильевич сам это почувствовал и положил холодную ладонь ей на руку.

— Не сердитесь, милая, вы знаете, что я вас всегда любил и люблю, — довольно искренно сказал он. — Но почему вообще надо непременно любить соотечественников? Мне какой-нибудь Роберт Кох в сто раз дороже не только Ленина и князя Львова, но и любого дивного русского мужичка, будь он там хоть расплатонкаратаев!.. А вот одна мысль у Гоголя очень правильна, я выписал, — он взял из ящика тетрадку и прочел: — «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них поднимутся...» И тут не мог не соврать: вовсе он тогда не умирал, еще долго, слава Богу, прожил, и не стонал никак его состав, а сказал он верно: именно мы — или, вернее, вы — сеяли семена страшилищ. Вот и радуйтесь!

— Я не радуюсь, — ответил Ласточкин. — И я готов признать нашу вину, но вина была не только наша. Другая

сторона была виновата больше нас. Уж, пожалуйста, ты не уподобляйся майору Ковалеву того же Гоголя. Как ты помнишь, этот майор признавал, что в литературе можно ругать и поносить только обер-офицеров, а штаб-офицеров никак нельзя. Не забывай и штаб-офицеров, и не все было так прекрасно в прошлом, — сказал он, вставая: хотел закончить шутливо тягостный разговор. — Ну, прощай, Аркаша.

— Да куда вы спешите? Я так рад поболтать с вами.

Больше они Рейхеля не видели.

— Надо признать факт: он нам чужой человек! Все, что он говорил, отвратительная передержка! — сказал в сердцах Ласточкин на пути в гостиницу.

— Да, к сожалению, ты прав. И все его озлобленье произошло от того, что его тогда не сделали директором института!

Как тут же было решено, часа за два до отъезда на вокзал, Дмитрий Анатольевич позвонил по телефону двоюродному брату. С облегчением узнал от горничной, что его нет дома. Ласточкин сказал, что они по дороге на вокзал собирались заехать, очень жалеют и просят извинить.

В последние дни перед отъездом они из любопытства побывали на митингах. В цирке «Модерн» глава либеральной партии спокойно и деловито, не повышая голоса, доказывал необходимость присоединения к России проливов. Многотысячная толпа солдат возмущенно орала и легко могла его поднять за это на штыки. Дмитрий Анатольевич сокрушенно пожимал плечами. Татьяна Михайловна восхищалась мужеством оратора.

— Это верно, он совершенно бесстрашный человек, — ответил ей муж. — Но Дарданеллы всегда нам были совершенно не нужны, а теперь говорить о них — это чистое безумие!

На другом митинге они видели и слышали Ленина. Он тоже их поразил.

— Просто какой-то снаряд бешенства и энергии! — сказала Татьяна Михайловна.

— Именно. Я такого никогда в жизни не видел! Это большая сила... И как это его никто не убивает! — неожиданно добавил Ласточкин.

Жена взглянула на него с недоумением.

II

Люда не принимала никакого участия в революции 1917 года. Не могло быть и речи об ее возвращении в большевистскую партию: как почти вся русская интеллигенция, она крайне отрицательно относилась к делам Ленина. Еще три года тому назад узнала, что он хочет поражения России. Это вызвало у нее крайнее возмущение. Теперь он вернулся в Россию через Германию, впломбированном вагоне. Говорили, что большевистская партия получает деньги от немцев на дезорганизацию русской армии. Ей было стыдно, что она когда-то примыкала к большевикам.

Зачислиться в другую партию ей было неловко — по тем же приблизительно причинам, что и Ласточкину. К тому же, в отличие от него, ей никто ничего не предлагал. Она решила, что будет гораздо полезнее оставаться в кооперативном движении. Все же с некоторой завистью следила по газетам за шедшей в Петербурге политической работой. Некоторых ее участников она знала лично, они были лишь немного старше и, по ее мнению, не образованнее и не даровитее, чем она. Между тем теперь они занимали разные видные посты; были известны всей России, — особенно если примыкали к социалистам-революционерам. Имели большие шансы стать членами Учредительного собрания, в которое стремились решительно все.

Несмотря на дороговизну жизни, Люда из своего жалованья откладывала и скопила немало денег. Отдавала свои сбережения Дмитрию Анатольевичу — больше потому, что ей было лень устроить себе счет в банке. Ласточкин покупал для нее какие-то бумаги и часто говорил ей, что они очень поднимаются в цене. Люда узнавала об этом изумленно: «Вот тебе раз! Становлюсь капиталисткой!» Все же было приятно, что она теперь стала независимой, может и без всякой работы безбедно прожить года два, может после окончания войны поехать путешествовать за границу, пожить в Италии, в Испании.

Впрочем, она в мыслях не имела бросать службу и со временем. Отпуска по ней четвертый год не брала, и складывались отпускные недели, на которые она имела право. Ласточкины и год, и два тому назад убеждали ее съездить куда-либо отдохнуть, но она перед войной прожила недели две в Крыму и там, без знакомых, скучала. Когда в Москве становилось уж очень жарко, отправлялась ненадолго на дачу в Новое Кунцево и оттуда каждый день приезжала на службу: это отпуском не было.

Однако к лету 1917 года Люда почувствовала настоящую усталость и решила на месяц или даже, если понравится, на шесть недель съездить в Кисловодск: на Кавказе никогда не была.

Ласточкины в это лето не уезжали из-за общественных дел Дмитрия Анатольевича, но зимой до революции отдыхали в Ялте и собирались опять туда на Рождество.

— Надеюсь, у тебя, Людочка, найдутся в Кисловодске знакомые, — сказала Татьяна Михайловна. Люда, со смешанными чувствами, подумала о Джембале. Она с ним не переписывалась, вспоминала о нем мало и странно: вспоминала о каком-то *общем*, собирательном, очень похожем на него человеке (живой Джембал уж очень менялся за три-четыре года их знакомства, встреч, связи). Так, Сезанн писал свои «натюр-морты» с *искусственных* цветов: живые слишком быстро, с каждым мигом, увядают. Люда и не знала, где теперь находится Джембал: «Верно, в Тифлисе или у своих родичей, где это? — подумала она: не помнила точно, как называется его земля. — Все равно из Кисловодска проеду по их знаменитой Военно-Грузинской дороге, а оттуда рукой подать до Тифлиса, там, помнится, где-то и осетины, и ингуши, и другие кавказские мусульмане... Но и незачем мне с ним встречаться, ничего вообще больше в жизни не будет». Люда вздохнула. «А когда-то я думала, что главный интерес моей жизни в мужчинах. И слишком много о себе всю жизнь говорила... Теперь исправляюсь, да мало радости в этих исправленьях! Просто старею». Как у большинства людей, это было чуть не главным горем ее жизни.

Те деньги, которые она не отдавала Ласточкину, Люда хранила у себя в предпоследнем томе «Большой Энциклопедии» издательства «Просвещение», которую ей ко дню рождения подарили Ласточкины. Это было надежнее, чем ящик письменного стола. Ее библиотека уже состояла из трехсот томов; теперь она не только покупала, но и читала книги, имела полные собрания сочинений главных русских классиков. Выбрала именно предпоследний том словаря: «Пусть вор все перебирает и вытряхивает!» Она никогда не знала, сколько именно денег у нее там находится. За два дня до отъезда достала вечером толстую книгу и сосчитала: было всего сто восемьдесят рублей ассигнациями; золото давным давно исчезло, чем Люда была скорее довольна: бумажки гораздо удобнее. «На сто восемьдесят далеко не уедешь. Надо взять у Мити не меньше тысячи».

Как раз в этот вечер ей позвонил по телефону (она давно имела телефон в своей маленькой квартире) дон Педро, теперь уже очень известный петербургский журналист. Он опять находился проездом в Москве.

— Еду отдохнуть на Кавказ. Просто замучен работой! Вы не можете себе представить, что такое моя работа в это проклятое революционное время! — сообщил Альфред Исаевич, впрочем, очень веселым голосом.

— На Кавказ! Наверное, в Кисловодск? Как я рада! — сказала Люда искренно. Она любила Альфреда Исаевича, с ним было весело, он знал всех, мог ее познакомить с кем угодно.

— Нет, не в Кисловодск, а скорее в Ессентуки или в Пятигорск, еще не решил.

— Зачем в Пятигорск? Разве у вас нехорошая болезнь, Альфред Исаевич? — пошутила Люда.

— В Пятигорск ездят, могу вас уверить, отнюдь не только больные нехорошей болезнью, — сказал дон Педро недовольным тоном: он не любил скабрезных шуток, особенно со стороны дам.

— Едем лучше со мной в Кисловодск. А вы когда едете?.. Вы с женой?

— Нет, я один. Жена теперь отдыхает у родителей, в западном крае. Ей лечиться, слава Богу, не надо. Я, впрочем, тоже совершенно здоров. Сиротинин сказал, что сердце у меня, как у юноши, но все-таки надо пополоскать желудок водицей... Так вы едете в Кисловодск, это очень приятно. Когда же? Вы хотите лечиться?

— Нет, не лечиться, нема дурных. Еду послезавтра. Поедем вместе?

— Вас, Людмила Ивановна, я готов был бы ждать сколько угодно, но у меня уже на завтра место в спальном вагоне.

— Жаль. Я еду не в спальном вагоне. Дадут ли только завтра плацкарту.

— Я вам могу достать в два счета, — сказал Альфред Исаевич. Это было новое выражение или старое, забытое и вновь возродившееся, как выражения «пара слов» или «извиняюсь», которые не очень сведущие люди считали «одесскими». — Но заказана ли у вас комната в Кисловодске? Нет?.. Тогда вы ничего не достанете. Там все битком набито! Я телеграфировал Ганешину, и ни одной комнатки не нашлось даже для меня, хотя хозяин хорошо меня знает.

— В Кисловодске нет комнат? Это для меня неприятный сюрприз!

— Поедем лучше в Ессентуки? Пошлите мне туда телеграмму, я вам приготовлю комнату. Как жаль, что я не могу вас подождать, — галантно добавил дон Педро.

«В самом деле, отчего бы не поехать туда?» — подумала Люда, отойдя от аппарата, и взглянула на великолепные настенные часы — подарок Ласточкиных на новоселье. Она тоже делала им подарки, хотя не столь дорогие. «Еще, пожалуй, не поздно. Зайду к ним, вот и деньги возьму. Не стоит и звонить».

Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна обрадовались тому, что у Люды будет на Кавказе знакомый, да еще солидный и теперь влиятельный человек. На ее вопрос, сколько же ей взять у него денег, Ласточкин, подумав, ответил:

— Знаете что, милая? Возьмите у меня все. Теперь ведь и застрять можно. А кроме того, я опасаюсь, что ценности начнут падать. Даже удивительно, что они еще не упали.

— А мои ценности можно быстро продать?

Дмитрий Анатольевич засмеялся.

— Я сейчас подсчитаю и дам вам чек.

— Чек? — спросила Люда. — Тогда надо будет мне пойти в банк и проделать там разные формальности?

— Необычайно сложные! Хорошо, я скажу в банке, чтобы артельщик доставил вам деньги на дом. Когда вы уезжаете.

— Послезавтра утром.

— Вот тебе раз! — сказала Татьяна Михайловна. — Значит, мы больше до твоего возвращения не увидимся? Мы ведь завтра утром с Митей уезжаем в «подмосковную» к Варваре Петровне и вернемся только в понедельник.

— Да, это досадно, — подтвердил Дмитрий Анатольевич. — Тогда ничего не поделаешь, берите чек. С чеком человеку получить деньги легко, а вот без чека труднее... Ох, дамы!.. Я сейчас же сосчитаю, — добавил он, вставая.

— Так вы до зимы никуда не уедете, Танечка? — спросила Люда. — А то поехали бы тоже на Кавказ? Отлично бы там пожили, а?

— Не может богдыхан. Его рвут на части, — грустно сказала Татьяна Михайловна. — Боюсь, как бы все-таки не убедили стать министром. Скажи ему на прощанье и свое мнение. Ты ведь не спешишь сегодня?

— Не спешу, но долгие проводы — лишние слезы. Подумаешь, екая беда стать министром! Ты шутишь.

— Не шучу... Ты, наверное, вернешься даже не через месяц, а раньше. Соскучишься по своей квартирке.

— Не по квартирке. Уж очень я вас обоих люблю! — вдруг сказала Люда, хотя терпеть не могла «излияний».

— И мы оба тебя тоже. Очень!.. Подумать только, что мы когда-то были в «холодно-корректных отношениях»!

— Это была не твоя, а моя вина.

— И не твоя. Просто люди добреют с годами.

Дмитрий Анатольевич вернулся из кабинета и удивленно взглянул на дам. «Кажется, расчувствовались? Что бы это?» Он теперь почти всегда поглядывал на жену с беспричинным беспокойством, особенно когда она подходила к нему и его целовала.

— Вот вам, Людочка, расчет, а вот и чек. Я вас не обсчитал, — натянуто-весело сказал он.

— Митя, вы, верно, от себя прибавили! Не может быть, чтобы у меня образовалось так много!

— Даю вам слово, что не прибавил ни гроша.

— А если я все это потеряю или у меня вытащат?

— Постарайтесь, чтобы не вытащили. В Англии существует страхование против краж. Хотите, я вас застрахую? Вместо платы привезите мне олений рог для вина: вдруг буду где-нибудь на банкете «тамадой», — «пей до дна!»... Ах, славное место Кисловодск. Помнишь, Таня, как мы там катались к замку Коварства и Любви?

— Помню, — сказала Татьяна Михайловна обиженно (точно она могла этого не помнить).

— А вас, Людочка, мы, значит, до сентября не увидим?

— Да, до сентября.

Они никак не могли думать, что видятся в последний раз в жизни.

III

Ленин, приехав после февральской революции из Швейцарии в Петербург, остановился с женой у своей сестры Анны Ильинишны в доме на Широкой улице. Сестра отвела ему комнату, в ней были две кровати, стол и платяной шкаф; по его просьбе, в шкафу были устроены полочки для книг. Больше ему ничего и не было нужно.

Возможно, что сестра была вначале рада гостю. Но речь, произнесенная им в вечер приезда, 4 апреля, потрясшая его ближайших товарищей по партии, наверное, перепугала и ее. В описании этой речи у случайного свидетеля

Суханова сказано: «Приветствия-доклады, наконец, кончились. И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, неведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, — носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников. Он потряс не только ораторским воздействием, но и неслыханным содержанием своей ответно-приветственной речи, — не только меня, но и всю собственную большевистскую аудиторию».

Если о немедленном устройстве второй, уже социалистической, революции не думали в апреле 1917-го светочи партии, то никак не могла думать и Анна Ильинишна. Хотя о преследованиях, несмотря на проезд через Германию, тогда еще и речи быть не могло, она, вероятно, предпочла бы, чтобы ее брат поселился в другом месте. Дом был большой, было множество соседей, могли произойти неприятности, так как газеты уже писали о Ленине, печатали его фотографии и называли его крепкими словами. Ни соседи, ни сама Анна Ильинишна никак не предполагали, что речь перейдет в мировую историю и что Широкая улица со временем будет называться Ленинской. Большевики приняли старый обычай — придавать не всегда продолжительное бессмертие людям, называя их именем улицы.

Он тотчас принялся за работу. Теперь она была по духу той же, но совершенно другой по форме напряженности. От прежнего образа жизни ничего не осталось.

Было никак не до прогулок, не до окрестностей, не до велосипеда, ни даже до сплетен. Главная его работа заключалась в том, чтобы заставить партию идти за собой.

Никто из его товарищей вначале не собирался «захватить власть вооруженной рукой». Если б это можно было сделать не «вооруженной рукой», многие, разумеется, не возражали бы и в первые дни. Люди в большинстве были смелые, но в том, почти всеобщем, благодушно-радостном настроении, которое господствовало в столице после февраля, все революционеры предпочитали пожить более спокойно, отдохнуть от конспирации, арестов, ссылок, вести мирную борьбу с капиталистическим строем. Сам Джугашвили-Коба, уже довольно давно называвшийся Сталиным, высказывался за соглашение с меньшевиками. Всеми было признано, что новая программа Ильича совершенно проти-

воречит марксизму. Отсталая в промышленном отношении страна никак не может вдруг стать социалистической. Революция может быть только буржуазной, а строй, как это ни неприятно, пока останется капиталистическим. Будет создано Учредительное собрание, и там, разумеется, большевики займут место на самом левом краю. Ленин же на партийных собраниях именно за такие мысли и такое настроение ругательно всех ругал. Ему возражали, — большинство мягко, почтительно, даже нежно. Про себя думали (иногда в смягченной форме и говорили), что Старик отстал за границей от русской жизни и ударился чуть ли не в анархизм, в бланкизм, в бакунизм, во «вспышкопускательство». Приводили цитаты из Маркса.

Он отвечал другими цитатами. Сам, как и прежде, по собственному его выражению, «советовался с Марксом», то есть его перечитывал. Неподходящих цитат старался не замечать, брал подходящие, — можно было найти любые. Маркс явно советовал устроить вооруженное восстание и вообще с ним во всем соглашался. Но и независимо от этого Ленин всем своим существом *чувствовал*, что другого такого случая не будет.

Он в самом деле отстал от русской жизни, да, собственно, никогда ее хорошо и не знал. Но одно ему было совершенно ясно: веками накопленный запас ненависти, злобы, жажды мщенья — огромная, страшная сила. Если развязать ее, эта сила унесет все. «Но можно ли будет на ней и строить?» — спрашивал он себя и отвечал, что там будет видно.

Через много лет Троцкий сравнил его с Наполеоном. Император писал своему начальнику генерального штаба: «Нет человека более робкого, чем я, когда я разрабатываю военный план: я в мыслях преувеличиваю все опасности, все возможные катастрофы. Но когда мое решение принято, все забывается». Едва ли сравнение было верно. Ленин допускал, что октябрьское восстание может провалиться и что тогда их всех перевешают. Но в своем «плане» он с этим не считался. План — то есть твердое решение устроить в России и в мире социальную революцию — был им принят в Швейцарии тотчас после того, как туда пришло сообщение о февральских событиях в Петербурге. А никакой сколько-нибудь серьезной «разработки» не было ни тогда, ни даже позднее. Да если б она была возможна и показала, что план неосуществим, Ленин, в отличие от Наполеона, все равно от него не отказался бы. Наполеон разрабатывал планы отдельных кампаний; без каждой из них можно бы-

ло бы и обойтись. Для Ленина же социальная революция была смыслом всей его жизни.

Правда, была еще *теория*. Именно в 1917 году он разработал или закончил свое странное, малопонятное, противоречивое учение о государстве. Он никогда не называл себя гением, говорил, что он только продолжатель дела Маркса. Но, вероятно, это свое учение считал гениальным продолжением. Оставил в 1917 году указание, что делать с рукописью в случае, если его убьют. Естественно, работу о том, удержат ли большевики государственную власть, в этом случае можно было бы и не перепечатывать.

Партийный бунт против него скоро начал стихать. Под его напором произошло невероятное: один за другим, хотя с сомненьями и колебаниями, на его сторону стали переходить главари партии. Вероятно, они сами этому удивлялись: не могли же в несколько дней или недель совершенно изменить весь свой привычный строй брошюрного мышления. В числе первых перешел к нему Сталин. Должно быть, очень жалел, что не сам он это придумал: разумеется, захват власти вооруженной рукой! Впрочем, понимал, что он все равно на роль главы правительства не вышел бы: ранг был не тот, его и знали еще очень мало.

Скоро захват власти стал задачей главных, за редкими исключениями, партийных вождей. Но эта напряженная, грубая борьба с ними, хотя и завершившаяся победой, постоянные выступления на многолюдных митингах, непривычный образ жизни издергали нервы Ленина. Он стал чувствовать себя плохо как раз к намеченному восстанию. Разыграл кровавое дело 4 июля новый большевик Троцкий — и разыграл плохо. Несмотря на слабость и неподготовленность Временного правительства восстание провалилось, — приходилось даже уверять, что его не было, что был разве лишь «смотр сил», что была правительственная провокация. Вожди повторяли это, хотя и знали, что лгут. В своей среде опять стали ругать Ильича; ох, опростоволосился Старик, пролетариат отшатнулся, теперь можно ждать всего, гидра реакции поднимет голову.

И действительно, все враждебные газеты, то есть почти вся печать России, осыпали Ленина бранью и насмешками, требовали его ареста и предания суду. Полудрузья или бывшие друзья почти открыто злорадствовали. Несколько потерялся и он сам. Собрался было «предстать перед судом», — мысль для него почти непостижимая. Но его легко отговорили: укокошат, расстреляют или разорвут на

улице! Особенно отговаривал Сталин: уж он-то нисколько не сомневался, что уокошат, — так, разумеется, поступил бы с врагами он сам, и без малейшего колебания. Правительство отдало приказ об аресте Ленина.

Он скрылся, сбрил усы, надел парик и темные очки; перешел на нелегальное положение — как в 1905 году. Несколько дней скрывался у рабочего Аллилуева, потом где-то еще, затем — тоже как двенадцать лет тому назад — уехал в Финляндию.

Но эта нервная депрессия была чуть ли не последней в его жизни. Она скоро прошла, и в дальнейшем его ловкость, проницательность и всего больше волевой поток были необычайны.

Меры предосторожности он теперь принимал с достаточным основанием. В Петербурге его легко могли бы убить или даже разорвать на части: так его в те дни ненавидела громадная часть населения. Присяжные, вероятно, оправдали бы убийцу. Могли и выдать его за деньги добрые люди, — он теперь еще меньше верил людям, чем когда-либо прежде.

Ленин писал, что большевики захватят и удержат государственную власть. Был убежден, что в случае начального успеха сторонники хлынут к нему толпами, тысячами, миллионами. Он как-то сказал, что презрение к людям плохое свойство для государственного человека. Но, верно, потому и сказал это, что думал прямо противоположное. В этом отношении он мало отличался от Муссолини, Гитлера, Троцкого и уступал лишь одному Сталину.

О начинавшем карьеру Робеспьере граф Мирабо с удивлением заметил: «Этот человек далеко пойдет: он действительно верит во все то, что говорит!» О Ленине трудно было бы сказать это, трудно было бы сказать и обратное. Он сам не замечал, когда лжет, когда говорит правду. Вернее, все, что он говорил, ему обычно казалось правдой, а то, что говорили враги, то есть не подчинявшиеся ему люди, всегда было ложью. Он не умел проверять свои чувства, да и нисколько не считал это нужным. И в те дни почти искренно считал себя «жертвой клеветы» и новым Дрейфусом.

Больше всего он теперь боялся, что воюющие стороны заключат между собой мир, — это было бы страшным, непоправимым ударом для его дела: главный его шанс, бесконечно более важный, чем все другие, был основан на стремлении к миру солдат. Летом 1917 года в Стокгольме должна была состояться конференция социалистов, ста-

вивших себе целью окончание войны. Ленин написал за границу: «Я абсолютно против участия в Стокгольмской конференции. Выступление Каменева... я считаю верхом глупости, если не подлости... Я считаю участие в Стокгольмской конференции и во всякой иной вместе с министрами (и мерзавцами) Черновым, Церетели, Скобелевым и их партиями прямой изменой». Еще более грубой бранью осыпал западноевропейскую «министериабельную сволочь».

В Финляндии он мог жить более или менее безопасно. Но на всякий случай он теперь прятался и тут: почти не выходил на улицу. Грим, как всегда у всех, отражался на его душевном состоянии. Изредка конспиративно приезжала Крупская, сообщала ему новости и получала от него указания. Все его инструкции сводились к одному: вооруженное восстание. Он писал в столицу одно шифрованное письмо за другим. Его бешеные письма действовали на Центральный Комитет сильно — и все же недостаточно.

Тормозили дело недавние любимцы, Зиновьев и Каменев. Они восстания не хотели. Ленин их люто возненавидел, — правда, ненадолго: в полное отличие от Сталина, злопамятен никогда не был и всегда был готов прийти к дружескому соглашению с любым из людей, которых называл и считал «мерзавцами» и «сволочью», — лишь бы этот человек вполне ему подчинился. Робеспьер не мог сказать и двух слов без «vertu». Ленин этого слова и не выговорил бы — не только потому, что в мире изменился литературный стиль: он просто не понимал, какая-токая «добродетель» и зачем она, если и существует? Разве можно делать революцию без мерзавцев?

Люди в Петербурге работали по его инструкциям. Все же работали другие, а не он сам. Очень не нравилось ему и настроение части Центрального Комитета. И 7 октября он вернулся в Петербург. Поселился на Выборгской стороне, в многолюдном доме по Сердобольской улице, в квартире партийной работницы Фофановой: этой как будто можно было верить: не продаст, — разве уж если предложат очень большую сумму? — нет, и тогда не продаст. Она смотрела на него влюбленными глазами. Перед его приходом отпустила свою горничную, сама покупала для него и готовила еду, исполняла его поручения. Кроме жены и сестры, у него бывали только наиболее надежные из «связных». Всем им было указано, как стучать в дверь. Крупская принесла ему большой план Петербурга, он что-то размечал для восстания.

Единственное неудобство было в том, что Фофанову изредка посещал молодой племянник, никак не большевик, — чуть ли даже не юнкер. Было решено, что Ленини на какие звонки отвечать не будет.

IV

В Ессентуках была привольная жизнь, почти ничем, кроме дороговизны, не отличавшаяся от прежней. Кавказские горы понравились Люде еще больше, чем швейцарские. Альфред Исаевич, как всегда веселый, любезный, галантный, кое с кем ее познакомил. В пансионе жильцы заключили было соглашение: о политике не говорить, а то лечение печени не поможет. Все же говорили. Большинство возмущалось «Преждевременным правительством», Люда его защищала, дон Педро занимал среднюю позицию: «Люди прекрасные, конечно, государственного опыта у них не хватает. Государственного опыта!» — внушительно объяснял он. Люда подтверждала: «Разумеется! Откуда же у них при царском строе мог бы взяться государственный опыт?» — «А если опыта нет, так не лезли бы! — сердито говорили другие. — И уже во всяком случае при царском строе война велась лучше. Калуща и Тарнополя не было! Присяжным поверенным надо заниматься адвокатурой, а промышленникам — промышленностью!» Альфред Исаевич разъяснял, что было верно в словах Люды, а что в словах других.

Он аккуратно пил воды, строго соблюдая предписания врача, к которому ходил два раза в неделю с бодрим и вместе озабоченным видом. После вод и прогулки, на веранде в парусиновом кресле, читал письма от жены, каждое перечитывал два-три раза. Затем читал петербургские и московские газеты; при этом ахал, пожимал плечами и что-то бормотал, — Люда всякий раз удивленно на него смотрела, иногда даже с испугом, если он ахал уж слишком громко:

— Может быть, убили Керенского, Альфред Исаевич? Или нашли и арестовали Ленина? Или Вильгельм покончил с собою? — спрашивала она. Он только нетерпеливо отмахивался и бормотал: «Что делается! Что делается!»

За обедом ему подавали диетические блюда, изготавливавшиеся по особому заказу. Вина он «временно не пил», что для него большим лишением не было. Толковал новости, обычно в оптимистическом духе. Сообщал сведения о действии вод, о своем весе, о словах врача.

Раза два они ездили в Кисловодск. Побывали также на месте дуэли Лермонтова. Дон Педро говорил, что Лермонтов был величайший поэт России после Пушкина, и очень ругал Мартынова, — «как только у него могла подняться рука на такого человека!»

Но совершить с Людой классическую поездку по Военно-Грузинской дороге Альфред Исаевич решительно отказался:

— Нет, дорогая, поезжайте одна. Вы, слава Богу, совершенно здоровы, а я тут все-таки лечусь. Доктор вчера сказал, что мне необходимы еще двенадцать соляно-щелочных номер четыре и пять серно-щелочных номер девятнадцать.

— Да плюньте вы и на соляно-щелочные, и на серно-щелочные! Вы тоже совершенно здоровы, и все это одно надувательство!

— Профессор Сиротинин находит, что не надувательство, а вы, дорогая, говорите, что надувательство! И потом, чего я не видел на вашей Военно-Грузинской дороге? Верю, верю, Дарьяльское ущелье — чудное ущелье, и Терек — чудная река, и горы там чудные, я знаю. Но разве здесь плохие горы? Разве Подкумок плохая река? И разве я не могу обойтись без царицы Тамары и ее замка? Кстати, кто она была? Злодейка?

— Напротив, мудрая героиня! По народному преданью, она теперь спит в золотой колыбели.

— Неужели? Ну, пусть спит в золотой колыбели и дальше, — согласился дон Педро. — Только я ради нее не согласен трястись два дня в экипаже и бросать для этого лечение. Доктор мне сказал: самое главное — регулярность.

Так он и не поехал. Люда решила отложить поездку до конца своего пребывания в Ессентуках. Она немного обленилась. Кухня в пансионе была прекрасная, кахетинское вино тоже скрашивало жизнь. После завтрака она спала часа два; перестала заботиться о «линии», да и не очень полнела.

— А вы сколько же еще здесь пробудете, дорогая? — уже незадолго до своего отъезда спросил Альфред Исаевич.

— Мне торопиться некуда. И денег у меня впервые в жизни больше чем достаточно.

— Больше чем достаточно никогда не бывает. Разве у Ротшильда? Но вы правы. Если б не газета, я тоже остался бы до половины октября. Ведь здесь рай земной, тишь да гладь, Божья благодать. А какой воздух!

— Кооператоры сами советовали мне не торопиться.

— Какой превосходный и культурнейший институт — кооперация, я всегда это говорю! Посидите здесь до конца месяца. А зимой я вас навещу в Москве. Так было с вами здесь приятно!

— И мне тоже, Альфред Исаевич. Я вас аб-бажаю! — сказала Люда и вспомнила, что Джамбул когда-то на это отвечал: «Это надо доказать».

— Это совершенно взаимно, — осторожно-галантно ответил дон Педро.

Он уехал, но другие знакомые оставались. Погода была еще хорошая, и Люда решила остаться в Эссентуках до конца октября. Случился, однако, всемирный сюрприз. Как-то под вечер на водах распространился слух, что в Петербурге началось восстание, — большевики будто бы побеждают и могут прийти к власти! Это паники, впрочем, не вызвало: «Если и придут, то через неделю будут свергнуты и тогда их, наконец, перевешают!»

Люда хотела тотчас уехать в Москву, но знакомые отсоветовали: «Лучше переждите неделю-другую. Да теперь и не доедете. Говорят, поезда и до Ростова не доходят».

Неделя-другая затянулась. На водах уже существовал Совет рабочих и солдатских депутатов, хотя в Эссентуках не было ни рабочих, ни солдат. Этот совет получил сообщение из столиц и готовился к решительным действиям. Однако ничего страшного еще не происходило. Жизнь в пансионе шла по-прежнему. Только кухня стала менее обильной, на столики в столовой больше не ставились цветы, и хозяин-доктор, подумав, убрал со стены портреты Достоевского и врача Нелюбина, когда-то изучившего и описавшего эссентукские воды (он был в мундире).

Возвращаясь в пансион к завтраку, Люда встретилась с человеком, лицо которого еще издали показалось ей знакомым. Он тоже на нее взглянул, очень учтиво поклонился и нерешительно к ней подошел:

— Извините меня. Вы, конечно, меня не узнаете? Я когда-то заходил к вам в Куоккала. Собственно, не к вам, а к Джамбулу, но его не было дома, и я разговаривал с вами, — сказал он. Говорил с грузинским акцентом.

— Как же, как же! — радостно вспомнила Люда. — Вас тогда было трое.

— Так точно. Вы совершенно не изменились.

— Будто?.. Да, помню, отлично помню, вы заходили к Джамбулу... Вы сейчас спешите? Не хотите ли тут немного посидеть? Вот как раз и скамейка.

— Очень рад.

— Прежде всего, познакомимся по-настоящему, — сказала, садясь, Люда, — ведь мы друг друга и не знаем. Я Людмила Ивановна Никонова, теперь отдыхаю в Ессентуках, живу в Москве, работаю в кооперации. А вы кто?

Он назвал себя. Фамилия у него была на «швили».

— Я был в последние месяцы в Петрограде членом Национального грузинского комитета. Мы помещались на Фурштадтской, в доме, любезно, по соглашению, предоставленном нам графиней Софьей Владимировной Паниной, — сказал он, медленно и особенно отчетливо, с видимой заботой о точности, выговаривая каждое слово. Из того, что он назвал имя-отчество и даже титул графини, Люда заключила, что он во всяком случае не большевик. Ей и хотелось поскорее узнать о Джамбуле, и казалось не совсем удобным спросить с первых слов. Немного и боялась ответа. — Я здесь проездом в Тифлис.

— В Тифлис? Быть может, там увидите Джамбула?

Он посмотрел на нее удивленно.

— Джамбул давно живет в Турции.

— В Турции? — «Слава Богу, значит, все-таки жив!» — Что он делает в Турции?

— Занимается «земледелием и скотоводством», как писали о древних народах в школьных учебниках, — ответил, улыбаясь, новый знакомый. — Мы надеемся, что он к нам вернется.

— Извините меня, кто «мы»? Но прежде скажите, как ваше имя-отчество?

— Кита Ноевич... Пожалуйста, не сердитесь, если режу ваше русское ухо, и не смешивайте с гоголевским Кифой Мокиевичем... Вы, вероятно, знаете, что Грузия и другие кавказские земли теперь отделяются от России. По крайней мере, впредь до Учредительного собрания и падения большевиков. («Вот как?» — подумала Люда.) Я и хотел сказать, что, быть может, Джамбул согласится работать с нами на мирной ниве государственного строительства. Но это только мое пожелание. Беда не в том, что он давно стал турецким подданным: мы его тотчас приняли бы в наше гражданство. Но не скрою от вас, он, по слухам, совершенно переменял убеждения и стал консерватором. Джамбул еще задолго до войны написал об этом той даме, с которой я к вам, если вы помните, являлся в Куоккала. («Душка этот Кита, но говорил бы скорее», — подумала она.) И видите ли...

Он рассказал, что тогда писал Джамбул. Люда слушала, разинув рот. «Джамбул — турецкий помещик! Консерватор и читает Коран!.. Той написал, а мне нет!..»

— Знаете что? — перебила она его. — Сейчас в моем пансионе завтрак, пойдем ко мне, а? Вы мне доставите большое удовольствие, а кухня у нас недурная. Сегодня пилав!

— Буду весьма рад и искренно благодарю вас за приглашение. Я только сегодня приехал и именно шел в ресторан... Так вы ничего этого не знали?

— Решительно ничего, — ответила Люда. «Конечно, он не может не знать, что мы давно с Джамбулом разошлись». — Он мне не писал... Мой пансион в двух шагах отсюда, вон там на углу.

За завтраком он записал для Люды сложный адрес Джамбула, поговорил о политических делах, был очень мил и любезен.

— Вы твердо решили вернуться в Россию, Людмила Ивановна? Да как вы теперь туда проедете?

— Скоро все наладится.

— Не думаю, чтобы скоро. Все говорит за то, что большевики временно одержали победу...

— Ось лыхо!

— Разве вы украинка? — поспешно и как будто с радостью спросил Кита Ноевич.

— Нет, я великороска. Что же это будет! Здесь мне делать нечего, и помимо всего прочего я не богачка.

— Здесь действительно делать нечего, — сказал он, подчеркнув слово «здесь». Спросил Люду, какую должность она занимала в кооперации, любит ли это дело, как относится к меньшевикам. Спросил, замужем ли она.

— Нет, я совершенно одинока. У меня и в Москве близких людей очень мало, только Ласточкины. Вы, верно, слышали о них!

Он действительно слышал о Дмитрие Анатольевиче и имел с ним общих знакомых.

— Повторяю, я не думаю, чтобы вы скоро могли вернуться к работе в России. Разве только если вы склонитесь к большевикам? — спросил он, внимательно на нее глядя.

— Я? К большевикам? Никогда в жизни!

— Есть вдобавок основания опасаться, что кооперация в России скоро будет большевиками прикончена. А вот мы

непременно ею займемся по-настоящему. Отчего бы вам не поработать у нас? Работа для вас нашлась бы... Вы удивлены? Почему же? Мы охотно будем предоставлять работу русским, не требуя от них принятия грузинского гражданства.

— Я действительно удивлена... И, разумеется, такое требование было бы для меня совершенно неприемлемо.

— Я понимаю. Но мы, грузинские социал-демократы, очень терпимы. Лишь бы вы не были реакционеркой или грузинофобкой...

— Разумеется, я не реакционерка и не грузинофобка!

— Это все, что требуется. Не скрою от вас, я, верно, скоро получу у нас в Тифлисе должность. Может быть, и немалую, ввиду моего долгого стажа, — добавил он с улыбкой, — и я почти уверен, что легко нашел бы для вас работу. Подумайте. Я прекрасно понимаю, что такое решение сразу принять нельзя. Но если вы решите пока в Россию не возвращаться, то дайте мне знать, и я легко достану вам пропуск.

— Признаюсь, это очень для меня неожиданно... Во всяком случае, я вам искренно благодарна.

— Подумайте, осмотритесь. Отказаться вы можете и позднее.

— Это так. Я вам пока ничего ответить не могу... А как вы думаете, могла ли бы я написать Джамбулу?

— Разумеется, во время войны это невозможно: каким образом дошло бы письмо? Однако война, верно, скоро кончится. У нас многие думают, что, как это ни печально, а Германия уже победила.

— Ну, это бабушка еще надвое сказала!

— Во всяком случае тотчас после окончания войны вам легко будет снестись с Джамбулом. Мы и сами, верно, тогда ему напишем. У нас его всегда очень ценили. Он мужественный, энергичный человек и был бы прекрасным работником.

— Конечно, — согласилась Люда. «Мужественный — бесспорно, а прекрасный работник едва ли, он лентяй», — подумала она.

— Только вряд ли он согласится. Джамбул все правительства терпеть не может, и еще вдобавок слишком насмешлив. Он и не социалист, и не консерватор, а по природе анархист, — сказал он с улыбкой, наливая вина в бокалы.

В последние недели перед восстанием нервное напряжение у Ленина достигло предела. Он то писал распоряжения, то ходил по комнате, то лежал на диване, что-то про себя бормоча. Беспокойно прислушивался к шороху за стеной, за входной дверью. Пил большими глотками чай, оставлявший для него Фофановой.

Советоваться с Карлом Марксом было больше незачем: Маркс уже посоветовал. Работа над планом Петербурга надоела: пользы от нее мало. Он понимал, что восстание подготовлено плохо, хотя люди работали целый день. Военно-революционный комитет, непосредственно руководивший подготовкой, сам в точности не знал, да и не мог знать, какие вооруженные силы находятся в его распоряжении, на кого, на что можно рассчитывать более или менее твердо. Не было и плана, хотя бы такого, что бывает на войне у командующих войсками. В решительный день нужно было импровизировать в зависимости от обстоятельств. «Да, все «более или менее». Но ведь так всегда бывает с восстаниями, — отвечал он себе, — никогда не было революций, разыгрывающихся по нотам. Революция не маневры! И, конечно, у них (он разумел Временное правительство) не предусмотрено и не подготовлено ровно ничего. Они даже еще не уверены, что мы готовим восстание!»

На митингах он не показывался: уж теперь погибнуть от пули или бомбы террориста было бы совсем глупо!

«Тогда, разумеется, все пошло бы к черту. Даже и попыточки восстания не было бы! Многие из наших спят и во сне видят, как бы похоронить это дельце, даже некоторые из тех, что будто бы идут за мной». В душе он, конечно, относился с насмешкой почти ко всем своим «сподвижникам», да и не мог относиться к ним иначе: все они, Рыков, Пятаков, Луначарский, Калинин, Молотов, Сталин, Бухарин, Стеклов пошли за ним не сразу; другие, во главе с Троцким, и большевиками стали со вчерашнего дня, а прежде были какие-то «интернационалисты» или как-то так, черт знает кто; мелкая сошка, вроде Ярославского, еще совсем недавно сотрудничали с меньшевиками и проповедовали что-то либеральное, реформистское, совершенную ерунду. В лучшем случае, они просто ничего не поняли в революции; в худшем, просто трусили и не желали рисковать жизнью. «Могут и опять уйти в кусты! Троцкий, Сталин, правда, в кусты не уйдут, но их обоих в партии терпеть не могут. Вдо-

бавок оба инородцы. В партии и это есть, особенно антисемитизм. Социалистический строй — да, но пусть во главе стоит русский человек! Если меня ужокошат, то уж все объявят, что восстание противоречит марксизму».

Сам он об уходе «в кусты» никак не думал. Все же у него порою скользили мысли, что нужно будет бежать за границу, если восстание провалится: и в этом случае, даже в мыслях для него непереносимом, партии был нужен вождь — для третьего восстания. «Делал же в эмиграции столько лет свое дело — и наполовину сделал, без меня и партии не было бы! Будут, конечно, издеваться, как Плеханов издевался двенадцать лет тому назад, а из него тогда еще песочек только начинал сыпаться. Да плевать мне, пусть издеваются».

Думал и о том, что будет делать после успеха: каких людей возьмет в правительство? Зная, что выбор невелик, предполагал не отказываться ни от кого. «Конечно, возьму Зиновьева и Каменева, черт с ними! Струсили, но после победы расхраблятся. Не сразу, а погода дам им какие-нибудь «портфели». Это слово всегда его забавляло; он знал, каким обаянием оно пользуется среди людей: «Был всю жизнь адвокатишкой или маклером — и вдруг министр!...» Пьянице Рыкову дам внутренние дела. Болвану Луначарскому народное просвещение, то-то будет нести ерунду и поощрять искусства, в которых он смыслит не больше моего. Для Сталина создам министерство по делам национальностей, он туповатый человечек, но в этом разбирается, если ему несколько раз объяснить, что нужно делать. Троцкий? Этот пусть берет что хочет. Умный человек и способный. Везде будет «блеск», а кое-где, может, будет и толк. Всю жизнь он хотел быть первым, но не в деревне, а именно в Риме. Ничего, пусть будет вторым в Риме. Он потому ко мне и примкнул, что понял: с одними интернационалистами каши не сваришь, *такой* каши! — «Ничего не поделаешь, примкну к проклятому Ленину!» В ближайшие дни «блеск» покажет большой, только за этот «блеск» его все будут ненавидеть еще больше. Конечно, будет жестокая гражданская война, туда сунем Крыленко, Овсенко, Дыбенко, если пойдет. Они хоть не трусишки. У всех трех фамилии на «ко», будут путать... Все равно и гражданской войной придется руководить мне. Я в военных делах ничего не понимаю, но и другие не понимают, как-нибудь научимся, глупее Полковниковых не будем... Если левые эсеры примажутся, дадим что-нибудь и им, хоть они уж все совершенные

дубины. «Портфель» и их зачарует, даже с некоторым риском виселицы: «От виселицы успею вовремя ускользнуть, буду за границей «бывший министр». Да, люди найдутся, ничем не хуже западных умниц».

Насчет себя он и не сомневался: вся власть будет у него. Ни о каком другом кандидате в партии и мысль не могла возникнуть. Он предполагал придать своей единоличной власти вид какого-то коллектива. После переворота скромно отказывался от должности главы правительства. Так же поступал и Робеспьер: в своих интимных бумагах, найденных после его казни, прямо говорил, что нужна единоличная воля (разумеется, его собственная). Но когда Сен-Жюст назвал его кандидатуру в диктаторы, отказывался еще более скромно: зачем же непременно он? Есть гораздо более достойные кандидаты. Но скучные обязанности по представительству Ленин исполнять не желал. «Пусть болванов-послов принимает Калинин. Свердлов был бы лучше, он грамотнее. Но опять еврей... Подумаем».

Кое-какие люди были. Неизмеримо лучше была программа: земля — крестьянам, заводы — рабочим и, главное, немедленный конец войны. «И как только эти людишки не поняли, что против этой программы они устоять не могут! — думал он, опять разумея Временное правительство. — Хорошо, что ничего не понимают. «Война до победного конца». «Вопрос о земле разрешит Учредительное собрание», — с наслаждением думал он. — Ну, ладно, а что, если все-таки убьют?» Жизнью особенно не дорожил: погибнуть теперь было совершенно не то, что умереть с год тому назад: все-таки сделана первая в мировой истории попытка настоящей социалистической революции. Парижская коммуна в счет не идет. Великий опыт будет и в случае провала. История этого не забудет. Печать будет поливать грязью. Впрочем, Горький напишет порицательно-снисходительно-сочувственную статейку: «Ошибался Ильич, ошибался, но понимаете, был фанатик». Он благодушно представил себе Горького, с его говорком на «о». Никакой социальной революции он не хочет и не может хотеть: сам богатый буржуй. Проповедует, конечно, но так: когда-нибудь да может быть. Квартирка же на Кронверкском хорошая вещь, это тебе не будущее. Ничего не понимает, — но, «понимаете, Ильич был большой человек». Другие будут говорить «собаке собачья смерть», а он хоть этого не скажет. Напишет, напишет статейку, Суханов как-нибудь

поможет... В общем, кроме Нади, никто особенно плакать не будет». «Инесса!» — вдруг тоскливо подумал он.

Из передней послышался звонок. Ленин ахнул: «Полиция!» Быстро поднялся с дивана, на цыпочках пробрался в переднюю и прислушался. Звонок повторился в другой, в третий раз. Затем раздался стук в дверь, но не тот, который был условлен. «Так и есть, полицейские!»

— Тетя... Маргарита Васильевна... Вы дома? — с недоумением спросил звонивший; молодой человек услышал за дверью шорох.

Отлегло.

— Маргариты Васильевны нет дома, — ответил Ленин, не подумав. Изменил голос.

— Пожалуйста, отворите... Я только на минуту, оставлю ей записочку... Она нескоро придет?

Не отвечая, он вернулся в кабинет: «Нельзя ответить...» Молодой человек опять позвонил с еще большим недоумением. Затем поспешно спустился по лестнице. Внизу он встретил возвращавшуюся Фофанову.

— Тетушка, не подымайтесь! У вас в квартире грабитель!

— Какой грабитель! Что ты говоришь?

Он сообщил, что долго звонил и стучал, кто-то подкрался, наконец, к двери, что-то сказал, но двери так и не отворил.

— Вот что! Я бегу в участок! Попросите соседей, чтобы покараулили на площадке, а то он удерет!

— Да что ты! Какой грабитель! Никакого грабителя! У меня знакомый сидит, я его на минуту оставила, а он...

— Да почему же этот господин не отворяет?

Она долго сбивчиво что-то ему объясняла: просила этого старичка не отворять никому, потому что... Молодой человек слушал с некоторым удивлением.

— Ну, слава Богу, а то, ей-Богу, подумал, что грабитель. Хорошо, что не привел городского или как их там теперь зовут.

— Действительно хорошо! А ты чего хотел, родной мой?

— Просто хотел вас навестить, да и дельце маленькое есть, — ответил он. — Очень спешу.

— Если спешишь, что ж делать? Не зову.

— Чайку, пожалуй, выпил бы. Да у вас, тетя, верно, сахару нет?

— Ох, нет, ничего нет, — солгала она. — Чего же ты хотел, голубчик?

Он изложил дело, простился и ушел, не без лукавства попросив «кланяться старичку».

Фофанова вздохнула свободно. «Как же это Ильич откликнулся! Могло все пропасть, если б пришла полиция!» — поднимаясь по лестнице, думала она с радостным изумлением. Увидев ее, Ленин расхохотался.

— Сюрпризик! Приходил ваш племянничек!

— Знаю, я его встретила... Да как же вы смеетесь, Ильич! Ведь из-за этой случайности могла сорваться вся революция!

— Не могла, никак не могла, Маргарита Васильевна, — говорил он, продолжая хохотать заразительным смехом. — Нет случайностей, есть только законы истории.

Десятого октября он, заgrimировавшись еще тщательнее, чем всегда, выехал на решающее конспиративное заседание. Оно могло бы оказаться одним из бесчисленных в его жизни заседаний, не имевших никаких последствий; но случайности сложились так, что оно оказалось, быть может, самым важным, самым значительным по последствиям заседанием в мировой истории. Продолжалось оно десять часов. Было двенадцать человек. Пили чай, закусывали бутербродами.

Говорил, главным образом, Ленин. Он доказывал, что Временное правительство собирается открыть фронт и сдать немцам Петербург. Доказывал, что союзники намерены скоро заключить мир с немцами и совместно с ними задушить русскую революцию. Доказывал, что, как только большевики захватят власть в России, на Западе вспыхнет восстание и мировой пролетариат придет на помощь их партии. Все это было неправдой, и со своей проницательностью он не мог этого не понимать. Понимали ли слушатели? Должно быть, одни ему верили, другие догадывались, что он лжет, но думали, что теперь уж необходимо за ним идти; отступать поздно, нервы не выдержат, надо положить делу конец. Спорили только Каменев и Зиновьев, они были против вооруженного переворота и не надеялись на успешный исход. Один из участников совещания впоследствии говорил о страстных импровизациях Ленина, внушавших людям веру и волю. Вероятно, говорил правду. Была тут доля и почти гипнотического внушения. Все подчинилось: было принято и записано решение произвести через две недели, 25 октября, государственный переворот.

VI

Муссолини уже был очень известным человеком в Италии. О нем иногда писали и в иностранных газетах.

До начала мировой войны он оставался революционером и крайним антимилитаристом. Последнюю антимилиитаристскую речь произнес месяца за два до того, как война началась. Но уже давно чувствовал, что может защищать какие угодно политические взгляды. Так и велел Макиавелли. Впрочем, об этом он думал мало. Только радостно сознавал, что его переполняет воля к борьбе, все равно к какой. Победа должна была прийти, — просто не могла не прийти. Нужен был только благоприятный случай.

Этот случай, наконец, создался. Летом 1914 года.

Он ушел из социалистической газеты «Аванти», или его заставили оттуда уйти. Теперь и колебаний больше быть не могло. Если б социалисты и одержали победу, она ему обещала немного: главарями оказались бы все эти ничтожные Турати, Модильяни, Тревесы, давно занимавшие в партии огромное положение; они его терпеть не могли и в лучшем случае бросили бы ему какую-нибудь обглоданную кость. Не это ему было нужно.

В основанной им газете «Пополо д'Италия» он страстно требовал, чтобы итальянское правительство объявило войну центральным державам. Враги обвинили его в продажности: подкуплен Францией, иначе быть не может! Говорить можно было что угодно, доказать, как всегда в таких случаях, было очень трудно. Через четверть века, в 1940 году, французскому правительству было бы выгодно объявить, что оно в свое время его подкупило. Но оно и тогда такого сообщения не сделало.

Его призвали в армию. Те же враги неизменно твердили, что он трус. Это было само по себе неправдоподобно; едва ли вообще когда-либо из трусов выходили диктаторы: слишком опасное ремесло. Во всяком случае, воевал он храбро: дослужился лишь до чина капрала, но, скорее всего, только потому, что военные власти не решались произвести его в офицеры: так свежи у них в памяти были его недавние речи и статьи.

В феврале 1917 года он был тяжело ранен осколком разорвавшейся итальянской мортиры. В больнице его посетил король, — это означало многое для его карьеры. Поправившись, он снова стал редактировать созданную им газету. Приходил в редакцию на костылях и писал воинст-

венные статьи. Опасался покушений со стороны врагов, и редакционный кабинет у него был довольно необычный: на письменном столе, рядом с томами Кардуччи и Гейне лежали револьвер, кинжал и несколько ручных гранат.

В России произошел октябрьский переворот.

Чувства у Муссолини были смешанные. Вернуться к прежним взглядам было бы невозможно. Через много лет его вдова, в своей книге «Моя жизнь с Бенито», писала, что когда-то в Швейцарии ее муж посещал Ленина, — он сам ей об этом рассказывал. Быть может, привирал и в рассказах жене, — уж очень это было эффектно: два бедных малоизвестных эмигранта беседуют в убогой комнатке, это Муссолини и Ленин, — сюжет для глубоких размышлений и для исторической картины. Как бы то ни было, и позднее дуче чрезвычайно почитал вождя большевиков; так Гитлер в частных разговорах восхищался Троцким, Сталин Гитлером, и почти все диктаторы друг другом.

Тем не менее он не знал, с какой стороны обойти большевиков. Иногда обходил как будто справа и, как какой-нибудь либерал, писал: «В России Ленина есть только одна власть: его власть. Есть только одна свобода: его свобода. Есть только одно мнение: его мнение. Есть только один закон: его закон». Мог писать это только с мучительной завистью. «Ничего, придет и мое время». Но иногда обходил Ленина и слева и доказывал, что никакого социализма в России нет, что большевики — обыкновенная реакционная партия. Внимательно за ними следил, учился и многому научился. По существу же был с Лениным не согласен: очень трудно построить социалистическое общество, слишком могущественные силы против него ополчатся, можно найти и более легкий путь к неограниченной власти. Надо привлечь богатых людей, ни в каком случае не теряя бедных.

С колебаниями он обдумывал свой путь. Все кампании против Бога навсегда прекратить: от них гораздо больше вреда, чем пользы. Впрочем, это начал делать уже давно; позднее извлекал из книжных магазинов и уничтожал свои старые богохульные писанья. С королем, если только окажется возможным, поладить: монархический принцип еще немалая сила, и можно награждать людей титулами, это и денег не стоит; а король покладистый человек, вот и в больнице навестил и говорил сочувственные слова, и ему решительно все — все равно, пусть же сохраняет корону и занимается нумизматикой. И надо, непременно надо при-

думать для *своего* движения, для *своего* учения хорошее, звучное, запоминающееся слово, лучше всего такое, какое было бы связано с древним Римом. Оно и было найдено. Явилась первая большая мысль. Второй было применение касторового масла в борьбе с противниками.

VII

Романист, который пожелает «дать грандиозную, всеохватывающую картину октябрьского переворота», вероятно, введет и в Зимний дворец, и в Смольный институт, и в Петропавловскую крепость, и в комитеты, и в казармы, и в уличную толпу вымышленных им людей. Будут образы: большевик-фанатик; рабочий, всю жизнь голодавший и ненавидящий капиталистический строй; юноша-идеалист, юнкер или прапорщик запаса; готовый на все авантюрист-честолюбец; добрая, но яростная меньшевичка или народница в очках, выкуривающая сто папирос в день и страстно спорящая о политике до поздней ночи; приехавший с фронта боевой израненный офицер, готовый из патриотизма защищать Временное правительство; хороший капиталист-патриот; нехороший капиталист, наживающийся на чужой крови, и т. д. Все это будет более или менее верно: такие люди действительно участвовали в октябрьских событиях. Но картина будущего романиста, этих событий не видевшего, верной не будет: он исказит перспективу и выдаст за целое сумму очень небольших величин, составляющую очень небольшую его часть. Главное было не в этих величинах. Подавляющим по значению должен был бы быть один простой, довольно неблагодарный, образ в разных возможных вариантах: солдат, больше не желающий воевать.

Ленин очень кратко сказал: «Революция есть искусство». Позднее Троцкий развивал эту мысль на десятках страниц. Если тут и есть некоторая правда, то во всяком случае это искусство элементарное.

Не все распоряжения Военно-революционного комитета в октябрьском хаосе были осмысленны и целесообразны с точки зрения сторонников переворота; не все распоряжения Временного правительства были бессмысленны и нецелесообразны с противоположной точки зрения. Но, в общем, представление о том, что нужно делать, было бы ясно любому грамотному человеку. Троцкому, Подвойскому или фельдшеру Лазимиру не требовалось революционного гения, чтобы понять, как

важно захватить Петропавловскую крепость, Зимний дворец, вокзалы, банки, телеграфную и телефонную станцию. Полковникам Полковникову или Параделову не требовалось военного гения, чтобы понять, как необходимо эти пункты отстоять. И те и другие посылали туда вооруженные отряды, иногда с добавлением небольшого числа рабочих, или интеллигентов, или полуинтеллигентов. Делали, в сущности, одно и то же. Быть может, и даже наверное, большевики проявили больше ума и энергии, чем их противники. Но главное было не в этом, а в том, что громадную часть вооруженных сил Временного правительства можно было в октябре называть вооруженными силами разве в шутку.

Разумеется, это легко передать и пышными, учеными, социологическими словами. Можно сказать, и сто раз говорилось, что Ленин гениально прозрел путь, по которому, в силу своих законов, пойдет история (почему-то прозрел в отношении России и совершенно не прозрел в отношении западного мира). Но нет ничего обманчивее ученых слов, особенно пышных.

Вопреки всем большевистским теориям, предсказаниям и историческим реляциям, пролетариат сыграл в октябрьских событиях довольно скромную роль. Неизмеримо важнее была роль солдат и матросов. Они твердо знали, чего прежде всего хотят: прежде всего хотели немедленного конца войны. А это обещали именно большевики, и только они. «Надежные части», отправлявшиеся Полковниковым в «важные стратегические пункты города», переходили, подумав, на сторону восставших или решали «сохранять нейтралитет». Так, без малейшего сопротивления были «взяты» большевистскими солдатами и матросами и Николаевский вокзал, и крепость, и Государственный банк, и арсенал, и телефонная станция и другие учреждения, охранявшиеся значительными отрядами войск, «верных Временному правительству». И в третьем часу дня Троцкий от имени Военно-революционного комитета с торжеством объявил Петербургскому Совету, что Временное правительство больше не существует. Добавил: «Нам неизвестно ни об единой человеческой жертве». Это было преувеличением, но довольно близким к истине. Октябрьский переворот повлек за собой самые кровавые годы в мировой истории. Но сам по себе день 25 октября действительно был «великим, бескровным»: другой такой революции, пожалуй, история и не знает.

Шел съезд Советов.

Актальный зал Смольного института был переполнен. Преобладали солдаты в шинелях. Они все время орали. Сами не очень понимали, что кричат и зачем, — больше ободряли себя криками. На трибуне сменялись ораторы и тоже что-то выкрикивали охрипшими голосами. В диком шуме, в общей растерянности, в атмосфере лагеря тушинского вора, их понимали плохо. Слушатели не сразу догадывались, кто «хороший», кто «нехороший». Но не поднимали на штыки и нехороших: меньшевиков и социалистов-революционеров. Им только орали: «Вон!»... «Долой!»... «Бандит!»

Издали донеслась пальба, — не пулеметная, а артиллерийская. В первую минуту началась паника: Керенский привел с фронта войска! Еще немного — и толпа бросилась бы бежать. Но с трибуны один из «хороших», обладавший громоподобным голосом, прокричал, что это *наш*, большевистский крейсер «Аврора» палит с Невы по Зимнему дворцу, в котором укрылись министры-капиталисты, контрреволюционеры и всякая другая сволочь. Сообщение было покрыто долгой овацией. Был тот энтузиазм, который обычно бывает при революциях: частью подлинный, частью притворный, частью подлинный, усиленный притворным. О Керенском весь день передавались противоречивые слухи: «Бежал в Финляндию!»... «Уехал на фронт за войсками!»... «Укрылся в английском посольстве!»... «Подходит с красно-вскими казаками!» И при всех этих вестях почти у всех вставал вопрос: «Что же будет? Что мне делать? Не скрыться ли? Или быть героем?»... Были, впрочем, и люди, в самом деле решившие драться до конца за новый строй. Но они наверное составляли меньшинство и в толпе, и на трибуне.

Те, кого большевики презрительно называли «мягкотелыми интеллигентами», тоже не знали, что делать. Многие из них уже ясно видели, что разбиты. «Временно? Надолго? Навсегда...» Над болью от поражения теперь преобладала боль за идею, за Россию. Лучшие из этих людей не были лишены способности оглядываться на себя и признавать свои ошибки. «Только немедленный мир успокоил бы эту солдатскую стихию. Но могли ли мы, как могли мы заключить мир? Ведь война могла кончиться летом и на Западном фронте победой союзников, нашей общей победой. Тогда со всеми нашими и чужими ошибками мы могли победить в этой чертовой лотерее, и ничего от большевиков не осталось бы, и спаслась бы Россия!...»

В сопровождении наиболее надежных «связных» Ленин под вечер 24 октября, выбритый, в парике и темных очках, незаметно вошел в Смольный институт. Так же незаметно его проводили во второй этаж и ввели в небольшую комнату. На двери висела эмалированная дощечка с надписью: «Классная дама». Он сел за маленький письменный стол, на котором под абажуром горела старенькая лампа, когда-то керосиновая, потом переделанная в электрическую. «Связные» сообщали ему новости. Он отдавал приказания, которые, впрочем, никакого значения не имели: положение в разных концах столицы менялось даже не каждый час, а каждую минуту. Писал или правил декреты о земле, о мире. Иногда нервно ходил взад и вперед по комнате. Иногда садился в кресло у овального столика, — за ним много лет классные дамы пили чай или делали наставленья провинившимся воспитанницам. Иногда выходил из комнаты и старался незамеченным пройти в пустой неосвещенный зал, расположенный недалеко от Актового. Некоторые из врагов неуверенно его узнавали под гримом и, вероятно, смотрели на него так, как у Этноы Улисс смотрел на циклопа Полифема, собиравшегося его съесть.

В зале на пол бросили для него тюфяк. Он то ложился, то вскакивал и бегал из угла в угол. Режиссеры спектакля находили, что Ильичу следует войти в Актовый зал лишь после того, как выяснится главный, основной вопрос: придут ли с фронта правительственные войска? Он с этим согласился: его появление в Актовом зале должно было стать самым важным моментом восстания, знаком полной победы.

И, наконец, пришло известие: Зимний дворец пал, все бывшие в нем министры Временного правительства схвачены и отправлены в Петропавловскую крепость. На трибуну устремилось сразу несколько человек с громовыми голосами. Одновременно, мешая один другому, они сообщили новость. Поднялся энтузиазм уже почти непритворный. Разве только немногие из сторонников восстания думали, что может выйти комом не первый, а второй или третий блин. Мягкотелые интеллигенты быстро направились к выходу. Толпа провожала их улюлюканьем, свистом, хохотом, криками: «В Петропавловку!»... «На «Аврору!»... «В Неву!»

Долго подготавливавшийся эффект наступил.

Он вбежал маленькими шажками в Актовый зал. В первые секунды его и не узнали. Многие солдаты вообще никогда не видали этого человека, о котором им твердили каждый день на фронте и в тылу. Другие видели его на

старых фотографиях, с бородой, лысого, без очков. Вдруг кто-то проревел диким голосом: «Ленин!» В ту же секунду загремели рукоплесканья, каких еще не слышал этот старый зал. Они все росли и крепили, — действительно, дрожали окна. Теперь восторг был уж совершенно неподдельный: ведь *этот* все задумал, *этот* все предвидел, за *этим* не пропадешь!

Не обращая внимания на бесновавшуюся толпу, он взбежал на трибуну, снял темные очки, замигал. Разложил перед собой листки декретов и вцепился крепко в края стола; дошел, больше не уйду! Рукоплесканья усилились до последнего предела, потом стали стихать, оборвались. Настала совершенная тишина. Он сказал:

— Теперь мы займемся социалистическим строительством.

Даже не воскликнул, а именно сказал. Об эффекте и не подумал. Но, вероятно, «народные трибуны» не без зависти подумали, что лучшего эффекта никто не мог бы изобрести.

VIII

Ласточкины после октябрьского переворота чувствовали себя почти так, как мог бы себя чувствовать человек, проживший жизнь в евклидовском мире и внезапно попавший в мир геометрии Лобачевского.

Прежде была уверенность, что они не могут попасть в тюрьму или быть безнаказанно ограбленными или выброшенными из квартиры на улицу. Теперь это происходило каждый день с людьми их круга, не больше, чем они, виновными в чем бы то ни было; могло в любой день случиться и с ними. Вдобавок Дмитрий Анатольевич остался без всякого дела; надо было придумывать, чем заполнить двадцать четыре часа в сутки.

Правда, обмен мнениями продолжался и даже — в первые недели — участился. На людях всем теперь было легче. Образовался Союз защиты Учредительного собрания. Принимались разные, не очень серьезные меры предосторожности. Он несколько недоумевал: еще недавно считалось, что Учредительное собрание — «державный хозяин земли русской»; оно должно все устроить. Теперь оказывалось, что этого державного хозяина самого должна каким-то способом защищать кучка членов нового Союза. Тем не менее все уверяли, что Учредительное собрание тотчас

свергнет большевиков: «Скоро кончится вся эта гнусная комедия! И не может не кончиться: разве это дурачье может быть правительством! Такого с сотворения мира никогда не было!» Знаменитый оратор прочел в тесном кругу доклад и на вопрос, что будет, если разгонят Учредительное собрание, воскликнул: «Самая мысль об этом есть кощунство и хула на Духа Святого! Весь народ русский, как один человек, встанет на защиту того, о чем он мечтал столет!» Хотя оратор воскликнул это оглушительным голосом, рукоплескания вышли жидкие. В конце 1917 года люди уже потеряли охоту к рукоплесканиям.

Дмитрий Анатольевич вздохнул. Он недолюбливал этого оратора, особенностями которого считал несколько странный слог, неумеренную склонность к крику и мощные голосовые связки. «А вот есть ли у него *настоящая*, непоколебимая вера в свою идею, вот в это самое Учредительное собрание? Та вера, которая, быть может, еще есть в их идею у некоторых большевиков? Та, какая была когда-то у монархистов? Вот Мария-Антуанетта в тюрьме, через минуту после казни мужа, склонилась перед своим восьмилетним сыном и назвала его французским королем. Нам это кажется непонятным и неестественным, но, должно быть, в этом была какая-то *королевская естественность*, и уж во всяком случае у Марии-Антуанетты и сомнений в своей идее не было, даже в ту минуту, ужасную и для нее, и для идеи».

Учредительное собрание было разогнано. Заседания Союза стали устраиваться реже, и на них приходило меньше людей. Приходившие отводили душу и говорили все одно и то же. Многие подумывали, как пробраться на юг для продолжения борьбы с большевиками. Ласточкин думал, что *продолжать* борьбу он не может, так как никогда ее не вел. «Да и эти люди, которых Нина когда-то называла «борцами за идеал», уезжают в Киев больше для того, чтобы отдохнуть от голода и страха». Дмитрий Анатольевич с удивлением и горечью замечал, что впервые в жизни мысли у него становятся дешево-ироническими. «Не знаю, как они, но я просто не могу уехать и по практическим причинам: что я делал бы в Киеве или на Дону? Чем жил бы там с Таней? В Москве по крайней мере есть свой угол».

Однако и от своего угла скоро осталось немного. Средства Ласточкиных истощались. В день октябрьского переворота у них в доме оставалось — да и то по случайности — около пяти тысяч рублей. Дороговизна еще усилилась, деньги таяли, и Дмитрий Анатольевич с ужасом думал, как

жить дальше. Татьяна Михайловна его ободряла, тоже уверяла, что большевики очень скоро падут, всячески сокращала расходы; но он видел, что и она в ужасе.

Вначале много денег стоила прислуга; с ней у Ласточкиных всегда были самые лучшие отношения, рассчитывать людей было бы мучительно. Но через месяц повар и его жена, горничная, ушли сами. У них фамилия кончалась на «ко», и они получили пропуск на Украину. Прощанье было грустное, горничная даже заплакала, прослезилась и Татьяна Михайловна. Шофер нашел хорошее место у какого-то нового сановника. Автомобиль Ласточкиных был реквизирован в первые же дни. Об этом они не жалели: никакого горячего все равно не было да и небезопасно было бы обращать на себя внимание автомобилем. Скоро, с душевной болью, они отпустили лакея Федора, который прослужил у них четырнадцать лет и теперь нерешительно предлагал служить дальше без жалованья. Из последних денег заплатили ему за полгода вперед и обещали снова принять на службу, «как только все устроится».

— Буду все покупать сама. И стряпать буду без его помощи. Скорее уж тебя, Митенька, жалко. Ничего, когда-то у тети я все делала, и миллионы женщин это делают, и никакой беды в этом нет. Пожалуйста, не делай трагического лица, — говорила Татьяна Михайловна веселым тоном.

Она стала рано утром выходить из дому и подолгу стояла в очередях. Знакомые продавщицы поглядывали на нее сочувственно, но не без удовольствия. Дмитрий Анатольевич, как мог, помогал жене и очень хвалил все, что она готовила. Как-то вернувшись домой, она преувеличенно радостно сообщила, что удалось достать к обеду конину.

— Я и не думал, что это так вкусно. Если б не красный цвет, то нельзя было бы отличить от другого мяса, — говорил он за обедом.

Однако и для конины нужны были деньги. В январе Татьяна Михайловна, на этот раз смущенно, принесла ему свои драгоценности и попросила продать.

— ...Ведь мне они не нужны! Жалко только потому, что это твои подарки.

Дмитрий Анатольевич расстроился. Жена его утешала:

— В такое время об этом стыдно огорчаться. Уж лучше пожалей меня из-за другого: смотри, какие руки стали, особенно от мытья посуды под ледяной водой. Но и это, конечно, пустяк.

Он поцеловал ей руки и сбивчиво говорил, что купит ей точно такие же драгоценности, «как только все устроится». В тот же день продал кольцо, которое подарил жене после выигрыша в лотерею. Невольно подумал о черной оправе. Цену получил хорошую. Покупатель-мешочник, кем-то ему рекомендованный («Честный, не обижает людей!»), наглухо затворил дверь и купил кольцо, не торгуясь. Его жена восхищалась и просила приносить еще. Дмитрий Анатольевич старательно-весело рассказывал об этом жене. Татьяна Михайловна тоже улыбалась.

От безделья Дмитрий Анатольевич теперь много гулял, иногда с женой, чаще один: ее прогулки утомляли, особенно после очередей и нелегкой работы на кухне. Он хорошо знал Москву. Посещал старые исторические уголки города, старался припомнить их прошлое, представлял его себе довольно живо. Иногда натывался на тяжелые сцены: то люди в кожаных куртках с револьверами в руках за кем-то гонялись, злобно крича на всю улицу, то вели куда-то арестованных, вероятно ни в чем решительно не виноватых, то везли в повозочке гроб на кладбище, то в мороз выбрасывали жильцов из дому. «И все это сделал один человек!» — с несвойственной ему прежде злобой думал Ласточкин. По всем ученым книгам, да и по его собственным убеждениям, роль личности в истории признавалась ограниченной. Но теперь он не мог не думать, *все-таки* без Ленина не было бы октябрьского переворота, не было бы, следовательно, этого моря зла и страданий.

Наконец, случилась та большая неприятность, которую легко было предвидеть. Дмитрию Анатольевичу казалось даже (вероятно, неправильно), что он ее ждал как раз за несколько минут до того. Рано утром раздался долгий властный звонок, — *так* никто из знакомых не звонил. Явился незнакомый человек — не в кожаной куртке, но по виду несомненно принадлежавший к начальству. Он предъявил «мандат» на занятие всех комнат кроме одной. Увидев рояль, объявил, что и рояль подлежит реквизиции, хотя в мандате ничего об этом сказано не было. Ласточкины долго и горячо с ним спорили (потом было тяжело вспоминать). Татьяна Михайловна говорила, что она артистка, что рояль ей необходим для заработка, что она дает уроки музыки. Говорила со слезами, путано, сбивчиво. Могло выйти худо: могли провстрить, потребовать доказательств и просто выгнать на улицу. Но вышло сравнительно хорошо. Человек властного вида оказался не грубым и не очень злым. Слово «артистка» произвело на него некоторое впечатление, и он

еще упивался своей властью. Доказательств не потребовал и в конце концов согласился не отнимать рояля и оставить им две комнаты. Затем долго составлял какой-то документ; писал он плохо, Дмитрий Анатольевич ему помогал.

— Въедут к вам в будущий понедельник. Это для питерских товарищей, они еще не прибыли. Пока, граждане, так и быть, поживите напоследок как буржуи, — пошутил он перед уходом. «Очевидно, сановники, если «прибыли»? — подумал Ласточкин.

— А кто, гражданин, будет у нас жить?

— Скоро, гражданка, познакомитесь. Хорошие люди.

После его ухода Татьяна Михайловна расплакалась. Дмитрий Анатольевич утешал ее, как мог.

Мебель из реквизированных комнат переносить запрещалось, но бумаги из письменного стола Ласточкин перенес в гостиную и, как мог, всунул их в единственный ящик небольшого стола, который теперь становился письменным. Попробовал вытащить этот ящик, и бумаги посыпались на пол, поверх задней стенки ящика. Это было, конечно, мелочью, но нервы Дмитрия Анатольевича не выдержали. Он сел, тяжело дыша, и долго сидел молча в полном отчаянии. Татьяна Михайловна переносила из спальни одежду и белье.

В тот же день он отправился к профессору Травникову. Пошел пешком: стоять пятым или шестым пассажиром на ступеньках трамвая было трудно и опасно. Ласточкин хотел посоветоваться: нельзя ли получить какую-нибудь кафедру или доцентуру с жалованьем? О службе в комиссариатах не хотел слышать, хотя там работу можно было получить без особых унижений. Но университет был другое дело.

— Я мог бы читать о народном хозяйстве. Правда, у меня нет ученых степеней, однако теперь, кажется, ваш совет смотрит на это сквозь пальцы. Уж вы постарайтесь, Никита Федорович, будьте благодетелем, — нерешительно говорил он. «Будьте благодетелем» было шутиливой формой речи, но ему казалось, что он в самом деле просит о благодеянии.

Травников отнесся очень сочувственно.

— Прекрасная мысль, и мы это устроим! Но ведь быстро это не делается. Вы долго еще, батюшка, продержитесь?

— Месяца три еще продержусь. Продаю бриллианты жены, — с натянутой улыбкой ответил Ласточкин.

— Сделаем все возможное! — сказал профессор. — Наплыв желающих у нас теперь большой, но увидите, устро-

ится дело. Не велика, впрочем, радость, если и устроится. Жалованья еле хватает даже нам, ординарным. Медики дело другое. У них пока квантум схватишь.

Дмитрий Анатольевич вернулся домой несколько более бодрый. «Тут решительно ничего худого нет. Разве только немножко смешно: стану на старости лет профессором!»

IX

После покушения Каплан на Ленина были расстреляны тысячи людей. Началась паника. Все ожидали, что большевики будут хватать новых заложников и убивать их при каждом новом покушении или вообще по мере надобности. Заложником мог оказаться любой человек, даже не очень видный. Бежать стало гораздо труднее. «Упустили момент, упустили! Большая была ошибка. Это моя вина! — думал Ласточкин. — Все-таки в Киеве, в Ростове как-нибудь прожили бы: ведь здесь голодаем. Таня не хотела ехать, но я должен был решиться на это за нас обоих!»

Он только представлял себе жену на Лубянке: «Без меня, без вестей обо мне, с ежеминутной мыслью о том, что я расстрелян или буду расстрелян!» Меньше думал о себе самом, хотя чувствовал, что и он едва ли выдержит месяц, ежедневно ожидая казни. С Татьяной Михайловной он старался об этом не говорить. Но слухи о расстрелянных передавались каждый день, с подробностями, неизвестно как доходившими.

«Просто непонятно, откуда взялось это море невиданного зла, неслыханной ненависти! Как же мы не замечали, что нас так ненавидят! — думала растерянна Татьяна Михайловна. Слухи о людях, проявивших перед казнью большое мужество, ее восхищали и умиляли. Проверяла себя. «Кажется, если убьют вместе с Митей, я перенесу так же, как они... Впрочем, не знаю... А он?» Ей было тем более тяжело вспоминать, что именно она была против отъезда на юг, еще недавно безопасного, даже легального: «Бумажку от украинских властей Митя достал бы легко». Дмитрий Анатольевич на нее поглядывал и угадывал ее мысли так, точно их слышал. В несчастье «телепатия» между ними еще усилилась.

Оба смутно чувствовали, что часть интеллигенции, довольно большая часть, сдалась новой власти уж очень легко и быстро. Служили на разных должностях теперь почти все, кому не удалось бежать за границу или на юг. «Иначе

и быть не может: иначе голодная смерть или тюрьма с сыпным тифом», — говорил жене Ласточкин. Но должно-сти были приличные и неприличные. К его неприятному изумлению, неприличные тоже пустовали недолго; на них люди, прежде имевшие почтенную репутацию, не только служили, но прислуживали и выслуживались. Каждый день сообщалось новое: такой-то общественный деятель публично признал свои ошибки и поступил в Комиссариат внутренних дел, такой-то писатель стал писать в «Известия», такой-то профессор всячески превозносит Луначарского. Некоторые в частных разговорах объясняли: «Что ж, как-никак, строится социалистическое общество, то есть делается то, о чем русская интеллигенция мечтала со времени Герценов и Чернышевских, и мы обязаны принять участие в большом деле». Другие на Герценов и Чернышевских не ссылались, приняли циничный тон и даже этим хвастали.

Были, разумеется, и люди безупречные. Они в большинстве голодали в настоящем смысле слова. С одним из них Ласточкин недавно встретился и едва его узнал. «Между тем ему легче: одинокий человек. Ведь большинство теперь идет на всякие сделки с совестью, чтобы не голодали жена и дети», — подумал Дмитрий Анатольевич. Они прежде не были близки; теперь поговорили об общественном разложении с искренней симпатией друг к другу

— Все же это одна сторона дела, — сказал Ласточкин. — Люди проявляют и героизм. На юге, на севере, на востоке идет вооруженная борьба. Эти люди, одинаково и правые, и левые, спасают честь России.

— Да, это так. Я лично себе желаю только кончины не постыдной. Верно, уж недолго ждать. И, право, не жаль умереть.

«Не жаль», — подумал и Дмитрий Анатольевич уже теперь не в первый раз. Одной мысли мужа телепатия Татьяне Михайловне не передала.

У него оставались знакомые на созданном им в свое время военном заводе под Москвой. Многие прежние служащие продолжали там работать, и среди них у Дмитрия Анатольевича были приятели.

«Ведь это так, только на случай крайности! — думал он по дороге на завод. — Это само по себе ничего, разумеется, не означает: просто стану немного спокойнее. Тане не скажу, ведь никогда до *этого* не дойдет!.. Лишь бы только крышка через щели не пропускала паров!» В кармане у него была металлическая мыльница с плотно закрывавшей-

ся крышкой. В пору своей работы на заводе Ласточкин привык обращаться с цианистым калием и под вытяжным шкафом даже его пересыпал руками без перчаток; химики советовали этого не делать, требовали, чтобы он тотчас мыл руки самым тщательным образом. «Запру в ящик. Запах я в комнате тотчас почувствую и, если он будет, высыплю все в уборную. Да есть ли вообще пары у сухого вещества? Я тогда, действительно, отравился, но, верно, оттого, что в колбе были остатки кислоты и выделился синильный газ».

На заводе у ворот охраны не было, — не то что в его время. Он вошел беспрепятственно и, оглядываясь по сторонам в столь знакомом ему дворе, прошел в отдельное небольшое строение, в котором помещалась лаборатория. С усмешкой вспомнил, как в свое время торговался о нем с подрядчиком и добился небольшой скидки. Вспомнил и о ста тридцати тысячах ядовитых снарядов, изготовленных при нем заводом. «Может быть, теперь применяются против добровольцев или волжской армии? Этого мы никак предвидеть не могли».

Его встретил старый химик, заведовавший лабораторией еще при нем. Они очень обрадовались друг другу. В былые времена Дмитрий Анатольевич часто заходил к нему, следил за его опытами, расспрашивал обо всем, узнавал много ценного. Старик был знатоком дела, занимался химией с юношеских лет, обожал ее и говорил о химических веществах, как о существах одушевленных: какие любят друг друга, какие не любят. Называл их часто «по имени-отчеству»: «Фосген Иванович», «Селитра Петровна».

— Дмитрий Анатольевич! Вас ли я вижу? Значит, слава Богу, в заложники не попали! И я, как видите, пока не попал.

— Вы-то за что могли бы попасть?

— Почему же? Отлично мог бы. Ведь меня в октябре вывезли на тачке.

— За что вывезли на тачке? — изумленно спросил Ласточкин, помнивший, что старик был либеральных взглядов и обращался с рабочими очень хорошо.

— Вот тебе раз, «за что»! Ни за что, разумеется. В первые же дни вывезли из принципа и из озорства. Главный директор скрылся, а надо же было кого-нибудь вывезти на тачке! Вывезли бухгалтера и трех старших заведующих отделениями... Впрочем, не все рабочие этому сочувствовали. Многие даже возмущались. Я лично и рад

был бы покинуть завод, да не в таком экипаже. Через несколько дней начальство велело взять нас назад, как «незаменимых специалистов». Действительно, людей осталось немного. Войдите, я теперь один, — добавил он. Лаборатория, в которой прежде работало четыре человека, была пуста.

— Где же все остальные?

— Не знаю, где они. У нас было ведь, как, впрочем, везде, всякой твари по паре. Кто пошел в меньшевики, кто в большевики, кто призван в Красную Армию... Мальчишку Никифора помните? Он нас всех тут чаем поил.

— Никифор Шелков? Кажется, славный был юноша, — сказал Ласточкин, вспомнив, опять с неприятным чувством, что в день несчастного случая с ним этот мальчик бегал за шампанским и, радостно, задыхаясь от бега и волнения, принес его минуты через три.

— Тот самый, которому вы тогда подарили четвертной билет. Он пошел в Красную Армию добровольцем. Тоже из принципа и из озорства. Возраст у него ведь был майнридовский. Так вот, его мать ко мне на днях приходила, горько плакала: убит. И он же, этот самый Никифор, хоть очень меня любил, а помогал вывозить нас на тачке, — сказал, вздыхая, старик.

Сообщил еще сведения о сослуживцах. Один из них, неприятный льстец и карьерист, очень не любимый товарищами, теперь был директором завода.

— Бывает часто в Кремле, приносит новости и хвастает ими. На днях мне таинственным шепотом рассказывал, что Ленин *сшил*ся с какой-то Инессой, или как ее? — сообщил старик вполголоса, хотя в лаборатории никого больше не было (Ласточкину он, как все, доверял совершенно). — Усвоил даже их жаргон: «Сшился»... «Вот чего»... «Какое их собачье дело?» Ведь это, верно, впервые в истории и высшая администрация говорит на блатном языке. Дожили, можно сказать... Ко мне, впрочем, до поры до времени благоволит. Подлаживаюсь, как могу, хоть, разумеется, стыдно. А вы лучше ему на глаза не показывайтесь. Да вы зачем, собственно, сюда пожаловали, Дмитрий Анатольевич?

Ласточкин заранее приготовил ответ: он помнит, что в свое время оставил в лаборатории в ящике шкафа с химическими веществами свое самопишущее перо.

— Вдруг оно у вас тут сохранилось? Теперь такого ни за какие деньги не купишь! Если б деньги и были.

Старик только пожал плечами.

— Вы, Дмитрий Анатольевич, очевидно, сохранили веру в человеческую добродетель. Если оставили что, то давным-давно украли. Впрочем, посмотрите. Вы говорите, в ящике того шкафа?

Ласточкин подошел к шкафу, вытянул ящик и быстро через стекло оглянул полки. На второй на том же видном месте стояла банка с черепом на ярлыке и с надписью большими буквами: «Смертельный яд. Цианистый калий. KCN». Как же теперь незаметно отсыпать?

— Вы правы. Нет пера. Ничего не поделаешь.

— Разумеется, нет. А вы не выпили бы со мной «чаю», Дмитрий Анатольевич?

— Очень охотно! — сказал Ласточкин с радостью.

— У меня нижегородский, брусничный. Сахару нет, но есть прошлогодние леденцы-васильевичи. Прячу их в передней, а то стащат. Сейчас принесу, — сказал старик и вышел. Ласточкин поспешно вынул мыльницу, насыпал в нее цианистого калия и плотно надвинул крышку. «Первая кража в моей жизни! Ничего, это будет гонораром за три года бесплатной работы».

— Что же завод теперь изготавливает? Какую «Васильевну»? — шуточно спросил он, оправившись от волнения.

— Ничего почти не изготавливаем. Я все пишу разные проекты и подаю куда следует. Рабочим платим, но им жрать все-таки нечего, — сказал химик. — Хотите подогреть? Газ пока дают.

— Не надо, я пью холодный, — ответил Ласточкин и с наслаждением раскусил леденец. Старик вдруг со слезами обнял Дмитрия Анатольевича.

— Так рад, что вы зашли! Отвык от хороших людей. Встречаюсь с ними теперь, как Стэнли с Ливингстоном среди дикарей. Верно, больше никогда не увидимся...

«Разумеется, это просто так, на всякий случай. Я и не думаю о возможности самоубийства», — твердил мысленно Ласточкин и на обратном пути. Он теперь и сам с трудом понимал, как мог совершить эту странную, небывалую поездку за ядом. «Или затмение нашло!.. Но ведь и вреда не произошло никакого оттого, что я съездил?» Думал, не выходят ли и здесь в вагоне пары из мыльницы, лежавшей у него в кармане (на всякий случай прикрыл ее и носовым платком). «А что будет, если меня тут же арестуют в трамвае? Как я объясню?»

Ласточкин был утвержден штатным приват-доцентом: в первое время при большевиках формальности в университете в самом деле соблюдались не строго, новых людей приглашали охотно, к их ученым степеням не придирались. Дмитрия Анатольевича любили все знавшие его люди, а среди них были профессора, пока, по старой памяти, еще самые влиятельные. Другим было известно, что он из богатых людей внезапно стал бедняком, — ему, как и другим таким же людям, надо дать возможность жить. Не очень возражали даже те, в большинстве молодые, ученые или неудачники, которые с первых дней после октябрьского переворота говорили, что, «как-никак, в новом строе что-то есть и надо относиться к нему вдумчиво, нельзя, знаете, так все начисто отрицать!» Был утвержден и выбранный Ласточкиным курс: «Народное хозяйство России с начала двадцатого столетия». Однако Травников вздыхал, зайдя к нему для поздравлений.

— Как сказано у Тургенева: «Читал и содержания оно-го не одобрил», — говорил он вполголоса, оглядываясь на стену, за которой жили вселенные большевики. Татьяна Михайловна угощала его морковным чаем, грустно вспоминая их прежний «богдыханский». — Скользкий сюжетец, скользкий.

— Почему же, дорогой профессор?

— Посудите сами, барынька, вы ведь умница. Я, слава Богу, взгляды вашего повелителя знаю. Он мне сто раз говорил, что Россия с начала двадцатого века, а особенно с тысяча девятьсот шестого года, переживала необычайный хозяйственный подъем, что наше народное хозяйство развивалось сказочным темпом, гораздо быстрее, чем в Европе, пожалуй, не менее быстро, чем в Америке. Я это даже принимал *cum grano salis*¹, но я, старый хрыч, ничего в экономике не смыслю. Так вы говорили, Дмитрий Анатольевич?

— Так точно.

Профессор развел руками.

— Так ведь это же для *них* и теоретическая ересь, да еще и нож вострый! Сказочным темпом — после подавления первой революции!

— Но ведь это чистейшая правда!

— Потому и нож вострый, что правда!

¹ Здесь: с юмором (лат.).

— Да я из этого никаких политических заключений делать не буду.

— Только этого бы не хватало! Но *там* сами сделают заключения. Лучше бы вы выбрали курс об экономической истории древней Ассирии.

— Я с ассирийскими делами не знаком, а с нашими знаком недурно.

— Как знаете. Пеняйте на себя в случае чего. Во всяком случае, избави Бог, не доводите курса до наших дней: вдруг вы еще признаете, что теперь при Ленине вообще никакого народного хозяйства нет!

— И это также, увы, правда.

— Так-с. Правда, у нас уже некоторые левые доцентшники, *servus resus*¹, говорят, что нельзя у большевиков все отрицать «с кондачка». Почему это, кстати, у нас все начали так «по-народному» говорить? Особенно евреи... Не гневайтесь, барынька, вы знаете, что я не антисемит... Мне Шаляпин, тоже никак в антисемитизме не повинный, однажды сказал, что всю жизнь был окружен евреями: «Боюсь даже, говорит, что из-за этого я диабетом заболею!» — профессор недурно воспроизвел богатую, значительную интонацию Шаляпина. — Федор Иванович почему-то считал диабет еврейской болезнью... Не смейтесь... Так вот я тоже вроде этого. Только я, хотя коренной потомственный москвич, не говорю «с кондачка» и даже не знаю, какой такой «кондачок»? Вы, верно, знаете, барынька?

— Не имею ни малейшего понятия, но помню, что это старое слово. А смеюсь я, дорогой профессор, из-за вашей живописности... Но вы серьезно советуете Мите выбрать другой курс?

— Самым серьезным образом. Или пусть хоть вначале отпустит им какой-нибудь комплимент... «Плюнь да поцелуй злодею ручку!»

Ласточкин нахмурился.

— Я уверен, что вы шутите, — сказал он. — Иначе вы не говорили бы о «сервильном»² стаде».

— А есть разные степени. Одно маленькое пятнышко не будет заметно на вашей белоснежной ризе. Увидите, сколько белоснежных скоро станут сплошным грязным пятном.

¹ Раболепное стадо (лат.).

² Раболепный (лат. *servilis*).

Был назначен день первой лекции. Дмитрий Анатольевич много работал над подготовкой курса. Библиотеку у него не отняли, и в ней было много книг по экономическим вопросам. Были классики политической экономии; он в свое время прочел Адама Смита, Рикардо и даже первый том «Капитала». Были и новейшие труды, и такие специальные журналы последнего десятилетия, в которые и заглянуть можно было только под давлением тяжелой необходимости. Говорил он легко и хорошо, иногда и экспромтом, отвечая на возражения. Но теперь он волновался: кафедра в знаменитом университете России! Ласточкин приготовил конспект всего курса, выписал множество цитат, а первую лекцию всю написал целиком, — «на случай внезапного затмения». Знал, что на нее придут не только студенты, но и профессора. Две-три страницы он даже прочел наедине вполголоса: было совестно репетировать громко, — во второй комнате могла услышать жена.

Накануне первой лекции неожиданно рано утром у них появился Рейхель, с чемоданчиком в руке. Он пришел с вокзала пешком. Увидав его, Татьяна Михайловна ахнула. В последние два года все на ее глазах очень менялись физически и точно хвастали этим, — кто потерял от недоедания полпуда, а кто и пуд. Но Аркадий Васильевич был просто неузнаваем: «Живой скелет!»

— Не беспокойтесь, Таня, — сказал он с не шедшей к нему жалкой улыбкой. — Я не собираюсь у вас остановиться. Вечером возвращаюсь в Петербург, хочу только у вас оставить чемоданчик и, если можно, немного передохнуть. И чаю мне не давайте, я ничего не хочу. Отвык и от чаю, и от еды вообще.

Она все же дала ему стакан морковной настойки и два сухаря. Он ел и пил с жадностью.

— Хотите вина, Аркаша? Вино еще осталось.

— От этого я просто не в силах отказаться! Дайте, спасибо.

— Видно, у вас в Петербурге еще хуже, чем у нас?

— Просто голодаем! — сказал Рейхель и даже не выругал большевиков.

— Расскажи, что вообще у тебя делается, — сказал Ласточкин, тоже сочувственно глядевший на своего двоюродного брата.

— Но если вы хотите говорить о политике, то, пожалуйста, не очень громко. Мы ведь теперь не одни.

— Кем вас с Митей уплотнили? — спросил Аркадий Васильевич, оглянувшись на стену.

— Могло быть и хуже, ничего себе люди. Да мы их и видим мало. Они даже не говорят: «Попили нашей кровушки!», хотя в известном смысле мы в самом деле попили.

— Ни в каком смысле не попили, ерунда. Никак не больше, чем, например, в Германии, а там Лениных нет.

— А дело твоей Германии, кстати, швах. Слава Богу, сильно бьют на Западном фронте немцев.

— Это еще неизвестно, — сказал Рейхель уклончиво. Победы союзников в самом деле его изумили. — А вот мою кровь действительно пьют клопы. Ко мне вселили трех грязных грубиянов, развели клопов. К Ленину и в буквальном, и в переносном смысле хлынула вся нечисть России. («Ох, опять затянет волынку!» — подумал Ласточкин). И так, верно, всегда и везде было со всеми благодетелями человечества. Не со всеми? Идея была другая? Что ж, у этих тоже, быть может, люди спасают душу Марксом. Вот ведь и Стенька Разин ходил на Соловки к святым угодникам. Впрочем, я теоретически ничего не могу иметь против нынешнего правительства. Я с молодых лет стоял за самодержавие, и это у нас первое *настоящее* самодержавное правительство... Ну, да что говорить.

Он рассказал о своей жизни. Выпив с наслаждением вина, сообщил, что теперь питается только таранью или похлебкой из конины.

— Вот недавно я варил похлебку и нашел в ней лошадиный глаз! Меня стошнило... Больше ничего купить нельзя, хотя деньги у меня есть: вовремя догадался вынуть все из банка и припрятать. Вы, конечно, тоже все вынули?

Узнав, что они не успели это сделать, он изумился.

— Вот тебе раз! Я догадался, а ты, Митя, знаменитый деловой человек, нет!.. Вот что, возьмите, друзья мои, у меня. Мне не нужно по вышеуказанной причине!.. Почему же нет? Вы столько раз мне прежде помогали. Умоляю вас, возьмите хоть половину моих.

Ласточкины были тронуты, но решительно отказались.

— Ты ведь знаешь, что я получил штатную доцентуру с жалованьем, — сказал Дмитрий Анатольевич.

— Доцентуру? Нет, откуда же мне знать?

— Помнится, я тебе писал.

— Ничего не писал, или письмо не дошло.

Ласточкин рассказал. В другое время Рейхель обратил бы внимание на то, что он сам, с учеными степенями, еле нашел кафедру после долгих поисков, тогда как его двоюродный брат, без научных работ, получил ее легко и быстро. Теперь он искренно выразил радость. Еще больше

удивило Ласточкиных то, что он спросил о Люде, и как будто без всякой злобы.

— Мы ровно ничего о ней не знаем и очень беспокоимся. Представь, она уехала еще в прошлом году на Кавказ и там застряла! С тех пор как Кавказ отделился, мы от нее ни одной строчки не получили! И ты понимаешь, в какой мы были тревоге, особенно в пору этих ужасов в Пятигорске.

— Каких ужасов в Пятигорске?

— Разве ты не помнишь? Там было зарезано семьдесят человек, преимущественно сановники и генералы. Герои войны, Рузский, Радко-Дмитриев. А это в двух шагах от Минеральных Вод, от Ессентуков.

— Какое же Люда могла бы иметь отношение к генералам? Ни минуты не сомневаюсь, что у нее все благополучно... Я ничего против нее не имею, — добавил он, помолчав, — она неплохой человек. Если опять восстановится почтовое сообщение, передайте ей, что я ей желаю всяческого добра.

— Непременно!.. Непременно!.. — радостно в один голос сказали Ласточкины.

— Ну, что ж, я пойду по делам. Перед отходом поезда, — в предположении, что есть поезд и что он отойдет, — я только на минуту зайду к вам за чемоданчиком. Простимся лучше теперь, тогда вам незачем будет меня ждать... Да, вот как сложилась жизнь, друзья мои.

Рейхель хотел сказать, но не сказал, что жизнь и его обманула, несмотря на всю его необыкновенную проницательность. Он всегда искал способа отгородиться от жизни; отгораживался разными «мировоззрениями», и учено-отшельническим, и скептическим, и черно-реакционным. Теперь искал еще какого-то нового, не находил, перескакивал с одного из прежних на другое, и был несчастен больше, чем когда бы то ни было прежде.

XI

По вечерам Ласточкины читали классиков: всех потянуло к тому, что было *бесспорно* в русской культуре. Бесспорны были также Мусоргский или Чайковский, но бывать в театрах не хотелось: трудно было доставать билеты, утомительно идти пешком, оба были измучены, не желали и смотреть на новую публику. Не очень хотелось и читать газеты.

Однажды Дмитрию Анатольевичу попало в них имя Эйнштейна. Советская печать, нередко приводившая цитаты из немецких газет, особенно из «Берлинер Тагеблатт», сообщала, что создатель теории относительности (которую, впрочем, большевистские философы очень не одобряли) подвергается злобным нападкам со стороны германских реакционеров, милитаристов и антисемитов, — в частности за то, что сочувствует коммунизму и коммунистической революции. Газета излагала политические мысли, будто бы высказывавшиеся Эйнштейном. Ласточкин прочел с недоверием. «Быть может, и тут солгали или пригнули. Неужели гениальный человек мог бы нести такой вздор, вдобавок и совершенно банальный!» — думал он, читая статью. Эйнштейн отстаивал свободу, но не объяснял, кто в мире и России ее защищает; ругал реакционеров, но не ругал большевиков («или они это выпустили?»). По его мнению, не надо было верить тому, что многие пишут о русских событиях: *если жестокости и были*, то ведь нужно принять во внимание то-то и то-то, — далее следовали разные общие места о революциях и ссылки на русскую историю. Были ссылки также на какую-то неопределенную гармонию, которая непременно должна установиться в мире. Неясно было, в чем эта гармония будет заключаться и кто и как будет ее устанавливать.

«Это тоже не очень ново и не очень умно, — думал раздраженно Дмитрий Анатольевич. — У тех неизлечившихся поклонников Людендорфа все банально по-реакционному, а у него все банально по-радикальному: и эти лицемерные «если» — он, видите ли, не знает! — и эти весьма односторонние умолчания, и этот «гигантский социальный опыт». Едва ли господам из «Берлинер Тагеблаттов» очень хочется, чтобы такой же социальный опыт проделали над ними, но в варварской России отчего же нет, это очень интересно! Тут и русская история, о которой и сам Эйнштейн, и люди из «Берлинер Тагеблаттов» в лучшем случае когда-то прочли страничек десять в школьных учебниках. Хороша и его радикальная гармония, очевидно, без реакционеров, но — тоже очевидно, хотя и недосказано, — вкупе с большевиками! И вся эта глупая слащавая фальшь! Да и его, Эйнштейна, туда втянули». Ласточкин не мог сказать себе в утешение, что Эйнштейн, верно, глуп. Знал, что ум — неопределенное понятие, знал также, что этот человек в своей области гений, быть может, даже сверхгений. «Во всяком случае он становится вдвойне символической фигурой нашего времени. Своим гением поко-

лебал прочные устои знания, своей безответственной болтовней дал слащавую санкцию «Берлинер Тагеблаттам».

Все это Дмитрий Анатольевич, впрочем, думал неуверенно. Теперь уверен больше не был ни в чем. «Говорю о чужих банальностях, а наши собственные? Я почти ни от чего не отказываюсь ни в нашем духовном наследстве, ни в своих личных взглядах. Хочу пересмотреть, пересматриваю, и все же большого, основного заблуждения не нахожу. Были, конечно, ошибки, в какой-то мере мы, быть может, отвечаем морально и за «разбойника» Люды (хотя почему же я за него отвечаю?). Отвечаем за то, что давали деньги большевикам, как давал Савва Морозов (я им никогда не давал). Быть может, у нас была и своя слащавая фальшь, даже наверное была, все-таки гораздо более честная и бескорыстная. И вреда от нас было неизмеримо меньше, чем от разных Плеве и Людендорфов. И основная наша ценность — свобода — никак не была ценностью фальшивой. И уж от нее-то я не откажусь никогда, как не откажусь от «дважды два четыре»! Настала катастрофа, нам больше как будто не на что надеяться, и все же я думаю, что наше поколение было *только* несчастно».

Ложились они теперь рано и до полуночи читали в спальней при свете керосиновой лампы, как в пору детства Дмитрия Анатольевича. Оба читали в очках: он с позапрошлого года, она с прошлого стали (с тяжелым чувством) носить очки при чтении. Татьяна Михайловна в этот вечер сняла их раньше обычного, положила на столик и задумалась: «Зимой топить будет нечем. На жалованье Мити и впроголодь жить будет нельзя. *Они* кончатся? Только на это и надежда, но до того, как кончатся *они*, кончимся мы, если не физически, то морально. Митя к ним не пойдет, но что же он будет делать?» Думала «он» в единственном числе: смутно чувствовала, что зимы не переживет, — здоровье у нее все расстраивалось, она боялась пойти к врачу и еще старательнее, чем прежде, скрывала болезнь от мужа. Для покупки дров продадим Крамского. Рискованно, но что ж делать? Верно, дадут гроши». Теперь, впервые в ее жизни, денежные расчеты у нее примешивались к самым важным и страшным мыслям. «Как он будет без меня жить? Если б хоть Люда была в Москве, я была бы спокойнее... Но где она теперь? Жива ли?»

Спальная — прежняя столовая — была почти пуста: оставались только кровать и диван, ночной столик между ними и одно кресло; да еще на стене висели на гвоздях немногочисленные платья и два мужских костюма. Все ос-

тальное было продано. Вселенные жильцы не доносили. Был продан за бесценку и левитановский пейзаж (на четырехугольник, оставшийся от него на обоях, им было особенно тяжело смотреть). Продавать принадлежавшие народу произведения искусства было прямо опасно. Однако жильцы и об этом не донесли. Их было пятеро: муж, жена, три сына подростка. Им вначале предоставили всю квартиру, кроме двух оставленных хозяевам комнат; можно было ждать, что вселят кого-либо еще. Пока Ласточкины не могли особенно жаловаться на то, о чем теперь только и говорили прежние собственники хороших квартир. Новые жильцы не развели клопов, не подслушивали, не подглядывали, не ругались, не следили за каждым движеньем «буржуев». «Право, недурные люди! — говорил Дмитрий Анатольевич. — Он, оказывается, с тысяча девятьсот пятого года «член партии»: они ведь не говорят «большевистской партии», а просто «партии». Ничего, проживем и с ними. И незачем из-за потери квартиры принимать вид Людовика Шестнадцатого в Тампльской тюрьме. Так теперь делают многие, у которых и до революции не было ни гроша».

Отравляли жизнь только подростки, на редкость буйные, дерзкие, вечно скандалившие и грубившие родителям. Они выбрали себе гостиную, которую когда-то обставила Нина. По-видимому, их прельстила круглая форма этой комнаты. Расставили в ней кровати и покрыли содраным со стен шелком. Но проводили день в бывшей мастерской Дмитрия Анатольевича, и оттуда постоянно доносился дикий шум. Татьяна Михайловна попробовала с ними поговорить, назвала их товарищами и просила шуметь меньше: ее муж нездоров и должен готовить свой курс в университете. Говорила с самыми ласковыми убедительными интонациями и ничего не добилась.

— Не брызгайте, гражданин. Не диалектически рассуждаете, — сказал Петя.

— Буза и хвостизм, — подтвердил Ваня. — Откатитесь, гражданин.

Третий, Вася, ничего не сказал, но, уходя, пробормотал что-то вроде «меньшевицкой лахудры». На этом разговор кончился, а руготня, драки, шум в мастерской стали еще ожесточеннее. Татьяна Михайловна ничего о разговоре мужу не сказала, «что мог бы он сделать?»

Родители же вели себя вполне сносно и даже порою деликатно. Оба работали не в Кремле и, по-видимому, не на высоких должностях, хотя муж участвовал еще в 1905 году в московском восстании. Уходили на службу с утра,

гостей принимали нечасто и жили небогато. Но съестные припасы у них были. Татьяна Михайловна постоянно встречалась с жилицей на кухне, старалась не смотреть на то, что там жарилось и варилось; ей казалось, что жилица чувствует себя смущенной.

Скоро у Ласточкиных человек в кожаной куртке отобрал рояль. Теперь они и не спорили. Играть все равно было трудно, а продать рояль невозможно. В этот день жилица, предварительно постучав в дверь, вошла к Татьяне Михайловне и нерешительно попросила ее продать ей «лишнее» платье и белье. Татьяна Михайловна радостно согласилась без торга: жилица предложила значительно больше, чем давали старьевщики. Выйдя к себе с покупкой, она тотчас вернулась и принесла полфунта кофе: «Возьмите, гражданка, это бесплатно. У нас есть». Татьяна Михайловна приняла подарок, очень благодарила — «муж так обрадуется» — и потом прослезилась. Стала слаба на слезы.

Дмитрий Анатольевич читал «Войну и мир». Эта книга казалась ему лучшей в мировой литературе. Говорил жене, что начал читать Толстого двенадцати лет от роду: «Покойная мама подарила, когда я болел корью. Двенадцати лет начал и, когда буду умирать, пожалуйста, принеси мне на «одр» то же самое». За этой книгой он часто засыпал; мысли его приятно смешивались. «Как хорошо, что существует в мире хоть что-то абсолютно прекрасное, абсолютно совершенное!..» Но в этот вечер он заснуть не мог.

— Странно, — сказал он, отрываясь от книги. — Ведь крепостное право было ужасно, а все-таки люди тогда были культурнее, чем мы! Толстой сам на старости лет говорил, что в дни его молодости было в России культуры и образования гораздо больше, чем в двадцатом веке. А это было до большевиков.

— Старикам свойственно идеализировать прошлое, но я допускаю, — ответила Татьяна Михайловна. — А вот у *них* растет действительно редкое поколение. Хороша будет жизнь, когда подрастут все эти Пети и Вани!

Дмитрий Анатольевич вздохнул и снова взял книгу. Он читал о поездке князя Андрея в Отрадное, с знаменитой страницей о старом дубе. «Весна, и любовь, и счастье! — как будто говорил этот дуб. — И как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинаковые, и вон и я растопырил свои обломанные, ободран-

ные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли — так и стою и не верю вашим надеждам и обманам...»

«Да, разумеется, тысячу раз прав этот дуб, — подумал Дмитрий Анатольевич. — Только князь Андрей не имел права это думать, а я и мы все имеем. Да, я тоже никаким надеждам больше не могу верить». Точно чтобы самого себя опровергнуть, Ласточкин перевернул несколько страниц в знакомой ему чуть не наизусть книге и прочел о возродившемся, преображенном дубе: «И на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь, и луна, — все это вдруг вспомнилось ему».

«Но как же тут мертвое лицо жены! Это тоже «лучшая минута жизни?» — вдруг с сильным волнением подумал Дмитрий Анатольевич, никогда прежде не замечавший этих слов. «Обмолвка? Но разве у Толстого бывают обмолвки? И то же самое есть в другой главе: Пьер, вернувшись из плена, с радостью думает, что жены больше нет в живых! Что же это такое? Значит, не всегда худо, что человек умирает?» Он с беспричинным ужасом оглянулся на соседнюю кровать. Татьяна Михайловна уже задремала; лицо у нее при свете керосиновой лампы казалось вместе измученным и просветленным, — мертвым.

XII

Для первой лекции отвели одну из больших зал Аудиторного корпуса. Актовый зал был бы уж слишком велик. К двум часам аудитория была полна на три четверти. Новые студенты и понаслышке мало знали Ласточкина, но обычно ходили на вступительные лекции новых преподавателей. Впереди студенческих скамеек на стульях сидело немало профессоров — преимущественно старики с разных факультетов. «Представителей власти», к большому облегчению Дмитрия Анатольевича, не было. Был один научный работник, до революции засидевшийся в приват-доцентах и принадлежавший именно к тем, о которых говорил Ласточкиным Травников: еще с прошлого года он все с большей горячностью утверждал, что надо честно и смело протянуть руку новому правительству: там есть кристально чистые,

культурнейшие люди. В тесном кругу одни из профессоров о нем говорили, что он боится на обе стороны; другие же называли его «оком Кремля, если не Лубянки». Еще недавно с ним, пожалуй, люди и не здоровались бы, но теперь никто его не бойкотировал и все пожимали ему руку, большинство очень холодно.

Ласточкины потратились на извозчика. Идти пешком было далеко, Дмитрий Анатольевич боялся, что одышка у него усилится и помешает ему говорить. По дороге он все время прокашливался. Татьяна Михайловна тоже очень волновалась, хотя знала ораторский дар мужа.

— Только не волнуйся, — говорила она. — Если потеешь нить, просто найди в тетрадке нужную страницу и преспокойно читай.

— Это не принято в университете. Но я несколько не волнуюсь.

— И слава Богу! Волноваться нет ни малейшей причины. Ты всегда говоришь прекрасно.

Его встретили недолгими рукоплесканиями. Ласточкин неуверенно раскланялся, положил перед собой тетрадку, надел очки и, справившись с дыханием, заговорил. Прежде принято было начинать: «Милостивые государины и государи». Теперь милостивых государей давно не было, слово «граждане» все еще было непривычно и казалось неестественным; Дмитрий Анатольевич дома решил, что начнет лекцию без всякого обращения. Татьяна Михайловна вошла в аудиторию через другую дверь и заняла место на последней скамейке. «Слава Богу, слушателей много. И аплодировали достаточно, вполне прилично».

С первых же произнесенных мужем слов она успокоилась. Он говорил громко, отчетливо, внушительно. Только ей была заметна его одышка, только она видела, как он волновался, особенно в первые минуты. В тетрадку он почти не заглядывал. Слушали его с интересом. Он кратко изложил историю русской промышленности до двадцатого столетия, назвал Строгановых, Демидовых, отметил их заслуги, отметил теневые стороны, тяжелые условия труда на их заводах, ничего не замалчивал, ничего и не подчеркивал. Сообщил, что Петр Великий (так и сказал: «Петр Великий», а не «Петр Первый») вел Северную войну на деньги, данные ему Строгановыми, и что когда-то на их средства Ермак завоевал Сибирь. Затем перешел к промышленникам двадцатого века и назвал много имен, еще недавно известных всей России, теперь уже забывавшихся. О них говорил в большинстве как о своих добрых знако-

мых. Отозвался сочувственно о Савве Морозове и, тоже не налегая, вскользь сообщил, что он щедро поддерживал революционное движение. Рассказал анекдот о другом либеральном богаче, дававшем деньги на революцию и ставшем в 1917 году министром:

— ...Мне говорили недавно, что, когда он после октябрьского переворота был посажен в Петропавловскую крепость, то его встретил сидевший там бывший царский министр юстиции Щегловитов и сказал ему: «Очень рад вас тут видеть. Я слышал, что вы истратили несколько миллионов на революционное движение? Но я вас сюда посадил бы и бесплатно».

Послышался смех. Дмитрий Анатольевич, улыбаясь, перешел к более серьезной, ученой части лекции: стал приводить цифровые данные о росте русской промышленности, о положении рабочих, о заработной плате. Говорил он так, как говорил бы об этом несколько лет тому назад. Разве что привел несколько строк из книги *Ильина* «Развитие капитализма в России», которую до революции в университетах едва ли цитировали. Печально-торжественно добавил: «Как вы знаете, под псевдонимом Ильина тогда писал нынешний председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин (потом немного пожалел, что не сказал просто «Ленин»). При этом имени раздались рукоплесканья, впрочем жидкие. Бурно зааплодировал научный работник на первой скамейке. Соседи на него покосились, но нерешительно раза два хлопнул и еще кто-то из профессоров.

Статистическая часть доклада несколько расхолодила аудиторию. Однако Ласточкин и цифровые таблицы читал внушительно, тут же объясняя их смысл. Слушали доклад до конца очень внимательно. Обычно вступительные лекции заканчивались выражением каких-либо общих взглядов, которое произносилось профессорами с подъемом. Дмитрий Анатольевич решил от этого воздержаться.

— В следующих моих лекциях я буду иметь честь ознакомить вас подробно с ростом русского народного хозяйства и каждой из его отраслей в отдельности, — закончил он, закрыл тетрадку и, сняв очки, приподнялся. Подумал, что «буду иметь честь» было ненужно.

Теперь рукоплесканья продолжались с минуту. Лекция имела несомненный успех. Аплодировали очень многие студенты и все профессора. Снисходительно похлопал и научный работник из *servum pecus*. Татьяна Михайловна вздохнула с радостным облегчением. Профессора подходи-

ли к Ласточкину и поздравляли его. Травников издали помахал рукой Татьяне Михайловне и направился к ней, не без труда проталкиваясь в проходе сквозь толпу студентов.

— Вот вы куда забрались! — сказал он, целуя ей руку. — Узнаю вашу скромность. «Лучше прекрасной женщины есть только женщина прекрасная и скромная», — говорил Пифагор. Ну, сердечно, от души поздравляю! Превосходная лекция! Триумф, аки у Цезаря или Помпея. Богдыхан отлично прошел через Сциллы и Харибды!

— Да, кажется, не было ни Сцилл, ни Харибд?

— Были! Теперь всегда есть. «*Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim...*»¹. Так вот сейчас же пожалуйста бритесь. Ко мне. Будет и морковный чай, и брусничный, один отвратительнее другого! Но будет и печенье, еще не древнее, вполне съедобное. И, главное, будет водочка, клянусь собакой! — говорил профессор.

Ласточкины и еще человек пять-шесть друзей должны были прийти после лекции к нему. В былые времена после вступительных лекций обычно собирались в профессорской; но теперь это было признано неудобным: «еще явится нежелательный элемент». Выбрали холостую квартиру Травникова, она была в двух шагах от университета на Никитской, и вселенные к нему жильцы возвращались домой только к шести. Друзья, сложившись, купили две бутылки водки чуть ли не на последние деньги: все, от тяжелой жизни, чувствовали потребность в такой встрече и предвкушали радость; московские рестораны давно были закрыты и даже заколочены.

— Спасибо, дорогой друг... Ах, в былые времена устроили бы прием у нас.

— В былые времена, барынька, был бы по такому случаю банкет в «Праге» или в «Эрмитаже». Я, кстати, всегда был пражанином, но у нас преобладали гнусные эрмитажники.

— Так вам в самом деле понравилась лекция богдыхана?

— Помилуйте, как же могла бы не понравиться! Она была божественна, клянусь бородой Юпитера! — сказал профессор. Он все больше любил Ласточкиных, волновался, отправляясь в университет, и выпил под тарань стаканчик водки.

¹ «Попадешь к Сцилле, желая избежать Харибды » (лат)

Было очень весело. Говорили приветственные речи, — почти как в лучшие времена. Все очень хвалили лекцию. Первый тост хозяин поднял за «героя нынешнего знаменательного дня», второй — за его «верную, преданную, очаровательную подругу жизни». Друзья целовали руку Татьяне Михайловне, Дмитрий Анатольевич с ней поцеловался под рукоплесканья. Оба смущенно прослезились от общей ласки, от радостного волнения, от водки. Успели шепотом обменяться нежными словами. «Спасибо тебе, дорогая, милая, за все спасибо», — прошептал Ласточкин. Разошлись только за полчаса до прихода жильцов, все искренно говорили, что давно не было такого приятного дня.

Дмитрий Анатольевич предложил поехать на извозчике и домой, но на Никитской извозчика не оказалось.

— Ничего, отлично доедем на трамвае, ведь недалеко остановка, — сказала Татьяна Михайловна; она теперь берегла каждый грош. Трамвай был, разумеется, переполнен, все же ей удалось протиснуться на площадку. Дмитрий Анатольевич, пропустивший вперед двух старушек (мест в трамваях давно дамам не уступали), повис на последней ступеньке. «Надо держаться покрепче, слишком много, кажется, выпил!» — подумал он. Голова у него в самом деле кружилась. Он невольно подумал о том, как тяжело сложилась судьба: «В такой день возвращаюсь домой, вися на ступеньке трамвая!» То же самое подумала и его жена. Ласточкин слабо ей улыбнулся и как-то выраженьем лица сказал ей, что ему очень удобно. «Мне отлично, да ведь и не очень далеко», — прокричала она. Он не расслышал, но закивал головой.

«Немного счастья было в жизни у Тани!» — в сотый раз и теперь подумал он, несмотря на радостное настроение. Главным их горем всегда было отсутствие детей. Дмитрий Анатольевич и прежде понимал, что утешеньем в этом никак не может быть тот комфорт, позднее та роскошь, которыми он обставил жену, интересная жизнь в Москве, платья от Ворта, путешествия в спальных вагонах, общество знаменитостей. Но теперь и все это было лишь воспоминаньем; была бедность, почти нищета, бытовые униженья, тяжелая работа при ее слабом здоровье. Знал, что Татьяна Михайловна об этом даже не думает, и с каждым днем его нежность к жене увеличивалась. Она опять улыбнулась ему и подняла три пальца, показывая, что остаются еще три остановки.

Какой-то простолудин стал с площадки прокладывать себе дорогу: выходить полагалось с другого конца вагона,

но пройти через густую толпу пассажиров в длинном проходе было бы почти невозможно. «Как же мы можем его пропустить?» — подумал Ласточкин. Пассажиры на двух верхних ступеньках стали ругаться. «Ох, грубая жизнь!.. А может быть, это карманник?» Все знали, что карманники воруют в вагонах бумажники именно перед остановками трамвая, поспешно выходя и расталкивая людей. Дмитрий Анатольевич оторвал правую руку от перил и стянул борта пиджака. Простолудин рванулся вперед и сильно толкнул человека, стоявшего на второй ступеньке. Тот подался вниз. Ласточкин потерял равновесие и, беспомощно взмахнув рукой, упал на мостовую навзничь, вытянув ноги — под прицепной вагон. Все ахнули. С площадки послышался отчаянный женский крик.

XIII

Как всегда бывает в таких случаях, друзья говорили, что Татьяна Михайловна в один день поседела и состарилась на десять лет. Она и сама позднее не понимала, как этот день пережила. Но после первых минут, когда она с криком упала на колени над мужем (кровь из его раздробленных ног лилась на мостовую как из разбившейся бутылки), Татьяна Михайловна делала все, что было нужно, «спокойно»; только все время тряслась мелкой дрожью.

Карета скорой помощи приехала на место несчастного случая через четверть часа, — все говорили, что это истинное чудо. Вторым чудом было то, что в Морозовском клиническом городке, куда привезли Дмитрия Анатольевича, оказался их добрый знакомый, профессор Скоблин; как раз собирався уехать после нескольких операций. Он очень поморщился, увидев Ласточкина, но с таким видом, точно именно этого и ожидал.

После осмотра и перевязки он вышел к Татьяне Михайловне. Она, ни жива ни мертва, на него смотрела. Губы у нее прыгали.

— Необходима ампутация. Немедленная. Разумеется, иначе сделается гангрена, — сказал он, избегая ее взгляда. — Я надеюсь, что сердце выдержит. Но ручаться не могу.

— Ампутация? — выговорила она.

— Ампутация обеих ног. К счастью, ниже колен. На войне люди выживали и после еще худших увечий, а их оперировали на фронте не в таких условиях. Живут и

здравствуют. Я твердо надеюсь, что Дмитрий Анатольевич выживет. Ассистент и анестезист готовы. Хлороформ есть. Если хотите, я вызову еще вашего терапевта, но ждать его нельзя.

Полагалось спрашивать о согласии. Однако он, взглянув на нее, не спросил. Пошептавшись с кем-то, сказал:

— Мы теперь, разумеется, всех помещаем в общую палату, но для Дмитрия Анатольевича на первое время найдем отдельную комнату. Здесь все знают, кто он такой. Помнят и то, что он был другом покойного Саввы Тимофеевича. Будет и отдельная сиделка. Будет сделано решительно все. Я велю позвонить Никите Федоровичу, он ведь ваш ближайший друг. Вам нельзя оставаться одной.

Она что-то хотела сказать, но не могла выговорить.

Сердце выдержало.

Скоблин еще у умывальника говорил с Татьяной Михайловной и с Травниковым, — тоже бледным как смерть. Старался придать лицу бодрое выражение; это, по долгой привычке, ему обычно удавалось. Все же поглядывал на Татьяну Михайловну; хотел было даже пощупать у нее пульс. Отдал распоряжение, обещал приехать снова в десятом часу вечера; объяснил ассистенту, куда звонить до того — «если что».

— Теперь будет жив, я ручаюсь. Завтра же будут заказаны искусственные...

— Чтобы ходить?

— Для чего же другого? — сказал Скоблин. Знал, что ходить Ласточкин больше никогда не будет. — В первое время его будут, разумеется, возить в повозочке. А вам, Татьяна Михайловна, надо безотлагательно вернуться домой. Сиделка вполне надежная. Завтра утром приедете. Разумеется, отдохните немного, ведь хуже будет, если вы свалитесь, — сказал хирург, но тотчас добавил: — Хорошо, останьтесь здесь на первую ночь. Хотя это не полагается, я распоряжусь.

Действие хлороформа кончилось. Дмитрий Анатольевич раскрыл глаза, скосил их немного по сторонам, шевельнуть головой не мог. Увидел незнакомый ему потолок и карнизы стен, тяжело вздохнул, стараясь вспомнить, что такое случилось. Почувствовал жгучую боль и негромко застонал. Между его глазами и потолком появилось искаженное, без

кровинки, лицо жены, столь всю жизнь близкое и дорогое. За ней что-то тревожно шептал женский голос. Он вдруг вспомнил, понял. У него полились слезы.

— Таня... Ми...лая, — еле прошептал он.

У нее все прыгали губы.

— Я уми...раю? Да?.. Бедная...

Несмотря на принятое решение «быть бодрой», она заплакала. Травников, сам еле удерживавший слезы, потащил ее к двери.

— Да что вы, сударь! — энергичным тоном говорила старая сиделка. — Операция прошла превосходно. Никакой опасности нет. Ничего вы не умираете, полноте. Лежите спокойно, вам еще нельзя разговаривать.

В комнату вошел ассистент, оглянул всех и с радостным видом поздравил:

— Все сошло отлично. Лучше и желать нельзя... Скоро будете совершенно здоровы. Успокойтесь, сударыня, — говорил он.

В Морозовском клиническом городке без крайней необходимости еще не употреблялись новые обращения.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I

Джамбула не призвали в армию, и он был этому рад. По возрасту подходил разве для какого-нибудь самого последнего запаса, отяжелел от лет, от тихой привольной жизни, от вина, жирной еды, восточных сластей.

Война его потрясла. Он не верил в германскую победу и никак ее не желал. Кроме того, воевать против России было бы ему еще тяжелее, чем воевать против западных демократий: «Все-таки числился столько лет в рядах *русских* революционеров, хотя и тогда подчеркивал, что я не русский». Младотурок он вообще недолго любил, а Энвера ненавидел, — быть может, и потому, что сам на него немного походил характером. После константинопольской революции ему делались кое-какие предложения. Он их отклонил, — тогда еще не был турецким подданным, и по-турецки говорил не очень хорошо, и все революционное было ему с каждым годом все более неприятно; он считал теперь политику вообще очень грязным делом.

С началом войны более молодые из его соседей ушли на фронт; многие были скоро убиты. Старики косились на Джамбула, хотя он пожертвовал большую сумму в пользу Красного Полумесяца. Позднее стали возвращаться в свои усадьбы раненые и разочарованные люди. Они отчаянно ругали правительство, командование, генерала Лимана фон Сандерса и немцев вообще. Уверенность в германской победе поколебалась. Турция была почти разорена, — между тем если б не вмешалась в войну, то разбогатела бы, как все нейтральные страны.

Впрочем, помещики на свои дела особенно жаловаться не могли, несмотря на реквизиции или же именно благодаря реквизициям. У Джамбула реквизировали и лошадей его конского завода, который уже был известен на всю Турцию. Оставили только пару-две для экипажа, клячу, возившую воду, и верхового арабского жеребца. К удивлению соседей и ведавших реквизицией чиновников, он уступил

весь свой конский состав по цене низшей, чем та, какой он мог бы добиться при своих связях и богатстве. К еще большему удивлению приемщика, растроганно простился с лошадьми и кормил их сахаром, хотя в нем уже чувствовалась нехватка.

Своих работников, призванных в армию, Джамбул на прощанье угостил большим обедом и сделал им денежные подарки. Они и прежде его любили: он не перегружал их работой, хотя требовал и добивался того, чтобы они трудились как следует. Хорошо всех кормил, желавшим давал и вино. Джамбул теперь был значительно богаче прежнего. Научился сельскому хозяйству и не увольнял управляющего только потому, что тот был стар и был любимцем отца. Сам входил во все. Денег у него уходило мало. Так как все было свое, то он тратился преимущественно на книги и на вино. За границу ездил только еще один раз, в Париж, и опять было то же: сначала приятно и занимательно, потом скучновато.

С женами он жил отлично. Обе были молоды, веселы, хороши собой. Иногда ссорились и ругались одна с другой, но в драку это обычно не переходило, особенно в те часы, когда он бывал дома: немедленно их останавливал и мирил. Старался относиться к ним совершенно одинаково, чередовал милости, тратил на подарки одни и те же суммы, — знал, что цены на все им хорошо известны. Обе любили его, и обе опасались, как бы он не женился еще на третьей жене. Заняты они были целый день. Работали по хозяйству и в саду, шили, ткали, вместе катались в коляске, — иногда ездил с ними и он. Обе умели читать, но не злоупотребляли этим искусством.

Хотя русские дела теперь интересовали его мало, он в 1917 году стал читать газеты с жадностью. Чувства у него были разные. Революционные настроения не возродились, и все же невольно ему приходило в голову, что если б он остался в России, то был бы теперь никак не помещиком: «Конечно, прошел бы в их Учредительное собрание и там разглагольствовал бы на весь мир!» Старался думать об этом иронически, но иногда думал, что «разглагольствовать на весь мир» было бы, пожалуй, приятно. Особенно внимательно он следил по газетам за карьерой Ленина. Его приход к власти и разгон Учредительного собрания решили для Джамбула вопрос окончательно: «Разумеется, отлично сделал, что бросил». Кавказ отделился от России. До него доходили стороной слухи о старых товарищах. «Когда будет заключен общий мир, съезжу в Тифлис. А во второй раз гражданства и взглядов менять не буду!»

Война продолжалась и с каждым днем все больше казалась ему бессмысленным делом. Коран он читал теперь меньше, чем прежде, хорошо знал все сураты, а многие заучил наизусть. На вопрос о смысле войны ни Бергсон, ни другие философы не давали ответа. Джембул говорил и с муллой в зеленой чалме. С тем, что люди забыли Бога и что в этом вся беда, он был почти согласен, но выводы отсюда ему были неясны. «Как же переделать людей? Значит, можно только стараться самому жить «праведно», разумеется, насколько это возможно». Джембул не считал себя праведником и после того, как перестал быть революционером. Теперь он был просто верующим мусульманином, таким же, как большинство его соседей, не имевших бурного прошлого. В общем был доволен своей спокойной, прозаической жизнью.

Посыпались решающие события: наступление маршала Фоша, необыкновенные победы союзников, отставка Людендорфа, отречение царя Фердинанда, убийство графа Тиссы. Императорской Германии приходил конец. Ее союзники были растеряны. И уж совсем растерялись в первое время министры новых государств, прежде входивших в Российскую империю. Они так твердо верили в победу немцев, и теперь в самом спешном порядке переходили от преданности Вильгельму II к четырнадцати пунктам президента Вильсона. В Константинополе, в Софии началось что-то вроде политической паники. Все проклинали «право силы», все куда-то спешно уезжали, все говорили о способах отъезда: «Мы на «Тигресе»... «Мы на «Решад-паше»... «Я по железной дороге».

И, наконец, было заключено перемирие, — к радости не только победивших, но и побежденных народов.

Соседи Джембула тоже проклинали «милитаризм» и самыми ужасными словами ругали Талаата и Энвера. Никто не знал, отойдет ли к кому-либо их земля и куда она должна была бы отойти по пунктам Вильсона. Народ в Турции кое-где голодал, хотя меньше, чем в Великороссии и даже чем в Германии. Люди, приезжавшие из Константинополя, рассказывали, что в «Пера-палас» и у Токатлиана еще едят на славу и что туда приезжают для поправки новые богачи из Берлина и Вены. К Джембулу иногда приходили измученные солдаты, когда-то у него служившие, и жалостно просили снова принять их на службу. Он принимал, кого мог.

Кое-как наладились сношения с Кавказом. И как-то получил телеграмму, очень его удивившую, не то чтобы приятно, но и не то чтобы неприятно. Она была от Люды Никоновой.

II

На скамейке под тутовым деревом сидели, с довольно угрюмым видом, обе его жены. Они были очень взволнованы: телеграммы в дом приходили не часто. Джамбул тотчас велел отправить рано утром на станцию коляску; это случилось еще реже.

Накануне за обедом он небрежно объяснил, что к нему придет — ненадолго — одна русская знакомая, которую он знал по работе еще в России, и привезет ему письма от друзей. Женам было известно, что он когда-то занимался какой-то важной работой; не очень этим интересовались и предполагали, что это, верно, была война вроде прежних шамилевских, — о них они в детстве слышали восторженные рассказы стариков. Но не думали, что такой работой занимались женщины, и слово «ненадолго» их не очень успокоило. Спрашивать, однако, не решились. Он при них заказал повару завтрак и обед, а водовозу велел привезти лишнюю бочку воды для ванны, давно поставленной в доме. Вода разогревалась во дворе в медном чане.

Светло-серый арабский жеребец, — тот самый, уже очень немолодой, с огненными глазами, с огромными ноздрями, с точеными тонкими ногами, — уже стоял у подъезда; конюх держал поводья, Джамбул давно ездил не на английском седле, а на особо заказанном, с большой мягкой подушкой, с парчовой бухарской попоной. По старой памяти жеребец еще немного горячился. Теперь Джамбул чаще ездил в городок в коляске и, если не брал жен с собой, то благосклонно принимал от них заказы и даже записывал, что надо купить. Они теперь делились сомнениями: почему едет верхом? Высказали предположение: хочет щегольнуть перед этой проклятой женщиной, так неожиданно нагрянувшей! Джамбул был еще хорош собой в своем живописном костюме, сшитом, по его рисунку, в Сивасе. Он и вскочил на коня более молодецкато, чем обычно в последние годы. С ласковой усмешкой кивнул женам (они сердито отвернулись), взял у конюха хлыст и, расправив поводья, выехал из усадьбы.

По расписанию поезд должен был приходиться в девять; но мог прийти и в одиннадцать, и в двенадцать, — поезда, теперь в особенности, уходили, когда было удобно начальнику станции и его уезжавшим друзьям, а шли, как было угодно машинистам... Долго ждать на станции ему не хотелось, и он решил выехать из дому в одиннадцатом часу. «Рад я или нет? Не сообщила, зачем приезжает и надолго ли?» Был немного

встревожен. Действительно хотел показаться Люде в хорошем виде: верхом на арабском коне. Одеваясь, грустно думал: «Что поседел, это не беда, а вот хуже, что и полысел».

За воротами он перевел жеребца на рысь, но не успел проехать и километр, как вдали на дороге показался столб пыли. «Она! Уже!» — подумал он и по «уже» заключил, что скорее приезду гости не рад. Он стал сдерживать лошадь и увидел, что приближается не его коляска, а знакомая ему бричка, запряженная рыжей кобылой, принадлежавшая единственному станционному извозчику. «Так и есть, не нашел ее болван-кучер!» — с досадой подумал Джембул. Извозчик-еврей остановил бричку и, повернувшись вполоборота к даме в дорожном балахоне, что-то ей сказал. Джембул соскочил с коня очень молодцевато, кивнул извозчику, отдал ему хлыст и поводья коня, опять по старой памяти заржавшего. «Скоро и я буду, как он», — подумал Джембул и, переменив усмешку на самую радостную улыбку, протянул вперед руки. Люда, ахнув, выскочила из брички и бросилась ему в объятия. С утра она себя спрашивала, как надо встретиться, он тоже об этом думал, но само собой вышло, что они горячо обнялись.

— ...Ты совершенно не изменилась!

— Как твоё здоровье?

— Хорошо ли ты путешествовала? Верно, очень устала?

— Устала, но не очень.

— Это было так неожиданно! Помнишь у Дюма «Vingt ans après»¹?

— Не двадцать лет, но двенадцать. Как ты себя чувствуешь?

— Отлично! Разве у меня плохой вид? Состарился?

— Нет, нисколько! Все так же великолепен!

— Отчего ты на извознике? Ведь я послал за тобой коляску!

— Так это была твоя коляска? Я не догадалась. И ведь я ни слова по-турецки не понимаю. Этот подошел ко мне, он знает по-немецки и по-французски.

— Дай на тебя посмотреть.

— Я, верно, вся черная от пыли.

— Только бурая, но дома готова ванна.

— Нет, ты мало изменился! — говорила она.

Извозчик смотрел на них, вздыхая. Джембула знал давно, но этой дамы никогда не видел. Не одобрял, что она целуется с чужим человеком.

¹ «Двадцать лет спустя» (фр.)

— Ты тоже сядешь в эту бричку?

— Нельзя: куда же я дену своего жеребца? Но мой дом совсем близко, — сказал он, с удовлетворением замечая, что не разучился говорить по-русски.

— Ах, какой прекрасный конь! Это, верно, английский? Я так рада, что приехала. Так твой дом близко?

— И *версты* не будет, — ответил Джамбул, вспомнив слово, от которого давно отвык. И подумал, что все-таки рад приезду этой бестолковой женщины, не умеющей отличить арабскую лошадь от английской. — Я надеюсь, что ты у меня погостишь долго?.. Ну, поедem, поговорим дома. Я страшно рад!

Он опять молодежато вскочил на лошадь и поскакал вперед, чтобы не пылить на бричку. Встретил Люду у ворот. Она во дворе опять бросилась ему на шею. Сидевшие на той же скамеечке жены остолбенели от негодования. Осмотрев ее издали с головы до ног, они ушли в дом, изобразив на лицах предел возмущенья и достоинства. Люда изумленно посмотрела им вслед, перевела взгляд на Джамбула и не сразу засмеялась, — не совсем естественно.

— Я, кажется, не вовремя?.. Постой, надо заплатить извозчику. Он согласился принять русские деньги, у меня ведь нет турецких...

— Все будет сделано. Он здесь и отдохнет, — сказал Джамбул и радушно, как всегда, попросил извозчика зайти закусить.

— Я знаю, вы у меня мяса есть не будете. Но рыбу у меня ели самые набожные евреи. И выпьете с дороги водки. Только для христиан и евреев держу ее в доме, нам, мусульманам, нельзя, — сказал он, смеясь. Извозчик тоже засмеялся; знал, что этот богач выпивает по две бутылки вина в день.

— Пойдем, Люда. Ванна будет готова через пять минут, а через час будем завтракать. Но сначала я тебе покажу свою избушку, — сказал он и повел Люду в дом. Она всем искренно восхищалась. Немного нервничала, ожидая встречи с теми женщинами.

Джамбул проводил ее в отведенную ей комнату. Для успокоения жен (и своего собственного) выбрал комнату отдаленную. «Изменилась, конечно, но не так уж сильно. Теперь глаза уж совсем без блеска». Он переоделся, тяжелые темно-красные ботфорты теперь его утомляли. Выбрал самый щегольский из своих европейских костюмов, впрочем уже старый, заказанный как раз перед войной. Спустился в погреб. Во всем доме запирались на ключ только

дорогие вина; он объяснял женам: «Сам грешу, но не хочу вводить в грех других мусульман». Женам не очень нравилось, что он много пьет, но иногда грешили и они сами: для них он покупал дешевое сладкое вино. Хотел было взять к завтраку две бутылки, но подумал, что может все-таки сделать какую-нибудь глупость; взял только бутылку шампанского. Ванна для Люды уже была готова, проверил, что слуга разбавил кипяток. Люда с непривычки могла сесть и в кипящую воду. Он прошел к женам.

Они были как фурии. Поговорил с ними, как всегда, важно и благожелательно: вел себя с женами, как милостивый султан в гареме. Объяснил им, что в России всегда целуются после разлуки: это ничего не означает и признается обязательным. Сказал, что никакой третьей жены себе не заведет. «Достаточно и вас двух, даже, пожалуй, слишком много». На всякий случай вставил, что на этой и не мог бы жениться: она христианка. Вскользь добавил, что собирается скоро съездить с ними двумя в Сивас и, что если они будут хорошо себя вести, то он купит там те шали, которые им так понравились. У обеих лица стали светлеть. Все же они объявили, что к обеду не выйдут, так как не желают встречаться с этой... этой. Он строго их остановил и сказал, что к обеду их и не зовет: «Вам все пришлют в мою спальную». Обычно они туда допускались только на ночь: одна в первую, другая в четвертую ночь недели. Жены потребовали, чтобы он прислал и возможно больше крема, того, который был заказан повару для этой... Существительного не добавили. Он согласился, но потребовал, чтобы они перед завтраком вышли к госте на три минуты: так полагается, ровно три минуты.

В ванне Люда себя спрашивала, хорошо ли сделала, что приехала. Его жены были для нее сюрпризом: почему-то всего ждала, кроме этого. «Ну, я тут не засижусь! Завтра же уеду назад в Тифлис, сейчас ему это и скажу. Да, очень, очень изменился. Верно, теперь беспокоится, зачем я пожаловала. Да я просто хотела увидеть человека, который когда-то был близок. Что же тут такого? Правда, к Рейхелю я не поехала бы. Но неужели все это *серьезно!* А я думала, что знаю своего Джамбула!..»

Горничная, тоже испуганная приездом странной гостьи, доложила, что она уже одевается в своей комнате. Джамбул поцеловал каждую из жен, обеих одинаково, — иначе вышла бы новая драма. Постучав в дверь, вошел к Люде. В комнате пахло духами, все теми же ее духами. Сразу многое ему вспомнилось.

— Пойдем завтракать. Ты, верно, голодна, *Людочка*? — спросил он. На его лице была обыкновенная хозяйская улыбка.

— Как зверь.

— Вот и отлично. Я так рад твоему приезду.

— Будто? Я приехала без всякого дела, просто провести тебя. Завтра должна буду уехать.

— Завтра? Ни за что! — сказал он.

«Кажется, у него отлегло на душе», — грустно подумала Люда. В столовую вошла тревожно, но жен не было.

— Да, завтра, мне необходимо.

— Ни за что тебя не отпущу, — сказал Джамбул. Люда с удовольствием увидела бутылку в ведерке со льдом. Очень давно не пила шампанского. Они сели за стол. Джамбул спрашивал ее о поездке. Думал, что о серьезном еще говорить рано. Но она этого не думала.

— Те две женщины твои жены? Они мне глаз не выцарапают?

— Не думаю, — так же шутливо ответил он. — Им известно, что я на третьей жене не женюсь. — По закону имею право еще на двух, но это у нас не очень принято.

— Ах, как жаль! — она расхохоталась. — А ты кто теперь? Бей? Паша? Имам?

— Просто пожилой турецкий помещик.

Люда перестала смеяться.

— Подменили моего Джамбула! Как произошло это чудо!.. Так я их и не увижу? Я их сразу успокоила бы. Объяснила бы им, что ты для меня все равно что ваш великий визирь, которому, кажется, девяносто лет.

— Ты ничего не могла бы им объяснить, потому что они ни слова по-французски не понимают. Но они к тебе выйдут познакомиться, — сказал он. Был не очень доволен ее шуткой.

Вошли жены. К его удовлетворению, глаза у них еще сверкали, но обе вели себя вполне прилично. Люда испуганно на них смотрела. Они что-то сказали, она что-то ответила. Джамбул переводил. Жены пробыли в столовой две минуты и удалились, оглядев внимательно и платье гостыи.

— Очень милые. Сердечно тебя поздравляю, — сказала она насмешливо, но довольно искренно. Мысль о «соперничестве» с дикарками не приходила ей в голову. Если в дороге она хоть немного еще думала о *прежнем*, то теперь совершенно перестала думать: «Разумеется, то кончено».

— Очень милые, — подтвердил Джамбул. — Давай, сейчас же выпьем шампанского.

- Как тогда за ужином у Пивато?
- Как тогда за ужином у Пивато, — равнодушно подтвердил он. Люда немного покраснела.
- Состарились мы оба с тех пор! И изменились. Да и в мире много воды утекло.
- И какой воды! Не только воды, но и крови.

III

Шел уже третий час дня, они все еще разговаривали. На столе стояли кофейный прибор и опорожненная на две трети бутылка шампанского.

— Ты почему так мало пьешь? Может, печень или что-либо в этом роде? — спрашивала Люда.

— Нет, печень пока в порядке, — ответил он обиженно. — Я больше пью вечером.

— Чтобы лучше спать?

— Я сплю отлично.

За завтраком она долго рассказывала о том, что с ней было во все эти годы, особенно в последние два. Пересказывала от революции к кооперации, от Ленина к Ласточкину, от Москвы к Ессентукам. Джембул слушал и старался понять: она говорила сбивчиво, не всегда можно было догадаться, кто это «он»: Ласточкин или Ленин? «Такая же сумбурная, как была... И это Бог ей послал, на ее счастье, кооперацию», — думал он не без скуки.

— Я уверена, что ты был очень удивлен, получив мою телеграмму. Может быть, даже неприятно удивлен? — сказала она, внимательно на него глядя.

— Что ты! Напротив, страшно обрадовался, — ответил он, стараясь вложить в свои слова возможно больше теплоты и искренности.

— Правда? До этой проклятой войны ты мог мне писать и не писал.

— Да я и не знал, где ты.

— Ну, теперь все равно: ты догадываешься, что я приехала не для попреков... Собственно, я и сама не знаю, для чего я приехала... Но на чем мы остановились? Да, значит, после того как я с ним встретилась...

— С кем?

— С этим твоим Китой Ноевичем. Он очень милый человек... Согласился теперь взять к себе мою кошечку до моего возвращения в Тифлис...

— Ах, да, что кошечка? Так ты с ней бежала на Кавказ? Это все та же?

— Нет, другая, та умерла. Правда, он очень симпатичный?

— Был прекрасный человек, а какой теперь, не знаю: мы все так изменились.

— Это верно! Ты не можешь себе представить, как мне противна стала революция! Еще тогда, после взрыва на Аптекарском острове... Ты ведь знаешь, он был повешен!

— Соколов? Да, знаю.

— Но особенно после всех дел Ленина. И вот он мне говорит...

— Ленин? Разве ты его видела?

— Да нет же, Кита Ноевич! Ленина я больше с Куоккала не видела и, надеюсь, никогда не увижу. Так вот, он мне предложил службу в Тифлисе. Я долго колебалась, но после этого ужасного дела в Пятигорске не выдержала и решила бежать...

— Какого дела в Пятигорске?

— Неужели ты ничего не слышал? — Люда вздохнула. — Зарезали несколько десятков людей, а ты ничего не знаешь!

— Да ведь я русских газет сто лет не видел. А в годы войны не видел и французских. Немецкие просматривал, но я немецкий язык плохо знаю. Они о России торопились сообщать только самое неприятное, особенно после того, как захватили Украину. Вот как в Севастополе союзное командование через парламентариев сообщило русскому о смерти Николая. А о Пятигорске они, кажется, ничего не писали, или я пропустил. В чем там было дело?

Люда рассказала.

— Они взяли заложниками всех видных людей. Могли взять и меня, но, к счастью, не взяли, хотя было схвачено много людей не более «видных», чем я. Были арестованы и знаменитости: генерал Рузский, генерал Радко-Дмитриев. Говорят, они им предложили перейти на советскую службу, но те отказались. И вот ночью их всех вывели к подножью горы и там убили. Не расстреляли, а зарезали! Две ночи подряд резали и бросали в яму, говорят, некоторых еще живыми. Тогда я вспомнила об его предложении и убежала в Тифлис. И это наши бывшие «товарищи»! Ведь я одно время обожала Ленина! Теперь очень стыдно вспоминать.

— Я не обожал, но и мне стыдно, — сказал он, и по его лицу пробежала тень. Люда вспомнила рассказ Киты Ноевича: Джембул лично участвовал в экспроприации на

Эриванской площади. «Как только он мог!» — Ты не кончила. Что же Кита?

— Он превосходный человек. Тотчас все сделал, принял меня на службу. Я всегда любила кавказцев, а теперь еще больше. Какие люди! Не относи этого, впрочем, к себе.

— Не отношу.

— Понимаешь, мне теперь было неловко: всего без года неделю у него служу и уже прошу отпуска. Дал и даже проезд устроил!

— Догадался, что ты едешь ко мне.

— Отстань, нет мелких, — Люда покраснела и от этого смутилась еще больше. — Да, мне захотелось увидеть тебя, поговорить с тобой обо всем. Ты ведь тоже далеко отошел от революции.

— Давным-давно и очень далеко. Мне о них обо всех и думать гадко. Я, впрочем, понимаю, что если б войн и революций не было, то их пришлось бы выдумать. Они — отводные клапаны не столько для «народного гнева», сколько для избытка энергии и буйных инстинктов у разных людей. Особенно у молодых, но не только у молодых: есть и старики, еще шамкающие что-то революционное по пятидесятилетней инерции. А что все эти Людендорфы и Энверы делали бы без войн? И что Ленины и Соколовы делали бы без революций?

— Ну, это не очень социологический подход к делу.

— Ненавижу социологов.

— Почему?

— Потому, что они ровно ничего не понимают. Они и теперь очень довольны Лениным: он им дал богатый материал для ценных суждений. Когда-нибудь они его превознесут и возвеличат: какой замечательный был социальный опыт! А левые биографы и историки превознесут тем более. Конечно, объявят, что он всю жизнь работал для счастья человечества. Между тем он столько же думал о счастье человечества, сколько о прошлогоднем снеге! Он просто занимался решеньем задач, занимался политической алгеброй. Ведь математику приятно решать задачи, которые ему кажутся важными: «Я, мол, решил совершенно верно, а Плеханов сел в калошу...» Плеханов и в самом деле всю жизнь сажился в калошу, это была его специальность. Я, впрочем, не отрицаю, что Ленин выдающийся человек. Умен ли он? В суждении о некоторых вещах он глуп как пробка, например в суждениях о предметах философских, религиозных, искусственных...

— То есть в суждениях об искусстве, — поправила Люда. Она всегда любила такие его ошибки: это напомнило ей

прежнее. Ласково вспомнила и примету шрама, когда-то ею в нем замеченную. «Теперь взволновался!»

— Да, в книгах об искусстве. Я разучился говорить по-русски. Разумеется, он большой человек: необыкновенное волевое явление, огромная политическая проницательность, это так. Он и не жесток, и не зол. Конечно, и не добр.

— Он все-таки сложнее, чем ты думаешь, — опять перебила его Люда. — Ведь я хорошо его знала. Иногда он бывал очарователен. А врагов всегда ненавидел.

— И Марат, верно, иногда бывал очарователен, и Торквемада, быть может, тоже. Ты говоришь, он ненавидел врагов. Это едва ли верно. Разве Торквемада ненавидел еретиков, которых отправлял на костер? Просто их было нужно сжечь, что ж тут такого? Я представляю себе сценку. В Кремле идет заседание, собрались все главные. И вот получается телеграмма или там телефонограмма, хотя бы об этом пятигорском деле. Разумеется, редакция была самая благозвучная. Не сказали: «Мы их зарезали и бросили живыми в яму». Не сказали: «Мы устроили бойню». Верно, сказали о каком-нибудь «мече народного гнева», о «необходимой ликвидации», привели мотивировку, «революционный долг», «буржуазия подняла голову», «враги народа строили козни» и так далее. Что же затем могло быть на заседании? Кто-нибудь из них, еще удивительным образом не совсем потерявший человеческое подобие, какой-нибудь Бухарин или Пятаков, верно, вздохнул или даже мягко запротестовал: «Так все же нельзя!» Не очень, разумеется, запротестовал: все они давно ко всему такому привыкли. Совершенная сволочь, напротив, восклицала что-либо архиреволюционное: «Без малейших колебаний все одобрить!», «Теперь не время для полумер!»... А он, конечно, молча слушал — допускаю, что на этот раз без своей кривой усмешечки. Допускаю даже, что не назвал дела «дельцем». А затем просто предложил перейти к очередным делам.

— Нет, ты его упрощаешь. Он все-таки гораздо выше их всех.

Джамбул засмеялся.

— Да, конечно, гораздо выше их всех. Только это, право, означает не очень много. Он не вульгарный карьерист, не честолюбец, как Троцкий, ни малейшего тщеславия я у него никогда не замечал. Он и не сверхмерзавец, как Коба.

— Какой Коба?

— Джугашвили. Теперь он называется Сталиным. Этого я знаю с юношеских лет! Такого негодяя мир не видывал. По крайней мере, Кавказ не видывал, особенно *мой*!

У нас бывали жестокие люди, но что-то в них, верно, наши горы очищали. Камо, например, никак не мерзавец. Слышала о Камо?

— Кажется, что-то слышала. Это тот, который после... после Кавказа (Люда не решилась сказать: после экспроприации в Тифлисе) отправился в Берлин, чтобы ограбить банк Мендельсона?

— Тот самый.

— Мне дон Педро рассказывал: в Берлине этот субъект несколько лет прикидывался буйно-сумасшедшим и так хорошо, что обманул немецких врачей!

— Ему и прикидываться было не очень нужно: он был наполовину сумасшедший. Но он был герой, не могу и не хочу отрицать. К несчастью, он остался большевиком. Он не мусульманин.

— Так что же, что не мусульманин? — спросила Люда, насторожившись: «Теперь заговорит о своем нынешнем главном».

— Ничего. Мусульманская религия очищает людей больше, чем другие.

— Вот как? Почему же именно она? И при чем тут религия вообще? Это правда, что ты стал настоящим верующим мусульманином?

— Правда... Ты меня когда-то называла романтиком революции. Это было и верно, и нет. У меня когда-то револьвер был предметом первой необходимости...

— Да, ты мне на Втором съезде говорил о каких-то страшных делах, — сказала Люда, печально вспомнив о Лондоне. У него опять тень пробежала по лицу.

— Было. Я в молодости собственноручно убил провокатора.

— Этого ты мне не говорил!

— Не люблю об этом говорить. Жалею, что и сейчас стгоряча сказал.

— Убил! Как же это было?

— Он пришел ко мне. Не знал, что это уже известно. Разумеется, у себя дома я не мог его убить, это противоречило бы всем нашим вековым традициям. Разговаривал с ним, как хозяин с гостем. Но затем, прощаясь, я вышел с ним за ворота, сказал ему, что он провокатор, и убил его, — лицо у Джамбула дернулось. — Это не «романтизм»! От меня, революционера, был только один шаг до ганстера.

— Не до ганстера, а до абрека.

— Это совсем не одно и то же!.. И не у меня одного был только один шаг. Я был еще, пожалуй, лучшим из

худших. В сущности, все у меня было от этого вашего «раззудись плечо, размахнись рука!». Меня наша религия и спасла. Знаешь, у многих людей просто не было времени, чтобы подумать о жизни. Или «над жизнью»? Как правильно? И у тебя тоже не было времени.

— Никак этого не думаю. Не понимаю, при чем тут религия? Я живу без нее, и ничего. И тысячи людей нашего круга живут без нее.

— Политики даже почти все. Явно или скрыто. И вот что я тебе скажу. Почти в каждом политике в какой-то мере сидит — в лучшем случае Ленин, в худшем случае Троцкий.

— Что за вздор! — сказала Люда, вспомнив о своих друзьях кооператорах. «Они, кстати, кажется, все неверующие».

— Ну, не в каждом, а в большинстве и, разумеется, чаще всего в очень малой мере. Хочешь пример? Тот либеральный государственный человек, который имеет право смягчения участи осужденных на смертную казнь и отказывает, несмотря на ходатайство присяжных заседателей, это уже в зародыше большевик.

— Это частный случай и довольно редкий. Что ж, потвоему, и в Жоресе был большевик?

— В нем нет, и, разумеется, вообще большая разница есть, — ответил он с досадой, как отвечают на доводы всем известные и надоевшие. — Жорес был добрый человек, он вивисекциями заниматься не мог бы, да и нельзя было тогда, так как революций не было. Вдобавок он ни года у власти не находился. Всякая власть развращает, а революционная в сто раз больше, чем другая... Вот мы с тобой ушли от революции, хотя ушли по-разному: ты ушла, так как не была создана для политики, а я ушел потому, что вдруг почувствовал на спине бубновый туз.

— Что такое?

— Недавно я прочел какую-то книгу о нашей Крымской войне, — сказал нехотя Джамбул. («Какой же «нашей»: русской или турецкой?» — невольно спросила себя Люда.) И я там вычитал, что, ввиду недостатка в солдатах, русское командование велело выпустить из тюрем арестантов. И они сражались отлично, не хуже ваших солдат. Один из них совершил какой-то геройский подвиг на глазах у знаменитого адмирала, не помню, Корнилова ли или Истомина. Адмирал пришел в восторг и тут же повесил ему на грудь Георгиевский крест: арестант, а русский человек и герой! Так тот воевал и дальше, с Георгием на груди, с бубновым

тузом на спине. О, я знаю, как условны и тузы, и ордена, но ведь я говорю фигурально. Большинство тех революционеров, с которыми я работал, *могли бы* иметь на груди боевой орден за храбрость, а на спине бубновый туз за другие свои особенности... Как Камо... Это, впрочем, не относится к главарям: Ленин, я думаю, никогда в жизни не был в смертельной опасности. Тем тяжелее будет ему умирать. А я, не главарь, видел перед собой смерть не раз. Имел право на орден, но вдруг в один, для меня все-таки прекрасный, день решил навсегда отказаться от бубнового туза.

— Ты очень несправедлив, — сказала Люда. — Я отошла от революции, но бубнового туза в ней не видела и не вижу.

— Именно *ты* не видела, потому что в ней, собственно, и не была. А я был и видел вблизи. Но странно, как меняются люди и без видимых причин. Вот я убил провокатора и ничего, а через несколько лет... — он хотел было сказать Люде о гнедой лошади на Эриванской площади, но не сказал. «Она ничего не поймет. Да и никакой здравомыслящий человек не поймет». Он выпил залпом бокал шампанского. — Выпей еще вина. Не хочешь?

— Не хочу, — сказала Люда, отстраняя его руку с бутылкой. — Так можно стать и реакционером!

— Я не стану. Реакционеров по-прежнему терпеть не могу.

— Зачем уклоняться от этого разговора, уж если мы его начали? У тебя была настоящая революционная душа, и...

— Я знял эту душу напрокат у русских революционеров.

— Неправда. Правда то, что ты вечно менялся. Помнишь, ты мне читал когда-то стихи:

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет

— Не помню, — угрюмо сказал Джамбул. — А если читал, то был дурак! Вот и встал сердитый вал! Хорош?

— Мы желали не этого.

— Так говорят все неудачники. Мы обязаны были подумать, *что* выйдет из наших желаний.

— *Мы* и думали, да другие помешали, бис бив бы их батьку, — сказала Люда.

— Теперь у вас, кажется, в моде другие стихи. Сюда недавно приехал один армянин из России. Дал мне «Двенадцать», поэму Александра Блока. Ты читала?

— Разумеется, читала. Она всех потрясла. Можно соглашаться или не соглашаться, но это гениальная вещь!

— Ровно ничего гениального! Я читал с отвращением. Блок очень талантлив, я не отрицаю. Некоторые его стихи такие, что никто другой не напишет. Но это просто звучные общедоступные частушки... Ведь есть такое русское слово «частушки»? Кто у вас теперь их в Москве пишет? Кажется, какой-то Демьян Бедный?

— Господи! Александр Блок и Демьян Бедный!

— Я их не сравниваю, хотя, может быть, и Демьян Бедный тоже «всех потряс», только читателей другого уровня, несколько менее высокого. А поверь мне, Александр Блок своих старых дев потряс только «изумительным финалом». Для этого финала вся поэма и написана, без него на нее и не обратили бы большого внимания. Разумеется, последняя фигура, которой можно бы ждать в конце такой поэмы, в компании хулиганов-убийц, это Христос. Так вот вам, нате, изумительный финал, и какой глубокий! — с внезапным бешенством сказал Джамбул. — Отвратительно! Даже независимо от того, что он оказал огромную услугу большевикам. Хотя Ленин, верно, хохотал над его поэмой, если прочел.

— Вот и ты «хохочешь». Блок никому никакой услуги оказывать не желал!..

— Опять «не желал»! Все вы «не желаете», но делаете черт знает что.

— Не буду спорить... Ну, хорошо, какая же теперь у тебя душа? Мусульманская?

— Да, мусульманская.

— А может быть, ты и ее ненадолго взял напрокат?

— Нет, эту напрокат не взял, — ответил он очень раздраженно. — И не хочу я об этом говорить!

— Как знаешь, — сказала Люда, взглянув на него с испугом. — А я все-таки не жалею, что заговорила. И не жалею, что к тебе приехала.

— Отлично сделала, что приехала, — сказал Джамбул, вспомнив долг хозяина. — Но зачем ты так скоро уезжаешь? Останься. Поживешь с нами. Я уверен, что если ты постарайся, то тебя полюбят мои... — ему неловко было ей сказать «мои жены». — Право, останься.

Люда улыбнулась. Поймала себя на мысли: «Если б он не *так* сказал это, а так, как говорил у Пивато, вдруг я и осталась бы, с меня стало бы?!»

— Не могу. Я обещала Ките Ноевичу вернуться к первому июня. Да надо и зарабатывать хлеб насущный.

— Тебе нужны деньги? Я могу тебе дать сколько угодно. Она вспыхнула. «Мог бы теперь этого не говорить!»

— Нет, спасибо, у меня достаточно... А ведь Кита Нович дал мне к тебе и порученье. Все думает, не согласишься ли ты к ним вернуться. Должность для тебя будет, и хорошая.

— Поблагодари его, но скажи, что я не принял бы и должности президента республики.

— Почему же?

— Потому, что политика — грязь. Желаю им всяческих успехов, нашим доморощенным Жоресам... О Жоресах ему, конечно, не говори... А вот я приеду туда — просто повидать родные места. Конечно, если они не погибнут. Очень часто гибнут Жоресы, такова уж их судьба.

— Когда ты приедешь? — радостно спросила Люда. — Ради Бога, приезжай поскорее.

— Не знаю когда, — угрюмо ответил он, подавив зевок.

IV

Как ни огрубели люди в России после революции, как ни был каждый поглощен своими делами и заботами, друзья и знакомые проявили большое участие к Ласточкиным. Всех особенно поразило то, что несчастье произошло тотчас после первой вступительной лекции Дмитрия Анатольевича. Стало известно, что у него нет ни гроша. Лечение было в больницах бесплатным, хотя, кто мог, платил персоналу, что мог, и от себя. Скоблин и другие врачи клиники решительно отказались от платы. Все же расходы, естественно, были. Негласно, по почину Травникова, образовался комитет друзей. Сам Никита Федорович внес немало из своего тощего кармана. Вносили и другие. Татьяна Михайловна ничего об этом не знала; но если б и догадывалась, то теперь к этому отнеслась бы почти безучастно: все кончилось, кончились и такие огорченья. Она попросила Травникова продать оставшуюся у них картину. Он продал за гроши и сказал ей, что получил три тысячи. По ее просьбе оставил деньги у себя и платил за все, за что нужно было платить.

Тотчас после несчастья он написал в Петербург Рейхелю. Писать Тонышевым было невозможно: письма за границу не доходили и даже не отправлялись. От Аркадия Васильевича очень скоро пришел чрезвычайно взволнованный ответ. Он прислал едва ли не все свои сбережения, просил извещать его о состоянии двоюродного брата возможно чаще, приложил

письмо к Татьяне Михайловне и просил его ей передать, только если врач это разрешит: «По тому, что переживаю я, могу логически заключить, в каком состоянии она!» — писал он Никите Федоровичу. В приложенном письме, тоже логичном и расстроенном, говорил, что приедет в Москву по первому вызову, если от этого может быть хоть сколько-нибудь ощутительная польза. Травников, давно с ним знакомый, знавший его репутацию злого или, во всяком случае, очень сухого человека, был удивлен. «Нет, люди лучше, чем о них думают мизантропы». Он показал письмо Татьяне Михайловне, ничего не сказав о деньгах. Она просила ответить, что никакой пользы от приезда не будет: это только взволнует и напугает больного.

Скоблин сообщил Татьяне Михайловне, что они могут оставаться в клинике «сколько понадобится». Уход тут был, конечно, гораздо лучше, чем мог быть дома. Горячо благодаря, она спросила о «деревяшках», о костылях, о повозочке: «Буду сама его возить». Скоблин сказал свое «разумеется» и вздохнул. «Как уж она, несчастная, будет возить! Сама как будто совершенно больна и еле держится на ногах», — подумал он. Душевные и физические страдания Татьяны Михайловны еще увеличивались оттого, что она в день несчастья сама просила мужа не искать извозчика и поехать домой в трамвае. «Из экономии!»

Теперь она уже выходила к приезжавшим в клинику друзьям и старалась с ними «разговаривать»; они только испуганно на нее смотрели. Некоторые привозили подарки: леденцы, баночку варенья. К Дмитрию Анатольевичу еще никого, кроме Травникова, не пускали, и посетители узнавали об этом с облегчением.

Зашла под вечер жилища их квартиры, просила не вызывать к ней гражданку Ласточкину, испуганно расспрашивала, как случилось несчастье. Сказала, что дома все в порядке, что она за всем следит, и, уходя, оставила лимон, немного сахара и полфунта настоящего чая: «Мы ведь иногда кое-что достаем в кремлевском складе», — сообщила она смущенно. О таких продуктах люди в Москве давно забыли. Еще не очень давно, после покушения Каплан, по слухам, был правительством послан за границу экстренный поезд за лимонами и еще чем-то таким для раненого Ленина.

Татьяна Михайловна проследила и тотчас написала жилище письмо. Благодарила в таких выраженьях, что Травников только развел руками. Продукты вызвали сенсацию в клинике. Ласточкину был немедленно подан стакан с тоненьким, точно бритвой отрезанным, кусочком лимона

и двумя кусками сахара. Он выпил с наслаждением и потребовал, чтобы такой же пили и Татьяна Михайловна, и Никита Федорович, и сиделка. Они в один голос ответили, что выпьют попозже на кухне.

Дмитрий Анатольевич был все время в сознании, но оно не всегда работало хорошо. Когда в комнате никого не было, он иногда плакал. Прекрасно понимал, что жизнь кончена, что жить больше незачем, не для чего, а скоро станет и не на что. «Что же будет с Таней?» И ему все чаще вспоминалось, что в его квартире, в ящике, под бумагами, хранится металлическая мыльница, тщательно обернутая двумя носовыми платками, которые в свое время разыскивала Татьяна Михайловна: «Куда только они делись? Я твердо помню, что оставила тебе десять».

V

Тонышев был оставлен Временным правительством на прежней дипломатической должности. К февральской революции он отнесся без восторга и печально спорил об этом с женой: Нина Анатольевна была именно в восторге, говорила, что просто влюблена «в них во всех, особенно в Керенского», и высказывала мнение, что Алексей Алексеевич теперь должен выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание.

— Я и в Государственную Думу не хотел идти, а в это Учредительное собрание не пойду ни за что, даже если б меня выбрали! — угрюмо отвечал Тонышев.

Как он ни возмущался политикой прежнего правительства, как ни сочувствовал убийству Распутина, Алексей Алексеевич был очень расстроен падением династии Романовых: «Много, очень много красоты в жизнь вносил монархический строй». Он вел себя в отношении новой власти вполне лояльно, послал поздравление министру иностранных дел Милюкову, которого очень уважал, устроил у себя прием печати и в кратком слове объяснил, что теперь новая, свободная Россия с удвоенной энергией поведет войну, в теснейшем согласии со своими доблестными союзниками. Никого не хвалил и не осуждал.

Он много работал. С самого начала его работа в небольшой нейтральной стране заключалась преимущественно в собирании сведений о закулисной дипломатической деятельности Германии и Австро-Венгрии, об их попытках завязать связь с французскими и английскими государственными

людьми, о переговорах князя Бюлова. Бывший канцлер, по-видимому, был, по-прежнему, очень доволен собой, своими талантами и своими делами: он ничем, ни в чем не виноват, войну не умели предотвратить его бездарные преемники. После Танжера он еще долго вел политику в стиле Людовиков и Фридрихов, затем ушел в отставку, в чем-то не поладив с императором. Позднее ему Вильгельмом было поручено своим очарованием и дипломатическим гением отвлечь Италию от участия в войне; в Риме он долго очаровывал итальянских государственных людей, сыпал стихами, шутками, цитатами, но Италии не очаровал. Она приняла участие в войне на стороне союзников. Тем не менее Бюлов остался столь же неизлечимо в себя влюблен, как был всю жизнь.

Попытки «войти в контакт» (это было принятое выражение) с Россией делались и через Тонышева — разумеется, при посредстве граждан нейтральных стран. Он разговаривал с этими людьми чрезвычайно холодно и сообщал в Петербург об их суждениях и намеках. В меру возможного старался узнавать и такие новости, которые могли бы быть полезны военному ведомству. Для этого ему иногда и самому, в помощь русской разведке, приходилось «вступать в контакт» с людьми уж совсем сомнительными или открыто продажными. Делал это брезгливо. Вдобавок ему казалось и невозможным, чтобы какие-то проходимцы могли хоть что-либо знать о намерениях германского правительства и, тем менее, о планах Гинденбурга и Людендорфа. Но кое-что оказывалось правдой, и он убеждался, что совершенного, непроницаемого секрета нет не только у дипломатов, но и у военных.

После октябрьского переворота он без колебаний послал в Петербург очень краткое извещение о своем уходе в отставку и решил переехать во Францию, не дожидаясь ответа, — «с кем же теперь вообще говорить?». Сослуживцы советовали ему этого пока не делать: ссылаясь на формальные обстоятельства, на казенные деньги, на необходимость «поддерживать статус». У всех была уверенность, что большевики падут через несколько недель. С этим он соглашался, но говорил, что ему противно сохранять должность; некому посылать доклады, не от кого получать инструкции, нельзя, ничего не делая, брать жалованье из принадлежащих государству сумм. Возможно лучше наладив формальные дела, сдав должность помощнику, он уехал с Ниной Анатольевной. На вокзал их на этот раз провожали только сослуживцы, да и то не все.

В Париже они достали небольшую меблированную квартиру. Теперь оказалось очень кстати, что он перевел за границу свои частные средства. Их могло, при скромной жизни, хватить на несколько лет, и вначале Тонышевы не очень старались об экономии в расходах. Достать горничную было нелегко, к русским теперь шли неохотно: одни простые люди разорились оттого, что большевики перестали платить по займам, другие после Брестского мира считали всех русских изменниками. Тонышевы наняли швейцарку. Алексей Алексеевич в первое время еще устраивал небольшие приемы, уже без завтраков и обедов. Посещали их только люди второстепенные, больше прежние друзья по дипломатическому ведомству.

— Да и те, верно, немного опасаются, как бы ты не попросил у них денег взаймы, — говорила, смеясь, Нина Анатольевна. Он пожимал плечами и старался казаться равнодушным. Но его больно задевал конец русского престижа и связанное с этим понижение личного почета, которым он всю жизнь пользовался.

Они очень беспокоились о Ласточкиных. Писем из России больше никто не получал. Алексей Алексеевич в начале октября послал письмо с «вализой». Никакого ответа не было. Благоразумные люди говорили, что письма из-за границы, если и дойдут, то лишь скомпрометируют получателей, а уж отвечать оттуда совсем не безопасно. Лучше вообще пока не писать: ведь скоро все там кончится.

То же говорили и газеты: большевистский строй идет к концу; Ленин потерял всякий авторитет; по-видимому, скоро на его место сядет Троцкий или Зиновьев, уже под него подкапывающиеся и даже было ненадолго его арестовавшие. Газеты сообщали (более серьезные с оговорками о недостаточной осведомленности), что в России идут грабежи, убийства, пожары. Тонышевы читали с ужасом и тщетно старались успокоить друг друга. Как-то Алексей Алексеевич вспомнил о парижском притоне, в котором был когда-то с Людой: «Вот он, вот «bal d'Octobre!» — подумал он, стараясь разобраться в своем чувстве. Но, кроме мысли, что социальную революцию повлекли за собой социальные контрасты, ему ничего в голову не приходило. «А это ведь довольно банальная мысль».

К разгону Учредительного собрания он отнесся равнодушно: в этом собрании было разве лишь несколько человек, которым он мог бы по-настоящему сочувствовать. Позднее убийство царской семьи его совершенно потрясло. Он несколько дней ходил сам не свой.

И, наконец, пришла победа, полная победа над Германией. Радость Тонышевых была необычайно велика. Алексей Алексеевич был очень доволен и тем, что Вильгельм II бежал в Голландию, — жалел только, что царь до этого не дожил: это было бы для него утешением.

«Как странно, что три знаменитейших династии мира погибли именно из-за войны! — думал Тонышев. — Разумеется, воевали во все времена и республики, а все-таки для войн созданы монархии, да еще дворянство. На войнах создались их слава и их добродетели. Правда, любовь к армии, к знаменам, к мундирам, это природное свойство человека. Недаром бегут на парадах за войсками дети всех сословий и так радуются, когда им дарят сабли. Недаром даже революционеры подражают военным традициям и военной словесности. Когда-то короли это понимали. При Людовике XIV сын мужика или лавочника мог стать маршалом Франции, а при Людовике XVI — таков хваленый «прогресс» — не мог дослужиться до офицерского чина. Наполеон, имевший только четыре поколения дворянства, — немногим меньше, чем я, — мог быть при старом строе только ротным командиром, а до полкового дослужиться не мог, — а, как на беду, он хотел, очевидно, стать полковым командиром. И монархи не поняли, что эта война будет совсем не такой, как прежние, что мир перестанет ценить военную доблесть и дворянские понятия о чести. Теперь чуть ли не в одной Англии военные заслуги дают дворянство и титулы».

Алексей Алексеевич, впрочем, не очень верил в породу, хотя иногда и нерешительно ссылался на то, что есть ведь порода у лошадей, у собак, как же ей не быть у людей? Собственное его дворянство было не старым: его прадед вдруг, ни с того ни с сего, получил высокий чин от Павла, которому чем-то понравился. Тонышев не мог думать, что от этого их порода стала лучше; голубой крови не прибавилось. Но он считал очень полезным для государства обилие отличий, чинов, орденов. «На этом многое везде держалось веками, так все дорожили — и я дорожил — звездами, лентами, статскими и действительными, и это не стоило казне ничего. Республики и эта война все изменили. Надо создавать новые традиции, но какие?... Да, монархии сами себя погубили!»

Он читал много газет. Из Швейцарии ему доставлялись и немецкие. Хаос в Германии вначале доставлял ему радость: «Насаждали у нас большевиков, теперь испытайте на себе!» Но злорадство скоро у него прошло. Теперь его пре-

имущественно интересовало, как ученая страна выйдет из положения, которое она сама считала довольно естественным для неученой. Ненависть людей друг к другу, ему издали казалось, была в Германии еще больше, чем в России. Левые газеты поливали помоями правых, правые — левых. Обе стороны возлагали ответственность за катастрофу одна на другую.

Тонышев надеялся, что освободившиеся с победой огромные силы союзников тотчас свергнут в России большевиков. Но эта надежда очень скоро ослабела, потом совершенно исчезла. Вначале русские дипломаты и политические деятели, со всех сторон съезжавшиеся в Париж, предполагали, что как-нибудь, хотя бы не на основе полного равноправия, они будут привлечены к участию в мирной конференции и в предварительных совещаниях. Но понемногу выяснилось, что об этом и речи нет. Не очень думали вожди союзников и о свержении советского строя вооруженной силой. О Клемансо и Ллойд Джордже говорили, что они терпеть не могут Россию. О Вильсоне стали говорить, что он имеет симпатии к большевикам и желал бы устроить где-либо мирное совещание между ними и их русскими противниками. Американского президента газеты еще называли светочем человечества, но жар их в этой оценке заметно уменьшался во всех странах.

— Нет, ничего они для нас не сделают, хотя Россия потеряла в войне, верно, в двадцать раз больше людей, чем Соединенные Штаты! — с горечью говорил Тонышев.

Изредка у наиболее известных русских дипломатов союзники, без большого интереса, еще о чем-то вежливо осведомлялись. Но, видимо, были очень довольны, что Россия к переговорам не привлечена, что она больше никому не нужна, что ей ничего не нужно отдавать из плодов победы, — вполне с нее достаточно того, что отменен Брестский договор.

В посольстве на улице Гренелль Тонышев беспрестанно встречал старых и более новых политических деятелей, — в душе предпочитал первых, если они не были уж совершенными зубрами. Новые его несколько раздражали: «Все они только себя считают людьми будущего или даже настоящего, а с представителями старого строя разговаривают разве по доброте и снисходительности. Забавно, что они называют большевиков «захватчиками» и «узурпаторами». А кто же были они сами? В феврале был такой же захват власти, как в октябре. Так тушинский вор приказывал драть кнутом всех следующих Лжедмитриев», — раздра-

женно думал Тонышев. Впрочем, теперь его раздражало почти все. Раздражали намечавшиеся условия мира, — «все-таки немцы воевали геройски, и в прежние времена, при монархиях, о них хоть говорили бы не в таком тоне. Кончились рыцарские традиции! Где это видано: заключать мир, даже не вступая в переговоры с побежденным противником? И какая цена такому миру!» Раздражало его торжество «всевозможных Бенешей». «Бенеши» с необычайной быстротой появились и на территориях Российской империи. Объявили эти территории независимыми, приезжали в Париж с большими деньгами, устраивали приемы для печати, и их встречали гораздо лучше, чем прежних русских послов.

— Все торчали в приемных немецких министров и генералов, когда у тех дела шли хорошо. А теперь из Берлина кружным путем приехали в Париж и торчат в приемных союзных министров! И совершенно забыли, что были когда-то в России членами Думы или Временного правительства или же занимались мирно кто адвокатурой, кто службой, кто коммерцией, ни минуты и не думая об отделении своих стран! — говорил он жене.

Нина Анатольевна с ним соглашалась, но не так гневно. Ее забавляли фамилии министров и делегатов новых стран.

— Послушай только, — говорила она, отрываясь от газеты, — Топчибашев, Мехмандаров, Мейровиц, Поска, Сабхатарашвили! А по имени одного зовут Али-Мардан-бек! *On ne s'appelle pas Ali-Mardan-bek!*¹

Это замечание Алексею Алексеевичу не понравилось. Позднее он чуть не устроил жене сцену за то, что она произнесла слово «бош».

— По-моему, это так же некультурно, как говорить «жид» или называть изменника Троцкого «Лейбой»!

— Алеша, да ведь все теперь говорят «бош».

— Именно, все. Это и очень скверно.

Поездка Буллита и предложение союзников русским встретиться с большевиками на Принкипо привели Алексея Алексеевича в совершенное бешенство. Тут он сходилась со всеми русскими политическими деятелями, и старыми, и новыми.

— Замечательный психолог ваш Вильсон! — сказал он в сердцах старому знакомому, нейтральному дипломату. — Хороша была бы встреча! Я первый вцепился бы в горло этим господам!

¹ Нельзя иметь такое имя — Али-Мардан-бек! (фр.)

— Но что же вы предлагаете? — спросил дипломат с недоумением. Он никак не представлял себе, чтобы Тонышев мог вцепиться в горло кому бы то ни было.

— Я предлагаю то единственное, что может предложить разумный человек: союзные правители, в помощь Деникину и Колчаку, должны предписать маршалу Фошу двинуть войска против большевиков. И еще лучше, предписать это сделать немцам: они у нас большевиков посадили, пусть они их и свергают. И, поверьте, большевики трясутся от ужаса: только этого они и боятся.

— Да ведь это невозможно!.. А если все вы, *les cidevant*, так думаете, то я не сомневаюсь, что союзники будут очень рады: они только и хотят, чтобы вы отклонили их предложение.

— Может быть, они будут рады не очень долго, — ответил Алексей Алексеевич. — Впрочем, хороша теперь и их собственная трогательная дружба.

Действительно, маленьким, очень маленьким утешением для него было то, что союзники уже все ненавидели друг друга. По Парижу ходили рассказы: Клемансо больше не раскланивается с Вильсоном. Соннино называет президента Соединенных Штатов «американским сапожником». На заседании Трех «Отец Победы» назвал Ллойд Джорджа лгуном, а Ллойд Джордж чуть ли не схватил его за воротник, потребовал извинений, так что Вильсон, почти одинаково ненавидевший обоих, еле их разнял; французский премьер отказался принести извинения английскому премьеру, но выразил полную готовность дать ему удовлетворение, по его выбору, на шпагах или на пистолетах (это очень понравилось Тонышеву). Со смехом говорили о мерах, принимавшихся в Париже иностранными полициями к охране своих высокопоставленных особ: хватали всех, чьи лица казались подозрительными. Так, американские сыщики, уж совершенно никого в Европе не знавшие, приняли Клемансо за анархиста и арестовали его у входа в отель «Крийон»; а их товарищи, по той же причине, задержали в холле «Мажестика» маршала Фоша, явившегося в штатском платье на завтрак к начальнику британского генерального штаба.

Все эти рассказы очень веселили Париж и еще способствовали радостному оживлению. Об условиях мира никто в населении не думал. Важно то, что войны больше никогда не будет. С удовольствием узнавали о создании новых государств и спрашивали друг друга, какие у них столицы и есть ли у них уже гимны. Тем не менее французам нравилось, что «Отец Победы» покрикивает на представителей малых стран;

орал на Венизелоса в споре о греческих делах, обвиняя его в непонимании и в невежестве. Клемансо, особенно после покушения на него анархиста, был на вершине популярности. Все знали, что он будет президентом республики, и только с тревогой спрашивали, сохранит ли он свои умственные способности до конца президентского срока: все-таки ему тогда будет уже под девяносто лет. Кое-кто по этой причине нерешительно предлагал кандидатуру Поля Дешанеля. В общем оживлении невольно принимали участие и русские. Некоторые из них, еще имевшие дипломатический паспорт и связи, иногда получали приглашения на приемы. Мог бы добиться приглашения и Тонышев, но он ничего для этого не сделал и почти ни у кого из иностранцев больше не бывал.

Уже после подписания мирного договора, в посольстве, где, по-прежнему без большого дела, собирались видные люди, он встретил знакомого политического деятеля, только что приехавшего из России кружным путем через Японию и Соединенные Штаты. Тот после доклада крепко пожал ему руку и выразил сочувствие.

— В чем?.. В чем?.. — спросил Алексей Алексеевич, бледнея. Знакомый удивленно на него взглянул и пожалел о своей оплошности.

— Да я слышал... О брате вашей жены... Я не думал... Может быть, я и ошибаюсь?..

— Что такое? Ради Бога, скажите правду!.. Мы ничего не знаем!

Он узнал, что Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна в Москве покончили с собой.

VI

Ласточкиным было сказано, что оставаться в клинике можно «сколько понадобится», но это были слова неопределенные. Разумеется, их не гнали, их по-прежнему очень хвалили врачи и сиделки. Но они сами понимали, что оставаться без конца нельзя. Недели через три Скоблин, встретившись в коридоре с Травниковым, пригласил его в свой кабинет. Никита Федорович испуганно на него взглянул: давно ждал неприятного разговора. Вышло все же не так плохо. Хирург сказал, что необходимо перевести Дмитрия Анатольевича из отдельной комнаты в общую палату и просил его к этому подготовить:

— ...Вы сами понимаете, как обстоит дело. Я уже, разумеется, отказал по крайней мере десяти человекам, на-

ходящимся в таком же положении, как он. Все московские больницы битком набиты людьми. А отдельные комнаты теперь уж величайшая редкость. В прежние времена, до них, это было отчасти связано с денежным вопросом, и больные рассматривали перевод в общую палату как какое-то понижение в чине. Но теперь все бесплатно, в этом я отдаю им справедливость, так что вопрос уж совершенно не в этом. Дмитрий Анатольевич вне опасности. Лучшим его положение вряд ли станет. Уход в общей палате точно такой же. Я обхожу всех больных каждый день. Кроватей в палате, разумеется, только восемь.

— Значит, в общей палате они могут оставаться сколько угодно?

Скоблин развел руками.

— «Сколько угодно»! Разве теперь можно заглядывать хоть на месяц вперед. Меня и самого могут выставить в любую минуту. Удивляюсь, как не выставили до сих пор... Татьяна Михайловна никогда с вами о «будущем» не говорила?

— Говорила о возвращении домой. Им оставили две комнаты. Тоже могут в любую минуту одну отобрать.

— Две комнаты огромное преимущество. Во всяком случае, ей было бы удобнее, чем спать на диванчике.

— Если есть что, о чем она, несчастная, совершенно теперь не думает, то это о *своих* удобствах!

— Да, я понимаю. Она очень достойная женщина. Но в общей палате она, разумеется, оставаться на ночь не может... Они, помнится, во втором этаже живут?

— Во втором.

— Разумеется. Костыли и повозочка есть, но о том, чтобы он спускался по лестнице, нет речи. В первое время мы могли бы посылать служителей, чтобы они его сносили вниз. Впрочем, и не такая радость ездить в повозочке по улицам... Как знаете. По-моему, лучше ему полежать, пока можно, в общей палате. Жить же ему, разумеется, не очень долго, как, впрочем, и нам всем. Жили и померли, и ничего такого нет. Разве вам, Никита Федорович, страшно?

— А вам нет? — сердито спросил Травников.

— Разумеется, нет.

Татьяна Михайловна мучительно колебалась. Ей казалось невозможным уходить от мужа на ночь. Решил вопрос сам Дмитрий Анатольевич.

— Давно пора вернуться!.. И не надо откладывать! — прошептал он еле слышно, но решительно.

Металлическая мыльница находилась дома. «Да если б была и здесь, то как же можно это сделать в общей палате?» Он думал о самоубийстве с каждым днем больше и только с ужасом поглядывал на жену. «Что я ни сделал бы, один из жизни не уйду».

Было решено переехать через два дня. Точно чтобы их утешить, Скоблин разрешил Татьяне Михайловне читать вслух мужу:

— Разумеется, часика два-три в день, не больше. И не газеты, а книги, и такие, которые не могли бы его волновать, — сказал он и сам принес бывший у него в кабинете том Пушкина. Дмитрию Анатольевичу и не хотелось слушать, но это было морально легче, чем разговаривать или молчать с женой. Сначала он только делал вид, будто слушает. Затем стал вслушиваться.

— Какая у него... мудрость, — еле слышно выговорил он. — Всем надо учиться... Да, именно «благословен... и тьмы приход»... — он вспомнил эту музыкальную фразу Чайковского, всегда сильно на него действовавшую, и незаметно смахнул слезу. Руки у него уже работали сносно. «Чтобы проглотить, сил хватит...» И тотчас та же фраза отозвалась в памяти Татьяны Михайловны.

Его перевезли домой в карете в сопровождении младшего врача и сиделки. Служители подняли его в квартиру. В передней подростки молча смотрели на него, как на диковинку. Доктор обещал навещаться часто. Сиделка обнялась с Татьяной Михайловной и сказала, что будет приходить каждый день. «Скоро будете, Дмитрий Анатольевич, совсем в порядке», — обещал врач. Приехал и Никита Федорович с какой-то едой. Он посещал Ласточкиных ежедневно и, как их ни любил, уходил от них всегда с облегчением.

Они остались одни. За стеной шумели подростки. «Верно, обмениваются впечатлениями», — подумал Дмитрий Анатольевич. Жена подошла к нему, спросила, удобно ли лежать, было ли лучше в клинике. Он чуть наклонил голову и глазами дал понять, что хочет поцеловать ей руку. Чувствовал к ней все большую жалость. «Господи! Если б не она, как было бы просто!.. Ведь выходит: почти убийство...»

Как ни худо было в клинике, дома оказалось неизмеримо хуже. Быть больным в Морозовском городке казалось естественным. Вернее, там все пациенты жили искусственной, временной жизнью. В определенные часы приходили врачи и сиделки, измеряли и записывали температуру, да-

вали лекарства, делали впрыскивания. В случае надобности можно было немедленно вызвать дежурного врача. Он тотчас делал необходимое и действовал одним своим успокоительным видом. В определенные часы приносилась больничная еда, о ней заботиться не приходилось, и она была все же несколько лучше той, которую можно было достать дома. Теперь была *окончательная* жизнь, и все лежало на Татьяне Михайловне.

Она уходила на час или два и кое-как доставала еду. Весь остальной день сидела так же при муже. По-прежнему приезжал Никита Федорович и говорил одно и то же: «Вид нынче у вас прекрасный. Вот видите, барынька, поправляется богдыхан! Ведь и более больше почти нет...» Просил не беспокоиться о деньгах. Между тем совершенно не знал, где их достать. Об университетской пенсии говорить не приходилось. Дмитрий Анатольевич прочел всего одну лекцию. Все же Травников немного надеялся, что могут, ввиду исключительных обстоятельств, дать единовременное пособие, и искал хода к народному комиссару. Татьяне Михайловне ничего об этом не говорил. Провожая его в переднюю, она благодарила, иногда со слезами:

— Вы относитесь к Мите просто как родной брат. Век буду жить — не забуду!

— Полноте, барынька, — отвечал он и думал, что едва ли она будет «век жить».

Знакомые говорили о Дмитрие Анатольевиче: «Он несет свой крест с великим достоинством». Это до него доходило. «Да, крест, — думал он. — Но откуда же взяться великому достоинству? Живу милостыней... А эти грязные ужасные заботы о моем обрубленном теле, об его отправлениях!..» Теперь и жизнь после октябрьской революции, его прогулки по старой Москве, все казалось ему чуть не раем.

VII

«Каждое поколение занимает в истории человечества приблизительно одну сотую ее долю», — думал Дмитрий Анатольевич. Устало проверил: «Да, приблизительно одну сотую... Едва ли было когда-либо поколение, подобное нашему. Мы как-то отвечаем за полвека истории. Винаваты? Да, вероятно, но в чем? И что же я и лично сделал уж такого дурного? Жил честно, никому не делал зла, по

крайней мере умышленно или хотя бы только сознательно. Работал всю жизнь много, помогал работать и жить другим, старался приносить пользу России. За что же именно меня так страшно покарала жизнь? Правда, покарала лишь под конец. До того и я, и Таня были счастливы, на редкость счастливы. Неужто именно за это покарала? В России теперь почти все несчастны, но не все и не так несчастны, как мы. А в других странах счастливы тысячи, миллионы людей хуже, чем *был* я, неизмеримо хуже, чем Таня».

Против его воли, он замечал, в его душу прокрадывалось то, что называли ядом материализма. «Что же делать, как *они* ни гнусны, но кое-что у них правильно, по крайней мере в отрицательной части их ученья. Как можно было бы объяснить мое несчастье с религиозной точки зрения? Никак нельзя: не «испытанием» же! А с точки зрения нашего учения? Какое же было наше ученье? Лавров, Михайловский, Плеханов, Милюков? Ведь, со всеми различиями между ними, они в каком-то смысле одно и то же. Вера в прогресс? Эта вера моего случая не предвидит и к нему не относится. Большевики, по крайней мере, откровенно думают: личность не имеет значения, пропал человек, ну и пропал, какое кому дело? И так оно и есть: никому, кроме Тани, до меня никакого дела нет. И даже Травников уже, вероятно, немного нами тяготится и в душе, бессознательно, желает, чтобы я умер поскорее, а то слишком много забот... Нет, несправедливо и гадко так думать, я знаю. Но чем же я виноват, если этот яд уже проникает в мою душу, как, верно, проникает в душу всех. Разве недавно люди не мечтали при мне вслух о германской интервенции, о войсках Гинденбурга в Москве! Мне теперь и Гинденбург ничем помочь не мог бы... И никакой свободный строй... Но все-таки, вдруг все-таки есть загробная жизнь? Ах, дай-то Бог!!! И как же я об *этом*, о самом главном думаю так мало!»

Ему не раз приходилось читать, будто люди на пороге смерти, например смертельно раненные в сраженье, думают необычайно напряженно, в какую-нибудь одну минуту вспоминают всю свою жизнь. С ним в день несчастья этого не было. Тогда на мостовой он мгновенно потерял сознание. Затем в клинике как будто на мгновение пришел в себя, как будто даже узнал Скоблина, и скользнула мысль: «Хорошо, что он здесь... Кажется, со мной несчастье... Где же Таня?...» Слышал негромкие голоса, слов не разобрал. «Не операция ли!...» Успел еще подумать, что, быть может, в жизни больше ничего не увидит, кроме этого серого потолка с люстрой, с режущим глаза светом. Показалась рука в

белом рукаве. «Анестезист!» И все померкло. Он пришел в себя лишь в маленькой комнате клиники. Но твердо помнил, что никаких воспоминаний о жизни, никаких важных мыслей, ни даже желанья что-то вспомнить, о чем-то думать у него на операционном столе не было. Не было их и в первые дни после ампутации ног, когда он понял, что навсегда стал калекой, обрубком.

Мысли о самом важном пришли позднее. Теперь он больше всего думал о *будущем*. «Если в самом деле есть будущее? Ведь в это твердо верят миллионы людей! «Думал и о настоящем, меньше о прошлом. Думал о житейских делах. Он догадывался, что Никита Федорович не мог выручить за картину три тысячи. Догадывался, что для него собирают деньги. В первую минуту это причинило еще новую душевную боль. Представил себе, как ходит по знакомым Травников, как некоторые дают, другие отказывают, быть может, ищут предлога для отказа: «У меня, к несчастью, у самого сейчас очень мало»... «Я сердечно сочувствую, они хорошие люди, но кругом так много горя, а я ведь их и мало знал». Особенно больно ему было за жену: «И через это прошла!..»

«Что ж, я, когда мог, немало помогал людям», — тяжело дыша, отвечал он себе, не решаясь взглянуть на сидевшую рядом жену. Не хотел сказать ей, — «может, она не догадывается?». Если она прежде и не догадывалась, то теперь точно прочла его мысли, по той же все усиливавшейся между ними телепатии. И он прочел ее слова, почти такие же: «Сколько ты сделал для других! Чем мы лучше? И мы все отдадим, когда падут большевики». Он теперь твердо знал, что не доживет не только до падения большевиков, но и до будущей недели: беспрестанно думал, что нельзя откладывать *дело*: «Чем скорее, тем лучше и легче». И еще подумал: «Мы не отдадим, но Аркаша отдаст. И действительно, *теперь* это уже и не важно».

Когда-то, еще до войны, Ласточкин решил составить завещание. Сказал об этом жене, та отнеслась к его решению иронически:

— Самое неотложное дело! Перестал бы ты думать о пустяках!

— Вовсе это не пустяки. Все под Богом ходим. Мало того, надо и место нам купить на кладбище. Это многие делают.

Мысль о покупке общего места на кладбище была ей менее неприятна, но она продолжала шутить:

— Хорошо, тогда и я составляю завещание. Ты ведь мне подарил немало денег. Только я завещаний составлять не умею. Составь сам. Разумеется, в свою пользу. Так и быть, все отдам тебе, а не душке-Собинову и не футуристам.

— Я тоже не знаю, как составляются завещания. Приглашу Розенфельда, — сказал Дмитрий Анатольевич. Это был его деловой адвокат и их приятель.

Адвокат одобрил мысль о двух завещаниях.

— Каждый из нас обязан об этом подумать. И я подумал, хотя я лишь ненамного старше вас. Помню, что мне говорил мой знаменитый коллега, покойный Спасович: «Я понимаю, что можно без завещания умереть, но не понимаю, как можно без него жить», — смеясь, сказал Розенфельд.

— Это верно. Ну, а если б, Олег Ефимович, я умер без завещания? Кому тогда все достанется? Моей жене?

— Нет, ей только часть. Ведь могут быть и другие наследники по закону.

— Тогда составим два завещания.

Они и были составлены. Ласточкин поделил треть своего состояния между Московским университетом, Техническим училищем и Академией наук, две трети завещал жене: она все завещала ему. Они побывали на кладбище и приобрели два места.

Теперь у него ничего не было. Отпали и прежние законы. Можно было только надеяться, что после освобождения России завещание будет признано действительным. Имея это в виду, Ласточкин мысленно составил письмо Рейхелю. Просил его «когда будет можно», уплатить его долги, о которых ему скажет профессор Травников, — знал, что его воля, при безукоризненной честности Аркадия Васильевича, будет непременно исполнена.

Никита Федорович пришел в обычный час. Принес, как почти всегда, подарок, и дорогой: кусок белого хлеба. Татьяна Михайловна обычно пользовалась его приходом, чтобы выйти из дому за покупками: не хотела оставлять мужа одного. Ласточкин продиктовал Травникову письмо. Тот смущенно увидел упоминание о долгах и что-то, растерявшись, пробормотал.

— Какие долги! Может, будут, но пока их нет. Увидите, я и пенсию вам выхлопочу, — сказал он и пожалел, что сказал. — Пенсию от университета, — поспешно добавил

он. Безжизненное лицо Ласточкина чуть дернулось: «Получать и от них милостыню!» Он ничего не ответил.

— Еще к вам... просьба, — прошептал он. — Не привезете ли мне... книг... Из университетской библиотеки?

— С большим удовольствием. Но у вас так много своих. Неужели все прочли?

— Я всегда читал... то, что покупал, — выговорил он и подумал, что это было некоторым преувеличением. «И перед... этим... не вся правда». Кое-как объяснил, что хотел бы *теперь* прочесть лучшие философские книги о смерти.

Никита Федорович сердито запротестовал. Но обещал завтра же все принести. Вернулась Татьяна Михайловна, быстро взглянула на них и поправила мужу подушку.

На следующий день Травников привез книги Платона, Шопенгауэра, что-то еще.

— А все-таки читайте их поменьше, — сказал он неохотно. — Они утомительны, да и ни к чему.

После его ухода Татьяна Михайловна стала вслух читать «Федон». Ласточкин слушал внимательно, но в самом деле скоро утомился.

— Кажется, Никита Федорович был прав... Отложим это... Почитай мне лучше... вечного утешителя... Толстого.

— «Войну и мир»? — радостно спросила Татьяна Михайловна.

— Нет... «Смерть Ивана... Ильича».

— Ради Бога, не надо! Это такая страшная книга!

— Прочти, пожалуйста... И не с начала... Конеч. Болезнь и смерть... Ну, пожалуйста...

Татьяна Михайловна начала читать. Скоро она заплакала.

— Не могу... И ведь это совершенно не похоже на то, что с тобой. Ты, слава Богу, не умираешь, и нет у тебя этих страшных болей...

— Конечно, нет... Хорошо... Тогда потуши лампу...

«Он думает: «Все было не то...» И я так думаю, и, верно, очень многие другие. Да, «не то». Но что же «то»? Этого Толстой не объяснил, и нечего ему было ответить... В конце сказано: «Вместо смерти был свет... Какая радость!» Нет света и нет радости. Но ведь не мог же Толстой лгать... Он был полубог. Иван Ильич три дня подряд кричал от боли ужасным непрекращающимся криком... И я буду так кричать?.. Нет, не хочу. Насколько разумнее покончить с собой! — думал Ласточкин. — Только поскорее!...»

В этот вечер он сказал жене о металлической мыльнице.

VIII

Все было тщательно обдумано. Обдумывалось уже второй день.

Накануне еще приводились доводы. Татьяна Михайловна почти не спорила. В душе была с мужем согласна: действительно, другого выхода нет. Понимала, что долго так жить нельзя. «И нельзя, и незачем», — шептал Дмитрий Анатольевич. Вдобавок профессор Скоблин в разговоре с Татьяной Михайловной проговорился. «*Непосредственной* опасности я не вижу. Я знаю людей, которые с такими увечьями живут уже *несколько* лет», — сказал он. И на доводы мужа Татьяна Михайловна теперь с искаженным лицом только шептала:

— Но ведь *это* никогда не поздно...

— Может быть и поздно. Даже в менее важном... Пока мы честные люди... А если... если будем жить их милостыней... то деградируем, как все, — сказал Ласточкин и вспомнил о «теории самоубийства», которую приписывали Морозову: самоубийство всегда для человека — самый достойный способ ухода. «Он так думал в то время, что же он сказал бы теперь, в моем положении? Хорошо, что достал тогда яд. Без него было бы трудно: газ открыть — взорвется весь дом. И заметят жильцы, закроют, будет лечение, грязь, мука...»

Когда решение было принято, обоим стало немного легче. Вернее, они скрывали друг от друга ужас и нестерпимую боль. Говорили *спокойно*. Дмитрий Анатольевич говорил, что смерть от цианистого калия наступает мгновенно, без мучений. Татьяна Михайловна отвечала, что не беда, если мученья продлятся несколько минут: при естественной смерти бывает неизмеримо хуже. *Деловито* обсуждали подробности. Написать ли Никите Федоровичу?

— По-моему, не надо.

— Да, это могло бы привлечь к нему внимание властей.

— Именно... Его вызывали бы...

— Все-таки не написать ничего, это было бы ему обидно. Мы стольким ему обязаны.

— Это так... Что ж, попробуй... Напиши...

Она попробовала, начала писать: «Дорогой друг, Никита Федорович. Нам тяжело причинять вам горе, которое...» Но махнула рукой и, несмотря на деловитость, вдруг заплакала. Горе Никиты Федоровича было ничто по сравнению с мукой этого последнего дня их жизни. Слезы

попились и у Дмитрия Анатольевича. Она налила ему воды из графина, налила и себе.

— Из этих самых стаканов, — сказала Татьяна Михайловна уже опять «спокойно». «Господи, зачем мы ждем? Сейчас, сейчас, сию минуту!»

Было решено покончить с собой в одиннадцатом часу вечера, когда лягут спать жильцы. Они могли бы что-либо услышать, заглянуть, позвать врача, полицию. Ласточкин знал, что цианистый калий легко разлагается: если хоть немного разложился в мыльнице, то и смерть наступит не сразу.

— Пусть лучше узнают завтра. Сиделка зайдет и увидит. Она знает адрес Никиты Федоровича, — говорила Татьяна Михайловна. — И он поймет, почему мы не написали. Не пишем ведь ни Люде, ни Нине, ни Аркаше... А вот властям надо написать несколько слов. А то еще подумают, что нас отравили!

— Ах, да! — сказал Дмитрий Анатольевич и почему-то очень взволновался. — Непременно!.. Я тебе... продиктую.

Задышавшись, он продиктовал записку:

— «Не надо искать... виновных... Это — самоубийство... В стаканах... в мыльнице, на... ложечке... остатки яда... Все вымыть... Самым тщательным... Убедительно просим... похоронить нас... непременно вместе...» Подчеркни «непременно».

Оба заплакали.

— Подпиши, дорогая.

— Мы пропустили «образом». Самым тщательным образом... И за тебя подписать?

— За нас обоих... Все было... за нас обоих... Нет, лучше, я тоже... А то подумают... ты меня убила, — сказал он и постарался улыбнуться; вышла страшная гримаса.

— Тогда я достану твои очки, — из последних сил сказала Татьяна Михайловна.

— Найди, пожалуйста... Нет, дай мне твои. У нас ведь... один номер... Даже номер очков... был общий. Так... Спасибо...

Она положила свою записку на том Платона и, придерживая ее на переплете, поднесла ему с пером. Он вывел: «Дм. Ласточкин»; по привычке вывел даже росчерк, который делал столько лет на бумагах.

— Теперь в порядке... Не подумают... что ты меня убила... На самом деле... я тебя убил, милая, дорогая моя, — прошептал он. И слезы снова покатились по его щекам.

— Не говори, ни слова не говори!.. Обо всем поговорили, нет другого выхода... Это я тебя убила... Тогда... Трамвай... — она теперь задыхалась, почти как муж. — Митя, Митенька, выпьем сейчас.

Он чуть наклонил голову.

— Да.

— Сейчас? Сию минуту?

— Сию минуту.

Она быстро подошла к столу, открыла мыльницу и высыпала яд в стаканы.

— Я высыпала... пополам.

— Пополам... Достаточно на... сотню людей... Размешай... Хорошо размешай.

Стараясь не дышать, она размешала. Почувствовала миндальный запах. Расширенными глазами он следил за ней.

— Размешала?

— Размешала. Не все растворилось.

— Это не важно... Положи записку на стол... Положи на нее часы... Так... Теперь... в последний раз...

Она поставила оба стакана на ночной столик и обняла его.

— Ну, вот... Прощай, Митя... Прощай, мой ангел...

— Прощай, милая... Золотая... Прости меня, прости за все...

— Не за что... Ты меня прости... Сейчас, а то не хватит сил...

— У тебя глаза... Точно такие... Какие были... тридцать лет тому назад... Прощай, дорогая... Нет, до свиданья... Есть вечная жизнь.

— Есть... Есть... Не может быть, чтоб не было. До свиданья, Митя, мой Митя.

IX

Всю зиму 1921/22 годов Ленин чувствовал себя нехорошо. Врачи качали головой: сосуды в очень плохом состоянии, сильный склероз. Советовали поменьше работать и в особенности поменьше волноваться. Он смотрел на них с усмешкой, но согласился уезжать иногда на отдых. Было выбрано имение Горки, принадлежавшее до революции вдове Саввы Морозова.

Оно понравилось Ленину: хорошо устраивались буржуи. Впрочем, дом был не очень роскошный: двухэтажное зда-

ние с шестью колоннами, в высоту обеих этажей, с балюстрадой, с несимметричными пристройками слева и справа. Был парк. Ленин велел устроить электрическое освещение. Выбрал себе комнату, — вместе спальную и кабинет. В ней был хороший письменный стол, — такой, о каком он мечтал за границей, с пятью ящиками, — пожалуй, такого у него не было и в Москве: в Кремле он поселился в самом скромном помещении. Другие сановники тоже устроились там скромно, — это было лучше: часто принимали «представителей рабочих, крестьянских и общественных кругов», — те всегда назывались именно «представителями», — так уж повелось с очень давних времен. Зато многие сановники облюбовали себе для отдыха великолепные княжеские подмосковные, — туда «представители» не приглашались. Ленин же исторических подмосковных не хотел. Горки были от Москвы всего в тридцати пяти километрах, люди могли ездить к нему и туда, и он от них не скрывал: да, утомлен, врачи велят отдыхать, как прежде буржуи, ничего не поделаешь.

Ездили к нему и сановники, делали доклады, он слушал внимательно, но с меньшим вниманием, чем прежде, без прежнего страстного интереса, — сам этому удивлялся с очень неприятным чувством. Впрочем, иногда еще приходил в бешенство. Раз, прочитав в газете какое-то заявление Чичерина, с яростью написал в Москву (даже без «совершенно секретно», зато с «очень срочно»): «Отправьте Чичерина в санаторию». Впрочем, это приказание было символическим: надо было, чтобы виноватый народный комиссар понял весь его гнев (иногда и он дружески советовал усталым подчиненным поехать куда-нибудь отдохнуть). Но ему и в голову не могло прийти отправить *большевика* даже грешного, в ссылку, в тюрьму или в застенки Лубянки. Такая мысль показалась бы ему дикой: ведь они были не просто какие-то люди, а большевики, его сподручные, помогавшие ему создать партию.

Из посещений сановников ему доставляли удовольствие приезды Пятакова. Его докладами тоже не восхищался и ставил его лишь немногим выше, чем большинство своих сотрудников: почти всех считал болванами и горестно удивлялся тому, что так мало у него настоящих людей. Но лично Пятакова, да еще Бухарина, «любил», хотя и их часто очень ругал. Главное же: Пятаков был прекрасный пианист и, по его просьбе, целый вечер играл ему Баха, Бетховена, Шопена. Он наслаждался, — новую музыку терпеть не мог. Велел прислать в Горки собрания сочине-

ний Пушкина, Некрасова, Толстого, — вероятно, это вызвало в Кремле общее изумление. Читал тоже с наслаждением и сожалел: наше дурачье так не пишет.

С гораздо меньшей злобой он думал о старой России вообще. Вспоминал свое детство в Симбирске, их дом, Волгу, деревню, и, как всем пожилым, особенно больным, людям, ему казалось, что тогда он был гораздо счастливее, чем теперь. Случалось, приезжавшие к нему гости осматривали дом и парк, насмехались над дворянчиками-помещиками, угнетавшими до их революции народ. Он хмуро говорил, что сам вышел из дворянства — и не он один. Думал, что не так хорошо живет народ и при них. Этого не говорил, но гости смущенно умолкали.

Иногда он ездил по соседним селам и разговаривал с крестьянами. Расспрашивал их, как они живут. В этом было что-то от прежних либеральных помещиков, и, должно быть, он сам это чувствовал, хотя, как и помещики, верил, что мужики говорят ему правду. Они смотрели на него испуганно, старались угадать, что нужно барину, жаловались на дела, стараясь все же не слишком поносить бурмистров: еще осерчает. После таких поездок он возвращался домой в угрюмом настроении. Стоявшее в кабинете-спальне трюмо отражало бледное, очень усталое лицо. Он старался не смотреть в зеркало: знал, как изменился и состарился.

То, что голодала прежняя буржуазия, разумеется, могло быть ему только приятно. Нисколько не жалел он и интеллигенцию — она незаметно с буржуазией сливалась, так что иногда и различить было нельзя. Но лишения крестьян были другим делом. И уж совсем тяжело ему было то, что в еще худшей нищете, чем при старом строе, жили рабочие, тот самый пролетариат, о котором он говорил и писал всю свою жизнь. За исключением небольшого числа добравшихся до власти выходцев, рабочие действительно помирали с голоду, — прежде эти слова были все-таки лишь очень хорошим фигуральным выражением в полемике. Разумеется, можно было уверять, что это временно, что скоро они будут жить превосходно. Но их положение все ухудшалось, и они сами больше в будущий земной рай не верили. Он еще продолжал что-то твердить об исторической миссии пролетариата, но эти слова, вообще означавшие немногое, теперь превращались в насмешку над собой. Вдобавок выходцы из «рабоче-крестьянской бедноты» на работе оказались не лучше, а хуже, чем большевики, вышедшие из буржуазии. Кухарка, оказывалось, не умела править государством.

Экономическую политику пришлось изменить. Он не мог не понимать, что это значило признать свою собственную ошибку: правы оказались враги, — их тем не менее нужно было по-прежнему всячески поносить. Разумеется, он, как всегда, *посоветовался* с Карлом Марксом и, тоже как всегда, Маркс поносил его врагов и очень одобрял нэп. Ленин мог думать, что таким же нэпом все и кончится. Колоссального резервуара потенциальной энергии, открытого в восемнадцатом веке Французской революцией, хватило для очень больших дел — и он привел к религии Наполеоновского кодекса. Такой же религией десятого тома царских гражданских законов, торжеством идеи частной собственности, вероятнее всего, хоть и не скоро, могла кончиться и советская революция.

15 мая 1922 года ему представили на рассмотрение проект нового уголовного уложения, — последний законопроект, который он видел до болезни. Он рассмотрел и внес поправку: надо расширить применение смертной казни за контрреволюционную деятельность. Через десять дней с ним случился удар, правда относительно легкий. У него отнялась правая рука и расстроилась речь.

Переполох в Кремле вышел большой. Люди и прежде, конечно, замечали, что Ильич как будто чувствует себя нехорошо, очень устал. Но слово «удар» всех потрясло: что, если кончен? Что тогда — или, вернее, *кто* тогда? Начиналась новая эра. Сановники допрашивали врачей и сообщая, и порознь. Врачи отвечали скорее уклончиво; говорили, что есть надежда на выздоровление.

Происходили секретные и секретнейшие совещания. Возможные преемники усердно работали в свою пользу. Обсуждались главные кандидаты: Троцкий, Зиновьев, Сталин, Каменев, Рыков, Бухарин. Первых трех все ненавидели, даже многие их «сторонники». Кое-кто втихомолку говорил, что для должности главы правительства не очень удобны евреи и грузины. Быть может, на Каменеве все-таки сошлись бы. Еще легче на Рыкове. И все понимали: кто бы ни был посажен, падение — после Ленина — будет огромное, очень опасное.

Вождя больше не было. Ленин был всемогущ, перед ним склонялись беспрекословно, почти безропотно: Ильич! Его и прежде некоторые считали гением. Назвал его гениальным и человек противоположного лагеря, царский министр Наумов, просидевший с ним несколько лет на одной гимназической парте в Симбирске. Действовал на людей и гипноз. Теперь большевистские сановники, кроме Сталина

и Троцкого, его боготворили, хотя не было среди них ни одного, которого он, в тот или другой момент, не осыпал грубой бранью. Каменев и особенно Бухарин на заседаниях не сводили с него влюбленных глаз. Теперь предположения (всегда начинавшиеся со слова «если» — если Ильич не поправится) склонялись к тому, что должен править «коллектив». Выбрать несколько человек было много легче, чем выбрать одно лицо, но это было очень трудно.

Троцкого и в коллектив сажать никто не хотел: да, прекрасный оратор, хороший, хотя и раздутый искусной саморекламой, организатор, но большевик с 1917 года, прежний враг Ильича, честолюбец, фразер, шарлатан, невыносимый человек. Разумеется, он это знал: понимал, что ни в какие коллективы не пройдет, и его злоба все росла.

Сталина особенно поддерживали именно те, кого он впоследствии погубил. Поддерживали преимущественно для того, чтобы не нажить очень опасного врага, — партийный аппарат. Но втихомолку говорили, что Ленин, когда-то его открывший и долго к нему благоволивший, в последние годы очень его невзлюбил. Со слов Крупской, кое-кто грустно шепотом сообщал, что Ильич собирается публично порвать со Сталиным личные отношения. Все втайне на это надеялись: это означало бы конец сталинской карьеры.

Комбинации коллектива менялись. Кандидаты с большей или меньшей откровенностью считали себя совершенно необходимыми и обычно называли еще двух человек, менее им ненавистных, чем другие. Некандидаты говорили, что, собственно, коллектив существует с первых дней революции: Политбюро, — зачем же устраивать еще что-то новое? Другие высказывали мнение, что коллектив должен назначить сам Ильич, — но как с ним теперь об этом заговорить?

Говорить было незачем: Ленин и сам об этом достаточно думал. Сознание почти его не покидало. Крупская, еле сдерживая рыдания, учила его говорить: «Ре... во... Так, так, во... Правильно!.. лю... Совершенно правильно!.. люция... Ну да, революция! Молодец, Володя! Браво! Огромный успех! Увидишь, скоро все пройдет!..» Успех в самом деле был: способность речи понемногу вернулась.

Он снова стал работать. Как прежде, председательствовал на правительственных заседаниях, но *не так*, как прежде. Народные комиссары смотрели на него испуганно.

Несмотря на все запрещения и протесты врачей, он решил выступить на Четвертом конгрессе Коминтерна.

Бесчисленная толпа в зале встретила его долгой бурной овацией, небывалой и среди многих оваций революции, вдобавок совершенно искренней (что случалось редко). Наконец оркестр заиграл «Интернационал». Все запели. Он делал вид, что поет, — выходило непохоже. Музыка кончилась. Загремела новая овация. Медленно, с усилием, толчками, он стал поднимать дрожавшую левую руку. В зале мгновенно установилась мертвая тишина. Он «заговорил»: сначала тихо, с большими перерывами, произносил отдельные слова, потом стал произносить их громче, быстрее, — вдруг его голос превратился в еле слышный шепот и оборвался. Клара Цеткин, которую он еще не очень давно называл в письме «мерзавкой», бросилась на эстраду и поцеловала ему руку. Он посмотрел и на нее безжизненным взглядом, махнул левой рукой и, сильно шатаясь, направился к лесенке.

Через месяц произошел второй удар. И врачам, и сотрудникам, и ему самому стало ясно, что дело идет к концу. Отнялась вся правая часть тела. Пришлось допустить сиделок. Прежде он решительно от них отказывался и старался все делать левой рукой. Но сознание у него осталось, и это было самое ужасное. Он вызвал секретарей и составил свое знаменитое завещание.

Иные исторические деятели ничего не имели против того, чтобы их преемниками становились люди незначительные: для *дела* (если дело было) это было, конечно, нехорошо, но для их собственной славы в потомстве очень выгодно как фон. У него этого чувства не было. Он старательно обдумывал достоинства и недостатки других вождей. Были более или менее подходящие люди, но не видел ни одного, кто мог бы его заменить. Наиболее выдающимися были Троцкий и Сталин. Он отметил в завещании их достоинства и недостатки. Удивительно, что главный недостаток Сталина он видел в грубости. Смутно догадывался, что именно к этому человеку перейдет вся власть. Эта мысль была чрезвычайно ему неприятна и даже страшна. Знал однако, что и Троцкого все терпеть не могут. «Нет людей, никого нет, некому оставить дело!»

Вскоре после этого на заседании Политбюро, где были Троцкий, Каменев и Зиновьев, Сталин сообщил, что Ленин желает покончить с собой: требует присылки ему яда. «Я помню, — рассказывает Троцкий, — каким странным, загадочным, несовместимым с обстоятельствами мне показалось выражение лица Сталина. Просьба, которую он нам передавал, была трагична, между тем по его лицу, как по

маске, бродила нездоровая улыбка». У Троцкого возникло подозрение, что никакой просьбы от Ленина не было и что Сталин просто хочет его отравить. Было ли это верно? Сталин мог догадаться, что Политбюро во всяком случае не положится на него одного, пошлет к Ленину других, поедет к нему в полном составе. С другой стороны, позднее, Ленин, уже впад в полуживотное состояние, видя это при проблесках сознания, действительно просил товарищей, гораздо более ему близких, доставить ему яд. Вероятно, тоже из-за смутных подозрений, Зиновьев поддержал решительное возражение Троцкого. Дело формально и не обсуждалось. «Поведение Сталина, весь его вид были непонятны и зловещи». Он не настаивал.

Что-то еще произошло: телефонный разговор Крупской со Сталиным. По поручению мужа она обратилась к генеральному секретарю с каким-то запросом. Оттого ли, что он считал Ленина уже полумертвым, или просто потому, что был на этот раз не в силах скрыть свою к нему ненависть, Сталин ответил грубо и оскорбительно. Крупская заплакала и сообщила о разговоре мужу. Ленин пришел в ярость и продиктовал, наконец, записку.

Через четыре дня его разбил третий удар.

Х

Теперь все было кончено. Больше он ни в чем не участвовал. Потерял способность речи. «Не мог выразить самой простой примитивной мысли», — говорит профессор Авербах. И очень сердился, что его не понимают. Знаменитые врачи, и русские, и выписанные из Германии, больше ничего не могли и посоветовать. Он почти не спал. В Москве ходила глухая молва, будто по ночам Ленин «воет как собака», случайные прохожие в ужасе прислушиваются издали. Вместе с тем сознание и после трех ударов иногда ненадолго восстанавливалось. Жена и сестра находились с ним в Горках безотлучно. Приезжали сановники. Пятаков играл на рояле, и, по его словам, лицо Ленина преображалось и выражало детскую радость.

И вдруг он, к общему изумлению, стал как будтоправляться! Сознание вернулось. Чем было занято? Можно лишь догадываться. Едва ли много думал о далеком прошлом. Его детство было очень счастливым. Не мог пожаловаться и на отрочество, оно было самое обыкновенное, «буржуазное»; в гимназии был первым учеником, любил

деревню, ее развлечения, ее радости. Но зачем думать о том, что было когда-то? Не вспоминал и о товарищах юности, тоже было да сплыло. Едва ли много думал об отдаленном будущем: знал, что далеко заглядывать в будущее никто не может, — мог разве один Маркс?

Вероятно, больше всего он думал о себе, о человеке Ленине, дни которого сочтены. Думал, что оставляет жену одну. Вспоминал Инессу Арманд, — не все было глупо в том, что она порою робко говорила о «моральном начале». Он видел, что принес в мир больше страданий, чем кто бы то ни было другой в истории. Это особенно мучить его и теперь не могло: были готовые и совершенно бесспорные ответы. Да и прежде он не пользовался изречениями о «любви к ближнему» и «любви к дальнему»: не любил ни ближних, ни дальних.

Не могли особенно удручать его и принятые, беспрестанно повторявшиеся в публицистике, слова о готтентотской морали. Для Ленина уже больше двадцати лет хорошо и «нравственно» было то, что шло на пользу его делу, партии, пролетариату, а плохо и безнравственно то, что было им во вред. Следовательно, переоценки, кроме чисто словесной, не было. То, что прежде всеми и им самим называлось деспотизмом, злом, безобразием, теперь оказывалось прямо противоположным. Это было в порядке вещей и вытекало из истинного смысла его учения: *говорить* прежде надо было иначе, только и всего. И на него несколько не действовали обвинения в том, что он прежде *говорил* другое: да, разумеется, прежде восхвалял свободу, проклинал гнет, клялся вести борьбу против смертной казни, распинался за идею Учредительного собрания; но только дураки могли не понимать, что теперь все было совершенно иным: к власти пришли он и его партия.

В самый день третьего удара он заканчивал диктовку статьи, которую неуклюже назвал: «Лучше меньше да лучше». Не от нее ли и случился удар? Это последняя написанная им статья. В ней сказано:

«Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, что у нас есть сколько-нибудь значительное количество эле-

ментов для построения действительно нового аппарата, действительно заслуживающего названия социалистического, советского и т. п.» (!!)

Ему и раньше случалось призывать партию к «самокритике», к борьбе с собственным хвастовством, к проверке собственных действий, к сомнению в «элементах», — под ними, верно, разумел людей. В той «речи», которую он произнес на Четвертом конгрессе Коммунистического Интернационала, тоже были слова: «Надо учиться и учиться». Все же *так* он отроду не говорил и не писал. Все это — каждое слово — могли сказать и говорили меньшевики, социалисты-революционеры, либералы: именно «лучше меньше да лучше». И как он, самоувереннейший из людей, мог высказать сомнение в том, «что мы хоть что-нибудь знаем»? Значит, и *он* не знал? И Карл Маркс не знал? Было ли это его настоящим завещанием, а не бумажка с оценкой качеств его помощников? Не было ли и других сомнений?

10 октября он вдруг, ни с кем и ни с чем не считаясь, велел подать автомобиль, сел, тяжело опираясь левой рукой на палку, и, к общему ужасу, велел везти себя в Москву, в Кремль. Там его встретили, как встретили бы привидение. Он вошел в свой кабинет, опустился в кресло, посидел — и вышел.

«Накануне рокового дня Владимир Ильич чувствовал себя вялым, — писал Семашко. — Он проснулся в нерасположении, жаловался на головную боль, плохо ел. Проснулся на следующее утро он также вялым, отказывался от пищи и лишь по настойчивой просьбе окружающих он съел немного утром, за чаем, и немного за обедом. После обеда он лег отдохнуть. Вдруг домашние заметили, что он как-то тяжело и неправильно дышит».

В шесть часов вечера он потерял сознание. Температура быстро повысилась. Через пятьдесят минут он умер «от кровоизлияния в мозг, вызвавшего паралич дыхания».

Верно, половина человечества «оплакала» его смерть. Надо было бы оплакать рождение.

АРМАГЕДДОН

Из записной книжки

И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:

Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя...

И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон...

И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!

Откровение св Иоанна, гл 16

Serpens nisi serpentem comederit non fit Draco¹.

Наш цивилизованный мир — великий маскарад. Есть там рыцари, духовные лица, воины, доктора, философы, адвокаты — и кого только нет еще. Но все это лишь маски, за которыми в большинстве случаев скрываются спекулянты. Один надевает личину права, чтобы удобнее ограбить соседа; другой для той же цели пользуется маской патриотизма или общественного блага, третий — костюмом религии. Знай же, что на маскараде этом яблоки сделаны из воска, цветы — из шелка, рыбы — из картона, и все, все там прах и комедия. Вот двое людей так вдумчиво беседуют друг с другом. Знай же; один из них продает гнилой товар, а другой платит фальшивой монетой.

Шопенгауэр

¹ Если змей пожирает змея, он оттого не становится драконом

ПРЕДИСЛОВИЕ

Диалог «Дракон», за исключением двух больших отрывков, вставленных позже, написан в начале войны, но не мог появиться в свет вследствие запрещения цензуры. После революции он был (с большими пропусками) напечатан во второй книжке «Летописи» за 1917 год. Характер вопросов, затрагивавшихся в диалоге, делал возможным помещение его в названном журнале, несмотря на расхождение во взглядах между редакцией и автором, который, при крайне отрицательном отношении к идеологии, господствовавшей в 1914 году, с начала войны принял «оборонческую» точку зрения. Статья была предпослана оговорка.

Темы «Дракона» в настоящее время вряд ли представляют интерес, и автор не стал бы перепечатывать диалог, если бы последний не был органически связан со второй частью книги: под названием «Колесница Джагернатха» собраны заметки одного из действующих лиц «Дракона». Они представляют собой, большей частью, случайные и беспорядочные отражения чужих слов в уме односторонне мыслящего человека. Отсюда и чрезвычайное обилие цитат, и утомительное единство настроения.

Книга, состоящая из этих двух частей, печатается *«на правах рукописи»*.

ДРАКОН

Ein, zwei, Polizei,
Drei, vier, Offizier¹

*Из немецкой начальной
хрестоматии*

Химик. Знаю заранее, что мы с вами ни в чем не сойдемся, а всего менее в вопросах политики. Но химия меня утомила, я рад освежиться хотя бы бесплодным спором.

Писатель. А, вы идете из лаборатории?

Химик. Да, я был занят со своими ассистентами работой на государственную оборону. Делаем что можем.

Писатель. Вы ведете исследования по Handbuch'am и Lehrbuch'am. Химические вещества берлинского завода Кальбаума вы взвешиваете на геттингенских весах Сарториуса, растворяете в эрленмейеровских колбах, нагреваете на бунзеновской горелке, титруете из иенских бюреток, осаждаете на лейпцигских фильтрах, рассматриваете в цейсовский микроскоп и сжигаете в либиховской печи. В минуту отдыха вы с ассистентами ругаете немецкую культуру.

Химик. Надеюсь, вы не собираетесь выступить в роли защитника «немецкой культуры»?

Писатель. Успокойтесь, не собираюсь. Как и вы, как и все, я заключаю слова «немецкая культура» в самые уничтожающие кавычки и подписываюсь под любой тирадой против Германии с каким угодно числом восклицательных знаков. Констатирую только, что за время войны знаки препинания вытеснили из полемического обихода аргументы почти так же легко, как бумажные деньги заменили золотую монету.

¹ Раз, два, полиция,
Три, четыре, офицер (нем.).

Химик. Знаю, что вы рады при случае пустить наудачу во все стороны несколько «коварных инсинуаций» (вот вам еще кавычки). Вы можете сказать о себе, как Бейль: *mon métier est de semer des doutes*¹. Но в нынешнее время сомневаться — самое неподходящее ремесло. Подумайте об этом, старый дилетант и скептик.

Писатель. Ругательства ваши не оскорбительны. Слово дилетант выдуманно малоспособными людьми. А скептик... В день окончания войны вся Европа будет состоять из скептиков. Когда видишь, что сотни миллионов людей, живущих по одну сторону границы, единодушно уличают во лжи сотни миллионов людей, живущих по другую сторону, невольно берет сомнение: существуют ли действительно общеобязательные истины или даже здравые нормы человеческого рассудка. Из двух враждующих сторон, по крайней мере, одна лжет, если не обе. Тот «интерес», который, говорят, правит миром, толкуется в двадцатом столетии почти столь же грубо и бессмысленно, как пять тысяч лет тому назад. Но отчего передовые мыслители так боятся признать эту неоспоримую истину и упорно желают вдвинуть вопрос в рамку несколько фантастического свойства, — вот загадка, над которой, впрочем, было бы напрасно ломать себе голову. «В философии удивление — признак ума», — говорит старинный мыслитель. В политике удивление скорее признак глупости. Поэтому утешительно хоть то, что вызывать его становится господам политикам из года в год все труднее. В середине прошлого века австрийский государственный деятель еще мог, например, «удивить мир своей неблагодарностью». Теперь, согласитесь, этим удивить весьма мудрено.

Химик. Поезжайте в Германию и выскажите свои скорбные мысли тем, на кого падает ответственность за нынешнюю бойню.

Писатель. Ответственность? «Пред небом и историей», не так ли? Поверьте, на суде истории особенно виновными будут побежденные. Победителей порою судят, но всегда чрезвычайно снисходительно.

Химик. Приятно слышать: ведь в конце концов мы победим.

Писатель. Кто знает? Еще Макиавелли говорил четыре столетия тому назад: «Не должно сомневаться в могуществе Германии, ибо много у нее людей, богатств и оружия» — «*Della potenza della Alamagna non debbe*

¹ Моя профессия — сеять сомнения (*фр*)

dubitare, perché abbonda di uomini, di ricchezze e di armi». Вдобавок на всеобщую мобилизацию талантов наша власть сумела ответить всеобщей мобилизацией бездарностей. Наконец, на стороне немцев сражается наш непобедимый внутренний враг, князь Хованский. Возможно, что в этом странном матче Гинденбурга с Николаем Чудотворцем последний рано или поздно переутомится. Впрочем, не люди, а стихии испокон века спасали от недругов святую Русь. Я твердо надеюсь, что нас вывезет недостаток съестных припасов в Германии. Правда, хлеба там, по-видимому, кое-как хватит до нового урожая, но ведь не единым хлебом жив человек: ему нужны еще мясо и картофель. Как бы то ни было, главный победитель в европейской войне уже известен: это Северо-Американские Соединенные Штаты. Известен и главный побежденный; человеческий разум.

Х и м и к. Противоположное общее место. *La raison finit toujours par avoir raison*¹.

П и с а т е л ь. *Mais elle n'est pas très pressée*². Грозный смысл величайшей из исторических трагедий, — по-видимому, в том, что она совершенно бессмысленна. Прокуроры и следователи, разыскивая преступников, руководятся испытанной формулой: *is fecit cui prodest*³. Приложить эту формулу к величайшему из исторических преступлений очень мудро: кто-то *fecit* и, в сущности, никому не *prodest*, хотя бы война кончилась полной победой одной из коалиций, что к тому же маловероятно.

Х и м и к. В том-то и дело, что есть некоторая разница между уголовщиной и войной. В возникновении этой последней во всяком случае несколько не повинны ни мы, ни даже наше многогрешное правительство. Немецкие газеты полны сообщений о хитрых и коварных происках русских государственных мужей. Непостижим престиж, которым пользуются за границей наши действительные тайные Макиавелли. Даже такой умный человек, как Карл Маркс, чуть ли не до конца своих дней считал Бисмарка орудием в руках Петербургского кабинета («das bloße Werkzeug des Petersburger Kabinetts»). Между тем наше правительство уже потому не может быть виновным в возникновении войны, что оно смертельно ее боялось и боится — правду сказать, не без основания.

¹ Здравый смысл всегда побеждает (слова Вольтера)

² Но он не очень торопится (фр)

³ Сделал тот, кому выгодно (лат)

Писатель. Я то же думаю. Впрочем, в практическом отношении это обстоятельство для меня решающего значения не имеет. Кто бы ни был виновником войны, наш долг остается неизменным. «Вино откупорено, его нужно выпить». Я только не найду нужным уверять, что это отвратительное вино — божественный и благодетельный нектар. Я даже утверждаю, что все мы им отравимся.

Химик. Я, напротив, смотрю в глаза будущему без боязни. В качестве дарвиниста я жду от войны более сносных условий борьбы за существование и победы лучших. В качестве политика — установления разумных этнографических границ.

Писатель. Ноздрев показывал Чичикову границу своих угодий; потом, однако, оказалось, что ему принадлежат земли по ту и по другую ее сторону. Этнографические границы, о которых вы говорите, обладают тем же чудесным свойством. Нам ведь совершенно неизвестно, какой этнограф будет их устанавливать. Малоубедительны для меня и ваши экскурсии в область дарвинизма. «Судьба жертв искупительных просит». «Одни умирают, чтобы другие могли жить». «Конкуренция уменьшится, борьба за существование станет легче...» Три выражения одной мысли, разнящиеся по красоте слога. Любимая философия тех, кто рассчитывает не попасть в число искупительных жертв. Но эти добрые люди совершают насилие над статистикой. Ценности гибнут еще в большем масштабе, чем люди, и в Европе, наверное, будут даже не прежние, а гораздо худшие условия борьбы за существование.

Химик. Я не имел в виду соображений экономической необходимости, хотя и они, бесспорно, вами рассматриваются очень узко: не на год и не на десятилетие должны мы заглядывать вперед. Но я говорил о торжестве высшей духовной культуры. Победит тот, кто заслуживает победы.

Писатель. Знаю, слышал. «Вся добродетель народа проявляется на поле битвы. Он там весь. Если он побежден, значит, его победитель был нравственнее, деятельней, проницательней, умнее и храбрее». Так писал в свое время Виктор Кузен. Защитников этого взгляда всегда в изобилии поставляет самая могущественная военная держава данного исторического периода: до 1870 г. Франция, теперь Германия, в отдаленном будущем, быть может, Россия. Опровергнуть это положение трудно: оно прочно забронировано от логики непроницаемым панцирем национального самохвальства... Мы говорим, что в 1866 г. победил прусский школьный учитель. Интересно было бы,

однако, увидеть армию, состоящую из Ньютонов и Гете, хотя бы и в призывном возрасте. Не абиссинский ли школьный учитель победил итальянцев Баратьери. Не турецкий ли школьный учитель создал боевую славу Турции? Мы говорим, что свободный, культурный человек как солдат ценнее, чем вымуштрованный раб или заведенный автомат. Однако германские автоматы завоевали Бельгию и часть Франции. Нынешняя война, революционизирующая все области, все догмы, все привычки нашего мышления, вероятно, произведет переворот и в этой специальной идеологии. Я склонен думать, что для победы скорее нужен известный *juste milieu*¹ умственной культуры и политической свободы.

Химик. Для победы в первую очередь нужно сознание правоты своего дела.

Писатель. Сознание или иллюзия? В роковой день Шарлеруа прусская гвардия столкнулась с сенегальскими стрелками. В этот день, по странному капризу случая, прогресс и свободу защищали африканские дикари, тогда как реакция и насилие были представлены в образе культурных баронов, вышедших из Боннского университета и из военных академий... — «Наше дело правое, — говорят немцы. — Крупповские «Берты» защищают его вескими аргументами (60 пудов каждый). А так как французы могут противопоставить им лишь шнейдеровские доводы по 30 пудов штука, то правота нашего дела и превосходство нашей цивилизации не подлежат никакому сомнению». Так откровенно, впрочем, немцы не выражаются: это не принято. Но таков единственный смысл нынешних речей: говорят же теперь (и вполне серьезно) о *моральном* значении отдельных побед или о *симпатиях*, порождаемых ими в нейтральных странах. При общей оценке шансов враждующих сторон обыкновенно начинают с идейных и моральных оценок, а затем незаметно, почти бессознательно, переходят к подсчету штыков и к взвешиванию металлических аргументов. Сражение на Марне, к счастью, было выиграно французами. Но если бы у немцев оказалось еще полмиллиона солдат, еще две тысячи пушек, Париж мог бы быть взят. Для меня и в этом случае превосходство французской цивилизации над немецкой осталось бы столь же несомненным. Кем, где и когда была установлена прямая пропорциональность между силой и правом в этом лучшем из всех возможных миров?

¹ Золотая середина (фр.).

Химик. Значит, вы стоите за бисмарковскую формулу: «Сила выше права»?

Писатель. Бисмарковскую? До Бисмарка ее высказал Лассаль («Kraft macht Recht»¹), а до Лассалья — Гете («Man hat Gewalt, so hat man Recht»²).

Химик. Трогательная немецкая триада: канцлер, агитатор и поэт.

Писатель. То же самое говорит француз Прудон («La force prime le droit»³), а еще сильнее выражается другой француз, Гюстав Лебон («Le droit est la violence qui dure»⁴). Не напоминаю о союзном Гоббсе и о дружественном Спинозе. У Лассалья есть остроумная отповедь целомудренным немцам, которые корили его этой формулой. «Если б я создавал мир, — говорит Лассаль, — честное слово, я бы устроил его иначе: в моем мире право было бы выше силы. Но, к сожалению, я не принимал участия в сотворении мира».

Химик. В таком случае надо быть последовательным: значит, фраза о клочке бумаги, сказанная Бетманом-Гольвегом английскому послу, является точным отражением правовых норм?

Писатель. Существующих ныне правовых норм — разумеется. Поистине пример стойкой любви к науке являются те ученые профессора, которые теперь с самым серьезным видом читают международное право. Это не мешает, конечно, фразе Бетмана-Гольвега быть промахом. Циничные максимы государственной мудрости канцлеры должны держать про себя или в крайнем случае оставлять для посмертных мемуаров (и то нет: настоящих политических дел мастер — Талейран — оставил после себя мемуары такой голубиной чистоты, точно их писала тургеневская Лиза). Щеголять же «цинизмом» перед хладнокровным, осторожным противником, готовым ухватиться за всякое слово, это бесспорно неудачная мысль; особенно в такие дни, когда сочувствие общественного мнения ценится на вес золота (даже в буквальном смысле, ибо можно заключить заем). Канцлеры должны твердо помнить, что божественное лицемерие — основа государственного бытия. Недаром Наполеон считал недопустимым сценическое представление «Тартюфа»... Мы имеем возможность вернуться в немецкой культуре.

¹ Сила делает право (нем.).

² Если есть сила, то есть и право (нем.).

³ Сила превосходит право (фр.).

⁴ Право — это продолжение насилия (фр.).

Химик. Я перебую вас. Прошу не смешивать меня с вульгарными немцедами, — это слишком бы обличило вашу высокогуманную позицию в споре. Немецкую культуру без кавычек я высоко ценил и ценю. Но Божеские почести генералу Гинденбургу для нее весьма тревожный симптом. Победив одну Францию, Германия, по свидетельству Ницше, поглупела. Если б она победила весь мир, она, наверное, стала бы слабоумной. Меня глубоко возмущает гигантская переоценка ценностей, произошедшая на наших глазах в Германии. Вместо идеализма вырос национализм, вместо Канта — Крупп и вместо Шиллера — шуцман.

Писатель. Позвольте вам заметить, что ваша параллель, вполне удовлетворяя потребностям дня, вряд ли может претендовать на особую глубину или на историческую верность. Пресловутый гимн «Deutschland, Deutschland über alles» написан радикалом Гофманом фон Фаллерслебеном в самый разгар идеалистического движения и положен на музыку набожнейшего из идеалистов Гайдна. Фихте, убежденный и крайний националист, вместе с тем генерал-аншеф немецкого идеализма, нечто вроде его Клаузевица... Кстати о Клаузевице. Знаете ли вы, что этот знаменитый русско-прусский генерал, которому глубокое знание военной теории не помешало попасть в плен к Наполеону, был философ и кантианец?... Та Германия, где «аптекарь не способен приготовить лекарство, не сознавая связи своей деятельности с бытием вселенной», существовала больше в воображении Фр. Альбр. Ланге. Я не поклянусь, что Шиллер отказался бы подписаться под воззванием германских мыслителей. Автор «Потонувшего колокола» — носитель тех же традиций, что и автор «Колокола» просто; их подписи приблизительно равноценны. Беда именно в том, что идейные колокола звонят сами по себе, а эмпирические звонари живут тоже сами по себе, и цепь, которая связывает аптекаря с бытием вселенной, отличается чрезвычайной гибкостью. Свою связь с вселенной аптекарь сознает сегодня так, а завтра иначе; лекарство же он готовит сообразно с потребностями той улицы, на которой расположена его аптека.

Химик. Из нас двоих, оказывается, вульгарный немцед не я, а вы. Один наш профессор не очень давно разоблачил Канта, отыскав между строк «Критики чистого разума» подробнейший план крупновских заводов (это открытие, кстати сказать, самостоятельно сделал во Франции Эмиль Бутру). Английский публицист Остин Гаррисон в своей книге «The Kaiser's War» документально доказал, что

моральную ответственность за войну и военную идеологию несет Карл Маркс. Французский писатель Луи Бертран обвиняет в тех же грехах Гете. А вы — всю немецкую мысль?

Писатель. Вы совершенно меня не поняли. Я именно и доказываю, что звон не всегда отвечает за звонаря. Любопытно, однако, то, что в погроме немецкой мысли принимают живейшее участие сами немцы. По словам Герхарта Гауптмана, каждый германский солдат, отправляясь на войну, уносит в своем походном ранце книгу, — вы думаете, томик Самарова, Блема, Омптеды или другого военного беллетриста? Нет, кто Лютера, кто Шопенгауэра, кто Гете. Это Гауптман приводит, разумеется, в доказательство высокой культуры германского солдата. Я предполагаю, что автор «Извозчика Геншеля» должен знать свой народ, и не смею ему не верить. Но мне хотелось бы выяснить, кого, собственно, поносит Гауптман: немецкую мысль или немецкую армию. Если человек, перед тем как угостить неприятеля струей горящего керосина, прочитывает Нагорную проповедь, то это несомненное кощунство. Если же он перед атакой, отправляясь умереть за кайзера, взвинчивает себя чтением «Aphorismen zur Lebensweisheit»¹, то, значит, он идиот. Помнится, Гауптман упомянул еще про Заратустру. Бедный «профессор экстраординарной философии»! Лет пятнадцать тому назад, когда одновременно были в моде Маркс и Ницше, в Заратустре находили чуть ли не все пункты Эрфуртской программы. Теперь из него целиком выведены гимн Лиссауера и трактат генерала Бернгарди... Дионисовское начало в понимании прусского фельдфебеля. *Bestia blonde*² в стальной каске. Думал ли Ницше, что из него будут стрелять, как из 42-сантиметрового орудия? Тот Ницше, который сказал: «Лишь там начинается человек, где кончается государство...»

Химик. Итак, по-вашему, немцы сегодня то же, что они были вчера?

Писатель. По-моему, взрыв коллективного умопомешательства, которым мы ныне любимся, возможен во всякое время и — увы! — не только в Германии.

Химик. Неужели вам не совестно говорить о «коллективном умопомешательстве»? Это противопоставление своих взглядов голосу заблуждающегося мира имеет всегда, извините меня, несколько комический характер. Могу вас

¹ «Афоризмы о человеческой мудрости» (нем.)

² Белокурая бестия (фр.)

уверить, что не вы одни замечаете темные пятна развертывающейся перед нами гигантской картины. Для того чтобы их заметить, не нужно особой проницательности или чрезмерной тонкости ума. Но мы о них молчим, помня мудрое правило Ривароля: «Разум слагается из истин, о которых надо говорить, и из истин, о которых надо молчать». Вы же из-за нескольких безобразных деревьев не видите великого прекрасного леса.

Писатель. Я надеюсь, что вы мне его покажете.

Химик. Кто не хочет видеть, тот безнадежно слеп... Как можно говорить о «коллективном умопомешательстве» в дни небывалого роста сознательности народных масс? Вы найдете теперь газету в самой глухой деревушке Сибири.

Писатель. Надо поздравить деревушку. Настало, значит, время, когда сибирский мужик понес с базара — правда, не Белинского и Гоголя, но передовую статью г. Суворина и военный роман г. Брешко-Брешковского. Культурный прогресс, по-видимому, сводится к уменьшению разницы в умственном росте между толпой и образованным меньшинством. Это уменьшение может быть достигнуто повышением уровня толпы и понижением уровня меньшинства. Следует признать, что мы идем по второму пути несколько быстрее, чем по первому. Умнейший человек умнейшей страны в мире — я говорю об Анатоле Франсе — в свое время рекомендовал рассматривать политические явления «с точки зрения Сириуса». Теперь он их рассматривает с точки зрения газеты «Matin». Я, впрочем, всегда думал, что первое правило человека, чрезмерно дорожающего логикой, — не брать уроков этой науки у великих людей.

Химик. Признаюсь, новый Анатоль Франс мне нравится гораздо лучше.

Писатель. О вкусах не спорят.

Химик. Да, лучше. Иронически-благодушная улыбка на устах француза показалась бы ныне скверной гримасой. Позвольте и вас спросить, — вы к тому же не Анатоль Франс: во имя какого Сириуса вы иронизируете над нынешними событиями? Неужели великое народное бедствие может служить темой для иронии?

Писатель. Аргументы *ad hominem* позвольте отклонить. Не будем горячиться и, главное, не будем ничего преувеличивать. Мы все с войной немного обжились и даже вы, вероятно, не целые ночи напролет точите слезы о великом народном бедствии. «Что такое общественное несчастье по сравнению с личной неприятностью?» — сказал

генерал де Сегюр, видный актер наполеоновской трагедии, человек, проливавший свою кровь, а не слезы, не черни-ла... и не кислоты.

Химик. А тем более — по сравнению с личным благо-денствием, не правда ли? На фронте — ад и смерть, но в тылу развеселое житье... пока тыл не стал фронтом.

Писатель. Так в балете «Корсар» люди танцуют на тонущем корабле... «Le monde est un grand naufrage, la devise des hommes est sauve qui peut»¹, — говорит вечный Вольтер. В дни величайшего крушения истории пусть каж-дый спасается, как может. Вы ушли в военно-промышлен-ный комитет, — я ценю и одобряю. Но покорный слуга ваш не химик и вышел из призывного возраста: разрешите мне удалиться в глубь библиотеки, сняв с полки хотя бы Экклезиаста.

Химик. Сделайте одолжение. Что, однако, если в глубь вашей библиотеки ворвется немецкий улан?

Писатель. И в этом маловероятном случае мне неу-дастся обессмертить себя новым *Noli turbare*², так как я уеду двумя днями раньше. Я, впрочем, и не думаю ирони-зировать над народным бедствием, что было бы, разумеет-ся, и глупо, и бессовестно. Но когда речь заходит о внешней политике, я вспоминаю слова Бомарше, повторен-ные при трагических обстоятельствах Наполеоном: *Riens en roue ne pas en pleurer*³. Если есть область, в которую за несколько тысяч лет истории не проникло ни одно новое слово, то именно царство внешней политики. Аксиомы, ос-вященные мудростью веков, гласят, что государство тем счастливее, чем оно больше, и что ему тем лучше, чем хуже его соседям. К этому испокон века сводится вся прак-тика международных отношений; и вот почему шифро-ванные соображения господ дипломатов неизменно проникнуты особым затхлым провинциализмом, а самые «глубокие» идеи знаменитых мастеров иностранной поли-тики всегда оказываются на уровне понимания среднего органа желтой или черной прессы. Я восхищаюсь той лег-костью, с которой разные Вольтеры превратились внезапно в фельдфебелей. Вы жалуетесь, что немцы «переменились». А вы сами, старый либерал — идеалист? Вы ничему не научились, но все позабыли. Боже мой, как много вы за-

¹ Мир это большое кораблекрушение, лозунг людей — спасайся, кто может (фр.)

² Не спутай (лат.)

³ Ничего, достойного оплакивания (фр.)

были! Если б я редактировал газету, я, быть может, попробовал бы печатать на первой странице выдержки из канонов нашего политического идеализма. Боюсь, они теперь производили б впечатление неуместной и бестактной шутки. Два человека, два знаменитых писателя, осмелились в 1914 году говорить языком, точно выражавшим их прежнюю связь с миром. Обоих улица сейчас же обвинила во всех смертных грехах до иронического происхождения включительно. Первого хоть поделом, потому что Бернард Шоу действительно ирландец; а второго опорочили безвинно, ибо Ромен Роллан коренной француз.

Химик. Я не читал статей Роллана в швейцарской прессе, вызвавших негодование во Франции...

Писатель. Очаровательный Жорж Онэ так и пишет об авторе «*Au dessus de la mêlée*»¹: «его *упрекают* в том, что он швейцарец».

Химик. Но памфлет Бернарда Шоу «Здравый смысл о войне» я прочел и нахожу его возмутительным. Это плохо скрытое английское «пораженчество».

Писатель. Вовсе нет. Бернард Шоу желает полного разгрома немецкого милитаризма. Я бы сокращенно выразил его «плохо скрытую» точку зрения следующим образом: «Хуже победы России есть только одно: это победа Германии». Разумеется, подобная точка зрения для нас обидна и не заслужена русским обществом. По крайней мере, я так думаю: русское общество сфинкс, а каждый передовик к нему Эдип; я не передовик и не Эдип, но, как член русского общества, не принимаю воззрений Шоу. Не закрываю глаз и на забавную сторону его выступления: Бернард Шоу, всю жизнь потешавшийся над мисс Гренди, получил достойное возмездие: он ныне, как Франциск Ассизский, проповедует Евангелье птичкам... и разным другим животным. Мы, впрочем, говорили не о Шоу, а о немецкой культуре. Предлагаю вам новую, свежую, никем еще не использованную тему — воззвание 93 германских мыслителей.

Химик. Когда я впервые прочел этот грубый, наглый вызов истине и здравому смыслу, мне стало больно, почти до слез больно за подписавших его знаменитых стариков, за человеческую мысль, за достоинство науки.

Писатель. Манифест германских мыслителей прежде всего глуп; это его главный недостаток. Но он глуп *типично*: его глупость защитного цвета.

¹ «Над схваткой» (фр.)

Химик. Немецкий жанр: *feldgrauer Idiotismus*.

Писатель. Скажем лучше — жанр 1914 года. Защитный цвет один и тот же во всех странах. С внешней стороны манифест недурен. Он от Герхарта Гауптмана заимствовал энергию драматической формы («*Euch, die Ihr uns kennt... Euch rufen wir zu: dlaubt uns, dlaubt!*»¹) от Зигфрида Вагнера — гробовую музыкальность стиля («*Es ist nicht war...*», «*Es ist nicht wahr...*»²), от Рихарда Демеля — образность отдельных выражений («*der eherne Mund der Ereignisse*»³). Франц Штукк изобразил волшебной кистью Вильгельма II в образе ангела мира с белыми крылышками на плечах. Карл Лампрехт выяснил благотельную роль немецкого милитаризма в истории. Лабанд и Лист доказали юридическую правоту Германии, Гарнак поклялся в ней на протестантской библии, а Кнепфлер — на католической. Наконец, Эйкен, Риль и Виндельбанд наложили печать мягкого кантианского идеализма на трогательное заключение манифеста, в котором несколько неожиданно появляется «высшее достояние человечества» («*der höchste Besitz der Menschheit*») и «наследие Гете, Бетховена, Канта» («*das Vermächniß eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant*»)... В общем, довольно плохое рассуждение на тему о любви к отечеству и народной гордости, примененное, как водится, к обстоятельствам места и времени. *Habent sua fata libelli*⁴. И даже не *pro capite lectoris*⁵. Решающим элементом является не книга, не читатель, а время: дата обеспечивает бессмертие немецкому манифесту.

Химик. Скорее имена его авторов.

Писатель. Лучшая часть воззвания, бесспорно, подписи. Авторы нужно, по-моему, разделить на несколько групп. Представителем первой, самой немногочисленной, я бы назвал знаменитого геттингенского математика Феликса Клейна. Об этом ученом кто-то заметил, что во всем мире он может говорить, не прибегая к популяризации своих мыслей, с одним лишь Анри Пуанкаре. Года два тому назад Пуанкаре скончался, и теперь Клейну вовсе не с кем говорить: его никто не понимает. Но зато и он никого и ничего не понимает. Феликс Клейн живет в мире четвертого изме-

¹ Вам, которые нас знают... К вам взываем мы: верьте нам верьте! (нем.)

² «Разве не правда...», «Разве не правда...» (нем.)

³ «Честные уста события» (буквально).

⁴ Книги имеют свою судьбу (лат.)

⁵ Ради судьбы читателя (лат.).

рения, уравнений седьмой степени и теории икосаэдра. В сентябре 1914 года к нему пришли юркие люди, сказали, что началась война и что нужно подписать манифест. Он, вероятно, с полной готовностью подписал поданную ему бумажку и снова углубился в теорию икосаэдра. С этого гениального маньяка, разумеется, нечего спрашивать.

Химик. К какой категорий причисляете вы профессора Оствальда?

Писатель. Он вас интересует как собрат по специальности?

Химик. Нет, не поэтому. Когда я впервые прочел во французской газете о шведском интервью Оствальда, я отказывался верить известию, тем более что, по некоторой беззаботности насчет науки, газета упорно называла знаменитого химика Остервальдом. Обратите внимание на следующее. Во-первых, Оствальд немец только по крови; он родился и долго жил в России. На последнем Менделеевском съезде академик П.И. Вальден величал его «гордостью русской науки». Во-вторых, Оствальд не дворянин и даже не пожалованный «фон»; он сын бедного ремесленника и очень этим гордится. В-третьих, Оствальд не консерватор, не *Excellenz*¹ и не придворный; он столп немецкого либерализма, фрондер по натуре, достаточно *mal vu*² в правительственных кругах. В-четвертых, Оствальд не гелертер обычного немецкого типа; один из создателей современной физико-химии, он давно оставил эту науку и занялся философией, затем стал писать интересные психологические этюды, а в самое последнее время увлекался живописью и — в качестве председателя немецкого союза монахов — проповедью. До войны Оствальд высказывался как убежденный пацифист. Он выводил необходимость общего разрушения из принципов энергетики, — кто к чему, а солдат к солонине, — в частности из своего любимого научно-философского детища, из так называемого энергетического императива. «Совершенное устранение как потенциальной, так и настоящей войны, — писал он в своей книге «Философия ценностей», вышедшей накануне мирового конфликта, — безусловно в духе энергетического императива и составляет одну из важнейших культурных задач нашего времени». И этот *vir animo liber*³ современной ученой Германии выступает ныне с проектом переустройства Европы

¹ Превосходительство (*нем.*).

² Уронил себя в глазах (*фр.*)

³ Муж (человек) свободной жизни (*лат.*)

на началах ее подчинения союзу центральных держав с Германией во главе!

П и с а т е л ь. В настоящее время каждый генерал имеет свой план радикальной перемены мировой карты. Профессора, по-видимому, не желают отстать от генералов и не менее усердно работают над составлением различных проектов и над подыскиванием к ним аргументов политических, экономических, географических и исторических. Удивительного в этом нет ничего. Это разве только чуточку смешно. Смешно по двум причинам: во-первых, медведь, шкуру которого делят, пока еще рычит довольно грозно; а во-вторых, если медведь издохнет, то у профессоров, наверное, не спросят совета насчет дележа шкуры. У генералов спросят, а у профессоров не спросят.

Х и м и к. Оствальд исходит из мысли о культурно-социальном мессианизме немцев: «Русские, — говорит он, — еще находятся в состоянии орды. Французы и англичане не вышли из стадии индивидуализма. Германия же успела подняться до организационной ступени культуры. Она создаст идеи коллективного труда, и вся Европа пожнет плоды ее грандиозного предприятия». В чем же, позвольте спросить, заключается организационная культура, которой так гордится Оствальд? Теперь установился обычай отрицать огульно заслуги немцев на поприще науки, искусства, литературы. Один французский публицист недавно доказывал, что немцы дали миру только плагиаторов или в лучшем случае подражателей. Гете, оказывается, важнейшее позаимствовал у Шекспира, Шопенгауэр всем обязан Вольтеру. У нас тоже г. Меньшиков разъяснил «позор Германии» подробным анализом «Фауста», в котором усмотрели главным образом «чисто свиную психологию молодящегося старичка». Это пустое сквернословие следовало бы оставить. При критике немцев нам, русским, должно руководиться двумя поэтическими изречениями: «будь строг, но будь умен» и «я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи»... Мне хорошо известны точность немецких поездов, удобства гостиниц, преимущества освещения и канализации, чистота домов, ресторанов, обилие и дешевизна товаров. Но ведь не это профессор Оствальд собирается насаждать в завоеванном мире, тем более что, по словам немецких газет, все эти блага недоступны для народов, не наделенных германским *Methodengeist*'ом¹. Дело идет, разумеется, о социально-политической организации страны. И я себя спрашиваю со всем

¹ Методичным духом (нем.)

возможным беспристрастием, чем мы до сих пор обязаны Германии в этом отношении. Англия дала миру свободу слова и свободу совести, *habeas corpus*¹ и право убежища, самоуправление и народное законодательство. О Франции говорить нечего: она почти полтора столетия служит лабораторией великих социально-политических опытов. Но немецкие страны в течение XVIII, XIX и XX веков, от Меттерниха до Бисмарка, от герцога Брауншвейгского до Вильгельма II, были храмом реакции, где распутные весталки беспрестанно гасили огонь, который цивилизованные люди считают священным. Militarизм, национализм, шовинизм, гакатизм, антисемитизм, — все эти измы если не были созданы в Германии, то непременно расцветали в ней особенно пышным блеском («unrention étrangère, fabrication allemande»², как написано на стрелах немецких авиаторов). В частности, и новейшая история России знает ряд дат, которые долго еще будут вызывать благодарное воспоминание о Потсдаме: две последние относятся к 1881 и к 1905 годам. В русском языке слова «конституция» и «парламент» имеют французский или латинский корень; из немецкого же языка заимствованы штраф, тюрьма (Tugm), цейхгауз, вахмистр, гауптвахта, шпитцрутены, полицеймейстер.

П и с а т е л ь. Германская цивилизация, с некоторых пор завоевывающая мир почти во всех областях проявления человеческой деятельности, естественно, обладает свойствами могущественной цивилизации — *parvenue*. У нее нет аристократической самоуверенности английской культуры, нет того утонченного *charme*, того аромата очарования, которым окружена старинная французская цивилизация, на мой взгляд величайшая, во всяком случае наиболее тонкая из всех когда-либо существовавших. Общее место, усматривающее основную черту немецкой жизни в грубой практичности, в сущности близко к истине, — как большая часть общих мест.

Х и м и к. Эта черта проявляется в любой мелочи. Во французских общественных местах запрещение курить выражается в форме следующей надписи: «On est prie de ne pas fumer»³. Мягко, любезно, учтиво. В Германии пишут: «Nicht rauchen» или: «Rauchen verboten»⁴. «Грубовато, зато

¹ Название закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 г (по первым лат словам текста)

² Изобретение иноземное, изготовление немецкое (фр)

³ Принято не курить (фр)

⁴ Не курить Курить запрещено (нем)

практично: вместо семи слов два, что составляет чувствительную экономию картона и фарфора.

Писатель. У нас пишут: «Курить строго воспрещается» или: «Курить строжайше воспрещается». Надпись выходит длиннее французской и грубее немецкой. Зато, благодаря нашей конституции, за двугривенный вы можете курить хотя бы в пороховом погребе.

Химик. Черта, особенно характерная для германской психологии, это сочетание страсти с практичностью, Макса Пикколомини с ловким коммивояжером. Вертер, самый сентиментальный из немцев, писал другу восторженные письма о Лотте и одновременно закусывал бутербродом с ветчиной. Ленин, далеко не самый сентиментальный из русских, не мог, когда был влюблен в Киту, проглотить куска калача. Француз ел бы бутерброд, но не считал бы, вероятно, нужным письменно оповещать об этом своего друга. «Национальная психология познается из мелочей», — говорит специалист по национальной психологии.

Писатель. Вероятно, поэтому она недорого стоит. Впрочем, указанная вами черта, по-видимому, составляет одну из бесспорных особенностей германского народа, скажу даже, одну из тайн его всевозможных успехов. Это не мешает немцам, по старой привычке 30-х годов и из любви к романам Шпильгагена, гордиться званием людей голубого неба. Так, самая достойная, но и самая скучная в мире страна имеет смелость называть себя «веселой Англией», — «merri England». Так, наша родина, где творятся нигде, кажется, невиданные и неслыханные ужасы, носит кличку «святой Руси»... Что касается немецкой политической организации, то она, естественно, отражает те же черты грубоватого порядка, удобной ясности и некоторой примитивности, которые свойственны повседневной жизни Германии. К сказанному вами можно добавить, что и сами немцы не всегда разделяли мнение проф. Оствальда о преимуществе германской социально-политической формы. Берне, Гейне, Руге, Вейтлинг, Гервег, Маркс, Энгельс, Бернштейн, Либкнехт провели значительную часть жизни в странах гнилого индивидуализма — по причинам, хорошо известным проф. Оствальду. Много ли французов и англичан переселялось в Германию, чтобы наслаждаться благами высшей организационной культуры?

Химик. Какие уж там французы и англичане. Забудьте, даже по отношению к нам, русским, немцы всегда являлись элементом глубоко реакционным. В настоя-

щее время, по известным вам причинам, порядочному человеку как-то неловко обличать внутреннего немца. Но все же я не могу забыть зловещую роль, сыгранную в нашей истории русскими деятелями немецкого происхождения, от Бирона до Плеве, от Клейнмихеля до Ренненкампа. Я вспоминаю, что в декабрьские дни 1905 года главная работа по репрессиям была поручена Риманам и Минам. Я вспоминаю и то, что в декабрьские дни 1825 года русские командиры корпусов были замещены немцами. Восстание Черниговского полка, поднятое С.И. Муравьевым-Апостолом, было подавлено силами генерала барона Гейсмара...

Писатель. Вы и правы, и нет. Судя о людях по фамилии, вы подбираете эти фамилии пристрастно. Говоря о декабристах, вы могли бы, например, вспомнить, как звали их главного вождя. Рядом с Биронами и Плеве у нас были, с одной стороны, Аракчевы и Дурново, а с другой — Арнгольды, Фигнеры, Ашенбреннеры, Шмидты. В связи с этим — любопытное сопоставление. Фамилии тевтонских воителей: ген. Кусманек, ген. Поттиорек, ген. Пухало, ген. Бюлов, ген. Белов, ген. Шметтов (немецкие фамилии на -ов, по словам этнографов, свидетельствуют о славянском происхождении), ген. Франсуа, адм. Сушон, граф де Сегюр, граф Кинский, граф Разумовский, князь Лихновский. Фамилии воителей славянских: ген. Эверт, адм. Эссен, ген. Шварц, ген. Плеве, адм. Эбергардт, ген. Ренненкампф, ген. фон дер Ропп, ген. Рауш фон Траубенберг и т. д. Ваша химия еще не научилась искусству дозировать человеческую кровь по национальности. Иначе я спросил бы вас, сколько немецкой крови текло, например, в жилах Пушкина, внука Христины фон Шеберг, Герцена, Михайловского — сыновей немцев, и т. д. «Имя — звук и дым», — говорит Фауст (обратите, кстати, внимание на фамилию героя немецкой национальной поэмы: *Faust* значит кулак — вот они, швабы)... Интересно, что идейные антиподы Марксов и Либкнехтов плохо разделяют восторженную веру профессора Оствальда в providенциальную функцию Германии: *tu regere imperio populos Zermame memento*¹. По крайней мере, князь Бюлов прямо заявляет, что немцы не наделены даром социально-политического строительства... Но это не мешает Оствальду проповедовать «свободный союз государств с Германией во главе». Эвфемизм недурен.

¹ Помни, ты правишь сообществом (государством) германского народа (лат.)

Химик. Он значит, разумеется, «всемирная империя Гогенцоллернов».

Писатель. Да, конечно, трудно допустить, чтобы Вильгельм II, вернувшись «im Siegeskranz»¹ в Берлин, после триумфального шествия по Лондону, Парижу и Москве, немедленно пригласил союз монахов для переустройства Европы на новых началах. Едва ли можно рассчитывать и на то, что в результате победоносной для Германии войны династия Гогенцоллернов заменится республикой или династией Оствальдов.

Химик. Всемирный союз государств с одним монархом во главе...

Писатель. Мысль старая и безумная как мир.

Химик. Александр Македонский пробовал создать мировую империю, не удалось, — диадохи перессорились; Юлий Цезарь пробовал, опять не удалось, — умер на Св. Елене. Как хватает смелости повторять такую попытку? Именно в этой грандиозности замысла заключается тот престиж, которым окружена в настоящее время личность германского императора.

Писатель. Самым трезвым людям трудно нацело «абстрагировать» человека от его общественного удельного веса. В «Аметистовом перстне» Анатоля Франса выведен воинственный майор Raга, который на каждом шагу неизвестно о ком повторяет: «Ils entendront parler de moi, ces cocos là!»², «Il faut que j'en creve un!»³ и т. д. и т. д. Майор Raга — комический персонаж. Предположите, однако, что в его бесконтрольном распоряжении десять миллионов солдат и самая грозная военная машина в мире, — комический элемент сильно ослабевает. Но признавать за Raга на этом основании талант или даже гений — все равно что определять в пять верст рост человека, стоящего на Монблане. Я прочел по случаю войны все четыре тома речей императора Вильгельма и, узнав из них только то, что он убежденный монархист (это можно было предвидеть), очень сожалею о потерянном времени. Мое общее впечатление: какой незаменимый передовик для «Вечерней газеты» гибнет в этом человеке. И какой прекрасный эпитафия мог бы быть взят к собранию его сочинений из толстовского «Воскресения»: «Генерал занимал такое видное первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, ее

¹ С венком победителя (нем.).

² Они услышат обо мне, эти гусаки (фр.).

³ Я должен кого-нибудь укокошить (фр.).

принимали за умные речи». А ведь действительно принимали — и, если военное счастье вывезет, будут принимать и дальше, в силу свойственного людям культа успеха. Уже и до войны имелся целый ряд подробнейших биографий Вильгельма II, комментирующих каждое его слово. Я их не читал, верный мудрому правилу Лихтенберга: «Если жизнеописание короля не было сожжено на костре, то его можно и не читать» — «Wenn eine Geschichte eines Königs nicht verbrannt worden ist, so mag ich sie nicht lesen». Но факт не подлежит сомнению: написано о германском императоре, наверное, в сто раз больше, чем хотя бы о Лихтенберге. По этой черточке будущий историк сумел бы восстановить нашу эпоху, «как Кювье восстановил скелет мамонта по одному позвонку»... Странная, однако, судьба Гогенцоллернов. Вильгельм I отправился покорять мир на 75-м году жизни. Вильгельму II тоже, слава Богу, скоро седьмой десяток. Я не требую от потсдамского властелина, воспринявшего в пленках акушерки, вместе с божественным правом, мистическую способность усвоения скрытой от нас воли Бога, я не требую от него, чтобы в своем понимании счастья он подымался выше земного уровня. Я не лезу к Вильгельму II с моральными догматами Сократа, не показываю августейшему мудрецу вход в Диогенову бочку. Но я нахожу, что ему слишком поздно вздумалось поиграть в войну. «В ваши годы, милостивый государь, Наполеон давно умер», — сказал Флоке генералу Буланже; это язвительное замечание вызвало дружный смех в парламенте: в самом деле, несколько смешон человек, который на шестом десятке лет еще желает «найти свой Тулон»... Тем не менее лишние шансы на успех у Вильгельма II есть. Первый из них — кронпринц. Александр и Цезарь не оставили вовсе детей, у Наполеона родился сын, когда всемирная империя была почти готова. Но на место Вильгельма II уже запасен ничем не худший Вильгельм III. Гогенцоллерны чадолюбивы и чадообильны; человечество может быть спокойно: оно обеспечено всемирными императорами на много времени вперед. Если верить немецкому мыслителю, всякое историческое явление имеет место дважды: один раз как трагедия, другой раз как фарс. Явлению мировой империи предстоит, по Оствальду, другая участь. Оно трагедией было трижды, а фарсом — с кронпринцами в заглавной роли — будет, по-видимому, десятки и сотни раз: фарс Вильгельм третий, фарс Вильгельм тридцатый, фарс Вильгельм трехсотый... Не будучи оптимистом, я все-таки думаю, что оптимист Оствальд переоценивает нелепость

исторического хода вещей. Можно многого ждать от человеческой глупости, но не следует ожидать от нее слишком многого.

Химик. Досадно, однако, что Оствальд не нарисовал более подробно картины светлого будущего Европы; было бы очень любопытно точно узнать, как именно немцы станут насаждать в завоеванном мире блага высшей организационной культуры. Теперь, положим, германский солдат держит в одной руке томик Гете, а в другой спринцовку для горящего керосина. Но ведь от необходимости употребления спринцовки у него «сердце обливается кровью», как телеграфировал шутник Вильгельм президенту Вильсону после сожжения Лувена. Следовательно, для того, чтобы немецкое сердце не изошло кровью окончательно, необходимо после войны тотчас разбить спринцовку и остаться при одном томике Гете, — не может же проф. Оствальд отстать в либерализме от императора Вильгельма? Однако разбить спринцовку опять-таки нельзя, ибо французы и англичане, не понимающие своего блага, упорно не хотят воспринять высшую организационную культуру и предпочитают коснеть в своем поганом индивидуализме. Как же быть? Повторяю, жаль, очень жаль, что проф. Оствальд, который так много занимался психологией, не нарисовал подробнее картины будущего насаждения высшей потсдамской культуры среди феллахов Парижа и Лондона.

Писатель. Вы ломитесь в открытую дверь. Гораздо любопытнее совершенная *ненужность* рассуждений Оствальда.

Химик. Итак, к какой же категории вы его относите?

Писатель. Я отношу его к категории растерявшихся людей из породы неисправимых оптимистов. Эта порода последние годы свирепствует в стране Шопенгауэра (вот, кстати, кто наверное не подписал бы воззвания). Как оптимист, проф. Оствальд может сравниться с Вильгельмом II: он верит в счастливую развязку каждого акта исторической трагикомедии так же твердо, как германский император. Конечно, этот веселенький финал представляется обоим в совершенно различном цвете. Вильгельм II — реакционер, набожный лютеранин и националист; проф. Оствальд — либерал, свободный мыслитель и космополит. Вильгельм II ждет войны посрамления внешних и внутренних врагов; проф. Оствальд — перехода всего человечества к немецкой, то есть высшей организации культуры. И оба, разумеется, ждут желанного результата от побед германских генералов. Разница между ними в том, что в страш-

ном крушении 1914 г. первый сыграл роль машиниста, а второй — роль товарного груза. В один злосчастный день с балкона берлинского дворца прозвучала воинственная речь императора, заиграл сигнальный рожок в десяти тысячах немецких казарм, забили в бубны газетные звонари, — и куда девался энергетический императив проф. Оствальда? Жизнь пошла не туда, куда он ее приглашал; ее погнали совсем в другое место. История еще раз повернула назад, назло всем своим теоретикам. В таких случаях мыслителю *nella città dolente*¹ остается только одно: поспать себе голову пеплом (по крайней мере, фигурально). Но автор «Философии ценностей» не может с этим помириться. Насилюя разум и факты, он присоединяется к бравурному оркестру своей страны; более того, едет самостоятельно гастроллировать в Швецию и там дает такой концерт, что даже профессиональный барабанщик, Теодор Вольф, счел, говорят, нужным охладить на страницах «*Berliner Tageblatt*»² пылающие страсти профессора... Впрочем, Оствальд составляет исключение среди авторов воззвания. Внушительное ядро там образуют юркие люди. Эти всегда и во всем стоят на стороне своего правительства или своей улицы (что чаще всего одно и то же). К чести немецкой мысли, юрких людей оказалось довольно много среди лиц, подписавших манифест.

Химик. Отчего *к чести*, неисправимый парадоксалист?

Писатель. Здесь нет никакого парадокса. Мне совершенно понятно, почему Вильгельм II является идолом прусского феодального дворянства: он сам плоть от его плоти, кровь от его крови. Я легко объясняю себе популярность германского императора в среде духовной; таких благочестивых речей не произносил, наверное, ни Людовик Святой, ни Людовик Благочестивый. Я могу понять и то, что исключительно бодрый оптимизм, свойственный Вильгельму II, нравится торгово-промышленной Германии: во главе огромного процветающего предприятия, как *Deutschland G. m. b. H.*, недальновидным акционерам, разумеется, приятно видеть столь жизнерадостного и самоуверенного директора-распорядителя (у всех знаменитых банкротов был именно такой темперамент). Наконец, чрезвычайная популярность императора среди немок тоже совершенно в порядке вещей: всякая немка занимается кухней, тряпками,

¹ Страдающего города (*ит*)

² «Берлинская ежедневная газета» (*не н*)

ходит в церковь и следит за детьми, и когда преподанная с высоты престола теория четырех К говорит ей, что этим она выполняет некий святой долг и приобретает право на вечную признательность отечества, то, разумеется, немка не может не чувствовать благодарной симпатии к автору указанной теории. Но если какой-нибудь Вундт, изучивший mit heissem Bemühen¹ все, что доступно человеческому уму, подвергший анализу тысячи философских систем, в результате *искренне* приходит к культу Вильгельма II и *убежденно* говорит: das ist der Weisheit leitster Schluss², то это явление вряд ли может внушить особенно радостные чувства. И потому я утешаю себя надеждой, что, по крайней мере, некоторые из германских ученых более или менее сознательно «нажимают на истину» — мягкое и знаменитое выражение. Но, может быть, я и ошибаюсь, бесчисленные идеологические упражнения наших дней именно тем любопытны, что порою весьма трудно обнаружить, где в них начинается коварство и где кончается чистосердечие. Приходится искать критерий в личности авторов; в данном же случае и этот критерий надежен. Массе юрких людей соответствует серая масса гениев.

Химики. «Серые гении»? Это что-то новое.

Писатель. Не пугайтесь. Вы-то должны были видеть на своем веку достаточно знаменитых ученых, чтобы относиться к ним без суеверного преклонения студента-первокурсника. Впрочем, многие из вас сохраняют этот священный трепет до седых волос. Покойный Сеченов в своих воспоминаниях отзывается о Германе Гельмгольце в таком тоне, в каком индусский брамин может говорить о боге Вишну. А между тем Гельмгольц, который, конечно, подписал бы манифест 93-х, лучший образец серой гениальности. Его гигантский ум точно скользил по дуге, — по длинной дуге огромного радиуса, неспособной, однако, сомкнуться в полный круг. Этот величайший естествоиспытатель был наивный консерватор, узкий пруссак и ограниченный монархист. Да вдобавок придворный ученый. Знаете ли вы, что это такое? Услышав о близости Гельмгольца к берлинскому двору, Сеченов спросил своего коллегу Людвига, что может интересоваться в великом ученом военного человека, Вильгельма! «Император находит наслаждение в процессе гельмгольцевского мышления», — ответил Людвиг. На самом деле роль знаменитого физика при дворе

¹ С ярым прилежанием (нем.).

² Это мудрость последнего заключения (вывода) (нем.).

заклучалась в том, что время от времени Гельмгольц являлся в покои монарха и излагал свои мысли по разным научным вопросам. Вильгельм I слушал и, разумеется, ничего не понимал. В царствование нынешнего императора эти дружественные отношения сохранились, — с той разницей, что мысли по разным научным вопросам высказывал уже Вильгельм II, а слушал и ничего не понимал Гельмгольц. В этом и заключается весь *Genuss*¹, о котором нежным голосом говорил Сеченову Людвиг. С императорской точки зрения желательность подобных сеансов *Genuss'a*, разумеется, если они не следуют друг за другом слишком часто, более или менее понятна. Это и есть тот царский путь к науке, существование которого отрицал древний мудрец. Иначе это еще называется «расширением кругозора коронованного вождя Германии», «непосредственным общением с целебным источником знания» и т. д. Немцам это очень нравится. Они убеждены, что Гельмгольцу есть о чем говорить с Вильгельмом и что из этих разговоров для обоих проистекает большая польза. Ведь Пифодор, сын Исолохов, и Каллий, сын Каллиадов, сделались знаменитыми мудрецами, заплатив Зенону по сто мин. Сдним словом, очень легко понять, для чего Вильгельмы приглашают к себе Гельмгольцев. Несколько менее понятно, для чего Гельмгольцы ходят к Вильгельмам. Мизантроп может, правда, сказать, что и в этом нет ничего непостижимого: в свое время император пожаловал Гельмгольцу прусское дворянство, или, вернее, как писал «Кладдерадач», пожаловал Гельмгольца прусскому дворянству. Но стоит ли ради ста невещественных мин разыгрывать роль, в сущности довольно близкую к должности королевского шута, — об этом я судить не берусь. Большинство немецких ученых, по-видимому, склоняется к мысли, что стоит. Впрочем, было бы странно, если бы это было иначе: современное государство имеет превосходно налаженные мастерские для выделывания почтительных профессоров. В особенности Германская империя. У нее ведь есть две драгоценности, внушающие нам такую зависть: *primo*², хваленая немецкая школа; та самая, которая, как известно, в 1866 г. победила австрийскую армию (а несколько раньше, следовало бы добавить, германскую революцию). *Secundo*³, хваленая немецкая академическая свобода.

¹ Наслаждение (нем.).

² Первое (лат.).

³ Второе (лат.).

Химик. Она-то здесь при чем?

Писатель. К востоку от Рейна академическая свобода имеет разумные пределы, колеблющиеся в зависимости от рода науки: профессорам ботаники и геодезии предоставляется совершенная свобода мысли и слова; на кафедры философии не допускаются лишь отъявленные атеисты (без налета *Deus sive natura*¹; в области социально-экономических знаний сделано ограничение для социалистов (не употребляющих румяна катедер-социализма); и, наконец, от преподавания истории устранены неисправимые либералы (не прибегающие к черно-желтой пудре национал-либерализма). Всех остальных государство охотно оплачивает небольшими деньгами и обилием почетных званий. Из 93-х авторов манифеста 12 имеют чин превосходительства, который, кстати сказать, все двенадцать не преминули отметить в своей подписи, очевидно, с тем, чтобы сильнее подействовать на воображение «цивилизованного мира». Суммируйте эту ограничительно-подкупательную, глубоко развращающую деятельность власти за много десятилетий, подумайте, что государство стало *откупщиком* народной мысли, поймите, что в манифесте 93-х мы пожали один из плодов такого откупа, — и вы со мной согласитесь, что прав был, хоть отчасти, тот немецкий писатель, который сказал: «Профессор — вот национальная болезнь Германии...» Впрочем, нет, вы со мной не согласитесь: я и забыл, ведь вы сами — «ординарный».

Химик. Я напому вам, что воззвание 93-х подписали не только профессора, но и писатели, художники, музыканты.

Писатель. Лиц, не состоящих на государственной службе, среди авторов манифеста едва ли наберется 10 процентов. Тон во всяком случае давали не они.

Химик. Это голословно. С гораздо большим правом я могу вас попрекнуть ролью, которую сыграли в подготовке нынешней бойни иные господа писатели. В любимом зрелище испанского народа так называемые бандериллосы при помощи каленых стрел и красного платка доводят быка до бешенства. Выполнив свою задачу, они грациозно исчезают за решетку, уступая место тореадору. Благодарную и благородную роль бандериллосов в международных боях выполняют некоторые из ваших собратьев по перу. Если они не подписали манифеста, то исключительно потому, что их никто к этому не приглашал: какое значение могла бы

¹ Бог или природа (лат.)

иметь для «цивилизованного мира» подпись графа Ревентлова или Максимилиана Гардена?

Писатель. Братством бандериллосов печати я никогда особенно не дорожил. Не отрицаю, что лавры органов желтой прессы иногда не дают спать органам менее желтым: *puDET non esse impudentem*¹. Но, в общем, подавляющая масса бандериллосов относится к той же категории лиц, так или иначе получающих деньги от казны. Закройте секретную кассу и вы подивитесь понижению воинственного азарта: *pas d'argent, pas de suisses*². Я чувствую, впрочем, некоторое сострадание к этим господам. Старушка Шехерезада должна была каждый вечер рассказывать волшебную историю своему господину под страхом немедленной смертной казни. Официальные и официозные публицисты должны каждое утро выдумывать для своих читателей 1001-ю арабскую сказку под страхом немедленной голодной смерти. Ибо, как говорит чеховская Анфиса, «от хорошей жизни не заиграешь»... Я нимало не желаю вводить в наш разговор профессиональную точку зрения, но все же позвольте преподнести вам под конец самого лучшего профессора: это Вернер Зомбарт, автор произведения «Герои и торгоши».

Химик. Да он, кажется, не подписал воззвания?

Писатель. Не подписал и не мог подписать. Авторы воззвания, в сущности, робкие рутинеры. Перед святыней истины, добра и красоты пылает лампада германского идеализма; перед лампадой благоговейно склонили свои седые головы девяносто три автора воззвания. По досадной случайности, от лампы зажглась Лувенская библиотека и сгорела с книгами, рукописями и библиотекарем. Девяносто три сердца облились кровью. Но что поделаешь, если такова горестная судьба? Старикам и в голову не пришло изменить свою благоговейную позу. Всем достаточно ясно, что они и не изменят ее, невзирая ни на какие случайности. Они будут подписывать что угодно, но не иначе, как во имя общечеловеческой солидарности, истины, добра, красоты, братства и высших интересов цивилизации, во имя «наследия Канта, Гете и Бетховена». Зомбарт же погасил плевком ту лампаду, перед которой благоговейно склонились его ученые коллеги. Разница между ним и авторами манифеста 93-х огромна. Начать с того, что те написали воззвание, обращенное к культурному миру (оно так и на-

¹ Стидно не быть бесстыдным (лат.)

² Ни серебра, ни привратника (фр.)

зывается: Aufruf an die Kulturwelt). Зомбарт, разумеется, ни к какому культурному миру не обращается: «Нам, немцам, нужны разве лишь иудеи древности и античные греки, больше никто». У авторов манифеста болит душа при мысли о том, что немецкие солдаты сожгли половину Лувена. Зомбарта, должно быть, огорчает, что они не сожгли и другой половины, ибо Лувен есть порождение культуры торгашей. Авторы манифеста говорят о «высшем достоянии человечества». Людей, говорящих таким языком, Зомбарт отправляет «к чертям, вместе с 3/4 наших интеллигентов». Авторы манифеста видят в германском милитаризме только *защитника* немецкой культуры («Ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst von Erdboden getilgt»¹). Для Зомбарта он сам есть немецкая культура, он даже больше ее: немецкая культура — Веймар, немецкий милитаризм, по словам Зомбарта, — «Потсдам и Веймар в их высшем сочетании». Не пять, а пять с плюсом. Однако любопытная подробность: над созданием идеологии германизма потрудились главным образом иностранцы или люди не чистой немецкой крови. Философский апофеоз его изобрел француз Гобино; англичанин Стюарт Чемберлен дал этому апофеозу бессмысленно-утрированную форму; чех (или получех) Трейчке обосновал его исторически; швед Арндт воспел германскую идею в стихах; еврей Лотар Бухер был долголетним бухгалтером на ее службе; датчанин Мольтке подтвердил ее высшим аргументом кулака. Я не хочу сказать, что коренные немцы совершенно не способны изобрести подобную мудрость. Но все же странно и забавно, что торгаши были главными идеологами. Что думает об этом Вернер Зомбарт?.. «С внутренним отвращением и негодованием, с брезгливостью, восстал немецкий дух против идей XVIII столетия». Как характерна эта ненависть к «веку» который должен быть помещен в Пантеон». По словам Ренана, XVIII век продолжается по сию пору. Вернее было бы сказать, что его еще не было. Но обычно восемнадцатый век отрицают во имя семнадцатого или даже тринадцатого. Автор «Героев и торгашей» составляет исключение. Что для Зомбарта средневековье с его универсальным католицизмом, с его латинской речью, с преобладанием духовного меча? Я не знаю, каково нынешнее отношение профессора к религии. Переменив аксиомы, он, вероятно, обрекает христианскую веру (кажется, он рожден в лютеранстве) на

¹ Без немецкого милитаризма немецкая культура давно была бы стерта с лица земли (нем.).

роль старой почтенной прислуги в той изолированной казарме, какой он желал бы видеть будущую Германию. Может быть, он не прочь и обобрать прислугу в пользу хозяина, воздав Кесарево Кесарю и Божье тоже Кесарю: когда в доме не хватает денег, первым делом перестают платить прислуге. В военное время колокола переливаются на пушки и, по воле истории, в нынешней Германии Вильгельма и Гинденбурга, пожалуй, заиграет под новую инструментовку революционная мелодия сороковых годов:

Reisst die Kreuze aus der Erden,
Alle sollen Schwerter werden...¹

Кстати, я не прочь бы выяснить, как вы сами решаете проблему взаимоотношений креста и меча?

Химик. Я думаю, что не могут угаснуть истины, зажегшиеся тихим и вечным светом на берегах Тивериады и в келье голландского стекольщика, у стен мертвого Port Royal'я и в старом саду Ясной Поляны.

Писатель. Отчего не могут? Большинство истин, подобно радиоактивным элементам, испускает свет лишь в течение определенного времени. Для Анри Пуанкаре идея Коперника была гипотезой, столь же условной, как средневековая доктрина неподвижности земли. Гениальный ученый думал, что вопрос о соотношении Земли и Солнца *неверно поставлен* классической астрономией. Отсюда можно сделать малоутешительный вывод, что Галилей подвергся пытке и Бруно взошел на костер из-за неверно поставленной проблемы! Но если так обстоит дело с истинами небесной механики, то где черпаете вы уверенность в вечной силе построений земной морали?

Химик. Достаточно ясно, что, как только кончится война, все мы, победители и побежденные, вновь потянемся к тем же вечным догмам. «Злобою сердце питаться устало, много в ней правды, да радости мало».

Писатель. Сердцу, как желудку, нужна разнообразная пища, но злобою оно может питаться очень долго.

Химик. Рискую показаться вам смешным, я утверждаю, — не делая, впрочем, отсюда практических выводов, — что даже война, в особенности ее мелкие эпизоды, засвидетельствовала торжество той морали, которая предписывает прощать согрешившему брату не до семи, а до седмижды семидесяти раз.

¹ Вырывайте кресты из земли,
Все должны стать мечами.. (нем.)

Писатель. Что делать с братом, согрешившим 491 раз? Вы мне, — признаюсь, несколько неожиданно, — напомнили московских толстовцев, один из которых на суде изъяснялся в любви к «брату обвинителю».

Химик. Заметьте, что толстовцы были окружены атмосферой всеобщего сочувствия и в обществе, и в народной массе, и даже в среде военных судей.

Писатель. Я тоже был рад мягкому приговору суда. Однако если бы 170 миллионов русских людей прониклись взглядами симпатичных подсудимых, брат Вильгельм пировал бы теперь в Кремле. Как вы выйдете из этой «антиномии эмоционального и интеллектуального»?

Химик. Я готов оправдать искреннего толстовца «интеллектуально»...

Писатель. А я нет: «Lui qui voit tout en Dieu n'y voit pas qu'il est foi»¹. В связи с этой антиномией и с упорным нежеланием воюющих держав удовольствоваться благожелательным нейтралитетом Бога, мне приходит на память следующее. Как вы знаете, истинное местонахождение могилы Христа не установлено археологической наукой. Видение этого места явилось императрице Елене, матери Константина Великого, во время ее путешествия к Святым местам, и произведенные раскопки действительно обнаружили в указанном ею месте остатки крестной казни. Здесь-то, в результате видения и находки, был воздвигнут Константином храм Гроба Господня. Однако арабско-еврейская традиция, а с ней целый ряд археологов, переносит Голгофу в другое место — у Дамасских ворот; и кто хоть раз видел поражающие воображение зловещие скалы этой окраины Иерусалима, тот скорее допустит, что именно здесь свершилась казнь, которая сыграла столь необычайную роль в таинственных судьбах людей. Но если верна арабско-еврейская традиция, если прав английский генерал Гордон, разыскивший у Дамасских ворот вторую, «подлинную» могилу Христа, то кто же, кто похоронен на месте, поныне привлекающем ежегодно сотни тысяч пилигримов? С незапамятных времен человечество распинает на крестах две категории «ближних»: самых лучших и самых худших. Но так как первых неизмеримо меньше, то естественно возникает вывод, который в моих глазах символизирует судьбы государственного христианства, пятнадцативековое историческое недоразумение, связанное с именем Константина. И даже не имея христианской веры, можно почувст-

¹ Тот, кто видит все в Боге, не видит ничего в вере (фр.).

водить легкий холод при мысли, что человечество уже полторы тысячи лет с трепетом молится на могиле, где, по всей вероятности, погребены кости удалого молодца большой дороги.

Химик. Дело Константина Великого оправдано самим фактом своей пятнадцативековой жизни.

Писатель. Я и не думаю, чтобы этому делу грозила от войны серьезная опасность. Христианство не обанкротилось в настоящую войну. Оно временно признано несуществующим. По христианской морали, как по многим другим ценностям, объявлен мораторий. Но раздраженный крик умирающего Вольтера аббату Готье, заговорившему с ним о Христе: «Monsieur, ne me parlez pas de cet homme!»¹ — остается всецело на ответственности французского просветителя... Когда стала заново отстраиваться разрушенная землетрясением Мессина уцелевшие жители первым делом воздвигли крепость — для *безопасности* и собор — из благодарности. Этот недавний прецедент красноречиво засвидетельствовал прочность креста и меча даже при самой неблагоприятной «конъюнктуре». Но в теории проблема их сожительства почти всегда разрешается неопределенно... В сущности, Вернер Зомбарт, этот ученый профессор, который так старательно себя нататуировал и гордо подвесил к поясу скальп Эдуарда Грея (совсем «Длинный Язык, вождь бреславльцев»), — единственный вполне последовательный милитарист нашего времени.

Химик. Почему?

Писатель. Война есть зло. Война есть добро. Вот две аксиомы, между которыми нужно сделать выбор. Казалось бы, выбор нетрудный: что уж тут хорошего, если цивилизованные люди режут друг друга и совершают всевозможные преступления, прикрывая их звучными латинскими именами, как репрессия, реквизиция, контрибуция. Однако мы знаем, что с тех пор, как мир стоит, и та, и другая аксиома принимались огромным большинством людей с весьма существенными ограничениями, которые сильно сблизили сторонников самых различных взглядов в их отношении к войне. *Абсолютным* пацифистом был (вернее, хотел быть) разве только Л.Н.Толстой. Громадное же большинство культурных людей нашего времени не стоит на точке зрения абсолютного пацифизма. Многие — и отнюдь не одни только глупцы и мерзавцы — отстают даже очень далеко от этой точки зрения. Дэвид Юм утверждал, что

¹ Сударь, не говорите мне об этом человеке (фр.).

вечная война превращает людей в диких зверей, а вечный мир — во выючных скотов. Великий английский мыслитель, правда, не объяснил, сколько именно времени люди могут жить в мире, не превращаясь в скотов, и сколько им нужно воевать для того, чтобы превратиться в зверей. От 1870 г. по 1914 г. Западная Европа не знала ни одной серьезной войны, однако признаков повального отупения в ней не было замечено. Но возможно, что это именно и был максимум продолжительности европейского миролюбия. По-видимому, в войне есть бесконечная притягательная сила. О ней можно сказать то, что Октав Мирбо говорит о здании брюссельского Palais de Justice: «C'est tellement laid que ça en devient beau»¹. Казалось бы, нейтральные страны легче всего могут извлечь пользу из гигантского урока, который дается им бесплатно (вернее, за большую плату в их карман). Однако мы видим, что и в Италии, и в Швеции, и в Румынии, и в Португалии крепнет военная партия. Точно зачарованные, люди смотрят в пасть дракона... Как бы то ни было, все мы до сих пор полагали, что в войне дорог главным образом ее результат: мир. Ценою крови — своей или чаще чужой — мы готовы были приобретать известные культурные блага: независимость, национальное единство, осуществление исторического права, выход к морю или что-нибудь еще. Мы думали, что не мир для войны, а война для мира. Вернер Зомбарт думает как раз наоборот. Для него мир есть неестественный промежуток времени между двумя войнам, нечто вроде быстро проходящей неприятной болезни. Он абсолютный милитарист, как Толстой был абсолютный пацифист, как мы все — середка на половинке. Зомбарт — Лобачевский германской политической мысли. Он переменял ее аксиомы... «Ното homini lupus», — говорит, не бледнея, Гоббс (сын великодушного Альбиона). «Ното homini deus», — говорит, не краснея, Фейербах (коварный тевтон). Разумеется, оба преувеличивают: человек человеку не волк и не бог, а чужой. Но заметьте, оба философа говорят в изъяснительном наклонении. Зомбарт, кажется, первый вставил в волчью формулу наклонение повелительное: да будет человек волком человеку! Либеральный оппонент автора «Героев и торгашей» Конрад, по-видимому, очень серьезно доказывает ему, что Англия дала миру Шекспира и что Шекспир великий писатель. Собственно говоря, опровергать теорию Зомбарта доводами обычной логики бесполезно: если из

¹ Это так безобразно, что становится прекрасным (*фр.*).

слов человека выходит, что в Берлине на Leipzigerstrasse в лавках торгуют исключительно герои, а из Англии добровольцами отправились в окопы два миллиона торгашей, то его можно смело оставить в покое. Надо помнить, что в философии Зомбарта другие аксиомы. Конечно, первая мысль, возникающая при знакомстве с ней, заключается в том, что бреславльский профессор сошел с ума. Такая догадка, действительно, высказывалась в печати. Зомбарт может сказать себе в утешение, что, когда Лобачевский выступил впервые со своей «Воображаемой геометрией», она была встречена точно так же: известный математик, академик М. В. Остроградский, прямо рекомендовал свезти ее автора в дом умалишенных. Людям очень трудно освоиться с мыслью, что можно произвольно менять аксиомы. «Практическая ценность истины измеряется той верой, которую она внушает», говорит Гюстав Лебон. Практическая ценность лжи — тоже. Какие аксиомы восторжествуют у нас в 1917 году, я не знаю. Но пока дух сивого мерина властно парит над страницами европейской прессы. Недаром о подвигах Feldrauen и чудо-богатырей пишут совершенно тем же стилем, что о скаковой доблести благородного сына Айриш-Лада и Медузы. Но, может быть, вы первый еще разжалуете «святую скотину» в скотину просто.

Химик. Дело не в стиле. Военная риторика как средство, ведущее к цели, тоже служит прогрессу.

Писатель. Прогрессу — в какую сторону? «Человечество идет *назад*, и мы в первых рядах». Я видел когда-то матч знаменитых боксеров. Два гигантских негра ожесточенно колотили друг друга, и всякий раз, как один из них получал особо тяжелый удар, он, выплевывая выбитые зубы из окровавленного рта, тщательно, хотя и непохоже, изображал на лице довольную усмешку. Нельзя было не отдать должного энергии и стойкости гладиаторов. Неизмеримо противнее была галерка, возбуждавшая борцов улюлюканьем и площадной бранью... Надо ли вводить элемент клоунады в явление мировой трагедии? Я от всей души желаю полного поражения Германии, — ее победа была бы величайшей катастрофой цивилизации, — и я говорю, побольше тяжелых снарядов, но поменьше бесстыдной болтовни. Можно не стремиться к тому, чтобы стать «выше свалки» (как Ромен Роллан), но обязательно ли становиться ниже ее? Между тем нам, штатским людям, выпала, по-видимому, именно роль галерки. Как объективно, как хладнокровно обсуждаем мы происходящие события! Какие выдумываем

тонкие аргументы и как кстати их приводим: «А, вы объявили нам войну! Ну, так знайте: Ньютон стащил дифференциальное исчисление у Лейбница!» Из-за моря несется телеграфный ответ флегматического британца: «Сам дурак! Лейбниц стащил дифференциальное исчисление у Ньютона». — «Английские каналы! От французской болезни не вылезите без немецкого лекарства!» — «А у вас скоро животики подведет от голода!» В Берлине спорят, можно ли играть на сцене Шекспира, и решают, что можно, так как он ругал Францию. У нас для исполнения сонат Бетховена пожаловали последнему голландскую натурализацию. Немцы, чтобы доконать французов, изгнали из своего языка слово *coiffeur*¹. Французы, чтобы доконать немцев, обогатили свой язык словом *boche*². Два бурных потока залили Европу 1914 года: волна героизма и волна глупости. Автор «Сида» и автор «Буvara и Пекюше», оба нашли бы в нынешних событиях неисчерпаемый источник тем.

Х и м и к. Безнадежный социал-пессимист, вы высказываете весьма мрачные мысли, вовсе не соответствующие тому уроку, который *Anno Domini*³ 1917-го послала нам жизнь. Очистительные молнии великой грозы, ее громовые удары скуют свободу и право народов. В конечном счете злом будет порождено добро. Улетят черные вороны, Кассандры прикусят язык, — и послышится победное пение человечества, смело идущего вперед к яркой заветной цели. Так над трупом разочарованного датского принца, торжествуя, проходит победоносный боец Фортинбрас.

П и с а т е л ь. Велик был бы для меня соблазн ответить вам словами французского писателя: «*Les pessimistes tombent continuellement dans l'erreur. Mais par trop d'optimisme encore*»⁴. Однако так далеко я не иду; я если и пессимист, то уж во всяком случае далеко не безнадежный. Мне только кажется, что слишком дорого человечество платит за изучение азбуки, слишком долго ей учится, слишком скоро ее забывает. Не скрою, — я несколько умиляюсь при виде того баланса, который «в конечном счете» порождающего зла и порожденного добра неизменно очищает сальдо — разумеется, в пользу последнего. Беда хотя бы в том,

¹ Парихмахер (фр.).

² Бош (фр.) — презрительная кличка немцев, появившаяся во времена 1-й мировой войны.

³ Буквально: «Лето Господне» (лат.).

⁴ Пессимисты постоянно ошибаются. Но все еще по избытку оптимизма (фр.).

что, под очистительными молниями великой грозы, для многих из нас конечный счет уже наступил и притом несколько преждевременно. Для очень многих других он тоже скоро наступит при еще менее соблазнительных условиях. В самом же конечном счете земля, по-видимому, будет раздавлена в столкновении с какой-то планетой. Так по крайней мере утверждают астрономы и, вероятно, именно это предвидел принц Гамлет, когда навстречу торжествующему невежде Фортинбрасу бросал свое знаменитое: «The rest is silence»¹.

Х и м и к. С удовольствием констатирую, что элементы мировой скорби вами перенесены из социально-политической области в сферу космическую. Перед этой не очень новой шуткой я почтительно и с некоторой скукой умолкаю. Она никак не помешает мне радоваться близящемуся делу разумного вечного мира освобожденных демократий Европы.

П и с а т е л ь. «Радуйся, бане, омывающая совесть, радуйся, всечудное всех к Богу примирение». Не вы первый, не вы и последний: с давних пор радостные люди лечат нас радостною вестью. Лечат по рецепту мольеровского врача: «*Maladus dût il crevare*»².

Х и м и к. Какую же весть несете нам вы? Чем кончится нынешняя трагедия?

П и с а т е л ь. Кто знает? Уж слишком благоприятна обстановка для проявлений той силы, которую Стендаль называл «*le derin imprévu*»³. На троне теперь сидит его величество случай, определяющий и исход войны, от которого и зависит все остальное... Ошибка вершителей судьбы Европы, затеявших эту безумную войну, заключается в том, что они считают свою власть основанной на каком-то незыблемом принципе, будь это божественное право, парламентаризм, комбинация божественного права с парламентаризмом или что-нибудь еще. На самом же деле власть их покоится главным образом на силе принуждения и на инстинктивной тяге к порядку со стороны широких народных масс. Мировая война, с ее неслыханным размахом, медленно подтачивает вторую из этих опор, вследствие чего седок стал переносить свою тяжесть на первую. Что, если рано или поздно подломится и первая опора? Мы видим перед собою страшные кольца змея великой войны;

¹ «Дальше — тишина» (англ.). (В переводе М. Лозинского)

² Хотя бы больной издох (фр.).

³ Непредвиденный прорицатель (фр.).

стоглавый змей мировой пугачевщины может скоро вползти на арену. Какое из чудовищ победит? Какой ужасный дракон родится в результате поединка? Социалистический строй, говорят наши глубокомысленные пораженцы. Дракон всемирного одичания, склонен думать я.

Химик. Итак, вы «не приемлете» войны? Беда в том, что война, как смерть, не спрашивает, угодно ли вам ее принять.

Писатель. Кто ж вам сказал, что я ее «не приемлю»? За долгий век я, слава Богу, сколотил маленький капитал «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Я думаю, правда, что в день заключения мира нам останется повторить слова старинного мудреца: «Ich möchte was darum geben, genau zu wissen, für wen eigentlich die Thaten gethan worden sind, von deren man öffentlich sagt, sie waren für das Vaterland gethan worden»¹. Мне прекрасно известно, что Кай смертен и что его природе свойственно делать всевозможные глупости и гадости. Но по утрам я открываю газету, вижу в ней наглядное доказательство смертности Кая (иногда целых дивизий Каев), узнаю о том, что Кай натворил за 24 часа короткой человеческой жизни, без того достаточно полной зла, — и меня давит тяжелый кошмар исполинского дома умалишенных. Я приемлю и сумасшедший дом, но порою позволяю себе роскошь называть его сумасшедшим домом. Видно, сильны в человеке нелогичное стремление к логике и экстравагантная идея добра.

Химик. В этой войне, которую приемлет Анатолий Франс и которой не приемлет Сережа Попов, разум сохранил свои державные права... Или вы думаете, что мы все — моральные банкроты?

Писатель. Нет, моральные пролетарии. Война пустила нас по миру и лучше нам не составлять своего баланса. Публичная отчетность к тому же теперь отменена на все время военного положения.

Химик. Я думаю, напротив, мы станем духовно богаче. Неужели, по-вашему, философская мысль ничего не вынесет из грозных годин истории?

Писатель. Напротив, многое. Но... вы помните, у Шекспира есть сцена, неподражаемая по силе таящейся в ней иронии. Когда великие несчастья рушатся на голову Ромео, его пробует утешить старый Лоренцо. «Вам оста-

¹ Дорого бы я дал, чтобы точно узнать, ради кого, собственно, совершены те деяния, о которых вслух говорят, что они совершенны для отечества.

ется, — говорит он, — *adversity's sweet milk — philosophi*» — «сладкое молоко несчастья — философия». На это веронский юноша отвечает не совсем вежливо: «Повесьте вашу философию, если она не может отдать мне Джульетты».

Химик. Ромео — это вы?

Писатель. Нет, я говорю о вас. Мои Джульетты давным-давно умерли и не встать им из заколоченных гробов. Но вы, вы, седовласый юноша, — кто воскресит вам вашу Джульетту, когда наконец вы увидите, что ее больше нет? Кто вернет вам веру в силу права, в прочность культуры, в общность исканий, в творческую власть добра, в неуклонность прогресса, в идеалы Белинского, которого вы читали гимназистом, в заветы Грановского, которого вы вовсе не читали? И, главное, кто вернет, кто даст эту веру вашим нынешним ученикам, юношам без седых волос, когда и пред ними предстанет обнаженное тело мертвой Джульетты? Вдруг они позволят себе маленькую логическую экстраполяцию: наши идейные вожди совершали ежедневно в течение нескольких лет некоторый нажим на истину во имя любви к родине и к своему народу. Почему же не допустить, что они нажимают на истину и в мирное время во имя любви к своему классу, к своей партии, к своему кружку? *Amica veritas, sed magis amicus Plato*¹. И я думаю, что потеря на десятилетия веры в печатное слово² будет не менее тяжким последствием войны, чем неизбежные спутники последней — миллионы инвалидов, массы разоренных тружеников, сотни бесчестных богачей, колоссальный рост преступности и победоносное шествие сифилиса.

Химик. В конце концов для «моих учеников», как бы они молоды ни были, вряд ли будет откровением тот факт, что людям свойственно защищать свои интересы. Я все больше убеждаюсь в чисто поверхностных свойствах вашего великого скептицизма. Брюзжащий зритель-рецензент в первом ряду партера, кто виноват вам, что сидите вы так близко к рампе и что в ваших руках кривой бинокль? Пожалуйте на авансцену или ступайте прочь из зала... В сущности, вы принадлежите к породе людей, которых французы называют «*les idéalistes manqués*»³. Рудин, прель-

¹ Истина — друг, но больший друг — Платон (лат.).

² Опасение это, по-видимому, должно быть признано неоправдавшимся: вера в печатное слово остается непоколебимой и после четырех лет войны.

³ Неудавшиеся идеалисты (фр.).

щенный философией Пигасова, истинно говорю вам, — надо подождать беспристрастного приговора истории.

П и с а т е л ь. Извольте, подождем. Ничего другого нам к тому же и не остается. Боюсь только, что история вынесет несколько беспристрастных приговоров. Как говорит один остроумный писатель: «L'histoire est écrite par des gens impartiaux. Ils sont en désaccord, parce qu'il y a des gens impartiaux dans tous les partis»¹.

¹ История пишется беспартийными людьми. Они между собой не согласны, потому что беспартийные люди имеются во всех партиях (фр.).

КОЛЕСНИЦА ДЖАГЕРНАТХА

(Из записной книжки писателя)

Tutti non sono al ospedale.

(Не все сумасшедшие
находятся в больнице.)

В грозные дни празднеств Кришну роковой поступью катафалка проходит по полям Пури тяжелая колесница Джагернатха.

Кто может, идет за ней вслед. Кто хочет, бросается под колеса. Осторожные бегут прочь без оглядки.

Но мудрость старой страны не предсказывает маршрута и не ищет на ней возницы.

«Que tout rentre dans le chaos et que de ce chaos sorte un monde nouveau et régénéré»¹.

Европейское человечество вот уж скоро пятый год упорно трудится над осуществлением первой части этой формулы Бабефа. На вторую надежды мало.

Процесс, начавшийся в 1914 г., целен и неделим. Психология войны и революции одна и та же. В идеологии их очень много общего. «Налево кругом значит то же самое, что и направо кругом, только совершенно наоборот». Всякий раз, когда я слышу, как с презрением и ненавистью бросаются слова «буржуй» или «товарищ», я вспоминаю «les sales boches»² и «Gott, strafe England»³. По-видимому, тупость, одно из самых мощных проявлений человеческой энергии, следует великому термодинамическому закону; общее количество ее в мире постоянно, она только меняет свою форму.

¹ Пусть же все станет хаосом и пусть из хаоса выйдет новый и возрожденный мир (фр.).

² Грязные боши (фр.).

³ Боже, накажи Англию (нем.).

Европейская жизнь на ближайшие десятилетия определена тем фактом, что в цивилизованнейших странах мира будут гулять на свободе миллионы людей, которым разрядить ружье в «ближнего» ровно ничего не стоит. По несколько простодушному выражению Шиллера, «*der physische Mensch ist real, der moralische aber nur problematisch*»: «физический человек действителен, моральный же только проблематичен». События нашего времени показывают, что он с каждым днем становится все проблематичнее. В ночь торжества «последней войны» от руки спасающего Францию полоумного милитариста гибнет «изменник Herr Jaurès». В ночь торжества «последней революции» («*c'est la lutte finale*») распропагандированные хулиганы во имя социализма убивают «буржуев-кровопийц» Кокошкина и Шингарева.

Цельный единый процесс перехода потенциального зверства в активное продолжается. Хуже всего то, что прекратиться теперь он не может и не должен. Великая трагедия в том, что мы, «оборонцы», мы, люди культуры, обречены работать во славу мирового Ленина.

Две роковые даты русской истории: день, когда началась проклятая война, и день, когда она прекратилась.

Сенатор Никитин в «Воскресении» Л. Н. Толстого аккуратно записывал в дневнике все свои разговоры с чиновниками первых двух классов. «Он был, — говорит иронически Толстой, — вполне искренне убежден, что записи эти составляют очень важный исторический материал». События 1914 г., однако, показывают, что Толстой напрасно иронизировал над сенатором Никитиным. Последний был совершенно прав. Историк никогда не узнает всей правды о возникновении мировой войны, если не изучит самым тщательным образом всевозможные дневники, мемуары, «*Erinnerungen*», «*Rückblicke*», «*Tagebuch*»¹ и другие литературные произведения всевозможных Никитиных. Для того чтобы выяснить, почему погибло много миллионов людей и истреблено на сотни миллиардов ценностей, созданных народным трудом, нам необходимо будет знать, что сказали 18 июля Сухомлинову Николай II, Вильгельму Бетман-Гольвег, фон Ягову фон Чиршкий и т. д. Как бы мы ни старались смотреть в «корень вещей», мы все же не обойдемся без дневников и «*Rückblicke*». События 1914 г. показали историческую роль личности, — в особенности личности скверной.

¹ «Воспоминания», «Ретроспективные взгляды», «Дневники» (нем.)

Каким только ничтожествам не было дано расписаться ярко-красными буквами в книге судеб человечества...

Что касается второй роковой даты, связанной с вечнопамятным Брестом, то по ее истории самым ценным документом будет, вероятно, не дневник, а гроссбух германского канцлера.

Никто ничего не знал, никто ничего не понимал, никто ничего не предвидел. Меньше всего знали, кажется, господа дипломаты. Они играли в жмурки на краю бездонной пропасти. В одно прекрасное утро выяснилось, что Европе грозит война, к полудню она оказалась «неминуемой», а к вечеру дипломаты посторонились с очаровательной улыбкой и из-за спин их загремели пушки. Вопросов господам дипломатам, разумеется, не задавали. Их резолюции были приняты как откровение с горы Синайской.

Остальное произошло по церемониалу. Рассудок подействовал на сердце, сердце подействовало на рассудок. Расчет породил воодушевление, воодушевление отняло разум. Комедианты стали «кликушами», симуляция обратилась в нервный припадок. В неделю были наведены мосты через всевозможные рубиконы. Один Маркс никогда не объяснит, почему возникла война; нужно обратиться еще к психиатрам.

Марат, «*nanti de l'office du fou á la cour du peuple*»¹, требовал в свое время лишь двести тысяч голов. И то по его скромному счету было отпущено современниками не более одного процента. В наши дни, не требуя аргументов, не спрашивая отчета, пошло на смерть десять миллионов людей. В подобных случаях народным массам предоставляется только проявление энтузиазма: «*Their's not to reason why, their's but to do and die*» — «их дело не рассуждать, как да почему, а исполнять и умереть», — говорит английский поэт, не замечая, по-видимому, зловещей иронии своих слов.

Я видел когда-то в одном из немецких юмористических журналов следующую забавную картинку: на уроке солдатской словесности прусский офицер задает глуповатому рекруту, очевидно только что приведенному из деревни, вопрос учебной программы: «Майер, отчего каждый немец обязан умереть в любую минуту по первому слову кайзера?» Майер озадаченно чешет голову, а затем с сконфуженным видом возвращает тот же вопрос своему наставнику: «В са-

¹ Одержимый безумной мыслью лично заменить трибунал народа (фр.)

мом деле, Herr Leutnant, отчего-таки каждый немец обязан умереть в любую минуту по первому слову кайзера?» Вспоминая эту картинку, я невольно думаю, что величайший позор Германии XX века не потопление «Лузитании», не калишские зверства и не сожжение Лувена, но тот факт, что в июле 1914 г. на 66 миллионов населения «страны мыслителей» не оказалось ни одного рекрута Майера.

На протяжении двух столетий два человека подняли вооруженное восстание против могущественной страны; оба обратились за помощью к ее «исконному врагу», который, впрочем, успел перемениться за время между двумя восстаниями. Первому из этих революционеров поставили ряд памятников; второго повесили. В честь первого слагали оды величайшие поэты мира; второго забрасывали грязью до и после его смерти. Историк, верящий в имманентную справедливость, вероятно, признает, что геройское восстание Джорджа Вашингтона, в отличие от безумной попытки Роджера Кэзмента, шло по линии движения общечеловеческого прогресса. Историк, не верящий в имманентную справедливость, со вздохом повторит, что в политике успех дает возможность отличить подвиг от преступления... А преступление от «ошибки». Последнее верно также и для казнящих. Ибо часто (хотя и не всегда) оправдываются слова старого Мальбранша: «Dans les lieux ou l'on brûle les sorsiers on en trouve un grand nombre» — «колдунов всего больше там, где их жгут».

Арман Каррель с оружием в руках сражался за испанскую свободу против армий французского короля. Лорд Байрон считал великим несчастьем английскую победу при Ватерлоо. Вольтер поздравлял Фридриха II с военными неудачами французов. На смену этого романтического поражения пришло акционерное общество «Парвусь и К°». Что сказать о подобном прогрессе за столетие, утвердившее идею патриотизма?

Циммервальд и Киенталь не были, впрочем, чужды своеобразной романтики монашеского ордена. Но вне «конъюнктуры», «проекции» и «перспективы» ценность идеологии любого ордена не поддается никакому учету. Как рассматривать Циммервальдский манифест без проекции на Брестский трактат? Обе стороны приняли «определенное обязательство действовать с такой силой, чтобы движение

в пользу мира заставило наши правительства прекратить эту бойню». Страну культурную и просвещенную это *обязательство* пока не привело ни к чему. Страну невежественную и нигилистическую оно привело к рабству. Прекрасная речь Ледебура в рейхстаге все же недостаточная компенсация за потерю трети России.

И потом — как рассматривать Циммервальдский манифест вне проекции на личность его авторов? Имена Гримма, Радека и Ганецкого говорят сами за себя. Если в воззвании германских ученых подписи были лучше всего, то в манифесте циммервальдистов все лучше подписей.

«Последняя война». «Война войне»... Мир бесконечно устал от побед и поражений, от дипломатических успехов и дипломатических неудач, от Цорндорфов и Кунерсдорфов, от стратегов и интриганов. Генерал Бернгарди, *doctor mirabilis*¹ воинствующего пангерманизма, писал недавно статьи, под которыми охотно бы подписалась покойная Берта Сутнер. Но это ничего не значит. Юнкера отдохнут, подрастут их младшие братья, и все начнется, быть может, сначала. А потому, как сказал в своей знаменитой речи, «вызвавшей вмешательство Италии в войну», старый *pinse-sans-rigue*² Габриель д'Аннунцио: «Счастливы милосердные, — им предстоит унимать кровь».

«Это могло случиться только в России». Кто знает? Не будем валить слишком много на *русское* невежество и некультурность. После «Бесов» Достоевского полезно перечитать «Землю» и «Разгром» Золя. Умение читать и писать не делает человека культурным. Знание четырех правил арифметики не убивает в нем зверя. Когда от пятилетия неслыханной бойни порвутся крепкие нервы западноевропейского человека, когда возведенная большевиками «социальная революция» вместо земного рая принесет ужасы всеобщего одичания, от самоубийственных русофобских припадков наших дней многие будут, вероятно, лечиться холодными душами мизантропии. «Шопенгауэра, брат, надо читать, Шопенгауэра», — советовал Тургенев Герцену в период несравненно более легкого кризиса в жизни Европы. Того Шопенгауэра, который, умирая, оставил большую

¹ Станный доктор (*лат.*).

² Здесь: насмешник (*фр.*).

часть своего состояния солдатам, восстановившим «порядок» в 1848 г. А меньшую часть — своей собаке.

И в самом деле, в наши дни это чтение несколько успокаивает. Почти так, как успокаивает астрономия.

Ум Шопенгауэра — кладбище, но это величайшее Campo Santo в мире. Кладбище без крестов, без надписей утешения...

Вопрос общий: что хорошего может выйти из событий, представляющих собой прямое следствие такого явления, как мировая война?

Вопрос частный: к чему хорошему может привести движение, которым руководят гг. Парвус, Радек, Зиновьев, Троцкий, Ганецкий, Муравьев и т. д.?

Покойный Антон Менгер, очень ученый, очень благородный и очень наивный человек, мечтал о том, как в социалистическом государстве будет издаваться газета, которая поставит себе задачей следить за частной жизнью вождей общества, выставляя их «к позорному столбу» при каждом неверном шаге, при каждом сомнительном поступке. Я себя спрашиваю: что, если в социалистическом государстве, в которое мы вступаем, по словам Ленина, будет, действительно, осуществлена идея Менгера: где мы возьмем столько позорных столбов?

Тем не менее второй вопрос имеет, вообще говоря, лишь ограниченное значение. В общей форме он вряд ли может быть поставлен.

«Чистое дело требует чистых рук», — сказал мне один политический деятель, справедливо гордящийся белоснежностью своей ризы, в ответ на предложение привлечь к важному делу знаменитого N—N, конечно, далеко не святой, но, наверное, хороший музыкант...

Каждому свое: одним людям позировать для революционных икон, другим — делать революцию. Вот чего требует, по-видимому, жизнь. Надо бы помнить и исторические примеры: Минин был взяточник; Пожарский при Борисе Годунове занимался писанием доносов. Это не помешало им, однако, спасти от гибели Россию.

Об одной политической организации: *Senatores boni viri, senatus enim mala bestia*¹.

¹ Сенаторы хорошие люди, но Сенат скверное животное (*лат*)

Есть поговорки, представляющие собой явное издевательство над историей. Например, лежачего не бьют.

Большевики очень возмущены тем, что А.Ф. Керенский скрылся от «суда».

Иван Грозный писал князю Андрею Курбскому: «Се бо есть воля Господня — еже, благое творяще, пострадати. И аще праведен еси и благочестив, почто не изволил еси от мене, строптивого владыки, страдати и венец жизни носити?»

Царь Иван Васильевич здесь явно давал волю своему зловещему юмористическому дарованию. Но вожди современной опричнины, которым для полноты исторического сходства не мешало бы украсить себя песьими головами, по-видимому, говорят совершенно серьезно. Участь Духонина, Коровиченки, Шингарева, Кокошкина, тысяч других не смущает их:

«Избиенные же и заточенные вси прияша по своим винностям».

Когда под звуки барабанов Сантерра в корзину парижского палача упала голова Людовика XVI, кто мог предположить, что через 20 лет на том же самом месте будут служить траурную очистительную мессу верные слуги нового короля Франции и Наварры? И тем более — кто мог подумать, что в числе этих верных слуг, благоговейно проливающих слезы над местом успокоения «венценосного мученика», окажется немало людей, громогласно требовавших с трибуны Конвента головы «преступного Капета». В состав Революционного Комитета III года входили тринадцать будущих графов и один будущий князь...

Гильотина произвела отбор достойнейших. За грехи французской монархии поплатился добрейший из королей Франции; за грехи революции — лучшие из революционеров. Карл X и Фуше остались невредимы.

Царь Николай II был, за неделю до своего падения, совершенно уверен в беспредельной преданности самодержавному строю всего русского народа. В этом смысле у нас бесспорно существует преемственность, если не власти, то по крайней мере ее традиций. Год тому назад Россия всенародно нарушила свою присягу царю, — и, разумеется, прекрасно сделала. Это не помешало Временному правительству первым делом привести армию к новой присяге, на которую, кажется, сильно рассчитывал добрый князь

Львов. Теперь красноармейцы присягают *по-новому* на верность советской власти. Сильный этим и сочувствием «трудящихся масс всего мира», Ленин бодро шагает по пути к взыскуемому граду. Но волей судьбы взыскуемый град иногда носит название Тобольск, и в году великой, мировой, последней, коммунистической революции один из месяцев называется термидор.

Современные события несомненно являют полное торжество идеи забитой и загнанной буржуазии: ее победители буржуазнее, чем она сама.

Ленин прав: жизнь, взбаламученная «социалистической революцией», принесет в деревню «кодекс новой правды». Только это кодекс, вероятно, будет — с небольшими поправками — Десятый Том Свода Законов. Он освятит сложившееся положение вещей, закроет на многое глаза и назовет благоприобретенным награбленное.

Любителям исторической телеологии предлагается ответ на вопрос: для чего нужен Ленин? Для торжества идеи частной собственности. Если верить К. Пруткову, то «и терпентин на что-нибудь полезен». Но такое назначение большевистского терпентина представляет, несомненно, одну из самых злых шуток истории.

Протопопов компрометировал реакцию и готовил революцию. Ленин компрометирует революцию и готовит реакцию. Прежде мы могли утешаться формулой, заведенной России Пушкиным: «чем хуже, тем лучше». Теперь, к несчастью, чем хуже, тем хуже.

Все, что делается, есть самая очевидная и чистейшая импровизация. Русская революция, как дочь родную мать, напоминает русскую войну. Ленин законный наследник Николая Николаевича. Поход на капиталистический строй, по замыслу и подготовке, стоит похода на Карпаты. Где будут при отступлении «заранее подготовленные позиции»?

В Парижском Люксембургском музее есть прекрасная скульптура Тюргона: слепой ведет парализованного. Московитская Совнаркомия должна была бы украсить свой герб изображением этой статуи.

Писатель, смело выдающий бронзовые векселя: Д.С. Мережковский. Года два тому назад он торжественно обещал: «Будет радость». Его пьесу под этим названием мы

видали, но радости все еще ждем. Теперь мы слышали лекцию, — она наделала много шума: «Россия будет». Конечно, будет. Но какая? За свой пожар мы платим крупную страховую премию: в международной практике обычаи гражданского обихода нередко соблюдаются навыворот.

Фридрих Штейн, «создатель новой Пруссии», один из виднейших актеров европейской политической сцены, на склоне своих дней писал: «Das Resultat meiner Lebenserfahrung ist die Nichtigkeit des menschlichen Wissens und Treibens, besonders des politischen»¹.

Эти слова крупного государственного деятеля мне вспомнились в разговоре с одним из наших бывших министров. Он, напротив, приписывал своему политическому Wissen² и, в особенности, Treiben³ едва ли не всемирное значение. И видит Бог, что ему весьма далеко до Штейна. «Это человек или нарочно?» — спрашивает в известном анекдоте девочка, увидевшая писателя Апухтина, который отличался необычайной толщиной. Здесь на устах вертелся такой же вопрос: министр или нарочно?

Он пишет теперь свои воспоминания. Судя по его словам, оправдывает себя, винит других, шумит, жалуется и грозит.

Так, впрочем, ему и подобает.

Le bruit est pour le fat, la plainte pour le sot,

L'honnête homme se retire sans prononcer un mot⁴.

К парадоксам современного милитаризма. Наполеон утверждал, что командовать армией можно только до 40 лет. Ни один коммерсант не пригласил бы к себе на службу управляющего или бухгалтера в возрасте современных генералиссимусов. Говорят, военный опыт приобретается долгими годами. Где же его приобретают? Девяносто процентов нынешних полководцев до 1914 года ни разу не видали настоящего поля сражения. Для Аннибала, Цезаря, Тюренна, Наполеона, Нея, Даву война была ремеслом в настоя-

¹ «Результат моего жизненного опыта — ничтожество человеческого знания и действия, в особенности политического» (нем.)

² Знанию (нем.)

³ Действию (нем.)

⁴ Шум для фатов, сетования для глупцов, человеческое достоинство уходит, не произнеся ни слова (фр.)

щем смысле этого слова: они провели в походах большую часть своей жизни. Но Аннибалы и Цезари германского генерального штаба могли вынести опыт высшего командования разве только из недавней войны с герреро. Тем не менее они превосходно справляются со своей задачей. Может быть, это свидетельствует о том, что индивидуальность полководцев имеет в настоящее время довольно ограниченное значение, — как для хода военных действий, так и для психики народных масс. Гинденбург только минутное воплощение потребности культа героев. Вчера Гинденбургом был Маккензен, позавчера Клуке, Тирпич или кто-то еще.

Жорес в одной из самых вдохновенных своих речей, призывая Францию к разоружению, воскликнул: «В крайнем случае мы погибнем, но наша гибель послужит делу освобождения человечества». Во всякой другой стране, будь это Германия, Англия или Соединенные Штаты, политическая карьера человека, который позволил бы себе такую фразу, была бы навеки разбита. Французская аудитория ответила трибуну бешеным взрывом аплодисментов.

Но когда началась война, этот удивительный народ, неожиданно для своих врагов и даже для самого себя, стал самым воинственным народом в мире. В эпикурейцах современных Афин проснулся дух крестовых рыцарей. Сердце человека полно контрастов. Пацифистская пропаганда иногда влечет за собой непредвиденные результаты. С известным правом можно утверждать: «*Si vis bellum para pacem*»¹.

В наше время, по очень несчастному для народов обыкновению, те, что объявляют войну, не принимают в ней участия; а те, что сражаются и гибнут, не участвуют в объявлении войны. Густав-Адольф и Карл XII были последние монархи, павшие на поле брани.

У войны есть особая этика, не без труда усваиваемая чувством справедливости штатского человека. Когда простой солдат прокрадывается во вражеский стан и, показывая чудеса хладнокровия и отваги, исполняет то, к чему его обязывают солдатский долг и дисциплина, его, как шпиона, немедленно вешают. Но если в плен, в виде исключения, попадет император, проливший море крови, то враги с почтительными поклонами и с непокрытой головой просят

¹ Если хочешь войны, готовься к миру (*лат.*).

его величество пожаловать в отведенный для него роскошный замок. Для помазанников Божиих девиз Борджиа «Aut Caesar, aut nihil»¹ лишь весьма редко имеет буквальный смысл: в трудные минуты иные из них, как Фридрих «Великий», поговаривают о самоубийстве, но никогда не кончают с собой — по религиозным побуждениям. Сорвавшийся помазанник проводит остаток жизни, занимаясь на досуге спортом, составлением мемуаров и придумыванием красивых *восклицаний* (они ведь не говорят, а восклицают), вроде «все потеряно, кроме чести», — восклицаний, которыми немедленно украшается поэтическая легенда коронованного страдальца: участь деспота, потерявшего опасную игрушку, больше волнует нелепый романтизм человеческой природы, чем хотя бы судьба солдата, которого носят в мешке, так как ему оторвало ядром руки и ноги. «Vae caecis dicentibus, vae caecis sequentibus»², — грозил когда-то св. Августин. В особенности, конечно, sequentibus.

Впрочем, статистик Молинари давно доказывал, что ремесло убийцы безопаснее ремесла рудокопа.

В смерти Бисмарка было что-то символическое. Вот как ее описывает его биограф, Welschinger: «В субботу 30 июля 1898 года, около трех часов, началась агония. В это время буря разразилась на Северном море, и бешеный ветер врывался в окна замка и стонал между соснами огромного леса. В одиннадцать часов вечера князь поднялся на постели, поднес руки к лицу, точно *защищаясь от какого-то страшного видения*, и скончался...»

Как известно, Бисмарк в отставке испытывал «угрызения совести». Одну из его покаянных мыслей поместил даже Л. Н. Толстой в своем «Круге чтения»: «Тяжело у меня на душе. Во всю свою долгую жизнь никого не сделал я счастливым, ни своих друзей, ни семьи, ни даже самого себя. Много, много наделал я зла... Я был виновником трех больших войн. Из-за меня погибло более 800 тысяч людей на полях сражений; их теперь оплакивают матери, братья, сестры, вдовы... И все это стоит между мною и Богом...»

Большого значения покаянные настроения канцлера, конечно, не имеют. Поклонники Бисмарка даже рады увидеть на своем герое, кроме всех прусских орденов, еще венец христианского величия. Но, в связи со страничкой из

¹ Или Цезарь, или ничего (лат.).

² Горе слепцу, красно говорящему, горе слепцу идущему (лат.).

Welschinger'a, это нас, современников каннибальского торжества, должно тем не менее несколько утешать. Особенно если вспомнить, что и дела Бисмарков не так уж прочны — *sub specie durationis*¹. Германское могущество рано или поздно будет там, где покоится величие Камбиза, Августа, Филиппа II, Николая I.

*Hoc equidem occasus Troiae tristesque ruinas
Solabar fatis contraria fata rependens*².

«Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. Но каким прекрасным предлогом была для нас всех свобода». Так говорил в соответствующий момент истории большой знаток дела Наполеон I. Герой 18 брюмера, быть может, и заблуждался, насмехаясь над «среднеумными людьми», которым, как-никак, принадлежал и принадлежит мир. В революции, да и в других больших человеческих делах, должно уметь отделять результаты от мотивов, трагедию от актеров. Рушатся государства и троны, под свист разгневанной толпы сходят со сцены вчерашние кумиры, в муках что-то умирает, говорят даже, будто в муках что-то рождается, — как же забыть в вихре подобных событий о существовании «исторической перспективы»? К сожалению, ее одинаково извращает и свое, и чужое 18 брюмера.

18 брюмера перед нами. Чужое и скверное. Что с того, что наши Наполеоны обыкновенно начинают с Ватерлоо? Очень нетрудно «абстрагировать» 18 брюмера от бутафории пирамид и Маренго, от Аркольского моста и Яффского лазарета. Шпага победителя или штык дезертира, ботфорты со шпорами или немазанные сапоги, преторианский порядок или красногвардейский хаос, не все ли, в конце концов, равно с точки зрения принципа? Я смотрю на политический календарь и ясно читаю: 19 брюмера

«Timeo homines unius libri — боюсь людей одной книги», — говорил Фома Аквинский. Гораздо страшнее люди одной газеты. Особенно, если газета эта «Правда».

Определяющая черта большевистской идеологии — примитивность. Г. Ленин несомненно очень выдающийся чело-

¹ Под знаком твердости (*лат*)

² Это мне было утешеньем в закате Трои, в ее печальных развалинах року противопоставлялся мною рок (*лат*)

век, но он примитивен, как протопоп Аввакум, которого сильно напоминает и первобытностью своего полемического темперамента: «Ни ритор, ни философ, дидаскальства и логофетства не искусен, простец человек и зело исполнен неведения». Напоминает он протопоба и своей ненавистью к противнику, глубоким презрением к чужой мысли (недаром он написал когда-то прелестную книжку против всех философов), — черта гения в одном случае, черта варвара в ста других. В полемическом обиходе г. Ленина весь словарь аввакумовских ругательств, разумеется несколько модернизированный. Но «буржуазная сволочь», «презренные дурачки» и «звери капитализма» значат, вероятно, то же самое, что «алгмей», «косая собака» или «антихристов шиш».

В частности, своих противников из лагеря социалистов г. Ленин всегда ненавидел больше, чем служителей самодержавного строя.

Надо отдать справедливость лидеру большевиков: он не церемонится и со своей братией, когда последняя осмеливается выходить из-под ферулы учителя. Неподражаема его гневная статья о г. Зиновьеве, испытавшем мучительные минуты колебания перед вооруженным выступлением 25 октября. Совершенно так же честил Аввакум ученика, который как-то пошел против его воли: «Не помышляй себе того, дурак, еже от Бога тебе, кроме покаяния, помиловану быти... Да приидет на тя месть Каинова, и Исавова, и Саулова, да пожжет тя огонь рко содомлян, аще не зазришь души своей треокаянной! Кайся, трехглавый змий, кайся, собака дура!» Аввакумов ученик, как и г. Зиновьев, действительно, немедленно покаялся.

Протопоп царя Алексея Михайловича тоже не жаловал буржуазию: «Любил вино и мед пить, и жареные лебеди, и гуси, и рафленные куры: вот тебе в то место жару в горло, губитель души своей окаянной... Плюнул бы ему в рожу-то и в брюхо-то толстое пнул бы ногою». Весьма вероятно, что Аввакум стоял бы теперь за додушение буржуазии и за отправку капиталистов «на шесть месяцев в рудники».

Зато в отношении свободы слова протопоп был, при всей своей ненависти к латынникам, много либеральнее г. Ленина. «Чудо, — говорил он о никонианах, — как-то в познание не хотят прийти? Огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Которые-то апостолы научили так — не знаю... Те учителя явны, яко шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают: по вере своей и дела творят таковы же». Золотые мысли.

Свобода слова, разумеется, лишь «наименьшее зло». Есть два рода писателей: одни сеют «разумное, доброе, вечное», а другие поставляют для этой цели навоз. Но так как подразделение писателей по названным двум категориям всегда несколько субъективно, то в конце концов Европа додумалась до принципа свободы слова, который так плохо усваивают русские правители, начиная от Рюрика и кончая нынешним генералом Дитятиным, не закрывшим всех газет только потому, что против этого возражают печатники.

«По мнению дураков, — говорил Гейне, — для того, что бы взять Капитолий, нужно первым делом напасть на гусей». Мнение дураков, по-видимому, совершенно разделяется Советом Народных Комиссаров. Коммунистическому унтеру Пришибееву следовало бы помнить хоть то, что не всякая стая птиц спасает от гибели Рим. Опаснейшими гусями при Капитолии русской свободы оказались вечерние газеты.

«Книга губит социальную революцию», — сказал как-то г. Ленин. По существу он, разумеется, совершенно прав: его революцию, как и его социализм, книга действительно губит. Приходится в данном случае констатировать некоторую непоследовательность: настоящее бессмертие г. Ленин обрел бы, если б во славу большевистского Корана сжег Публичную библиотеку.

«Отлучаю тебя от церкви воинствующей и торжествующей», — сказал епископ Вазон, когда Джироламо Савонарола всходил на костер. «Воинствующей, но не торжествующей», — поправил Савонарола. «Слова эти были произнесены с таким выражением, — рассказывает Виллари, — что остались в памяти навеки у тех, кто их слышал».

Флорентийский мученик был совершенно уверен в надземной правоте своей смерти: «Пусть мир теснит меня сколько хочет, пусть враги мои восстают на меня, я ничего не боюсь, как тот, который возложил всю свою надежду на Бога... Не буду надеяться на людей, а лишь на Господа, и хвалу воздам Ему перед лицом всего народа, ибо честна перед Господом смерть преподобных Его. Если даже полки всего мира устремятся на меня, не убоится сердце мое, ибо Ты прибежище мое и Ты приведешь меня к моей цели». Это последние слова, написанные Савоноролой: затем у него была отобрана бумага. Ученик фанатика, фра Доменико, узнав, что будет сначала повешен, а только потом сожжен, умолял сжечь его живым, «чтобы он мог перенести еще более тяжкие муки ради креста Христова». «Погребите

меня, — писал он монахам Сан-Доменико в Фиезоле, — в самом скромном месте, не в церкви, а у врат ее в уголке. Молитесь за меня, совершая литургию *et coetera solita*¹; я же там, где надеюсь быть, стану молиться за вас. Соберите в моей келье все произведения фра Джироламо».

Эта психология более или менее чужда людям нового времени. По-видимому, 18 век сделал ее невозможной. Много легенд, связанных со смертью героев, знает Великая Французская революция или плутарховская эпопея Народной Воли, но характер этих легенд все же совершенно другой. Не такие мотивы звучали в *Conciergerie*² на прощальном ужине жирондистов, не так писали и говорили перед казнью Дантон и Демулен, Желябов и Валериан Осинский. Какая-то струна в аккорде веры, очевидно, порвалась за четыре столетия.

К фанатизму мучеников средневековья примешивался и личный интерес: вера обещала им за гробом райскую счастливую жизнь. У нынешних апостолов нет такой надежды. Их вера поэтому чище, но, с другой стороны, и слабее. Нынешние же события могут печально отразиться и на будущем гуманитарного идеализма. Четыре пережитых нами года стоят веков и было бы удивительно, если б аккорд веры не стал неизмеримо беднее после всего, что произошло. Костры погасли и, должно быть, не возродятся. Виселицы пока уцелели, но, быть может, когда-либо исчезнут, — хотя по нынешним временам это и не слишком вероятно. Будут ли, однако, появляться кандидаты на костер и виселицу? Так ли достоверно, будто психология самопожертвования неотъемлема от природы человека? Старик Монтень, правда, в свое время уверял, что нет такой глупости, ради которой *homo sapiens* не был бы способен сломать себе шею. Вдруг, однако, *homo sapiens* впредь откажется ломать себе шею даже ради самых серьезных дел?

Иное дело — ломать шею другим.

На тему: из Назарета может ли быть что доброе? Мыслителем русского старого строя считался К.П. Победоносцев, человек большого практического ума, но совершенно ничтожный компилятор реакционных теорий, умевший черпать политическую мудрость из самых неожиданных источников. Его критика «великой лжи нашего времени», —

¹ И привычное согласие (*лат*)

² Консьержери — тюрьма в Париже

парламентаризма и прессы («Московский сборник») — представляет собой буквальное воспроизведение «Парадоксов» Макса Нордау без малейшего указания на источник. Заимствовать для официозного издания, выходящего под фирмой обер-прокурора Св. Синода, целые страницы из произведений главы сионистов, добавить от себя к мыслям еврея приличную дозу антисемитизма и пустить парадоксы венского фельетониста в качестве руководящих наставлений для православных священников, — этот трюк был как раз во вкусе Великого Инквизитора.

Гражданин, примыкающий не то к меньшевикам-интернационалистам, не то к объединенным социал-демократам (никак не пойму, в чем разница между этими партиями), убедительно доказывал мне губительность большевистских действий для России, Европы, человечества, свободы, демократии и социализма. Я совершенно с ним соглашался.

— Какой же выход из положения при создавшейся конъюнктуре? — спросил он.

Я отвечал, как умел. *Medicamenta*, наверное, *pop sanant*¹. Может быть, *ferrum sanat*?²

— Ни в коем случае, — ужаснулся он. — Социализм погибнет, если они будут раздавлены силой.

В этом тоже была доля правды (правда, очень небольшая). Тем не менее я счел возможным напомнить объединенному меньшевику следующий эпизод из жизни Бодлера, рассказываемый Анатолем Франсом:

«Знакомый поэт, морской офицер, показывал ему однажды фигуру идола, вывезенную из диких земель Африки. Показав свою негритянскую достопримечательность, офицер непочтительно бросил ее в ящик.

— Берегитесь, — с ужасом воскликнул Бодлер. — Что, если это и есть настоящий Бог!»

Одна из любопытнейших личных драм наших дней — молчаливая трагедия П. А. Кропоткина. Думал ли апостол анархического учения, что на старости лет он увидит в родной своей стране недостижимый идеал полного безвластия на развалинах сокрушенного государства? И думал ли

¹ Целительные средства не лечат (лат.).

² Меч лечит (лат.).

он, каков будет этот идеал в передаче г. Блейхмана и в осуществлении кронштадтских матросов?

«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы.

Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.

Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николитов, которые и Я ненавижу». (Апокалипсис, гл. II, 2—6.)

Интересный человеческий документ: разговор Наполеона с Бенжаменом Констаном, рассказанный в воспоминаниях последним. Из этих двух людей один — теоретик истории и права, другой — их создатель; один — философ, другой — тема для философа; один пишет романы, другой творит их своей жизнью. Оба внимательно всматриваются друг в друга. Наполеон чуть презирает Констан надменной мудростью все пережившего человека, обаянием своей легенды, снисхождением врожденного повелителя к либеральному юристу. Констан не без робости вглядывается в стоящее перед ним живое чудо, хочет понять душу Наполеона художественным инстинктом, старается противопоставить идее императора одну из своих идей... «Дело пятнадцати лет моей жизни погибло, — говорит Наполеон, — оно не может быть начато вновь». И в это хладнокровное замечание человека, который констатирует факт и делает из него вывод, вдруг, как искра, вскальзывает нота неукротимого кондотьера, давно утратившего представление о возможном и невозможном: «Il faudrait vingt ans et deux millions d'hommes à sacrifier»¹. Но нет ни того, ни другого, — ни двадцатилетнего срока, ни двух миллионов жизней... Практик тотчас же берет верх над кондотьером. «Мне нужен народный энтузиазм. Народ хочет (*veut ou croit vouloir*)² свободы, — говорит Наполеон тоном человека, которого нельзя удивить никакой игрушкой, — я готов заплатить ему за одушевление конституцией, свободой слова, ответственностью министров».

¹ Нужны были двадцать лет и два миллиона принесенных в жертву (фр.).

² Он хочет или думает, что хочет (фр.).

«Je comprends la liberté»¹.

Это понимание к тому же достаточно гибко: «En prenant pour prétexte le prétendu principe de l'utilité générale on peut aller où l'on veut»². Вряд ли какая политическая максима оправдывалась в истории так часто, как этот наполеоновский афоризм.

Мирабо и Жорес — два, быть может, наиболее выдающихся политических деятеля новой эпохи. В них много общего. Дар слова, ученость, разносторонность, способность к работе были свойственны обоим в необычайной мере. Оба никогда не были у власти, но оба царили над людьми. Оба погибли в роковые минуты истории, на пороге мировых крушений.

В жизни — Мирабо буйный темперамент; Бенвенуто Челлини XVIII столетия, изведавший много личных бурь, автор «Egotica Biblion», величайший и глубоко развращенный эгоист; Жорес высоконравственный человек, тихий семьянин, скромный профессор, живший только для своего дела, для народа, для человечества. В политике — Мирабо умереннейший и аккуратнейший «кадет», почти неизменно стремившийся успокоить, примирить, согласовать, найти компромисс; Жорес неумолимый, последовательный революционер, апостол борьбы, апологет бунта...

Темперамент в политике и темперамент в жизни — вещи разные.

«Но то, что жизнью взято раз, не в силах рок отнять у нас». Увы, «взятое» жизнью рок отнимает у нас ежедневно и есть много охотников по мере сил помогать в этом деле року. Хуже всего, что отныне ничего больше нельзя валить на «русскую жизнь» и никого не будет впредь заедать среда, та среда, которая заела половину героев нашей литературы. Не проходит бесследно вековая школа деспотизма и грубости. Русский человек, грозящий своей кухарке рассчитать ее «в 24 часа», ныне гражданин «самой свободной страны в мире». Здесь року не приходится ничего и отнимать: политическая революция у нас произошла, социальная, по-видимому, производится, но психологическая, на-верное, будет не скоро.

¹ Я понимаю свободу (фр.).

² Избравшие предлогом так называемый принцип всеобщей пользы могут пойти, куда захотят (фр.).

«Судьба, — говорит Людвиг Берне, — никогда не дает мат королю, не сказавши ему прежде — шах». Низверженный русский император не мог пожаловаться на невнимание со стороны Немезиды истории: в выстреле на набережной Мойки прозвучал для него последний, но далеко не первый шах.

Только ли, однако, к монархам применимо правило Берне?

В день годовщины февральской революции русское общество оглядывается назад. Проигравший шахматный игрок с сумрачным интересом разбирает потерянную партию, отыскивая роковую ошибку. Для чего? Для новой игры? Нет, он слишком устал. Разбирает просто, чтобы знать. Вероятно, для теории.

Говорят, русский человек задним умом крепок. Это было бы не так плохо, если б было верно. Задний ум по крайней мере дает некоторые гарантии для будущего. Но, кажется, поговорка преувеличивает: особых проявлений заднего ума у нас пока незаметно.

Впрочем, день национального праздника ознаменован открытием «Просветительного Общества 27 февраля». В этом обществе сошлись виднейшие деятели весеннего и летнего периода 1917 года. Горькая ирония судьбы: русская революция, начавшая с освобождения вселенной, кончила просветительным обществом. От «Воззвания к народам всего мира» мы — какою ценою — пришли к букварю.

«Несчастливая русская обломовщина...» Обломов — русский, но разве не русский Желябов? Любопытно, что прототипом «безвольного» Рудина послужил Тургеневу Бакунин, человек больших дел, оставивший прочный след не только в русской, но и в европейской жизни. Чего стоит, в смысле практического результата, одна только его формула (впрочем, заимствованная у Прудона): «*Le suffrage universel est la contre — révolution*»¹, формула, выводы из которой сделали историческую карьеру матроса Железнякова.

«*Les haines sociales, comme les haines religieuses, sont beaucoup plus intenses, plus profondes que les haines politiques*»².

¹ Всеобщее избирательное право — это контрреволюция (фр.).

² Социальная злоба, как и религиозная злоба, — часто более сильна, чем злоба политическая (фр.).

Так говорил Бакунин. Верно ли это? В России большевики *ставили* на социальную вражду (к буржуазии), их противники на национально-политическую (к Германии). Победили большевики. На Западе пока результат обратный. Но резкие грани легко стираются жизнью. Вражда к немцам, порабащавшим Россию, может приобрести социальный характер. Ненависть пролетариата к буржуазии или буржуазии к пролетариату облетится, весьма вероятно, в форму антисемитизма. Даже люди, очень довольные внешней политикой г. Троцкого, могут не простить ему того, что он распял Христа.

Гомер говорит где-то о волшебном растении лотос, отведая которого человек забывал о своей родине. В наше время лотос стал русским национальным блюдом. Но он рано или поздно приестся — и тогда улица проявит такую любовь к отечеству (в особенности к его дыму), что мы все превратимся в интернационалистов.

Поэты, как статуя Мемнона, поют тогда, когда над страшною восходит солнце. У всякой революции есть свои Шенье.

Певцом «великой пролетарской зари» оказался г. Александр Блок. Почему этот подлинный поэт очутился в числе соперников г. Демьяна Бедного, может быть, не совсем понятно. Но нетрудно отыскать в таком представительстве символику, если принять во внимание юношескую свежесть и девственную чистоту таланта г. Блока.

Дикая утка «потолстела». Оказалась черной вороной прекрасная синяя птица. Ибсен и Метерлинк не нашли бы источников вдохновения в советской, коммунистической России.

Автор «Незнакомки» *était tout indiqué*¹.

Звезда, павшая с неба и воплотившаяся в прекрасную *незнакомку* была, как известно, просто уличной женщиной.

Органически кощунственный талант мог возвести октябрьскую революцию в перл создания.

И мы имеем поэму «Двенадцать», отмеченную большим чувством ритма, выдающимся фонетическим дарованием.

Но с ужасом мы слышим в ней старое «Бри!», так угнетавшее когда-то фантазию г. Блока.

Бесчисленные «Gott mit uns»², которые произносились на всех языках в течение этой беспримерно варварской войны — чаще всего людьми, непосредственно в ней не

¹ Все обозначил (*фр.*).

² С нами Бог (*нем.*).

участвующими — были, разумеется, проявлениями самого подлинного кощунства. Но мы привыкли к тому, что военные гекатомбы славословятся текстами из Евангелия.

Было бы странно, если б самые отвратительные страницы революции, законное наследье войны, обошлись без подобных славословий, несколько менее для нас привычным.

Отряд красногвардейцев только что пристрелил «толстоморденькую Катьку»: она «с юнкершем гулять ходила, с солдатыем теперь пошла», — и при этом изменила одному из «двенадцати». Прикончив Катьку, красногвардейцы идут дальше:

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим.

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

Цель достигнута: неожиданность образа бесспорна. О ценности его этого сказать нельзя.

«Абстрагировать» от кучки революционных хулиганов идею борьбы за социальную справедливость; «абстрагировать» от борьбы то, что роднит ее с обликом Христа, — этот философский примитив очень не дорого стоит. Он всецело на уровне понимания любого читателя «Правды».

И главное, г. Блок не выдумал все-таки ничего нового.

Так же легко было отвлечь от потопления «Лузитании» самопожертвенную деятельность моряков подводной лодки и по этому случаю вспомнить «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — что неоднократно и делалось на страницах пангерманской печати, как в прозаической, так и в стихотворной форме.

Но там все-таки Христос с подводным пиратом сближался гораздо искусней, хотя и с меньшим звуковым дарованием. Фиговые листочки, как-никак, представляют собой дань чувству приличия у читателя.

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!¹
Вскрутился к небу снежный прах!..
Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Взводи курок!..
Трах-тарарах! Ты будешь знать,
.....
Как с девочкой чужой гулять!..

¹ Нетрудный, кстати сказать, стих.

Стих, обозначенный точками, очевидно, передает народное скифское восклицание, которое произносит, убивая Катюку, красnogвардеец, шествующий в обществе Иисуса Христа...

По-моему, чтобы окончательно посрамить отсталую Европу, скифский художественный и социальный радикализм требовал помещения этого восклицания целиком.

Иначе получается недостаточно философской глубины и слишком много буржуазного вкуса.

Наша революция, за полгода пришедшая от г. Родзянки к г. Ленину, прошла под девизом лондонских извозчиков «keep to the left» (держи налево). Несчастье «демагогии» (определение точного смысла этого слова связано с чрезвычайными трудностями) заключается именно в том, что на смену всякого левого демагога быстро приходит демагог еще более левый.

То же самое у нас было и в Смутное время. Самозванец обещал больше, чем Борис, Шуйский больше, чем Самозванец, Ляпунов больше, чем Шуйский. Кончилось это, как известно письмом Шереметева к Голицыну, Миша-де Романов молод, разумом еще не дошел, и нам будет поведен.

Может быть, и теперь кончится буквально так же.

В первый день русской военно-революционной трагедии (20 июля 1914 года) на площади Зимнего дворца с пением преклонила колени перед царем стотысячная толпа авангарда революции — петербургских рабочих. Прелюдией к нынешней Zukunftsmusik¹ было «Боже, царя храни». Отчего и финалу не быть — в темпе presto — таким же?

Но, разумеется, и финал, в свою очередь, есть не более, как прелюдия.

При царях евреи рассматривались в России как национальность, вероисповедание, сословие и политическая партия. В 1913 году они стали еще изуверской сектой. Теперь в них видят правящую касту. Но глубоко прав был Меттерних, утверждая, что всякая страна имеет таких евреев, каких заслуживает.

¹ Музыка будущего (нем.)

Нет ничего легче, чем предсказывать то, что было. Пророков, предсказывающих то, что будет, гораздо меньше, и они часто бывают не слишком ясны. Но в истории мирового шарлатанства и роль Пифии не принадлежит к числу самых легких.

Гипотетический ум, созданный фантазией Лапласа, охватив единой формулой движение мировых масс и крошечных атомов, мог уверенно читать в книге грядущих судеб. Возможно, что с современным Бедламом не справился бы и этот фантастический гений. В мире реальном он во всяком случае упорно не хочет воплотиться.

«Notre vertu la moins contestable, c'est d'être clairvoyants»¹, — говорит Морис Баррес, за всю свою жизнь ни разу ничего правильно не предвидевший. Из ста людей, которые оставили после себя след, быть может, один добродетелен в этом смысле слова. В старых книгах порою встречаешь страницы редкого проникновения и удивляющей глубины. Но фантазий, но ошибок все же неизмеримо больше.

Особенно много иллюзий порождала категория времени: ошибались не на год и даже не на столетие, — иногда на десятки столетий.

Мечта о земном рае покрыта пылью веков. Первым социалистом был, вероятно, Адам...

Нынешний строй не вечен, — это совершенно несомненно. В строе, который придет ему на смену, будут преобладать формы коллективного владения, — это весьма вероятно. Новый строй принесет людям больше материального благосостояния, — это вполне возможно. Но как он наступит и через сколько времени, — вот вопрос, многочисленные ответы на который представляют собой одну из интереснейших страниц в истории человеческого незнания.

Несколько примеров наудачу.

Когда старик Платон, называемый обыкновенно божественным, хотя это был, в сущности, очень земной философ, отправлялся в Сиракузы к мудрому тирану Дионисию, он был уверен, что, проникшись силой его доводов, просвещенный правитель Сицилии осуществит в своей земле принципы коммунистической республики и тем самым откроет новую счастливую эру бедствующему человеческому роду. Однако Дионисий Сиракузский оказался другого мнения — и Платона, как известно, постигли большие непри-

¹ «Наша самая несомненная добродетель — это быть проницательными» (фр.)

ятности. Проданный в рабство, он спасением своим был обязан лишь дружбе киринеянина Аннихериса, который на эгинском базаре купил знаменитого мудреца за 20 мин, что, разумеется, было недорого. Печальные обстоятельства, однако, не поколебали веры Платона в близость коммунистического переворота и много лет спустя, по смерти Дионисия Старшего, он вторично отправился в Сиракузы с тем же предложением к новому просвещенному тирану Дионисию Младшему, который принял его не лучше.

Совершенно так же, как Платон, был уверен в близости социалистического строя благочестивый доминиканский монах Томмазо Кампанелла, автор гремевшей когда-то книги «Civitas Solis»¹. Этот калабрийский Ленин 16-го столетия организовал большой политический заговор с целью замены существовавшего в Неаполе строя коммунистической республикой посредством военного восстания. История повторяется. Картина заговора Кампанеллы до мелочей сходна с тем, что происходило в Петербурге в дни 3—5 июля 1917 г. Для осуществления плана Кампанелла предполагал напасть со своими приверженцами на страшную неаполитанскую тюрьму («Кресты» той эпохи назывались «Яйцом» — *Povo*), выпустить политических заключенных, а заодно воров и бандитов, захватить с их помощью правительственные учреждения, сжечь все бумаги (это очень характерно), а затем, расправившись с иезуитами, к которым он относился приблизительно так, как большевики к «меньшевикам и правым эс-эрам», приступить к организации общества на новых коммунистических началах. Желая обеспечить успех своему предприятию, Кампанелла, человек исключительно бескорыстного, счел возможным войти в соглашение с могущественным внешним врагом, с турецким визирем Гассаном. Восстание, однако, не удалось. Вице-король неаполитанский, граф Лемос (Керенский калабрийской революции), быстро собрал войска и разбил заговорщиков. Кампанелла пытался бежать на турецкий военный корабль, но — не может же история повторяться буквально — радость спасения и реванша не была уготована несчастному монаху. Пойманный и подвергнутый тяжелой пытке, он провел в том же «Яйце» 27 лет жизни. Вера его в близость коммунистического строя, как и у Платона, не поколебалась от испытаний.

В виде исключения из общего правила несколько менее оптимистично был настроен предтеча всех утопистов, изо-

¹ «Город Солнца» (лат.)

бретатель острова «Утопии», Томас Мур. «Знаменитейший, ученейший муж, лондонский гражданин и виконт», — так аттестовал Мура его издатель, — кажется, плохо верил в прекрасное детище своей фантазии: «Я охотно признаю, — писал он в заключение своего диалога, — что в утопийском государстве много такого, чего можно было бы пожелать и нашим странам, но особенной надежды на близкое осуществление этих желаний я не имею». Впрочем, комментаторы Мура высказывают мнение, что такие мысли предназначались для отвода глаз блюстителям порядка. Это, конечно, возможно. Так или иначе, Мур довольно основательно забыл рассказы Рафаэля Гитлодея и его критику существующего строя в тот самый день, когда стал государственным канцлером. Но, по-видимому, не забыл об этом король Генрих VIII и после нескольких попыток канцлера-коммуниста, отличавшегося благородной независимостью характера, напомнить — не о конституции острова Утопии, а о конституции острова Англии — приказал отрубить Муру голову. Таким образом, автор «Утопии», бывший канцлером при жестоком короле, что довольно редко случается с коммунистами, «в конечном счете» не избежал обычной участи апостолов будущего строя. «Всякий человек рано или поздно, но обязательно попадает на свою полочку», — любил говорить Белинский. Для Мура этой полочкой оказалась плаха.

Практический скептицизм Томаса Мура, во всяком случае, составляет исключение. Почти все другие коммунисты жили, борясь за осуществление своих идей, и умирали с твердой верой, что только несколькими днями не довелось им дожить до всеобщего, прочного, окончательного социалистического переворота. Таковы были и первые христиане, и беггарды, и вальденсы, и апостолики, и амальриканы, и табориты, и адамиты, и богемские братья, и анабаптисты, и левеллеры, и диггеры, и бабуисты, и сен-симонисты, и фурьеристы, и шекеры, и гармонисты, и бакунисты, и набабовцы, и землевольцы, и духоборы.

«Вообразите себе, — писал в 1872 г. Михаил Бакунин своим итальянским друзьям, — что во всех итальянских деревнях раздается клич: «Война дворцам, мир хижинам», как во время восстания немецких крестьян в 1520 году, или тот другой, еще более выразительный: «Земля трудящимся!» Вы думаете, много найдется в Италии крестьян, которые останутся спокойны! При этом жгите побольше официальных бумаг (опять эта поразительная боязнь бумага!) и социальная революция будет сделана».

Бакунин был, впрочем, далеко не самым «утопическим» из русских утопистов. П.Н. Ткачеву, например, социальная революция даже не представлялась, по-видимому, сколько-нибудь трудным предприятием. Если Бакунин рассчитывал легко поднять на восстание массы русского и итальянского крестьянства, то философия «Набата» считала достаточным участие кучки энергичных революционеров. И даже самый трезвый из русских социалистов-эмигрантов той эпохи, П. Л. Лавров, в своем ответе на письмо В. А. Гольцева, более или менее определенно говорил о близости минуты, когда, одновременно в России, Германии, Франции, Англии, Италии и Испании, вспыхнет великая и окончательная социальная революция!

«История учит тому, что она ничему не учит...» Если б это было иначе, то через два тысячелетия после Платона Шарль Фурье не обращался бы к Бонапарту на страницах своей «Теории четырех движений и общих судеб» с предложением воздвигнуть из развалин варварского строя «всеобщую гармонию коммунистического фаланстера». Если б это было иначе, то через три века после Кампанеллы г. Ленин не выступал бы с проповедью социального переворота по старому рецепту доминиканского монаха...

Но социализм прошлых веков был делом веры. Нынешний социализм покоится на фундаменте научного знания.

Да... Впрочем, Кампанелла также основывал свои проекты на твердых данных науки. Именно на показаниях астрологии, которой со страстью предавался автор «Государства Солнца».

Вера есть вера даже тогда, когда она называет себя наукой.

Карл Маркс, творец научного социализма, всю жизнь был убежден в крайней близости коммунистического строя и ровно семьдесят лет тому назад писал: «Буржуазная революция может быть только непосредственной прелюдией революции пролетарской».

В 1849 г. Маркс доказывал Лассалю, что пролетарская революция во Франции вспыхнет не позднее следующего года.

В 1850 г. он выступил с идеей перманентной революции, продолжающейся до тех пор, пока «государственная власть не будет завоевана пролетариатом и производительные силы, по крайней мере главные, не сосредоточатся в руках пролетариев».

В 1862 г. Маркс писал Кугельману: «Мы, очевидно, идем навстречу революции, в чем я, начиная с 1850 г., никогда не сомневался».

Наконец, в 1872 г. он утверждал в письме к Зорге, что «пожар разгорается во всех углах Европы».

Впрочем, у великого утописта научного социализма бывали и периоды сомнения. В каком русском лагере находился бы ныне Карл Маркс, сказать очень трудно.

Фридрих Энгельс тридцать лет тому назад высказывал взгляд, что «царское правительство этот год уж не протянет, а когда уж в России начнется — тогда ура!». Впоследствии Энгельс, как известно, приурочивал социалистический переворот к 1898 г.

Равным образом Август Бебель не раз высказывал надежду дожить до будущего строя — и был наказан судьбой, пославшей ему исключительно долгую жизнь.

Наконец, по мнению Жореса, который, впрочем, не принадлежал к числу чистых марксистов, социальная революция должна была произойти между 1907 и 1917 годами.

Марксисты знают, что время неизменно работает для них и не может работать против них. Совершенно так же знали это социалисты первых времен христианства... Прежняя синдикалистская вера Жоржа Сореля в непогрешимость всеобщей забастовки стоит его нынешней католической веры в непогрешимость папской энциклики.

Исторический прогноз (не отдельный и случайный) невозможен. Здесь вечное — *ignorabimus*¹.

День 1 Мая, день «международной солидарности трудящихся», день очередного воззвания к немецкому пролетариату... С давних пор революционеры Германии поступали вопреки завету Маркса: в парламенте грозили уличными баррикадами, а на улице вели себя парламентарно.

Если бы в день объявления войны правительством Вильгельма II вожди немецкой социал-демократии провозгласили вооруженное восстание, их бы прокляли одни, благословили другие (первым делом их бы, разумеется, повесили, — это само собой)... Не отказ от восстания. не голосование 4 августа будет вменено им в вину, — им, поправшим права рассудка вместе с «правом бунта», им, принявшим не только всю кровь войны, но и всю ложь ее идеологии.

Кольб и Гейне поют гимны императору, Грюнвальд и Гейниш в умилении от Гинденбурга. Ersatz-социализм торжествует по всей линии. Коммунистический Манифест по-

¹ Мы этого никогда не узнаем (лат.)

ложен на мелодию Deutschland, Deutschland. Благодаря русской измене, смерть, быть может, смотрит в глаза противникам центральных империй. Но свой долг родине, с ростовщичьими процентами, партия Шейдемана продолжает исправно вносить на текущий счет кайзера.

Бисмарк аннексировал Эльзас-Лотарингию, Бебель протестовал против этой аннексии. Кто же был прав, — германский ли канцлер, единодушно признанный величайшим политическим деятелем эпохи, или тридцатилетний ремесленник, токарь Бебель? В 1871 г. правым был признан Бисмарк, в 1971 г. правым будет, вероятно, Бебель. Кто прав в настоящее время, это мы скоро узнаем. Но германские социал-демократы, по-видимому, склонны считать правым Бисмарка. По крайней мере они единодушно отвергли мысль о возвращении Франции аннексированных провинций.

Бебель протестовал против аннексии Эльзаса и Лотарингии, Шейдеман доказывает незыблемость германского права на эти земли. Как же было правительству Вильгельма II не аннексировать в Бресте новых территорий, когда на смену бебелевского veto¹ менее чем через полстолетия приходит шейдемановское «*быть по сему*»?

Зато Ersatz-социалисты «направляют внутреннюю политику Германии». К ним «внимательно прислушивается» сам канцлер. Так в популярной у немцев детской книжке заботливый отец оказывал внимание непослушному сыну, — кстати, и тезке Шейдемана: отцу важно, «*ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will...*»².

Логически всегда будет трудно объяснить, почему гильотинировали Тропмана, если Вильгельм II умрет спокойно на своей постели. Но исторически, в данной среде, в данное время, в этой феодальной *magnum latrocinium* это, по-видимому, уместно и даже необходимо. К казарменному социализму казарменная монархия составляет совершенно естественный коррелят.

В своих «*Reflexions on the Revolution in France*»³ Эдмунд Бёрк доказывал, что революция погубила Францию своим неуважением к историческим традициям страны: «Вы начали плохо, так как начали с презрения ко всему, что у вас было. Вы затеяли торговлю без основного капитала. Если послед-

¹ Запрещаю (лат.).

² Захочет ли сегодня Филипп тихо сидеть за столом... (нем.)

³ «Размышления о революции во Франции» (англ.).

ние поколения в вашей стране представлялись вам лишенными блеска, вы могли пройти мимо них, обратившись к более отдаленной линии предков. Вы не должны были рассматривать французов как народ, существующий со вчерашнего дня (*as a people of yesterday*), как нацию, состоявшую из низкорожденных тварей до освободительного 1789 года».

Вероятно, будущий Бёрк русской революции (который не заставит себя ждать) скажет о ней то же самое. Она не связала себя с историческими традициями России. Где было их взять? У «более отдаленной линии предков»? Не только Андрей Курбский, Д. М. Голицын или Сперанский, но и Пестель, как политический деятель, «неприложим» к русской революции. Наша коммунистическая республика только полустолетием отдалена от крепостного права. У Ленина есть современники, отцы которых лично знали Аракчеева.

В идейном отношении наши 1917—1918 годы еще свободнее от традиций, чем французское четырехлетие 1789—1793-го. Вольтер и даже Руссо («безумный Сократ Национального Собрания», как называет последнего Бёрк) были, по крайней мере, классические писатели Франции. Что общего с Россией имеют Маркс или Бланки? Правда, Разин и Пугачев — чисто русские люди.

Может быть, Бёрк и прав. Но у революций есть своя историческая традиция. Она заключается в том, чтобы не считаться с историческими традициями.

*Destruam et aedificabo*¹. Это звучит гордо. Где уж там — *aedificabo*? В лучшем случае — *aedificabitur*². А если угодно, то даже и не *destruam*: по нынешним временам кто в поле воин?

*L'ai vu partout le mal où le mieux pouvait être,
Et je l'ai blasphémé, ne pouvant le connaître;
Et ma voix, se brisant contre ce ciel d'airain,
N'a pas même eu l'honneur d'irriter le destin*³.

Концерт-митинг летом 1917 года. Три речи о том, что теперь не время для речей; Россия гибнет... В промежутках с той же эстрады тенора пели цыганские романсы и бале-

¹ Разрушу и воздвигну (лат.).

² Воздвигну (лат.).

³ Я видел зло повсюду, где могло быть добро,
И я богохульствовал, не желая в том признаться;
И мой голос, дробившийся о твердь небесную,
Не был тот же самый, что имеет честь раздражать завтра (фр.)

рины танцевали экзотические танцы... Публика цветущего призывного возраста (единственный популярный институт старого строя — белый билет) шумно аплодировала и ораторам, и тенорам.

«В наше время говорили гораздо меньше», — сказал с недоумением один из замечательнейших русских людей Г. А. Лопатин.

Историк, вероятно, не без любопытства остановится на понятии политической ориентации. Положительно, война открывает новые горизонты даже перед людьми, выдавшими, как им казалось, всякие виды. Много, например, мы знали храбрых генералов, увенчанных по заслугам всевозможными знаками отличий. Но такого заслуженного воина, как белогвардейский (прежде просто гвардейский) генерал Маннергейм, *который за одну войну получил и орден Св. Георгия и орден Железного Креста*, мы все же видим впервые, — если не восходить к преданиям наемных войск 17-го столетия. Наметилось и намечается еще много других вариаций на тему «*Quantum mutatus ab illo Hectore...*»¹. И если бы все это были Гекторы... Теперь подобные вариации называются «переменой ориентации ввиду изменившейся конъюнктуры». Прежде это называлось иначе. В частности, в последние четыре года много людей было повешено на фронтах, да и в тылу, за гораздо меньшую амплитуду в колебаниях политической ориентации, притом независимо от какой бы то ни было конъюнктуры.

Ориентация у нас в настоящее время может быть только одна, — довольно старая: «Еже какова скорбная не сотворится нам, то вся сия Герман ради случися».

Кроме того, еще Вовенарг сказал: «*Le trafic de l'honneur n'enrichit pas*»².

Но, может быть, он и преувеличивал.

«Капиталистическое общество было беременно социализмом. Война ускорила роды» — такова точка зрения большевиков.

Что-то в этом роде предсказано в «Апокалипсисе». О нынешних событиях все труднее мыслить иначе, как образами Апокалипсиса.

¹ Как он изменился по сравнению с прежним Гектором . (лат.)

² «Торговля честью не обогащает» (фр.).

«И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения.

И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами...

Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца».

Дальше в «Апокалипсисе» не поймешь; жена родила, «и восхищено было дитя ее к Богу».

Землю оно, значит, покинуло. Дракон так или иначе погубил и мать, и ребенка.

Не осталось ничего...

Mephistopheles. Die Uhr steht still.

Chor. Steht still. Sie schweigt wie Mitternacht

Der Zeiger fällt.

Mephistopheles. Er fällt, es ist vollbracht.

Chor. Es ist vorbei.

Mephistopheles. Vorbei! Ein dummes Wort.

Warum vorbei?

Vorbei und reines nichts, vollkommnes Einerlei¹...

Труды, мечты десятка поколений надолго прошли vorbei².

— Warum vorbei³?

— Ich liebte mir dafür das Ewig-Leer⁴, — говорит далее Мефистофель.

«Народные комиссары», «революционный трибунал», «декларация прав трудящихся»... Почти все революции 19-го и 20-го столетий имитировали образцы 1789-1799 годов, и ни один из мексиканских переворотов, происходящих регулярно два раза в год на улицах Вера-Круца, не обошелся без своего Робеспьера и без своего Бабефа. Любопытно, что образцы, в свою очередь, не

¹ Мефистофель. Часы стоят.

Хор. Стоят. Молчат, как ночь. Упала стрелка

Мефистофель. Упала стрелка, все свершилось.

Хор. Конец.

Мефистофель. Конец! Глупое слово.

Почему конец?

Конец и чистое ничто, абсолютное единообразие... (нем.)

² Мимо (здесь: конец) (нем.).

³ Почему конец? (нем.).

⁴ Я полюбил взамен Вечно Пустое (нем.)

блистали особой оригинальностью, и тот же Бабеф, которому судьба послала прозаическое имя Франсуа-Ноэля, окрестил себя сперва Камиллом, а затем Гракхом. Тогда был в моде древний Рим.

Правда, герои Великой революции играли премьеру. И, надо сказать, играли ее много лучше. Есть жрецы и жрецы. Есть Прометей и есть Калхас... Если б Робеспьер удрал в Швейцарию после 9 термидора, на свете было бы меньше одной героической легендой. И потому нельзя сказать с уверенностью, что в кофейнях женевского *Carouge* туристам 21-го столетия будут показывать столик комиссара Троцкого, как в парижском *Cafe Procope* гордятся столом Робеспьера. Но так грандиозен фон, на котором действуют русские пигмеи, и так велика власть исторической перспективы, что, быть может, и вокруг народных комиссаров создастся героическая легенда. История терпела не такие надругательства над справедливостью и здравым смыслом.

Doch werden sich Poete finden
Der Nachwelt deinen Ruhm zu künden,
Durch Thorheit Thorheit zu entzündend¹.

Россия будет, вероятно, принадлежать людям, которые сумеют дать крестьянину то, что ему нужно. Крестьянству же нужны три вещи: мир, земля и порядок. Он их и получит именно в этой последовательности. Вопрос, от кого.

А народовластие? Бернард Шоу уверяет, что оно создано не для блага народа, а для его развлечения. Так думал и Наполеон. Если даже они не правы (а они, конечно, не правы), то дело от этого не меняется. Люди дорожат такой забавой не меньше, чем хлебом...

Говорят, демократия обанкротилась. Кто же не «обанкротился» в это ужасное четырехлетие? Старый мир даже не скомпрометирован войною, а прямо уничтожен. Поскольку речь идет о критике существующего строя, Ленин — отсталый человек, а Себастьян Фор — умеренный консерватор.

Пусть корона не к лицу народу, — в чью пользу откажется он от нее? По Гизо, в пользу банкиров, которые всегда носили ее очень скверно? Или, по Ренану, в пользу философов, которые, вероятно, носили бы еще хуже? Де-

¹ Но найдутся поэты,
Которые сообщат потомкам о твоей славе
Разжигать глупость глупостью (нем.).

мократия все же лучший выход, придуманный человеческой мыслью за три тысячи лет истории.

В этом ее скромное оправдание. Не нужно ни поминок, ни апофеоза.

Демократической идее, однако, придется пережить тяжелое время: она, по-видимому, пришла в некоторое противоречие сама с собой. Опыт показал, что ничто так не чуждо массам, как уважение к чужому праву, к чужой мысли, к чужой свободе. Иллюзий у нас больше нет. Мы массами руководить не можем. Но если массы будут руководить нами? Если державная воля народа потребует у нас отречения от азбучных начал либерализма?

Интеллигенция воссоздавала народ из глубин собственного духа, — вроде как Врубель писал Гамлета с самого себя. Мы сеяли «разумное, доброе, вечное» или, по крайней мере, думали, что сеем. Но толпа сказала нам не «спасибо сердечное», а нечто совершенно другое...

Уйти от народа все же некуда: в XX веке нет ни аскетических схимников, ни комфортабельных келий. Жить с массами «в долине» нам так или иначе придется: на Монблане «гордого одиночества» коротать дни неудобно, да и скучно. Я вспоминаю уныло: «Kehre, mein Freund, in deine Einsamkeit»¹. В какой партии состоят ныне русские Штокманы? На каких популярных курсах ведут агитацию Заратустры? Глубокоочтимый А.В.Луначарский состязается ныне с лучшими клоунами цирка «Модерн», читая социал-дезертирам лекции — правда, о Боге, но, вероятно, «в связи с текущим моментом».

Барбэ д'Орвильи, обожавший всевозможные ходули, был католик «*par mépris de cette triste époque, pour un balcon d'où cracher sur ce peuple*»². Возможно, что в недалеком будущем появятся социалисты сходного толка. Покажутся слишком жалкими народные массы в своем невежестве, в своей тупости, в своем бессердечии; «любовь к дальнему» будет искать сил в чувстве жалости и презрения к «ближнему». Будут приходить к социализму, как Толстой к христианству — «от противного». Будут исходить из того, что все другое еще хуже.

Впрочем, так ли это окажется ново? Далеко не всегда в основе коммунистических настроений лежала действенная любовь к народу.

¹ «Уйди, друг мой, в свое одиночество» (нем.).

² Из презрения к этой печальной эпохе, для того, чтоб иметь балкон, откуда можно было бы плевать на этот народ (фр.).

Беру те же примеры.

Аристократ по рождению, свидетель суда над Сократом и его смерти, Платон ненавидел народ, и немногие из остроумцев нынешней буржуазии отпускали по адресу «товарищей» больше язвительного негодования, чем можно найти на этот счет в творениях эллинского мудреца.

Недалеко ушел от него и Кампанелла: в томительные часы тюремной жизни монах-революционер излил свое презрение к массе в стихах, где народ называется диким, неразумным зверем, не ведающим добра и зла.

Что касается Мура, то он, вообще говоря, был много благожелательнее к людям. Но, по свидетельству истории, благочестивый канцлер короля Генриха VIII любил только католиков; протестантов же терпеть не мог — и много еретиков всходило на костер, в канцлерство автора «Утопии», за непризнание католических догматов — до тех пор, пока, под влиянием двойной убедительности монастырского золота и красоты Анны Болейн, Генрих VIII не уверовал в учение Лютера, после чего еретики стали восходить на костер за признание католических догматов.

Примеры, более близкие к нам по времени, часто говорят о том же. Образцом любви к людям не является и наш современный Кампанелла, генерал Дитятин русской революции, так хорошо сочетающий пугачевский марксизм с самодурством симбирского помещика и русское примитивное лукавство с фанатизмом протопопа Аввакума.

Но после того, как идеи коллективизма получают действительное осуществление?.. Так незначительными покажутся к тому времени нынешние обещания даже в области благ материальных. Тот же Кампанелла, перечисляя великие преимущества коммунистического строя солариев, с восторгом описывал, между прочим, как счастливые граждане «Государства Солнца» стирают свое белье не менее одного раза в месяц. Это ему, по тем временам, представлялось идеалом гигиены и чистоты.

О ценностях нематериальных трудно и говорить. Кто предскажет, какую психологическую реакцию вызовет против себя осуществленный коллективизм? Мы видели, что пришло на смену философии и практики XVIII века. В область какой антисоциалистической романтики потянут фантазию пресыщенного человечества Шатобрианы XXI столетия? И где же будет конец, окончательный конец, этой фантастической *course des abimes*? Или весь смысл в том, что такого конца быть не может?

Что говорили мудрейшие из мудрых:

«Ces grands cops sont trop malaises á releker étant abattus ou même á retenir étant ébranlés, et leur chutes ne peuvent être que très rudes...» (Descartes)¹.

«Denn die grosse, schwere Masse sich in rascher Bewegung vorzustellen, ist ein schrecklicher Yedanke...» Шопенгауэр².

Люди меняются. Но меняются ли народы? Стендаль называл немцев «les bons et simples descendants des anciens Germains»³.

В их философии он видел «une espèce de folie, douce aimable, et surtout sans fiel»⁴. А Стендаль был один из самых тонких наблюдателей, каких мы знаем.

Идея войны на истощение не так нова. Ее высказывал еще Фридрих II: «Ce ne sera pas l'esprit d'humanité qui nous la fera faire, cette paix, á tous tout que nous sommes, Impériaux, Russes, Français: se sera le manque d'argent; on s'égorgera jusqu'á l'extinction de ce vil métal»⁵.

Вольтер писал на склоне своих дней Даламберу: «Chacun a pris son parti tout doucement, et je crois qu'on restera lá. Les charlatans en tout genre débiteront toujours leur orviétan; les sages en petit nombre s'en moqueront. Les fripons adroits feront leur fortune. On brûlera de temps en temps quelque apôtre indiscret. Le monde ira toujours comme il est toujours allé; mais conservez-moi votre amitié, mon très cher philosophe»⁶.

¹ «Слишком трудно поднять великие эти тела, если он повержены, и даже их поддержать, если они поколеблены. А падение их может быть только очень тяжким» (фр.).

² «Представить себе большую, тяжелую массу в быстром движении, это страшная мысль» (нем.).

³ «Добрые и простые потомки древних германцев» (фр.).

⁴ «Род безумия, кроткого, любезного и, в особенности, чуждого желчи» (фр.).

⁵ «Не дух человечности заставит всех нас заключить мир, а недостаток денег; мы будем резать друг друга вплоть до истощения запасов презренного металла». (Цит. не по первоисточнику.)

⁶ «Каждый принял решение, и думаю, что при этом мы и останемся. Всякого рода шарлатаны будут неизменно нести чепуху, умные люди, которых немного, — над этим насмехаться, ловкие мошенники — устраивать свои делишки. Время от времени сожгут какого-либо нескромного апостола. Мир будет всегда идти так, как он всегда шел. Но, пожалуйста, сохраните ко мне свою дружбу, мой дорогой философ» (фр.).

XVIII век отличался в высшей степени своеобразной психологией. С такими взглядами Фридрих постоянно воевал «за принципы», а Вольтер всю жизнь был просветителем.

Задолго до войны и революции великий наш мудрец утверждал, что русский народ глубоко равнодушен к братьям славянам и к Константинополю. Национальный порыв 1914 года казался опровержением этих слов. И только скептики тогда себя спрашивали: так ли уж достоверно, что Л.Н. Толстой совершенно не знал заветных «чаяний» русского народа, а Николай II и г. Горемыкин, напротив, превосходно их знают... Тот же бесконечно умный Толстой писал, что русский народ совершенно равнодушен к царю. Эти пророческие слова в свое время казались еще более далекими от жизни. Теперь нам временно приходится вспомнить третье утверждение Толстого: он говорил, что патриотизм есть чувство, совершенно незнакомое подавляющему большинству русского народа... Этот человек был точно лишен способности ошибаться, когда говорил о том, что есть (а не о том, что быть должно).

«Царь Иван Васильевич кликал клич: кто мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку при них? По трое суток кликал он клич, — никто не являлся. Приходит Борма-ярыжка и берется исполнить царское желание. После тридцатилетних скитаний он, наконец, возвращается к московскому государю, приносит ему Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку и в награду просит у царя Ивана только одного: «Дозволь мне три года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках».

Вл. Серг. Соловьев, который передает эту легенду, видит в ней «не лишенное знаменательности заключение для обратного процесса народного сознания в сторону диких языческих идеалов». Такой вывод хорошо укладывался в общую философско-историческую концепцию Вл. Соловьева; но тем не менее (или, вернее, поэтому) он совершенно произволен. Какие уж тут «идеалы»? Тут водка, а не идеалы. А если «идеалы», то почему «языческие»? Римский Сенат, бесспорно языческий и по-язычески встретивший известие о битве при Каннах, ничего ни в каком отношении не теряет в сравнении с русским и самобытным Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, который так дружно аплодировал сообщению о Брестском договоре. Не теряет и

с точки зрения мысли, заложенной в легенду о Борме-ярыжке.

Что касается самой легенды, то она не только «не лишена знаменательности», как говорит Соловьев, но исполнена грозного смысла, раскрывшегося во всей полноте лишь в настоящие дни.

Тот же Иван Грозный оставил нам — по словам того же Вл. Соловьева — «самую верную и самую полную формулу христианской монархической идеи»: «Земля правится Божиим милосердием и пречистые Богородицы милостию и всех святых молитвами и родителей наших благословением и последи нами, государями своими, а не судьями и воеводами, и еже ипаты и стратиги». «Эта формула, — говорит Вл. Соловьев, — безукоризненна; нельзя лучше выразить христианский взгляд на земное черство. Но если это совершенное слово сопоставить с историческим образом того, кто его произнес, то какой новый потрясающий, трагический смысл оно получает. Поистине русская история по глубокому внутреннему интересу не уступит никакой другой».

В интересе, представляемом русской историей, конечно, сомневаться не приходится — особенно в наши дни. Может быть, интерес этот и не только «внутренний»; он прежде всего, если можно так выразиться, дидактический. По-видимому, России суждено служить школой наглядного обучения для Европы. Сколько лет мы являли миру воспитательное зрелище своеобразного осуществления «христианской монархической идеи». Теперь на нас европейцы могут учиться, как не надо делать революцию. Научатся ли однако?..

Но формула Иван Грозного интересна и без сопоставления, которое пришло на ум В. С. Соловьеву; интересна хотя бы в силу значительности поставленного в ней вопроса.

Кем же, в самом деле, правится русская земля? В первую очередь «Божиим милосердием», отвечает благочестивый царь. Это бесспорно — и глубоко прав был Тютчев, утверждая: «*Les fonctions du Русский Бог ne sont pas une sinécure*»¹. «А последи нами, государями своими, а не судьями и воеводами, и еже ипаты и стратиги». Это не так бесспорно; результаты правления государей общеизвестны. Что до политических воевод, то и они в большинстве оказались отнюдь не на высоте положения; в этом Иван Васильевич был, к сожалению, прав. В результате владыкой оказался Борма-ярыжка, который, осуществляя давнишнюю мечту, немедленно отправился в кабак, бросив на про-

¹ Функция Русского Бога не синекура (фр.).

извол судеб и корону, и скипетр, и рук державу, и книжку. В особенности книжку.

Все это предсказано в философских драмах Ренана. Пьяный Калибан овладел властью и стал делать то, что полагается делать Калибану. Где же мудрый Просперо? Мы видели в нашей революции много Просперо разных степеней мудрости. Некоторые из них честно боролись с грубыми инстинктами Калибана, кое-кто, как ренановский прообраз, попал в заключение, иные погибли...

Однако крайности сходятся. Некоторые из мудрейших Просперо своим благоприобретенным нигилизмом превзошли природного нигилиста Калибана. По-видимому, политический нигилизм проявляется либо на крайних низах культуры, либо на ее недостижимых вершинах.

Мужик, отвечающий «мы вятские» на довод о потере Западной России, политический нигилист. Л.Н.Толстой, говоривший в сущности то же самое, такой же нигилист. Если в роли толстовского Иванушки-простака, который звал солдат тараканского царя: «Да вы, сердешные, совсем к нам жить приходите», — оказался в Бресте г. Троцкий, то это только случайная подробность...

«— А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?

— Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского Первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединили к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

Так говорил Марье Кондратьевне первый русский пораженец или, вернее, первый теоретик русского пораженчества, Смердяков.

Но совершенно то же самое утверждал в 1813 г. Артур Шопенгауэр. В разгар немецких *Freiheitskämpfe*¹, он открыто высказывал предпочтение власти умного Наполеона перед властью глупых монархов Германии и этим доводил до белого каления немецких патриотов *Tugendbund*'а².

Оба — нигилисты. Крайности сходятся.

Не случайно Л. Н. Толстой так любил от всего общепринятого свободный русский народ. И не случайно Шопенгауэр терпеть не мог своих соплеменников, твердо

¹ Освободительная война (нем.).

² Союз добродетелей (нем.).

верующих в честный банк, в философию Фихте, в лютеранскую добродетель и в монархию Гогенцоллернов...

Недавнее русское пораженчество было, разумеется, весьма далеко от шопенгауэровских построений мира. Зато оно много почерпало в умствованиях Смердякова.

«Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна».

Любопытно, что единомышленником Ивана Грозного по вопросу о правлении русской землей оказался П.Я. Чаадаев: «*Façonnés, moulés, créés par nos souverains et par notre climat, ce n'est qu'à force de soumission que nous sommes devenus un grand peuple*»¹. Этому факту автор «Апологии сумасшедшего» давал следующее объяснение: «*Il faut bien le dire, c'est que nous n'avons guère encore que des instincts patriotiques, c'est que nous sommes fort loin encore du patriotisme réfléchi des vieilles nations*»².

Я не касаюсь вопроса о том, что мог, вообще говоря, разуместь под сознательным патриотизмом универсально-католически настроенный Чаадаев, черпавший мудрость жизни из ключей Шеллинга и отцов церкви. Думаю, кроме того, что в области практики «*les instincts patriotiques*» вряд ли не важнее, нежели «*le patriotisme réfléchi*». Но во всяком случае и «патриотические инстинкты»-то Чаадаев приписывал России, по-видимому, чересчур уверенно.

Но если диагноз Чаадаева весьма спорен, то его прогноз поистине принадлежит к самым замечательным страницам этого трудного и рискованного жанра мысли: «*Nous sommes du nombre de ces nations qui ne semblent pas faire partie intégrante du genre humain, mais qui n'existent que pour donner quelque grande leçon au monde. L'enseignement que nous sommes destinés à donner ne sera pas perdu assurément; mais qui sait le jour où nous retrouverons au milieu de l'humanité, et que de misères nous éprouverons avant que nos destinées s'accomplissent?*»³

¹ «Отделанные, отлитые, созданные нашими властителями и нашим климатом, только в силу покорности стали мы великим народом». (фр.).

² «Надо сознаться, причина в том, что мы имеем пока только патриотические инстинкты. Мы еще очень далеки от сознательного патриотизма старых наций». (фр.).

³ «Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-то важный урок. Наставление, которое мы призваны преподавать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем свершатся наши судьбы?» (фр.).

Странная судьба необыкновенной мысли Чаадаева: понять ее можно было только через столетие.

Рядом с этой замечательной страницей можно поставить знаменитый отрывок из «Капитанской дочки»:

«Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим и своя шейка копейка, и чужая головушка полушка».

Революционеры времен Пушкина, за редкими исключениями, его совершенно не понимали. Достаточно вспомнить, с какой ненавистью и презрением отзывается о нем в своих мемуарах декабрист Горбачевский. Пушкин, напротив, понимал и ценил декабристов. Но сколько бы объективной правды ни было в его оценке «бунта», правы были все же декабристы — и объективно, и субъективно.

*Замышлять бессмысленное*¹ нельзя. Революция, которую замышляют, невозможна. К тем, кто хочет подчинить ее логическому руководству, она *беспощадна*. *Переворот* должен обратиться в *бунт*. Мысль Пушкина в своей сжатости гениальна.

Однако в числе деятелей русского революционного движения были люди и не молодые, и не жестокосердные; были даже (хоть в очень небольшом числе) люди, знающие наш народ. Но другого пути перед ними не было. Они шли за колесницей Джагернатха или бросались под ее колеса.

Тургенев писал Герцену:

«Враг мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом и в нем ты видишь великую благодать, и новизну, и оригинальность будущих общественных форм, *das Absolute...* Бог ваш любит до обожания то, что вы ненавидите, и ненавидит то, что вы любите, Бог принимает именно то, что вы за него отвергаете...» «Из всех европейских народов именно русский меньше всех других нуждается в свободе. Русский человек, самому себе предоставленный, неминуемо вырастает в старообрядца: вот куда его гнет и прет, а вы сами лично достаточно обожглись на этом вопросе, чтобы не

¹ Т. е., вернее, лежащее вне области «смысла».

знать, какая там глушь, и темь, и тирания. Что же делать? Я отвечаю, как Скриб: «Prenez mon ours» — «возьмите науку».

Тургенев, вообще говоря, мало предсказывал и неохотно проповедовал, но почти всегда хорошо, потому что и предсказывал, и проповедовал он самые элементарные вещи, вроде ученье — свет, а неученье — тьма. Может быть, именно поэтому он у нас в России почитался оригиналом и европейцем. Однако в данном случае плохо помогло ему знание народа, которым он бесспорно превосходил Герцена. Надо было ответить и на вопрос, во что вырастет русский человек, «предоставленный» не самому себе, а опекунам, еще менее «нуждающимся в свободе» и столь же мало заботящимся о «науке». На этот вопрос взялась ответить жизнь.

Вдохновитель двух поколений русских патриотических публицистов К. Н. Леонтьев писал: «В 1871 г., пока шли переговоры о мире между Бисмарком и Тьером, я боялся до крайности, чтобы французы не сохранили бы как-нибудь целостность своей территории. Но мечта сбылась, и я перекрестился».

Положительно, никакая дружба между государствами Европы не продержалась бы дня, если б мы время от времени перечитывали старые передовые статьи руководящих политических публицистов. К счастью, мы этого никогда не делаем.

Тот же Леонтьев, в свое время кое-кем произведенный чуть ли не в пророки, предсказывал, что в случае европейской войны за побитые горшки заплатят, в качестве слабейших членов обеих коалиций, Австрия и Франция. Интересное совпадение: то же самое, почти в то же время, почти в тех же выражениях, предсказывал на другом полюсе политической мысли Фр. Энгельс. Этот последний писал Зорге: «Если бы дошло до войны, то можно с полной уверенностью сказать, что после нескольких битв Россия сойдется с Пруссией насчет Австрии и Франции, — каждая пожертвует союзником».

К. Н. Леонтьев с будущей европейской войной связывал так много радостных надежд, что нимало не огорчился неудачным для России исходом Берлинского конгресса: «Тогда (в 1871 г.), — писал он, — мы вошли бы в Царьград этот во французском кепи с общеевропейской эгалитарностью в сердце и уме; а теперь мы вступим в него именно в

той шапке-мурмолке, над которой так глупо смеялись наши западники; в сердце же и уме с кровавой памятью об ужасном дне 1 марта».

Во всем этом вздоре о грядущей шапке-мурмолке и о французском кепи на голове Николая Николаевича Старшего любопытно лишь то, что он не только принимался всерьез, но, вдохновляя русских государственных людей, имел практические последствия в истории.

Тютчев тоже «предсказывал» (в апреле 1848 г.): «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы — Революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой! От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества».

К этому «предсказанию» г. Иванов-Разумник, находящийся ныне, к сожалению, в лагере скифов, добавляет следующее послесловие:

«Да, подлинно величайшая здесь историческая углубленность, и ни слова не можем мы выбросить из вдохновенного прозрения Тютчева! *Одно только*: за три четверти века, прошедшие с тех пор до сегодняшнего дня, Россия и Европа поменялись местами. Тогда — Россия стояла на страже старого мира против всей революционной Европы, теперь — старая Европа стоит на той же страже против революционной России».

Это «одно только» несколько неожиданно. Поэт предсказал «одно только», — в действительности случилось нечто прямо противоположное. Но комментатор все же видит здесь величайшую углубленность и вдохновенное прозрение. Поистине поэты без риска могут предсказывать что угодно.

«Мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии и от спокойствия своих пролетариев, покупаемого уже последними усилиями тамошних правительств и всего лишь на час».

Кто это говорит? Ленин? Троцкий? Нет, так писал в апреле 1877 г. Ф. М. Достоевский («Дневник писателя»).

Казалось бы, *quod licet Jovi, non licet bovi*¹.

Книга, откуда взята эта цитата, вся состоит из политических предсказаний, из которых не сбылось *ни одно*. Война России с Великобританией; дружба России с Германией; торжество католической идеи во Франции; «Константинополь во что бы то ни стало будет русским»; «дети наши увидят, чем кончит Англия», — вот политические пророчества Достоевского.

Биржи ли европейской буржуазии, или спокойствие европейских пролетариев, или, может, что другое, — однако Европа *еще* держится. И не только первосортная Европа, то есть Англия, Франция, Германия, но и «лоскутная Австрия», и «шарманочная Италия», и «акционерная Бельгия», все *еще* держатся, тогда как великая Россия уже полгода во власти «Бесов»...

В минуты мрачного вдохновенья зародилась эта книга в злобном уме Достоевского.

Этот человек, не имевший ни малейшего представления о политике, был в своей области, в области «достоевщины», подлинный русский пророк, провидец безмерной глубины и силы необычайной. Октябрьская революция без него непонятна; но без проекции на нынешние события непонятен до конца и он, черный бриллиант русской литературы.

Схема русского революционного движения, взятого в многолетней перспективе, поражает быстрым падением вдохновения... Точно опера «Паяцы»... Прекрасен драматический пролог. Есть сильные места в первом действии. Вульгарно и ничтожно второе. Коломбина зарезана. Негодяй Тонио торжествует. Скоро послышится: *la comedia finita*...

Достоевский лучше всего предвидел второе действие. Деятелей пролога он ненавидел, его идей не понимал; об этом свидетельствует самый эпиграф «Бесов»: много, очень много свиней пришлось бы утопить в озере для того, чтобы очистить русскую землю от грехов, — в первую очередь от преступлений самодержавия. С другой стороны, какие же грехи искуплены смертью Лизогуба, Кибальчича или Софьи Перовской?

Первое действие, более или менее свободное от подлинной достоевщины, не отпиралось и мистическим ключом. Где в нем Ставрогины, Шатовы, где сказка о царевице Иване, где полуземная мистика Кириллова? До-

¹ Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.).

стоевский отдал поклон катафалку, на котором не было покойника...

Царь отстаивал самодержавие, солдаты стремились к заключению мира, крестьяне хотели получить землю, помещики не желали ее отдавать, рабочие требовали огромной платы, капиталисты отказывались платить, — какой уж тут мистицизм?

Верно был намечен культ пустословия, творчески предвосхищенный в гениальной карикатуре вечеринки у акушерки Виргинской.

Были, однако, в первом акте и моменты торжества духа над телом; в частности, и над языком.

Зато второе действие — апофеоз пророческого дара Достоевского. Верховенский и Шигалев, Свидригайлов и Карамазов, Смердяков и Федька-каторжник овладевали русской землей. Движущие силы октябрьского переворота слагались из животных инстинктов и из самой черной достоевщины.

Была также, вероятно, крошечная примесь идеализма.

Впрочем, и Свидригайлов «ужасно любил» Шиллера...

В удивительных сценах суда из «Братьев Карамазовых», в этой злой насмешке над правосудием, где обвинитель и защитник обмениваются длиннейшими, тонкими, в высшей степени убедительными речами, не заключающими в себе ни слова правды о деле убийства, прокурор Ипполит Кириллович заканчивает свое выступление так: «Роковая тройка наша несется стремглав и, может, к гибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а, пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться и станут твердою стеной перед стремящимся видением и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации!»

Эта тирада, которую Достоевский, потешаясь, вкладывал в уста разглагольствующего прокурора, по-видимому, заключала в себе не одни только цветы красноречия. В конце концов, не исключена возможность, что «последние усилия европейских правительств» так-таки и не дадут на Западе прорваться тем инстинктам разрушения, которые в течение четырех лет растит мировая война. Но если гипноз

побед или всеобщая бесконечная усталость предотвратят от взрыва новой бури некоторые из великих мировых держав, то осмеянный Достоевским прокурор имеет много шансов оказаться истинным пророком.

«Управлять — это предвидеть». Предвиденья европейских государственных людей в свете нынешних событий комментариев не требуют. Если бы памятники политическим деятелям запрещалось ставить раньше чем через полстолетия после их смерти, можно бы осуществить огромную экономию в мраморе и бронзе.

Впрочем, памятники и вообще являют лучшее доказательство большой снисходительности «потомства»...

В сфере своего специального предвидения недалеко ушли от государственных людей и те тонкие стратеги, которые три года назад клялись всеми святыми, что победят к такому-то числу. Один весьма известный генерал поклялся «честью своего мундира» уничтожить врага к Рождеству 1914 г. Где теперь этот генерал? Где его мундир? Где месть его мундира? Приблизительно с такой же точностью Гоголевский мужик утверждал, что бричка Чичикова доедет до Москвы и не доедет до Казани.

Во Франции в течение первого года войны военным министерством управлял адвокат Мильеран, а морским — сифилидолог Оганьер (зато во главе медицинско-санитарной части и цензурного ведомства были поставлены боевые генералы). Дела от этого шли нисколько не хуже. Теперь, наоборот, морским министерством правит адвокат, а военным — врач (но какой — сам Клемансо). И опять-таки не наблюдается особого недовольства пирожниками, тачающими сапоги. По-видимому, во Франции, как и в других странах, общественное мнение не слишком верит в непогрешимость генералов.

Не будем однако несправедливы и к генералам. Они оказались далеко не самыми худшими пророками на мрачном фоне разбитых надежд и несбывшихся ожиданий цивилизованных людей XIX и XX веков. Не говорю уже о разочаровании идеалистов, которые, как Бокль или Литтре, вообще отрицали возможность европейской войны, исходя из умственного и морального прогресса Европы. Но люди выкладок и цифр ошибались не менее жестоко. Шеффле доказывал на основании точных экономических расчетов, что будущая война не может продолжаться более восьми месяцев. Мольтке, никогда не занимавшийся политической

экономией, считал такую цифру непомерно низкой. Старый фельдмаршал был, по-видимому, убежден, что на что другое, а на войну «он достанет» сколько угодно денег. Он действительно достал.

«В каком году наступит будущее?» — спрашивает ибсеновский звонарь.

Научная теория социальной революции выставляет следующие положения.

Развитие капиталистического строя происходит по определенным законам, в силу которых капитал концентрируется во все меньшем числе рук, а широкие массы населения подвергаются процессу пролетаризации. С другой стороны, производство товаров растет быстрее, чем потребление, и все резче обозначается недостаточность рынка для великих промышленных стран, находящая выражение в империализме. Рано или поздно, но неизбежно должен наступить момент хронического перепроизводства, справиться с которым неустойчивое, неорганизованное капиталистическое хозяйство будет совершенно не в состоянии. Экономическая анархия повлечет за собой социальную революцию. Огромная масса пролетариата, прошедшего на гигантских заводах школу революционной дисциплины, легко справится с противостоящей ей кучкой магнатов капитализма. Произойдет экспроприация экспроприаторов: огромные богатства, накопленные благодаря прогрессу науки и неутомимому труду сотен миллионов людей, будут обобществлены и начнется новая эра в истории человечества.

Творцы научного социализма не описывали, в какие формы непосредственно выльется социальная революция и как быстро она справится с эксплуататорами. Впрочем, Фр. Энгельс еще в 40-х годах XIX века думал, что крушению капиталистического строя будет предшествовать великая война. Сходный взгляд высказывал в свое время и Карл Каутский.

Можно сделать, конечно, предположение, что в июле 1914 г. наступило предсказанное Марксом перепроизводство ценностей, которое повлекло за собой мировую войну и тем самым определило катастрофический момент социальной революции.

Нетрудно, однако, убедиться в том, что за последние четыре года европейской истории «имманентные законы развития капиталистического хозяйства» перестали, очевидно, быть имманентными, и проявились тенденции, действующие как раз в противоположном направлении.

Здесь уместны некоторые историко-статистические сопоставления.

Трехлетняя война 1812—1815 гг. стоила России 155 миллионов рублей. Теперь подобная сумма уходит в три дня. В битве при Колензо, которую один из историков называет величайшим поражением Великобритании в XIX веке, англичане потеряли 1200 человек и 10 пушек. Теперь такая битва, быть может, не была бы упомянута в сообщении генерального штаба. Сто лет назад война еще могла стать выгодным делом для нации, так как она стоила в сто раз дешевле; и теперь иная колониальная экспедиция может до известной степени способствовать росту «национального богатства». Но современная европейская война никоим образом, ни при каких условиях не может обратиться в удачный business и — обстоятельство весьма любопытное — многие из реальных политиков нашего фантастического времени проявляют ныне бескорыстный идеализм — сами того не зная.

В самом деле, какие «рынки», какие «пути», какие «выходы» могут окупить фантастические потери, понесенные всеми воюющими странами во время великой войны, этой чудовищной, бессмысленной, иррациональной исторической катастрофы? С большой вероятностью позволительно предположить, что, когда статистика подведет общий итог стоимости четырех лет войны, впервые с тех пор, как существует мир, в финансовую науку проникнет слово триллион (по немецкой математической терминологии — биллион, то есть 1000 миллиардов). До сих пор триллионы существовали только в астрономии. Министерства финансов воюющих держав обратились в издательские фирмы. В средние века один из королей Англии, для поправления государственных финансов, вынужден был продавать свои поцелуи богатым вдовам. К каким героическим средствам придется прибегать после заключения мира правительством так выгодно и дешево повоевавшей Европы?

Отсюда вытекает вопрос. Если даже предположить, что в июле 1914 г. наступило в Европе общее перепроизводство ценностей, определяющее момент социальной революции, то можно ли без горькой усмешки говорить о перепроизводстве ценностей и о недостаточности рынка теперь, когда в самых богатых из воюющих стран нет предметов первой насущной необходимости?

Следует также принять во внимание, что и другие имманентные процессы развития капиталистического хозяйства подверглись ограничению или даже вовсе сошли на нет в течение последнего четырехлетия. Война вряд ли способ-

ствовала концентрации европейского капитала. Правда, за это время составилось немало крупных состояний. Но в общем в течение войны денежные «богатства» распределились между огромным числом людей: обилие печатных денег у крестьян, не говоря о бесчисленных поставщиках, приемщиках, ходатаях, посредниках, ни для кого не составляет тайны. Материальные же богатства подверглись самому беспощадному уничтожению, и в итоге за счет войны не нажилась даже и буржуазия.

Таким образом, если все чего-то не предвидели, то одного обстоятельства не предвидели и марксисты: из тупика перепроизводства, к которому ведет тенденция развития капиталистического мира, нашелся второй, запасной выход «на случай пожара»: вместо обобществления ценностей произошло их разрушение в невиданном и неслыханном масштабе. Когда настала долгожданная пора экспроприации экспроприаторов, неожиданно, на беду, оказалось, что экспроприировать нечего, хотя «капиталистов» очень много. Миру, основывающемуся на новом принципе, ныне остаются в наследство разоренные страны, лежащие на морском дне корабли, расстрелянные снаряды, сожженный порох, обязательство кормить десятки миллионов инвалидов и сирот, да еще несколько сот миллиардов неоплатного государственного долга.

В частности, у нас в России единственным орудием производства является в настоящее время штык. В сущности, пугачевщина 18-го века открывала перед нами почти такие же возможности социализма, как нынешние апокалипсические времена.

Совершенно очевидно, что после войны социализм должен все больше становиться проблемой развития производительных сил. Но так как *an und für sich*¹ он все же является проблемой перераспределения, то в будущем весьма вероятно, особенно в связи с колониальным вопросом, ряд конфликтов мучительного, быть может, даже трагического свойства. Научной мысли придется много поработать над этими конфликтами, и не надо терять надежды, что она найдет более или менее приемлемое решение.

Утешаться приходится, в частности, тем, что война, повлекшая за собой стихийное разрушение ценностей, вместе с тем необычайно способствовала развитию «энергии». Подумать только, что Келлерман в своем фельетонном «Туннеле» поразил воображение читателей зрелищем концент-

¹ В себе и для себя (нем.).

рированной человеческой воли. Что такое прорывание атлантического туннеля по сравнению с подвигами людей, которые при 30 градусах мороза брали штурмом неприступные высоты, обменивались миллионами снарядов в течение часа, эвакуировали в несколько дней огромные города?

Европейское человечество никогда не «работало» так, как в последние четыре года. При таком же темпе созидющего творчества оно через известный (немалый, конечно) срок времени могло бы стать богаче прежнего. Правда, в ближайшем будущем, как и сейчас, для энергии человечества, вероятно, найдется другое, отнюдь не созидательное, применение. Но должен же рано или поздно истощаться в нас запас воли к трагическому во всех формах проявления последнего; должны же люди истосковаться по «поэзии мирной будничной жизни»; должен же наступить период духовно-нерадостного, но материально-созидающего заштыря, вроде того, какой последовал за бурным двадцатипятилетием 1789—1815 гг.

Так или иначе, к *Zusammenbruchstheorie*¹ опыт заставит внести некоторые поправки. На вопрос ибсеновского звонаря мы еще подождем ответа.

Весьма нелегко определить, по какому логическому принципу делятся стороны в нынешней «классовой борьбе»: большевики сражаются с украинцами, поляки с ударниками, матросы с финнами, чехословаки с красногвардейцами. Очевидно, люди воюют с кем попало — по соображениям географического удобства.

Классовая борьба у нас вдобавок осложняется некоторой застенчивостью. Так, вожди русской буржуазии до сих пор стыдятся своего ремесла. У нас самое что ни есть подлинное купечество почему-то занимается мимикрией под внеклассовую интеллигенцию. С другой стороны, добрая часть русской внеклассовой интеллигенции живет такой же мимикрией под рабочий пролетариат.

«Красный цветок русского зла, который прежде цвел в Царском Селе, теперь цветет в Смольном институте», — говорил один любитель образной речи...

Пышно расцветший большевизм не болезнь, а скорее симптом болезни. Мир болен застарелым невежеством, и

¹ Теория краха (нем.).

Россия, разумеется, всех опаснее. Нам, правда, от такого диагноза не легче. Врачи называют скоротечную чахотку цветущей — *phtysis florida*¹, — и она действительно такова — с точки зрения чахотки. Но позволительно стать и на точку зрения пациента.

Это было в дни побед и торжеств Великой Французской революции, в те дни, когда Париж приковывал к себе напряженное внимание человечества, в те дни, когда старик Кант выходил на Кенигсбергскую дорогу, чтобы скорее встретить почтальона, привозившего последние известия из освобождавшей мир Франции. В эти дни великих надежд Фридрих Шиллер скорбно писал:

«Попытка французского народа восстановить священные права людей и завоевать политическую свободу обнаружили только его бессилие... Момент был чрезвычайно благоприятен, но он встретил развращенное поколение, которое не было его достойно и не сумело ни возвыситься до этого прекрасного случая, ни им воспользоваться...

По своим действиям познается человек и какой же образ являет он нам в зеркале настоящего времени? В низших классах грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все связи социального порядка и с непреодолимой яростью торопятся к животному самодовлетворению... Не свободных людей угнетало государство, оно диких зверей держало в спасительных цепях... С другой стороны, цивилизованные классы являют еще более отталкивающее зрелище умственной нищеты и низменности в характере...

Это ли человечество, права которого отстаивала философия; это ли человечество, которое носит в уме благородный гражданин мира; это ли человечество, в котором новый Солон мог бы осуществить свой план государственного устройства?... Французская революция погибнет так же скоро, как родилась; республиканская конституция рано или поздно выродится в анархию, и единственное спасение нации будет заключаться в том, что неизвестно откуда явится мощный человек, который укротит бурю, восстановит порядок и твердо зажмет в своей руке бразды правления, хотя бы ему пришлось стать абсолютным повелителем не только Франции, но и большей части Европы»².

¹ Чахотка цветущая (лат.).

² Цит. не по первоисточнику: Jaures. La Convention. I, Н. С. 546—547.

Этому блестящему предсказанию одинаково чужды и социология, и политическая экономия. Психологический силлогизм Шиллера приблизительно таков; осуществление идей «Декларации прав человека и гражданина» предполагает высокий моральный уровень людей, призванных осуществлять эти права. Люди конца 18 века, и в частности вершители судеб Франции, весьма далеки от такого уровня. Следовательно, революция обречена на гибель. Любопытно, что почти в то же время точно такой же психологический силлогизм зародился в уме артиллерийского поручика Бонапарта, который, размышляя над правами и пороками французов (подлинные его слова), сделал практические выводы о бренности великой и нераздельной республики, весьма, как известно, пригодившиеся ему в жизни.

В сущности, этот шиллеро-бонапартовский силлогизм теперь вовсе не представляется убедительным. Не так уж ведь далеки были от земли идеи «Декларации прав», с их гениальной подстановкой удобного «равенства всем перед законом» вместо неудобного равенства просто. Осуществили же эту «Декларацию» — по крайней мере отчасти — праведники XIX века. Как мало, в сущности, было нужно для осуществления «прав человека» и как много пролито было по этому случаю крови, не говоря о чернилах...

Буржуазия конца 18-го века в культурном отношении стояла выше дворянства; однако, чтоб вырвать у последнего монополию власти и привилегий, понадобился добрый десяток больших, малых и крошечных революций. Современный пролетариат по своему культурному уровню неизмеримо ниже буржуазии, а задачу себе он ставит неизмеримо труднее: смешно даже сопоставлять ничтожные, казалось, препятствия, стоявшие на пути «Декларации прав человека», с той безграничной хозяйственной и психологической инерцией, на которую неизбежно наткнется в переживаемое нами время попытка осуществления «Декларации прав трудящихся».

Экономическое наследие войны ужасно. Но моральное много хуже.

Что, в самом деле, сказал бы Шиллер о той школе, через которую ныне прошло человечество перед предполагаемым вступлением в новую эру? Народы, так блистательно срезавшиеся на экзамене умственной зрелости 1914 г., развращены войною глубоко и надолго. Европа изолгалась и одичала. Цвет поколения провел четыре года в кровавой праздности траншей, утратил привычку к мирному произ-

водительному труду, свыкся со всеми формами самых отвратительных преступлений. Зверь разбужен и вышел на волю.

От поколения, зараженного ненавистью и сифилисом, родятся ли новые, лучшие люди?

Я слышал когда-то, как Жорес воскликнул в одну из мрачных своих минут: «Le socialisme heritera d'un monde trop perverti» — «Социализм унаследует чересчур развращенный мир...»

А все-таки, *скорее всего*, унаследует. Это наибольшая *вероятность*.

— С социализмом кончено навеки, — говорят перепуганные люди. Говорят обыкновенно с радостью: кого этот жупел не обидел? Герцен обессмертил коллежскую ассесоршу, которая всю жизнь не могла простить Наполеону преждевременную смерть своей коровы, скончавшейся в 1812 г. Теперь коллежская ассесорша, потеряв не одну корову, во всем винит социализм, отождествляя его с пугачевщиной, и ждет не дождется спасителя. Пугачев не спас ее от Гинденбурга; она надеется, что Гинденбург спасет от Пугачева...

Такая возможность не исключается, но поручиться даже и в этом никак нельзя.

Социализм не виноват; ассесорша тоже не виновата; тем не менее потерпеть придется обоим. Мы живем в историческую эпоху, когда стала чрезвычайно строгой старая взяточница Немезида и сделалась небывало грозной расплата не только за свои, но и за чужие грехи...

Во всяком случае, если кончено с культурным социализмом, то кончено и с самой культурой. Если не кончено с культурой, то будет и социализм, как он всегда был. Проблема его оправдания тесно связана с вопросом о том, быть ли или не быть современной цивилизации.

Известная судьба гегелевского изречения: «Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig» — «все действительное разумно; и все разумное действительно». Когда-то оно возбуждало бури негодования и восторгов. Потом его растолковали: Гегель не ставил будто бы знака равенства между разумом и действительностью вообще. Он имел в виду *истинно-действительное*. И уже Эдуард Ганс, выпустивший посмертное издание «Философии права», доказывал, что в формуле Гегеля не было ничего реакционного.

Об этом можно, разумеется, спорить. Вот что говорит Гегель в знаменитом предисловии к «Grundlinien der Philosophie des Rechts»: «Настоящая работа, поскольку она содержит учение о государстве, должна быть только попыткой *понять и представить государство как нечто разумное в себе* (als ein in sich Vernünftiges). В качестве философского произведения она *всего дальше от конструирования государства, — каким последнее быть должно*» (einen Staat, wie er sein soll¹). Стоит прочесть хотя бы девятнадцать параграфов (§§231—249), посвященных Гегелем полиции, и двенадцать (§§275—286), относящихся к власти монарха, чтобы усомниться в верности слов Эдуарда Ганса. Или же пришлось бы затеять спор о том, что такое полиция и die fürstliche Jewalt: просто ли действительное или истинно-действительное? Конечно, в свое время велись и такие философские споры; ибо, как говорит, по другому поводу, не без гордости тот же Эдуард Ганс: «Was hat der deutsche Geist nicht alles begründet oder zu begründen versucht?»²

В сущности, изречение Гегеля вовсе ему не принадлежит. Без всяких оговорок, без всякого желания укрыться за истинно-действительное, ту же мысль гораздо раньше высказывал Поп:

«All discord — harmony not understood,
All partial evil — universal good;
And spite of pride, in erring reason's spite,
Onc truth is clear: whatever is is right»³.

Поэты смелее философов, ибо с них спрашивают меньше...

Всего несколькими страницами дальше знаменитого изречения Гегель высказал мысль менее вызывающую, но неизмеримо более значительную и интересную:

«Um noch über das *Belehren*, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Als der *Jedanke* der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprocess vollendet und sich fertig gemacht hat... Wenn die Philosophie ihr Jrau in Jrau malt, dann ist eine Jestalt des Debens alt geworden, und mit Jrau in Jrau lässt sie sich nicht verjungen,

¹ Курсив Гегеля.

² «Чего только не обосновывал или не пытался обосновать немецкий дух?» (нем.)

³ «Всякий диссонанс есть непонятная гармония, всякое частное зло — общее благо. Вопреки гордости, вопреки заблуждающемуся разуму, одна истина ясна: все существующее хорошо» (англ.).

sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug»¹.

Эта мысль не только прекрасна по форме и по содержанию. В наши дни она, кроме того, и *до некоторой степени* утешительна. Над состарившимися формами жизни, в час наступления сумерек (таких сумерек, какие Гегелю и не снились), сова Минервы должна скоро начать свой тяжелый полет...

Но все-таки очень жаль, что философия является «immer zu spät»².

В теории — преимущество реформы перед потрясением достаточно очевидно. В теории — Бернштейн наголову разбил Бакунина. На практике — Бакунин празднует победу на Бернштейном. Жизнь идет не по тому пути, по какому ей следовало бы идти.

Это тоже достаточно очевидно, как *a priori*, так и *a posteriori*.

Но в вопросе об историческом оправдании русской революции будут все же приняты во внимание не одни только *contra*, ныне щедро сыплющиеся со всех сторон. Этих *contra* почти так же много, как много теперь людей, которые с самого начала все предвидели и «с первого дня говорили»... Есть, однако, и про.

Удачных революций не бывает. Революция по природе своей не может творить. Она лишь создает такие условия, при которых будущее государственное творчество становится возможным и — главное — неизбежным, как бы ни кончилась сама революция. По-видимому, законодательное творчество лишь с трудом обходится без периодических доз революционного фермента. Сколько времени понадобилось бы лучшему парламенту в мире для того, чтобы высидеть мартовские декреты Временного правительства первого созыва?

¹ Что же касается *поучения*, каким мир должен быть, то к сказанному выше можно добавить, что для этого философия всегда приходит слишком поздно. В качестве *мысли* о мире она появляется лишь после того, как действительность закончила процесс своего формирования и достигла своего завершения. Когда философия начинает рисовать своей серой краской по серому, тогда некая форма жизни стала старой, но серым по серому ее омолодить нельзя, можно только понять, сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек

² Вседа слишком поздно (*нем*)

А много ли осталось в жизни от этих памятных декретов?

Что-то все-таки осталось. В смысле *каталитическом* для России не пройдет бесследно даже безграмотное творчество декретоманов Смольного института.

Может быть, в ближайшие десятилетия политическая мысль выработает промежуточные формы между тяжелой артиллерией парламентской говорильни и холостыми снарядами скорострельного творчества революции...

За исключением дворцовых и династических переворотов, все революции неудачны, — если их рассматривать вне надлежащей перспективы. Есть два рода революций. Одни подавляются немедленно и влекут за собой в результате большее или меньшее число казней. Их обыкновенно называют уменьшительным именем восстаний, — а они, в сущности, есть самые возвышенные, героические революции. Таково было восстание декабристов; таково было восстание Косцюшки; такова была эпопея Народной Воли.

Революции второго рода развиваются быстро и грозно, но их «развязка» наводит на скорбные мысли. Великая Французская революция, «закончившаяся» торжественным коронованием сперва Наполеона I, а потом Людовика XVIII, в перспективе одного двадцатипятилетия — тяжелый нелепый кошмар. Такова в аналогичной перспективе Великая английская революция с финалом, где Кромвель называется Монком и на смену казненного Карла I приходит вдвое худший Карл II. Таковы же революции 1848 и 1871 гг.

И тем не менее всегда что-то остается. Вопрос оправдания революции в цене, которой куплено это «что-то». Да еще в невещественных ценностях — в остающейся *легенде*...

Вопрос о цене для России решится все же только в день окончания мировой войны.

Но легенда? Вместо Вальми — Калуш, вместо пирамид — Двинск, вместо Дантона — Троцкий, вместо Карно — Крыленко, вместо Бонапарта — матрос Железняков.

В лучшем случае *легендой* русской революции будет то, что вожди ее первого периода, имея полную возможность сохранить свою власть и спасти от хаоса Россию ценой измены союзу и собственного бесчестия, на этот путь все же не стали. Некоторые из них ясно предчувствовали и предпочитали гибель...

На трудном пути революции одни заблуждались меньше, другие больше. Одни могут говорить *mea culpa*¹, другие — *mea maxima culpa*². Но и без тысячи ошибок над всеми неумолимо висел и висит рок великой войны.

Вековая темнота ускорила катастрофу в России. Там, на Западе, «бунд» еще только переходит из области очень возможного в область очень вероятного. Один лишний год выдержки засвидетельствовал огромное превосходство западной культуры и нервов. Однако всякой выдержке может прийти конец.

Ленин будет, вероятно, признан гениальным человеком в тот день, когда на Западе вспыхнет революция. Но так как «объективные условия коммунистического строя» существуют в 1918 г. только в голове большевистского Аввакума, то последствием социальных потрясений в Европе будет, скорее всего, почти такой же грабеж награбленного, почти такое же моральное и умственное одичание.

Перед нами не премьера и, вероятно, не последнее представление... А, казалось бы, после того, что было и будет, над этим драматическим жанром много прежних ценителей должны б поставить крест с могильной надписью: «Род. в 1793 г. в Париже, сконч. в 1918 г. в Петербурге».

Будущее темно. Куда влачит нас колесница Джагернат-ха?... Жизнь не перейдет после войны ни в Африку, ни в Австралию. Материальная культура Европы выдержит так или иначе даже подобные испытания. Но какая участь постигнет высшие ценности европейской цивилизации, сказать трудно:

Мирозданием раздвинут,
Хаос мстительный не спит.

¹ Моя вина (*лат.*).

² Моя большая вина (*лат.*).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ И ОЧЕРКИ

I

В марте 1893 г. департамент полиции получил по почте из Германии коротенькое заказное письмо¹. Неизвестный человек, подписавшийся «готовый к услугам покорный Ваш слуга», предлагал департаменту давать сведения о кружке учащейся молодежи в Карлсруэ и о намечавшейся в этом кружке посылке в Россию нелегальной литературы. Адрес для ответа был указан за литерами В. Ш., *poste restante*.

Письмо не вызвало большого интереса в департаменте полиции. Кружок учащейся молодежи в Карлсруэ, по-видимому, не слишком его беспокоил. Ответ, довольно краткий, был дан только через пять недель. Департамент небрежно сообщал, что о существовании и деятельности кружка в Карлсруэ ему известно. Впрочем, не отказывался от услуг корреспондента, но предлагал ему предварительно назвать свое имя и сообщить, может ли он давать точные сведения о транспортах литературы с указанием, когда, куда, каким путем, по какому адресу и через кого именно они пересылаются. Департамент обещал «солидное вознаграждение» и гарантировал полную тайну.

Письма такого рода, вероятно, довольно обычны в практике всех полиций мира. По форме они немного напоминают брачные объявления, которые ежедневно можно найти в лучших немецких газетах: одна сторона заявляет о своем интересе к другой, но просит сначала сообщить точные сведения о приданом и заодно прислать фотографическую карточку. Обязательная добавка «*Diskretion verlangt und garantiert*». Или же, еще благороднее, «*Diskretion Ehrensache*».

¹ Письмо это было найдено в 1917 г в архивах департамента полиции Б И Николаевским, одним из лучших знатоков истории русской революции, им же впервые напечатано с превосходным выяснением подробностей Письма Азефа, еще не появлявшиеся в печати, взяты мною в архиве, любезно предоставленному в мое распоряжение В К Агафоновым, который в свое время разбирал дела департамента и охранных отделений (Здесь и далее примечания автора)

Неизвестный корреспондент, однако, не спешил прислать свою фотографическую карточку департаменту полиции. Он тоже немного подождал, а затем, снова без подписи, ответил весьма деловитым письмом, где объяснял, что именно он намерен сообщать. Размер требуемого приданого, довольно скромный, он указывал точно: «ежемесячное вознаграждение не меньше 50 рублей». Кроме того, корреспондент просил оторвать и прислать ему кусок его первого письма в доказательство того, что ответ исходит действительно от департамента полиции (письма ведь иногда и пропадают, даже заказные). Буквы указывал новые: Н. С.

Не буду останавливаться на подробностях переписки. Скажу только, что победа осталась на стороне департамента. Как искатели приданого печатают объявления сразу в нескольких газетах, так и готовый к услугам корреспондент обратился, кроме департамента полиции, еще и в жандармское управление своего родного города, Ростова-на-Дону. Пишущих машин в то время не было, и Донское жандармское управление по почерку выяснило, что письмо из Карлсруэ написано мещанином Е. Азефом, сыном очень бедных людей, недавно учившимся в ростовской гимназии. Этот молодой человек занимался на юге «рабочей пропагандой» и уже пользовался у розыскных властей некоторой известностью, о характере которой, однако, нелегко судить. По сообщению начальника Донского жандармского управления Страхова, товарищи Азефа, «выманив у него чужие деньги, поставили его в необходимость бежать за границу». Нашлись и другие сведения: Азеф будто бы покинул Россию, «продав предварительно по поручению какого-то мариупольского купца масла на 800 рублей и присвоив эти деньги себе». В психологическом отношении разница между двумя версиями существенная. Но практического значения она, конечно, не имела.

Получив из Ростова сведения о том, кто автор писем из Карлсруэ, Семякин, заведовавший политическим розыском департамента полиции, написал молодому человеку интересное письмо. Департамент соглашался платить 50 рублей в месяц, принимал «программу, изложенную в Вашем письме от 25 мая», внося кое-какие дополнения от себя, посылал требуемый из предосторожности отрывок письма и давал точную инструкцию. Эта инструкция была и деловита («многословия и теоретических рассуждений не требуется»), и в агентурном смысле честна («всяких преувеличений и недостаточно обоснованных выводов следует избегать»). Под самый же конец приберегался оглушительный эффект. Семякин кончал свое письмо так: «Я думаю, что не ошибусь,

называя Вас, г. А з е ф, Вашим именем, и прошу Вас уведомить, следует ли Вам писать по Вашему адресу: Щютценштрассе, 22. II, или иначе».

Скрываться больше не приходилось. Азеф ответил за подписью. Соглашение состоялось.

В течение шести лет Азеф оставался заграничным корреспондентом департамента полиции. По его донесениям можно проследить, как быстро он совершенствовался в качестве секретного сотрудника. На одном из первых его писем есть раздраженная пометка, принадлежащая кому-то из руководителей департамента: «В следующем письме я попрошу Азефа писать немного толковее, особенно адреса и фамилии, чтобы можно было понять, кто мужчина, кто женщина и к кому относятся адреса». Но уже в 1896 г. мы находим совершенно другую пометку: «Сообщения Азефа поражают своей точностью, при полном отсутствии рассуждений». А еще через несколько лет известный Ратаев писал Азефу: «Больше всего на свете я боюсь Вас скомпрометировать и лишиться Ваших услуг».

И действительно, донесения Азефа, даже в раннюю пору его работы, были очень важны. Он открыл департаменту глаза на молодых революционеров, только впоследствии получивших громкую известность: «Следует особое внимание обратить Вам на г-на Карповича...» «Особое внимание Вам нужно будет обратить на Зензинова...» Григория Гершуни, опаснейшего из террористов, Азеф оценил с первой же своей с ним встречи и тотчас с большой тревогой в тоне сообщил об «этом господине» департаменту полиции. Донесения свои Азеф писал с видимым удовольствием, даже, кажется, не без чувства спортивного соревнования с революционерами. Например, советуя департаменту захватить какой-то транспорт литературы, он вдруг добавляет: «А то уж больно хвалится Гершуни, что замечательный путь он устроил».

От департамента Азеф требовал полного доверия к своим словам. В 1901 г., задетый недоверчивым замечанием Ратаева, Азеф отвечает (15 января) в глубоко оскорбленном тоне: «Мне кажется, что у Вас нет ни одного факта, который бы мог Вас заставить думать, что я способен вам солгать. Кажется, ни разу не лгал, это не лежит в моей натуре... Ваше недоверие для меня оскорбительно и страшно обидно».

По форме переписка порою очень курьезна. Так, позднее, желая выследить и схватить Гершуни, департамент (17 апреля 1902 г.) по-немецки телеграфирует Азефу в Берлин: «Очень беспокоюсь о положении Гриши в Петербурге. Хотел бы получить какие-либо сведения, чтобы иметь воз-

можность с ним повидаться. Дмитрий». Или же Азеф начинает свое сообщение департаменту 17 июня 1902 г. словами: «Дорогая Генриетта», а заканчивает его: «Целую тебя. Твой Иван»¹. Письма, сходные с этим по стилю, попадались мне во Французском национальном архиве: так любили писать разведчики наполеоновских времен.

II

По возвращении в Россию Азеф был откомандирован к Зубатову для изучения техники полицейского дела. По-видимому, он изучил ее в совершенстве. Старые революционеры рассказывают, что, обладая огромной зрительной памятью, он знал все улицы и все проходные дворы Петербурга, мог при обсуждении разных террористических проектов по памяти нарисовать подробнейший план любого места в столице. Для разных «явок» ему нужно было знать множество адресов и телефонных номеров: Азеф «из предосторожности» никогда их не записывал, однако помнил все безошибочно. В практику террористической слежки он ввел несколько новых приемов, заимствованных, впрочем, у Зубатова. Вероятно, это профессиональное искусство и было одним из оснований его огромного престижа в Боевой Организации: террористы того времени читали ведь не только политическую литературу: как мы все, они читали, вероятно, в свободное время и «Шерлока Холмса».

По изучении полицейского дела Азеф примкнул к партии социалистов-революционеров. Вернее, он был одним из ее создателей. Специализировался он на терроре и стал сначала ближайшим помощником Гершуни, а затем общепризнанным вождем, душой и хозяином Боевой Организации. 4 июня 1902 г. Азеф многозначительно писал департаменту, сообщая о 500 рублях, пожертвованных им на террористические предприятия: «Мне необходимо было это сделать для того, чтобы узнать, что такое эта Боевая организация и каковы ее планы в ближайшем будущем, и мне это удалось... Я занял активную роль в партии социалистов-революционеров. Отступать теперь уже невыгодно для нашего дела, но действовать тоже необходимо весьма и весьма осмотрительно».

¹ Это донесение было написано химическими чернилами. Натягивая текст его включает в себе сведения о готовящемся покушении на Плеве (неизданный архив В.К. Агафонова, папка № 1).

Параллельно с этим росло и положение Азефа в департаменте полиции. В 1899 г. он получает 100 рублей в месяц жалованья и 50 рублей наградных к Новому году. В 1900 г. его жалованье повышается до 150 рублей, в 1901 г. — сразу до 500 рублей. Под конец своей карьеры он получал 1000 рублей в месяц и столько же, если не больше, прогонных, суточных, «премиальных» и «наградных». Его «наградные» в 1904—1905 гг. составляют несколько тысяч. Именно в это время им были организованы убийства В. К. Плеве и вел. кн. Сергея Александровича!

Получает он жалованье и от партии, но более скромное — кажется, 125 рублей в месяц. Б. С. Гоц рассказывает, как однажды на вокзале друзья убеждали Азефа нанять носильщика для чемодана. Он аскетически отказывался: нельзя без крайней нужды расточать партийные деньги. Члены ЦК партии с умилением говорили о жизни Азефа: «сидит на хлебе и селедке». Расставаясь с революционерами, он жил не столь аскетически. В записке Л. Н. Меншикова, например, сообщается: «5 января 1905 года Азеф приезжает в первом классе курьерского поезда из Петербурга в Москву... Ночь проводит в самом дорогом доме терпимости Стоецкого...»

Послужной список Азефа по двойной его деятельности еще трудно установить во всей полноте; да и одно перечисление его дел заняло бы несколько страниц. Он сам говорил, что принимал ближайшее участие в организации всех террористических актов партии, за исключением убийства Сипягина. Савинков, человек достаточно осведомленный, в своей речи в защиту Азефа дает список крупнейших террористических дел, организованных при его (Азефа) участии, содействии или попустительстве. В этот список входят двадцать пять убийств и покушений, а заканчивается он буквами «и т. д.». Называю только главное: убийства Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, ген. Богдановича, Газона, Татарова; три покушения на царя, покушения на великих князей Владимира Александровича и Николая Николаевича, покушения на Столыпина, на Дурново, на Трепова, на адмиралов Дубасова и Чухнина. Азеф же принимал участие «в обсуждении всех без исключения планов, в том числе планов московского, свеаборгского и кронштадтского восстаний».

Этому списку соответствует другой, более длинный, список революционеров, выданных им департаменту. Их

исчисляют десятками, если не сотнями. Сколько из них было казнено, не берусь сказать¹.

Метод действий Азефа в схематическом изложении был приблизительно таков. Он «ставил» несколько террористических актов. Некоторые из них он вел в глубокой тайне от департамента полиции с расчетом, чтобы они непременно удались. Эти организованные им и удавшиеся убийства страховали его от подозрений революционеров; до самой последней минуты вожди партии смеялись над такими подозрениями: «Как можно обвинять в провокации человека, который на глазах некоторых из нас чуть только не собственными руками убил Плеве и великого князя». Другую часть задуманных террористических актов Азеф своевременно раскрывал департаменту полиции, чтобы никаких подозрений не могло быть и там. При этих условиях истинная роль Азефа была в течение долгого времени тайной и для революционеров, и для деятелей департамента. Каждая сторона была убеждена, что он ей предан всей душой.

III

По внешности Азеф был грузный, толстый, очень некрасивый человек с тяжелым, набухшим лицом, с оттопыренной нижней губой. О его безобразной наружности говорят все встречавшиеся с Азефом люди. Но и в этом разобраться не так легко. Некоторые свидетели утверждают, что «глаза у него всегда бегали, и он никогда не смотрел в лицо собеседнику», — примета слишком принятая в изображении преступников для того, чтобы быть верной. Ю. Делевский пишет о «змеином взгляде» Азефа. Однако другие революционеры находили у него «хороший, приятный взгляд», «прелестную улыбку» — и до сих пор твердо на этом стоят. В. М. Чернов в своей речи на суде над Бурцевым говорил: «Надо только хорошо всмотреться в его (Азефа) лицо, и в его чистых, чисто детских глазах нельзя не увидеть бесконечную доброту². С. Басов-Верхоянцев отмечает «двойное лицо»: накладное, каменное и скрытое, «с печальными глазами». По фотографиям судить трудно — Азеф, кстати, не любил сниматься. Но общее впечатление, конечно: «не дай Бог встретиться в лесу ночью».

¹ Одна из выданных Азефом революционных групп, как известно, изображена Леонидом Андреевым в его «Рассказе о семи повешенных».

² В.Л. Бурцев. Как я разоблачил Азефа, гл. XIII.

Писал он свои донесения не очень литературно, не очень даже и грамотно, но всегда ясно и толково. Редакторы, повторяющие молодым сотрудникам: «Фактов побольше, фактов», были бы им довольны: фактов у него всегда много. Революционеры (за редкими исключениями) в ту пору были особенно падки на цветы красноречия. Один (в частном письме!) пишет о «гидре самодержавия», о «когтях деспотизма», о «пошлом периоде мещанского довольства; охватившего мертвящей петлей европейские страны». Другой описывает, как «русские Лекоки разглядывали мозолистую руку, сразившую царского опричника». Третий еще красноречивее: «Девятьсот пятый год умирал, распластавшись на кривых улицах Москвы, залитых рабочей кровью». Азеф не любил цветов красноречия. Тон его писем простой и деловой. Недоброжелатели считали его человеком малообразованным. Однако на партийном следствии, после разоблачений, один из свидетелей рассказал, как однажды в Москве Азеф выступил на заседании марксистского кружка: ««Спор шел вокруг имени Михайловского. Новый гость (Азеф) молчал. Но вот он поднялся и взволнованным голосом начал защищать Михайловского, упирая в особенности на теорию борьбы за индивидуальность. Речь продолжалась довольно долго и произвела на окружающих впечатление своей искренностью и знанием предмета»¹. Мы все учились понемногу, впечатление в ученом споре можно было в крайнем случае произвести и одной «искренностью», а уж искренности у этого человека было достаточно.

Под конец его карьеры положение Азефа стало очень трудным. Он должен был убивать и выдавать, убивать и выдавать, напрягая все силы для соблюдения наименее опасной пропорции выданных и убитых людей...

В одном из французских монастырей есть картина «Наказание дьявола». Дьявол обречен держать в руках светильник, похищенный им у св. Доминика. Светильник догорает, жжет пальцы дьявола, но освободиться от него дьявол не имеет силы: он может только, корчась, перебрасывать светильник из одной руки в другую — жжется то правая, то левая рука. Приблизительно в таком положении был Азеф к моменту его разоблачения.

¹ Заключение судебно-следственной комиссии по делу Азефа, стр. 17.

Кто разоблачил Азефа?

Известны, говорят, имена пяти женщин, «на руках которых скончался Шопен». Я не хочу сказать, что разоблачение великого предателя дало повод к сходному спору. Шутка совершенно не соответствовала бы трагическому характеру события (как, впрочем, и в вопросе о кончине Шопена). Но когда будущий историк займется выяснением того, кому именно принадлежит здесь авторское право, он должен будет перебрать не менее десяти имен.

У нас есть сведения, что один из профессоров Азефа по политехникуму высказался о молодом студенте так: «Ах, этот шпион!» К сожалению, не дошло до меня имя немецкого профессора, далеко превосходшего проникательностью и революционеров, и департамент полиции.

Летом 1905 г. один из видных петербургских социалистов-революционеров Ростковский получил на службе письмо без подписи, в котором его извещали, что в партии есть «серьезные шпионы», «бывший ссыльный некий Т. и какой-то инженер Азиев, еврей». Когда Ростковский вернулся со службы домой, у него в гостях сидел известный ему под кличкой «Иван Николаевич» важный нелегальный гость — Азеф. Не долго думая, Ростковский показал гостю письмо. «Иван Николаевич» прочел и заявил: «Т. это Татаров, а Азиев — это я, Азеф».

И Ростковский, и вожди партии не придали значения анонимному письму. Но какое самообладание, какие нервы нужны были, чтобы ничем себя не выдать при такой неожиданности и ограничиться саркастическими словами: «Азиев — это я, Азеф»? Вот и суди о тех «сюрпризах», которыми, вслед за Порфирием Петровичем, хитрые следователи оглушают подозреваемых в преступлении людей.

Сходный случай произошел, по рассказу П. О. Ивановской, в Женеве на встрече Нового (1905) года. Русская колония революционеров была в полном сборе. «Говорили пламенные, дерзкие речи, с вдохновенными лицами молодежь пела и кружилась по обширному залу». Азеф гулял по залу и любовался молодежью. Когда речи, пение и танцы надоели, сели играть в почту. Азеф не прочь был поиграть и в почту. Ему принесли письмо. Он раскрыл и «самоуверенно-снисходительно» прочел вслух, в письме называли его подлецом, негодяем и предателем.

Подозрения против Азефа высказывали в разное время Крестьянинов, Мельников, Мортимер, Делевский, Агафонов, Тютчев, Трауберг. Вожди партии, от Гершуни и Гоца до Чернова и Савинкова, относились, повторяю, пренебрежительно к таким обвинениям; за это впоследствии их самих всячески поносили в разных революционных и не революционных кругах. «Хороша же партия, где подобные субъекты могут вращаться шестнадцать лет», — сказал защитник Лопухина А. Я. Пассовер. Теперь к этому можно отнестись вполне объективно. Неосторожность и легковерие были, но преувеличивать их не надо, — столь же неосторожен был ведь и департамент полиции, учреждение далеко не легковерное. Чужая душа — потемки, и никто не обязан уметь в чужой душе читать. Громить Савинкова за то, что он не распознал провокатора в Азефе, так же странно, как, например, обвинять В. В. Шульгина за его памятную поездку в Россию. В настоящее время мы все, конечно, окружены тайными большевистскими агентами. Об иных знакомых и нам когда-нибудь будет неловко вспоминать.

Что и говорить, Ю. Делевский в свое время собрал немало улик против Азефа. Но давно известно, и психология палка о двух концах, и улики, даже самые серьезные, часто могут быть истолкованы различно. Темные слухи в ту пору распускались со злостной целью или по легкомыслию о самых известных людях. Михаил Гоц однажды сообщил Плеханову, что в партию поступило донесение о провокации Азефа. Плеханов равнодушно ответил: «Обо мне, о Лаврове говорили то же самое». Азеф был несравненным героем, вождем огромного престижа, чуть только не святыней для его товарищей по партии. Теперь в его изображении, (назову хотя бы интересный роман Гуля) выдвигают на первое место черты грубости, невежества, хамства, которые, казалось бы, должны были всем бросаться в глаза. Это ошибка перспективы. Азеф умел показывать товар лицом — товар и революционно-технический, и духовный. Такие умные, опытные и чуткие люди, как Н. В. Чайковский, И. И. Бунаков, В. М. Зензинов, изображали Азефа совершенно иначе. «Я любил его глубокой, нежной любовью», — говорил мне Зензинов. Савинков за три месяца до разоблачения сказал О. М. Минору: «Если бы против моего родного брата было столько улик, сколько их есть против Азефа, я застрелил бы его немедленно. Но в провокацию Ивана я не поверю никогда!»

Разоблачил Азефа, конечно, В. Л. Бурцев. Ему на суде чести никто из социалистов-революционеров не подавал

руки «как клеветнику». После 17-го заседания суда, то есть почти перед самым концом его (всего было 18 заседаний), Вера Фигнер, выходя, сказала Бурцеву: «Вы ужасный человек, вы оклеветали героя, вам остается только застрелиться!» Бурцев ответил: «Я и застрелюсь, если окажется, что Азеф не провокатор!...»

V

В мае 1906 г. к Бурцеву, издававшему тогда в Петербурге «Былое», тайно явился неизвестный молодой человек и отрекомендовался довольно неожиданно: «По своим убеждениям я — эсер, а служу в департаменте полиции». Рекомендация, собственно, не так уж располагала в пользу молодого человека. Назвался он «Михайловским» — псевдоним тоже неожиданный¹. Другой, наверное, попросил бы «Михайловского» уйти. Редактор «Былого» поступил так, как ему подсказывала интуитивная мудрость. Он с открытой душой подошел к служащему департамента. Человек Бурцев принял человека Михайловского, и хорошо сделал: социалист-революционер из департамента полиции оказался правдивым и драгоценным осведомителем. Сообщил он немало интересных сведений. Из них, без всякого сомнения, наиболее интересным было то, что в партии социалистов-революционеров есть чрезвычайно важный провокатор, известный в департаменте под кличкой «Раскин». Больше о нем «Михайловский» почти ничего не слышал.

Разумеется, В. Л. Бурцев прекрасно знал главарей партии социалистов-революционеров. Он начал примерять: кто из них мог быть «Раскиным»? Никто решительно не подходил.

Время было грозное: 1906 год. За Бурцевым следили филеры. Он замечал слежку, но не придавал ей значения: сколько-нибудь серьезных грехов за ним не значилось. Однажды летом В. Л. Бурцев вышел из редакции погулять. «В этот раз я забыл даже посмотреть, есть ли за мной слежка или нету. Вдруг на Английской набережной ему бросились в глаза знакомые лица: навстречу, на извозчике, ехал Азеф со своей женой.

Бурцеву было известно, что Азеф — глава Боевой Организации, следовательно, самый опасный революционер в России. Жена его, рядовая социалистка, имела очень

¹ Много позднее выяснилось, что это был М. Е. Бакай.

скромные познания в конспиративном деле. Знакомство с вождем террористов могло в 1906 г. повлечь за собой весьма неприятные последствия. За Бурцевым, по всей вероятности, шли сыщики. «С женой Азефа я был хорошо знаком, и я пришел в ужас от мысли, как бы она не вздумала со мной поздороваться».

Все, однако, сошло гладко: жена Азефа не поздоровалась с Бурцевым. «Я продолжал гулять по улицам, я радовался, что этот инцидент, который мог дорого обойтись, прошел благополучно».

И вдруг случилось то, что в психологии называется интуицией, в искусстве — озарением. В сущности, безо всякого основания, без всякой разумной причины скользнула странная мысль, какая-то еще неясная связь между важным провокатором Раскиным и вождем Боевой Организации партии социалистов-революционеров!..

Вот где уместно было бы говорить о подсознательном. Настоящая мысль была настолько дика и невозможна, что даже не определилась в сознании Бурцева. Внешняя логическая схема была приблизительно такова: если за кабинетным человеком редактором «Былого» Бурцевым ходят по пятам сыщики, то как же решается ездить по улицам на извозчике, без всякого грима, опаснейший террорист в России?

Собственно, логическая схема стоила недорого: революционеры проделывали и гораздо более рискованные дела. Так, за несколько лет до того Гершуни, которого по всей стране днем и ночью искали сотни агентов, безнаказанно провел три дня в Петербурге, прописавшись в участке под своей настоящей фамилией. Герман Лопатин в свое время ходил в Александринский театр, имея при себе множество адресов народовольцев. Схема ничего не доказывала. У Бурцева возникло сложное к ней дополнение: полиция не арестовывает Азефа; значит, это ей пока невыгодно; значит, около него вертится какой-то провокатор (Раскин?), получающий от него ценные сведения; значит, нужно предупредить Азефа о грозящей ему опасности. Бурцев так и сделал: попросил передать Азефу свое полезное предостережение.

То, что произошло дальше, Фрейд называет «превращением латентного в сознательное».

«Как-то, неожиданно для самого себя, я задал себе вопрос: да не он ли сам этот Раскин? Но это предположение мне тогда показалось столь чудовищным, что я только ужаснулся от этой мысли. Я хорошо знал, что Азеф —

глава Боевой Организации и организатор убийства Плеве, великого князя Сергея и т. д., и я старался даже не останавливаться на этом предположении. Тем не менее с тех пор я никак не мог отделаться от этой мысли, и она, как какая-то навязчивая идея, всюду меня преследовала...»

Азеф был настороже — отчасти и в результате предостережения. Затем для него положение выяснилось. Он сделал то, что должен был бы сделать по Достоевскому: Азеф пришел к Бурцеву в гости, якобы по делу. Сцена поистине поразительная: Бурцев з н а л, что Азеф — предатель. Азеф з н а л, что Бурцев это знает. Пожалуй, у Достоевского такой сцены не найти. Пошел Азеф, вероятно, на разведку. А может быть, и «для ощущений». Ощущений у него в жизни было вполне достаточно. Но такого, вероятно, не было.

«Азеф вплотную подошел ко мне уверенной походкой, весь сияющий, и, по-видимому, хотел обнять меня и расцеловать. Но я, как бы нечаянно, уронил бывшие в моих руках бумаги и, нагнувшись, левой рукой стал их поднимать, а правой поздоровался с Азефом и затем усадил его на кресло прямо против себя».

Разговор был мирный и, по существу, незначительный. Говорили обо всем, кроме предательства. У Бурцева настоящих доказательств не было — Азефу это было отлично известно. Я рассказываю о его визите потому, что он чрезвычайно характерен: наглость Азефа так же граничила с чудесным, как и его самообладание. Вдобавок страшная карьера приучила его к риску. Он был игрок и по характеру, и по необходимости.

Для выяснения той же его черты расскажу другой эпизод, кажется, никогда не сообщавшийся в печати. В пору организации покушения на Дурново Азеф совершенно неожиданно явился с визитом к П. Н. Милюкову (они до того встретились раз в жизни на Парижской международной конференции, в которой П. Н. Милюков участвовал вместе с П. Б. Струве и кн. П. Д. Долгоруким). Азеф пришел с делом: он просил раздобыть для него фотографию Дурново! В этом посещении все удивительно, от цели до нелепого предлога: портрет министра можно было найти в любом журнале. Но такова была манера Азефа. Сто раз он так заманивал в сети двадцатилетних юношей — вдруг удастся «взять нахрапом и Милюкова. Наглость старого шулера: на что тут можно было рассчитывать? Человек Милюков прогнал человека Азефа и, разумеется, тоже прекрасно сделал. случай на случай не приходится. Как интуитивный, так и аналитический методы имеют свои достоинства и недостатки.

Я не стану рассказывать, как понемногу обростала зловещими доказательствами навязчивая идея В. Л. Бурцева. Скажу только, что вся система косвенных и прямых улик против Азефа, вероятно, ни к чему не привела бы; очень может быть, при некоторой удаче, при своевременном уничтожении неприятных бумаг, хранившихся на Фонтанке и на Мытнинской набережной, Азеф был бы после революции видным министром, — если бы в дело не вмешался, почти вопреки своей воле, еще другой человек, очень сложный и интересный.

Многое непонятно в карьере и в характере А. А. Лопухина. Две черты бросались в глаза при самом поверхностном с ним знакомстве. По взглядам, по самому складу ума, по окружению он был либералом; по происхождению, по внешности, по привычкам он был аристократом. И обе эти черты не вязались с большой и значительной полосой в его сложной биографии. Русские либералы слышать не могли о департаменте полиции; русские аристократы относились к этому учреждению с некоторой осторожностью, предоставляя службу в нем людям незнатного рода. А. А. Лопухин, человек передовых взглядов, носитель одной из самых громких фамилий в России, был директором департамента полиции в самую реакционную пору — при Плеве. Чем это объясняется, не понимаю. Я думаю, что он ценил ум знаменитого министра и был ему лично признателен: Плеве первый на верхах власти заметил выдающиеся способности Лопухина. Но это, конечно, не объяснение. Добавлю, что они расходились не только во взглядах, но и в оценке политического положения в стране. Лопухин считал очень серьезными шансы русской революции на победу. Плеве — кажется, единственный из крупных людей старого строя — плохо верил в то, что в России при твердой власти может произойти революция.

Впрочем, у этого странного человека бывали и минуты просветления. По-видимому, в одну из таких минут он и предложил Лопухину должность директора департамента полиции. Лопухин в ту пору занимал видный пост по министерству юстиции. Его карьера была блестящей: 38 лет от роду он был прокурором судебной палаты в Харькове. Там, во время служебной поездки, с ним встретился В. К. Плеве, вызвавший его для беседы на политические темы. «Выслушав меня, — показывал в 1917 г. Лопухин, — Плеве об описанных мною событиях свое мнение передал сло-

вами, высказанными им Государю при назначении министром внутренних дел: «Если бы, — сказал Плеве, — двадцать лет назад, когда я был директором департамента полиции, мне сказали, что в России возможна революция, я засмеялся бы; а теперь мы накануне революции¹». По словам Лопухина, Плеве тогда подумывал о Лорис-Меликовской конституции. Встретив недоверие и подозрение, он «под влиянием этой неудачи, а также надвинувшегося революционного террора, повернул политику на путь репрессий». Добавлю, что до последних своих дней Лопухин считал Плеве непонятым человеком. «С ним можно было работать, — говорил он. — С умными людьми хорошо иметь дело и тогда, когда расходишься с ними во взглядах».

Лопухин по должности знал революционеров. Знал, конечно, и секретных сотрудников. Среди них у него были «особенно прочные антипатии» (эти слова я от него слышал). И наиболее прочной был Азеф, сам вид которого вызывал в нем отвращение. Догадывался ли он о настоящей роли Азефа? Конечно, не догадывался, как не догадывался тогда никто другой. Но мог ли человек, столь осведомленный и опытный, твердо верить в то, что все свои сведения Азеф получает как-то стороной, «через жену», «по дружбе с Гершуни» или состоя в Боевой Организации т а к, только «чуть-чуть», больше для вида, — этого я не знаю. Вероятно, Лопухин просто старался об этом не думать. Психология его была психологией высшего офицера, ведающего в военное время контрразведкой. С революционерами велась война — начальнику контрразведки некогда думать о побуждениях и методах своих и чужих агентов. Это не мешает признавать пределы, из которых выходить нельзя. Так, как Лопухин, действительно и поступали офицеры, ведавшие контрразведкой во время великой войны. Некоторые из них написали воспоминания, — очень интересны эти люди.

В пору первой революции Лопухин навсегда оставил государственную службу. По-видимому, он уже тогда чувствовал большую душевную усталость — у него и внешний вид свидетельствовал о *taedium vitae*. На последней своей должности (эстляндского губернатора) он проявил либерализм. Граф Витте, который его недолго любил, не прощая ему близости с Плеве, считал Лопухина кадетом. Известна его роль в разоблачении погромных прокламаций. Начиная с 1905 г., Лопухин без особого успеха ста-

¹ Неизданный архив В. К. Агафонова, папка № 13

рался установить добрые отношения с либеральной общественностью (в этом смысле он не изменился до последних своих эмигрантских дней). Бывший директор департамента полиции, близкий сотрудник Плеве, был русский интеллигент с большим, чем обычно, жизненным опытом, с меньшим, чем обычно, запасом веры, с умом пронизательным, разочарованным и холодным, с навсегда надломленной душой.

VII

«Разговор в поезде» надо считать высшим достижением Бурцева. Желая разоблачить и уничтожить самого важного из всех секретных агентов, он обратился за справкой к человеку, который еще недавно занимал первый пост в политической полиции государства, — мысль необыкновенная в своей смелости и простоте. Лопухин больше не служил, но все же для В. Л. Бурцева он был человеком совершенно другого, враждебного мира: достаточно сказать, что долгиелетняя личная дружба его связывала с П. А. Столыпиным (они были на «ты»). Тот сложный процесс, который назревал в душе Лопухина, не мог быть известен Бурцеву. Повторяю, нам и теперь этот процесс не вполне понятен.

Здесь опять — случайность, отмечающая всю историю, которой посвящена настоящая статья. Лето 1908 г. Лопухин с семьей провел в Нейенаре. Ни о каких разоблачениях он, конечно, не думал, как не думал о политике вообще; он собирался ехать в Италию. Встреча с Бурцевым оказалась для него роковой: вместо Италии Лопухин попал в Сибирь. И для многих других людей этот разговор в поезде имел трагические последствия (вплоть до самоубийства). Он же вскоре повлек за собой всемирную сенсацию и один из самых громких судебных процессов нашего века.

Узнав, тоже случайно, от общего знакомого, что А. А. Лопухин в начале сентября проедет через Кельн в Берлин, В. Л. Бурцев выехал в Кельн и стал ждать на вокзале. Здесь элемент случайности обрывается: если бы это понадобилось. Бурцев был бы, наверное, способен прожить на Кельнском вокзале неделю, месяц или полгода. Это не понадобилось. 5 сентября, в 1 час дня, Лопухин вышел из нейенарского поезда и сел в поезд берлинский. Бурцев последовал за ним и, чуть только поезд тронулся, вошел в купе Лопухина.

Их разговор продолжался шесть часов! Я не хочу сказать, что редактор «Былого» избрал систему западноевропейских следственных властей. Взять измором б. директора департамента полиции Бурцев, конечно, не мог, — от Лопухина зависело в любой момент положить конец разговору. Почему Лопухин этого не сделал? Или он не чувствовал, какая бездна раскрывается у него под ногами? Подробности разговора в поезде выяснить теперь нелегко. Печатный рассказ Бурцева далеко не во всем совпадает с показаниями, которые Лопухин дал следователю по особо важным делам¹. Не во всем совпадает и рассказ, слышанный мною от обоих участников разговора. Но общая картина ясна. В течение нескольких часов Бурцев, вероятно, задыхаясь от волнения, выяснял Лопухину истинную роль «Раскина». После каждого нового доказательства я обращался к Лопухину и говорил: «Если позволите, я вам назову настоящую фамилию этого агента. Вы скажете только одно: да или нет». Лопухин молчал, молчал час, два часа, пять часов. По словам Бурцева, он был «потрясен». Я охотно этому верю: конечно, он не знал сотой доли той ужасной правды, которая разворачивалась перед ним в рассказе Бурцева. Обстановка их встречи характерна: в купе были другие пассажиры; они часто сменялись² и, вероятно, не без недоумения смотрели на странных соседей. Конспирация была не Бог весть какая: в поезде между Кельном и Берлином в разгар курортного сезона не так трудно было напасть на русских. По-видимому, пассажиры были немцы. Но едва ли Лопухин, и независимо от случайных соседей, серьезно рассчитывал на соблюдение тайны. Бурцев весьма неожиданно пишет: «Какое особенное значение мог он (Лопухин) придавать этому разговору? Ну мог ли он считать, что рассказывает какую-то правительственную тайну... когда прежде, чем произнести имя Азефа, он выслушал подробнейший рассказ о его деятельности. Если б Лопухин не придавал значения разговору, то он, очевидно, не мог бы быть «потрясенным». Как он мог не понимать, чего стоит им произнесенное имя Азефа!»

Не останавливаясь подробнее на психологической стороне этого дела. Думаю, что решающее значение для Лопухина имели слова В. Л. Бурцева о царевубийстве,

¹ Протоколы №№ 6 и 8 «Предварительного следствия» по делу об отставном действительно статском советнике Алексее Александровиче Лопухине, стр. 108—110, 120—124 (из архива В.К. Агафонова).

² Протокол № 10 того же «Предварительного следствия», стр. 132.

которое подготовлял «Раскин», и об ответственности за ту кровь, которая еще будет им пролита в будущем. Как бы то ни было, после шести часов разговора, уже перед самым Берлином, А. А. Лопухин разбил свою жизнь, сказав Бурцеву, что инженер Азеф — тайный агент департамента полиции.

Не стоит останавливаться и на том, как, через сколько времени, по чьей вине весь разговор в поезде стал известен Азефу. По 102-й статье Уголовного Уложения бывший директор департамента полиции был присужден к каторжным работам, замененным ссылкой на поселение в Сибирь. Хорошо известно и все остальное: суд над Бурцевым по обвинению в оклеветании Азефа, сенсационный рассказ обвиняемого о его встрече в поезде с Лопухиным, новое следствие социалистов-революционеров, проверка алиби Азефа, объяснение с ним представителей партии и, наконец, бегство разоблаченного провокатора.

VIII

Для партии социалистов-революционеров после разоблачения Азефа наступили худые времена¹. На посту главы Боевой Организации его заменил было Б. В. Савинков, но из этого ничего не вышло. Евг. Колосов говорит, что Савинков был по природе имитатором: в литературе он подражал то З. Н. Гиппиус, то Л. Н. Толстому; как террорист он мог быть лишь исполнителем предначертаний Азефа. Замечание интересное, но, если даже оно и верно (в чем я сомневаюсь), то им, конечно, нельзя объяснить сущность дела.

Разоблачение Бурцевым азефщины вызвало во всем мире сенсацию, которую хорошо помнят люди моего поколения. В ту пору еще думали, что могут существовать боевые правительственные партии без «внутреннего освещения» и без провокаций. История всех революционных движений тесно переплетается с повестью предательства и

¹ А. И. Гучков сказал, смеясь, В. Л. Бурцеву, встретившись с ним в Петербурге в декабре 1915 г. на квартире Стаховича: «Я знаю, что вы стоили нашему правительству крупнейшее состояние... Все эти деньги были выброшены на улицу, ибо вы никогда не состояли в партии, а ваши разоблачения Азефа принесли только пользу, ибо деморализовали революционные круги» (Секретный рапорт департаменту полиции Манасевича-Мануйлова об его разговоре с Бурцевым от 21 декабря 1915 года. Из неизданного архива В. К. Агафонов, папка № 5).

измены. В России политическая борьба имела кровавый характер. Поэтому и азефщина была истинно трагическим явлением. Она дорого стоила партии социалистов-революционеров. В бурной истории этой партии два раза на ее долю выпадал период чрезвычайной непопулярности: в 1909 г., затем десятью годами позднее, в пору разбитого корыта и первых поисков: кто же корыто разбил?

Л. Мартов писал А. Н. Потресову 29 января 1909 г.: «Здесь сейчас все полно делом Азефа. То, что по сему случаю опубликовано, главным образом самим с.-р. Центром, уничтожает в корне всю с.-р.-щину. Дело с этой публикой оказалось даже хуже, чем предполагали вы в статье о процессе Гершуни: если вы в ней писали, что Боевая Организация равна Гершуни, то они сами теперь признали печатно, что не только «Б. О.», но и «Ц. К.», и вообще вся верхушка партии была равна Гершуни плюс Азеф... Они — и Азеф больше, чем Гершуни, — кооптировали в свою среду Гарденина (Чернова) и Гоца, они сделали «Революционную Россию» центральным органом и объявили существующей партию...» По-видимому, азефщина у социал-демократов вызывала не одни только горестные чувства. Быть может, капиталистическому строю везде пришлось бы плохо, если бы революционеры ненавидели буржуазию так, как они ненавидели друг друга.

Весьма резким нападкам подвергались главари социалистов-революционеров в их собственной партии. Одни обвиняли Центральный Комитет, другие Боевую Организацию; одни говорили о чрезмерном увлечении террором, другие о недостаточном внимании к террору; одни писали о генеральстве, другие писали о лакействе. Особенное негодование вызывало то, что Азефа тут же «не убили, как собаку». В этом обвиняли преимущественно Савинкова (Тютчев, Герман Лопатин). Некоторые объясняли удачу бегства Азефа тем, что «Савинков испугался». Это, конечно, неверно. В недостатке смелости очень трудно обвинить Савинкова; да и при том настроении, которое тогда было в Европе, убийце Азефа был вполне обеспечен оправдательный приговор присяжных. Сам Савинков говорил, что у него не поднялась рука на его бывшего товарища и вождя: «В этот момент я его любил еще, как брата». Одно объяснение лучше другого. В действительности Азефа не убили потому, что все совершенно растерялись. И то сказать: было от чего.

В связи с разоблачением азефщины, некоторые социалисты-революционеры «перенесли самое страшное моральное

потрясение всей своей жизни¹, другие отошли от партии, кое-кто покончил с собой. И почти в то же время в противоположном лагере Л. Н. Ратаев писал директору департамента полиции Зуеву: «Ты один, может быть, поймешь, как тяжело было для меня прийти к убеждению в предательстве Азефа... Он дал мне столько осязательных доказательств своей усердной службы, сведения его отличались такой безукоризненной точностью, что мне казалось чудовищным, чтобы при таких условиях человек мог быть злодеем и дважды предателем». Другие просто не верили. Мысли о двойном предательстве Азефа не допускал председатель Совета министров Столыпин, защищавший его с трибуны Государственной Думы. А известный революционер Карпович, уже после разоблачений, грозил перестрелять своих товарищей по партии, осмелившихся заподозрить главу Боевой Организации в службе департаменту полиции.

IX

О судьбе знаменитого провокатора ходили в те времена самые разные слухи. Газетные корреспонденты одновременно находили его следы во всех странах Европы. Несколько человек едва не подверглись большим неприятностям вследствие сходства с Азефом.

На самом деле найти Азефа в европейских столицах было трудно: он совершал свадебное путешествие!

Азеф в конце 1907 года в петербургском «Аквариуме» познакомился с кафешантанной певицей — немкой К.¹. Знакомство превратилось в прочную связь, продолжавшую-

¹ После разоблачения в Париже, в январе 1909 года состоялось собрание виднейших социалистов-революционеров, на котором В. М. Чернов рассказал об измене главы Боевой Организации. Подробнейший отчет об этом заседании был немедленно, по телеграфу, передан в Петербург Гартингом-Ландейзенем директору департамента полиции. В донесении мы читаем: «Когда Чернов окончил свою речь, председательствовавший Фундаминский (Бунаков) и многие из присутствовавших плакали; другие сидели с опущенными головами, не произнося ни слова...» Гартинг, обладавший чувствительной душой, немного сгустил краски: мне рассказывали об этом заседании не совсем так. Но потрясение в кругах социалистов-революционеров было, конечно, ужасное. Три участника собрания категорически потребовали немедленного убийства Азефа. «В течение года, — говорил В. М. Зензинов, — не было у меня дня и ночи, когда я не думал бы об нем...»

² Немку эту разыскал не так давно Б. И. Николаевский, написавший на основании ее рассказов и бумаг интереснейшую работу «Конец Азефа».

ся до конца жизни Азефа¹. Дама эта выехала вслед за ним за границу. В ту пору, когда начался революционный суд над Бурцевым, Азеф с немкой находились в Биаррице и превосходно проводили время: удили рыбу, ездили в Сан-Себастьян, в Мадрид.

Азеф знал, разумеется, о предстоящем суде над Бурцевым. Этот суд беспокоил его, однако, не слишком, в меру. Он даже связывал с процессом некоторые надежды. В самом деле, если б судьи, три знаменитейших революционера России (кн. Кропоткин, Герман Лопатин, Вера Фигнер), заклеили Бурцева как клеветника, положение Азефа в партии упрочилось бы ненадолго. Весь материал обвинения (кроме убийственного свидетельства Лопухина) был ему хорошо известен², и, по-видимому, Азеф считал этот материал не очень опасным. Уже после разоблачения он писал генералу Герасимову: «Все это могло кончиться не так плохо, а может, и хорошо, если бы удалось установить свое алиби. Но это не удалось³. Последней причиной провала было именно неудачное алиби, да и сам визит Азефа к Лопухину. В том же самом письме к Герасимову Азеф пишет: «Словом, было роковой ошибкой мое и Ваше посещение к Л. Когда Бог хочет наказать кого, то отнимает у него разум». Это свое письмо к генералу Герасимову, начинающееся словами «Дело дрянь», Азеф написал на следующий день после бегства. Он просил выдать ему «жалованье за декабрь», если можно, и пособие, а заодно запрашивал, нельзя ли получить место, «лучше всего по инженерной части... Инженер я не скверный». Азеф оставлял также распоряжение на случай, если бы мерзавцам (то есть рево-

¹ Первая жена Азефа, не подозревавшая о его истинной роли, навсегда порвала с ним после разоблачения.

² А. А. Аргунов. Азеф — социалист-революционер

³ Письмо Азефа к ген. Герасимову от 25 декабря (старого стиля) 1909 г. Архив В.К. Агафонова. — Речь идет о берлинском алиби Азефа. Как известно, узнав о том, что Лопухин назвал его имя Бурцеву, Азеф полетел в Петербург и, явившись к Лопухину, добивался его отказа от сказанных слов. Лопухин сообщил о неожиданном визите А. А. Аргунову. Это и погубило Азефа. Товарищам по партии он объяснил, что ездил в Берлин. Для установления его алиби ген. Герасимов послал в Берлин с соответствующими бумагами одного из своих агентов Агент, однако, оказался неопытным человеком, прописался не там, где следовало (в подозрительных номерах «Керчь»), и вдобавок (вероятно, для увеличения своих суточных) указал в счете гостиницы больше дней, чем было нужно. Благодаря ряду более или менее случайных удач, В.О. Фабрикант, посланный партией в Берлин с целью проверки алиби Азефа и остановившийся в той же гостинице, неопровержимо выяснил, что в номерах «Керчи» жил не Азеф.

люционерам. — М. А.) удалось меня разыскать и покончить со мной».

В тот же самый день он писал письмо и Центральному Комитету партии — но в совершенно ином, глубоко возмущенном тоне: «Оскорбление такое, как оно нанесено мне вами, знайте, не прощается и не забывается. Будет время, когда вы дадите за меня отчет партии и моим близким. В этом я уверен. В настоящее время я счастлив, что чувствую силы с вами, господа, не считаться. Моя работа в прошлом дает мне эти силы и подымает меня над смрадом и грязью, которой вы окружены теперь и забросали меня». Азеф очень любил выражаться с достоинством.

Оставив Париж с его неприятными воспоминаниями, Азеф с немкой отправился путешествовать. Они побывали в Италии, в Греции, в Египте, долго прожили в Люксоре, затем вернулись в Германию. У Азефа было несколько русских паспортов, он пользовался то одним, то другим. Но, по-видимому, Азеф не так уж опасался преследований со стороны партии. К боевой технике революционеров Азеф всегда относился с совершенным презрением¹. В том же письме к Герасимову он говорит: «Если они (социалисты-революционеры. — М. А.) догадаются обратиться к частным детективам, то те, пожалуй, и попадут на (мой) след». В его словах, собственно, заключалась злая насмешка: Боевая Организация, обращающаяся к частным детективам для того, чтобы выследить своего бывшего вождя!

Как бы то ни было, Азеф не прибегал к гриму. Я видел его фотографию, снятую после разоблачения, в Остенде: Азеф в полосатом купальном костюме выходит из воды под руку с немкой. На его лице блаженная, сияющая улыбка. Тут же рядом улыбаются фотографу другие купальщики. Они, наверное, никак не предполагали, что так благодушно и весело снимаются в обществе одного из самых страшных людей в истории.

В 1910 году Азеф окончательно поселился в Берлине, снял квартиру на Luitpoldstrasse, 21, и обзавелся мебелью. По подсчетам Б. И. Николаевского, на подарки своей сожительнице и на устройство квартиры Азеф истратил около 100 тысяч марок. Тот же исследователь определяет приблизительно его состояние в 150—180 тысяч марок (около миллиона франков). Однако при таком сравнительно скромном

¹ Руководящие указания Азефа порою (особенно в делах о покушении на Столыпина и об изготовлении аэроплана для террористических актов) имели характер совершенного издевательства над террористами.

достатке люди в то время, особенно в Германии, не тратили на обстановку и бриллианты 100 тысяч марок. Вероятно, Азеф был значительно богаче.

Происхождение его богатства никаких сомнений вызывать не может. Жалованье, которое платил Азефу департамент полиции, было очень велико для агента, но из него скопить состояние было все-таки трудно¹. Крупных сумм департамент полиции не давал ему никогда. Мы имеем даже основание думать, что Азеф мог бы выторговывать больше, чем получал в действительности: «Если бы надо было, ему не только тысячу (в месяц), но и пять тысяч заплатили бы», — показывал А. В. Герасимов Следственной Комиссии Временного правительства². Департамент вообще не любил выдавать крупные суммы агентам. Кажется, только Гапон получил сразу много денег — это в самом деле было очень опасной игрой³. Но Азеф, прежде часто просивший о прибавке, после первой революции уже не мог по-настоящему интересоваться своим агентским окладом (вероятно, поэтому и продешевил). У него оказался гораздо лучший источник дохода: касса Боевой Организации партии социалистов-революционеров.

«Денег было много, — пишет А. А. Аргунов в своих воспоминаниях об этом периоде в истории партии. — Кроме специальных «боевых» сумм, оставшихся в особом Фонде Боевой Организации от прежних лет и находившихся в

¹ В упомянутом выше последнем его письме, сейчас после разоблачения, он просил Герасимова о деньгах (и о службе), наверное, для того, чтобы разжалобить своей судьбой департамент полиции: «Я ушел без всего, очень мало денег у меня, и без платья». Азеф, собственно, даже и не так настойчиво просил: «Не может быть речи о каком-нибудь постоянном вознаграждении. Думаю, что за декабрь полагается, а дальше решайте сами». За декабрь ему действительно «полагалось» — он был разоблачен только 23 декабря (ст. ст.), — что ж дарить свой заработок? Но, конечно, ни пособие, ни служба не были нужны Азефу. Какую службу он мог принять в России, где только о нем и говорили, везде со скрежетом зубовым! В действительности ему были, вероятно, нужны паспорта департамента полиции и, быть может, его протекция для свободного жительства в Германии.

² Материалы. Т. III, с. 15.

³ Гапон щедро раздавал деньги направо и налево. О. С. Минор рассказывал мне следующую сцену, личным свидетелем которой он был в Женеве. Они сидели вдвоем на балконе квартиры Гапона, против кафе Ландольта. В дверь постучали; в комнату вошел Ленин. Он отозвал Гапона в глубь комнаты и пошептался с ним; затем Гапон на глазах О. С. Минора вынул из бумажника пачку ассигнаций и передал ее Ленину, который тотчас удалился, очень довольный. Эти деньги не принадлежали департаменту полиции, но позднее Гапон, вероятно, давал деньгам департамента самое неожиданное назначение.

распоряжении и на отчете Азефа (отчета он никому не давал и в том числе и ЦК), были изысканы новые источники пожертвований на боевое дело... Насколько богата была касса ЦК, можно судить по тому, что в 1906 г. (с весны по зиму) расход доходил до 1000 рублей в день, не считая трат на боевые дела... Отношение к боевому делу всегда было такое: сколько просит боевая организация, столько и давать надо». Впоследствии партийно-следственная комиссия по делу Азефа заинтересовалась вопросом о расходовании сумм Боевой Организации. «Крал ли Азеф? — спрашивает тов. Ц. и отвечает: — Я убежден, что он крал». Тов. Ц. «так полагает не только потому, что вся постановка дела давала для этого возможность, но и потому, что теперь ему припоминаются некоторые черты из поведения Азефа, на которые он своевременно не обратил надлежащего внимания»¹. Под литерой Ц. в отчете комиссии значился не кто иной, как Б. В. Савинков, еще незадолго до того «любивший Азефа, как брата».

Х

Азеф зажил в Берлине тихой, покойной жизнью примиренного с миром человека. Прописался он под именем Александра Неймайера. Интересно то, что если не все, то многие из псевдонимов, которыми Азеф пользовался в последние годы своей жизни («Неймайер», «Черкас»), были у него в ходу и в пору его террористической деятельности. Это тоже как будто показывает, что он не слишком боялся слежки.

Александр Неймайер занялся коммерческими делами. Он играл на бирже — порой с немалым успехом, — обзавелся немецкими приятелями. У него часто собирались гости, играли в карты и пили «настоящий русский чай»: Азеф вывез из Петербурга самовар. В Вильмерсдорфе, который тогда был кварталом обеспеченных, солидных, почтенных немцев, Неймайер с супругой имели репутацию хлебосольных гостеприимных хозяев. Азеф жил в свое удовольствие, посещал увеселительные места, оперетку, осматривал разные достопримечательности. Часто уезжал на курорты, притом на хорошие, в Нейенар, на Ривьеру, даже в Трувилль, бывший в ту пору самым модным летним «пляжем» в Европе. На курортах он вел большую игру — так, например, в 1911 г. проиграл 75 тысяч зол. франков. Свою сожи-

¹ Заключение судебно-следственной комиссии. С. 54.

тельницу он очень любил. Б. И. Николаевский, читавший его немецкие письма к ней, говорит, что написаны они чрезвычайно нежно. Азеф называл немку Муши, а сам подписывался «Твой единственный Муши-Пуши», «твой единственный бедный зайчик» и т. д. О себе он обычно писал в третьем лице, нежно называя себя «папочка». Бывали и ласковые диссонансы. Иногда Азеф вставлял в письма русские выражения, именуемые у нас трехэтажными, причем выписывал их латинскими буквами: Муши, очевидно, кое-чему научилась в петербургских и киевских кафешантанах; но читать по-русски она не умела.

На курортах, да и в Берлине, Азеф очень легко мог наткнуться на неприятных знакомых. В Нейенаре, где он лечился, он просматривал списки вновь прибывших русских, но никаких мер предосторожности не принимал. Думаю, он совершенно не верил в то, что партия его убьет. И в самом деле, партия в те годы (в значительной мере благодаря ему) находилась в полном упадке. Одни социалисты-революционеры погибли; другие сидели в тюрьмах; Савинков занимался литературой; большинство эмигрантов «ушло в личную жизнь». Об убийстве Азефа очень думал А. А. Аргунов: он даже ездил (с браунингом) в Берлин разыскивать своего старого приятеля — не нашел. При случае социалисты-революционеры убили бы Азефа (попытки выследить изменника предпринимались); но «задачей текущего момента» его убийство не было.

Летом 1912 г. Азефа, однако, постигла неприятность. В нейенарском парке, у вод, на него случайно наткнулись люди, когда-то его знавшие. Им удалось заметить номер стакана, которым пил воду Азеф. Эти номера в Нейенаре соответствуют номерам курортной карты. Оказалось, что под таким номером значится в книгах купец Неймайер из Берлина, живущий в отеле «Вестенд». О встрече было немедленно сообщено В. Л. Бурцеву.

Бурцев поступил по-своему, то есть так, как, вероятно, не поступил бы никто другой. Он написал Азефу письмо, в котором просил его о свидании. «Нам необходимо видаться с Вами, — писал Бурцев, — и переговорить о вопросах чрезвычайной важности. Разумеется, не может быть никакой мысли о «засаде» с моей стороны. Если вы читали мое «Будущее», то Вы знаете, что переговоры с Вами для меня важнее всех засад, так как они прольют верный свет на важнейшие исторические вопросы». Мне неизвестно, читал ли Азеф «Будущее», но, очевидно, выяснение важнейших исторических вопросов не могло особенно его интересовать: он

историком не был; вдобавок и «верный свет» не так уж был для него выгоден. Однако в письме Бурцева была и следующая фраза: «Если вы не откликнетесь... я перенесу все нынешние сведения (то есть адрес Азефа. — М. А.) в печать и в то же время их отдам партии эсеров»¹.

Азеф встрепнулся. Он немедленно сдал свою берлинскую квартиру, отослал Муши к ее матушке в провинцию, затем — затем он написал Бурцеву, что согласен на свидание! «Предложение Ваше принято. Оно совпадает с моим давнишним желанием установить правду в моем деле. Я раз писал жене об этом моем желании, но не получил ответа».

Встреча произошла 15 августа 1912 г. во Франкфурте, в кафе «Бристоль». В. Л. Бурцев в час дня вошел в кофейню. «И вот в глубине зала, около одного столика, поднялась грузная фигура... Азеф обеими руками опирался о стол... Он как будто даже растерялся, когда я протянул ему руку. Некоторое время я стоял перед Азефом с протянутой рукой, пока он, наконец, не понял, что я действительно хочу с ним поздороваться, и только тогда он протянул мне руку...» Как будто даже растерялся? Может быть, и в самом деле «как будто». По-видимому, старый провокатор решил выступить в непривычной для него роли — роли кающегося грешника, пораженного великодушием врага. Он объявил Бурцеву, что требует «суда над собой своих бывших товарищей», и, в случае смертного приговора, покончит жизнь самоубийством. После этого ценного сообщения Азеф стал проливать свет на прошлое, иными словами, стал врать самым беззастенчивым образом. Он уверял, например, Бурцева, что не ч а я н н о выдал департаменту полиции группу «семи повешенных»! Так буквально и сказал: нечаянно проговорился в беседе с Герасимовым.

Разговор в кофейне продолжался несколько часов. Бурцев заказал себе бифштекс. Азеф скромно спросил порцию картошки и пояснил: «Я — вегетарианец». Душа Азефа не мирилась с пролитием крови животных. Он ел картошку — и говорил, говорил...

¹ В действительности В. Л. Бурцев начал с того, что сообщил партии сведения своих нейенарских корреспондентов. Социалисты-революционеры послали в Нейенар членов Боевой Организации. Однако, вследствие случайной ошибки, те Азефа не нашли. При очень большой настойчивости его, вероятно, можно было найти на курорте, даже с ошибочным адресом (Азеф 2 августа переехал из Нейенара в Баден-Баден, оставив свой адрес на почте).

Надо отдать должное таланту несравненного актера. Азеф почти убедил Бурцева в том, что жаждет суда! «Проговоривши с Азефом в три приема, всего 10—12 часов, — пишет Бурцев, — я пришел к убеждению, что он в то время действительно хотел над собой суда своих бывших товарищей». Впрочем, полной уверенности у В. Л. Бурцева не было. «Общее впечатление, которое я мог вынести из свиданий с Азефом, таково, что он м о г и был способен и дальше жить без суда над ним. На это у него, по-видимому, хватало силы воли». Я тоже думаю: мог, и был способен, и хватало силы воли. Думаю даже, что разговоры о суде, разные «предсмертные распоряжения» доставляли Азефу некоторое удовольствие. По крайней мере, после встречи во Франкфурте он прислал Бурцеву длинное письмо, в котором подробно, в пяти параграфах, излагал условия «суда». В параграфе втором говорилось: «Суд должен мне свой приговор объявить, и я его приведу сам в исполнение в 24 часа, время, которое мне нужно для предсмертных писем и т. д.». В. Л. Бурцев не сообщает точно, когда и откуда Азеф прислал ему это письмо в древнеримском духе. Но по бумагам Азефа мы теперь знаем, что прямо из Франкфурта он поехал в Трувилль и — верно с отчаяния — повел игру в довилльском казино. Свидание с Бурцевым было 15 августа, а 23 августа Азеф жаловался Муши в письме, явно не носившем предсмертного характера: «У других бывает счастье — только у папочки никогда. Удивительно! Когда я сегодня держал банк, то его сорвали на втором круге!» Кажется, папочка был настроен не так уж трагически.

Зачем нужна была Азефу встреча с Бурцевым, все это иудушкино пустословие о суде? Б. И. Николаевский высказывает предположение, что письма, которые Азеф писал через жену своим бывшим товарищам, заявление о готовности предстать перед судом партии, были для Азефа лишь военной хитростью. Он к ним прибегал, желая показать революционерам, что у него больше нет желания им вредить. Могло быть, конечно, и такое побуждение, но, собственно, вредить Азеф больше не мог. Надо принять во внимание и то, что встреча с Бурцевым была все же очень рискованной игрой. Бурцев сам в 1909 г. просил Савинкова «отдать» ему Азефа¹. Он мог, умышленно или случайно, сообщить о предполагавшейся встрече и социалистам-революционерам (как сообщил им о нейнарском письме). Мы знаем, что, отправляясь во

¹ Преданные Бурцеву люди еще до разоблачения предлагали ему без всякого суда покончить с Азефом

Франкфурт, Азеф составил завещание. Знаем и то, что именно после встречи с Бурцевым он стал принимать меры предосторожности, которых не принимал прежде: зимой 1912/13 г. он все заметал свои следы, ездил, менял гостиницы и паспорта. Возможно, что психология встречи с Бурцевым была гораздо более сложной. Люди, прошедшие школу смерти, иногда совершают поступки непостижимые. Когда Гершуни был арестован, Плеве без всякой надобности появился в тюрьме: на мгновение вошел в камеру, взглянул на знаменитого террориста и вышел... Зачем?..

Во франкфуртской поездке Азефа сказались две его основные черты: инстинкт отчаянного игрока и непреодолимая потребность в актерстве. Свидание с Бурцевым было одним из острых, жгучих ощущений, к которым вся жизнь приучила Азефа и которых он был лишен в последние три года: карточная игра, даже очень крупная, их заменить не могла. Старый игрок почувствовал желание вновь прикоснуться к мгновению к навсегда ушедшему от него миру. Актер опять попробовал свои силы — новая роль сошла очень недурно.

XI

Кара все же пришла, правда, не слишком жестокая. Азефа погубила война. Все его состояние было вложено в русские бумаги. С минуты объявления войны они утратили ценность в Германии. Положение семьи Неймайеров стало критическим. С горя они открыли в Берлине корсетную мастерскую. Муши изготовляла корсеты, Азеф взял на себя руководство коммерческой стороной дела. Он оказался на должной высоте и вел корсетное дело так же предусмотрительно, как в свое время дела террористические. Здравый смысл заменял гений Азефу. Когда-то он толково объяснял членам Боевой Организации, что «динамитные жилеты» никуда не годятся, так как можно убить человека и не взрываясь с ним вместе на воздух. Теперь он столь же толково учил Муши, что корсеты надо изготовлять мелких размеров, ибо «война, по-видимому, затянется, и дамы, сидя на тощей диете, будут продолжать худеть». В Азефе лавочник отлично совмещался с убийцей.

Первый год войны прошел сравнительно сносно. Но летом 1915 г. Азеф был неожиданно арестован на улице агентом немецкой уголовной полиции. Причина ареста была Азефу непонятна; не очень понятна она и нам. По словам Николаевского, Неймайер в кофейне на Фридрихштрассе

наткнулся на какого-то человека, который узнал в нем Азефа. Однако можно с большой вероятностью утверждать, что германская полиция и до этой случайной встречи прекрасно знала, какое лицо под именем Неймайера пользуется пять лет гостеприимством города Берлина. Сам Азеф сначала предположил, что его подозревают в «сношениях с русским правительством». Он подал из тюрьмы оправдательную записку, в которой клялся, что с 1910 года никаких сношений с русскими властями не поддерживает. Позднее, однако, выяснилось, что арестовали Неймайера отнюдь не как секретного сотрудника русского департамента полиции, а как опаснейшего анархиста. Пораженный Азеф подал новую записку. В ней он божился, что никогда анархистом не был, а всегда верой и правдой служил департаменту полиции. Да и эта служба, пояснял он, дело далекого прошлого: теперь он просто мирный купец, желающий честно зарабатывать свой хлеб. Записки Азефа, однако, не произвели должного впечатления на берлинского полицейского-президента. Едва ли фон Ягов мог не знать того, что после нашумевших разоблачений Бурцева знал каждый мальчишка в Европе. Повторяю, не все ясно в этом аресте. Вероятно, берлинская полиция просто рассудила, что в военное время лучше такому человеку, как Азеф, находиться в Моабитской тюрьме, чем заниматься на свободе делами, хотя бы и корсетными.

Несмотря на все протесты и ходатайства, Азеф пробыл в заключении два с половиной года. Содержался он в условиях довольно сносных, однако был ими очень недоволен. В ответ на жалобы Азефа немецкая администрация любезно предложила ему перейти из тюрьмы в лагерь для гражданских пленных русской национальности. Это предложение Азеф отклонил.

Б. И. Николаевский напечатал выдержки из тюремных писем Азефа. Они изумительны по бесстыдству. Их тон — тон дневника, который Альфред Дрейфус вел на Чертовом Острове. С Дрейфусом, впрочем, Азеф сравнивает себя и сам: «Меня постигло, — пишет он, — величайшее несчастье, которое может постигнуть невинного человека и которое можно сравнить только с несчастьем Дрейфуса». Заодно Азеф скорбит и обо всем страждущем человечестве. Его чрезвычайно угнетает «молох войны» — как это, в самом деле, люди так жестоки друг к другу! «Слабый луч надежды» приносит ему, правда, русская революция: обстановка изменилась, и о мерзавцах писать больше незачем. Азефа радует поездка Ленина из Швейцарии в Петербург —

«почтительное отношение Германии к едущей в Россию группе социал-демократов пацифистского направления». Он и сам с удовольствием принял бы участие в строительстве новой России: «Я хотел бы помочь в работах по окончанию этого здания, если я не принимал участия в их начале». Максим Горький сказал как-то венгерскому военнопленному, что «людям не хватает любви друг к другу, и что будущий интернационализм будет не социализмом, а любовью к людям». Азеф приветствует эти трогательные слова, отмечая (быть может, не без свойственного ему почти незаметного зловещего юмора), что Горький «хотя и поэт, но в то же время и весьма реальный политик». В общем, Азеф, по-видимому, был вполне доволен ходом русской революции. «Россия принесет мир человечеству. Ex oriente lux!» — в порыве бодрости пишет он Муши, одновременно давая указания и насчет изготовления корсетов.

Впрочем, Азеф искал утешения не только в радостных политических событиях. Он искал утешения также в нравственном самоусовершенствовании: «После молитвы, — пишет он, — я обычно бываю радостен и чувствую себя хорошо и сильным душою. Даже страдания порою укрепляют меня. Да, и в страданиях бывает счастье — близость к Богу». Ко дню рождения Муши он составил для нее таблицу морально-философских правил — так 17-летний Николенька Иртенев писал «Правила жизни». Привожу некоторые из наставлений старого Азефа: «Пиши лишь то, что можешь подписать... Сделай лишь то, о чем можешь сказать... Наперед прощай всех... Не презирай людей, не ненавидь их, не высмеивай их чрезмерно — жалея их...»

Б. И. Николаевский высказывает предположение, что в своих письмах Азеф задавался целью угодить берлинскому полицей-президиуму. Думаю, что фон Ягов этих писем в глаза не видел — он был и без того достаточно занят. Да и тюремные цензоры (от которых совершенно не зависела участь Азефа), вероятно, читали его мысли не слишком внимательно — отношение Неймайера к Богу, к миру и к людям им было, наверное, вполне безразлично. К тому же берлинской полиции отнюдь не должно было бы понравиться, например, то обстоятельство, что посаженный ею в тюрьму человек сравнивает себя с Дрейфусом. Насколько я могу судить, у Азефа, как у многих закоренелых разбойников, на старости лет развилась страсть к слезливому многословию. Он теперь действительно «писал лишь то, что мог подписать», — но это писал с удовольствием и в неограниченном количестве.

После октябрьской революции Азефа выпустили на свободу — в сущности, так же непонятно, как в свое время арестовали. Его сожительница рассказывала Николаевскому, что для заработка Неймайер поступил на службу — в германское министерство иностранных дел. От себя замечу: указание чрезвычайно интересное. В дипломаты Азеф очевидно не годился. Не мог он быть приглашен и сверхштатным служащим: в министерства иностранных дел на должности я в н ы е иностранцев нигде не принимают; Азеф вдобавок и по-немецки писал безграмотно. Остается предположить, что германское правительство хотело его использовать для каких-либо темных дел военного времени. Там, в 1918 году, испытанные таланты Азефа бесспорно могли пригодиться. Быть может, поэтому его и выпустили из тюрьмы. Быть может, поэтому он после освобождения уверял Муши, что мечтает о скорейшем отъезде в Швейцарию из страны, где с ним обошлись так плохо. Швейцария была в 1918 году главным центром мирового шпионажа. Но все это лишь мое предположение. Азеф, наверное, унес с собой в могилу не одну тайну, и мы не можем утверждать, что он собирался начать новую жизнь... — в качестве германского шпиона. Дни короля предателей уже приближались к концу.

XII

В книге Литтона Стрэчи «Елизавета и Эссекс» есть незабываемая страница: смерть страшного короля Филиппа II. Король-инквизитор, покрытый гниющими язвами, умирал в нечеловеческих страданиях, «в экстазе и в муке, в нелепости и в величии, жалкий и счастливый, праведный и ужасный». «Совесть его была спокойна, — говорит Стрэчи. — Он всегда исполнял свой долг. Он всю жизнь трудился в крайнюю меру сил. Только одна мысль угнетала Филиппа II: был ли он достаточно усерден в деле казни еретиков? Конечно, он сжег их много. Но, может быть, надо было их сжечь еще больше?..»

Я не могу привести целиком эту страницу знаменитого английского писателя. Ему вполне удался образ трагического злодея. Теперь, пожалуй, трагических злодеев не бывает. Азеф был злодей совершенно будничным. Одни изображают его демоном, другие мешанином-коммерсантом. Думаю, что истина лежит приблизительно посередине. Азеф мог так же хорошо торговать селедкой, как торговал человеческой жизнью. Но все же, по призванию (совершен-

но добровольно), он набрал для торговли не селедку, а человеческую жизнь.

Психология секретной агентуры, должно быть, сложнее, чем обычно думают, — здесь бывают поистине непостижимые явления. История русской революции знает случай, когда террорист отсидел двадцать лет в крепости, а затем, выйдя на свободу, предложил свои услуги департаменту полиции, — вот, можно сказать, устроил человек свою жизнь в полном соответствии с требованиями здравого смысла и личной выгоды!..

Я не знаю, можно ли говорить о нормальном типе секретного агента. Но обычно во всем мире бывало так: революционер попадался, ему грозила тяжкая участь, он давал откровенные показания — дальше все следовало как по рельсам. Карьера Азефа с самого начала пошла не по этим рельсам агентуры. Он предложил свои услуги департаменту добровольно. В причинах его поступка далеко не все так просто, как кажется. Пятьдесят рублей в месяц были очень небольшие деньги (будущих благ Азеф в 1893 году никак предвидеть не мог). В среде русской учащейся молодежи умереть с голоду было трудно: студенты помогали друг другу¹. Существовали и благотворительные организации; богатые люди в России и за границей содержали множество стипендиатов. Но если и предположить, что материальная нужда была единственным убеждением Азефа, то это побуждение могло действовать только до окончания им политехнической школы. Перед инженером-электротехником открывалась нормальная и выгодная карьера; никто не мешал молодому инженеру Азефу оставить ремесло осведомителя. Секретный агент (не зашедший чересчур далеко) почти всегда мог безопасно отделаться от службы: когда его сообщения переставали быть интересными, департамент полиции прекращал уплату жалованья — и только. Говорю это и на основании свидетельств видных деятелей департамента, и по простым логическим соображениям: насильно, путем угроз, нельзя заставить людей исполнять эту службу как следует.

В воспоминаниях революционеров об Азефе его действия часто объясняются трусостью. «Нам, вместе работавшим с Азефом, — пишет, например, П. Ивановская, —

¹ Это подтвердил мне инженер С И Лихтенштейн, учившийся с Азефом в Карлсруэ

кажется, не без основания, что самым сильным дьяволом в его душе была подлая его трусость». Объяснение это ровно ничего не объясняет. Оно прежде всего оставляет непонятым, зачем стал секретным агентом человек, находившийся в полной безопасности. Да и трудно вообще говорить серьезно о трусости Азефа. Его карьера была страшной и в переносном, и в прямом смысле слова. За любое из своих террористических дел он непременно был бы повешен, если бы правительство своевременно узнало о его настоящей роли. За выдачу террористов его убили бы революционеры, если бы им стала известна правда. А ведь и то и другое могло случиться каждую минуту. Не говорю уже о косвенной (далеко не шуточной) опасности, беспрестанно грозившей Азефу в процессе его технической работы. «Он сто раз мог быть разорван взрывом», — говорит В. М. Зензинов, описывая их снаряды, «динамитные жилеты», которые они в свое время изготовляли и на себе примеряли. Нервы у Азефа были, конечно, нечеловеческой крепости.

Очень трудно понять и те объяснения, которые давались измене Азефа деятелями департамента полиции. «Я склонен думать, — писал Ратаев, — что... истинной причиной было знакомство и сближение с Гершуни. Оно сыграло роковую роль в карьере Азефа и послужило, вероятно, побудительным толчком к предательству. Надо помнить, что ведь Азеф до поступления на службу не был революционером, и весьма возможно, что, не отдавая себе сразу отчета, исподволь и постепенно подчинился влиянию и обаянию личности Гершуни. Этот человек, как известно, производил сильное впечатление на всех, с кем сходиллся. Был ли то известный гипноз, или результат необычайно развитой силы воли, или же воздействие глубокого искреннего убеждения, не знаю...» Наивность этого объяснения бросается в глаза. Азеф — поддавался чарам глубокого искреннего убеждения! И, поддаваясь чарам убеждения, начал подводить не только революционеров под виселицу, но и министров под бомбу! Показания из революционного лагеря (который, конечно, мог знать это гораздо лучше) не дают никакого материала для вывода о влиянии Гершуни на Азефа. Глубоко убежденных революционеров Азеф немало видел на своего веку. В своем письме к ген. Герасимову он называл террористов мерзавцами, пожалуй, довольно «искренно». Можно с большой вероятностью сказать, что Азеф прибли-

зительно так же любил революционеров, начиная с Гершуни, как деятелей старого строя во главе с Плеве¹.

Главной страстью Азефа была игра — игра во всех смыслах слова. Эта страсть сочеталась с полным отсутствием каких бы то ни было сдерживающих начал, кроме соображений личной выгоды. Своеобразная профессия укрепляла своеобразную психологию. Едва ли Азеф был «садиически жесток», но, вероятно, ему нравилась стихия, в которой роль его была так велика.

Чрезвычайно интересное сообщение мы находим в письме Ратаева к Зубову от 20 октября 1910 г.: «Азеф, — пишет Ратаев, — работал не только на русскую революцию, но обучал и иностранных революционеров. В начале 1905 г. мне пришлось натолкнуться на серьезную организацию армян-дрошакистов и македонских революционеров, которые, вступив в союз с русскими террористами, водворяли через Черное море, преимущественно на Кавказ, оружие и взрывчатые вещества. Не довольствуясь личной поездкой в Болгарию и Константинополь, я командировал туда Азефа, который, ознакомившись детально с организацией, сообщил мне весьма важные и интересные сведения... Вскоре после отъезда Азефа с Балканского полуострова, кажется, 11 или 12 июля 1906 г., в Константинополе, в пределах Ильдиз-Киоска, во время селямлика, совершено было покушение на жизнь ныне низложенного султана Абдул-Гамида, и именно тем способом, которые Азеф пожелал применить против В. К. Плеве, то есть посредством автомобиля, начиненного динамитом, на котором прибыли на парад два знаменитых иностранца. Очевидно, Азеф исполнял служебное поручение в силу своего принципа «делу время, потехе час», придумал и проделал вместе с армянами покушение на султана, а затем, по своему обыкновению, уехал благополучно домой». Я пытался навести справки об этом деле у армянских политических деятелей. Они решительно отрицают участие Азефа в покушении на Абдул-Гамида. Но участие могло быть косвенным и незаметным — я не сказал бы с уверенностью, что Ратаев ошибся. Во всяком случае, его замечание «делу время, потехе час» свидетель-

¹ Зубатов рассказывает, что Азеф «трясся от ярости и с ненавистью говорил о В. К. Плеве».

ствуется о тонком понимании психологии Азефа. Для дела надо было убивать русских министров и революционеров. А для потехи не мешало отправить на тот свет и турецкого султана с несколькими армянами, тем более что при случае и это могло оказаться небезвыгодным. Подобный подвиг должен был даже особенно соблазнять Азефа. Быть может, и ему не удалось в жизни самое высокое.

В развинченной душе Азефа по необходимости существовали два мира: мир социалистов-революционеров и мир департамента полиции. Ни один из этих миров не был его собственным миром. И в обоих он, конечно, должен был всегда чувствовать себя дома. Его тренировка в этом смысле граничит с чудесным. Азефа выдали другие; сам он ничем себя ни разу за долгие годы не выдал. В каждом из миров своей двойной жизни он позволял себе и роскошь оттенков. Надо прочесть его письма в департамент: Азеф говорит с Ратаевым не так, как с Зубатовым, а с Зубатовым опять не так, как с Герасимовым. Такие же различия он делает в лагере революционеров. Во Франкфурте он говорил Бурцеву, что презирал Савинкова и чрезвычайно чтит Сазонова. Дело, конечно, не в оценке, — и уважению, и презрению Азефа цена одна и та же. Но он, как немногие другие, чувствовал все виды различия между деятелями революционного лагеря.

Величайший знаток людей, мимоходом взглянувший на революционеров, сказал: «Это не были сплошные злодеи, как их представляют себе одни, и не были сплошные герои, какими их считали другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, и дурные, и средние люди... Те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты: те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его» (Л. Толстой). По свойственному его уму и умению разбираться в людях, Азеф при Савинкове, например, не стал бы из ригоризма отказываться на вокзале от услуг носильщика. Но в присутствии того же Савинкова, в ответ на предложение А. Гоца взорвать дом Дурново, Азеф прочувствованно сказал: «Я согласен только в том случае, если пойду впереди... В таких делах, в открытых нападениях, необходимо, чтобы руководитель шел впереди. Я должен идти». Савинков и Гоц горячо умоляли его побереечь свою драгоценную жизнь: «Организация не может жертвовать Азефом»... Азеф задумался, потом он сказал: «Ну, хорошо...»

Повторяю, у этого человека было чувство юмора. «Иронический» был человек — в том смысле, какой давал слову Достоевский. В пору Лондонской партийной конференции он попросил одного из ее видных участников зайти с ним на почту и в его присутствии сдал чиновнику толстый заказной пакет. Товарищ Азефа удивлялся, куда это и о чем Иван Николаевич шлет такие длинные письма? Разумеется, пакет заключал в себе подробный отчет о конференции и посылался в департамент полиции. Едва ли было благоразумно сдавать пакет в присутствии товарища. Столь неосторожный поступок мог позволить себе лишь большой мастер, притом юмористически настроенный. «Делу время, потехе час». Притом, где же кончается дело, где начинается потеха?

Перед судом над Бурцевым Азеф написал Савинкову длинное письмо, в котором незаметно подсказывал ему, для его речи на суде, все доводы в свою защиту. По тонкости диалектики это письмо сделало бы честь лучшему адвокату. Начиналось оно словами: «Дорогой мой. Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотой и любовью. Спасибо, дорогой мой». Есть и такая фраза: «Противно все это писать. Но вместе с тем меня и смех разбieraет. Уж больно смешон Бурцев...» Очень может быть, что Азефа и в самом деле разбирал смех — когда он себе представлял, с каким волнением Савинков будет читать это письмо.

Настоящего внутреннего мира у Азефа, быть может, вовсе и не было. Было что-то довольно бесформенное, включавшее в себя любовь к риску, любовь к деньгам, любовь к ролям, в особенности к ролям трогательным. Человек, очень хорошо его знавший, говорил мне, что Азеф всегда был «слаб на слезы». Я думаю, он не только в отношениях с Муши, но и в своей ужасной двойной жизни чувствовал себя порою «единственным бедным зайчиком». Все это было окрашено цинизмом — впрочем, очень легким. Могла быть и мания величия, тоже очень легкая. В тюрьме он читал Штирнера, «Единственный и его достояние»: вероятно, он себе казался единственным и в штирнеровском смысле. По-своему он «единственным» и был: очень трудно себе представить более совершенный образец морального идиотизма при немалом житейском уме, при огромной выдержке. Никакие сомнения его не тревожили: он и без борьбы обрел право свое.

Говорили мне, что этот человек — переходная ступень к удаву — очень любил музыку, музыку кабаков и кафе-концертов: слушал будто бы с умилением и восторгом. Может быть, немного и дурел, как змеи от флейты?

Здоровье Азефа сдало в годы войны и тюремного заключения. Вероятно, на нем отразилось недоедание тех лет, весьма серьезное в Германии. У него развилась болезнь почек, осложнившаяся болезнью сердца. В апреле 1918 г. он слег в больницу (Krankenhaus Westens). Через несколько дней, 24 апреля, в 4 часа пополудни, Азеф умер.

Верная немка похоронила его по второму разряду на Вильмерсдорфском кладбище. Надписи на могиле нет никакой, во избежание неприятностей («вот рядом тоже русские лежат»). Есть только номер места: 446.

УБИЙСТВО УРИЦКОГО

I

Сократ. Или ничего не стоили, по-твоему, те божественные люди, которые сражались под стенами Трои, и первый из них, бесстрашный сын Фетиды. Ему ведь сказала богиня: если ты отомстишь за Патрокла, ждет тебя неминуемая гибель. А он ей ответил: презираю я смерть и презираю опасность. Хуже мне жить, не отомстив за моего друга.

Платон

«Не подлежит никакому сомнению, что всякое политическое убийство есть гнусное преступление».

Так писал в передовой статье, по поводу гибели Воровского, один весьма влиятельный орган печати.

Выстрел Мориса Конради нельзя назвать иначе, как бессмысленным актом; он особенно нелеп потому, что Воровский был, насколько могу о нем судить, честный и убежденный человек, *лично* неповинный в преступлениях советской власти.

И все-таки уж очень категорически выражается влиятельный орган печати. Неужели «не подлежит никакому сомнению»? И уж будто «всякое»? И так-таки «гнусное преступление»?

Платон, Шекспир, Вольтер, Мирабо, Шенье, Гюго, Пушкин, Герцен были совершенно не согласны с передовиком влиятельного органа печати.

Шекспир изобразил убийцу Цезаря несравненным образцом добродетели. Ни единого пятнышка не наложил он на облик Юния Брута. Дело не в том, верно ли это исторически. Дело даже не в том, сочувствовал ли великий драматург убийству римского диктатора. Важно, что он допускал возможность самых чистых и благородных побуждений у окровавленного политического террориста.

Историки, политики, поэты вот почти полтора столетия совершенно по-разному расценивают поступок Шарлотты Корде. Но разногласия больше не касаются ее личности. Только несколько изуверов отрицают высокую красоту морального облика женщины, убившей Марата.

Вечная проблема остается вечной проблемой. Но людей в политике судят не только по делам, — их судят в особенности по словам. Не мешало бы судить и по побуждениям дел.

Следующие ниже страницы относятся к юноше, так трагически погибшему десять лет тому назад. Я хорошо его знал. Беспристрастно, как мог, я собрал сведения об убитом им человеке. То, что я пишу, не история, а источник для нее. У историка будут материалы, каких я не имею. Но и у меня были материалы, которых он иметь не будет, он, никогда не выдавший ни Каннегисера, ни Урицкого¹.

По разным причинам я не ставлю себе задачей характеристику Леонида Каннегисера. Эта тема могла бы соблазнить большого художника; возможно, что для нее когда-нибудь найдется Достоевский. Достоевскому принадлежит по праву и тот город, в котором жил и погиб Каннегисер, страшный Петербург десятых годов.

Скажу лишь, что молодой человек, убивший Урицкого, был исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. Из них были напечатаны, в «Северных записках» и в «Русской мысли», шесть или семь, отнюдь не лучшие. Многое другое он мне читал в свое время. Его наследия мало, чтобы посвятить ему литературно-критический этюд; вполне достаточно, чтобы без колебаний признать в нем дар, не успевший развиться.

Не знаю, сколько именно «пролетарских поэтов» породила большевистская революция, — об их шедеврах что-то не слышно. Вот зато другой, очень неполный список: казнен Гумилев, один из самых крупных талантов последнего десятилетия; казнен девятнадцатилетний князь Палей², в

¹ Это, впрочем, не так уж невыгодно для историка. Ему достанется по крайней мере полная свобода суждения и оценки. У меня полной свободы нет. — Автор.

² Сброшен в шахту за родство с царствовавшей династией, — другой причины не было. — Автор.

котором компетентный человек, А. Ф. Кони, видел надежду русской литературы; казнен Леонид Каннегисер.

Но, говоря об исключительных дарованиях убийцы Урицкого, я имею в виду не только его поэтические произведения. Он всей природой своей был на редкость талантлив.

Судьба поставила его в очень благоприятные условия. Сын знаменитого инженера, имеющего европейское имя, он родился в богатстве, вырос в культурнейшей обстановке, в доме, в котором бывал весь Петербург. В гостиной его родителей царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты со старыми заслуженными генералами.

Этот баловень судьбы, получивший от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер, был несчастнейший из людей.

Мне были недавно даны выдержки из оставшегося после него дневника. Расстрелян тот, кто писал дневник; расстрелян и тот, кто уберег его в дни, последовавшие за убийством Урицкого¹. Чудом уцелели и попали за границу эти записки, с которыми связано воспоминание о погибших людях.

Помнится, Михайловский заметил, что только очень одинокие люди могут вести дневники. Вернее было бы сказать: очень одинокие или очень несчастные. Мария Башкирцева, например, уж никак не жила в одиночестве. Но в своей жизни она не насчитывала ни одного дня без мучений. Почему? Она тоже спрашивала: почему?

Pourquoi, pourquoi dans ton oeuvre céleste
Tant d'éléments si peu d'accord!²

Я не буду говорить подробно о дневнике Леонида Каннегисера, во многих отношениях поистине поразительном. Он начал свои записи в 1914 году, — первая помечена 29-м мая. Война застала его — в Италии — шестнадцатилетним мальчиком. Ему страстно захотелось пойти на фронт добровольцем. Родители его не пустили. Как всех мальчиков, его тянуло на войну именно то, чего на войне нет. Но было еще и нечто другое.

Привожу почти наудачу несколько записей:

¹ Большевикскому следствию этот дневник не дал бы, впрочем, ничего. Он обрывается в начале 1918 года и не касается вовсе террористической деятельности Каннегисера. — *Автор*.

² Почему в твоём творении небесном столь много несогласия! (*фр*)

«У меня есть комната, кровать, обед, деньги, кафе и никакой жалости к тем, у которых их нет. Если меня убьют на войне, то в этом безусловно будет некоторый высший смысл...»

«Прервал писание, ходил по комнате, думал и, кажется, в тысячный раз решил: «Иду!» Завтра утром, может быть, проснувшись, подумаю: «Вот вздор! Зачем же мне идти: у нас огромная армия». А вечером опять буду перерешать. Потом пойду на компромисс: «Лучше пойду санитаром». Так каждый день: колеблюсь, решаю, отчаиваюсь — и ничего не делаю.

Другие по крайней мере работают на пользу раненых. Я тоже был раз на вокзале. Одного раненого пришлось отнести в перевязочную. При мне сняли повязку, и я увидел на его ноге шрапнельную рану в пол-ладони величиною; все синее, изуродованное, изрытое человеческое тело; капнула густо кровь. Доктор сбрил вокруг раны волосы. Фельдшерица готовила повязку. Двое студентов тихонько вышли. Один подошел ко мне, бледный, растерянно улыбаясь, и сказал: «Не могу этого видеть». Раненый стонал. И вдруг он жалобно попросил: «Пожалуйста, осторожней». Я чувствовал содрогание, показалось, что это ничего, и я продолжал смотреть на рану, однако не выдержал. Я почувствовал: у меня кружится голова, в глазах темно, подступает тошнота. Я б, может быть, упал, но собрался с силами и вышел на воздух, пошатываясь, как пьяный.

И это может грозить — мне. Знать, что эта рана на «моей ноге»... И как вдруг в ответ на это в душе подымается безудержно радостно сладкое чувство: «мне не грозит ничего», тогда я знаю: «я — подлец!»

«Сейчас мне пришли в голову стихи: «О, вещая душа моя... О, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!...» Перелистал Тютчева, чтобы найти их. И строки разных стихотворений как будто делали мне больно, попадая на глаза. Там каждая строчка одушевленная и именно болью страшно заразной. Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте, — я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний, — но единая моя цель — вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю».

«Я теперь сам удивляюсь, как во мне могла быть вера в силу молитвы. «Попросите с верою и дастся вам...» Это

вносит путаницу в религиозные представления... Это имеет только один смысл (если это не просто неисполнимое обещание, евангелическая демагогия...). Можно толковать еще так: «С верой вы не станете просить о земных благах (а если просите о них, значит, без веры или с малой), а только о царствии небесном». Но, во-первых, это неясно, а такие неясности не могут быть случайными, то есть опять демагогия. А во-вторых, здесь есть тогда небрежение человеческим сердцем, которое все создано так, что *не может не желать* жаждущему — студеной струи. Пока в мире есть раны, мучения, смерть, священник всегда уступит дорогу хирургу. Мне это в полной мере понятно только сейчас, когда я только что видел ужаснейшие мучения бесконечно дорогого человека. Потом я, может быть, не обойду опять мнимо просветленного убеждения, что страдания — благо, ибо облегчают путь к Царствию Небесному. Ларошфуко говорит: «La philosophie triomphe aisement des maux passés et des maux á venir, mais les maux présents triomphent de la philosophie»¹. Это так же было бы верно (и более жестоко), если бы вместо la philosophie подставить la religion; но Ларошфуко было не до нее».

Я ничего не комментирую. Все дневники немного похожи друг на друга. С их наивностями стиля и мысли, выдержки из дневника Леонида Каннегисера меня поражают. Было бы напрасно искать в них логики. Решение уйти на войну сменяется решением уйти в монастырь; за страницами чистой метафизики приходят такие страницы, которые жутко читать; восторг перед памятниками Феррары, перед картинами Веронезе сменяется восторгом перед Советом рабочих и солдатских депутатов. И на каждой странице дневника видны обнаженные нервы и слышно:

«Душа из тела рвется вон...»

Я с ним познакомился в доме его родителей на Саперном переулке и там часто его встречал. Он захаживал иногда и ко мне. Я не мог не видеть того, что было трагического в его натуре. Но террориста ничего в нем не предвещало.

¹ «Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией» (Перевод Э Линецкой.)

Одна характерная сцена осталась, впрочем, у меня в памяти. Она относится к весне 1918 года. Мы долго играли с ним в шахматы. Я жил в том доме на Надеждинской, где помещался книжный магазин «Петрополис». Этот своеобразный кооператив библиофилов скупал тогда книги у своих нуждающихся участников, стараясь их не обижать, и без выгоды перепродавал их членам кооператива, более обеспеченным материально. В ту пору в «Петрополисе» продавалась великолепная старинная библиотека князя Гагарина, состоявшая преимущественно из французских книг 18-го и начала 19-го столетий. Я купил там кое-что, и приобретенные мною книги лежали у меня на столе в кабинете. Мой гость принялся их перелистывать. Заговорив о книгах, я высказал предположение (не проверенное мною и основанное только на их характере), что библиотека эта принадлежала в свое время тому самому князю Гагарину, которому приписывали, — по-видимому, неосновательно, — авторство анонимных писем, бывших причиной смерти Пушкина.

Леонид Акимович изменился в лице и даже выронил на стол книгу.

— Кем это надо было быть, — сказал он, бледнея, — чтобы написать такое письмо — о Пушкине...

И замолчал. Затем, вдруг, стал негромко декламировать стихи:

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды!
Для рук бессмертной Немезиды
Лемносский бог тебя сковал...

Он вообще читал плохо, как, кажется, все русские поэты (за исключением изумительного чтеца И. А. Бунина): читал без всякого выражения, неестественно однотонно, точно показывая, что никакая экспрессия, никакое искусство дикции не могут ничего прибавить к красоте самих стихов. Если не ошибаюсь, эту манеру чтения ввел Александр Блок. Но на этот раз молодой человек читал иначе, чем всегда, — или мне теперь так кажется?

— Заметьте, — сказал Каннегисер, оборвав чтение на первом четверостишии, — заметьте, здесь Пушкин сплеховал: в этой строфе нельзя было рифмовать второй стих с третьим. Если третью строчку поставить на место четвертой, выйдет гораздо сильнее... Сплеховал Пушкин, — повторил он, усмехнувшись. — Вот как я написал бы...

И он прочел четверостишие в своей редакции. Его тон был забавен, — усмешка, разумеется, ставила в кавычки

эту поправку к Пушкину. Про себя я с ним согласился: так действительно было сильнее¹.

Он затем прочел совершенно изменившимся голосом конец «Кинжала».

О, юный праведник, избранник роковой.
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казенном прахе.
В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Как сейчас, перед собой вижу его в ту минуту. Он сидел в глубоком кресле, опустив низко голову. Тонкое прекрасное лицо его совершенно преобразилось. Мне жутко вспоминать теперь эти строфы «Кинжала» — в чтении убийцы Урицкого... Страшная вещь искусство! Не был ли Пушкин одним из виновников гибели шефа Петербургской Чрезвычайной комиссии?

Помню, я обратил внимание молодого человека на необыкновенное техническое совершенство этих изумительных строф, на рыдающий звук второго стиха («О, Занд»), состоящего из кратких односложных слов, на эффект, достигнутый звуком «а». Пушкин, не учившийся в цехе поэтов, знал ухом все фокусы современного стихосложения. Андре Шенье, в оде, послужившей образцом «Кинжалу», но превзойденной им, использовал сходный драматический эффект, звук аг:

*Le poignard, seul espoir de la terre,
Est ton arme sacrée...*²

Но молодой человек меня не слушал (хотя о поэзии мог говорить часами). Он принялся расспрашивать о Занде. Не

¹ Вопрос о том, «сплоховал» ли Пушкин, оказывается, однако, довольно сложным. Беловой автограф «Кинжала» считался потерянным; знаменитое стихотворение стало печататься в России лишь с 1876 года — то по тексту «Полярной звезды», то по черновому наброску, то по записной книжке Полторацкого. Теперь, в первой книге «Голоса минувшего» за 1923 год, М.А. Цявловский опубликовал впервые беловую рукопись Пушкина, оказавшуюся в бумагах Н.И. Тютчева. В этом тексте второй стих образует рифму не с третьим, а с четвертым (как требовал Каннегисер), но зато третий и четвертый стихи (обычной редакции) идут впереди первых двух:

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды! — Автор.

² Кинжал, земли одна надежда,
Твое оружие святое... (фр)

хочу сказать, что я стал в тот вечер что-то подозревать. Тогда, вероятно, еще ничего и не было задумано.

Леонид Каннегисер не принимал никакого участия в политике до весны 1918 года. Февральская революция его захватила, — кого же она не захватывала так недели две или три.

Он был председателем «союза юнкеров-социалистов». Не поручусь, — как это ни странно, — что он не увлекался и идеями революции октябрьской. Ленин произвел на него, 25 октября, сильнейшее впечатление, — об этом я говорил в другом месте.

События 1918 года, Брест-Литовский мир, скоро переменили мысли Каннегисера. Изложение его политической эволюции не входит в мою задачу (да я этой эволюции и не знаю). Но в апреле (или в мае) 1918 года он уже ненавидел жгучей ненавистью большевиков и принимал какое-то участие в конспиративной работе по их свержению. Гибель друга сделала его террористом.

II

The last of all the Romans, fare well!..¹

Шекспир

Петербург в ту пору кишел заговорщиками.

Заговоры, говорят, были всякие: монархические и республиканские, с немецкой ориентацией и с союзной ориентацией. О многих из них мне и теперь ничего не известно. Но кое-кого из заговорщиков я знал. Странные это были заговорщики...

«Пушечное мясо» — одно из самых скверных выражений, брошенных в историю Наполеоном. Случайно, должно быть, оно было им пущено, а он сообщал бессмертие всему тому, что ему приходило в голову. События последних лет показали, какой громадный рынок пушечного мяса представляет собой «цивилизованное человечество». Кто скажет, похвала ли это или брань по адресу современных людей? Чего больше — глупости или героизма — мы видели в последние годы?

Пушечное мясо революций по моральному составу, быть может, выше, чем пушечное мясо войны. Есть всеоб-

¹ Прощайте, последние из римлян!.. (англ.)

шая обязательная воинская повинность, нет обязательной повинности революционной. По отношению к революциям мы все а priori белобилетчики. Революции обыкновенно творятся добровольцами.

Я слышал от боевых офицеров, что в пору мировой войны самые плохие солдаты выходили из добровольцев. Думаю, что это верно: так оно было (вопреки распространенной легенде) и в период войн Революции и Империи. Дюмуре ненавидел солдат-волонтеров; недоверчиво относился к ним и Бонапарт.

Трудно было уберечься от крайнего скептицизма при виде тех добровольцев революции, тех молодых заговорщиков, которые в 1918 году готовили в Петербурге разные грандиозные предприятия. Опытный конспиратор-профессионал, вроде Гершуни или Савинкова, вероятно, чувствовал бы себя среди них — как фельдмаршал Гинденбург на смотре вооруженных палками, восторженно выстроившихся школьников (такая картинка была недавно напечатана в немецких иллюстрированных журналах).

Конспирация у них была детская, — по-детски серьезная и по-детски наивная. Не будучи Шерлоком Холмсом, можно было в каждом из них за версту признать заговорщика. Им не хватало только черных мантий, чтобы совершенно походить на актеров четвертого действия «Эрнани». Леонид Каннегисер гулял, летом 1918 года, вооруженный с головы до ног. Помню, раз он пришел ко мне ужинать; он имел при себе два револьвера и еще какой-то ящик, с которым обращался чрезвычайно бережно и подчеркнуто таинственно. Ящик этот он оставил у меня на ночь; на следующее утро зашел за ним и столь же таинственно его унес. Так и не знаю до сих пор, что было в ящике. Я, по Чехову, назвал молодого человека «Монтигомо, ястребиный коготь», — он немного обиделся.

Если не ошибаюсь, он тогда предполагал взорвать Смольный институт (это называется *excuser du peu!*¹). Всякий химик поймет, как легко осуществить такое предприятие. Каннегисер о химии не имел ни малейшего представления. Чему только их учили на «ускоренном курсе» артиллерийских училищ?

Я знал и Перельцевейга, и еще несколько молодых людей, юнкеров и офицеров, принадлежавших к тому же кружку. Они были казнены еще до убийства Урицкого, недели за две или за три. Гибель Перельцевейга, близкого

¹ Вот это да! (фр.)

друга Леонида Каннегисера, по всей видимости, и была непосредственной причиной совершенного им террористического акта: она страшно его потрясла.

Все эти молодые люди стояли на одинаковой конспираторской высоте. То, что они не были переловлены в первый же день по образовании кружка, можно объяснить лишь крайне низким в ту пору уровнем техники в противоположном лагере. Вместо матерого Охранного отделения была юная Чрезвычайная комиссия, только начинавшая жизнь; вместо Белецкого и Курлова работали копенгагенские и женеvские эмигранты. Отдаю должное их молодым талантам: они быстро научились своему ремеслу.

Такова была боевая ценность группы заговорщиков, действовавшей в 1918 году в Петербурге. Об их моральном, об их гражданском уровне скажу кратко.

Я не принимал никакого участия в их делах; я был довольно далек от них в политическом отношении; психологически никто не мог быть мне более чужд, чем они. Свое — поэтому беспристрастное — свидетельское показание приобщаю к протоколам истории: более высоконастроенных людей, более идеалистически преданных идеям родины и свободы, более чуждых побуждениям личного интереса — мне никогда видеть не приходилось. По жертвенному настроению, которое их одушевляло, можно и должно их сравнивать с декабристами Лещинского лагеря, с народоvольцами первых съездов или с молодежью, которая в первые, славные дни Добровольческой армии шла под знамена Корнилова... Этих петербургских заговорщиков никто не науськивал на советскую власть. Их на советскую власть, главным образом, науськивал Брест-Литовск.

Они ничего не желали для себя, да и не могли желать. По их молодости, по их политической незрелости им нельзя было рассчитывать ни на какую карьеру. В лучшем случае, в случае полного успеха, в случае свержения советской власти, их послали бы на фронт — только и всего. При всей своей неопытности они, вероятно, понимали, что в борьбе против большевиков у них девять шансов из десяти — попасть в лапы Чрезвычайной комиссии. Десятый же шанс заключался в том, чтобы вести — к новым Калущам — солдат, которые воевать не хотели. Но и на это почти не было надежды. «La mort a mille aspects, le gibet en est un»¹, — говорит кто-то у Виктора Гюго, кажется, в

¹ «Обличий смерти — тьма, петля из них одно». (Перевод А. Ахматовой.)

«Marion Delorme». У них, у этих заговорщиков, в сущности, не было другой перспективы, — кроме палача.

Все они палачу и достались.

Впрочем, не все... Тот, кто был тогда их руководителем, давно продал свою шпагу — и теперь верой и правдой служит Советской Власти. Его я также хорошо знал. Если эти строки попадутся ему на глаза, пусть он ненадолго вспомнит о погибших людях, на крови которых он делал и делает политическую карьеру. Это только напоминание — так, к слову: на «угрызения совести» я нисколько не рассчитываю.

III

Урицкий, Моисей Соломонов, мещанин гор.
Черкасск, комиссионер по продаже леса... Не
производит впечатления серьезного человека.

*Охранное отделение*¹

Свободой и жизнью нескольких миллионов людей, отнесенных к Северной Коммуне, в ту пору почти бесконтрольно распоряжался Урицкий.

В иллюстрированном приложении к «Петроградской правде» 31 августа 1919 года, в годовщину «предательского² убийства», помещена биография погибшего шефа Чрезвычайной комиссии. Вот что мы в нем читаем:

«Моисей Соломонович Урицкий родился 2-го января 1873 года в уездном городе Черкассы, Киевской губернии, на берегу реки Днепра. Родители его были купцы. Семья была большая, патриархальная. Обряды, благочестие и торговля — вот круг интересов семьи. Когда мальчику исполнилось три года, отец его утонул в реке. Мальчик остался на попечении своей матери и старшей сестры — Б. С. Молодой. М. С. до 13 лет изощрялся в тонких и глубоко запутанных сплетениях Талмуда. Единственным отрадным явлением в эти годы являлась его близость к природе. В

¹ Документы б. Московского охранного отделения. Большевики. Москва, 1918. С. 238. — *Автор*.

² Глупость этого эпитета в применении к поступку Леонида Каннегисера достаточно очевидна. Самодержавное правительство обнаруживало и здесь значительно больше вкуса, чем нынешнее: оно в официальных актах убийство сановников обыкновенно называло «злодейским», а не «предательским». — *Автор*.

свободные минуты мальчик уходил на берег живописного Днепра. Здесь мы должны видеть первоисточник той мягкости и добродушия, которые отличают М. С. во всю его жизнь. Интересы сестры его были направлены в другую сторону. Она рано угадала блестящие способности своего младшего брата и страстно желала приобщить его к русской культуре. Ей это удастся. В 13 лет М. С. против воли матери «набрасывается» на изучение русского языка, вкладывая в это весь свой юный пыл. Он блестяще выдерживает вступительный экзамен и, несмотря на процентную норму, поступает в Черкасскую прогимназию...»

Дальше в том же роде. Будущий министр внутренних и иностранных дел еще в ранней молодости стал членом социал-демократической партии и «всецело отдался партийной работе». В 1906 году «даже царские чиновники нашли возможным заменить ему ссылку принудительным отъездом за границу. Война застала его в Германии. М. С. переезжает в Стокгольм, а затем в Копенгаген. При первой весточке о русской революции, после долгих лет борьбы и изгнания, тов. Урицкий возвращается в Россию. Здесь его бурная, полная огня и силы деятельность протекала у всех на глазах... Это был человек своеобразной романтической мягкости и добродушия. Этого не отрицают даже враги его».

Я не знаю, кто автор биографии Урицкого, появившейся в советском офицозе; вероятно, рядовому публицисту она не могла быть поручена. Очень поэтичен колорит, наведенный большевистским фармацевтом на личность Урицкого. Что-то в трогательном очерке этом предполагалось, по-видимому, от Гоголя, что-то предполагалось и от Руссо. Хороша и «отрадная близость к природе» с «посещениями берега Днепра», в котором «мы должны видеть» — этакая чудесная сила днепровских берегов! — первоисточник мягкости и добродушия будущего шефа чрезвычайки. Хорош и героический характер всех поступков Урицкого. Великое будущее молодого М. С. было впервые угадано его сестрой (так же, как это случилось с Эрнестом Ренаном) и ей, на счастье родины, «*удается* приобщить его к русской культуре». Русскую азбуку он не просто изучает, а «*набрасывается*» на нее, «*вкладывая в это весь свой юный пыл*». В Черкасскую прогимназию поступает тоже не просто, а «блестяще». Выходит из школы «*с блестящими знаниями по русской и всемирной литературе*». Партийной работой занимается не как тысячи других людей, а «отдается ей всецело». О русской революции до него доходит в Копенгаген «весточка». Полицейская работа его в Чрезвычайной комиссии есть

«бурная, полная огня и силы деятельность». И вся личность поставщика петербургского эшафота настолько исполнена «своеобразной романтической мягкости и добродушия», что перед ней невольно снимают шляпу и враги, вроде как у Шекспира Антоний и Октавий-Август почтительно склоняются над мертвым телом Брута: ведь даже царские чиновники заменили ему в свое время ссылку «принудительным отъездом за границу», — чего, кстати сказать, романтический добряк, в свою бытность руководителем Ч. К., не сделал ни для одного из царских чиновников. Их подвергали другой участи, — тоже «принудительно».

Должен сказать, что в изображении необыкновенной доброты, гуманности и великодушия Урицкого еще гораздо дальше, чем анонимный поэт из «Правды», идет другой биограф, — общепризнанный авторитет по вопросам благородства и чести: Зиновьев. Он посвятил убитому чекисту большую статью в «Известиях»¹. Статья эта начинается словами: «Убит тов. Урицкий. Убийца, *как и следовало ожидать*, правый эсер, студент Каннегисер». Каннегисер никогда не был социалистом-революционером и большевики прекрасно это знали². Кончается же статья Зиновьева так: «На контрреволюционный террор против лиц рабочая революция ответит террором пролетарских масс, *направленным против всей буржуазии и ее прислужников*»³. Этот погромщик выдал Урицкому аттестат кротости и Монтионовскую премию за добродетель: «Урицкий, — пишет Зиновьев, — был *один из гуманнейших людей нашего времени*. Неустрашимый боец, человек, не знавший компромиссов, он вместе с тем был человек *добрейшей души и кристальной чистоты*».

Опять замечу: много некрологов было посвящено убитым министрам и полицейским чиновникам царского времени: но я не помню, чтобы самый последний продажный писака называл Плеве «одним из гуманнейших людей нашего времени» или «человеком добрейшей души и кристальной чис-

¹ Г. Зиновьев. Моисей Соломонович Урицкий. «Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов», № 194, (337). — Автор.

² См. официальное сообщение о расстреле Леонида Каннегисера: «От Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» («Северная Коммуна», № 133). Статья Зиновьева напечатана в годовщину убийства. — Автор.

³ Как известно, после убийства Урицкого в Петроградской Коммуне, находившейся в ведении г. Зиновьева, было в одну ночь расстреляно пятьсот ни в чем не повинных людей. — Автор.

тоты». Не помню также, чтобы сыскная работа именовалась «бурной, исполненной огня и силы деятельностью». Положительно, чувства приличия у полицейских деятелей самодержавного периода было много больше, а уверенности в непроходимой глупости читателей — много меньше.

Скажу тут же, что от меня весьма далека мысль изобразить Урицкого исчадием ада. «Над трупом вольности безглавой палач уродливый возник...» Так представлялся, вероятно, шеф петербургской чрезвычайки его убийце.

Коммунисты, как водится, изобразили его беззаветным рабом идеи, фанатиком большевистского Корана. Сомневаюсь, чтобы это было так. Фанатик — комиссионер по продаже леса!¹ Это был бы первый случай в истории фанатиков и в истории комиссионеров по продаже леса. И лицом Урицкий нимало не был похож на фанатика. Да и в самый Коран он уверовал только за несколько месяцев до своего конца.

Урицкий был всю жизнь меньшевиком. В годы эмиграции он состоял чем-то при Г. В. Плеханове, — кажется, личным секретарем. Покойный Плеханов, подобно Ленину и Саре Бернар, любил окружать себя бездарностями.

У меньшевиков Урицкий никогда не считался крупной величиной². В 1912 году он был, однако, избран в их Организационный комитет.

Избрание это произошло при следующих обстоятельствах, на которых, быть может, стоит остановиться. В августе 1912 года в Вене была созвана конференция членов РСДРП с участием представителей целого ряда социал-демократических организаций (преимущественно — но не исключительно — меньшевистских). Это была одна из попыток освободить партию от диктатуры Ленина, который незадолго до того создал в Праге чисто большевистский Центральный Комитет. В конференции приняли участие почти все выдающиеся деятели социал-демократической партии не-большевистского толка: Аксельрод, Мартов, Абрамович, Медем, Либер, Троцкий, Горев, Семковский, Ларин и др.

¹ Замечу, что целый ряд большевистских «фанатиков» занимался до революции делами, фанатизма не требующими и не предполагающими. Калинин был служащим городского трамвая; Красин — директором завода; Свердлов — аптекарским учеником; Ганецкий — приказчиком и т. д. — *Автор*.

² Это подтвердил в разговоре со мной и Р. А. Абрамович И. Г. Церетели, несколько раз встречавшийся с Урицким, говорил мне, что на него будущий народный комиссар Северной Коммуны производил впечатление очень серого и ограниченного человека. — *Автор*.

Цель заключалась в том, чтобы объединить все организации РСДРП, кроме чистых ленинцев, и объявить Ленина узурпатором.

Попала, однако, в Вену и небольшая группа лиц, которая ставила себе противоположную задачу: сорвать конференцию или, по крайней мере, помешать объединению и сохранить ленинский Центральный Комитет. «Группу» эту составляли два делегата — «Лапка» и «Петр». Действовали они по совершенно разным побуждениям.

Член конференции «Лапка» принадлежал к большевистскому течению и если не во всем тогда сходиллся с Лениным, то в некоторых отношениях был скорее левее, чем правее будущего диктатора. Он с той поры проделал довольно значительную политическую эволюцию. «Лапка» был Г. А. Алексинский.

Член конференции «Петр» имел несколько имен. Его иначе звали в партии «Александром» и «Кацапом». Настоящее имя его было Андрей Александрович Поляков. Но у него еще была и другая кличка — «Сидор». Под этим псевдонимом его знало Охранное отделение. «Петр» был секретный агент Департамента полиции.

Департамент полиции имел видных и опытных провокаторов в каждой группе РСДР партии. В ленинском Центральном Комитете его представлял «Портной» (член Гос. Думы Малиновский). В Центральном областном бюро партии служил другой замечательный провокатор, «Пелагея» (А. Романов), личный друг семьи Ленина. Московские организации находились в ведении Лобова, тоже очень ценного сотрудника (страдавшего, однако, запоем). «Правду» редактировал охранник «Москвич» (М. Черномазов). В Париже работал человек с нежными французскими именами: «Андре» и «Доде» (доктор Яков Житомирский), и т. д. Одним словом, дело было поставлено хорошо.

Департамент полиции трудился со вкусом и с любовью. Начальники охранных отделений (особенно столичных) были большие знатоки дела и проявляли живейший интерес ко всем идеологическим течениям подпольных партий. Они входили, так сказать, во вкус революции, перенимали язык, термины, манеру мысли партийных людей, сочувственно изучали индивидуальность отдельных революционеров. Стилль циркуляров Департамента полиции и донесений его агентов — неподражаем. Так, например, об одном из течений РСДР партии департамент неодобрительно замечает: «склонно к оппортунизму». В характеристике Луначарского имеются умиленные слова: «Обладает симпатичной внешне-

стью». Нравился Департаменту полиции лицом и Ленин: он «наружностью производит впечатление приятное». Зато менее приятен характер большевистского вождя: «Ленина словом не прошибешь», — мрачно говорится о нем в одном донесении... Очень неодобрительно отзывался Департамент полиции о нарушениях партийной дисциплины: так, например, в сообщении его начальнику Московского охранного отделения (24 июня 1909 года) говорится почти с возмущением о том, что «члены Большевистского центра, — Богданов, Марат и Никитич (Красин) перешли к критике Большевистского центра, склонились к отзовизму и ультиматизму и, захватив крупную часть похищенных в Тифлисе денег, начали заниматься тайной агитацией против Большевистского центра вообще и отдельных его членов в частности. Так, они открыли школу на острове Капри, у Горького». У начальника Московского охранного отделения была, однако, своя собственная информация — и он в ответном письме Департаменту полиции (от 7 июля 1909 года) мягко заступается за Богданова, Марата и Никитича. «Никакой агитации против Большевистского центра указанные три лица не ведут; школа открывается не на похищенные в Тифлисе деньги, а на деньги, пожертвованные Горьким и другими лицами... У Богданова, Марата и Никитича идут, отчасти на почве философского и тактического разногласия, а главным образом на личной почве, трения с Лениным, и главным образом с «Виктором». Последний, вопреки положительному отношению трех названных лиц к Большевистскому центру, хочет вызвать раскол и обвиняет их в отзовизме и ультиматизме, а равно и похищении денег». Поистине, если судить по стилю писем, пришлось бы сделать вывод, что и Департамент полиции, и Московское охранное отделение менее всего думали о грабеже казенных денег¹. Их волновало то, вправе ли Богданов и Красин давать партийные деньги на школу в Капри и действительно ли они повинны в отзовизме и ультиматизме.

Едва ли нужно пояснять, что эта поразительная мягкость и любезность слога, свидетельствующая о каком-то психологическом раздвоении, нимало не мешали Департаменту полиции вести по отношению к большевикам очень определенную (хотя и не совсем понятную) политику. О политике этой в целом я здесь говорить не буду, — о ней можно написать длинную книгу. Скажу лишь, что, по вполне ясным причинам, Департамент полиции упорно

¹ Дело шло о тифлисском ограблении 1907 года — Автор

стремился помешать объединению разных фракций Росс. соц.-дем. раб. партии. Об этом был даже издан особый циркуляр, требовавший от всех секретных сотрудников, «чтобы они, участвуя в разного рода партийных совещаниях, неуклонно настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было организационного слияния этих течений и в особенности объединения большевиков с меньшевиками».

В полном согласии с руководящей идеей Департамента полиции, член конференции «Петр», он же секретный сотрудник Московского охранного отделения Андрей Поляков, с самого начала Венской конференции подкладывал явные и тайные мины под идею объединения партии. «Петр» был избран председателем комиссии по проверке мандатов (здесь следовало бы поставить в скобках слово «sic» с восклицательным знаком). У него у самого мандат оказался, как и следовало ожидать, в полном порядке¹. Но на правильность мандатов других участников конференции, не являвшихся делегатами Охранного отделения, «Петру» удалось набросить легкую тень. После того как партийные мандаты были проверены агентом Департамента полиции, возник вопрос о наименовании конференции. При содействии г. Алексинского «Петру» удалось сразу провалить мысль о том, чтобы Венская конференция была признана общепартийной. Тщательно противился он включению в резолюцию каких бы то ни было фраз, которые могли бы рассматриваться как прямое или косвенное порицание политики Ленина и его Центрального Комитета. Такие фразы неоднократно предлагались Троцким (здесь опять следовало бы поместить слово «вас» с восклицательным знаком), Абрамовичем, Мартовым. И всякий раз делегаты «Петр» и «Лапка», грозя немедленным своим уходом, проваливали соответствующие пункты резолюций. Настроение конференции понижалось. Наконец, покойный Мартов, отличавшийся энергичным темпераментом, не выдержал и произнес резкое слово против большевиков, назвав их «политическими шарлатанами». Удар грома! Обиды, нанесенной Ленину, не стерпел Г. А. Алексинский: он с негодованием вскочил, подал заявление об уходе с конференции и покинул зал заседаний. За ним в полном восторге последовал агент Де-

¹ Б И Николаевский, известный знаток истории РСДРП, показывал мне, однако, письмо Л Мартова, писанное с Венской конференции, — в письме этом говорится о подозрениях, которые уже тогда возбуждала личность «Петра» — Автор

партамента полиции. Это произвело еще более потрясающее впечатление. Начались закулисные совещания. После долгих уговоров Мартов согласился заявить о том, что его слова были дурно поняты: он имел в виду не Ленина, а «беспартийные хулиганские банды». Поправка представляется не совсем понятной, но ее немедленно сообщили на квартиры «Петру» и «Лапке». Г. Алексинский и после того не считал возможным вернуться на конференцию. Сотрудник же Охранного отделения согласился сменить гнев на милость: ему было ясно, что настоящее объединение все равно провалено.

И, действительно, в результате конференции создалось довольно грустное настроение. Разногласия обнаружились существенные, и это само по себе не могло не отразиться на составе избранного организационного комитета. Нельзя было выбрать никого из вождей, занимавших слишком определенные и непримиримые позиции. Часть вождей, кроме того, в Россию ехать не желала, предпочитая редактировать партийные газеты за границей. Но вместо себя эти вожди выдвигали кандидатуры своих людей. В комитет попали малоизвестные и приемлемые для каждого «работники», — в их числе ни разу не выступавший Урицкий. Он был избран как представитель «группы Троцкого». В эту группу входило во всей Вселенной человек пять или шесть.

Так вышел в большие социал-демократические люди будущий глава Чрезвычайной комиссии.

Во время войны он не играл видной роли. Он жил в Копенгагене и, если не ошибаюсь, был близок к Парвусу. После той «весточки», о которой говорит его биограф из «Правды», он вернулся в Россию — и стал осматриваться. Примкнул для начала к так называемой международной группе РСДРП, занимавшей промежуточное место между большевиками и меньшевиками-интернационалистами. Летом 1917 года еще нельзя было сказать с уверенностью, ждет ли большевиков блестящее будущее. Но зато было совершенно очевидно, что у меньшевиков-интернационалистов нет никакого будущего. Урицкий подумал — и, как Троцкий, стал большевиком. Много честлюбцев и проходимцев переметнулось тогда в коммунистический лагерь. Урицкий отнюдь не был проходимцем. Я вполне допускаю в нем искренность, сочетающуюся с крайним тщеславием и самоуверенностью: он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком. Характеристика, данная ему Охранным отделением, весьма близка к истине.

В дни октябрьского переворота Урицкий был членом Военно-Революционного Комитета. Затем стал комиссаром

по делам Учредительного собрания и в этой должности вел себя крайне вызывающим образом. Новое повышение в чине дало ему пост народного комиссара Северной Коммуны — по делам иностранным и внутренним. Внутренние дела предполагали в первую очередь руководство Чрезвычайной комиссией; с ней и связана вся последующая деятельность Урицкого.

Почему он избрал для себя полицию? Перед ним были открыты все дороги. Мест было очень много, а людей — в ту пору еще очень мало; каждый брал, что хотел. Характер отдельных большевистских вождей сказался в сделанном ими выборе: Ленин взял полноту власти. Троцкий — место, которое должно было сразу стать на виду у всего мира (комиссариат иностранных дел), — его военный гений еще не открылся: тогда военным гением был Крыленко. Дантов, Робеспьеров, Гошей оказалось сколько угодно. Фуше и Фукье-Тенвиллей не хватало. Урицкий воевать не любил, говорить не умел. Партия предложила ему пост главы Чрезвычайной комиссии. По словам Зиновьева, для Урицкого была законом воля партии (партии, к которой он только что примкнул).

Урицкий от природы не был жесток. Он был скорее даже несколько сентиментален. В ту пору, когда по России прогремел «Конь бледный», он зачитывался книгой Ропшина-Савинкова и, вслед за автором, растроганно повторял «Не убий!».

Я слышал от одного видного меньшевика такое объяснение роли Урицкого: поздно примкнувший к большевистскому движению, он чувствовал себя виноватым перед революцией и за свою вину наказал себя тяжким крестом Чрезвычайной комиссии. Может быть, в погоне за *инфернальностью*, Урицкий тешил себя и этим мотивом.

В деятельности начальника тайной полиции есть нечто романтическое, соблазнявшее людей и покрупнее Урицкого, — как Фуше или П. Дурново. Прибавка эпитета «революционный» усиливает во сто раз романтический элемент и облагораживает его. Революционный генерал гораздо больше царского генерала. Быть «жандармом-опричником» — позорно; «расстраивать козни контрреволюционеров» — прекрасно. О магическая власть слова! Жизнь Урицкого была сплошная проза. И вдруг все свалилось сразу: власть, — громадная настоящая власть над жизнью миллионов людей, власть, не стесненная ни законами, ни

формами суда, ничем, кроме «революционной совести», — огромные безграничные средства¹, штаты явных и секретных сотрудников, весь аппарат государственного следствия... У него знаменитые писатели просили пропуск на выезд из города! У него в тюрьмах сидели великие князья! И все это перед лицом истории! Все это для социализма! Рубить головы *серпом*, дробить черепа *молотом*!..

Слабая голова Урицкого закружилась. Он напаялил на себя в должности начальника Чрезвычайной комиссии плохого актера, с восторгом мещанина-честолюбца, с подозрительностью нескоро оцененного неудачника. Как он вел себя в должности начальника Чрезвычайной комиссии, достаточно известно². Объезжая тюрьмы, он сам говорил прежним сановникам, что ставит себе образцом — Плеве. Те «добрые задатки», которые были в его характере, в ужасной обстановке Чрезвычайной комиссии исчезли очень быстро и безвозвратно. Этот человек, не злой *по природе*, скоро превратился в палача. Он, вероятно, хотел стать Плеве революции, Иоанном Грозным социализма, Торквемадой Коммунистического Манифеста. Первые ведра или бочки крови организованного террора были пролиты им... *Инфернальность* его росла с каждым днем.

Я слышал, однако, и другое. Мне говорили, что *труды* в Чрезвычайной комиссии под конец жизни стали тяготить Урицкого. Мне говорили, будто кровь лилась в Петербурге не всегда по его распоряжению и даже часто вопреки его воле. Он стремился к тому, чтобы *упорядочить террор*, но встречал будто бы сопротивление в Совете Народных Комиссаров и в разнузданной стихии «районов». В «районах» людей резали без формальностей, а ему, очевидно, хотелось, чтобы казнимые проходили через «входящие» и «исходящие». Мне говорили даже, что за несколько дней до убийства Урицкий подал прошение об отставке. Ссылки на вину «разнузданной стихии» хорошо нам известны из биографий почти всех исторических деятелей, купавшихся в

¹ Этих средств он не клал в карман. Думаю, что он был неподкупен. — *Автор*.

² Сведения об этом можно найти и в книге М.С. Маргулиеса «Год интервенции». «Секретарь датского посольства Петерс рассказывал Х., как ему хвастался Урицкий, что подписал в один день 23 смертных приговора» (II, с. 77). Таких рассказов — возможно, преувеличенных — ходило по Петербургу много. — *Автор*.

³ Один из виднейших большевиков говорил Р.А. Абрамовичу «Настоящий убийца Урицкого — Зиновьев. Он предписывал все то, за что был убит Урицкий». Этот большевик, кстати сказать, уже несколько лет не подает Зиновьеву руки. — *Автор*.

крови по горло. Все они, разумеется, тяготились властью, «страдали», и все по природе были добры, от Ивана Грозного до Дзержинского и Ленина¹. «Упорядочить террор» чрезвычайно хотел Марат, а Робеспьер, как раз за несколько дней до 9 термидора, собирался установить гуманнейший образ правления. Это очень старая песня. Но я не отрицаю того, что из чекистов Урицкий был далеко не самый худший.

Несоответствие всей его личности с той ролью, которая выпала ему на долю, — несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое — резало глаз. Я видел его в залах Таврического дворца, где он был некоторое время хозяином... Если есть в мире здание, которое не следовало обращать в парламент (а тем более в революционный Совет или в Учредительное собрание), — это дворец Потемкина. История Таврического дворца — сплошной парадокс. Карамзин совершенно напрасно там умер, — философски это было неуместно. Не на месте были там и Муромцев, и Головин, и Хомяков (они все трое гораздо знатнее Потемкина; это показывает, что так называемая «порода» тут совершенно ни при чем). Урицкий в качестве хозяина Таврического дворца казался пародией.

IV

Le président du tribunal. Qui vous a inspiré tant de haine?

Charlotte Corday. Je n'avais pas besoin de la haine des autres. J'avais assez de la mienne².

Допрос Шарлотты Корде на суде

Недолгий и сложный процесс, который в дни, предшествовавшие драме, разорвал душу убийце Урицкого, мне не ясен. Почему выбор Каннегисера остановился на Урицком? Не знаю. Его убийство нельзя оправдать даже с точки зрения завязтого сторонника террора.

¹ «Золотое сердце» Дзержинского пустил в обращение Луначарский, человек недалекий. Но о сердечной доброте Ленина я лет десять тому назад слышал рассказ Максима Горького: знаменитый писатель не без удивления вспоминал, как в свое время Ленин, гостя у него на Капри, часами играл на песке с маленькими детьми. — Автор.

² Председатель суда. Кто внушил вам столько ненависти?

Шарлотта Корде. Мне чужой ненависти не требовалось, у меня было достаточно своей (фр.).

Сообщников у Каннегисера, по-видимому, не было. Большевикскому следствию не удалось их обнаружить, несмотря на чрезвычайное желание властей. В официальном документе об этом сказано:

«При допросе Леонид Каннегисер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты¹ офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга, с которым он был знаком около 10 лет. Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцвейга сильно подействовал на Леонида Каннегисера. После опубликования этого расстрела он уехал из дому на несколько дней — место его пребывания за эти дни установить не удалось».

По признанию следствия, «точно установить путем прямых доказательств, что убийство тов. Урицкого было организовано контрреволюционной организацией, не удалось»². Следствие, однако, осталось при мысли, что такая организация была, — и кивало, как водится, в сторону «империалистов Антанты»³. У Антанты были тогда — летом 1918 года — другие занятия. Ллойд Джорджа и вообще трудно себе представить в роли вдохновителя политических убийств. Его представитель в России не унаследовал террористических воззрений своего предка, знаменитого Джорджа Бьюкенена, монархомана 16-го столетия. Что до Клемансо, то он, хотя и едва ли может быть причислен к принципиальным противникам террора, организацией покушений на русских чекистов, конечно, не занимался и своим представителям этого не поручал.

Я склонен думать, что показания Леонида Каннегисера на допросе соответствуют правде. Убийство Урицкого было его единоличным делом. Никакая организация, — ни та, в которой он состоял вместе с Перельцвейгом, ни какая бы то ни было другая — не поручала ему убивать шефа Петербургской Чрезвычайной комиссии. Непосредственной причиной его поступка, вероятно, и в самом деле была желание отомстить за погибшего друга. (Только этим еще и можно объяснить выбор Урицкого.) Психологическая же основа была,

¹ За «аресты»! — *Автор*

² И. Антипов «Очерки из деятельности Петроградской Чрезвычайной Комиссии». «Петрогр. правда» — *Автор*

³ В советских кругах высказывалось даже такое нелепое предположение, будто, спасаясь после убийства, Каннегисер ехал на велосипеде по Миллионной — к английскому посольству, где хотел найти убежище. — *Автор*

конечно, очень сложная. Думаю, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств. Многое туда входило: и горячая любовь к России, заполняющая его дневники; и ненависть к ее поработителям; и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых; и дух самопожертвования — все то же «на войне ведь не был»; и жажда острых мучительных ощущений — он был рожден, чтоб стать героем Достоевского; и всего больше, думаю, жажда «всеочищающего огня страдания», — нет, не выдуманно поэтами чувство, которое прикрывает эта звонкая риторическая фигура.

Сообщников, повторяю, у него, вероятно, не было, но живой образец, возможно, и был. Он преклонялся перед личностью Г. А. Лопатина и, думается мне, ставил его себе примером, — пример далеко не плохой. Герман Александрович, конечно, не принимал никакого участия в их кружке: он в тот последний год своей жизни уже был неспособен ни к какой работе; да и чувствовал бы он себя среди этих заговорщиков приблизительно так, как себя чувствовал Ахилл, переодетый девочкой, среди дочерей царя Ликомеда. Но Лопатин, сохранивший до конца дней свой бурный темперамент, не стеснялся в выражениях, когда говорил о большевиках и о способах борьбы с ними. Помню это и по своим разговорам с покойным Германом Александровичем. Знаю еще и следующее.

В тот самый день, когда мать Леонида Каннегисера была выпущена из тюрьмы, ей по телефону сообщили из больницы, что Герман Лопатин умирает. Р. Л. Каннегисер немедленно отправилась в Петропавловскую больницу. Герман Александрович, бывший в полном сознании, сказал Р. Л., что счастлив увидеть ее перед смертью.

— Я думал, вы на меня сердитесь...

— За что?

— За гибель вашего сына.

— Чем же вы в ней виноваты?

Он промолчал, — не сказал больше ничего. Лопатин скончался через несколько часов. Едва ли он имел основания обвинять себя в чем-либо, кроме страстных слов, которые у него могли сорваться в разговоре с Леонидом Каннегисером; он очень любил молодого человека.

В том же документе официального происхождения говорится еще следующее:

«Установить точно, когда было решено убить тов. Урицкого, Чрезвычайной комиссии не удалось, но о том, что на него готовится покушение, знал сам т. Урицкий. Его неод-

нократно предупреждали и определенно указывали на Каннегисера, но т. Урицкий слишком скептически относился к этому. О Каннегисере он знал хорошо, по той разведке, которая находилась в его распоряжении».

Вот поистине поразительное утверждение. Оно совершенно невероятно. Если Урицкого предупреждали о готовящемся покушении с указанием имени террориста, значит, надо действительно предположить, что убийство было делом какой-то организации и что в организацию эту входил (или, по крайней мере, имел к ней отношение) агент Чрезвычайной комиссии. Но это противоречит приведенным раньше словам той же осведомленной сводки: «точно установить... не удалось». Притом, какие основания могли быть у Урицкого скептически относиться к предупреждению? И почему же он не велел заблаговременно арестовать Каннегисера? Выследить его было очень нетрудно: он большую часть дня проводил дома, в квартире своего отца, известного всему Петербургу.

Тем не менее есть в этом утверждении что-то загадочное и жуткое. Урицкий хорошо знал о Каннегисере?.. Со странным чувством я читаю это место в полицейской сводке г. Антипова.

Вот что я слышал не так давно. За несколько времени до убийства Каннегисер с усмешкой сказал одному своему знакомому:

— NN, знаете, с кем я говорил сегодня по телефону?

— С кем?

— С Урицким¹.

Больше ничего. NN в ту пору не обратил внимания на сообщение молодого человека. Мало ли для чего петербуржец мог тогда звонить по телефону в Чрезвычайную комиссию! NN, как и я, пишущий эти страницы, узнал об убийстве Урицкого, находясь вне Петербурга, из газет, и был поражен так же, как я. Тогда-то он и вспомнил загадочное замечание Каннегисера.

В самом деле, мало ли для чего можно было звонить по телефону к Урицкому?.. И все-таки это очень странно... Для простой справки или для ходатайства обыкновенному, никому не известному петербуржцу едва ли можно было — даже в то время — вызвать к аппарату самого начальника Чрезвычайной комиссии. Во всяком случае надо было себя назвать. Или Каннегисер прикрылся вымышленным име-

¹ NN не мог вспомнить, было ли это сказано после казни Перельцевейга и его товарищей или до нее — *Автор*

нем? Но почему Урицкий подошел к телефону на вызов незнакомого человека? И зачем это было нужно? И что же именно сказал народному комиссару его будущий убийца?

Не могу понять — и ни минуты не сомневаюсь в верности сообщения NN. Не сомневаюсь, ибо я знал Леонида Каннегисера. Это был его *стиль*... Нет, стиль — неподходящее выражение. Но я чувствую, что независимо от возможного дела (что еще такое он мог придумать!) ему нужно было, ему психологически было необходимо это страшное ощущение. Зачем Раскольников после убийства ходил *слушать* звонок в квартире Алены Ивановны? Зачем Шарлотта Корде до убийства долго *разговаривала* с Маратом?..

Я уехал из Петербурга еще до ареста Перельцевейга. В последний раз я видел Леонида Акимовича в июле 1918 года, в квартире его родителей на Саперном. Он был оживлен и весел. Я советовал его отцу отправить молодого человека куда-нибудь на юг: Петербург гиблое место.

После потрясшей его казни товарищей он больше дома не ночевал. Тогда очень многие петербуржцы старались ночевать вне дома (аресты почему-то производились ночью). Родные Леонида Каннегисера ничего не подозревали и ни о чем его не спрашивали. Он сам ничего о себе не говорил.

16 (29) августа (накануне убийства Урицкого) он пришел домой, как всегда, под вечер. После обеда он предложил сестре почитать ей вслух, — у них это было в обычае. До того они читали одну из книг Шницлера, и она еще не была кончена. Но на этот раз у него было припасено другое: недавно приобретенное у букиниста французское многотомное издание «Графа Монте-Кристо». Несмотря на протесты, он стал читать из середины. Случайность, или так он подобрал страницы? Это была глава о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь знаменитого романа.

Он читал с увлечением до полуночи. Затем простился с сестрой. Ей суждено было еще раз увидеть его издали, из окна ее камеры на Гороховой: его вели под конвоем на допрос.

Ночевал он, как всегда, вне дома. Но рано утром снова пришел на квартиру родителей пить чай. Часов в девять он постучал в комнату отца, который был нездоров и не работал. Несмотря на неподходящий ранний час, он предложил сыграть в шахматы. Отец согласился, — он ни в чем не отказывал сыну.

По-видимому, с исходом этой партии Леонид Каннегисер связывал что-то другое: успех своего дела? удачу бегства? За час до убийства молодой человек играл напряженно и очень старался выиграть. Партию он проиграл, и это чрезвычайно его взволновало. Огорченный своим успехом отец предложил вторую партию. Юноша посмотрел на часы и отказался.

Он простился с отцом (они больше никогда не видели друг друга) и поспешно вышел из комнаты. На нем была спортивная кожаная тужурка военного образца, которую он носил юнкером и в которой я часто его видел. Выйдя из дому, он сел на велосипед и поехал по направлению к площади Зимнего дворца. Перед Министерством иностранных дел он остановился: в этом здании принимал Урицкий, ведавший и внешней политикой Северной Коммуны.

V¹

Смерть не была приглашена

Из старой легенды

Он вошел в подъезд, находящийся посредине той половины полукруглого дворца Росси, которая идет от арки к Миллионной улице. Урицкий всегда являлся в министерство с этого подъезда. Каким образом узнал это Каннегисер? Или он в предыдущие дни следил за народным комиссаром? Допускаю, впрочем, и то, что он мог просто спросить у первого попавшегося служащего, в котором часу, как, с какого подъезда входит тов. Урицкий: риск такого расспроса, жажда острого ощущения — «заподозрят? арестуют? — спросить надо равнодушно, Боже упаси побледнеть», — были в его натуре, все равно как звонок по телефону к Урицкому

В большой, выходящей прямо на улицу комнате, где свершилось убийство, против входной двери находятся лестница и решетка подъемной машины. Деревянный жесткий диван, несколько стульев и вешалки для верхнего платья по выбеленным стенам — вот убранство этой комнаты, выделяющейся своим жалким видом в великолепном дворце министерства. В ней постоянно находился швейцар, который прослужил на этой должности около четверти века. Этот старик, обалдевший от новых порядков, как большая

¹ Некоторые подробности рассказа настоящей главы дошли до меня из совершенно достоверного, связанного с правящими советскими кругами источника, который я не имею возможности назвать — Автор

часть прислуги императорских дворцов, называл Урицкого «ваше высокопревосходительство».

— Товарищ Урицкий принимает? — спросил Каннегисер.

— Еще не прибыли...

Он отошел к окну, выходящему на площадь, и сел на подоконник. Он снял фуражку и положил ее рядом с собой. Он долго глядел в окно. О чем он думал? О том ли, что еще не поздно отказаться от страшного дела, — еще можно вернуться на Саперный, пить чай с сестрой, отыгаться в шахматы у отца или продолжать чтение «Монте-Кристо»? О том, что жизни осталось несколько минут, что он больше не увидит этого солнца, этой площади, этого дворца?.. О том, не пора ли взвести на «fige¹» предохранитель револьвера? О том, что швейцар странно косится и, вероятно, уже подозревает?.. Его ощущения в те минуты мог бы передать Достоевский, столь им любимый... Он ждал. Люди проходили по площади. Сердце стучало. Вдали, наконец, послышался мягкий, страшный, приближающийся грохот, означавший конец...

Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.

Урицкий прибыл со своей частной квартиры на Васильевском острове.

Сколько смертных приговоров упорядоченного террора он должен был подписать в этот роковой день?

Другой приговор уже был составлен.

«Смерть не была приглашена».

Она явилась без приглашения.

Молодой человек в кожаной тужурке уже вставал с подоконника, опустив руку в карман...

Шеф Чрезвычайной комиссии вошел в дверь и направился к подъемной машине.

Посетитель поспешно сделал несколько шагов в его направлении.

Встретились ли их глаза? Прочел ли Урицкий: *смерть*?

Грянул выстрел. Народный комиссар свалился без крика, убитый наповал. Убийца стрелял на ходу с шести или семи шагов в быстро идущего человека. Только верная рука опытного стрелка могла так направить пулю, — если не ошибаюсь, Каннегисер совершенно не умел стрелять.

Поблизости в то мгновение не было никого². Убийца бросился к выходу. Если бы он надел шапку, положил

¹ Здесь «боевой взвод» (англ.)

² Швейцар, должно быть, раскрывал перед «его высокопревосходительством» дверь подъемной машины Кабинет Урицкого находился в третьем этаже — Автор

револьвер в карман и спокойно пошел пешком налево, он, вероятно, легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую и замешавшись в толпу Невского проспекта. Погоня началась только через две или три минуты. Этого было совершенно достаточно, чтобы пройти по площади до арки. Но он не мог рассчитывать на такую счастливую случайность — и не мог идти спокойно. Конечно, он потерял в ту минуту самообладание. Тысячу раз, должно быть, он по ночам представлял себе, как это будет. Это вышло не так... Это всегда выходит не так...

Без фуражки, оставленной на подоконнике, не выпущая из рук револьвера, он выбежал на улицу, вскочил на велосипед и понесся вправо — к Миллионной.

В комнате, где произошло историческое убийство, через минуту поднялась суматоха. Выстрел услышали на первом этаже служащие Народного комиссариата. Несколько человек сбежало по лестнице и остановилось в ошоломлении перед мертвым телом Урицкого. Еще неясно понимая, что произошло, они подняли комиссара и перенесли его на деревянный диван у стены.

Человек, который первый вспомнил об убийце и кинулся за ним вдогонку, не был обыкновенный полицейский. Это был странный субъект, фанатически преданный революции, бедный, неграмотный, бескорыстный, — залитый уже в ту пору кровью с ног до головы. Ему место в художественной литературе. Он еще ждет автора «Петлистых ушей». С криком бросился он на улицу. Другие побежали за ним. Легко было узнать, куда ехать: юноша, мчащийся на велосипеде без шапки, с револьвером в руке, не мог остаться незамеченным на малолюдной площади Зимнего дворца.

Автомобиль со страшной быстротой понесся в погоню.

На велосипеде к убийце, по-видимому, вернулось самообладание. Очевидцы говорили, будто он ехал по улице зигзагами, — желая избежать пули в спину...

Услышав позади себя гул мчащегося автомобиля, он понял, что погибает.

Около дома № 17 по левой стороне, уже совсем недалеко от Мраморного дворца, он затормозил велосипед, соскочил и бросился во двор.

Огромная усадьба Английского клуба выходит, как все дома этой стороны Миллионной, на набережную Невы.

Если бы во дворе проходные ворота были открыты, убийца еще мог бы спастись.

Судьба была против него.

Ворота были заперты.

В отчаянии он вбежал в дверь в правой половине дома и быстро стал подниматься по черной лестнице. Во втором этаже дверь квартиры князя Меликова была открыта. Он бросился в нее, пробежал через кухню и несколько комнат, перед обомлевшей прислугой в передней накиннул на себя сорванное с вешалки чужое пальто, отворил входную дверь и спустился по парадной лестнице¹...

Его схватили внизу. Кто признал в нем убийцу, не знаю, — я слышал разные версии. Он почти не защищался. Спаситься было, конечно, невозможно: у ворот дома, во дворе, уже собралась толпа, как всегда враждебная, жестокая к арестуемым, кто бы они ни были, кто бы ни были арестующие. Он мог покончить с собой, — зачем он этого не сделал...

Убийца Урицкого был во власти Чрезвычайной комиссии.

VI

«Злодей сохранил совершенное хладнокровие. Он похвалялся своим преступлением, утверждая, что отомстил за погибших друзей. Попытки правосудия вырвать у Анкастрема имена его сообщников, несмотря на усилия палачей, не увенчались успехом. Адское спокойствие сохранил преступник и на эшафоте. Он говорил, что умирает за Швецию.

В ночь вслед за казнью неизвестные люди тайно проникли к тому месту, где было выставлено тело Анкастрема, и засыпали цветами и лаврами позорные останки цареубийцы. Следствию не удалось обнаружить виновных

Дело об убийстве короля Густава III

Я ничего не могу прибавить к эпиграфу настоящей главы.

Что поддерживало этого юношу, этого мальчика в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали ему на долю? Не знаю. Хочу понять — и не могу.

Бурная душа Иоанна Анкастрема прошла закал страстей и испытаний. Равальяк, Дамьен твердо знали, что за

¹ Я могу ошибиться в деталях. Будущий Ленотр русской революции, если ему будут доступны, кроме тех рассказов, которыми пользовался я, свидетельские показания очевидцев, собранные в архиве Чрезвычайной комиссии, сумеет более точно и подробно восстановить это страшное действие драмы, разыгравшееся в несколько минут в усадьбе Английского клуба. Сказанного мною достаточно, чтобы оценить замечательное самообладание двадцатилетнего террориста. — *Автор*

муками земной жизни их ждет вечное блаженство, купленное тяжелой ценой. У эшафота Карла Занда, воздвигнутого на лугу, который до сих пор зовется «Karl Sands Himmelfahrtswiese»¹, толпились десятки тысяч людей, смотревших на него как на народного героя Германии, жаждавших омочить платки в крови святого мученика. Русские террористы царского периода, умиравшие *без публики* на дворе Шлиссельбургской крепости, были по крайней мере уверены, что за их действия пострадают лишь они одни, а не их дети, не их жены, не их отцы.

У Леонида Каннегисера не было и этого утешения. Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю его семью. Она и в самом деле спаслась чудом: Петербург в те дни заливался потоками крови. «Революционный террор» ставил себе очередной целью навести ужас и оградить от новых покушений драгоценную жизнь Зиновьевых, — что же было «целесообразнее», чем расстреливать семьи политических террористов!

Он мог знать и то, что на него обращены слепые проклятья ни в чем не повинных людей, которых убивали в качестве заложников — за его поступок. Вместо Урицкого расправу творил Бокий², в десять раз превзошедший своего предшественника и начальника.

Об участии Леонида Каннегисера я говорить не стану. Черными словами о ней сказано в трехтомном «деле об убийстве Урицкого». Увидит ли когда-нибудь свет это дело?..

Он вел себя и умер — как герой...

Вся короткая его жизнь прошла в поисках мучительных ощущений. Эту чашу он осушил до дна, и я не знаю, кому еще была дана судьбой такая чаша. Он пил ее долгие недели без утешения веры, без торжества победы над смертью перед многотысячными толпами зрителей, без «Слышу!» Тараса Бульбы. Никто не слышал. Никто не слушал. Где безвестная его могила? Воздвигнет ли памятник над ней Россия? На той ступени отчужденности от мира, до которой, думаю, он возвысился в свои последние дни, это, вероятно, уже не имело значения. Там должно открываться другое:

Счастлив, кто падает вниз головой,
Мир для него, хоть на миг, да иной

¹ «Луг вознесения Карла Занда» (*нем*)

² Сотрудник гуманного и кристального Урицкого, впоследствии, если не ошибаюсь, убранный по распоряжению Ленина — *Автор*

УБИЙСТВО ГРАФА МИРБАХА

I

19 апреля 1918 года, вскоре после заключения Брест-Литовского мира, в Москву выехал из Берлина, в сопровождении советников, секретарей и технического персонала, германский чрезвычайный посол граф Мирбах. Его назначению предшествовали длительные переговоры по разным вопросам; немцы были даже не вполне уверены в том, куда именно надо посылать посольство: в Москву или в Петербург? Как и весь мир, они совершенно не знали, будет ли еще советское правительство у власти через неделю-другую после приезда посла. Не знали этого и сами большевики. По крайней мере Троцкий говорил в июне 1918 года немецкому дипломату: «Собственно, мы уже мертвы, но еще нет никого, кто мог бы нас похоронить»¹. Почему он так разоткровенничался, не совсем понятно, — вероятно, для эффекта.

Приезд германского посольства вызвал у большевиков довольно основательную тревогу. Катастрофическое немецкое наступление, последовавшее за формулой «войну прекращаем, мира не заключаем», показало, что никакого сопротивления врагу советская власть оказать не может. Хороши были в ту пору дела немцев и на Западном фронте. Большевики, естественно, задавали себе вопрос, зачем именно едет в Москву германский посол; представлять ли свое правительство или свергать советское? Не мог внушать им доверия и личный состав германского посольства. Во главе его стоял граф Вильгельм фон Мирбах-Гарф, член прусской палаты господ, мальтийский рыцарь и ротмистр кирасирского полка. Штатское ведомство Вильгельмштрассе представлял человек военный. Но, по-видимому, германское верховное командование считало Мирбаха еще недостаточно своим человеком и для большей верности приставило к нему от себя, с не вполне определенными обязанностями, майора генерального штаба, барона Карла фон Ботмера. Все эти

¹ K Bother Mit Graf Mirbach in Moskau Tuebingen, 1922 S 57

ротмистры и майоры, бароны и графы ничего хорошего большевикам не предвещали.

Путешествие длилось, по тем временам, пять дней. 24 апреля посольство прибыло в Москву. Ему был отведен огромный особняк сахарного короля в Денежном переулке (№ 5). По случайности в том же переулке жила французская военная миссия. Думаю, что это неожиданное для обеих сторон соседство создало некоторый холодок на маленькой улице Арбата. Но в общем немцы были вполне довольны приемом. В первый же день им в полуголодной Москве был подан отличный обед. «Превосходная еда, — занес в свой дневник барон фон Ботмер, — такой мы давно не имели в подвергнутой блокаде Германии». Особенно он оценил, разумеется, «*Sakuska mit Delikatessen — voran Kaviar...*»¹ Эта восторженная фраза об икре, с легкими вариантами, как лейтмотив проходит на протяжении двух столетий через бесчисленные воспоминания о России иностранных, и в частности немецких, дипломатов.

В ту пору глубокомыслие германской внешней политики считалось в мире аксиомой и никаких сомнений не вызывало. Большевики упорно старались разгадать, какие именно политические цели ставит себе в России правительство Вильгельма II. Им и в голову не приходила дерзостная мысль, что немцы сами этого не знают. Лишь много позднее, из воспоминаний разных германских сановников, выяснилось, что никакой определенной политики в отношении России в Берлине никогда не было (была только определенная хозяйственная политика). Император Вильгельм сохранил мир в 1904 году, когда Россия была целиком поглощена войной на Дальнем Востоке и находилась в острой вражде с Англией. Десятью годами позднее, когда Россия совершенно оправилась и вступила с Англией в дружбу, он объявил войну. Быть может, многое объяснилось бы и в событиях наших дней, если б мы чаще отваживались на ту же дерзостную мысль: не все, далеко не все государственные деятели, пользующиеся большой властью — и большой властью несколько опьяненные, — вполне твердо знают, чего, собственно, они хотят.

Нам, правда, иногда даются полезные предметные уроки. Что может быть тверже, разумнее, последовательнее «вековой политики Англии» и «железных людей Форейноффис»: «Англия не может допустить и никогда не допустит, чтобы другая держава обосновалась на Красном море, со-

¹ «Закуска с деликатесами — прежде всего икра » (нем.)

ставляющем путь в Индию», — эту фразу мы в последние месяцы читали на всех языках во всех газетах мира (читали с некоторым удивлением: Абиссиния не граничит с Красным морем, на Красном море находится Эритрея, давно принадлежащая Италии, и Сомали, давно принадлежащее Франции). Но вот неожиданно оказалось, что «вековая политика Англии» совершенно изменилась два раза за время от понедельника до четверга, причем «железные люди Форейн-офис» плакали в Палате общин. И ведь это Англия — что же говорить о других, менее свободных и культурных странах! Жаль, конечно, что за идеи разных железных людей приходится иногда платить миллионам не железных...

Весной 1918 года германское правительство было в Москве, в Киеве, в Варшаве всемогуще, в самом настоящем и буквальном смысле слова. По предписаниям из Берлина граф Мирбах, его подчиненные и товарищи вели переговоры с кем угодно: с большевиками и с врагами большевиков, с монархистами и с республиканцами, со сторонниками единой России и со сторонниками расчленения России. Планы менялись каждый день. Точно так же ежедневно менялись намерения немцев относительно Украины, Польши, балтийских стран. Я ничего не преувеличиваю, — из воспоминаний сановников и самого императора Вильгельма ясно, что в их кругу был совершенный хаос.

Даже в таком, казалось бы, бесспорном вопросе, как спасение царской семьи, немцы ни на что решиться не могли. Барон Ботмер прямо пишет: «Антанта мало сделала для своего, прежде столь восхвалявшегося, союзника; да у нее и не было способов добиться выдачи царя. С нашей же стороны Россия приняла бы подобное требование, как и все другие, беспрекословно» (далее в воспоминаниях представителя германского верховного командования следуют какие-то весьма сбивчивые, сомнительные и смущенные объяснения). Через несколько дней после екатеринбургской трагедии, в комиссии по обмену военнопленными, большевик Навашин в *доказательство расстройств советского транспорта* бесстыдно сослался на убийство царя: «Вагонов у нас так мало, что мы на днях не могли вывезти из Екатеринбурга одного человека, и это повлекло за собой трагические последствия..» — «Мы вначале оцепенели, — пишет фон Ботмер, — при столь циничной мотивировке убийства императора. Напрасно я ждал протеста немецкого

председателя, требования извинений или прекращения заседания. Ничего не последовало!» Ботмер заявил протест от себя.

Во всей деятельности гр. Мирбаха сказывалось обычное, столь характерное для немцев, сочетание нелепого замысла с изумительным выполнением. Никакого политического плана не было, но технический аппарат стоял на большой высоте. Германское посольство прибыло в Москву в конце апреля; уже в июне, а может быть, и еще раньше, у него были в русской столице и собственная разведка, и свои тайные осведомители. Немцы раздобыли и шифры, которыми пользовались антибольшевистские заговорщики того времени; у большевиков этих шифров не было, и ЧК вынуждена была прибегать к помощи германского посольства, которое в особых случаях ей эту любезную услугу и оказывало¹, хоть без большого восторга.

В середине июня немцам от их секретных сотрудников стало известно, что на них готовят покушение. Но кто именно готовит, им было не ясно. Могла, по их мнению, заниматься таким делом одна из следующих четырех групп: 1) русские монархисты (для того, чтобы вновь вызвать между Германией и Россией войну, в результате которой пала бы советская власть); 2) савинковская организация, при поддержке союзников, тоже в целях возобновления войны; 3) левые эсеры, из ненависти к «германскому империализму»; 4) сами большевики.

Наиболее характерной гипотезой должно признать, конечно, «четвертую»; обе высокие стороны после Бреста обменялись послами, но одна высокая сторона подозревала другую в желании укокошить аккредитованного при ней посла! Однако эта четвертая гипотеза, как и две первые, была совершенно неверна. Единственно верным предположением было третье: графа Мирбаха хотели убить — и действительно убили — левые эсеры.

Странная участь выпала в пору революции на долю этой партии. Теперь от нее, кажется, не осталось и следа. Ее руководители находятся либо в ссылке в отдаленных местах СССР, либо в эмиграции, где даже не создали для себя органа печати. Среди левых эсеров не было выдающихся людей, которые по способностям приближались бы к

¹ Показания Дзержинского по делу об убийстве гр. Мирбаха — Автор.

Красину или к Троцкому (не говоря уже о Ленине). Очень немногие из них составили себе имя в истории революционного движения, — о громадном большинстве мы и вообще впервые услышали в 1917 году. Тем не менее в первый год революции они развили бешеную деятельность. «Дела делано много, но сенсу¹ вижу мало», — говорил в подобных случаях Петр Великий.

Если не «сенсу», то энтузиазма у левых эсеров было, во всяком случае, достаточно. Энтузиазм был их специальностью. После октябрьского переворота они оказались, так сказать, пристяжной партией при большевистском кореннике. Однако в иные минуты нам со стороны могло казаться, что они большевиков свергнут и станут править Россией. Весь мир исполнен неограниченных возможностей, — отчего же было Спиридоновой, Карелину и Камкову не образовывать своего правительства? «Идеология» у них была не хуже и не лучше, чем у большевиков. Она имела успех у части интеллигенции, — в 1918 году партия левых эсеров хотела даже обзавестись своим Горьким и на эту роль, кажется, намечала Александра Блока: знаменитый поэт для подобной роли, впрочем, не годился совершенно и скоро в левых эсерах разочаровался (если в самом деле в пору «Двенадцати» был ими очарован). Больше всего партия надеялась на крестьянство и, пожалуй, по своему названию, облегчавшему некоторую преемственность от популярных людей 1917 года, скорее могла иметь успех у крестьян, чем большевики. Работали левые эсеры явно под яковинцев. Осенью 1917 года они требовали созыва конвента; самое слово «конвент», должно быть, приятно ласкало их слух. Если б существовали яковинские мундиры, левые эсеры надели бы их непременно.

Погубило партию то, что в пору Брестского мира она потребовала «революционной войны». В таком требовании «сенсом», действительно, и не пахло: никакой войны с немцами эти люди вести не могли, да и власть им в союзе с большевиками удалось захватить именно благодаря тому, что все другие партии стояли за войну с немцами. Но, по-видимому, в свою нелепую революционную войну они верили совершенно искренне. «Это опасный человек, — он в самом деле верит в то, что говорит!» — с изумлением сказал о Робеспьере Мирабо. До некоторой степени его изречение могло бы быть отнесено к главным робеспьерикам левоэсеровской партии. Революционной энергии у них было очень

¹ Смысл (*фр. sens*).

много. Иные их дела и планы и по сей день почти неизвестны, — как, например, посылка людей в Берлин для убийства Вильгельма!! и Гинденбурга. Чужой крови левыми эсерами было пролито немало; не жалели они и своей.

24 июня 1918 года центральный комитет партии левых эсеров принял резолюцию: «организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма». Для этого дела и для устройства восстания против большевиков на том же заседании было образовано бюро из трех человек: Спиридоновой, Голубовского и Майорова.

II

В деле об убийстве германского посла очень многое остается непонятным. В моих руках было полное издание «Красной книги ВЧК» (это величайшая библиографическая редкость; за границей она существует, кажется, только в двух экземплярах). Там есть показания людей, имевших самое близкое отношение к убийству или к его расследованию. Из них наиболее важны показания, данные Дзержинским особой следственной комиссии при ВЦИКе. Более странного документа мне никогда читать не приходилось. Он как будто состоит из двух ничем между собой не связанных частей. В первой — глава ВЧК весьма туманно, хоть и гневно, обличает одну группу людей; во второй — он, точно позабыв обо всем предыдущем, переходит к совершенно иным людям, — к тем, которые действительно и убили графа Мирбаха.

Добавлю, что на заседании «суда», происходившем в ноябре 1918 года, обвинитель Крыленко заявил, что «поскольку показания тов. Дзержинского, вызванного в качестве свидетеля, имеются в деле, постольку надобность в допросе теперь (?) последнего не встречается». Суд поспешно согласился с этим несколько неожиданным юридическим суждением, и Дзержинский допрошен не был.

Первая часть показаний главы ВЧК сводится к следующему. «Приблизительно в половине июня, — рассказывает он, — мною были получены от тов. Карахана сведения, исходящие из германского посольства, подтверждающие слухи о готовящемся покушении на жизнь членов германского посольства и о заговоре против советской власти. Членами германского посольства был дан список адресов, где должны были быть обнаружены преступные воззвания

и сами заговорщики. Кроме того списка, был дан в немецком переводе текст двух воззваний. Это дело было передано для рассмотрения гг. Петерсу и Лацису. Несмотря, однако, на столь конкретные указания, предпринятые комиссией обыски ничего не обнаружили, и пришлось всех арестованных по этому делу освободить. Я был уверен, что членам германского посольства кто-то дает умышленно ложные сведения для шантажирования их или для других более сложных политических целей».

В этом начале дела уже есть обстоятельства весьма странные. Иностранное посольство сообщает большевистскому правительству о заговоре не только против посла, но и против советской власти. Казалось бы, такое необыкновенное сообщение (и особенно вторая его часть) должно было бы очень заинтересовать ЧК. Но почему-то Дзержинский не верит, совершенно не верит. Как позднее оказалось, осведомители посольства требовали производства обыска с субботы на воскресенье; обыск, однако, производится в другой день и, если верить главному осведомителю, именно по этой причине не дает результата. Впрочем, по словам того же осведомителя, некоторый результат обыск все-таки дает: осведомитель утверждал, что «по этим адресам были обнаружены нами воззвания, но почему-то дело мы не возбудили». Дзержинский это отрицает: «...обыски ничего не обнаружили, и пришлось всех арестованных по этому делу освободить». Во всяком случае, мы поражены необыкновенной конституционностью действий ЧК: обыски ничего не обнаружили, — обвиняемые немедленно освобождаются! Прямо как в Англии: «Свободный англичанин не может быть арестован иначе, как по законному постановлению, в случаях, предусмотренных законом, и немедленно должна быть ему объявлена причина ареста, дабы он имел возможность приступить к законной защите...» Интересно и то, что Дзержинский ни единым словом не упоминает, у кого же это производился тогда обыск, и кто, собственно, был освобожден на основании *Habeas corpus ad subjiendum*¹ Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Отсюда, однако, не надо делать необоснованных выводов. Дзержинский действительно не знал о заговоре против графа Мирбаха и уж конечно не мог желать этому предприятию успеха, — оно было настоящей катастрофой для советской власти. Тут какая-то загадка, которую со време-

¹ Конституционный акт, гарантировавший права граждан в Англии, принят в XVII в. — *Ред*

нем раскроют историки чекистских дел. Как бы то ни было, ЧК настойчиво требует от посольства разъяснений: кто такие *осведомители*, нельзя ли с ними познакомиться, нельзя ли получить подлинники донесений, нельзя ли получить шифр заговорщиков?

Со стороны посольства вел переговоры советник Рицлер. По-видимому, ему, как и послу, очень не хотелось исполнить просьбу главы Чрезвычайной комиссии. По крайней мере, Дзержинский горько жалуется на недоверие со стороны немцев: «Я получил вполне достоверные сведения, что именно д-ру Рицлеру сообщено, будто бы я смотрю сквозь пальцы на заговоры, направленные непосредственно против безопасности членов германского посольства, что, конечно, является выдумкой и клеветой. Этим недоверием к себе я объяснил тот странный факт, связывающий мне руки в раскрытии заговорщиков и интриганов, что мне не было сообщено об источнике сведений о готовящихся покушениях; этим недоверием, кем-то искусственно поддерживаемым, я объяснил и тот факт, что нам сразу не был прислан ключ к шифру, и что нужно было убеждать д-ра Рицлера дать нам этот ключ к шифру заговорщиков, и что он предлагал первоначально весь материал найденный отправить в посольство».

Понемногу, однако, д-р Рицлер уступает. Посольство пересылает Чрезвычайной комиссии расшифрованные донесения осведомителей, затем сообщает Дзержинскому шифр заговорщиков¹, называет имя второстепенной осведомительницы: это некая Бендерская. Дзержинскому всего мало: он требует, чтобы ему показали главного осведомителя. Немцы идут и на это. Устраивается встреча. Глава ЧК рассказывает о ней очень кратко; тем не менее и по его рассказу видно, что разговор был жуткий. При свидании присутствует германский офицер, но самый вид Дзержинского вызывает у осведомителя ужас. Немец его успокаивает: «с ним ничего не случится».

Осведомитель называет себя: он русский, Владимир Гинч, член организации «Союз союзников», или «Спасение России». Во главе этого союза стоит англичанин Уайбер; входит в союз также француз Мамелюк и еще несколько человек, частью с русскими, частью с иностранными фамилиями (Дзержинский незаметно записывает адреса). «После

¹ «Шифр детский, — замечает пренебрежительно Дзержинский, — каждая буква имеет один только знак, слово отделяется от слова, употребление знаков препинания и т. д.» — Автор

этой встречи я через товарища Карахана сообщил германскому посольству, что считаю арест Гинча и Бендерской необходимым, но ответа я не получил. Были арестованы оба только в субботу после убийства графа Мирбаха».

Все хорошо в этом рассказе, — от разрешения на аресты, испрашиваемого главой ЧК у иностранного посольства, до столь надежной гарантии, которую немцы дали своему осведомителю. Но самое изумительное то, что ни следственная комиссия, ни суд совершенно не интересуются этой частью показания Дзержинского. Нам так до конца остается непонятным, кто были все эти люди, — Гинч, Бендерская, Уайбер, Мамелюк, — какое отношение они имели к убийству германского посла, какая участь их постигла и зачем обо всем этом рассказывается в показаниях главного чекиста. Далее Дзержинский переходит к самому убийству и к настоящим убийцам, не упоминая более ни одним словом ни о Гинче, ни о Бендерской, ни о Мамелюке, ни об Уайбере, ни о «Союзе союзников»!

В первом этаже особняка, занятого германским посольством, были расположены парадные комнаты. За полукруглым вестибюлем следовала комната неопределенного назначения, — фон Ботмер называет ее «Diele»¹. Из нее дверь справа шла в библиотеку. Слева арка открывалась в огромный танцевальный зал. Он сообщался с красной гостиной — между ней и залом вместо двери тоже была арка с шелковой портьерой. Обе эти комнаты выходили на улицу или, точнее, в палисадник между домом и Денежным переулком, отделенный от переулка довольно высокой (2,5 метра) оградой. Настоящий сад был позади дома.

В субботу 6 июля, в 2 ч. 15 м. дня к посольству подкатил автомобиль Чрезвычайной комиссии. Из него вышли два человека. Один «смуглый брюнет с бородой и усами, большой шевелюрой, одет был в черный пиджачный костюм, с виду лет 30 — 35, с бледным отпечатком на лице, тип анархиста; он отрекомендовался Блюмкиным. Другой, рыжеватый, без бороды, с маленькими усами, худощавый, с горбинкой на носу; с виду также лет 30; одет был в коричневый костюм и, кажется, в косоворотку цветную; назвался Андреевым»². Первый на ломаном немецком язы-

¹ Холл (нем.)

² Показания лейтенанта Мюллера, записанные инспектором Ксавьеревым — Автор

ке заявил швейцару, что они приехали к послу по поручению Чрезвычайной комиссии.

Члены посольства еще обедали. Швейцар предложил приехавшим присесть в вестибюле. Ждали они с четверть часа. Немцы, наконец, кончили обед, советник Рицлер вышел в вестибюль и спросил у посетителей, что им угодно. Они сказали, что должны повидать самого посла, и предъявили следующее удостоверение от 6 июля, за № 1428, за подписями Дзержинского и Ксенофонтова¹:

«Всероссийская чрезвычайная комиссия уполномочивает ее члена Якова Блюмкина и представителя Революционного трибунала Николая Андреева войти в переговоры с Господином Германским Послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к Господину Послу».

Рицлер колебался. Вследствие слухов о возможном покушении на Мирбаха, у немцев было решено, что посол не должен лично принимать неизвестных ему людей. В это время в вестибюль вошел переводчик посольства, лейтенант Мюллер. Советник пригласил посетителей последовать за ним. Через танцевальный зал они прошли в красную гостиную. «Уже в малой приемной, — показывал (по-русски) на следующий день лейтенант Мюллер, — для меня стало известно, со слов Блюмкина, что визит их связан с процессом одного венгерского офицера, графа Роберта Мирбаха...»

Здесь еще одна загадка этого темного дела, — правда, менее существенная. В середине июня того же года Чрезвычайной комиссией был арестован по обвинению в шпионаже австрийский военнопленный, граф Роберт Мирбах. Блюмкин в своих показаниях называет его «немецким шпионом» и племянником посла. Свидетели-немцы говорят, что это был лишь весьма отдаленный родственник графа Вильгельма Мирбаха, член венгерской ветви той же знатной семьи. В «Красной книге ВЧК» напечатано «обязательство», в котором этот человек (называющий себя *германским* подданным) обязуется доставлять Чрезвычайной комиссии «секретные сведения о Германии и германском посольстве в России»². Нам, конечно, неизвестно, существует ли в действительности такой документ, и если он

¹ Подписи были подложные — Автор

² И Шубин (Самарин), большевистский редактор стенографического отчета о деле Савинкова, вскользь говорит (с 226), что Роберт Мирбах «якобы был скомпрометирован в деле о шпионаже в пользу Германии». То же «якобы» мы находим в соответственном месте «Заключения обвинительной коллегии» по делу о восстании левых эсеров — Автор

существует, то каким способом он был получен; показания чекистов, во всяком случае, несколько расходятся: «немецкий шпион» обязался давать сведения... о Германии! Как бы то ни было, мысль убийц использовать дело Роберта Мирбаха для получения свидания с послом достигла цели, — впрочем, скорее по случайности.

Советник Рицлер по-прежнему стоял на своем: граф Мирбах не принимает, граф поручил ему, Рицлеру, ознакомиться с делом посетителей. Стоял на своем и Блюмкин: к сожалению, он может изложить дело только послу. Спор, по-видимому, продолжался довольно долго. Наконец Рицлер внес среднее предложение: если посол письменно уполномочит его выслушать представителей ЧК, удовлетворит ли их это? Тогда он принесет письменное полномочие.

Быть может, убийцы побоялись вызвать отказом подозрения, или же в том невыносимом нервном напряжении, в котором находился Блюмкин, он не сразу сообразил, что отвечает, — но ответил он неожиданно согласием: да, письменного полномочия им будет достаточно. Рицлер вышел из красной гостиной и отправился к послу. Случай решил вопрос о жизни Вильгельма Мирбаха: писать полномочие? Не стоит... — В сопровождении советника посольства граф вышел в красную гостиную — к поджидавшим его убийцам.

Они заняли места за тяжелым овальным столом, стоявшим посередине комнаты. У короткого конца стола, спиной к окнам, сел посол, слева от него Рицлер, за ним Блюмкин, слева от Блюмкина Мюллер. Второй убийца (оказавшийся главным) предпочел сесть поодаль, у портьеры, отделявшей красную гостиную от танцевального зала. Как это ни странно, беседа продолжалась долго, — по словам Блюмкина, 25 минут, если не больше. Окна в палисадник были, по-видимому, открыты. На улице стучал мотор автомобиля Чрезвычайной комиссии.

III

Кто были убийцы?

Яков Блюмкин и Николай Андреев служили в Чрезвычайной комиссии, но едва ли могут считаться типичными чекистами. Как-никак, оба они 6 июля без всякой личной выгоды для себя шли почти на верную смерть. Блюмкин впоследствии (гораздо позже) и был Чрезвычайной комиссией расстрелян, — по какому-то другому, мало выясненному политическому делу. Насколько я могу судить, это

был очень тщеславный, смелый, театрально настроенный, не вполне уравновешенный, во всяком случае совершенно шальной, человек. Попал он в ЧК по рекомендации центрального комитета партии левых эсеров и «был откомандирован на должность заведующего «немецким шпионажем», то есть отделением контрразведывательного отдела по наблюдению по охране посольства и за возможною преступною деятельностью посольства». В «Заключении обвинительной коллегии» по делу о восстании левых эсеров вскользь сообщается, что Дзержинский в свое время «возбуждал вопрос о предании Блюмкина суду за его художества». Лацис в своих показаниях говорил: «Я Блюмкина особенно недолюбливал и после первых жалоб на него со стороны его сотрудников решил его от работы удалить». «Недолюбливание» со стороны Лациса, конечно, не может считаться очень отягчающим моральным свидетельством против человека. Вполне допускаю, что «художества» за Блюмкиным действительно водились, но, вероятно, они были политического, а не чисто уголовного свойства: в противном случае, Дзержинский и Лацис не преминули бы объяснить, в чем именно художества заключались. По-видимому, Блюмкин был человек интеллигентный или, во всяком случае, полуинтеллигентный. Посещал он и литературные круги. Мне известно, что незадолго до своего дела он появился в одном из московских литературных салонов: там всех удивил каким-то странным одеянием — белой буркой, — но ничем другим, кажется, не удивил: мог, значит, кое-как сойти и за литератора. Что до Николая Андреева, то он состоял в ЧК на должности фотографа отдела по борьбе с международным шпионажем и был на этот пост определен Блюмкиным. «Блюмкин, — сообщает Лацис, — набирал служащих сам, пользуясь рекомендацией ЦК эсеров. Почти все служащие его были эсеры; по крайней мере, Блюмкину казалось, что все они эсеры». Как надо понимать последние слова старого чекиста, не берусь сказать. Возможно, что обе партии, поделившие между собой Чрезвычайную комиссию, на всякий случай подбрасывали друг к другу своих агентов и соглядатаев.

Отношения между большевиками и левыми эсерами в ту пору стали весьма враждебными. 4 июля в здании Большого театра открылся съезд советов, — открылся в очень торжественной обстановке. Обычная газетная формула при описании больших парламентских дней: «зал переполнен до отказа, налицо весь дипломатический корпус» могла подойти и к этому случаю. На сцене были расставлены декора-

ции «Бориса Годунова». В Грановитой палате¹ заседал президиум, — весь цвет обеих партий. Что до дипломатического корпуса, то ему правительство отвело две ложи, одну над другой: в нижней сидели Локкарт, английские и французские офицеры, в верхней немецкое посольство во главе с графом Бассевицем — такое сочетание людей в 1918 году действительно было довольно необычным.

Сам Мирбах в Большой театр не явился, — вероятно, опасаясь покушения. Но его имя в Грановитой палате склонялось во всех падежах. При одном особенно резком выпад против германского посла левые эсеры вдруг поднялись с мест и, обратившись к немецкой ложе, завопили в один голос: «Долой немцев!» (Кроме «Долой», раздавалось и более сильное восклицание в народном стиле.) «В ложе движение», — отмечает корреспондент «Нашего слова». Для «движения» тут действительно были основания². Но еще большее могло быть и было «движение» при тех любезностях, которыми осыпали друг друга вожди обеих партий. Так, Замков, скандируя, прерывал речь Троцкого несколько однообразным, но сильным возгласом: «Врете!.. Врете!.. Врете!..»³

Если верить Блюмкину, ЦК партии левых эсеров только в этот день, 4 июля, решил убить графа Мирбаха. Он, Блюмкин, был будто бы вызван прямо из Большого театра одним членом ЦК и получил от него соответственное поручение. Однако показания, данные Блюмкиным большевистскому суду, вообще большого доверия не заслуживают. Убийство германского посла должно было послужить и действительно послужило сигналом к восстанию. Организовать такое дело в 36 часов было совершенно невозможно. Во всяком случае, подготовка убийства началась значительно раньше. «Теперь я вспоминаю, — говорил Лацис, — что Блюмкин дней за 10 до покушения хвастался, что у него на руках полный план особняка Мирбаха». Но возможно,

¹ «Наше слово» (таково было тогда очередное название «Русского слова»), 5 июля 1918 года — *Автор*

² На следующий день (то есть накануне своей смерти) граф Мирбах совещался с турецким послом Халил-беем и с болгарским посланником Чапрашниковым о том, следует ли заявить протест. Было решено, что не следует, так как «членов съезда советов нельзя приравнивать к депутатам европейских парламентов» — *Автор*

³ «Свобода России» («Русские ведомости»), 5 июля 1918 года, и другие московские газеты — *Автор*

что 4 июля постановление об убийстве было окончательно оформлено. «Ночью того же числа я был приглашен в заседание ЦК, в котором было окончательно постановлено, что исполнение акта над Мирбахом поручается мне, Якову Блюмкину, и моему сослуживцу, другу по революции, Николаю Андрееву», — в несколько особом, торжественном тоне рассказывает убийца германского посла: торжественная обстановка, ночное заседание, вынесение приговора, это было вполне в духе левых эсеров.

«В ночь на 6-е мы почти не спали и готовились психологически и организационно...» Блюмкин жил в гостинице «Элит». С Андреевым он встретился в день убийства в первом Доме советов (Национальная гостиница). Там им дали снаряд и револьверы. «Я спрятал револьвер в портфель, бомба находилась у Андреева, также в портфеле, заваленная бумагами. Из «Националя» мы вышли около двух часов дня. Шофер не подозревал, куда он нас везет. Я, дав ему револьвер, обратился к нему как член комиссии, тоном приказания: «Вот вам кольт и патроны, езжайте тихо, у дома, где остановимся, не прекращайте все время работы мотора, если услышите выстрел, шум, будьте спокойны...»

Разговор в красной гостиной посольства между графом Мирбахом и его убийцами продолжался, повторяю, довольно долго. Он велся при посредстве переводчика. Германский посол в свое время служил в Петербурге¹, но по-русски, по-видимому, не понимал ни слова. Зачем Блюмкину и Андрееву понадобилось разговаривать 25 минут с человеком, которого они могли убить тотчас, — это сложный вопрос психологии террористов (есть знаменитые исторические прецеденты). Трудно, однако, понять, о чем они могли так долго беседовать. До нас дошло четыре рассказа о сцене убийства; из них три исходят от ее участников: Блюмкина, Рицлера и Мюллера, а четвертый — от барона Ботмера, который при убийстве не был, но, конечно, в тот же день не раз слышал рассказы очевидцев. Как почти всегда в таких случаях бывает, версии свидетелей совпадают не во всем.

Блюмкин разложил на мраморном столе документы, находившиеся в его портфеле, и стоя стал докладывать о деле

¹ В краткой биографии графа Мирбаха, напечатанной в «Нашем слове» (24 апреля 1918 года) после приезда посла в Москву, сообщается, что он был связан личной дружбой с П. А. Столыпиным и часто посещал салон графини Клейнмихель — Автор

арестованного Роберта Мирбаха. Вероятно, лейтенант Мюллер переводил его слова фразой за фразой. Однако посол сразу заявил, что это дело его не интересует. «Когда на слова Блюмкина, — нескладно показывает Мюллер, — посол ответил, что он ничего не имеет общего с упомянутым офицером, что это для него совершенно чуждо и в чем именно заключается суть дела, Блюмкин ответил, что через день будет это дело поставлено на рассмотрение трибунала. Посол и при этих словах оставался пассивен». Посол оставался пассивен, но Блюмкин, должно быть, очень волновался. По крайней мере, Рицлер говорит: «Так как мне объяснения докладчика Чрезвычайной комиссии показались крайне неясными, то я заявил графу Мирбаху, что лучше всего будет дать ответ по этому делу через Карахана».

На этих словах советника разговор, очевидно, должен был кончиться. В эту минуту в дело вмешался Николай Андреев, до того все время молчавший. Он произнес по-русски фразу, бывшую, по мнению Мюллера, условным знаком: «По-видимому, послу угодно знать меры, которые могут быть приняты против него». Ботмер дает иную версию условной фразы: «Дело идет о жизни и смерти графа Мирбаха...» Думаю, что фраза Ботмера правдоподобнее, — она была двусмысленной: «о жизни и смерти графа Мирбаха», — но не Роберта, а Вильгельма! Думаю, что эта «роковая игра слов» из уголовного романа вполне соответствовала психологии убийц посла; они должны были приготовить именно такой условный знак.

«Со словами «это я вам сейчас покажу», стоявший за большим тяжелым столом Блюмкин опустил руку в портфель, выхватил револьвер и выстрелил через стол сперва в графа, а потом в меня и д-ра Рицлера, — рассказывает Мюллер. — Мы были так поражены, что остались сидеть в своих глубоких креслах. Граф Мирбах вскочил и бросился в зал, причем его взял на прицел другой спутник; второй направленный в меня выстрел я парировал тем, что внезапно нагнулся. Первый посетитель продолжал стрелять и за прикрытием тяжелой мебели бросился также в зал. Один момент после этого последовал взрыв первой бомбы, брошенной в зал со стороны окон. Оглушительный грохот раздался вследствие падения штукатурки стен и осколков раздробленных оконных стекол. Вероятно, и частью вследствие давления воздуха, отчасти инстинктивно, д-р Рицлер и я бросились на пол. После нескольких секунд мы бросились в зал, где граф Мирбах, обливаясь кровью из головной раны, лежал на полу...»

Блюмкин рассказывает несколько иначе: «После 25 минут, а может, и более продолжительной беседы в удобное мгновение я достал из портфеля револьвер и, вскочив, выстрелил в упор последовательно в Мирбаха, Рицлера и переводчика. Они упали. Я прошел в зал. В это время Мирбах встал и, согнувшись, направился в зал за мной. Подойдя к нему вплотную, Андреев на пороге, соединяющем комнаты, бросил себе и ему под ноги бомбу. Она не взорвалась. Тогда Андреев толкнул Мирбаха в угол (тот упал) и стал извлекать револьвер. Я поднял лежащую бомбу и с сильным разбегом швырнул ее. Теперь она взорвалась необычайно сильно».

В этом рассказе чувствуется желание террориста подчеркнуть свое необыкновенное хладнокровие: он улучил «удобное мгновение» (хоть все мгновения за эти 25 минут были для дела одинаково «удобны»); он «прошел в зал» — не выбежал, а прошел, — Мирбах направился за ним (и то, и другое довольно бессмысленно); он же, Блюмкин, и убил посла. В действительности, стреляя в соседей почти в упор, Блюмкин, по свидетельству немцев, не ранил пятью выстрелами никого. Вероятно, в эту минуту, несмотря на бесспорную свою смелость, он, как и немцы, потерял самообладание (собственно, и стрелять в советника посольства, а тем более в переводчика, партия никак ему не поручала). Мирбаха убил наповал револьверным выстрелом Андреев. Бомба только дала террористам возможность бежать.

Тотчас после взрыва они бросились через окно в палисадник. Вероятно, у ворот стояла стража, — убийцы перескочили через высокую ограду. При этом Блюмкин был ранен в ногу. По его словам, в него стреляли из окна посольства, но это маловероятно (немцы об этом не говорят ни слова); скорее, выстрелил приставленный к посольству латышский часовой. «Я перелез через ограду, бросился на панель и дополз до автомобиля. Мы отъехали, развили полную скорость...» Блюмкин еще сообщает, что они не знали, куда бежать, да и не желали спастись бегством: «Наше понимание того, что называется этикой индивидуального террора, не позволяло нам думать о бегстве. Мы даже условились, что если один из нас будет ранен и останется, то другой должен будет найти в себе волю застрелить его...» Это все, разумеется, цветы красноречия. Но верно то, что убийцы спаслись истинным чудом. «Если мы ушли из посольства, то в этом виноват непредвиденный иронический случай», — говорит Блюмкин. «Стечение несчастных обстоятельств (eine Verkettung unglücklicher Umstand)», — пишет в дневнике барон Ботмер.

IV

Андрееву и Блюмкину удалось бежать из посольства по случайности. Как ни странно, никто из немцев не носил при себе оружия. К тому же они совершенно растерялись. Барон фон Ботмер, отмечая, что террористические акты с давних пор происходили «im Heiligen Mutterchen Russland»¹, высказывал в дневнике предположение, что будет перерезано все посольство. «Все бывало. Достаточно вспомнить Кеттлера в Пекине², — писал он 7 июля, когда первая тревога все же должна была несколько улечься. Легко себе представить смятение, последовавшее тотчас за убийством. Немедленно все входы в особняк были наглухо закрыты, везде расставлены немецкие часовые, «Шуберт в качестве старшего офицера принял на себя командование маленькой крепостью, какой мы должны были считать наше здание...» Тотчас заработал и телефон.

Нападения на посольство не последовало. Снести по телефону с советским правительством все почему-то не удавалось. Было послано донесение в Берлин. По-видимому, немцы не знали, что делать, — дипломатическая практика совершенно не предусматривала убийства послов. Прежде всего, очевидно, надо было заявить протест. Это было поручено барону Ботмеру — он представлял верховное командование, которого всего больше боялись большевики. В сопровождении переводчика Мюллера Ботмер отправился на автомобиле в комиссариат иностранных дел, помещавшийся тогда в гостинице «Метрополь». На улицах уже было очень беспокойно. Быть может, весть об убийстве германского посла и не разнеслась по столице. Но шел глухой слух о том, что готовится вооруженное восстание, — о замысле левых эсеров знали ведь десятки, а то и сотни людей. В это время разразилась страшная гроза. Грозовые удары слышались непрерывно.

Вслед за трагедией в Денежном переулке в гостинице «Метрополь» произошла комическая сцена, о которой Ботмер рассказывает кратко. В комиссариате уже знали об убийстве Мирбаха; вероятно, дошел в гостиницу и зловеющий слух о готовящемся восстании. Настроение было «нервное» или, точнее говоря, паническое: ждать можно было

¹ «В святой матушке-России» (нем.).

² Как известно, германский посланник в Китае барон Кеттлер был убит китайцами 20 июня 1900 года в начале восстания боксеров. — Автор.

всего. Вдруг в гостинице появились два немца, — вид у них, надо думать, был не очень приветливый. Карахану, заменявшему Чичерина, пришла в голову ужасная мысль: это ворвались убийцы! «Наше столь горькое и серьезное объяснение началось почти комически, — пишет барон фон Ботмер (с. 73), — большевистский дипломат, по-видимому, принял нас за террористов. Когда мы вошли, он бросился с какой-то дамой в другую комнату, и там заперся. Его удалось убедить выйти к нам лишь после некоторых переговоров».

Почти одновременно начался съезд в посольство советских сановников. В Денежный переулок прибыли Чичерин, Свердлов, Дзержинский, сам Ленин. Все они рассыпались в извинениях, в объяснениях, в соболезнованиях: советское правительство ни в чем не виновато, оно горячо сочувствует, оно глубоко скорбит... Немцы слушали их весьма мрачно. «От вашей скорби пользы теперь никакой!» — сказал сердито Чичерину фон Ботмер. Посольство потребовало немедленной присылки оружия для раздачи бывшим в Москве германским военнопленным: оно больше советской полиции не верит и само позаботится о своей охране. Требование это было, разумеется, тотчас исполнено. Дальше немцы так и не пошли. Рвать с Советской Россией, сажать другое правительство в Москве, искать второго гетмана — это было трудно. На Западном фронте дела шли теперь много хуже.

Большевики, со своей стороны, старались всячески умиловить германское посольство; как ни нужны им были войска для подавления восстания левых эсеров, в Денежный переулок спешно созывались чекисты, красногвардейцы, пулеметные команды, «матросы весьма сомнительного вида». Прибыл Радек «in kriegigerischer Ausrüstung»¹, вооружившийся каким-то колоссальным револьвером, — по словам Ботмера, этот револьвер размерами напоминал осадную мортиру. Другой видный большевик, Бронский, остался ночевать в посольстве, — очевидно, для его защиты. Предупредительность вообще была необыкновенная.

В Трехсвятительском переулке, в особняке Морозовых и в примыкающих к нему двух домах, помещался так называемый отряд Попова — главная надежда левых эсеров. Это было очень странное собрание людей, напоминавшее и лагерь Валленштейна, и войска Стеньки Разина, и красногвардейцев поэмы Александра Блока. Отряд состоял в распоряжении Чрезвычайной комиссии, но она не очень

¹ «В боевом снаряжении» (нем.)

уверенно им распоряжалась. По словам Дзержинского, «отряду Попова всегда поручалось разоружение банд, и он всегда блестяще выполнял такие поручения». Понятие «банд» в революционные времена натывается на большие методологические трудности. «Отряд» блестяще разоружает «банды», пока не объявляется бандой сам. Для многих шальных людей, бродивших тогда по Москве и под Москвою без занятий и, главное, без хлеба, служба в отряде была очень подходящим делом: люди эти шли к Попову в левые эсеры, как их далекие предшественники шли в ушкуйники к Василию Буслаеву или в гайдамаки к Гонте и Верлану. У Попова было в изобилии вино, и он в вине не отказывал ни себе, ни другим¹. У него были также консервы, сыгравшие значительную роль в июльском восстании 1918 года². При другом стечении консервных и иных обстоятельств отряд Попова мог бы верой и правдой служить большевикам; но вышло так, что он служил левым эсерам. Я слышал, что сам Попов впоследствии пристал к анархистам и погиб за идеалы Кропоткина. Не берусь судить, каковы были в 1918 году его отношения с интеллигентами в очках, заседавшими в левозеро-вском штабе и представлявшими, по их словам, «дантоновское начало в русской революции».

Отряд Попова был невелик. В «Заключении обвинительной коллегии» по делу о восстании говорится о 600 бойцах при двух батареях. Сам Попов исчислял отряд в 1000 человек. «Генерал» Вацетис, подавлявший восстание, утверждает в своих воспоминаниях, что в распоряжении Попова было 2000 штыков, 64 пулемета, 1 тяжелая батарея, 1 легкая батарея и 8 броневи-ков, из них 4 с орудием³. Для устройства революции в России и для возобновления войны с немцами этого было недостаточно. И тем не менее восстание едва не удалось. Во всяком случае, тревога в Кремле была необы-

¹ «Попов был выпивши, — показывает, например, один из арестованных, — и кроме него еще несколько человек, которых я не знал, были тоже заметно выпивши» «Их радужное настроение, — говорит Дзержинский, — испортило известие, что Спиридонова и фракция их арестованы Попов влетел «За Марию снесу пол-Кремля, пол-Лубянки, полтеатра!» И действительно, были нагружены людьми автомобили и уехали для вырочки Раздавались консервы, сапоги, провиант, доставили белье, баранки Замечалось, что люди выпили » — Автор

² «Разнесся слух, что в штабе Попова раздаются консервы, и публика заинтересовалась консервами, стала сновать взад и вперед из казарм туда и обратно» (показания Шоричева) — Автор

³ Вацетис История латышских стрелков — Отрывки из этой книги, вышедшей на латышском языке, появились в недолго выходявшем в Берлине журнале левых эсеров «Знамя борьбы» № 4 1924 — Автор

чайная. Вацетис в тех же воспоминаниях пишет несколько загадочно: «История русской революции нам расскажет в будущем, что творилось в кругах советского правительства за время с 6 июля до полудня 7 июля...» Подвойский и Муралов в докладе Совету Народных Комиссаров, перечисляя «упущения», обнаружившиеся при подавлении восстания, сдержанно-почтительно упоминают среди этих упущений и «вполне объяснимую нервность из Кремля...»

Нервность проявлялась с обеих сторон этой странной баррикады. Среди левых эсеров были люди совершенно исключительного мужества, как Черепанов, впоследствии главный организатор взрыва в Леонтьевском переулке (надеясь рассказать о нем). Ничего лучшего левые эсеры не оставляли желать и в смысле демагогии — или попросту вранья, в подобных делах необходимого и почти неизбежного. До нас дошли «бюллетени», выпускавшиеся в часы восстания его вождями. В этих бюллетенях они, например, утверждали, что «в распоряжение Мирбаха был прислан из Германии известный русский провокатор Азеф для организации шпионажа, опознанный нашими партийными товарищами в Петрограде и Москве»¹. Левый эсер Карелин уверял рабочих, что Ленин и Троцкий вывезли в Германию на три миллиарда мануфактуры и уплатили ей за социализацию земли тридцать миллиардов². Но в самом ведении восстания его руководители ни умения, ни энергии не проявили.

Дзержинского, по его словам, в германском посольстве после убийства графа Мирбаха встретили «с громким упреком»: «Что вы теперь скажете, господин Дзержинский?..» Ему показали написанные на бланке Чрезвычайной комиссии удостоверения, которыми убийцы воспользовались для получения свидания с послом. Как это ни невероятно, немцы, очевидно, считали подпись Дзержинского на бланке подлинной; иными словами, они подозревали, что граф Мирбах убит с благословения советского правительства! «Я увидел, что подписи наши скопированы, подложны. Мне все сразу стало ясно. Партию левых эсеров я не подозревал еще, думая, что Блюмкин обманул ее доверие. Я распорядился немедленно разыскать и арестовать его (кто такой

¹ «Бюллетень № 1» — Азеф уже месяца три находился в могиле он умер 24 апреля 1918 года (см. превосходную книгу Б. И. Николаевского «История одного предателя», С. 372) — *Автор*

² Показания Павла Одинокова — *Автор*

Андреев, я не знал). Один из комиссаров, товарищ Беленький, сообщил тогда мне, что недавно, уже после убийства, видел Блюмкина в отряде Попова...» Дзержинский отправился в дом Морозова.

Случай явно благоприятствовал левым эсерам: к ним в руки таким образом попадал глава Чрезвычайной комиссии, тот самый человек, который должен был распоряжаться подавлением восстания. Можно с большой вероятностью предположить, что если б на месте левых эсеров были большевики, то столь счастливая случайность была бы немедленно использована как следует. Левые эсеры, однако, Дзержинского не убили. Из его рассказа ясно видно, что они и вообще не знали, как, собственно, обстоит дело: он ли их арестовывает или они его арестовывают? Пьяный Попов видел: Блюмкин болен, Блюмкин уехал на извозчике в больницу и т. д. «Я стал осматривать помещение с товарищами Трепаловым и Беленьким. Мне все открывали, одно помещение пришлось взломать... Тогда подходят ко мне Прошьян и Карелин и заявляют, чтобы я не искал Блюмкина, что граф Мирбах убит им по постановлению ЦК их партии, что всю ответственность берет на себя ЦК. Тогда я заявил им, что я их объявляю арестованными и что если Попов откажется их выдать мне, то я его убью как предателя. Прошьян и Карелин согласились тогда, что подчиняются, но вместо того, чтобы сесть в мой автомобиль, бросились в комнату штаба, а оттуда прошли в другую комнату...»

Может быть, Дзержинский и приукрашивает свою роль, оказавшуюся в этом деле не из самых выигрышных. Но в основном его рассказ подтверждается другими показаниями. В Трехсвятительском переулке был хаос: люди шли на вооруженное восстание — и до начала боя готовы были сдаться на милость человека, который явился в их гнездо без всякой воинской силы! Опомился ли, протрезвился ли Попов, или вмешались смелые люди из интеллигентского штаба — Черепанов, Спиридонова, Саблин, — но Дзержинский был объявлен арестованным. Так он и просидел взаперти до окончания восстания; пойти дальше левым эсерам помешало этическое начало социальной революции.

В задачу настоящего очерка не входит, конечно, подробный рассказ о восстании левых эсеров — его история достаточно известна. Продолжалось оно не более суток. С утра 7 апреля латышская батарея, по словам Подвойского и Муралова, «с неподражаемой лихостью» подошла на 200 шагов к Трехсвятительскому переулку и разгромила гранатами штаб Попова. «Когда разгромленный штаб, спасаясь

бегством от артиллерийского огня, был замечен окружающими солдатами Попова, то последние со словами: «Что ж, штаб бежит, а мы будем оставаться» частью обратились в бегство». Дальше все было как полагается: погоня, аресты, расстрелы.

Убийцы графа Мирбаха были скрыты вблизи штаба Попова. Блюмкин в своих показаниях на суде дал о том, как и где он скрывался, сведения неполные и частью неверные. Это, конечно, делает ему честь. Укрывал его один народный социалист, ныне давно покойный. Убийца германского посла начал свою бурную политическую карьеру в трудовой народно-социалистической партии. Впоследствии, к обоюдному удовольствию с ней расставшись, состоя на службе ЧК, он оказал видному члену этой партии огромную услугу: предупредил его о предстоящем аресте и тем, быть может, спас ему жизнь. Если не ошибаюсь, помогало также скрываться Блюмкину, по соображениям спортивным и германофобским, одно иностранное посольство.

Затем, вскоре после убийства Мирбаха, произошло событие, сыгравшее некоторую роль не в одной этой истории: маршал Фош перешел в наступление. Начался разгром Германии. Из всемогущих хозяев всей Восточной Европы немцы стали людьми бессильными. Скитавшийся в тяжких условиях Блюмкин сообразил, что теперь за «казнь германского империалиста» в Москве не казнят; напротив, можно даже стать героем. Он добровольно явился в Чрезвычайную комиссию. Расчет его оказался правильным: приговоренный к трем годам тюрьмы, он был оставлен на свободе и вышел в люди у большевиков. Погиб он много позднее как «троцкист» — подобный ему человек и не мог умереть естественной смертью. Какая участь постигла его товарища Николая Андреева, жив ли он, преуспел ли, — мне неизвестно.

ВЗРЫВ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

I

25 сентября 1919 года в Москве, в Леонтьевском переулке, в доме Московского комитета РКП, состоялось многочисленное большевистское совещание. В повестке значились два вопроса: Национальный центр и партийные школы. Второй из них был вполне нормальный. Известно, что большевики придают очень большое значение партийным школам. Какими людьми окажутся впоследствии воспитанники их школ — это, как говорится, «покажет будущее». Но едва ли подлежит сомнению, что за 18 лет владычества большевиков школы оказали им немалую услугу. Как бы то ни было, в заседании 25 сентября участвовали виднейшие партийные деятели. Их даже было что-то уж слишком много для вопроса о школах. Добавлю, что в этот день в московских газетах появилось сообщение, поименно приглашавшее виднейших большевиков прибыть на заседание: «явка обязательна». Ленин поименован не был, но в Леонтьевском переулке ждали и его, — что-то помешало ему приехать. Был на заседании и контроль явившихся. Как рассказывает один из участников, «пришла товарищ женщина и стала переписывать товарищей на память...».

Я склонен думать, что главное было не во втором, а в первом вопросе, — к сожалению, довольно таинственном. В августе 1919 года ЧК раскрыла «заговор Национального центра». По ее сведениям, в эту тайную организацию входил какой-то коммунист. По крайней мере, так утверждали докладчик и Бухарин, Преображенский и Покровский. Один из участников заседания, следователь МЧК Сазонов, сообщает, что после доклада Бухарина настроение было очень тяжелое. «Всех угнетала мысль, что в среде нас, коммунистов, есть предатели, участвовавшие в Национальном центре... Во время доклада тов. Покровского и Преображенского атмосфера еще более накалилась, чувствовалось большое напряжение. Товарищи подозрительно

оглядывали друг друга (мое личное мнение). У каждого вертелся вопрос: кто-то из нас Иуда?»

О существовании «Иуды» в Национальном центре мне ничего не известно. По-видимому, ни к каким выводам не пришло и собрание, — да о подобных выводах и не говорят в присутствии 120—150 человек: кроме вождей, была на заседании и партийная демократия, обозначаемая в официальном документе как «представители районов, лектора, агитаторы и пр.». Затем перешли к вопросу о школах, начали выступать разные «и пр.». Собравшиеся стали понемногу расходиться. Вожди (или, по крайней мере, часть их) остались на заседании. В зале было человек восемьдесят. Другие гуляли в коридорах.

Леонтьевский переулок находится в одной из старых частей Москвы. Если не ошибаюсь, в этих местах при Иване Грозном находилось «особое хозяйство опричнины». Позднее это был квартал «аптек», — так еще при Петре забавно назывались питейные дома, потом переименованные в «фартины». Где-то здесь же находилось в конце XVIII века одно из многочисленных учреждений Н. И. Новикова, — полукommerческих, полупросветительных и масонских; расположенный поблизости Газетный переулок (прежде Вражский Успенский) назван так потому, что тут впервые, по инициативе Новикова, стали продаваться газеты.

Дом Московского большевистского комитета (№ 18 по Леонтьевскому переулку) принадлежал до революции графине Уваровой. Это был большой прекрасный барский особняк с садом, выходивший также на Большой Чернышевский переулок. В начале советской революции особняк был отдан партии левых эсеров, которая в нем разместила свой центральный и городской комитеты. После убийства графа Мирбаха и июльского восстания 1918 года, левые эсеры лишились всего, лишились и особняка, отошедшего к городскому комитету большевиков.

Заседание происходило во втором этаже дома в довольно большом зале с балконом. По-видимому, этот балкон тянулся вдоль всего зала или значительной его части. Он выходил в сад, идущий к Большому Чернышевскому переулку. У стены зала стоял рояль. Был, вероятно, стол для президиума. Другие участники заседания разместились, естественно, по чинам, — в этом отношении большевики не нарушают общего закона всевозможных собраний. Обстоятельство это оказалось весьма важным: без него, по всей

вероятности, погибла бы вся так называемая верхушка большевистской партии.

Шел девятый час вечера; заседание началось в шесть. Говорил кто-то из «и пр.». Слушали его плохо. «В зале стоял гул, как в пчельнике», — показывает Н. Сазонов. Один из прилежных участников заседания попросил даже председателя Мясникова «привести в порядок товарищей», что Мясников и сделал в довольно резкой форме.

В эту минуту произошло нечто весьма страшное. Боковое окно балкона (ближе к стене, противоположной президиуму) вдруг приотворилось, и раздался не то треск, не то удар¹, — свидетельские показания расходятся. За окном было уже темно, едва ли можно было увидеть в окне чью-то руку, удар был не очень силен, — и тем не менее все остолбенели. Один из очевидцев рассказывает: «Я тут же взглянул по направлению большой двери, она была с железной решеткой, но рядом во втором окне от стены зияло отверстие приблизительно в 2 четверти (?); зал весь замер, вдруг кто-то крикнул: «Бомба!», другой: «Бомбу бросили!..» И сразу мертвая тишина сменилась криками. До балконной двери было пять рядов стульев, сидели почти все женщины, очень мало мужчин, сразу товарищи бросились со стульев на пол, около бомбы получилось пустое место... Я смотрю налево, у меня перед глазами у рояля стоит, притаившись, тов. Кропотов и немножко правее тов. Сафонов. Вдруг бомба издала шипение. Я, как фронтовик, зная по опыту, что надо делать, инстинктивно обернулся, куда спастись: спереди рояль, сзади груды человеческих тел и стульев, я сообразил: моментально согнулся и юркнул под рояль, но, дурак, не лег к стене или к двери лицом, а лег лицом в зал, и меня это погубило. Шипение продолжалось еще секунды три, и раздался адский взрыв. Я почувствовал, что оглох. Дышится трудно. Чувствую мертвую тишину, открыл глаза — мрак. Вдруг слышу справа ужасный стон: «Помогите!..» Слева: «Воздуху!..» Я ощупал руками пространство: рояль стоит на двух передних ножках...»

Это был один из самых кровопролитных террористических актов истории. Убито было двенадцать человек, ранено пятьдесят пять. Так как снаряд упал у предпоследнего

¹ По-видимому, при падении снаряда на пол разбилось оконное стекло. Между моментом падения и взрывом прошло, по словам чекистского отчета, около 45 секунд (так и сказано: «около 45 секунд»). Как ни трудно измерить в подобных случаях время, на хронометр никто не смотрел, — расхождение в этом вопросе свидетельских показаний удивительное: Мясников говорит о «4—5 минутах»! — Автор.

ряда, то ни один из сановников не погиб, если не считать сановником убитого наповал секретаря Московского комитета Загорского. Но среди раненых были Мясников, Бухарин, Стеклов, Сафаров, Ем. Ярославский. Пострадали почти все находившиеся в зале люди. Это немудрено: бомба, начиненная динамитом, весила более пуда. Дом графини Уваровой был разрушен взрывом. «От трехэтажного¹ здания, — рассказывает Мясников, — в доброй своей половине почти ничего не осталось».

Во многих отношениях замечательно это кровавое дело. По способу подготовки и выполнения оно принадлежит к тому, что можно было бы назвать кустарным террором. Судьбы террора таинственны. Я думаю, специалисты полицейского дела должны с некоторым недоумением читать в курсах римской истории главы, посвященные убийству Юлия Цезаря. Грозные записки, подбрасывавшиеся к подножью разных статуй, зловещие видения Кальпурнии, слухи о мартовских идах, — все это как будто свидетельствует и о кустарном характере заговора, и о кустарной организации римской полиции. Но тут все можно сваливать на фатализм диктатора, — Цезарь говорил ведь: «Лучше умереть один раз, чем дрожать всю жизнь». Большевиистские вожди отнюдь не разделяли этого мнения, а ЧК в сентябре 1919 года была уже далеко не столь беспомощной, как в первые месяцы своего существования. Тем не менее дело в Леонтьевском переулке удалось.

На место покушения явились пожарные, врачи; Чрезвычайная комиссия принеслась чуть ли не в полном составе. Уцелевшие, легко раненные давали показания. Один из спасшихся, Борисов, картинно описывал свои чувства: «Может быть, это будет беллетристика и сентимент, но в эту тяжелую и кошмарную минуту я вспомнил «Враги» М. Горького, там есть место, где ради спасения лучшего товарища и борца молодой товарищ согласился жертвовать собой, и я готов был пожертвовать собой. Как же могло случиться, — я жив, а товарища Бухарина я не вижу. Но какова была моя радость...» — Едва ли нужно пояснять причину радости: тов. Бухарин оказался жив. Однако не все участники совещания вспомнили в минуту взрыва о «Врагах» Максима Горького и не все тогда думали о том, как бы отдать жизнь за Бухарина. Н. Сазонов бесхитростно говорит: «У всех на лице читаешь животную радость: «Я не

¹ На фотографиях дом двухэтажный. Фотографии, появившиеся после взрыва, очень жуткие — Автор

убит...» Здесь он явно забыл сделать свою оговорку: «мое личное мнение...»

На следующий день в московских газетах появились статьи, в которых виновниками дела объявлялись «белогвардейцы» и «кадетские Иудушки»¹. То же самое официально сообщили 26 сентября председатель комитета обороны Каменев и председатель совета Сопронов. Еще через два дня появилась совершенно безумная статья² о взрыве Бухарина; приведу из нее небольшой отрывок: «Читатели, вероятно, не забыли, что генерал Юденич является вождем «Лиги убийц», которая даже за границей действовала фомкой, ядом, кинжалом и мертвой петлей. У «Лиги убийц» были особые изысканные приемы удушения: зашить человека в холщовый мешок, предварительно задавив его и разрубив на куски, опустить этот мешок в воду...» Дальше следовал дикий бред о кадетских агентах, о кадетской интеллигенции и о главных злодеях, бар. Штротмберге, кн. Андронникове, кн. Оболенском и кн. Долгоруком. Смысл статьи был такой, что взрыв организовали кадеты и, в частности, кадетские князья, не забывающие о своих имениях «и даже ночных (мягких) рубашках». Эти «ночные (мягкие) рубашки» как будто не оставляют сомнений в том, что контузия, полученная при взрыве, отразилась на умственных способностях Бухарина.

29 сентября, в воскресенье, хоронили погибших при взрыве людей. Все было по ритуалу: Колонный зал Дома Советов, могилы на Красной площади, венки, — приведу наудачу несколько надписей: «Да здравствует красный террор!»... «Ваша мученическая смерть — призыв к расправе с контрреволюцией»... «Бурлацкая душа скорбит о вашей смерти — Бурлацкая среда убийцам не простит»... Первую речь сказал Троцкий, давший полную волю своей бурлацкой душе. «Кто их убил, — сказал он, — это знают все. Имена белогвардейского центра у всех перед глазами; там князья, б. бароны, б. крупные сановники царизма, б. домовладельцы, кадеты, эксплуататоры разных рангов...»

Я не знаю, сколько лиц перечисленных Троцким категорий было расстреляно Чрезвычайной комиссией после этой погромной литературы. Не знаю также, действительно ли ошибались авторы последней или сознательно призыва-

¹ Статьи Керженцева и Гойхбарга в «Известиях» 26 сентября 1919 года — Автор

² «Правда», 28 сентября 1919 г — Автор

ли к истреблению заведомо неповинных людей. Однако ни «белогвардейцы», ни «кадетские Иудушки», ни князья, ни бароны, ни домовладельцы не имели к взрыву в Леонтьевском переулке никакого, ни малейшего, даже самого отдаленного отношения. Это впоследствии должны были признать сами большевики. Впрочем, они этого прямо не признали, — но через шесть недель в «Правде» появилась статья, в которой комитет обороны не без смущения сообщал, что взрыв в Леонтьевском переулке был делом «анархо-деникинцев»¹ (не берусь сказать, что, собственно, значило это слово). А еще немного позднее, в конце декабря, «Известия» поместили отчет о следствии², где больше не было и «анархо-деникинцев», — пришлось, наконец, сказать правду: взрывали особняк гр. Уваровой левые эсеры и анархисты.

Состав группы заговорщиков, устроившей взрыв в Леонтьевском переулке, был странный, очень странный; я думаю, такого не было ни в каком другом террористическом акте истории. В деле участвовали люди идейные, сознательно шедшие на смерть, как левый эсер Черепанов; участвовали в нем и темные, невежественные люди, и уголовные преступники, которых трудно назвать иначе, как бандитами. Ни общей цели, ни общей идеи у участников дела не было; их объединяла только общая ненависть.

Должен тут сделать оговорку личного характера. Я пишу об этой трагедии со странным и тяжелым чувством. Ни один историк еще не касался дела о взрыве в Леонтьевском переулке. Мне приходится работать исключительно над сырыми материалами, да и их очень немного: «Красная книга ВЧК», показания свидетелей, статьи большевистских газет. Я не знал ни одного из участвовавших в деле людей. В предшествовавших очерках моих по истории октябрьской революции я говорил о том, что видел своими глазами или, по крайней мере, переживал на месте. Но в сентябре 1919 года я был уже в эмиграции. Возможны важные ошибки если не в фактах, то в догадках и оценках. Понять это мрачное дело очень нелегко. Для романиста оно было бы кладом, — какой роман мог бы написать о нем Достоевский!

¹ «Правда», 6 ноября 1919 г — Автор

² «Известия», 28 декабря 1919 г № 1 января 1920 г — Автор

II

Дача в Краскове

В 25 верстах от Москвы, по Казанской железной дороге, находится поселок Красково. Я никогда о нем не слышал. Нет упоминания об этой железнодорожной станции в брокгаузовском словаре. Предполагаю, что станция была как станция; жили здесь поколениями мирные люди, трудились, пили водочку, играли в стукалку и в винт, сходили в могилу. Вокруг поселка расположен густой сосновый лес. Вблизи леса стояла дача Горина, ничем не отличавшаяся от тысяч других дач тихой чеховской России.

В конце лета 1919 года дачу эту сняли у владельца две девицы, Мина и Таня. С ними там поселились или постоянно туда приходили еще несколько человек, с именами в большинстве странными и упрощенными: Васька Азов, Яшка Глаззон, Федька Николаев, Митька Кривой, Митька Хорьков, Шура Ратникова, Хиля Цинципер, Андрей Португалец, Петька просто, Фроська просто, еще какой-то «дядя Ваня», он же Иван Приходько, он же Леонид Хлебныйский, по профессии «помощник начальника штаба 46-й дивизии», — так, по крайней мере, он показывал на следствии. Официальных занятий большинство жильцов и гостей дачи не имело. Мина и Таня содержали кофейню в Москве, у памятника Гоголю; но это было не настоящее их ремесло; кофейня, видимо, была также конспиративная.

Судя по именам и кличкам этих людей, можно было бы сделать вывод, что все они были жуликами или бандитами. Однако это неверно, или, во всяком случае, не вполне верно. Некоторые из жильцов дачи, несомненно, занимались, по выражению, принятому в XVII веке, «делами татейными, разбойными и убийственными». Но обыкновенными преступниками их считать нельзя. Уголовного кодекса они, конечно, не признавали, но имели свою мораль. Разбойничьи клички им, вероятно, нравились: в этом кругу, кроме своей морали, был и свой снобизм. Настроены эти люди были мрачно-иронически. Один из них впоследствии свои письменные показания чекистам начал словами: «Вы просите песен, их нет у меня...» В духе этого юмора надо, верно, понимать и клички вроде Митька Кривой или «дядя Ваня». Красковцы считали себя анархистами. Князь П. А. Кропоткин, оказавшийся на старости лет хорошим, очень культурным кадетом, мог с разными чувствами смотреть на

этих людей. С разными чувствами могли относиться к нему и они, — если слышали об его существовании.

Жильцы и гости дачи в Краскове совершали экспроприации в большевистских учреждениях, — некоторое продолжение лозунга «грабь награбленное». Но деньги у большинства к карманам не прилипали. Были, впрочем, тут самые разные люди. Один из них, располагая огромными средствами, отказывал себе в тысяче рублей для покупки новых брюк: все должно идти на дело. Но другой, разыскивая при грабеже спрятанные деньги, пытал пленников огнем. Главное свое дело они сделали без малейшего расчета на личную выгоду и из-за него рисковали головой; все они и погибли. Во всяком случае, это были страшные люди. Как появились они в мирной чеховской России? Что они делали до революции? Как образовалось это неправдоподобное сообщество? Как могла создаться эта жуткая дача?

В одной из комнат в жару лежал больной сыпным тифом человек (Сашка Барановский — тот, что применял пытки). В другой — Васька Азов (и еще какой-то Захар, — если это не одно лицо) изготавливал динамитные бомбы. Вероятно, Васька Азов имел не очень глубокие познания в химии; но при помощи одной из его бомб был взорван особняк в Леонтьевском переулке. В третьей комнате помещалась типография. Здесь печатались газеты «Анархия» и анархические прокламации против большевиков. Я читал кое-что из литературы, издававшейся в Краскове. Большевики отзываются о ней с презрением. «Вот как толкуют наши робята», — говорится в их официальном издании. «Наши робята» в действительности писали не хуже большинства советских публицистов. От мыслей же их, от их исполненной страсти диалектики, не отказались бы ни Бакунин, ни прежний Кропоткин. Поистине странных людей рождала старая Россия, — но никак нельзя допустить, что писали это рядовые уголовные преступники из низов. И трудно, очень трудно понять, кто же все-таки были все эти Петьки, Федьки, Васьки и Яшки. Бланки, знавший толк в революционных делах, говорил, что в Париже всегда найдется пятьдесят тысяч человек, готовых пристать к любой, какой угодно, революции. В России таких людей оказалось гораздо больше. Однако жильцы красковской дачи составляли среди них особую группу.

Вожди организации не жили на даче, они, по-видимому, только наезжали. Бывал в Краскове Петр Соболев, — тот самый, который не решался тратить на свои личные

нужды деньги, добытые им посредством экспроприаций. Я почти ничего не знаю об этом человеке и не берусь судить о нем. Могу лишь сказать, что он был фанатик в настоящем смысле слова, фанатик, носившийся с замыслами грандиозными. Основная мечта его заключалась в том, чтобы взорвать Кремль. Он считал свою мечту осуществимой. У него было для ее осуществления приготовлено четыре пуда динамита; Соболев рассчитывал еще получить или изготовить в Краскове не то шестьдесят, не то сто двадцать пудов. Были у него какие-то связи в большевистском окружении. Наметил он и день: 25 октября 1919 года, — вторую годовщину октябрьской революции. В этот день должны были взлететь на воздух все виднейшие большевики, во главе с Лениным. По его расчетам (в химическом отношении весьма сомнительным), взлетел бы на воздух и весь Кремль. Это нисколько Соболева не останавливало: он обсуждал и возможность взрыва Красной площади в день октябрьского парада, со стотысячной толпой на площади. Никаких личных целей у него быть не могло. Только ли ненависть им руководила? Или же надежда, ценой неслыханных жертв, покончить со злом в мире: «исправи землю русскую от татей»? Как бы то ни было, для достижения своей цели он объединился с головорезами самых разных видов. Именно он собрал всех этих Яшек и Федек, он ими руководил, он с ними грабил советские банки, он каким-то непонятным образом подчинил их всех своему влиянию. Самое удивительное, пожалуй, то, что никто из них его не предал в первые же дни. Один из второстепенных членов организации в своих покаянных показаниях говорит, что Соболев был «наивное дитя». «Я знаю, что представлял из себя Соболев, человек безумной храбрости, способный сам индивидуально перевернуть многое. Вся работа его была направлена на торжество революции. Бескорыстная натура».

Будучи вождем организации, Соболев принимал на себя и роль исполнителя в наиболее опасных делах. Он собственноручно бросил и тот страшный снаряд в окно особняка в Леонтьевском переулке. Тогда, 25 сентября, ему удалось спастись. Чекисты выследили его лишь позднее, незадолго до второй годовщины переворота, к которой он им готовил сюрприз, — «взрыв октябрьских торжеств». Он оказал на улице отчаянное сопротивление, долго отстреливался из револьвера, бросил бомбу, — очевидно, всегда при себе носил бомбы, — и был убит. В одном из советских изданий помещена фотография мертвого тела Соболева. Лицо у него странное и необыкновенное.

Не знаю, бывал ли на даче в Краскове второй из трех организаторов взрыва в Леонтьевском переулке, — человек тоже во всяком случае незаурядный. Это был Донат Андреевич Черепанов.

Читатель, быть может, помнит: я говорил о нем в очерке «Убийство графа Мирбаха». Черепанов, один из вождей партии левых эсеров, принимал близкое участие в подготовке этого убийства и в устройстве июльского восстания. После катастрофического провала дела, как всегда в таких случаях бывает, начались нелады в ушедшей в подполье партии. Образовались три крыла; назывались они, естественно, правым, левым и центральным, но эти названия не вполне соответствовали тому, что обычно связывают с политическими понятиями левизны и правизны. Черепанов, оказавшийся вождем левого крыла, стоял за упорную, беспощадную террористическую борьбу с большевиками.

Мне и о нем известно очень мало, хотя я опрашивал всех, кого мог и кто должен был его знать. Это был образованный человек: он окончил юридический факультет и был оставлен при университете по кафедре уголовного права (или уголовного процесса). Февральская революция застала его молодым и, по-видимому, очень его увлекла. Он в 1917 году все левел: из эсеров стал левым эсером, потом, повторяю, главой левого крыла левых эсеров. Идеи у него были странные: он желал, чтобы Россией правили профессиональные союзы трудящихся, считал необходимой «революционную войну с Германией». «Лично я о захвате власти никогда не думал», — показывал Черепанов в ЧК в день своего ареста. Говорят эту фразу все, но он, думаю, говорил это искренно или почти искренно.

По-видимому, им, со времени провала восстания левых эсеров, руководила преимущественно жажда мщения большевикам. Никаких надежд на захват власти больше не было. К тому же он совершенно разочаровался в своих товарищах по партии, — по крайней мере, в руководителях ее главного крыла. Отзывы его о Штейнберге, о другом левом эсере, не так давно покончившем с собой, ужасны. Именно ему пришла мысль о взрыве в Леонтьевском переулке. Вероятно, в план Соболева, желавшего взорвать Кремль, он верил плохо; или, может быть, москвичу, человеку, который хотел стать профессором, было жаль — не большевиков, конечно, а архитектурных, исторических сокровищ Кремля. В устройстве взрыва он участвовал и непосредственно: ушел с места действия лишь за несколько минут до того, как Соболев бросил бомбу. «Подготовка это-

го взрыва, выработка плана и руководство до самого последнего момента было возложено на меня, — показывал он в ЧК, — в самом же метании бомбы я, по постановлению штаба, участия не принимал. Не будь этого постановления, я бы охотно принял на себя метание бомбы». Кое-что в этих словах, по-моему, неверно; едва ли существовал и самый «штаб». Но в том, что Черепанов взял бы на себя и метание бомбы, сомневаться не приходится: это был человек совершенно исключительной храбрости.

Его арестовали лишь через несколько месяцев после дела: 17 февраля 1920 года. По-видимому, радость Чрезвычайной комиссии была необычайная: поймали очень опасного зверя. Для допроса Черепанова в тот же день, 17 февраля, собрались Дзержинский, Лацис, Ксенофонов, Романовский и другие виднейшие чекисты. До нас дошли его показания; привожу из них отрывки, — подобных показаний не так много в истории русской революции. Черепанов выражал сожаление, что при взрыве в Леонтьевском переулке не погибли большевистские главари: ведь «на этом собрании предполагалось присутствие гражданина Ленина... Конечно, только нужно сожалеть о том, что жертвами взрыва были не более видные партийные работники, и никто из более крупных не пострадал... Об одном я сожалею: при аресте меня схватили сзади, и я не успел пристрелить ваших агентов...»

Лацис впоследствии уверял, что Черепанов был сослан в Сибирь и там умер от тифа. Я из весьма осведомленного источника слышал, что он был казнен. Утверждать тут, разумеется, ничего не могу. Но как могли в СССР не казнить человека, который был главным организатором взрыва в Леонтьевском переулке, да еще вдобавок давал показания в указанном выше роде?

Третий вождь организации, Казимир Ковалевич, был, пожалуй, самый таинственный из всех. Большевики приписывали ему очень важную роль. С этим согласуются и слова Черепанова: «Я совместно с Казимиром Ковалевичем организовал Всероссийский штаб революционных партизан, который главнейшей целью своей наметил ряд террористических актов...» Ковалевич был литератор или, во всяком случае, ведал литературной группой заговорщиков. Едва ли кто у нас слышал о литераторе Ковалевиче, — была ли это его настоящая фамилия? Он погиб вместе с Соболевым. «Главные вдохновители и организаторы контр-

революционеров разбираемого толка — Казимир Ковалевич и Петр Соболев — погибли при аресте. Оба они отстреливались из револьверов и бросили по бомбе», — кратко говорит «Красная книга ВЧК». Большевики опубликовали в свое время и его фотографию; лицо у него чисто русское, — имя же как будто скорее польское.

На нем лежали денежные дела организации. Ее бюджет был темный. Боевая группа произвела экспроприации в двух отделениях Народного банка, на Б. Дмитровке и на Серпуховской площади; похищены были сотни тысяч рублей, но это, по тем временам, означало не очень большую сумму; Ковалевич платил рядовым членам организации по 15 тысяч в месяц жалованья. Вероятно, он получал деньги и из других источников. Как и некоторые другие члены организации, он часто отлучался из Москвы; ездил преимущественно на юг. По-видимому, через него поддерживалась связь организации — с Нестором Махно.

III

Нестор Махно

«Кто хоть раз видел батько Махно, тот запомнит его на всю жизнь, — говорит эмигрантский мемуарист, довольно близко его знавший. — Небольшие темно-карие глаза, с необыкновенным по упорству и остроте взглядом, не меняющие выражения ни при редкой улыбке, ни при отдаче самых жесточайших приказаний, — глаза, как бы все знающие и раз навсегда покончившие со всеми сомнениями, — вызывают безотчетное содрогание у каждого, кому приходилось с ним встречаться...»

Я именно один раз видел Нестора Махно — и не вынес от его наружности впечатления на всю жизнь. Правда, было это совершенно не в той обстановке, в которой его наблюдал автор приведенных выше строк. Несколько лет тому назад мне показали Махно на кладбище, в Париже, где «жесточайших приказаний» он отдавать никак не мог. Он шел за гробом старого политического деятеля, который с ним поддерживал хорошие личные отношения. Я минут десять шел в двух шагах от него, не сводя с него глаз: ведь об этом человеке сложились легенды. Ничего замечательного в его наружности не было. У него был вид очень слабого физически, больного, чахоточного человека, вдобавок живущего под вечной угрозой нападения. Здесь было

бы уместно клише «озирался, как зверь». На этих похоронах он и в самом деле не мог себя чувствовать в дружеской или хотя бы только привычной обстановке (его присутствие вызывало у многих крайнее негодование). Махно быстрым подозрительным взором оглядывал всякого, кто к нему подходил. Этим он напомнил мне одного знаменитого русского террориста, — тот и в Париже, давно порвав с революцией, не любил ходить по тротуару; держался все мостовой, точно каждую минуту опасался, что на него из подворотни бросятся люди.

Со всем тем внимание окружающих, смешанное с другими чувствами любопытство, которое он возбуждал, было, кажется, приятно Махно. Он не прочь был, по-видимому, и познакомиться. Глаза у него были злые; но выражения «все знающего», «раз навсегда покончившего со всеми сомнениями» и т. д. я в них не видел: самые слова эти тут совершенно не подходят. Нет, ничего демонического в наружности Махно не было: все это литература.

Литература давно его себе присвоила: описывали его и эмигрантские беллетристы, и советские, и иностранные. Для иностранных он был настоящим кладом. Батько¹ Махно, по стилю, был в высшей степени *Batelier de Volga*² — лучше просто и желать нельзя. Ни один Стенька Разин в литературе неприемлем и невозможен без «стрежня», без «простора речной волны» и без персидской княжны. Персидской княжой при Махно оказалась роковая еврейка, — было бы крайне странно, если б роковой еврейки не оказалось. Как сообщают мемуаристы, звали ее Соней и была она курсисткой и дочерью богача. Махно хотел было сжечь ее живьем («зажарить ее я хотел»), — но, разумеется, тотчас влюбился в нее без памяти. Соню крестили, она стала называться Нина Георгиевна, батько на ней женился в Гуляй-Поле, — «на тачанках, покрытых дорогами коврами, по ковровой дороге ехали в церковь Махно, его невеста и почетные гости...» П. Е. Щеголев, по старой привычке к исторической точности, нерешительно выражал сомнения относительно женитьбы этого странного героя эпоса. Можно было бы в

¹ «Батько» был его официальный титул. Он подписывал свои приказы «командующий революционной повстанческой армией Украины Батько-Махно». И фамилия его, и титул, и название его столицы «Гуляй-Поле», — все, как нарочно, было в удалом, черноземно-шашлычном стиле. Для полноты художественного эффекта Махно должен был бы оказаться незаконным сыном царского любимца, князя Ладислава Иримова — Автор.

² Лодочник с Волги (фр.)

самом деле написать целое исследование только на тему о том, как звали роковую подругу Махно. Сведения советских писателей не вполне согласуются со сведениями авторов эмигрантских. У г. Пильняка, например, подруга батьки именуется Марусей; у г. Яковлева она Федора. Анархист же Аршинов утверждает, что при Махно находилась лишь его законная жена Галина Андреевна Кузьменко.

Соня — Нина — Маруся — Федора тоже была без памяти влюблена в Махно. Но относительно ее роли при нем сведения несколько расходятся. Естественно было бы, по всем правилам словесности, предположить, что она была злым гением батьки. Однако, эмигрантский мемуарист пишет: «1918 год принес батько Махно не только кровавую славу, но и жгучую любовь странной девушки... У нее было прелестное, матово-розовое с правильными тонкими чертами лицо, ласковые темно-серые красивые глаза с длинными ресницами, стройная изящная фигура. Слабая улыбка освещала ее лицо и делала его детски-милым». Нет, она была не злым гением, а добрым ангелом Махно: «Соня быстро выпрыгнула вслед за ним и горячо, держа за руку Махно, стала просить пощадить пленных офицеров.

— Прогнать... Отпустить их, и только, — бросил Махно конвоирам...»

Я потому останавливаюсь на вопросе, никакого значения не имеющем, что он чрезвычайно характерен для биографии Махно. В сущности, мы почти ничего о нем вообще не знаем. По одним сведениям, он сын малоземельного крестьянина, по другим, — сын мелкого торговца. Г. Герасименко утверждает, что Махно провел детство в мариупольской галантерейной лавке, где хозяин «обломал на его спине и голове совершенно без всякой пользы до сорока деревянных аршинов». Но, по сведениям г. Аршинова, Махно в детстве был пастухом. Принятая версия говорит, что он по профессии школьный учитель. Однако в выпущенном Госиздатом труде о махновщине эта версия решительно отрицается: никогда учителем не был, а был маляром. Попал он на каторгу не то за убийство пристава Корачевского, не то за ограбление бердянского уездного казначейства и т. д.

Не знаю, правда ли, что в детстве он развлекался, подливая в чайник домашних касторовое масло; правда ли, что пороли его чуть не каждый день; что на каторге его наказывали плетью. Мемуаристы сообщают, что отбывал он каторжные работы в Орловском центре, в Акатуе и в

Горном Зерентуе. Люди старшего поколения помнят, что именно эти три места заключения пользовались при старом строе мрачной известностью. Поэтому а priori несколько подозрительно, что Махно отбывал заключение как раз в этих местах, — последовательно во всех трех. Репутацию мученика ему создавали усердно, — отчасти и с беллетристической целью.

Роковая еврейка поклонялась ему за выпавшие на его долю страдания: «она его за муки полюбила», — традиция Дездемоны не умерла в беллетристике (классический русский перевод шекспировской фразы, впрочем, не верен).

Не подлежит сомнению, что и без художественного нагромождения ужасов молодость Махно была очень тяжелой. Вполне допускаю, что он мог из нее вынести лютую ненависть к «привилегированным слоям населения». Вероятно, и по природе он был человек злой и жестокий; Махно несомненно обладал умом, большой силой воли, даром влияния на людей. Совокупность этих свойств может создать Стеньку Разина. Потенциальных Разиных и Пугачевых везде в мире сколько угодно. Но в последние века история очень редко создавала обстановку, в которой такие люди имеют возможность показать себя по-настоящему. Революция создала эту обстановку для Нестора Махно.

«В смутное сие время по казачьим дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому... Он отличался дерзостью своих речей, поносил начальство и подговаривал казаков бежать в области турецкого султана... Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак и раскольник» (Пушкин). Не сомневаюсь, что Пушкин точно изобразил исторического Пугачева, разве только чуть преувеличив в иных местах «Капитанской дочки» благодушие самозванца. «Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого...» «Пугачев смотрел на меня пристально, прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец, он засмеялся, и с такой непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная, чему...» Тот же Пугачев, однако, сдирал с живых людей кожу.

Я знаю, поклонники Махно считают его человеком, оклеветанным большевиками и «белогвардейцами». Допускаю большую долю преувеличения в рассказах о нем врагов и на эти рассказы ссылаться не буду: вполне достаточно того, что

рассказывают о нем его поклонники. Анархист-теоретик Волин, человек образованный и даровитый, в предисловии к труду анархиста Аршинова признает, что «махновщина, — как и всякое дело рук человеческих, — имела свои тени, свои ошибки, свои уклоны...» Действительно. Для того чтобы можно было лучше судить об этих «теньях» и «уклонах», приведу лишь несколько строк из воспоминаний Аршинова (ближайшего друга Махно): «В основу партизанских действий был положен принцип, по которому всякий помещик, преследовавший крестьян, всякий вартовой (милиционер), всякий офицер русской или немецкой службы, как злейшие враги крестьянства и его свободы, должны быть только (!) убиваемы. Кроме того, по принципу партизанства, предавался смерти каждый, причастный к угнетению бедного крестьянства и рабочих, к попранию их прав или к ограблению их труда и имущества... Быстрые, как вихрь, не знающие страха и жалости к врагам, налетали они (Махно и его партизаны) на помещичью усадьбу, вырубали всех бывших на учете врагов крестьянства и быстро исчезали. А на другой день Махно делал налет уже в расстоянии ста с лишним верст от этой усадьбы на какое-либо большое село, вырубал там всю варту, офицеров, помещиков и исчезал».

Это нисколько не мешало Махно считать себя человеком идейным. В своих воспоминаниях (совершенно неинтересных) он неизменно себя называет учеником Кропоткина. По словам г. Аршинова, Кропоткин в июне 1919 года послал батюшке привет: «Передайте от меня товарищу Махно, чтобы он берег себя, потому что таких людей, как он, в России немного». Этому поистине трудно поверить. Многие, — впрочем, далеко не все, — идейные анархисты считают Махно гениальным вождем, политиком, полководцем. «Гению Махно было предьявлено величайшее испытание...» «В военном отношении он, несомненно, огромный талант...» Я слышал, что сам Махно чрезвычайно гордился именно своим военным гением. Черта, тоже замеченная Пушкиным: «Да! — сказал он (Пугачев) с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мной потягаться?...» — «Сам как ты думаешь, — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридериком?» — «С Федором Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я уже управляюсь, а они его бивали».

Вероятно, способности к военному делу у Махно и в самом деле были. Я слышал от военных, что передвигался

он со своей «армией» на тачанках с быстротой совершенно изумительной. Человек он был храбрый, — об этом свидетельствуют и его многочисленные ранения. Учеником Кропоткина он называл себя по таким же приблизительно основаниям, по каким Пугачев себя называл великим государем Петром Федоровичем. Но это был настоящий атаман.

Махно довольно долго служил у большевиков. По-видимому, они ценили и его способности, и влияние, которым он пользовался. В новейшей советской литературе мне попалось указание, что и сейчас в Красной Армии есть «ряд талантливых командиров, прошедших боевую школу в армии батьки» (имена, к сожалению, не названы). По характеру, по решительности, по своей полной готовности на все Махно был к большевикам очень близок. Но диаматом он не владел. «У Махно была недостаточная теоретическая подготовка, недостаточные исторические и политические знания», — говорит г. Аршинов (стр. 219), сам, по словам г. Волина, «слесарь по профессии, упорным личным трудом добившийся известного образования». Да и Махно в воспоминаниях (стр. 3) замечает: «Одно меня угнетало: это отсутствие у меня надлежащего образования и конкретно-положительной подготовки в области социально-политических проблем анархизма». Отсутствие «конкретно-положительной подготовки», конечно, не помешало бы ему сделать у большевиков блестящую военную карьеру: он отлично мог стать маршалом, как унтер-офицер Буденный или как слесарь Ворошилов. Однако замыслы его шли гораздо дальше. Думаю, что в пору высших своих успехов он подумывал и о ленинском престоле в Москве — или, по крайней мере, в Киеве.

Путь к этому престолу был трудный, — мечтали ведь о нем и люди, вполне диаматом владевшие. Но и честолубия, и энергии, и смелости у Махно было достаточно. Допускаю, впрочем, что порвал он с большевиками не только из стремления к высшей власти. Верю в искренность его анархизма. Большевицское учение и тесно с ним связанная партийная дисциплина были неприемлемы для этого типичного представителя вольницы. Полагалось ему быть и интернационалистом. Однако он и к «российской семье народов» (не говоря уже о всемирной) относился, кажется, без особого восторга. Нестор Махно был украинец. Предисловие к своим воспоминаниям он заканчивает словами: «Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке».

Странно сложились вдобавок и обстоятельства. Та связь, которая установилась между Махно и некоторыми из организаторов взрыва в Леонтьевском переулке, была отчасти случайной.

IV

Москва и Гуляй-поле

Отношения Махно с большевиками оставались с внешней стороны дружественными приблизительно до начала лета 1919 года. Как справедливо указывает г. Аршинов, «имя Махно не сходило со столбцов советской прессы. Телеграммы его перепечатывались. Его величали подлинным стражем рабоче-крестьянской революции». 4 мая в Гуляй-Поле прибыл с визитом чрезвычайный уполномоченный Совета обороны республики Л. Каменев. Встреча ему была оказана очень торжественная.

Талантливый советский беллетрист г. Пильняк в историческом рассказе-очерке «Ледоход» описал быт штаба Махно. Главные действующие лица очерка: сам батько, его советник, известный анархист Волин, и, естественно, роковая подруга Махно, Маруся, «страшная женщина, красавица... Она пришла перед боем, попросила коня и была в строю первой, а потом расстреливала пленных спокойно, не спеша, деловито, как не каждый мужчина».

Быт, изображенный у г. Пильняка, весьма прост: «Вошел вестовой, сказал: «Поймали двух евреев из подозрительных. Что прикажешь?» Батько ответил: «Вешать надо жидов! — Помолчал. — Вешать надо эту нацию!.. Ты, братушка, налей нам по стаканчику, — спирт заводский... И еще надо вешать баб!..» Остальное в том же роде. Кончается очерк тем, что роковая женщина убивает Волина. «Этот факт», — добавляет, на всякий случай, автор.

Несмотря на столь твердое заверение, должно, по справедливости, признать, что в историческом очерке г. Пильняка нет ни единого слова правды. И быт Гуляй-Поля был не такой, и Махно был не такой, и никогда он не говорил «вешать надо жидов, и еще надо вешать баб», и страшная женщина, красавица Маруся, никогда на свете не существовала, да если б и существовала, то никак не могла убить г. Волина, хотя бы уже потому, что этот талантливый оратор жив по сей день и как раз на прошлой неделе прочел в Париже доклад о социальном строительстве. Вдобавок, по

случайности, он никогда не был ни в Одессе, ни в Гуляй-Поле, где происходит действие очерка г. Пильняка.

В жизни Гуляй-Поля — достаточно темной и страшной — было немало и чисто комических явлений. Думаю, что визит Каменева составил в истории этого городка страницу в бытовом отношении весьма комическую. Уезжая, высокий советский гость «горячо распрощался с махновцами, высказал благодарность и всякие пожелания, расцеловался с Махно, уверяя, что с махновцами, как с подлинными революционерами, у большевиков всегда найдется общий язык» (Аршинов). Одним словом, все как у людей: обычный дипломатический визит с тостами о традиционной неразрывной дружбе двух великих народов.

На самом деле, вопреки высказанной Каменевым уверенности, общего языка не нашлось. Настолько не нашлось, что ровно через неделю после этого визита от того же Каменева пришла телеграмма в ином тоне:

«Гуляй-Поле, батько-Махно по нахождению. Изменник Григорьев предал фронт. Не исполняя боевого приказа, он повернул оружие. Подошел решительный момент — или вы пойдете с рабочими и крестьянами всей России, или на деле откроете фронт врагам. Колебаниям нет места. Немедленно сообщите расположение ваших войск и выпустите воззвание против Григорьева, сообщив мне копию в Харьков. Неполучение ответа буду считать объявлением войны. Верю в честь революционеров — вашу, Аршинова, Веретельникова и др. Каменев. № 277».

«Повернувший оружие» атаман Григорьев очень желал привлечь махновцев на свою сторону. Это был простой человек, и программа у него была простая. Очень упрощал он и дипломатические формулы, которые большевистскими де Фукьерами составлялись в торжественно-революционном стиле. Почти одновременно с каменевской телеграммой в Гуляй-Поле была получена телеграмма и от него: «Батько! Чего ты смотришь на коммунистов? Бей их. Атаман Григорьев».

Отношение Махно к обоим сторонам было приблизительно одинаковое: он желал бы повесить и Каменева, и Григорьева. Батько выпустил довольно путаное воззвание, содержащее в себе слова весьма двусмысленные: «Распри Григорьева с большевиками из-за власти не могут заставить нас ослабить фронт, где белогвардейцы стремятся прорваться и поработить народ... Мы останемся на своем фронте, борясь за свободу народа, но ни в каком случае не за власть, не за подлость политических шарлатанов» Расположения своих войск он большевикам не указал, но копию воззвания послал

Каменеву, которому текст, вероятно, большого удовольствия не доставил: «подлость политических шарлатанов» как будто относилась не к Григорьеву. 4 июня Троцкий разослал приказ об аресте распространителей воззваний Махно. Батько ответил телеграммой на имя Ленина, Каменева, Троцкого и Ворошилова, заключающей в себе прошение об отставке: «Предлагаю принять от меня отчеты и дела».

С внешней стороны все было опять-таки в высшей степени культурно: телеграммы за номерами, официальные титулы и чины, отставка, сдача отчетов и т. д. По существу же дело обстояло не совсем так. Еще за месяц до каменевского поцелуя, в Гуляй-Поле, по приказу Махно, были казнены командир полка Падалка и еще несколько человек; обвиняли их в том, что они, по поручению большевиков, покушались в Бердянске на жизнь батько. Было ли у них такое поручение, или казнили людей ни в чем не повинных, этого я не знаю. Не подлежит, однако, сомнению, что Махно очень опасался своих московских соратников. Ближайший к нему человек рассказывает: «Неоднократно от товарищей, работавших в большевистских учреждениях, Махно получал предостережения — ни в каком случае не ехать по вызову ни в Екатеринослав, ни в Харьков, ибо каждый официальный вызов будет означать ловушку».

Есть достаточные основания думать, что батько, человек энергичный и мстительный, в долгу никак не оставался. Казнь Падалки была делом второстепенным. Предполагаю, что еще несколько раньше, скорее всего в апреле, у Махно возникла мысль о центральном ударе в Москве. С внешней стороны, однако, отношения между Москвой и Гуляй-Подем оставались корректными. Давление добровольцев на фронт усиливалось. 7 июня, то есть всего за два дня до «отставки» Махно, большевики прислали в его распоряжение бронепоезд.

На нем находились Ворошилов и Межлаук. Устроился на поезде и Махно со своими товарищами. Был образован общий штаб.

В этом поезде разыгралась одна из самых мрачных драм гражданской войны, историками пока не выясненная. По характеру она, пожалуй, неслыханна в военной истории новейшего времени. Поезд предназначался для борьбы с добровольцами и действительно вел эту борьбу. Но главное его задание было иное: большевикам надо было схватить и расстрелять своего союзника и соратника, «комбрига» Махно!

Получил ли батько предупреждение из того же таинственного большевистского источника, или инстинкт предска-

зал ему недоброе, — Махно вовремя покинул поезд. Большевики захватили его ближайших помощников, начальника штаба армии махновцев Озерова, членов штаба Михалева-Павленко, Бурбыгу и еще несколько человек. «11 или 12 июня 1919 года, находясь на боевом поезде и не выходя ни на минуту из боев с наступающими денкинцами, Михалев-Павленко был вместе с Бурбыгой изменнически схвачен Ворошиловым, командиром 14-й армии, и казнен 17 июня 1919 года в г. Харькове». Так рассказывает анархист¹ Аршинов; рассказ его, по существу, подтверждается и большевиками. Кажется, г. Аршинов лишь преувеличивает личную роль Ворошилова в казни его товарищей по бронепоезду. Насколько я могу судить, это почетное дело все-таки не в характере нынешнего советского маршала. Во всяком случае, приписывал себе тут главную заслугу известный чекист Лацис. «Организация штаба Махно, — кратко замечает он, — была немного скопирована с штаба большевиков. Там были заведующие организационным отделом, были секретари командующие, — около 4-х человек, которые попали в руки нашей армии и были доставлены в штаб, руководимый лично мною. Все они были расстреляны».

«После расстрела штаба Махно, — показывал в Чрезвычайной комиссии один из членов организации, взорвавшей особняк в Леонтьевском переулке, — приехавшая публика, которая работала у Махно, возмущившись актом расстрела, решила отомстить за смерть махновцев смертью лиц, принимавших участие в вынесении приговора о расстреле Пятакова, Раковского и др. Но страсти остыли, и решено было начать бить по центру, то есть Москве».

Под «приехавшей публикой» надо разумеать, по-видимому, значительную часть участников взрыва 25 сентября. У Махно служили Гречанинов, Глаззон, Барановский, Цинципер и, быть может, некоторые другие видные члены организации, группировавшейся вокруг дачи в Краскове. Некоторые из них занимали в Гуляй-Поле видные посты: двое, если верить большевистскому публицисту Кубанину,

¹ Правильнее — бывший анархист г. Аршинов не так давно перешел к большевикам, вернулся в СССР и напечатал в советских газетах покаянное письмо установленного образца. Я слышал, что оно произвело ужасное впечатление на умиравшего тогда в Париже Махно. Батько искренно ненавидел большевиков и до последнего часа твердо верил в свою идею «вольных советов» — *Автор*

ведали махновской контрразведкой. Из приведенного выше показания можно сделать вывод, что мысль об ударе по московскому центру явилась у махновцев лишь после расстрела Михалева-Павленки, то есть в июне. Я склонен, однако, думать, что дело было задумано раньше.

Сам Махно в Москве в 1919 году не был. За год до взрыва в Леонтьевском переулке он совершил поездку по России, собирая анархические силы и проповедуя идею «вольных советов», — впоследствии подхваченную совершенно иными течениями. Об этой поездке он подробно рассказывает во втором томе своих воспоминаний, до сих пор не напечатанном. Махно побывал у Кропоткина, у другого известного теоретика анархизма Борового (недавно скончавшегося в ссылке в СССР). Побывал он и у Ленина, которого идеей вольных советов не соблазнил. С той поры он в Москве не бывал. Связь его с членами московской организации поддерживалась, по-видимому, через эмиссаров.

В апреле 1919 года в Гуляй-Поле приехал некий Вжостек, фамилия которого не раз упоминается в показаниях людей, принимавших участие во взрыве. Вероятно, его настоящая фамилия была другая. Очень многие жильцы красновской дачи имели по несколько имен, — иные по шесть или семь. Может быть, это было нужно по конспиративным соображениям. Но, кажется, некоторую роль тут сыграли и своеобразный снобизм этих людей, и принятый обычай, и традиция, и скромность. Гремевший в Москве экспроприатор «дядя Ваня» (Приходько) в Харькове называл себя «Леонид Хлебныйский», — вроде как принц Уэльский в Биаррице или в Канне записывается «граф Честерский». Кто был этот Вжостек, я не знаю, но из показаний Миши Тямина видно, что цель его поездки на Украину была «найти средства и людей для работы». Какова была «работа» и почему средства надлежало искать именно на Украине (то есть в Гуляй-Поле?), об этом Тямин ничего не говорит. Вжостек на юге застрял. За ним на поиски туда выехал Казимир Ковалевич, главный организатор взрыва в Леонтьевском переулке.

Лалис в речи, произнесенной в Москве 25 сентября 1924 года (пятилетняя годовщина взрыва), прямо говорит, что Ковалевич получил от Махно задание уничтожить в Москве «штаб большевиков». Такой вывод и в самом деле можно сделать из показаний некоторых участников дела, особенно Тямина и Барановского. Думаю, однако, что прямого и твердого задания не было. Махно, человек бешеный и отход-

чивый¹, неспособен был к далеко рассчитанным точным планам. Он ненавидел большевиков, знал, какая опасность грозит ему от них, и, думаю, неопределенно мечтал о верховной власти. Ему понадобилось иметь в Москве «своих людей», — людей, готовых, по разным побуждениям, на все. Таким человеком был Казимир Ковалевич. Вероятно, батко оказал красковцам денежную поддержку. Могла быть и общая террористическая директива. Следовал ли ей Ковалевич, подчинялся ли он Махно или просто брал деньги и оружие там, где их можно было получить, — для суждения об этом у меня данных нет. Некоторые из заговорщиков, во всяком случае, ничего общего с Махно не имели.

Кого именно Ковалевич решил убить? В найденной у него записной книжке, если верить Лацису, на первом месте стояли Дзержинский и он, Лацис. Ленин занимал, будто бы, лишь четвертое место. Руководителям ЧК, конечно, было и приятно, и выгодно подчеркивать свое государственное значение. Может быть, Ковалевич и в самом деле хотел начать с Дзержинского. Но он был не один. «Высказывалось несколько мнений по этому поводу, — показывает Черепанов. Предлагалось бросить бомбу в Чрезвычайную комиссию, но это предложение было отклонено по следующим соображениям: чрезвычайка и сам гражданин Феликс Эдмундович Дзержинский являются только орудием, слугами партии, и, следовательно, во всей политике ответственной является не чрезвычайка, а партия». Это мнение восторжествовало. Соборев готовил взрыв Кремля. 25 сентября было принято решение начать с дела в Леонтьевском переулке.

V

«Анархисты подполья»

Главные участники дела в Леонтьевском переулке, за исключением Черепанова, арестованы не были: все они погибли. Но второстепенных членов организации большевикам удалось схватить. Допрашивал их председатель МЧК Манцев (в «Красной книге ВЧК» допросы деликатно называются «беседами»). Показания по степени откровенности были разные. Среди арестованных оказались предатели,

¹ Наряду с припадками дикого гнева у него бывали и совершенно иные минуты. В одну из таких минут он говорил г. Воину: «Какой я анархист! Ведь на мне кровь!» — *Автор*

как Розанов, который выдавал всех, кого только мог, — с ним у Манцева было семь «бесед».

Были и полупредатели, как Миша Тямин, человек довольно своеобразный. В «Красной книге» напечатана краткая его «характеристика», составленная неизвестно кем, по-видимому по его данным (она очень напоминает по слогу собственные его показания). «Убеждения его, — сказано в характеристике, — чисто толстовского свойства, но индивидуального. За все время своего существования он ни разу не держал револьвера в руках и не знал, как с ним обращаться. Вообще у него осталось нечто отцовское, который был толстовцем и за все время своего 49-летнего существования ни разу не мог зарезать курицу, боялся крови и предоставлял это занятие матери. Этим, пожалуй, все сказано о нем, и чуткие люди, мне кажется, вполне удовлетворятся этой характеристикой и не будут копаться в его душе, и искать каких-либо дополнений всего характера или каких-либо отношений к организации, с которой он положительно ничего общего не имел. Копание в его душе ему доставит только страдания и неприятность, а человеку, решившемуся на это копание, ничего не даст».

Толстовец он был, действительно, очень «индивидуальный». В одной из поданных им покаянных записок он сообщает Манцеву, что «во время своих молодых безудержных порывов», участвуя в борьбе против добровольцев, «одно время работал с Антоновым в полевой контрразведке». Из этого позволительно сделать вывод, что, быть может, характеристика Тямина и не совсем точна: револьвер в руках иногда держал и курицу зарезать мог. Надо думать, что так смотрели на дело и «чуткие люди», то есть чекисты. От «копания в его душе» они упорно не хотели отказаться. По-видимому, несчастный Тямин был совершенно измучен допросами; его показания — документ, интересный во многих отношениях. «Тов. Манцев, — пишет он, — обидно, когда приходится быть одураченным, когда на тебя смотрят, как на дойную корову, которую под каким-то страхом думают использовать, выдоить у тебя необходимые им сведения». Манцев («вы чуткий человек», — говорит Тямин) действительно выдоил из него многое, зато и заплатил ему честно. Одно из анонимных показаний в деле, почти наверное принадлежащее Тямину, заканчивается словами: «А мне дайте какую-либо работу при своем учреждении. Или кончайте, меньше агонии». Не знаю, получил ли столь индивидуальный толстовец работу при учреждении Манцева, но в списке рас-

стрелянных по делу о взрыве его имени нет. Нет там и Розанова.

Их показания, другие «беседы» Чрезвычайной комиссии, воспоминания Лациса и статьи, помещенные 16 лет тому назад в «Известиях», дают возможность представить себе общую картину дела.

Летом 1919 года, частью при поддержке Махно, частью независимо от него, в Москве была создана террористическая группа, именовавшаяся «анархистами подполья». Руководили ею Петр Соболев и Казимир Ковалевич, причем действовали они сообща с группой левых эсеров, во главе которой стоял Донат Черепанов. Я говорил уже об этих людях. Плохо их понимаю и определять не решаюсь. Под сомнением остается «идейность» некоторых из них, вне сомнения — общая им храбрость. Цель их, очевидно, заключалась в прямом действии против большевиков, — по завету Петра: «не словами, а руками с злодеями поступати». Не так уж отличались от злодеев и они сами, но это были, во всяком случае, бескорыстные злодеи, — какая уж была выгода взрывать особняк в Леонтьевском переулке! Из-за них (из-за них — косвенно), как увидит читатель, погибли сотни ни в чем не повинных людей, в том числе люди, известные всей России. Но в этом вождей «анархистов подполья» винить трудно, погибли и они сами. За свою идею? Не знаю. У Соболева какая-то идея была, и верил он в нее твердо. Странностью же идеи, как равно и плоскостью ее, в наше время никого удивить нельзя, — верно говорит Куртелин: «Nous vivons à une époque d'où le bon sens a cavale au point que M. de la Palisse y passerait pour un énergumène»¹.

Для дела нужны были деньги. По-видимому, часть их дал Махно. Другая часть была добыта посредством грабежа. В августе 1919 года «анархисты подполья», под общим руководством Петра Соболева, производят несколько удачных экспроприаций в большевистских учреждениях: 12-го числа похищается 52 501 р. в отделении Народного банка на Долгоруковской улице; 18-го — 803 197 р. в другом отделении того же банка на Большой Дмитровке; 29-го — 3 480 000 руб., на Патронном заводе в Туле². У анархистов появля-

¹ «Мы живем в безумное время, когда г-н де ла Палис легко мог бы сойти за одержимого» (фр.)

² «Известия», 1 января 1920 г. — Автор

ются немалые средства. Они обзаводятся «явками»: кофейней Тани и Мины у памятника Гоголю, конспиративной квартирой на Арбате (дом № 30, кв. № 58). На даче в Краскове у них оборудованы типография и лаборатория взрывчатых веществ. Есть в достаточном количестве фальшивые паспорта, бланки, печати и т. д.

Главная цель заключалась в том, чтобы взорвать Кремль. Она стала у Петра Соболева навязчивой идеей. Он «заводит знакомства (?) в Кремле, запасается туда пропусками и снаряжает ряд экспедиций за динамитом. Кроме этого, Петр Соболев собирает сведения о часах приема многих ответственных советских работников, записывает их в порядке в своей записной книжке, в ней же он записывает тщательно часы партийных и советских собраний, предполагая поставить целый ряд террористических покушений», — говорит отчет МЧК, напечатанный в «Известиях» в 1919 году. Через пять лет Лацис в своих воспоминаниях добавил: «Ими намечается взрыв Кремля, а в случае неудачи предполагается взрыв на Красной площади, во время Октябрьской годовщины. С этой целью Соболев осматривает Кремль, осматривает водосточные трубы, чтобы выяснить, нельзя ли пролезть по ним и взорвать Кремль». Энергия и конспиративная находчивость этого человека достойны удивления. Он точно распоряжается в Кремле, как у себя дома. Ни до него, ни после него, насколько мне известно, ничто подобное никому не удавалось. Большевистской верхушке в те дни грозила очень серьезная опасность.

Весь план был внезапно изменен 25 сентября. В этот день в московских газетах появилось сообщение, что вечером в Леонтьевском переулке состоится совещание виднейших членов большевистской партии. Если помнит читатель, особняк графини Уваровой до убийства графа Мирбаха состоял в распоряжении левых эсеров. Черепанов отлично его знал. Ему было известно, что зал особняка сообщается с выходящим в сад балконом. Мгновенно у Черепанова создается новый план: дом в Леонтьевском переулке взорвать гораздо легче, чем Кремль, а результат может быть тот же. Соболев соглашается с Черепановым. Взрыв в Леонтьевском переулке был организован в несколько часов, — случай, кажется, небывалый в истории террора.

С красковской дачи на конспиративную квартиру немедленно доставили снаряд: «бомба была начинена динамитом и нитроглицерином, оболочка деревянная, не

круглая, как бы футляр дамской шляпы, весила 1 пуд — 1 пуд 15 фунт»¹. Тотчас составляется боевой отряд: Соболев, Черепанов, Барановский, Глаззон, Гречанинов, Николаев. Взяв метательный снаряд, они отправились в Чернышевский переулок, — туда выходил сад особняка графини Уваровой. Заранее было решено, что в сад проникнут только двое: Соболев и Барановский. Остальные «гуляли» поблизости от дома. «Я перелез через ограду в Чернышевском переулке. Соболев передал мне бомбу на ограду. Я бомбу положил на землю внутри ограды, затем влез опять на ограду и помог Соболеву перелезть, в свою очередь. Затем мы вместе с ним подошли к дому; Петр попробовал, удобно ли влезть по лестнице на балкончик; влезая туда, осмотрел место, потом слез. Вместе с ним мы подошли к лежащей у ограды бомбе, он зажег шнуровую зажигалку, обыкновенно употребляемую для раскуривания, положил ее в карман, бомбу взял под мышку и влез опять на балкончик, зажег зажигалкой бикфордов шнур бомбы и бросил ее в окно»².

Остальное известно читателям настоящего очерка. Трудно понять, как все это могло пройти незамеченным в девятом часу вечера, в центре Москвы, у ограды дома, где находились важнейшие сановники большевистской партии. Под адский грохот взрыва прохожие, вероятно, разбежались. Террористы, как ни в чем не бывало, шли домой, в Дегтярный переулок. Вдруг Барановский почувствовал себя очень плохо, — но не от волнения: у него начинался сыпной тиф. «На Тверской улице я впал в полуобморочное состояние, и Петр под руку вел меня всю дорогу до дома...»

Как было раскрыто дело, выполненное с таким необычайным хладнокровием этой странной кучкой страшных людей?

Помогла большевикам случайность. Анархисты во всем мире всегда делились и делятся на толки, имеющие, в сущности, очень мало общего между собой, но как-то все-таки связанные единством фирмы. 2 октября, около Брянска, в поезде была случайно задержана анархистка Софья Каплун, не имевшая к взрыву ни малейшего отношения. При ней нашли письмо другого анархиста, Барона, из группы «Набат». Группа «Набат» к группе «анархистов подполья» относилась насмешливо-отрицательно и дел с ней не вела.

¹ Показания Розанова. — Автор.

² Показания Барановского. — Автор.

Но в порядке и в тоне партийной сплетни Барон сообщал Софье Каплун сенсационную московскую новость: взорвали особняк в Леонтьевском переулке. Дело, кажется, подпольных анархистов, с которыми у меня нет ничего общего. У них миллионные суммы. Правит всем человечек, мнящий себя новым Наполеоном»¹.

Чрезвычайную комиссию так и осенило: думала, монархисты — оказалось, анархисты! Об анархистах у нее кое-какой материал был: имена, адреса, фотографии, вероятно, и сексоты. Все было пущено в ход. Скоро удалось напасть на след одной из конспиративных квартир. «Был произведен внезапный обыск, и оставлена в квартире засада, между которой и пришедшим на эту квартиру неизвестным произошла перестрелка, во время которой неизвестный был убит, а один из наших комиссаров был им ранен... Неизвестным также была брошена бомба, к счастью, не разорвавшаяся...» По фотографии чекистам удалось установить, что убитый — «неизвестный, некто Казимир Ковалевич».

По-видимому, при Ковалевиче было найдено немало адресов. Теперь ликвидация группы пошла быстро. «По этим данным были произведены аресты боевиков, причем почти ни один из них не сдавался без сопротивления, имея при себе и бомбы, и по несколько револьверов. В это время был убит один из виднейших организаторов анархистов подполья, Петр Соболев, непосредственный участник взрыва Московского комитета РКП, тот, который бросил бомбу. Убит он был в перестрелке с двумя комиссарами МЧК, во время которой один комиссар был им ранен тремя пулями в грудь. При убитом найдены три револьвера... Петром Соболевым во время перестрелки была брошена бомба, которая не взорвалась (бомба случайно попала в портфель товарища комиссара, который зажал ее там). Имевшимся у него в руке другим револьвером он застрелил Петра Соболева»².

К сожалению, советская печать не сообщила, когда именно был убит Петр Соболев. По всей вероятности, это случилось в первых числах ноября 1919 года. Казимир Ковалевич погиб в конце октября; через несколько дней была раскрыта вторая конспиративная квартира

¹ «Известия», 28 декабря 1919 г. — Мы можем только догадываться, кто именно мнил себя Наполеоном. Едва ли Черепанов, да он и не был анархистом. Быть может, Ковалевич, но скорее Соболев. — Автор

² «Известия», 28 декабря 1919 г. — Автор

«анархистов подполья», а за день до годовщины большевистского переворота, то есть около 6 ноября, Чрезвычайной комиссии стало известно о том, что у этой анархистской группы был главный штаб, с типографией и с лабораторией взрывчатых веществ, под Москвой, — на даче в Краскове.

Узнали об этом чекисты от «толстовца» Миши Тямина, который был арестован 3 ноября, в засаде на второй конспиративной квартире (Большая Александровская, 22). Выдавать он стал сразу, но наиболее существенные сведения сообщил Манцеву в дополнительном показании, — вероятно, дня через два после ареста:

«Дополнительно показываю: в 1 Троицком переулке, в доме № 5 во дворе, 1-й этаж, живет Шурка-боевик. Кроме него, может еще быть Дядя Ваня. Брать надо осторожно, ибо возможно вооруженное сопротивление. Затем в доме Бахрушина, на Тверской улице, ход с переулка, часто собираются анархисты подполья. Там живет боевик Сашка под фамилией Розанов. К нему могут зайти и Барановский, и Соболев¹. Типография, а может быть и адские машины, находится на даче в Краскове по Казанской ж. д. Эту дачу дал подпольникам некто Педевич, служащий Продпути (у Ильинских ворот)».

Этих сведений чекистам было, конечно, вполне достаточно. Для захвата главного гнезда анархистов подполья была тотчас снаряжена экспедиция. Остальное передаю словами напечатанного в «Известиях» отчета:

«За день до годовщины (октябрьской революции — М. А.), МЧК установила, что анархистами подполья была месяц-полтора-два тому назад снята дача в дачном поселке Красково, верстах в 25-ти от Москвы. Немедленно туда был послан отряд в 30 человек, который рано утром оцепил дачу Горина. Бывшие в ней анархисты (шесть человек) встретили прибывших залпами из револьверов и ручными гранатами. Ими было брошено больше десяти бомб. Перестрелка продолжалась около 2 1/2 часов. Затем анархисты зажгли адскую машину и взорвали дачу. Сила взрыва была громадна, дача целиком была поднята на воздух, затем она загорелась, и почти во все время пожара (часа 4) происходили взрывы взрывчатых материалов, находившихся на даче, поэтому мер по тушению

¹ Отсюда как будто следует, что Соболев еще был жив около 5 ноября. Но возможно и то, что чекисты не сочли нужным сообщить Тямину об убийстве главы организации — Автор

пожара принять было невозможно. На месте пожарища были обнаружены трупы, остатки типографского станка (вал, рама и пр.), две невзорвавшиеся адские машины (жестяные бидоны, наполненные пироксилином), оболочки бомб, револьверы и пр. Типография и лаборатория бомб анархистов подполья были здесь уничтожены. Московский пролетариат мог спокойно праздновать Октябрьскую годовщину»¹.

Дача взлетела на воздух. Ее жильцы умерли как должно. Конец анархистов подполья, среди которых были две женщины, безвестные девицы Таня и Мина, выигрывает от сравнения с неизменными бойнями в подвалах ГПУ. Быть может, где-либо в СССР — в тюрьме, в ссылке, на принудительных работах, — еще влачат существование люди, бывавшие на этой страшной даче. Очень мне жаль, что я никого из них не знал и не узнаю. Как слагался быт их непонятной жизни? Как проходил их день в этих стенах, окруженных густым сосновым лесом, — между динамитной лабораторией и спальней тифозного больного? Какие отношения складывались между ними? Среди этих бескорыстных грабителей и гуманно настроенных убийц были самые разные люди, — разные по образованию, по прошлому, по происхождению, по вере. Что могло их объединять, кроме общей ненависти к власти, да еще, вероятно, страстного желания жить не как другие, а по-своему, — согласно с девизом владельцев средневекового замка: «*Qui veult reut*»². Все осложнялось книгами Кропоткина, необычным вариантом «славянской души», не знаю, чем еще. В другой обстановке из таких людей выходят Энверы или Равальяки. Для людей этого рода безработица еще не наступила в мире; избытка же их опасаться не приходится.

После взрыва в Леонтьевском переулке один из старых большевиков сказал М. Покровскому: «Бомба это эсеровская, вся техника их, — это несомненно». — «Помилуйте, — ответил большевистский историк, — при чем здесь эсеры? Мы казнили белогвардейцев, и они нам мстят, и даже непонятно, почему только одно покушение было». Со-

¹ «Известия», 28 декабря 1919 г — Автор

² «Кто хочет, может» (фр.)

ветская власть, действительно, в ту пору все приписывала «белогвардейцам» и, в частности, монархистам. В газетах сообщалось даже, что генерал Деникин выдвигает свою кандидатуру на престол¹.

Общий приказ по печати был в те дни: «Смотри весело». Мясников писал в «Известиях»: «Уже занимается заря новых побед красных чудо-богатырей на полях приветливого юга и под стенами красного Питера»². Печати велено было утверждать, что западные страны находятся накануне социальной революции. Ленин уверял, что в Англии не сегодня-завтра установится советская власть. По мнению большевистских предсказателей, кончалась и «Лига убийц», — так в московской печати неизменно тогда именовалась Лига Наций (не в обиду будь сказано члену совета Лиги Литвинову и помощнику генерального секретаря Розенбергу). В статье, озаглавленной «Распад Лиги убийц», А. Гойхбарг писал: «Лига Наций испустила дыхание еще до своего рождения»³.

В действительности настроение советской власти было в те дни менее радостным, чем ее тон. Заря побед красных чудо-богатырей отнюдь еще не занималась: дела на полях приветливого юга шли не слишком хорошо. Лига убийц тоже, как нарочно, не издыхала: напротив, она тогда переживала период бодрой, оптимистической юности. Но дело было не столько в самой Лиге, сколько в державах, ею управлявших. Клемансо, кости которого теперь, после занятия немцами разоруженной области, верно, ворочаются в могиле, тогда полновластно распоряжался судьбами континентальной Европы. На него обычно все и взваливали в Москве, сжигая его чучело при каждом удобном случае.

Повторяю, я допускаю возможность, что советское правительство и в самом деле считало «белогвардейцев» виновниками взрыва в Леонтьевском переулке. Некоторые подозрения об анархистах подполья могли быть и, наверное, были уже на следующий день после взрыва, задолго до ареста Софии Каплун. Но эта версия была вдобавок так неудобна: кого же можно было убедить в том, что Шурка-боевик с «дядей Ваней» — агенты Клемансо и Антанты! С белогвардейцами все выходило гораздо правдоподобнее и

¹ Демьян Бедный написал об этом стишки «Не гляди, король, героем, — Двойкой мы тебя покроем — Наш удар-то наверной, — Бьем мы двойкой козырной — Ленин с Троцким наша двойка, — Вот попробуй-ка, покрой-ка! — Где ж твоя, Деникин, прыть? — Нашей двойки нечем крыть» — *Автор*

² «Известия», 19 октября 1919 г — *Автор*

³ «Известия», 1 октября 1919 г — *Автор*

глаже: можно было сразу очистить все тюрьмы. Во всяком случае, дело немедленно, без малейшего расследования, было взвалено на белогвардейцев и кадет, — я цитировал в первой статье настоящего очерка речи и статьи Троцкого, Бухарина и других большевиков.

Тюрьмы в те дни были совершенно переполнены (в одной Бутырской тюрьме находилось свыше трех тысяч заключенных). Были тут министры старого строя, как Макаров и Самарин, и были члены социалистических партий; были Долгорукие, Нарышкины, Бобринские, и были крестьяне, рабочие, лавочники; были кадетские общественные деятели, считавшиеся украшением интеллигентской Москвы¹, и была целая камера «бандитов-венериков». В вышедшем в 1922 году в Берлине эсеровском сборнике «Чекка» помещены воспоминания Надеждина: «Год в Бутырской тюрьме». Вот что рассказывает автор, лично это переживший, о дне взрыва в Леонтьевском переулке:

«Был тихий вечер, тюрьма жила, сосредоточенно притаившись, как всегда по вечерам. Раздался какой-то взрыв, большинство не придало этому значения, некоторые все же насторожились, чересчур необычно знаком был гул. Не прошло и получаса, как раздалась бешеная команда по коридорам: «Запирай все двери, никого никуда не выпускай!» Щелканье затворов, полные коридоры вооруженных солдат, через окно видно, как во двор вытягивают пулеметы. Началась расправа, и расправа жестокая, в ту же ночь».

«По рассказу коменданта МЧК Захарова, прямо с места взрыва приехал в МЧК бледный как полотно, взволнованный Дзержинский и отдал приказ: расстреливать по спискам всех кадет, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях... Из Бутырок 26 сентября утром, часов в 12, была выведена первая партия и отвезена в Петровский парк, где и расстреляна; подвалы ЧК, где обыкновенно расстреливают, были, по-видимому, заняты своей «работой», и для бутырцев не хватало места. В эту первую партию попали Макаров, Долгорукий, Грессер и Татищев. Макаров до кон-

¹ В конце августа 1919 года, по делу Национального центра, были арестованы Н. Н. Шепкин, Астровы, Алферовы, А. Волков, Штейнингер, Черноуситов, Огородниковы и др. Все они были расстреляны в сентябре, но дата их расстрела, 28-е, вызывает у меня некоторые сомнения, на которых здесь не останавливаюсь — *Автор*

ца сохранил свою твердость. На роковые — «по городу с вещами» — спокойно ответил: «Я давно готов». Медленно, методично сложил свои вещи, отделил все получше для пересылки голодавшей в Петербурге семье, стал прощаться с буквально подавленной его мужеством камерой. Соседи уговорили его написать прощальное письмо домой. У многих стояли слезы на глазах, даже ожесточенные и грубые чекисты не торопили его, как обычно, и, молча потупившись, стояли у дверей. Макаров присел к столу, все так же сосредоточенный и ушедший вглубь себя. Заключительные строки его записки были следующие: «За мной пришли, вероятно, на расстрел, иду спокойно, мучительно думать о вас; да хранит вас Господь! Ваш несчастный папа». Видя подавленность и слезы кругом, он попробовал даже пошутить. Обратившись к случайно находившемуся в камере эсеру, предложил ему хоть перед смертью выкурить с ним трубку мира. Затем, завернувшись в одеяло (шубу отослал жене), с худшей трубкой в зубах (лучшую тоже отослал), тихо и чинно попрощавшись с соседями, прямой, суровый, спокойный, мерными шагами вышел в коридор...»¹

Такое же мужество проявили многие (далеко не все) другие расстрелянные в тот день люди — как правые, так и левые. Некоторые из них и в той ужасной обстановке сохранили веру в себя, в свое прошлое, в свои идеи. Так и должно быть, но так не всегда бывает; так бывает даже очень редко, — «C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière...»² Массовые расстрелы происходили в ВЧК, занимавшей на Большой Лубянке №№ 2 и 11, и в МЧК, помещавшейся в № 14 по той же улице, в историческом доме графа Ростопчина, где происходит в «Войне и мире» знаменитая сцена убийства Верещагина. Всего, в результате взрыва в Леонтьевском переулке, было расстреляно несколько сот человек, — точно никто не считал.

Потом оказалось, что все это досадное недоразумение: особняк в Леонтьевском переулке взорвали не правые и не кадеты, а анархисты. Наиболее корректные из большевиков выражали даже некоторое сожаление: что ж делать, ошибка, погорячились...

¹ Я слышал, что воспоминания эти принадлежат весьма видному социалисту-революционеру, члену Центрального комитета партии. В тюрьме он очень сблизился с бывшим министром старого строя, А. А. Макаров перед смертью подарил ему книгу, которую читал в свой последний день — *Автор*

² «Эта ночь, когда так хорошо верить в светлое» (фр.)

ГИТЛЕР

Следующая ниже статья появилась в печати задолго до прихода Гитлера к власти. Мне отказываться от нее не от чего и теперь. В ту пору и в Германии, и вне ее было обязательно говорить о нынешнем диктаторе не иначе, как о человеке ничтожном и неумном. Мысль о том, что его планы могут увенчаться успехом, ничего, кроме смеха, тогда не вызывала. Последовавшие события показали, как неоснователен был такой взгляд, — и тогда казавшийся мне странным.

То, что теперь, в 1936 году, можно было бы сказать о правительственной работе Гитлера, ничего не изменило бы, думаю, в его портрете. Благодаря хитрости и смелости, он добился немалых результатов в области внешней политики. Германия вооружилась, и разговор с ней стал у всех другой. Но мощная армия, флот, аэропланы все-таки лишь средство, а не цель. Самый процесс пользования властью — речи, приемы, смотры, маневры, интриги, постоянные комментарии в иностранной печати, — должен доставлять великое наслаждение такому человеку, как Гитлер. Рисковать потерей всего этого, рисковать властью и головой — дело нешуточное и для природного кондотьера. И все же задача остается прежней: надо так или иначе добиться коренной перемены в территориальных условиях Версальского мира. Вероятность войны в Европе теперь неизмеримо больше, чем была четверть века тому назад.

Во внутренней политике Гитлера сюрпризов оказалось немного. Некоторым сюрпризом было отношение к евреям. Когда я писал настоящую статью, мне казалось, что это ловко и искусно выбранная карта, на которой в Германии очень выгодно сыграть хитрому человеку, и карта эта стала ненужной, даже невыгодной. Между тем игра на ней превратилось в дело постоянное, нелепое и чаще всего комическое. Очевидно, этот человек и в самом деле вполне серьезно верил в свою гениальную расовую теорию!..

Бойня же 30 июня, убийство Шлейхера, дела гестапо сюрпризом не были. Большевики достаточно наглядно по-

казали, что «все позволено». Поданный ими урок не мог пройти бесследно. От всего этого человечеству придется лечиться не годами, а столетиями. Вылечится ли оно, — я не знаю.

I

Огромная зала полна сверх меры. Все десять тысяч билетов распроданы задолго до митинга. Перед входом на улице стоит густая толпа людей, которым не удалось попасть в залу. Они жадно ждут: может быть, кто-нибудь выйдет, упадет в обморок от жары, продаст или уступит место.

Ровно в восемь часов вечера раздаются трубные звуки. В залу торжественно входит оркестр, играя военный марш. За ним следует «взвод знаменосцев», далее «ударный отряд» из людей в коричневых рубашках, с засученными рукавами, и, наконец, конвой «телохранителей вождя». У телохранителей на головах каски с изображением черепа. Раздается команда: «Глаза направо!..» Весь зал встает, следуя, кто как умеет, военной команде. На пороге между двумя взводами конвоя появляется Гитлер. Громовые рукоплескания длятся несколько минут. Невысокий, мертвенно-бледный человек, со злыми сверкающими глазами, в полувоенной форме, украшенной индусским¹ значком, занимает место на трибуне.

«Для того чтобы понять гитлеровщину, — говорит беспристрастный и осведомленный французский журналист, описывающий эту сцену, — надо знать, что как оратор Гитлер не имеет себе равных в современной Германии. Он зачаровывает толпу, которая с наслаждением слушает все расточаемые им грубости, его декламацию против предателей, мошенников, продажных людей. Никто таким языком никогда не говорил в Германии».

«Каждая фраза его речи, — пишет очевидец, — прерывается бешеными рукоплесканиями. Толпа встает, как один человек, и начинает петь». Ей вторит орган большой бреславльской залы. Гитлер рычал более часа. Раздавленный неслыханным усилием, он падает в кресло и лежит неподвижно несколько мгновений. Затем, овладев собой, бросается в другую залу, где его ждало еще десять тысяч

¹ «Свастика» — индусского происхождения (по другим указаниям — египетского).

человек. В полночь он в третий раз произнесет ту же речь перед 6—7-тысячной толпой, ждущей его на улице, жаждущей увидеть спасителя, которого зовут в Германии Христом!..»

Что он говорит, всем достаточно известно. Во всяком большом движении, каково бы оно ни было, есть беспрестанно повторяющийся лейтмотив. Разные это бывают лейтмотивы, — многие из них нам особенно памяты: «без аннексий и контрибуций», «вся власть советам», «братание трудящихся», «грабь награбленное». Лейтмотив гитлеровщины более сложный; «Германская армия побеждала на всех фронтах, но германская революция вонзила ей кинжал в спину!» Отсюда делаются выводы, тоже всем известные.

Лозунги Ленина в 1917 году были еще лучше, но и этот придуман недурно. Гитлер обращается преимущественно к молодежи, которая в войне не участвовала и знает о ней мало. У молодых немцев осталось о событиях 1914—1918 гг. общее впечатление, которое почти совпадает с тем, что говорит Гитлер. Германские войска в самом деле побеждали на всех фронтах. Потом вспыхнула революция — и все погребло. Значит, Германию погубили люди, ныне стоящие у власти. Хронологией молодежь не занимается, а без хронологии как доказать, что в утверждении Гитлера нет ни слова правды?

II

Люди, стоящие у власти в Германии со времени революции 1918 года, совершили много ошибок, и грехов за ними значится немало. Но в этом грехе они неповинны. Напомню очень кратко установленные историей факты.

До лета 1918 года военное положение Германии было поистине превосходным. Всему миру казалось¹, что союзники находятся на краю гибели; да это, как теперь выясняется, было и в самом деле близко к истине, — сошлюсь,

¹ Живо помню это время в Петербурге. В небольшом кругу читались военными специалистами доклады. Помню доклад генерала, потом перешедшего к большевикам; он убедительно доказывал, что союзники победить не могут, — дай им Бог только спастись от разгрома. И мы, профаны, думали точно так же: если не победили с Россией, то как же им победить без России? Впечатление безграничной мощи Германии еще усилилось в марте 1918 года, когда германские пушки начали обстреливать Париж со 130-километрового расстояния, — этот внезапный скачок от 30—40 километров до 130 поразил воображение мира

например, на известную работу капитана Райта, вышедшую в 1922 году. Клемансо сказал посетившей его делегации: «Нам остается погибнуть с честью!» Маршал Фош упорно говорил и тогда: «Я предпочитаю свою игру игре Людендорфа»; но ведь и эти слова не свидетельствуют об уверенности в полной победе. «Положение было очень серьезно, — пишет генерал-майор сэр Фредерик Морис. — Летом 1917 года у союзников было на западном фронте 178 дивизий против 108 германских. В начале 1918 года число союзных дивизий упало до 163, а число германских выросло до 175». Поздней весной положение стало гораздо хуже. «Наступательная сила британской армии была временно сломлена, — сообщает тот же военный писатель. — В шесть недель она потеряла 350 тысяч человек и 1000 орудий».

Летом союзные войска получили четыреста танков. Восьмого августа началось большое наступление Фоша. Оно развивалось успешно, однако на близкую победу никто не рассчитывал. «Общее мнение союзников было, что для решительного наступления против немцев надо ждать 1919 года, когда сильно увеличится американская армия».

В германских политических кругах неожиданные успехи союзников вызвали волнение. Социал-демократы, настроенные в огромном большинстве вполне патриотически, все решительнее настаивали на том, чтобы им было предоставлено в нем три министерских поста. Однако о возможности катастрофы на фронте никто в Германии и не думал. «Дела стали хуже, они скоро поправятся. В общем, все идет недурно», — таково было настроение. Достаточно сказать, что так думал сам генерал Гофман, фактически командующий Восточного фронта, считавшийся вдобавок одним из возможных кандидатов на должность канцлера.

75-летний канцлер граф Гертлинг, известный философ-неотомист был неподходящим человеком для парламентского правительства, на которое уже соглашался, или почти соглашался, Вильгельм. Выбор императора остановился на Максе Баденском. Он был принц и либерал, — это сочетание казалось Вильгельму II удачным.

Гром грянул 29 сентября. Людендорф, внезапно прибывший на несколько часов в Берлин из главной квартиры, сообщил императору, что война проиграна, что необходимо тотчас предложить союзникам перемирие и начать мирные переговоры.

Вильгельм был совершенно поражен этим заявлением, — оно и для него было полной неожиданностью. «К

вечеру этого дня, — говорил Новак, — у императора был вид разбитого, внезапно состарившегося человека». Граф Гертлинг подал в отставку. Прибывший в Берлин 1 октября принц Баденский был немедленно принят Вильгельмом.

Максимилиан Баденский не имел большого политического опыта, но это был неглупый, рассудительный и трезвый человек. Сообщение Людендорфа, переданное ему императором, потрясло принца; так вот к чему привело неслыханное усилие германского народа, все победы, все военные чудеса!.. Спорить по существу с генералом, которого все признавали первым военным авторитетом нашего времени, штатский принц, естественно, не мог. Однако он решительно высказался против немедленного принятия предложения Людендорфа. Принц Баденский, не потерявший самообладания, сказал совершенную правду: просьба о мире и о немедленном перемирии, посланная сейчас, в пору продолжающегося, неудачного для немцев, сражения, равносильна капитуляции¹. Надо хоть немного подождать! Император возражал; Людендорф настаивает. Принц в ужасе отказывался от шага, который, по его мнению, означал гибель Германии.

Во втором часу дня из ставки пришла телеграмма. Верховное командование извещало императора, что, если новое правительство будет образовано до семи-восьми часов вечера, то с предложением перемирия можно подождать до завтрашнего дня; в противном случае его надо сделать немедленно. Еще через полчаса представитель министерства иностранных дел в ставке получил от Людендорфа предложение послать телеграмму союзникам немедленно, не дожидаясь образования нового правительства!

Трудно понять, что случилось в те дни с Людендорфом. По-видимому, его душевные силы не выдержали четырехлетнего нечеловеческого напряжения. Об этом косвенно свидетельствуют и позднейшие выступления Людендорфа: как известно, он упорно обвиняет в заговоре против Германии блок, состоящий из римского папы, Великого Востока Франции, Сталина и «господина Гинденбурга». Во всяком случае, в те трагические дни ум и воля знаменитого генерала были явно в состоянии упадка.

Новый канцлер вызвал по телефону ставку и в последний раз высказал свои доводы: послать сейчас просьбу о

¹ Генерал Гофман говорит, что этим требованием Людендорф отдал Германию «холодной ненависти Англии, фанатической жажде мщения французов и помраченному уму президента Вильсона»

перемирии значит вывесить белый флаг. Это шаг безвозвратный. Настаивает ли на этом верховное командование? Ответ был: другого выхода нет.

Трагическая борьба канцлера с верховным командованием была тем самым закончена. Швейцарское правительство взялось передать президенту Вильсону знаменитую телеграмму, которая, вероятно, была величайшей сенсацией новейшей истории. Германию еще окружал ореол четырехлетней непобедимости.

Эта телеграмма, должно быть, оказалась полной неожиданностью и для Вильсона. Если сопоставить между собой его последующие ноты, ясно видишь, как быстро меняется тон президента. В первой ноте он еще как бы переспрашивает: действительно ли германское правительство готово тотчас эвакуировать занятые его войсками области? Он точно еще не совсем понял телеграмму германского правительства или не поверил ей. Очень скоро ему становится ясно, что это капитуляция, что война кончена, что союзники одержали полную победу. Во второй телеграмме Вильсон уже говорит о немецких зверствах, он требует гарантии, он ставит условия. Всего лишь несколько дней тому назад никто не подумал бы, что с Германией можно говорить таким языком.

Настроение самих немцев понять не трудно. Все рухнуло в один день. Вальтер Ратенау выступает с проектом — надо бороться до последней крайности. Девятого октября в Берлин снова приезжает Людендорф. Слепая вера в него поколебалась, но он все-таки первый из военных авторитетов. Окончательный ответ Вильсону еще не дан. Министр иностранных дел Сольф в упор спрашивает генерала: «Можем ли мы продержаться еще три месяца?» Людендорф кратко отвечает: «Нет!» — и затем, в противоречии с этим ответом, добавляет, что к весне у него будет шестьсот танков. Принц Баденский не выдержал: Людендорф есть Людендорф, но в таких условиях правительство желает выслушать мнение и других германских полководцев. Принц требует созыва военного совета. Людендорф оскорбленно от этого отказывается.

По-видимому, тайне от него канцлер вызывает в Берлин генерала Гофмана, стратегические дарования которого расценивались очень высоко¹, и просит его высказаться о положении на Западном фронте. По непонятным мне причинам Гофман в своих воспоминаниях ничего не сообщает

¹ Высоко ставит его и генерал Вейган

об этой своей консультации. Вероятно, и она имела пессимистический характер; иначе ответ Вильсону был бы дан другой.

В сущности, после начала переписки с президентом, о продолжении войны говорить уже не приходилось: вера немецкого народа в победу была подорвана, во всей стране началось брожение, которое теперь легко могли использовать для восстания спартаковцы (прежде с ними расправились бы за это коротко)¹. Невозможность успешной войны отныне все чувствуют ясно, и новое совещание 17 октября имеет, по существу, формальный характер. Людендорф неожиданно меняет тон: он отрицает, что его сообщения правительству «имели характер отчаяния»: напротив, положение на фронте вовсе не так плохо. «Генерал извратил перспективу», — говорит Сольф. Вечером того же дня в тесном кругу Людендорф заявляет, что намерен перевести армию на новые позиции, — «на них я буду держаться сколько угодно».

26 октября Гинденбург и Людендорф получают аудиенцию у императора. Подробности этого свидания до сих пор в точности не выяснены. Людендорф жалуется Вильгельму на слабость нового правительства. Император совершенно основательно отвечает, что верховное командование несет некоторую ответственность за положение. Между Гинденбургом и Людендорфом, по-видимому, происходит бурная сцена. Людендорф подает в отставку. Однако теперь и это уже не имеет большого значения. В тот же день Вильгельм II получил из Гедолло от императора Карла телеграмму, начинающуюся словами: «Дорогой друг, как мне ни тяжело, я обязан сообщить тебе, что мой народ больше не может и не хочет воевать. Я не в состоянии противиться его воле, ибо я сам больше не имею никакой надежды на благополучный исход войны...»²

Через неделю после этого в Киле вспыхивает восстание, начавшее германскую революцию. Его, конечно, можно рассматривать как «удар в спину», — но, во всяком случае,

¹ Вполне возможно, что агитация в Германии велась революционерами и раньше, но большого значения она, конечно, не имела. Не очень беспокоилось о ней и германское правительство, поддерживавшее добрые отношения с Иоффе (статс-секретарь фон Гинце ходил к нему на приемы с красной гвоздикой в петлице).

² Близкий в то время к Людендорфу полковник Бауер впоследствии говорил, что нужно было предложить союзникам перемирие: немецкий народ, таким образом, увидел бы, что союзники справедливого мира не хотят!

это был удар в спину уже убитого человека. Образ, на котором, — по крайней мере, теоретически, — выросло национал-социалистическое движение, представляет собой чистую фантазию.

III

Адольф Гитлер родился в 1889 году в маленьком австрийском городке Браунау, расположенном у баварской границы и памятном нам всем по «Войне и миру». Отец нынешнего главы расистов был таможенным чиновником. Он умер тогда, когда сыну было тринадцать лет. Смерть отца, человека либеральных взглядов («гражданин мира», — вспоминает сам Гитлер), изменила всю жизнь Гитлера. С детских лет он хотел стать художником; отец же требовал, чтобы сын продолжал учиться в реальном училище и со временем поступил на службу. Очень рано Гитлер получил полную свободу, — умерла и его мать, оставив семью без средств.

Бросив реальное училище, Гитлер отправился в Вену. Живописи надо было бы учиться очень долго. Поступить в Архитектурную школу было невозможно без аттестата зрелости. Последние деньги разошлись. Гитлер стал маляром и так прожил несколько лет. Если он когда-либо будет причиной мировой катастрофы, то человечество поплатится отчасти за эти годы, проведенные Гитлером на венских постройках.

Свою жизнь Гитлер подробно рассказал в двухтомной книге, озаглавленной «Моя борьба». В ней много «теории», и теория эта столь же скучна, сколь бестолкова. Но автобиографические главы весьма интересны, хотя Гитлер лишен литературного таланта. Это очень неглупый человек, самоуверенный, злой, мстительный и беспредельно честолюбивый. Думаю, что он искренен и бескорыстен. В совокупности эти свойства образуют «фанатика», — понятие весьма неопределенное. Германию Гитлер любит фанатически, хоть в отдельности, должно быть, ненавидит громадное большинство знакомых ему немцев. Не знаю, популярен ли он в своем ближайшем политическом окружении, как был популярен среди большевиков Ленин, ухитрявшийся твердо держать в руках партию и вместе с тем оставаться «Ильичем». Гитлер в «Ильичи» мало годится: он, по душевному складу, гораздо ближе к Троцкому, которому, однако, уступает в дарованиях, за исключением дара организацион-

ного. Вполне допускаю, что настоящий «удар в спину» он получит именно от «своих». Так оно было и с Троцким. Я в своих очерках не ставлю себе никаких политических целей и стараюсь соблюдать совершенное беспристрастие. Скажу поэтому, что Гитлер человек выдающийся. Ему одному в современной Германии удалось создать большое движение: как это ни печально, он делает историю.

Не отбыв в Австрии воинской повинности, Гитлер переехал в Мюнхен. Там его застала война. Он записался добровольцем в германскую армию. По закону он, собственно, должен был бы вернуться в Австрию и служить там. Гитлер говорит, что не хотел служить в армии того государства, которое уже тогда казалось ему обреченным. Враги же его утверждают, что он предпочел престиж добровольца в Германии обязательной службе в Австрии, где его рассматривали бы в лучшем случае как «ненадежного кантониста» (таково было официальное выражение). Во всяком случае, этот грех Гитлера очень незначителен. Воевал он мужественно, был ранен, затем отравлен ядовитыми газами. В ту пору, когда он находился на излечении в больнице, пришло известие о конце войны. Гитлер немедленно сделал строго логический вывод: «С евреями никакого соглашения быть не может... Я решил стать политическим деятелем».

Он ненавидит евреев, социалистов и Францию, — это три основных предмета ненависти Гитлера. Но есть и еще много других, — такой запас злобы можно найти разве только у большевиков. Ненавидит Гитлер и Россию, — точнее, он считает русский народ низшей расой, вдобавок обреченной на гибель. Россия, по убеждению вождя национал-социалистов, целиком создана немцами. «Организация русского государственного здания, — пишет он, — не была результатом государственно-политического творчества славянского элемента в России. Она скорее является удивительным примером государственно-творческой работы германского элемента над низшей расой... Низшие народы, имеющие немцев в качестве вождей и организаторов, нередко создавали могущественные образования». Теперь немецкий элемент в России искоренен, а потому Россия должна погибнуть: «конец еврейского владычества в России будет концом и русского государства».

Ненавидит Гитлер и интеллигенцию. В одной из глав своей книги он говорит о том пренебрежении, с которым относились к нему, как к человеку, не получившему высшего образования. Эти страницы дышат неподдельной,

жгучей яростью. Здесь, по-видимому, одна из характерных черт гитлеровского движения. Теперь в нем принимает участие очень много всевозможных «докторов философии»; но в начале характер движения был несколько иной. Подеревский как-то назвал большевизм «восстанием людей, не употребляющих зубной щетки, против людей, употребляющих зубную щетку». В том же метафорическом смысле можно было бы сказать, что ранняя гитлеровщина была бунтом полуинтеллигентов против интеллигенции.

IV

В России революции ждали сто лет, — и она пришла все-таки внезапно. В Германии никто революции всерьез не ждал. Страшный удар так потряс страну, что она, вероятно, от него не оправится и через десятилетия. Если б война, вызвавшая германскую революцию, продолжалась, Германия погибла бы почти наверное. Но у немцев война кончилась в первый же день революции, — в этом заключалась огромная разница между русской трагедией и германской.

Военные действия кончились, революционные события начались. В течение десяти дней отреклись от престола двадцать пять германских монархов. Отреклись они по-разному, если не в политическом, то в психологическом отношении. Вильгельм II уехал в Голландию, чего большинство немцев до сих пор ему не прощает (хоть есть очень знаменитые прецеденты). Саксонский король выпустил воззвание к своим подданным, смысл которого можно приблизительно передать следующим образом: «имею честь кланяться, делайте, пожалуйста, отныне все, что вам угодно». Приблизительно так же звучало воззвание вюртембергского короля; он только еще добавил, что вывешивать красный флаг у себя не намерен, — в своей частной квартире может обойтись и без красного флага. Другие германские монархи не проявили тонкого юмора, но их преемники юмора и не оценили бы: они этому дали блестящее доказательство, назвав свое правительство «советом народных комиссаров» и учредив заодно «советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» (батрацких депутатов, к сожалению, не было, — может быть, это слово трудно было перевести на немецкий язык?). Таким образом, словесная преемственность установилась: Дантон подражал Гракху, Троцкий — Дантону, Газе — Троцкому.

Однако германские социал-демократы скоро снимали революционные мундиры установленного советского образца. Гаазе ушел в отставку; Эберт был умный и достойный человек; Шейдеман работал, как умел, — «он мог прекрасно говорить, о чем угодно, и знал на память много революционных песен», — невозмутимо писал о нем в 1920 году английский публицист Джордж Юнг. Собственно, спас тогда Германию тайный союз Эберта с генералом Гренером. При помощи других людей, частью кадровых офицеров, частью социал-демократов, они сделали главное: уберегли свою родину от большевизма.

Наряду с этим большим делом, в объятый пожаром стране творились удивительные небольшие дела — клад для психолога и для романиста. Маленькие революции сменялись маленькими контрреволюциями. Для борьбы с «советами» и «народными комиссарами», создавались организации, очень похожие одна на другую. Они и названия себе придумали обычно по одному образцу: «Оргэш» (организация лесного советника Эшериха), «Орцентц» (организация коммерции советника Центца), «Оргейс», «Орка» и т. д. Было здесь немало смешного, но далеко не все было смешно.

Появились загадочные люди, — чего стоит один только капитан Эрхардт, он же «Консул», он же «Шеф», он же глава «Викингов», он же душа «Стальной Каски». Все контрреволюционные дела последних тринадцати лет, от Капповского переворота до громких террористических актов, так или иначе ведут к таинственной и страшной фигуре этого морского офицера. «Наемный убийца!» — говорят его враги. Не вижу оснований так расточать бездоказательное обвинение в продажности и в отсутствии убеждений. Чего другого, а уж «идеализма» в послереволюционной Германии было во всех лагерях достаточно — если б его было несколько меньше! Курт Эйсер установивший в полуфеодальной Баварии полусоветское правительство, с полубольшевистской программой и с полоумной тактикой, был идеалист. Но убивший его граф Арко был также идеалист. Они даже и вышли из одного источника — из романов Шпильгагена.

Гитлер не играл сколько-нибудь заметной роли в шумных романтических событиях первых двух лет германской революции. Достаточно сказать, что Ральф Лютц, написавший в 1922 году весьма обстоятельную ее историю, ни разу о нем в своей книге не упоминает. Решив стать политическим деятелем, Гитлер поселился в Мюнхене и стал приглядываться к делам.

Как-то раз он попал на митинг, устроенный под новой, еще никому не известной фирмой: Немецкая Рабочая Партия, — новые политические фирмы тогда, разумеется, росли как грибы. Гитлер принял участие в прениях, его фамилию и адрес записали. Через несколько дней он получил извещение, что он зачислен в немецкую рабочую партию, с просьбой пожаловать на организационное собрание в меблированные комнаты. Гитлер, несколько озадаченный, пожаловал. На организационном собрании оказалось четыре человека, тоже никому не известные. Был доложен и утвержден протокол предыдущего заседания, — организационное собрание постановило выразить благодарность секретарю. Затем был сделан доклад о состоянии кассы, с балансом в семь марок пятьдесят пфенигов, — организационное собрание постановило выразить благодарность казначею. Далее начались программные прения, — программы, в отличие от протокола и баланса, еще не было. Но программу легко было выработать.

Гитлер несколько колебался. Собственно, он хотел основать свою группу и даже придумал для нее название: в отличие от социал-демократической партии, группа Гитлера должна была называться партией социалистов-революционеров, — все в мире повторяется под разными широтами и долготами; каким-то неведомым таинственным законам, очевидно, подчиняется и творческая фантазия людей, выдумывающим партийные фирмы. Но теперь перед Гитлером встал новый вопрос: стоит ли основывать партию социалистов-революционеров, если уже есть немецкая рабочая партия? Он поколебался и окончательно примкнул к немецкой рабочей партии, получив партийный билет за номером седьмым. Так, в меблированных комнатах произошло большое историческое событие, — было бы очень хорошо, если б эти слова звучали иронически, да какая же ирония: за Гитлером теперь идут миллионы людей, и не сегодня-завтра, он, чего доброго, подожжет мир. Это делали и менее могущественные люди: ведь поджег его однажды восемнадцатилетний гимназист Принцип.

Несколько позднее новая партия удлинила свое название: она стала именоваться национал-социалистической немецкой рабочей партией. Понемногу пришли идеи, появилась программа, выработалась тактика. Но обо всем этом говорить не стоит. Верно сказал о гитлеровцах Д.С. Мережковский: обсуждать их идеи — все равно что обсуждать идеи саранчи, новое и важное у них это та температура, которую они создали.

Здесь, действительно, перед нами удивительное явление. Если б национал-социалистическая партия была партией монархической, то поддержка, оказываемая ей принцем Августом-Вильгельмом Прусским, герцогом Людвигом Баварским, принцем Христианом Шаумбург-Липпе, князем Гвидо Генкель-Доннерсмарком, была бы вполне естественна. Мы тогда легко бы могли понять и то, что национал-социалистам в разное время помогали стальной король Кирдорф, электрический король Сименс, паровозный король Борзиг, фортепьянная королева Бехштейн. Эти люди, — и с ними миллионы других — имеют все основания желать возвращения старого строя. Но Гитлер о восстановлении монархии не думает и никогда не думал. Приход его к власти — бешеный скачок над пропастью. А что по другую сторону пропасти, этого не знает никто. Не знает, вероятно, и сам Гитлер.

Конечно, перед лицом очень большой опасности люди идут и на самые рискованные дела. Если бы над Германией нависла угроза коммунистической революции, поддержка, оказываемая Гитлеру миллионами немцев, была бы опять-таки вполне понятна. Однако едва ли кто решится утверждать, что Гинденбург и Брюнинг, Штреземан и Маркс или даже Мюллер и Гильфердинг своим пребыванием у власти так грозили экономическому строю и общественному порядку Германии.

«Людьми руководят интересы», — пронизательные социологи давно это установили, некоторые с легкой радостью по поводу такого открытия, другие — с сердечным сокрушением. Нашему поколению, быть может, придется переменить прописи, — не будем только называть это переоценкой ценностей. На наших глазах капиталистический мир оказывает, например, усердную поддержку большевикам. Дело, разумеется, не в том, что какой-нибудь отдельный капиталист урвет из Москвы миллион на выгодной комбинации. Это тоже было бы понятно: «что до капиталистического мира, там будет видно, — он из-за моего миллиона не погибнет, а у меня пока что миллион останется». Можно было бы показать, что, независимо от всевозможных плутов и от «одиноких акул», капиталистический мир оказывает помощь большевикам, так сказать, в порядке общественном и бескорыстном (уж чего бескорыстнее!). Отношения между Европой и Советской Россией — трагикомедия коварства и любви. И то, что большевистские газеты мрачно называют «буржуазным макиавеллизмом», еще ждет своего разоблачения, — однако, с другой стороны, я

не очень верю в близкий конец капиталистического мира. Главное его достоинство не в том, что он очень хорош, а в том, что уж очень плохи его наследники. Но и независимо от этого поистине должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом мире, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость нынешних его руководителей.

V

Гитлер, конечно, мог бы сделать превосходную карьеру и у социал-демократов, — хорошие митинговые ораторы ценятся везде, а в особенности у партий, обращающихся к народным массам. Нормальная социал-демократическая карьера, при ускоренном чинопроизводстве революционного времени, принесла бы ему с годами и министерский портфель, — не богам же обжигать горшки, вдобавок горшки столь дешевые. Однако власти министерский портфель в современной Европе не дает, — какая уж там власть у нынешнего министра? Газету закрыть нельзя, посадить в тюрьму противника нельзя, издать закон нельзя, нарушить закон нельзя, ничего нельзя.

Одна из причин катастрофического характера нашей демократической эпохи именно в том, что очень властолюбивым людям теперь нечего делать. Власть в республиках слишком расплылась; а война из постоянного бытового явления стала сравнительно короткой трагической интермедией. Чем заниматься в парламентской Европе Ленину, Людендорфу, Сталину, Гитлеру? Брянские леса вырублены и в прямом, и в символическом смысле, правда, на наших глазах вырастают понемногу новые. Восторженные биографы (их, в случае успеха, окажется очень много), представят жизнь Гитлера как великое логическое следствие великой политической идеи, — любое общее место становится в таких случаях гениальным. А эта великая идея в действительности довольно случайная «надстройка» над весьма прочным «базисом» хищнической натуры.

Какая же идея? Самое лучшее ее выражение: «народ не созрел для свободы». «Да народ никогда не бывает зрел», — говорит у Гете Эгмонту герцог Альба, хищник того времени, когда для хищников не было безработицы в мире. По-своему, он прав, и стилистикой грамотности его опровергнуть трудно. Культурный прогресс сводится к уменьшению разницы в умственном росте между «толпой» и «элитой». Но это уменьшение может быть достигнуто

повышением уровня толпы и понижением уровня «Элиты». К сожалению, человечество в последнее время идет по второму пути много охотнее, чем по первому. Все учение Гитлера — ложь, не выдерживающая и снисходительной критики. Но сам он — живая правда о нынешнем мире, не прячущийся и страшный символ ненависти, переполнившей Европу наших дней. Очень характерно то, что этот человек, — сын либерала, считавшего себя «гражданином мира».

VI

Первое действие вождя расистов, привлечшее к нему в 1923 году не слишком благосклонное внимание всей Европы, было попыткой установления диктатуры, — разумеется, собственной: политическая ценность чужой диктатуры всегда сравнительно невелика. Эту попытку в Германии с чрезмерной игривостью называли «революцией в пивном погребе».

Было это в пятую годовщину германской революции, в ночь на 9 ноября 1923 года. В этот вечер баварский генеральный комиссар фон Кар устроил политическое собрание в большом зале пивоваренной фирмы. Роль фон Кара в мюнхенском деле так и осталась неясной. Он очень не любил берлинское правительство, да и Берлин вообще. Однако к государственному перевороту не стремился, хоть, вероятно, и не прочь был бы воспользоваться государственным переворотом, удачно устроенным другими.

Настоящего сговора между фон Каром и Гитлером, по видимому, не было; велись только неопределенные, ни к чему почти не обязывающие переговоры.

Во время речи генерального комиссара у входа вдруг послышался шум, повышенные голоса, потом крики. На пороге зала появился Гитлер с револьвером в руке, за ним десятки вооруженных людей. В огромном зале, где находился цвет мюнхенского общества во главе с министром-президентом Книллингом, началось смятение. Мгновенно распространился слух (оказавшийся верным), что здание оцеплено гитлеровцами.

В сопровождении своей охраны Гитлер прошел к председательской трибуне, взобрался на стол и два раза выстрелил в воздух, «для того чтобы установить тишину»: револьвер заменял ему председательский колокольчик. Когда тишина установилась, Гитлер довел до всеобщего сведе-

ния, что зал окружен, что выход никому не разрешается и что началась национальная революция; баварское правительство увольняется, имперское правительство увольняется и т. д. Находившиеся в зале члены баварского правительства фон Книллинг и фон Швейер были тут же арестованы.

Вслед за этим глава национал-социалистов предложил фон Кару, командующему войсками генералу фон Лоссову и главе полиции полковнику Зейссеру выйти с ним в соседнюю комнату. Нам началось политическое совещание. Гитлер, от имени восставших, предложил фон Кару должность баварского наместника, фон Лоссову портфель военного министра, Зейссеру портфель министра полиции. Сам он объявил себя главой имперского правительства, с полномочиями диктатора всей Германии.

Баварские сановники тотчас согласились. Фон Кар потом показывал на суде, что принял предложение под угрозой револьвера; кроме того, принимая предложение, он подмигнул Лоссову и Зейссеру. Не знаю, удалось ли суду установить, подмигнул ли действительно фон Кар.

На должность командующего войсками было назначено новое лицо, и вдобавок чрезвычайно важное: не кто иной, как Людендорф. Его участие придавало иной характер всему этому делу: Гитлер в ту пору еще был никто, — предмет насмешек всех юмористических журналов Германии. Но Людендорф был мировой знаменитостью (английский военный писатель, капитан Лиддель-Гарт, в нашумевшей книге назвал его самой крупной фигурой мировой войны). Генерал не присутствовал на заседании. За ним тотчас послали. Он вскоре прибыл и заявил, что принимает назначение.

Получив согласие Кара, Лоссова и Зейссера вступить в правительство, Гитлер предложил им совместно обсудить меры борьбы с «берлинской конюшней». Фон Кар вяло ответил, что очень поздно, что он устал и хочет спать: «все меры обсудим завтра утром», Гитлер, очень довольный ходом переворота, тотчас с этим согласился. Сам он остался в «Burgerbrau», объявленном главной квартирой революции. Фон Кар, фон Лоссов и Зейссер разъехались, — однако не по домам.

Что произошло вслед за заседанием, нам в точности неизвестно. По-видимому, глава династии Виттельсбахов, находившийся в своем дворце в Берхтесгадене, высказался по телефону против всего этого дела: многие германские монархи терпеть не могут Гитлера (кажется, очень его не

любит и сам Вильгельм II). Говорили также, что решительно высказался против дела и кардинал Фаульгабер, выражавший мнение Ватикана. Вскоре после того пришли известия из «берлинской конюшни». Имперское правительство собралось в 12 часов ночи и постановило принять решительные меры: главнокомандующий рейхсвера, генерал фон Зект, которому 12 ноября президент Эберт передал всю полноту власти, предложил двинуть свои войска на Мюнхен. В 2 ч. 50 минут ночи фон Кар по радиотелеграфу объявил Гитлера мятежником. В сообщении генерального комиссара говорилось об «обмане честлюбивых молодчиков». «Заявления, вырванные у меня, у генерала фон Лоссова и полковника Зейссера под угрозой пистолета, лишены всякого значения», — телеграфировал генеральный комиссар.

Баварские войска и мюнхенская полиция остались верны властям. «Честлюбивый молодчик» Гитлер вызвал на помощь свои «штурмовые колонны». Одна штурмовая колонна действительно пришла из Регенсбурга, под начальством аптекаря Штрассера. Генерал Людендорф, командовавший в свое время не такой армией, согласился стать во главе штурмовой колонны Гитлера, — многие германские офицеры, участники мировой войны, до сих пор не прощают знаменитому генералу его военного содружества с бывшим маляром и с бывшим аптекарем.

Противником Людендорфа на этот раз, вместо Фоша и Алексеева, оказался мюнхенский полицейский офицер. Штурмовые колонны двинулись в центр города. У большой казармы преградивший им дорогу отряд полиции дал залп. Убитые и раненые повалились на землю. Враг Гитлера Эрнст Оттвальт рассказывает даже (вероятно, сгущая краски), что на землю повалилась вся штурмовая колонна, вместе с Гитлером; на ногах будто бы остался один Людендорф, — «вокруг него был только воздух». Оттвальт также сообщает, что в своей речи Гитлер сказал: «Либо завтра в Германии будет национальное правительство, либо завтра мы умрем!» Конечно, Гитлер не умер, но, быть может, и не стоит попрекать человека фразой, которая в революционное время на митингах испокон веков так же употребительна и имеет такое же значение, как в письмах — «преданный вам» или «с совершенным почтением».

Людендорф был арестован тут же, Гитлеру удалось скрыться; его арестовали через три дня в Штаффельзее. В феврале 1924 года состоялся суд над виновниками восстания. Гитлер доказывал, что и фон Кар, и фон Лоссов были

всегда душой с ним. Генерал фон Лоссов в своем показании суду сообщил, что Гитлер действительно часто говорил с ним о событиях, но он, фон Лоссов, больше молчал. «Вначале всем известное увлекательное красноречие г. Гитлера произвело на меня сильное впечатление. Однако, чем чаще я его слушал, тем это впечатление становилась слабее...» Генерал весьма ясно дал понять, что под конец Гитлер «стал действовать ему на нервы».

Суд приговорил Гитлера к пяти годам крепости. Людендорф был оправдан, — баварские судьи проявили большую юридическую изобретательность в мотивировке оправдательного приговора. В действительности, конечно, им было просто неприятно — отправить в крепость человека, который в течение четырех лет был, вместе с Гинденбургом, идолом германского народа. Это понять можно. Очень скоро был выпущен на свободу и Гитлер, — сам он, вероятно, находясь у власти, расправился бы иначе с политическими врагами, поднявшими вооруженное восстание.

VII

Дело не удалось, но оно могло кончиться иначе. Момент был выбран удачно. Почти одновременно с мюнхенским делом германское правительство опубликовало свой бюджет на 31 октября. Государственные расходы по этому бюджету составляли 6 квинтиллионов 533 квадриллиона 521 триллион марок (биллионы не считались, как теперь не считаются пфенниги). Доход же выражался очень скромной цифрой: 53 квадриллиона 871 триллион. Теперь все это кажется глупым анекдотом. Но мы это видели и помним. От квинтиллионов и квадриллионов немцы тогда легко могли полезть на стену, могли короновать Гитлера, могли объявить войну Франции, не имея ни аэропланов, ни тяжелой артиллерии.

Престиж главы расистов очень пострадал от неудачи мюнхенского дела. Капитан Эрхардт прочел в Мюнхенском университете лекцию, в которой говорил о заговорческой неумелости Гитлера, — Эрхардту в этом вопросе, конечно, и книги в руки (сама возможность такой лекции, кстати сказать, довольно характерна, — вот как если бы у нас в 1906 году Московский университет пригласил Савинкова прочитать лекцию о причинах неудачи восстания на Пресне). Потом все понемногу успокоилось. Хладнокровие Штреземана (которого тогда громила за бездействие социалистическая печать) дало Германии возможность избежать

междоусобной войны. Исчезли квадриллионы и квинтиллионы, расистское движение стало спадать. Конечно, сам Гитлер, сидя в крепости, не предвидел, какой расцвет принесет его разбитой партии мировой кризис.

Рост ее в пору кризиса известен: всем памятни блестящие успехи расистов на выборах. Надо отдать должное организационному дару Гитлера. Агитация, которую он вел в последние годы, не имеет, я думаю, precedентов в истории: перед ней меркнет и большевистская агитация 1917 года. Скажу только, что в 1931 году расистская партия устроила в Германии 175 тысяч митингов; это составляет в среднем 485 митингов в день. Своим ораторам партия платит, и платит очень недурно. Оплачивает она и оркестры, и «штурмовые бригады», издает десятки газет, огромное количество литературы, устраивает смотры с переброской сотен тысяч людей по железной дороге. Расходный бюджет Гитлера определяется разное — от 200 до 500 миллионов франков в год!

«Chi paga?»

Этим вопросом «Кто платит?» в 1915 году итальянские социалисты неизменно встречали Муссолини и его сторонников, стоявших за вступление Италии в войну. Вопрос итальянских социалистов означал, что, по их мнению, платит Муссолини Франции, в тесной дружбе с которой его тогда обвиняли нынешние антифашистские гости Парижа.

Политическая агитация требует денег; совершенно безукоризненными способами достать для нее деньги трудно. Если государственный деятель не кладет их себе в карман, то больше от него в Европе обычно и не требуют. Наиболее чистой в этом отношении была политическая жизнь в России. Случаи подкупа большой газеты или известного политического деятеля у нас были исключительно редки. Теперь первое место занимает в мире Англия. Конечно, никому не могло бы прийти в голову предложить взятку Асквиту. Кэмпбелль-Баннерману, Бальфару или Болдвину. Но партии, к которым принадлежат названные лица, в значительной мере живут средствами, приближающимися по характеру к понятию взятки. Один Ллойд Джордж за деньги пожаловал титул лорда 28 чело-векам, титул баронета 134, титул «найта» 421. Это дало ему возможность составить для партии фонд в два с половиной миллиона фунтов. Ллойд Джордж никогда из своих методов секрета не делал и неизменно в ответ на упреки говорил, что без «партийных наград» не будет и партий, а без партий в Англии наступит хаос. Когда лорд

Розбери печатно попросил первого министра указать происхождение его денежного фонда, Ллойд Джордж любезно ответил, что с удовольствием это сделает, как только лорд Розбери сообщит, где он сам достал средства на свою избирательную кампанию 1895 года.

Адольф Гитлер не взяточник и не корыстолюбец, — в свой карман он денег не кладет. Напротив, он отдает в партийную кассу те огромные суммы, которые приносят ему его выступления на митингах: гонорары Гитлера превышают шалашинские; он не выступает, если устроители платного митинга не гарантируют сбора в пятнадцать тысяч марок. О сотрудниках его ходят легенды, — один из них будто бы приобрел в собственность кабинет убитого Ратенау! (Это весьма интересно и в чисто психологическом отношении.) Сам Гитлер живет просто и к богатству не стремится. Вопрос о происхождении его средств имеет не моральное, а политическое значение.

В Германии, да и в других странах, очень многие думают, что Гитлера снабжают деньгами иностранные державы. Если это верно, то какие? Выбор делался между двумя державами. Морис Лапорт напечатал документы, якобы свидетельствующие о том, что деньги расистам дают большевики. Он приложил даже к своей книге факсимиле с протокола таинственного заседания, будто бы происходившего, в заговорщической обстановке, на вилле «Рейтер» в Гармиш-Партенкирхене. В заседании приняли участие представители Гитлера и Сталина — среди последних известный Гольденштейн. Протокол составлен большевиками, на русском языке, с разными таинственными значками вроде: «Ино, по сектору А-7. Дл. 4». Принятое на заседании решение передается так: «По программе немцев (Ад.), им необходимо 1 800 000 марок в месяц. Поторговавшись, сошлись на 1 200 000 марок, согласно нашей инструкции. Запротоколировано — 5 милл. одновременно, до 16 августа и с 16 сентября по 1200 в месяц... Формула должна быть подписана впоследствии «Дядей» с нашей стороны и Адольфом с нем. стороны». Приложена также позднейшая немецкая расписка самого «Адольфа»: «200 штук (двести) получил. Зальцбург, 19 июня 1930, Адольф». Кто такой «Дядя», я не знаю. «Двести штук», по словам Лапорта, это двести тысяч долларов, «Адольф» же, конечно, Гитлер (он мог бы выбрать и менее прозрачный псевдоним. Расписка как расписка, факсимиле как факсимиле, значки как значки, но большого доверия эти документы мне не внушают: их подделать было много проще, чем их составить.

Нельзя, конечно, отрицать, что при благоприятно сложившихся обстоятельствах приход Гитлера к власти может быть выгоден большевикам: вдруг он, им на радость, в самом деле объявит войну Франции! Однако обстоятельства могут сложиться и неблагоприятно. До объявления войны Франции (или вместо него) Гитлер, по всей вероятности, расправится с немецкими коммунистами. Таинственны пути Коминтерна, но трудно поверить, что он сознательно готов принести в жертву всю германскую коммунистическую партию. Весьма маловероятно и согласие Гитлера на денежную поддержку большевиков.

Высказывалось в печати и другое предположение: деньги дает Италия. Тут выгоды насчет и сомнений быть не может. У Франции в настоящее время, в сущности, нет военных союзников, ибо каждое союзное с ней государство приблизительно уравнивается потенциальным противником этого государства: Польша — Советской Россией, Чехословакия — Венгрией и Австрией, Югославия — Болгарией. Нам незачем думать о перспективах столкновения Франции с германо-итальянским блоком. Как бы то ни было, доказательство того, что Италия оказывает денежную поддержку расистам, насколько мне известно, никто не привел. По словам Гирта, в Нюрнберге какая-то газета была приговорена судом к штрафу в пятьсот марок за сообщение о том, что Муссолини дает деньги Гитлеру; однако в мотивировке приговора было сказано, что редактору вменяется в вину это сообщение лишь постольку, поскольку оно касается лично Гитлера: если бы газета написала, что Муссолини дает деньги расистам, то редактор был бы оправдан. К сожалению, этот судебный процесс мне известен лишь по упоминанию у Гирта, и я не знаю, на каких фактах основана мотивировка приговора.

VIII

Недавно Вернер Стефан, путем сложных вычислений, доказывал, что Гитлер, в лучшем для него случае, может рассчитывать лишь на 35 процентов всех избирателей Германии. Не знаю, верен ли этот расчет. Если он верен, национал-социалисты не могут прийти к власти законным способом. Разумеется, вполне возможна такая коалиционная комбинация, при которой человек, имеющий за собой 35 процентов голосов рейхстага, получит министерскую

должность. Но зачем Гитлеру быть министром коалиционного правительства? К такой власти, повторяю, он мог бы прийти и более простым путем. Ведь он в самом деле «поднял Ахерон», — по любимой цитате политиков, получивших классическое образование. Никак не стоило поднимать Ахерон для того, чтобы уподобиться весьма многочисленным и весьма обыкновенным министрам, Ахерона не поднимавшим. Разные дороги ведут в фашистский Рим, но, очевидно, диктатура Гитлеру необходима. Карьера парламентского министра превратила бы его жизнь в малоинтересный анекдот.

Освальд Шпенглер, Боскюэт германской философии, сказал в свое время, что Карл Маркс умер. В блестящих страницах, посвященных идейной смерти Маркса, Шпенглер очень талантливо говорил о том, что сила марксизма была в его поверхностной общедоступности: именно благодаря ей рабочие всех стран мира говорят на языке Маркса и думают его понятиями. Мне кажется, Шпенглер говорил об этом не без зависти: ему и самому хотелось бы, чтобы десятки миллионов людей говорили на языке Шпенглера. «Мы, поздние люди Запада, мы стали скептиками. Над идеологическими системами мы не станем ломать голов. Программы принадлежат прошлому веку. Нам нужна твердость, нам нужен мужественный скепсис, нам нужен класс социалистических натур властелина... Социализм означает силу, силу и силу».

Я думаю, что Шпенглер до некоторой степени своей цели достиг. Над идеологической системой расизма никто, слава Богу, не станет ломать головы, и миллионы поклонников Гитлера всего менее в этом повинны. В его лице, пожалуй, явилась социалистическая натура властелина. Он говорит на языке Шпенглера, — я не уверен, однако, что все в речах Гитлера так уж нравится блестящему автору «Заката Европы».

Какой социализм будет осуществлять Гитлер, если достигнет настоящей власти, я сказать не берусь. Думаю, что никакого социализма осуществлять не будет: вычеркнуть несколько страниц из дешевой брошюры не так уж трудно, — хватит и оставшихся. Но эти оставшиеся страницы могут поставить его в очень трудное положение. Муссолини пришел к власти в стране, не потерпевшей военного разгрома: у Италии нет польского коридора. Ведь и по политическим векселям надо заплатить хоть копейку за рубль.

А Гитлер не может заплатить и копейки. История предоставила расизму выбор между анекдотом — и кровью.

Я знаю, теперь в Германии хитрые люди говорят с глобокомысленным видом: «Надо дать Гитлеру побывать у власти. Тогда немецкий народ, наконец, увидит...» и т. д. Хитрые люди говорили у нас, в 1917 году, то же самое о большевиках: «Пусть, наконец, русский народ увидит...» Конечно, это говорили десять лет тому назад и левые итальянцы о фашистах. Два раза еще можно было сделать одну и ту же глупость, — в третий раз она рискует стать скучноватой. От 35 процентов до 51 процента расстояние не так далеко, — особенно если выборами будут руководить мастера выборного дела.

Гете сравнивал историю человечества с фугой, в которой разным народам последовательно принадлежит «ведущий голос». Ведущий голос может и фальшивить: на целых периодах в жизни того или другого народа человечество, бывает, учится: вот как не надо делать историю! В настоящее время «мы, поздние люди Запада», должны с особым вниманием присматриваться к немецкой политике. Веймарская конституция установила в Германии «самую совершенную демократию в мире». Теперь возникает вопрос, даст ли самая совершенная демократия себя съесть — хотя бы и самым совершенным демократическим способом.

СТАЛИН

I

Разгром революции 1905 года был тяжелым ударом для большевиков. Из всех планов Ленина не вышло ровно ничего — потерпели крушение и его теоретические идеи, и его практические замыслы.

В таких случаях обычно во всем мире происходит так называемая переоценка ценностей. Тем более следовало бы ей произойти в политических условиях России: переоценка ценностей (неизменно начинающаяся с переоценки людей) была испокон веков любимейшим занятием русской интеллигенции. Однако большевики и в этом случае составили исключение: несмотря на свое жестокое поражение, Ленин как был партийным божеством, так партийным божеством и остался.

Надо ли говорить, что самому Ленину не пришлось в голову заняться пересмотром своей доктрины: его доктрина ошибаться не могла. Но несколько практических уроков из революции 1905 года Ленин, несомненно, извлек. Один из его выводов заключался в том, что материальные средства, с которыми завязала борьбу партия, были чересчур ничтожны.

Вопрос о средствах в политических партиях всегда был неприятным вопросом. Но в прежние времена на Западе он разрешался относительно просто. Когда у германских социал-демократов не хватало в партийной кассе денег, Parteivorstand¹, после основательных размышлений и кропотливых подсчетов, обращался к бесчисленным геноссам с мотивированным предложением сделать в кассу единовременный и экстраординарный взнос в размере, скажем, восьмидесяти пяти пфенигов с ревизской партийной души, и геноссы вносили деньги в твердой — совершенно справедливой — уверенности, что фатер Бебель не стал бы требовать восемьдесят пять пфенигов, — если б можно было

¹ Партийный представитель (нем.).

обойтись восьмьюдесятью. Когда не хватало денег у английских консерваторов, лидер партии отправлялся к герцогу Нортумберландскому или к графу Дарби и привозил нужную сумму. Теперь дело и на Западе стало значительно сложнее. В Германии партийные взносы взыскиваются далеко не без труда. В Англии Ллойд Джордж открыл в партийной лавочке беспатентную продажу титулов. Герцоги стали беднее, да и жертвуют они, в нынешней запутанной обстановке, часто не на то, на что им следовало бы жертвовать. Теперь в каждой стране существуют такие герцоги — и особенно такие герцогини, — которые в меру сил субсидируют предприятия, специально занимающиеся разрушением государства. <...>

В России таких герцогов — разных, разумеется: земельных¹, нефтяных, чайных, сахарных, полотняных — при самом строе было довольно много. История большевистской кассы никогда не будет написана. Жаль: это была бы книга занимательная во всех отношениях — в историческом, в бытовом, в психологическом. Кто только не давал денег большевикам?! Не решаюсь утверждать, но, по некоторым моим соображениям, линия одного из крупных взносов в кассу будущих екатеринбургских убийц ведет к детям людей, обязанных своим богатством щедротам Александра III. Мотивы у разных жертвователей были, конечно, разные. Большинство давало потому, что «как же не дать?». Давал Максим Горький, — он, вероятно, сочувствовал, да и очень уж шумно в ту пору реял над Россией «буревестник, черной молнии подобный». Савва Морозов субсидировал большевиков оттого, что ему чрезвычайно опротивели люди вообще, а люди его круга в особенности. Н. Г. Михайловский-Гарин тоже их поддерживал, ибо он, милый, вечно юный Тема Карташев, никому не мог отказать, когда были деньги: он отвалил 25 тысяч большевикам на социальную революцию, как бросал деньги цыганкам в Стрельне на счастье или саратовскому самородку на изобретение *perpetuum mobile*. «Широк русский человек, я бы сузил», — сказал, кажется, Достоевский.

Другие русские партии существовали преимущественно на средства, которые жертвовались примыкавшими к ним богатыми людьми. У большевиков это было не в обычае. Во

¹ В прошлом году И. Л. Горемыкин сказал мне «Это недурно, что усадьбы жгут. Надо потрепать дворянство. Пусть оно подумает и перестанет работать в пользу революции» (Дневник А. С. Суворина, 17 июня 1907 г.)

всяком случае, большевики и близкие им значительных сумм собрать не могли, так как в громадном большинстве были чрезвычайно бедны. Сам Ленин жил с семьей в одной нищенски обставленной комнате. Троцкий в своих воспоминаниях юмористически описывает, как он однажды в Париже отправился в оперу — в ботинках, уступленных ему Лениным.

II

Рокамболь знал тридцать три способа добывания денег. Ленин для обогащения партии пустил в ход только три, но зато каждый из них сделал бы честь Рокамболу.

Первый способ был старый, классический, освященный традицией, которая через века идет от предприимчивых финикийян к князю Виндишгрецу и его соучастникам. Способ этот заключался в подделке денег. Первоначально была сделана попытка организовать печатанье фальшивых ассигнаций в Петербурге при содействии служащих Экспедиции изготовления государственных бумаг. Но в последнюю минуту служащие, с которыми велись переговоры, отказались от дела. Тогда Ленин перенес его в Берлин и поручил, в величайшем от всех секрете, «Никитичу» (Красину). Однако маг и волшебник большевистской партии, так изумительно сочетавший полное доверие Ленина с полным доверием фирмы «Сименс», оказался на этот раз на высоте своей репутации. Или, вернее, на высоте своей репутации оказалась германская полиция. Раскрытое ею дело вызвало в ту пору немало шума. «Спрашивается, как быть с ними в одной партии? Воображаю, как возмущены немцы», — с негодованием писал в частном письме Мартов. Чичерин (в ту пору еще большевик) потребовал назначения партийной следственной комиссии. Ленин охотно согласился на строжайшее расследование дела, — организованного по его прямому предписанию. Глава партии имел основание рассчитывать, что концы прекрасно спрятаны в воду. Однако Чичерин неожиданно проявил способности следователя. Заручившись серией фотографий своих товарищей по партии, он представил их тому немцу, которому была заказана бумага с водяными знаками, годная для подделки ассигнаций. «При предъявлении фабриканту карточки Л. Б. Красина он признал в нем то лицо, которое заказало ему бумагу с водяными знаками... Когда расследование Чичерина добралось до этих «деталей», Ленин встрепенулся и провел в ЦК

постановление о передаче расследования заграничному бюро ЦК, в котором добытые Чичериным материалы, разумеется, бесследно погибли»¹.

Второй способ, изобретенный Лениным для пополнения партийной кассы, был гораздо менее банален. Скажу о нем лишь весьма кратко: Ленин поручил своим товарищам по партии жениться на двух указанных им богатых дамах и передать затем приданое в большевистскую кассу. Дело было сделано артистически: оба большевика благополучно женились, но заминка вышла после свадьбы: один из счастливых мужей счел более удобным деньги оставить за собою. Забавно то, что по делу этому состоялся суд чести; рассказ о нем я слышал от одного из судей, не большевика, человека весьма известного и безупречного. Впрочем, независимо от суда Ленин довольно недвусмысленно грозил, в случае неполучения денег, подослать убийц к не оправдавшему его доверия товарищу. Об этом глухое указание (вполне совпадающее со слышанным мною рассказом) есть в изданных не так давно письмах Мартова². Краткое, зато весьма живописное упоминание обо всей этой истории сохранилось и в рассказе самого Ленина. В. Войтинский в своих воспоминаниях пишет: «Рожднов передавал мне, что однажды он обратил внимание Ленина на подвиги одного московского большевика, которого характеризовал как прожженного негодяя. Ленин ответил со смехом:

— Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый»³.

В результате суда Ленин получил немалую сумму денег. Но матримониальный способ пополнения кассы был, разумеется, лишь вспомогательным. Главное свое внимание вождь большевиков после провала первой революции устремил на то, что тогда игриво называлось «эксами» или «экс-акциями» (в брошюрах того времени часто употребляется и

¹ М Таинственный незнакомец // Соц вестник 1922 № 16 На сколько мне известно, заметка эта, подписанная буквой М принадлежит Мартову, который хорошо знал закулисные дела большевиков

² « Этот Виктор под покровительством Богданова и Ленина шантажом вымогал деньги в пользу большевиков, причем оперировал угрозой выписать «кавказских боевиков» (письмо Аксельрода от 3 сентября 1908 г)

³ Вл Войтинский Годы побед и поражений Т 2 С 103 Это замечание Ленина, конечно, относится именно к указанному мною случаю

глагол «экспериментировать»). В этой области ближайшим сотрудником и правой рукой Ленина стал уже в ту пору весьма известный кавказский боевик, по революционной кличке «Коба», он же «Давид», он же «Нижерадзе», он же «Чижигов», он же «Иванович», он же нынешний всемогущий русский диктатор Иосиф Виссарионович Сталин-Джугашвили.

III

Мне крайне трудно объективно писать о большевиках. Скажу, однако, тут же: это человек выдающийся, бесспорно, самый выдающийся во всей ленинской гвардии. Сталин залит кровью так густо, как никто другой из ныне живущих людей, за исключением Троцкого и Зиновьева. Но свойств редкой силы воли и бесстрашия я, по совести, отрицать в нем не могу. Для Сталина не только чужая жизнь копейка, но и его собственная — этим он резко отличается от многих других большевиков.

Как большинство современных диктаторов, он вышел из «низов». Мустафа-Кемал родился в очень бедной семье. Стамбульский вырос в избе пастуха. Отец Муссолини был кузнецом. Мать Энвера мыла трупы в мертвецкой. Талаат попал в великие визири из почтальона. Иосиф Сталин — сын тифлисского сапожника. Многие считают его осетином. Это неверно — он коренной грузин.

Люди, когда-то к нему близкие, говорили мне, что он прошел в юности очень суровую школу бедности и лишения, что он вырос среди тифлиских «кинто», от которых приобрел свойства грубости и циничного остроумия. Политическая биография Джугашвили начинается с тифлисской семинарии; в нее отдал его отец, готовивший сына к духовному званию. Сталин — священник!.. Из семинарии он был исключен за неблагонадежность девятнадцати лет от роду. В том же (1898) году он вступил в Российскую социал-демократическую партию и был последовательно членом Тифлисского, Батумского, Бакинского комитетов, редактировал разные партийные издания («Борьба пролетариата», «Дро», «Бакинский рабочий»), написал несколько марксистских книжек. К большевистской фракции он примкнул с самого момента раскола в среде социал-демократов и очень скоро стал признанным главой немногочисленных кавказских большевиков. Шесть раз его арестовывали и шесть раз отправляли в ссылку на поселение: в Восточную Сибирь (1903 г.), в Сольвычегодск (1908 г.), снова в Сольвыче-

годск (1908 г.), в Вологду (1911 г.), в Нарымский край (1912 г.) и в Туруханский край (1913 г.). Из всех этих мест (за исключением последнего) он бежал, не засиживаясь долго, чаще всего через месяц-другой по водворении на жительство. Жизнь Сталина поистине может служить уроком смирения для деятелей департамента полиции. Хороша была ссылка, из которой человек мог бежать пять раз. Недурно было и то, что Сталина мирно отправляли в ссылку. В вину ему департамент полиции вменил какую-то «маевку», устройство уличных демонстраций, нелегальные издания, руководство экономической забастовкой на батумских предприятиях Ротшильдов, что-то еще в таком же роде. Эти тяжкие преступления должны были вызывать усмешку у людей, знавших настоящую работу Сталина.

Он был верховным вождем так называемых боевиков Закавказья. Я не знаю и, кажется, никто, кроме самого Сталина, не знает точно, сколько именно «эксов» было организовано по его предначертаниям. Высшим партийным достижением в этой области была памятная экспроприация в Тифлисе, обеспечившая большевистской партии несколько лет полезной работы.

13 июня 1907 года, в 10½ часов утра, кассир Тифлисского отделения Государственного банка Курдюмов и счетовод Головня получили на почте присланную отделению из столицы большую сумму денег¹ и повезли ее в банк в фаэтоне, за которым следовал другой фаэтон с двумя вооруженными стрелками. Оба экипажа были окружены казачьим конвоем. В центре города вблизи дворца наместника, когда передние казаки конвоя свернули с Эриванской площади на Сололакскую улицу, с крыши дома князя Сумбатова в поезд был брошен снаряд страшной силы, от разрыва которого разлетелись вдребезги стекла окон на версту в округе. Почти одновременно в конвой с тротуаров полетело еще несколько бомб и какие-то прохожие открыли по нему пальбу из револьверов. На людной площади началось смятение, перешедшее в отчаянную панику. Что произошло с деньгами, никто из очевидцев толком следствию объяснить не мог. Кассир и счетовод были выброшены из фаэтона первым же снарядом. Лошади бешено понесли уце-

¹ Современные большевистские источники и устная традиция говорят о 250 тыс рублей. Но русские газеты того времени («Новое время» 1907 14 июня) называют и другую цифру — 341 тыс. Это те самые 500-рублевые ассигнации под литерой АМ, № 62900 и след., при размене части которых был арестован в Париже «папаша» (Литвинов).

левший чудом фаэтон. На другом конце площади высокий «прохожий» ринулся наперерез к мчавшимся лошадям и швырнул им под ноги бомбу. Раздался новый оглушительный взрыв — и все исчезло в облаке дыма. Один из свидетелей видел, однако, что человек в офицерском мундире, проезжавший на рысак по площади, соскочил с пролетки, бросился к разбитому дымящемуся фаэтону, схватил в нем что-то и умчался, паля наудачу из револьвера по сторонам.

В этом знаменитейшем из «эксов» было убито и ранено около 50 человек. Деньги найдены не были, полиция никого не схватила, и следствие ничего не выяснило. Теперь мы знаем, что тщательная слежка за деньгами велась большевиками еще из столицы. В Тифлисе около почты за кассиром следили две женщины (Пация Голдава и Аннета Суламлидзе), которые и подали условный сигнал отряду экспроприаторов, дожидавшемуся в ресторане «Тилипучури». Человек, переодетый офицером, был известный Петросян, ученик и помощник Сталина, прозванный им Камо¹. Он упрятал деньги в такое место, которое едва ли могло вызвать подозрения самой лучшей в мире полиции: кредитные билеты были заделаны в диване заведующего Кавказской обсерваторией! Чем не Рокамболь?

Роль Сталина в тифлисской экспроприации до сих пор в подробностях не выяснена. По одной версии, именно он бросил в поезд первый снаряд. Но это едва ли верно: Сталин занимал уже тогда слишком высокое положение в партии для того, чтобы исполнять роль рядового террориста. По-видимому, ему принадлежало высшее руководство делом. Бомбы же для экспроприации были присланы из Финляндии самим Лениным². Ленину, для нужд партии, и были позднее отвезены похищенные деньги. Ни Сталин, ни Камо, в отличие от многих других экспроприаторов, не пользовались «эксами» для личного обогащения.

Что и говорить, мы, европейцы, за последние столетия несколько отвыкли от государственных деятелей этого рода.

¹ Петросян, плохо говоривший по-русски, спрашивал, получая поручения от Сталина «Камо отвезти? Камо сказать?»

² С Медведева-Тер-Петросян в своей брошюре «Герой революции» (Испарт, 1925) пишет «Под видом офицера Камо съездил в Финляндию, был у Ленина и с оружием и взрывчатыми веществами вернулся в Тифлис» (с 31). О роли Сталина в этом деле писал в свое время «Социалистический вестник» — См об «эксах» также старые брошюры Л Мартова «Спасатели или упразднители» (1911) и Л Каменева «Две партии» (1911). Ленин не раз выступал печатно с принципиальной защитой экспроприаций

Однако ведь были времена, когда в Европе власть почти всегда принадлежала таким людям — как она принадлежит им и теперь на огромных внеевропейских территориях. В настоящее время в России к правителям предъявляются весьма пониженные требования в отношении «casier judiciaire»¹. Это, разумеется, не всегда так будет. Но я боюсь, что это так будет еще довольно долго.

IV

В ту пору Кавказом полновластно управлял престарелый граф Илл. Ив. Воронцов-Дашков. «Новое время», которое вело чрезвычайно резкую кампанию против наместника, обвиняло его в либерализме и в тайных симпатиях к партии «Народной свободы». Граф Воронцов-Дашков, как почти все политические деятели, получившие воспитание в царствование Николая I, как и сыновья этого императора, был действительно настроен либерально — разумеется, в тех пределах, в которых это было возможно в его положении. Меньшиков иронически называл наместника «сверхгрансеньором» — и в этом тоже была правда. Грансеньорство Воронцова-Дашкова сказывалось с особенной силой в том, что ему ни от кого ничего не было (да и не могло быть) нужно. Он был кавалером Андрея Первозванного, отказался от княжеского титула, который ему предлагали Александр II и Александр III. Самую должность наместника, со всеми ее царскими прерогативами, он принял как бы в виде личного одолжения царю. По должности ему полагались на представительство огромные суммы (кажется, в последнее время до 60 000 рублей в месяц). Он ими не пользовался, говоря, что имеет возможность «накормить щами своих гостей на собственный счет». И в самом деле, Воронцов-Дашков мог потратиться для гостей на щи — его состояние, включавшее в себя исторические богатства Шуваловых, Воронцовых-Дашковых и князей Воронцовых, оценивалось в двести миллионов. На Кавказе Воронцов-Дашков пользовался огромной популярностью, в особенности у армянского населения. Грузины и татары относились к нему менее тепло, именно вследствие его репутации армянофила. Собственно, репутация эта не отвечала истине: Воронцов-Дашков сам говорил видным армянским общественным деятелям, что он и к армянам, и к татарам одинаково равнодушен, а

¹ Сведения о судимости (фр.).

в политике своей руководится исключительно интересами России. По отзыву людей, близко его знавших, это был человек умный, сдержанный и «с холодком». «Самый умный из всех государственных людей России», — говорил мне о нем весьма известный кавказский политический деятель (левый), близко его знавший. «Русский Рейнеке-лис» — называли Воронцова-Дашкова грузинские социал-демократы. Политика наместника была действительно своеобразна и нередко повергала в изумление Петербург. Так, перед приездом Николая II в Тифлис Воронцов-Дашков взял слово с главарей «Дашнакцутюна», что на жизнь государя не будет покушения. Покушения действительно не было. Этот способ действия, конечно, нельзя признать банальным. Воронцов-Дашков после цареубийства 1 марта имел в течение некоторого времени тесное отношение к постановке дела охраны царя. Позднее, в должности министра двора, он был близким свидетелем ходынской катастрофы. По-видимому, жизненный опыт поселил в нем глубочайшее недоверие к полиции. В пору кровавого татаро-армянского столкновения он поручил поддержание порядка третьей, нейтральной, национальности — грузинам — и передал значительное количество оружия вождям грузинской социал-демократии. Это тоже было довольно своеобразно. Есть некоторые основания предполагать, что покойный Чхеидзе прошел в Государственную Думу при негласной, косвенной, ему самому неизвестной поддержке Воронцова-Дашкова. Наместник не грешил симпатиями к социализму; но в меньшевиках он видел опору против большевиков, с одной стороны, и против сепаратистов — с другой. Этот оригинальный государственный модернизм Воронцова-Дашкова вызывал сильное озлобление в правительственных кругах Петербурга. В частности, не выносил «тифлисского султана» П.А. Столыпин, который модернизма терпеть не мог, твердо верил в Охранное отделение и в военные суды и не раз тщетно пытался наложить на Кавказ свою тяжелую руку. Воронцов-Дашков равнодушно относился к газетной «кампании какого-то Меньшикова». Возможно, что и председатель Совета министров был для него «какой-то Столыпин», — он из русских государственных деятелей признавал только Витте, да еще — из «молодежи» — графа Коковцова. Нельзя не сказать, что выстрел Дмитрия Богрова придал силу позиции наместника в его вражде со Столыпиным.

Отнюдь не будучи человеком мягким и сентиментальным, Воронцов-Дашков не верил в устрашающее действие казней в стране ингушей, чеченцев, кабардинцев и шапсу-

гов. Во что он, собственно, верил, сказать много труднее. Его кавказская политика напоминала политику культурных и просвещенных проконсулов, — но проконсулов времен упадка Римского государства. Вероятно, Воронцов-Дашков любил Кавказ — в этот край, едва ли не самый прекрасный в мире, нельзя не влюбиться тому, кто хоть раз его видел. Но к многим кавказским политическим деятелям «русский Рейнеке-лис», в молодости сражавшийся с Шамилем, по-видимому, относился с весьма благодушной иронией. Он старался подсовывать им такие вопросы, из-за которых на Кавказе разгорались относительно мирные страсти и вместо рек крови лились моря чернил. Кажется, Французская революция не вызвала в мире таких идейных бурь, как на Кавказе вопрос об административном переделе уездов или о постройке Тифлисского политехникума, — о том, где ему быть, в грузинской ли части города Вери или в армянской Авлабарь. Возможно, что гамлетовские настроения были не чужды натуре наместника. Однако этот Гамлет с тремя Георгиевскими крестами нисколько не страдал и безволием. В Воронцове-Дашкове была медлительность любимых героев Толстого, с некоторой, однако, — весьма существенной — разницей: он совершенно не верил в то, что все «образуется». Напротив, как почти все умнейшие государственные люди императорской России, Воронцов-Дашков был, по-видимому, в глубине души убежден, что все строится на песке и все пойдет прахом. С казнями и без казней пойдет прахом — так лучше без казней. Воронцов-Дашков умер за несколько месяцев до революции. В 1915 году царь собственноручным письмом просил его освободить должность для великого князя Николая Николаевича. В своем ответном письме Воронцов-Дашков говорил Николаю II, что дело уже идет не о должности наместника и даже не о Кавказе, а о спасении Русского государства. С полной готовностью подавая в отставку, он на прощанье советовал царю ввести конституционный образ правления и дать стране ответственное перед Думой министерство.

V

Я не хочу сказать, что именно политике Воронцова-Дашкова было суждено умиротворить кавказский край. Но некоторое значение в победе государственных элементов над анархическими эта политика, вероятно, имела. Большевики потерпели на Кавказе полное поражение. У трех глав-

ных национальностей края установилась прочно система единой партии. Разумеется, политическая монополия меньшевиков в Грузии, в качестве «политической надстройки» над ее «экономическим базисом», представляет собой один из самых забавных парадоксов марксизма. В этой чудесной стране, — как будто не слишком перегруженной заводами, — процент «социал-демократов» неизмеримо выше, чем в Германии. На Кавказе есть марксисты не только в культурных центрах Грузии или Азербайджана, но и в глухих горных аулах. У некоторых из этих «социал-демократов» не всегда разберешь, где кончается Маркс и где начинается Шамиль. Но даже из них по пути, указанному Лениным, пошло лишь ничтожное меньшинство.

Вожди большевиков покинули Кавказ. Камо перебрался в Берлин, где занялся новым полезным делом: он решил явиться к банкиру Мендельсону с тем, чтобы убить его и ограбить (разумеется, в пользу партии); по представлению Камо такой богач, как Мендельсон, должен был всегда иметь при себе несколько миллионов. Однако германская тайная полиция заинтересовалась кавказским гостем с самого его приезда в столицу. У него был произведен обыск, при котором нашли чемодан с бомбами. По совету Красина, переславшего ему в тюрьму записку через адвоката, Камо стал симулировать буйное умопомешательство — и притворялся помешанным четыре года! Германские власти под конец сочли полезным выдать этого сумасшедшего русскому правительству. Признанный тифлисскими врачами душевнобольным, Камо был переведен в психиатрическую лечебницу, откуда немедленно бежал — разумеется, в Париж, к Ленину, которого он по-настоящему боготворил. «Через несколько месяцев, — рассказывает большевистский биограф, — с согласия Владимира Ильича, Камо уехал обратно в Россию, чтобы добывать денег для партии». Добыть деньги для партии предполагалось на этот раз на Каджорском шоссе, по которому провозилась почта. Каджорское дело оказалось менее «мокрым», чем тифлисское: экспроприаторы убили всего семь человек. Но самого Камо постигла неудача: схваченный казаками, он был приговорен военным судом к смертной казни. Прокурор суда Галицинский проникся жалостью к этому темному фанатику. Близилось трехсотлетие дома Романовых. Вероятно, не без ведома графа Воронцова-Дашкова, Галицинский оттянул исполнение приговора до манифеста. Казнь была заменена Камо 20-летней каторгой. После октябрьского переворота он работал сначала в Чрезвычайной комиссии, затем в ты-

лу белой армии. По некоторым намекам в большевистской литературе можно предположить, что ему было поручено важное террористическое предприятие. Камо погиб случайно в Тифлисе, раздавленный на Верейском спуске автомобилем.

Карьера Сталина между первой и второй революциями оказалась менее бурной. За свои политические действия он был исключен из социал-демократической партии ее Закавказским комитетом. Сталин вскоре покинул Грузию и долгие годы работал в России — в разных большевистских организациях. Его нынешнее влияние осведомленные люди объясняют отчасти тем, что партийцам всей России хорошо знаком этот вождь, никогда не бывший эмигрантом.

Затем началась «проклятая империалистическая бойня», которая, по тысячу раз повторенным заверениям большевиков, «повергла в ужас и отчаяние вождей мирового пролетариата». В действительности бойня эта была для них неожиданно привалившим неслыханным счастьем. Ленин писал Горькому в январе 1913 года: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятно, чтобы Франц-Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие»¹.

Во время войны Сталин находился в ссылке. Он прибыл в Петербург после революции и сразу оказался ближайшим помощником Ленина. Роль Сталина была, однако, не показательной. Показную роль играли вначале Зиновьев, а потом Троцкий.

VI

У Троцкого идей никогда не было и не будет. В 1905 году он свои откровения взял взаймы у Парвуса, в 1917 году — у Ленина. Его нынешняя оппозиционная критика — общие места эмигрантской печати. С «идеями» Троцкому особенно не везло в революции. Он клялся защищать Учредительное собрание за два месяца до того, как оно было разогнано. Он писал: «Ликвидация государственного спаиванья народа вошла в железный инвентарь завоеваний революции»² — перед восстановлением в сов. России казенной продажи вина. Но в большом актерском искусстве, как

¹ Ленинский сборник. Т. 1. С. 137.

² Л. Троцкий. Водка, церковь и кинематограф. С. 43.

в уме и хитрости, Троцкому, конечно, отказать нельзя. Великий артист — для невзыскательной публики. Иванов-Козельский русской революции.

Вся Октябрьская революция была, так сказать, бенефисом Троцкого. По крайней мере, он, говоря о ней в ту пору и впоследствии, неизменно держал себя как «бенефициант», — как бенефициант подчеркнуто-скромный и растроганно-тактичный. Он взволнованно раскланивался с современниками и историей, взволнованно принимал букеты и часть их передавал другим участникам спектакля, заботливо выбирая для этого букетики похуже и участников побездарней. В своих книгах, посвященных Октябрю 1917 г.¹, Троцкий отечески расхвалил самых серых революционеров, принимавших участие в перевороте, — вплоть до фельдшера Лазимира, вплоть до какого-то матроса Маркина. Более видных людей он старательно оставил в тени. Разумеется, Ленина никак нельзя было обойти молчанием — льстивовоковарная книга Троцкого о Ленине достаточно известна. Но о Сталине Троцкий совершенно забыл упомянуть — Сталину ни малейшего букетика не досталось. Двухтомный труд Троцкого о 1917 году украшен портретами Свердлова, Иоффе, Антонова-Овсеенко, Подвойского, Крыленко, — портрет Сталина так и не попал в книгу. Между тем роль нынешнего диктатора в Октябрьской революции была чрезвычайно велика: он входил и в «пятерку», ведавшую политической стороной восстания, и в «семерку», ведавшую стороной организационной.

Как бы то ни было, с первых месяцев революции эти два человека — несомненно, наиболее выдающиеся в большевистской партии — пошли каждый своей дорогой. Троцкий и в дальнейшем приискивал для себя бенефисные роли. До заключения мира с немцами наиболее выигрышным и эффектным постом в советском правительстве была должность министра иностранных дел. Она досталась Троцкому, и он «на глазах у всего цивилизованного мира» разыграл Брестское представление, закончив спектакль коленцем, правда, не вполне удавшимся, зато с сотворения мира невиданным — «войну прекращаем, мира не заключаем». С началом гражданской войны самой бенефисной ролью стала роль главнокомандующего Красной Армией. Троцкий оказался военным комиссаром, председателем Реввоенсовета, русским Карно и «электризатором революции». Какова бы-

¹ Он заботливо издал все, что писал в 1917 году: свои речи, статьи, заметки, прокламации, телеграммы — все.

ла его действительная роль в гражданской войне, сказать в настоящее время трудно. После первого разрыва с Троцким большевики (то есть Сталин) опубликовали несколько документов, из которых как будто неопровержимо следует, что эта была довольно скромной и что «красный Наполеон» далеко не всегда вел себя по-наполеоновски. История этот вопрос (в отличие от большинства других) сумеет выяснить точно. Во всяком случае, для легенды Троцким было сделано все возможное. Он «прошел курс Академии Генерального штаба», ездил в царском поезде с вагоном-типографией, возил на фронт Демьяна Бедного и даже орден ему пожаловал — «отважному кавалеристу слова» (кто же мог предвидеть со стороны кавалериста слова такую черную неблагодарность?). На всех решительных фронтах он произносил пламенные речи. Каждая его речь была непременно с «восклицаниями». От Троцкого останется десять тысяч восклицаний — все больше образные. После покушения Доры Каплан он воскликнул: «Мы и прежде знали, что у товарища Ленина в груди металл!» Где-то на Волге, в Казани или в Саратове, он в порыве энтузиазма прокричал «глухим голосом»: «Если буржуазия хочет взять для себя все место под солнцем, мы потушим солнце!» Галерка редела от восторга, как некогда на спектаклях Иванова-Козельского. При всем своем актерстве Троцкий не подделывается под публику — он не умеет говорить иначе. Впрочем, так говорят иные талантливые ораторы и не в Саратове. Покойный Вивiani, например, тоже был мастер на восклицания: «*La France marchant la tête plus haut que les étoiles...*»¹ Анатолий Франс от его образов затыкал уши, но в «нижнем этаже французской культуры этот блеск второго сорта имел шумный успех. Троцкий вдобавок — «блестящий писатель», — по твердому убеждению людей, не имеющих ничего общего с литературой. Никто не умел лучше, чем он, разоблачать в статьях «империалистическое копыто г. Милюкова»; никто так эффектно не предписывал «сэру Бьюкенену»: «Потрудитесь убрать ноги со стола». Троцкому в совершенстве удаются все тонкости ремесла: и «что сей сон означает?», и «унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла», и «тенденция, проходящая красной нитью», и «победить или умереть!». Клише большевистской типографии он умеет разнообразить стопудовой иронией: «В тех горных сферах, где ведутся приходе-расходные книги божественного промысла, решено было в известный мо-

¹ «Франция шла вперед, задрав голову выше звезд » (фр)

мент перевести Николая на ответственный пост отставной козы барабанщика, а бразды правления вручить Родзянке, Милюкову и Керенскому» (Соч. Т. 3. С. 22).

В последние годы Троцкий, видимо, ослабел и вел себя значительно ниже своей репутации ловкого человека. За самыми горделивыми его позами следовали самые униженные покаяния. Ему явно изменила основная способность революционера — умение рассчитывать свои и вражеские силы. На чью поддержку он надеялся? Сойдет ли навсегда со сцены освищенный актером? Троцкий всю свою жизнь прожил перед зеркалом, для исторической галерки. Если он когда-либо покончит с собой или погибнет «на баррикаде» («баррикаду» он склонял во всех падежах тридцать лет), это тоже будет сделано для галерки — для того биографического труда, который о нем напишет Клара Цеткин 27-го столетия.

Перед зеркалом проводят дни разные люди — часто очень талантливые. Но поэтам, артистам легко так жить. Воевать перед зеркалом гораздо менее удобно, и на боевых постах обычно имеют успех люди, на зеркало не оглядывающиеся. Таков был Ленин. Таков и нынешний всероссийский диктатор.

Сталин, в отличие от Троцкого, не играл бенефисных ролей. В течение четырех лет он был народным комиссаром по делам национальностей — должность, впоследствии упраздненная за полной ее ненужностью. Побывал и главой Рабоче-Крестьянской инспекции — этот пост, вероятно, в том же роде: неудобно ведь Сталину контролировать Сталина. Как ближайший сотрудник Ленина, он мог, конечно, получить более выигрышные должности. По-видимому, основная мысль Джугашвили заключалась в том, что в условиях большевистской революции дело не в государственных постах, а в партийном аппарате. Сталин стал членом Политбюро еще в мае 1917 года; позднее он прошел в Секретариат Центрального Комитета и наконец оказался генеральным секретарем РКП. Это дало ему возможность убрать с самых блистательных постов и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева. Не помешало Сталину даже завещание Ленина — загробное письмо ревизора. Ленин его назвал¹ «грубым человеком, нетерпимым в должности генсека». Однако с должности этой его при жизни не убрал. Почему? О нынешних своих противниках сам Сталин сказал: «Вы слышали здесь, как старательно ругали оппозици-

¹ Ленин же назвал его и «чудесным грузином»

онеры Сталина. Объясняется это тем, что Сталин, быть может, знает лучше, чем другие, все плутни оппозиции». Сталин не «вдохновенный оратор» и не «блестящий писатель» — вероятно, он на это и не претендует. Но диктаторское ремесло он понимает недурно. Я отнюдь не считаю его новым Наполеоном. Роль Сталина в большевистской революции в последнем счете, почти наверное, окажется не слишком выигрышной. Как поведет он себя «на финише», очень трудно сказать. Чего именно не хватает Сталину? Культуры? Не думаю: зачем этим людям культура? Их штамповальный мыслительный аппарат работает сам собою — у всех приблизительно одинаково. «Теоретиков» Сталин всегда найдет сколько угодно, чего бы он ни захотел. Знает ли он только сам, чего именно он хочет?

Та линия, по которой он, вначале не без колебаний, шел к захвату власти над партией, была, по-видимому, правильной. Я говорю: по-видимому, так как все-таки дело еще не решено окончательно. Фокус Колумбова яйца после Колумба могли усвоить другие — и пост Генерального секретаря Коммунистической партии не является, в конце концов, пожизненным. При некотором счастье роль главы оппозиции может оказаться очень выгодной. «Только мертвые не возвращаются», — сказал знаменитый деятель того термидора. Сталин, вероятно, понимает, что ветер в современной России меняется часто и что при первой перемене ветра почти вся его свора (за редким исключением, вроде блаженного Бухарина, коммунистического Пфуля) с полной готовностью переметнется к Троцкому. Признаюсь, я «с захватывающим интересом» жду: что сделает Сталин в этом трудном экзамене на трудную историческую роль?¹

VII

— Но их идеи? Ведь за каждым из них стоят определенные социальные группы? Да, идеи, социальные группы...

Жорес говорил, что философия истории Карла Маркса представляет собою сочетание гениальной интуиции с детской наивностью: всецело поглощенный идеей борьбы классов, Маркс проглядел за ней борьбу партии в преде-

¹ Это было написано в пору борьбы между Сталиным и Троцким. Последовавшую вскоре затем ссылку Троцкого в Верный должно признать весьма неблагоприятным поступком: от Верного до Москвы все же лишь несколько дней пути.

лах одного класса и борьбу личностей в пределах одной партии. Жорес объяснял это тем, что Марксу не приходилось наблюдать вблизи, как в министерских кабинетах и в кулуарах парламентов творится настоящая практическая политика.

Разумеется, социологи-марксисты совершенно неуязвимы в отношении этого критического указания и «поверхностной критики» вообще. Они, как известно, глядят глубже, в самый корень. «Кто — как мудрый и кто понимает значение вещей? — сказал царь Соломон. — Сердце мудрого знает и время, и устав». Марксисты все знают: и устав, и время, и значение вещей. При некотором навыке для каждой партии, для каждой фракции, даже для каждого отдельного деятеля легко подобрать соответствующую «классовую подоплеку». Нет, например, ничего проще, чем уложить в термины классовой борьбы распрю, происходящую ныне в большевистской партии. Терминология разработана богато: батраки, бедняки, середняки, кулаки, пролетариат, полупролетариат, люмпенпролетариат — можно еще прихватить «спецов», «деклассированную интеллигенцию» и т. д. Были бы терминологии и бумага, а марксисты и подоплека найдутся. Социологи выяснят точно, чьи классовые чаянья выражал Сталин и какие классовые группы поддерживали Троцкого.

Мы останемся, однако, при «поверхностной» точке зрения. То, что происходит сейчас в России, это борьба, борьба личная, почти такая борьба, какая ведется в животном царстве. Я утверждаю, то все положения Сталина можно найти у Троцкого — и обратно: надо только взять их речи и статьи не за несколько недель, а за несколько лет. В коммунистической партии идет беспрестанное *chassé-croisé*. Люди, стоявшие за «бедняков», теперь отстаивают интересы «кулаков», но с полной готовностью снова свяжутся с «бедняками», если этим способом будет почему-либо удобнее свернуть шею противникам. Зиновьев прежде со Сталиным громил Троцкого, теперь он с Троцким громит Сталина — чья классовая подоплека изменилась? Сам Сталин был (при Ленине) противником «новой экономической политики». Наша печать не без причины теряется в догадках: кто из большевистских вождей левее, кто правее? (Бухарин, идущий ныне со Сталиным, прежде считался самым левым); и не опираются ли левые вожди на правые массы (что в самом деле граничило бы с чудом)? Вожди, вероятно, и сами всего этого не знают, как не знают они и того, каким опытом займутся, когда покончат с конкурентами.

Достаточно прочесть их дискуссионные листки. Троцкий, шипя от бешенства, швыряет в «аппаратчиков» Чанг-Кай-Шеком, Перселлем, кулаками, «социализмом в одной стране». Ему кричат задыхающиеся голоса: «Шпана ты этакая!.. Презренный меньшевик!.. Какая гнусность! Долой гада!» Не надо быть большим психологом, чтобы сквозь стенограмму почувствовать обстановку этого заседания, характер этой «политической дискуссии». Нет, здесь не Чанг-Кай-Шек и не Перселль! Здесь не идейные разногласия. Здесь личная ненависть, ненависть звериная — ненависть по тому идейному признаку, что Ворошилов и Ярославский не могут смотреть без ярости на самую физиономию Троцкого...

Пожелаем же им всем того, чего они желают друг другу. Я не знаю, кто из них будет смеяться последний. Самыми последними посмеемся мы. Меня не слишком утешает эта перспектива последнего смеха на развалинах. Сказано, однако, в гениальной книге: «Время плакать и время смеяться... Время разбрасывать камни и время собирать камни... Время раздирать и время сшивать... Время любить и время ненавидеть...»

СОДЕРЖАНИЕ

САМОУБИЙСТВО

Роман

<i>Часть первая</i>	5
<i>Часть вторая</i>	73
<i>Часть третья</i>	160
<i>Часть четвертая</i>	221
<i>Часть пятая</i>	262
<i>Часть шестая</i>	309
<i>Часть седьмая</i>	337
<i>Часть восьмая</i>	399

АРМАГЕДДОН

Из записной книжки

<i>Предисловие</i>	446
ДРАКОН	447
КОЛЕСНИЦА ДЖАГЕРНАТХА	483

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ И ОЧЕРКИ

АЗЕФ	541
УБИЙСТВО УРИЦКОГО	577
УБИЙСТВО ГРАФА МИРБАХА	607
ВЗРЫВ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ	629
ГИТЛЕР	662
СТАЛИН	685

*Марк Александрович
Алданов*
**САМОУБИЙСТВО
АРМАГЕДДОН
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
И ОЧЕРКИ**

Редактор
Т. Прокопов
Художественный редактор
И. Сайко
Технический редактор
Г. Шитоева
Корректоры
*В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель*

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 28.11.95.
Уч.-изд. л. 42,52. Цена 23 000 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковский пер., 1/18, а/я 27.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены
ТОО «Макет». 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

ТАЙНЫ

Роман М. Алданова (1886—1957) «Самоубийство» охватывает период с 1903 года до начала 20-х годов и повествует, главным образом, о событиях, предшествующих октябрьскому перевороту 1917 года.

На фоне широкой, детально проработанной исторической перспективы действуют реальные исторические лица: Ленин, Крупская, Сталин, Камо и многие другие. Партия людей, ослепленных гневом, сплоченных в «несокрушимый монолит» вирусом насилия, творит новую, кровавую историю России.

Беспристрастный, фактологически и художественно достоверный рассказ автора об элите большевиков заслуживает пристального внимания читателей.

Кроме романа, в книгу вошли эссе «Армагеддон», на страницах которого автор размышляет о судьбах Европы, а также серия ярких исторических портретов и очерков.

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах